К. Д. УШИНСКИЙ

СОЧИНЕНИЯ

Печатается по постановлению Совета Народных Комиссаров СССР от 22 августа 1945 г.

АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР

Институт теории и истории педагогики

К. Д. УШИНСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

*

Редакционная коллегия:
А. М. Еголин (главный редактор)
Е. Н. Медынский
и В. Я. Струминский

*

Москва — Ленинград
1948

К. Д. УШИНСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ

1

Ранние работы и статьи

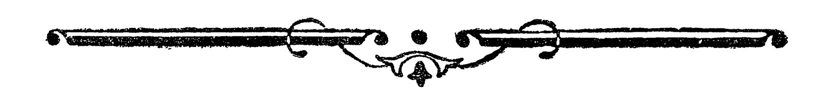
1846—1856 гг.[1]

ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК
РСФСР

СОСТАВИЛ И ПОДГОТОВИЛ К ПЕЧАТИ
В. Я. СТРУМИНСКИЙ



К. Ушинскій



ОТ РЕДАКЦИИ

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановил в связи с исполнившимся 3 января 1946 г. 75-летием со дня смерти великого русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского издать собрание его сочинений.

Выполняя это постановление, Академия педагогических наук РСФСР приступает к изданию десятитомного собрания сочинений К. Д. Ушинского, включающего не только педагогические и психологические работы, но и другие его произведения.

К. Д. Ушинский — основоположник русской педагогической науки и народной школы России, создатель оригинальной, основанной на принципе народности педагогической системы, психолог, тонко понимавший особенности развития ребенка, замечательный дидакт, «учитель русских учителей». Он — автор книг, по которым обучались и воспитывались в течение многих десятилетий несколько поколений нашей родины, десятки миллионов детей. Он оказал глубокое влияние на развитие передовой педагогической мысли народов СССР.

К. Д. Ушинский — педагог-патриот, гуманист. Он отдал сам и призывал других отдать все свои силы на служение родине. Он требовал, чтобы в основу обучения были положены русский язык и литература, гео-

графия, история и изучение природы России, чтобы было открыто как можно больше школ, чтобы дело народного образования было предоставлено самому народу, в могучие творческие силы которого он верил глубоко и непоколебимо.

Сочинения К. Д. Ушинского составляют весьма значительную часть ценного прошлого русской педагогической мысли. Настоящее собрание этих сочинений, некоторая часть которых была помещена в журналах, ставших уже библиографической редкостью, или даже до сих пор не появлялась в печати (как, например, многие его письма, докладные записки и пр.), еще глубже и шире раскроет значение К. Д. Ушинского для русской педагогики, его влияние на учительство и на развитие школы России, облегчит и усилит научную разработку богатейшего педагогического наследства К. Д. Ушинского, будет способствовать повышению качества подготовки советских учителей.

Многие ранние произведения К. Д. Ушинского, не имеющие на первый взгляд отношения к педагогике (таково большинство сочинений, вошедших в первый том), вскрывают происхождение и развитие его педагогических взглядов и дают представление о его общем мировоззрении. Многие письма, которые будут помещены в последнем томе, являются ценным дополнением к напечатанным статьям и часто говорят о том, о чем не мог сказать Ушинский в печати по цензурным условиям своего времени.

Жизненность педагогических идей К. Д. Ушинского, их значение для теории и практики советского воспитания, для улучшения всей учебно-воспитательной работы нашей школы исключительно велики. В 1941 г. М. И. Калинин, обращаясь к работникам народного образования, сказал, указывая на ряд советов Ушинского, что это настоящие педагогические идеи, которые «только в нашем социалистическом обществе и могут быть полностью осуществлены».

Расположенные в хронологическом порядке, произведения Ушинского, начиная с самых ранних его выступлений, дают возможность проследить, как зарождалось и развивалось его мировоззрение, как складывалась его педагогическая система, что нового внес в педагогику Ушинский, как энергично боролся он за самостоятельность русской педагогической мысли. Редакция выражает уверенность, что издание собрания сочинений К. Д. Ушинского будет с удовлетворением встречено советской педагогической общественностью и послужит дальнейшему развитию педагогической науки и улучшению работы советской школы.





ОБ ИЗДАНИЯХ СОЧИНЕНИЙ К. Д. УШИНСКОГО

(ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК)

ВСЕСТОРОННЕЕ научное изучение педагогического наследства, оставленного К. Д. Ушинским, является одной из первоочередных задач научно-исследовательской работы в области истории русской педагогики. Успешному выполнению этой задачи в значительной степени препятствовало отсутствие научно изданного собрания основных сочинений великого русского педагога. На протяжении 75 лет, протекших со дня его смерти, ни разу не была предпринята попытка такого издания: частные издательские начинания в этом направлении носили далеко не полный, случайный, эпизодический характер. В настоящее время даже наиболее значительные сочинения Ушинского являются почти библиографической редкостью. Это становится понятным, если принять во внимание тот огромный спрос, какой предъявляется на сочинения великого русского педагога сотнями тысяч советских педагогов. Освоение ценнейшего педагогического наследства К. Д. Ушинского является при таких условиях крайне затруднительным.

Понятно, что первой стадией научно-исследовательской работы над этим наследством должно быть текстуальное овладение им и по возможности полное его издание. Само собой разумеется, что при выполнении этой задачи необходимо опереться на те опыты по разысканию и изданию произведений К. Д. Ушинского,

которые были сделаны до сих пор. При всей их случайности и эпизодичности, опыты эти, взятые в целом, создали к настоящему времени уже достаточно прочную базу для того, чтобы на их основе можно было поставить задачу научного издания основных сочинений великого русского педагога.

I

Сочинения К. Д. Ушинского, печатавшиеся и переиздававшиеся при его жизни

Первым напечатанным произведением Ушинского была его речь «О камеральном образовании» (М., 1848 г.). Это произведение, в сокращенном виде доложенное на годичном торжественном акте Ярославского лицея, несмотря на всю его теоретическую и методологическую значительность, является библиографической редкостью, сохранившейся только в немногих крупных библиотеках.

Далее следуют статьи и переводные работы Ушинского, печатавшиеся в журналах «Современник», «Библиотека для чтения», «Вестник императорского русского географического общества» и другие за время с 1852 по 1856 г. Этот период литературного творчества Ушинского совершенно не исследован, и количество написанного им за этот период до сих пор точно не установлено *.

С 1857 по 1870 гг. Ушинский печатает ряд специально педагогических статей и заметок в общих и педагогических журналах и газетах, как-то: в «Журнале для воспитания», «Журнале министерства народного просвещения», в «Сыне отечества», «Голосе», «С.-Петербургских ведомостях», «Отечественных записках», «Педагогическом сборнике», «Народной школе» и др. Некоторые из этих статей — «Труд в его психическом и вос-

* См. статью «О журнально-литературной деятельности К. Д. Ушинского в период с 1852 по 1856 г.» («Советская педагогика», 1945, № 12).

питательном значении», «О нравственном элементе в воспитании», «Воскресные школы» — выходили отдельными изданиями. Количество написанного Ушинским за это время также не установлено точно. Значительные разыскания в этом направлении сделаны были еще в дореволюционное время В. И. Чернышевым: им дана достаточно полная библиография работ Ушинского за это время и разыскан ряд работ, принадлежащих Ушинскому, хотя и не подписанных его именем *.

В 1861 г. вышла книга «Детский мир и хрестоматия». При жизни Ушинского она была переиздана 10 раз.

В 1864 г. вышла книга «Родное слово», год 1-й и 2-й. При жизни Ушинского 1-й год имел десять, 2-й год девять изданий.

В том же году вышла «Книга для учащих по «Родному слову», год 1-й и 2-й. Книга имела 9 изданий при жизни Ушинского.

В 1867 и 1869 гг. вышли первые два тома книги «Человек как предмет воспитания» («Педагогическая антропология»)». Первоначально они печатались в виде отдельных статей в журнале «Педагогический сборник» на протяжении с 1864 по 1868 г. Второе издание первого тома «Педагогической антропологии», редактированное самим автором, вышло уже после его смерти, в 1871 г.

В 1870 г. вышла книга «Родное слово», год 3-й, и к нему «Книга для учащих по «Родному слову». В том же году вышло 2-е издание этих книг.

Далеко не все, написанное Ушинским, было напечатано при его жизни, и далеко не все, напечатанное им, получило широкую известность, ввиду анонимного характера значительного количества его статей.

---

* В. И. Чернышев, Забытые труды К. Д. Ушинского. СПБ, 1907.

Его же, К литературно-педагогической деятельности К. Д. Ушинского («Русская школа», 1910, № 12).

К. Д. Ушинский, Собрание педагогических работ, т. II (дополнительный), под редакцией В. И. Чернышева, СПБ, 1913, стр. 321—341.

II

Ненапечатанные и незаконченные произведения К. Д. Ушинского

Многое из написанного Ушинским не было напечатано при его жизни и затем частью затеряно, частью сделалось достоянием правительственных и частных архивов. Так, не был напечатан при его жизни «Отчет о командировке за границу»; не было опубликовано «ориентирующее начало» его статьи «Вопрос о душе в его современном состоянии»: статья появилась без этого начала в журнале «Отечественные записки» (1866 г., № 11—12); не была напечатана статья «О сомнамбулизме», написанная для «Библиотеки для чтения», и, может быть, многое другое. Не могли появиться в печати при жизни Ушинского и материалы автобиографического характера — дневники, воспоминания и пр. В архивах Гатчинского и Смольного институтов остались многочисленные докладные записки и проекты по реорганизации этих учебных заведений, составленные Ушинским, и т. д.

Целый ряд работ был задуман Ушинским для ближайшего будущего, и в последние годы жизни он внимательно обдумывал проекты этих работ. Сюда относились:

а) Переработка «Родного слова» для земской школы.

б) Составление третьего тома «Педагогической антропологии», для чего уже собраны были частично сохранившиеся до нашего времени материалы.

в) Сокращение и переработка всех трех томов «Педагогической антропологии» и перевод их на английский язык.

г) Методологическое введение к «Педагогической антропологии» в виде отдельной книги.

д) Разработка частей «Родного слова», следовавших за 3-м годом, и в первую очередь — краткого курса географии.

е) Переработка методических материалов, написанных для «Детского мира».

III

Издания сочинений К. Д. Ушинского, предпринятые после его смерти

Непрерывно переиздавались после смерти Ушинского написанные им учебные книги — «Детский мир» и «Родное слово», его труд «Человек как предмет воспитания», частью — его статьи. Эти издания преследовали прежде всего практическую цель — удовлетворить потребности школы и учителей.

«Родное слово» к началу Великой Октябрьской социалистической революции имело: 1-й год — 146 изданий, 2-й год — 128 изданий, 3-й год вышел в 1907 г. 23-м изданием.

«Книга для учащих по «Родному слову», год 1-й и 2-й, имела 23 издания, год 3-й — 12 изданий.

«Детский мир», ч. 1-я, вышел в 1903 г. 43-м изданием, ч. 2-я — 37-м изданием.

«Человек как предмет воспитания» в 1916 г. вышел 13-м изданием.

Вопрос об издании более или менее полного собрания сочинений Ушинского возник уже давно, но осуществления не получил прежде всего потому, что не была произведена предварительная работа по установлению всего написанного Ушинским и разысканию его напечатанных произведений. Внимание, естественно, переключалось в сторону этих предварительных розысков.

В 1875 г. вышло издание педагогических статей Ушинского под заглавием «Собрание педагогических сочинений». Статьи этого сборника извлечены из «Журнала для воспитания», «Журнала министерства народного просвещения», «Народной школы», «Отечественных записок». Издатели считали свой сборник далеко не полным, «так как в него не вошли различные заметки, помещенные, большей частью без подписи автора, в газетах». Сюда не вошли и многие подписанные статьи Ушинского. В 1916 г. этот сборник вышел 5-м изданием.

В 1908 г. вышло «Собрание неизданных сочинений

К. Д. Ушинского» под редакцией А. Н. Острогорского. В сборник вошли материалы, полученные редактором из архива семьи Ушинского, в том числе «Материалы для III тома «Педагогической антропологии», лекции, читанные в Ярославском лицее, «Письма о воспитании наследника русского престола», воспоминания (незаконченные) об обучении в университете, дневники 1844—1845 и 1849 гг. Издание это было предпринято А. Н. Острогорским в связи с задуманным им изучением педагогической системы Ушинского; первым этапом такого изучения и было «Собрание неизданных сочинений Ушинского», явившееся весьма ценным пополнением его педагогического наследства.

В том же 1908 г. под редакцией В. И. Чернышева вышел том II (дополнительный) педагогических сочинений К. Д. Ушинского. Это был еще более ценный вклад в собрание произведений Ушинского. Задавшись, как и Острогорский, целью изучения педагогической биографии Ушинского, В. И. Чернышев в первую очередь вынужден был поставить перед собой задачу — дать точный перечень всего написанного Ушинским. Многолетние кропотливые изыскания дали возможность автору установить принадлежность Ушинскому целого ряда неподписанных им статей, найти ряд ненапечатанных материалов. Из этих текстов с присоединением к ним подробного библиографического обзора всего написанного как самим Ушинским, так и другими авторами о нем, составился указанный II том; 2-е издание его вышло в 1913 г. По своей полноте и обстоятельности библиографический обзор В. И. Чернышева был единственным в нашей педагогической литературе. В настоящее время он является уже неполным, так как доведен только до 1907 г. и так как есть уже возможность установить в нем ряд пропусков, допущенных по независящим от автора причинам.

Тому же В. И. Чернышеву принадлежат интересные разыскания о целом ряде статей и заметок, которые по его предположению должны быть приписаны Ушин-

скому как редактору «Журнала министерства народного просвещения». Из этих статей и заметок можно было бы составить еще один дополнительный том сочинений Ушинского. Разыскания В. И. Чернышева о написанных Ушинским статьях обладают значительной степенью вероятности. Однако сам автор не осуществил подсказывавшегося логикой его изысканий издания следующего дополнительного тома сочинений Ушинского.

В сборнике «Памяти Ушинского» (СПБ, 1896 г.), изданном к 25-летию со дня смерти великого русского педагога, наряду с воспоминаниями об Ушинском напечатаны принадлежащие ему — «Программа педагогики для женских учебных заведений» и «Заметки о чистоте русского языка».

В разное время изданы письма Ушинского к ряду лиц — Л. Н. Модзалевскому, Н. А. Корфу, М. И. Семевскому, М. П. Леонтьевой, А. В. Старчевскому. Переписка Ушинского была гораздо более обширной, но ее не удалось собрать полностью. Есть сведения о том, что Ушинский вел большую переписку с иностранными педагогами, связи с которыми он установил во время вынужденного пребывания за границей. Письма этих педагогов, по всей вероятности, погибли, письма же Ушинского к ним еще не найдены.

IV

Все ли, написанное Ушинским, уже разыскано?

Следует полагать, что главные работы, написанные Ушинским, сохранились полностью и в основном найдено то, что не было напечатано при его жизни. Трудно допустить, чтобы что-либо существенное из его работ было затеряно. Высказывалось предположение, что III том «Педагогической антропологии» был уже написан Ушинским, но по каким-то опасениям его семьи уничтожен. Предположение это явно лишено оснований. Ушинский к концу своей жизни, вследствие болезнен-

ного состояния, уже не мог писать своих работ, — он их диктовал. Так был продиктован II том «Антропологии». Как видно из переписки последнего года его жизни, Ушинский нетерпеливо готовился «надиктовать» и III том, однако приступить к этой диктовке ему не удалось.

Нужно признать, что недостаточно интенсивными были до сих пор розыски того, что написано Ушинским в период его журнальной работы за время с 1852 по 1856 гг. Это объясняется тем, что этому периоду обычно не придавали большого значения в формировании педагогических идей Ушинского. К тому же анонимные статьи этого периода в журналах, где сотрудничал Ушинский, требовали очень внимательного анализа для того, чтобы была возможность высказаться об их принадлежности Ушинскому. В настоящем издании этот недочет в значительной степени устраняется. Устанавливается, что количество работ, написанных К. Д. Ушинским за этот период, должно быть значительно увеличено по сравнению с тем небольшим списком статей, который приписывался Ушинскому до сих пор.

Слишком мало освещена работа Ушинского в «Журнале министерства народного просвещения». Кроме собственных статей Ушинского, помещенных за его подписью, Ушинским написано много как редактором в виде примечаний к чужим статьям, дополнений к ним, переводов педагогических статей с иностранных языков, предисловий и заключений к разным работам и пр. Вопрос о редакторстве Ушинского освещался в статье Я. Гуревича «К. Д. Ушинский как редактор «Журнала министерства народного просвещения» («Русская школа», 1896 г., № 4) и в особенности в упомянутых выше разысканиях В. И. Чернышева.

Чрезвычайно мало исследован период сотрудничества Ушинского в петербургской печати с 1863 г., когда он вместе с своими друзьями — Д. Д. Семеновым, Л. Н. Модзалевским и др. — анонимно сотрудничал в газетах «Голос» и «С.-Петербургские ведомости». По-

требуется большое напряжение исследовательской работы, чтобы вскрыть то, что принадлежит Ушинскому в указанных органах печати.

За этими исключениями нужно признать, что в основном литературно-педагогическое наследство, оставленное К. Д. Ушинским, сохранилось полностью. Этот общий вывод подкрепляется незначительностью тех новых материалов об Ушинском, которые открыты за последнее время. Это очень показательно: советские историки педагогики с большой тщательностью и в исключительно благоприятных условиях для научной работы имели возможность обследовать архивные фонды в поисках дополнительных материалов, характеризующих педагогическую деятельность Ушинского. Очевидно, что теперь могут быть найдены только какие-то частности, детали. В целом же все, написанное Ушинским, уже более или менее известно. Это дает полную уверенность в том, что столь необходимое для научной работы издание основных сочинений великого русского педагога уже может быть осуществлено.

В самом деле, новые приобретения за последние 30 лет сводятся к следующему:

а) Литературный музей получил от В. И. Чернышева в дар с большими трудностями собранные им еще в дореволюционное время материалы об Ушинском. Материалы эти переданы в настоящее время в Центральный государственный архив древних актов в Москве. Содержание этих материалов, частью извлеченных из архивов, частью полученных от семьи Ушинского, описано и частично опубликовано в «Советской педагогике» (1941 г., № 3 — «Новые материалы об Ушинском»). Значение их преимущественно биографическое и библиографическое.

б) Педагогический институт им. Н. К. Крупской (в Ленинграде) приобрел от дочери К. Д. Ушинского, В. К. Потто, остававшиеся у нее материалы — рукописи Ушинского, его детей, ряд портретов, переписку Ушинского с Модзалевским, частично опубликованную еще

до революции. Ничего существенно нового материалы эти не заключают. В 1941 г. в связи с закрытием института материалы переданы в педагогический институт им. Герцена.

в) Отдельными лицами, производившими разыскания материалов об Ушинском в связи с теми или иными научными работами, — тт. Зикеевым Н. В., Лиром В. А., Тимченко В. А., Лордкипанидзе Д. О., Смирновым В. З. и др., — найден ряд новых документов — документы из Гатчинского и Смольного институтов, варианты программ по педагогике, письма Ушинского и пр.

г) Самым ценным однако же приобретением последних лет нужно признать обнаруженные в Институте литературы Академии наук СССР в конце 1945 г. материалы архива Ушинского, пожертвованные туда еще в 1920 г. Н. К. Ушинской и заключающие в себе наряду с другими материалами подлинные рукописи К. Д. Ушинского — черновые материалы для «Педагогической антропологии», черновую обработку «Родного слова», дневник путешествия по Швейцарии, материалы для книги по географии и пр. Подробная характеристика этих материалов дана в статье «Архив К. Д. Ушинского» (Советская педагогика, 1946 г., № 12).

Доныне не разысканы:

а) Тетрадь с документами, дискредитировавшими Ушинского в глазах министерства и специально извлеченными, как это удалось установить В. И. Чернышеву, из дел К. Д. Ушинского по требованию Д. А. Толстого.

б) Такая же тетрадь с письмами Ушинского, адресованными Старчевскому и заключавшими в себе высказывания Ушинского в период, когда он только начинал свою педагогическую деятельность. А. В. Старчевский сообщает в своих воспоминаниях, что он имел намерение отдельно опубликовать эти письма и нарочито выделил их из своего архива, но так куда-то заложил, что потом не мог отыскать. Очевидно, что тетрадь следует искать в архиве или в библиотеке Старчевского, если только они сохранились.

V

Научное издание собрания сочинений К. Д. Ушинского как очередная задача

Если в основном объем литературно-педагогического наследства К. Д. Ушинского можно считать установленным и основные его работы опубликованными, то, с другой стороны, нельзя закрывать глаза на ряд существенных недочетов, характеризующих фактическое существование этого наследства. Коренным недочетом нужно признать недостаточную обработку собранных уже материалов К. Д. Ушинского с библиографической, текстуальной и систематической сторон. Отсутствие такой обработки препятствует освоению педагогического наследства Ушинского в той мере, в какой это необходимо для развития советской педагогической теории и практики.

а) Полной библиографии, а следовательно, и представления о полном объеме написанного Ушинским, мы еще не имеем. Изданная В. И. Чернышевым в 1908 г. замечательно полная для того времени библиография сочинений Ушинского и литературы, относящейся к ним, должна составить основу для более полной библиографии, так как в настоящем виде ее уже нельзя признать исчерпывающей, в особенности для первых лет литературно-педагогической деятельности Ушинского.

б) Сосредоточенной работе над изучением педагогического наследства Ушинского мешает разбросанность этого наследства по разным изданиям, библиографическая редкость многих напечатанных сочинений Ушинского и трудность использования их даже в больших библиотеках столичных городов. Научное издание собрания сочинений Ушинского должно значительно облегчить работу по изучению его педагогического наследства.

в) Текстуально работы Ушинского в существующих изданиях не восстановлены с надлежащей степенью

полноты, вследствие чего значительная часть текстов, написанных самим Ушинским, остается исследователю неизвестной. Так, например, известно, что «Детский мир» не сразу получил ту форму, какая дана ему в последнем, вышедшем при жизни Ушинского 10-м издании. Появлению этого издания предшествовали первоначальные обработки, теперь уже мало кому доступные вследствие библиографической редкости, а следовательно, и недоступности первых изданий «Детского мира». В Москве, например, имеется единственный экземпляр 1-го издания «Детского мира», хранящийся в Государственной исторической библиотеке. Между тем «Детский мир» перерабатывался не только самим Ушинским; его текст изменялся в значительной степени и после Ушинского, так что его последние издания уже не дают полного представления о том, каким был «Детский мир» самого Ушинского. Ясно, что восстановление подлинного текста книги Ушинского и, по возможности, самого процесса обработки этого текста является основным условием для изучения его книги. Аналогичным образом текстуально не исследована и не восстановлена работа Ушинского над «Педагогической антропологией», что не может не вести за собой значительных трудностей в изучении этой глубокой работы великого русского педагога.

г) В связи с разбросанностью работ Ушинского в десятках различных изданий не проделана еще систематизация его произведений по определенным циклам в соответствии с выполнявшимися им в разные периоды задачами, как-то: разработкой учебников, изданием «Педагогической антропологии», составлением методических руководств и т. п. Такая систематизация несомненно облегчила бы изучение работ К. Д. Ушинского, выявив в составе этих работ многое, что до сих пор остается в тени.

Устранение этих и других недочетов в оформлении уже известного литературно-педагогического наследства К. Д. Ушинского и должно составить одну из важ-

нейших задач настоящего собрания сочинений великого русского педагога наряду с опубликованием работ, принадлежность которых Ушинскому устанавливается впервые.

VI

План предпринятого издания сочинений К. Д. Ушинского

Совершенно ясно, что план намечаемого издания должен определиться в первую очередь хронологическим расположением материала. Было бы педантичным однако же подчинять все издание только хронологическому порядку. Необходимо одновременно учитывать целесообразность систематической группировки материала. Так, например, отдельными томами должны быть изданы учебники Ушинского с относящимися к ним материалами, его «Педагогическая антропология», его публицистические статьи. Только таким сочетанием хронологической и систематической группировки будут созданы предпосылки к наиболее удобному использованию наследства Ушинского как для научных, так равным образом и для практических целей.

В результате длительного обсуждения, основной материал литературно-педагогического наследства К. Д. Ушинского распределен для настоящего издания в следующих десяти томах:

Т. 1-й. Ранние работы К. Д. Ушинского, написанные им в период с 1846 по 1856 г., т. е. со времени поступления в Ярославский лицей и до начала работы в Гатчинском институте. Работы, вошедшие в этот том, почти неизвестны широкой массе читателей и очень мало использованы при изучении педагогического наследства К. Д. Ушинского.

Т. 2-й. Педагогические статьи, проекты, заметки и другие материалы за время с 1857 по 1861 г., т. е. за период напряженной практической работы Ушин-

ского в Гатчинском сиротском и в Смольном институтах. Материалы этого периода уже неоднократно перепечатывались в прежних собраниях сочинений Ушинского. В настоящем собрании они будут пополнены вновь найденными его произведениями.

Т. 3-й. Педагогические статьи и другие материалы за время с 1862 по 1870 г., т. е. со времени отъезда Ушинского в заграничную командировку и до его смерти, — период, когда педагогические дарования Ушинского уже не находили себе применения в официальной России. Многие работы этого периода также оставались неизвестными широкой педагогической общественности и будут дополнительно включены в 3-й том.

Т. 4-й. «Детский мир» — первая учебная книга, изданная К. Д. Ушинским и до сих пор не потерявшая своего интереса. Текст «Детского мира» будет дан в окончательной обработке Ушинского, т. е. по 10-му изданию 1870 г.

Т. 5-й. «Детский мир» — методические материалы к этой книге и варианты первых ее изданий. Методические материалы к «Детскому миру» Ушинский первоначально предполагал обработать в виде особого руководства для употребления его книги в школах. Намерение это не было осуществлено, и материалы не перепечатывались в отдельных изданиях «Детского мира».

Т. 6-й. «Родное слово» для детей младшего возраста», год 1-й, 2-й, 3-й, — вторая учебная книга, составленная Ушинским и имевшая исключительный успех в русской дореволюционной школе.

Т. 7-й. «Родное слово» (книга для учащих). Советы родителям и наставникам о преподавании родного языка по учебнику «Родное слово», год 1-й, 2-й и 3-й.

Т. 8-й. «Человек как предмет воспитания (опыт педагогической антропологии)», т. 1-й.

Т. 9-й. «Человек как предмет воспитания (опыт педагогической антропологии)», т. 2-й и «Материалы к 3-му тому».

Т. 10-й. Автобиографические, биографические и библиографические материалы.

Как видно из изложенного плана, настоящее издание сочинений К. Д. Ушинского будет наиболее полным и наиболее систематическим из всех ранее предпринятых изданий его сочинений: а) в нем найдут себе место работы Ушинского, до сих пор совсем не напечатанные, извлеченные из государственных архивов и из архива семьи Ушинского; б) в нем впервые с именем Ушинского будут напечатаны статьи его, опубликованные анонимно или под псевдонимами; в) весь материал будет расположен систематически и в хронологическом порядке, что значительно облегчит возможность его использования в научной работе.

Однако же по ряду обстоятельств настоящее издание не может быть исчерпывающе полным: в издании будут в первую очередь даны работы, имеющие более или менее прямое отношение к проблемам педагогики.

Работы, только косвенно относящиеся к уяснению педагогических проблем, а такими являются многие ранние работы Ушинского, а также работы переводные не войдут в это издание. Кроме того, работы незаконченные, черновики педагогических работ, печатание которых только отвлекало бы внимание читателя от целостного впечатления, производимого законченными и отделанными произведениями великого русского педагога, также не войдут в настоящее издание. Но по мере обработки материалы литературного наследства К. Д. Ушинского, не вошедшие в настоящее издание, будут печататься отдельными сборниками под общим наименованием «Архив К. Д. Ушинского».

Текст работ Ушинского будет заимствован из последних, редактированных им изданий. Рукописей работ Ушинского, за исключением некоторых его писем и черновиков, не сохранилось.

Стиль литературных работ К. Д. Ушинского, преимущественно работ раннего периода его деятельности, имеет нередко особенности, которые непривычно звучат для современного читателя. Эти особенности частью вытекают из стилистических традиций эпохи 40—50-х годов XIX в., к которой органически принадлежал Ушинский по своему воспитанию и культуре; частью они объясняются влиянием украинского языка (детство Ушинского прошло на Украине), в значительной же мере они должны быть объяснены той поспешностью, с какой печатались его статьи в период напряженной журнальной работы, вследствие чего ряд выражений остается стилистически неясным. В целом таких стилистических неясностей очень немного. Ушинский был большим поклонником русского языка, его чистоты и незасоренности и сурово преследовал всяческие искажения родного слова, этого «великого народного педагога».

Не считая себя вправе изменять стиль Ушинского, редакция устраняла только явные опечатки и систематически изменяла орфографию и пунктуацию в соответствии с требованиями советского правописания.

В. Струминский





ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ К. Д. УШИНСКОГО

Великий русский педагог К.Д. Ушинский создал оригинальную педагогическую систему, охватывающую основные проблемы воспитания и обучения.

Возражая против эмпиризма в педагогике, против сведения педагогики к рецептам и правилам, Ушинский в предисловии к своему главному труду «Человек как предмет воспитания» писал: «...Мы полагаем, что лица, берущиеся за преподавание педагогики, должны очень хорошо понимать, что выучивание педагогических правил не приносит никому никакой пользы и что самые правила эти не имеют никаких границ: все их можно уместить на одном печатном листе, и из них можно составить несколько томов. Это одно уже показывает, что главное дело вовсе не в изучении правил, а в изучении тех научных основ, из которых эти правила вытекают»*.

Ушинский требовал при разработке педагогики единства теории и практики, признавал неосновательным спор о преимущественном (а тем более исключительном) значении теории или практики.

Он указывал, что пустая, ни на чем не основанная теория оказывается такой же никуда негодной вещью, «как факт или опыт, из которого нельзя вывести ни-

* К. Д. Ушинский, Человек как предмет воспитания. СПБ, 1873, т. 1, стр. XXXIX.

какой мысли, которому не предшествует и за которым не следует идея. Теория не может отказаться от действительности, факт не может отказаться от мысли», — писал Ушинский в своей ранней статье «О пользе педагогической литературы».

Этими своими правильными высказываниями об основах, на которых должна строиться педагогическая система, К. Д. Ушинский возражал как против голого эмпиризма в педагогике, так и против умозрительных, абстрактных, оторванных от опыта школы педагогических теорий, за которые он в своей статье «О народности в общественном воспитании» бичевал немецкую педагогику.

Ушинский совершенно правильно считал, что педагогическая теория должна являться обобщением педагогического опыта, требовал, чтобы в ее построении участвовали лучшие учителя-практики и в то же время полагал, что педагогическая теория должна быть основана на философии и широко пользоваться данными целого ряда наук — анатомии, физиологии, психологии, истории, географии, политической экономии и др.

Особенно большое значение при построении педагогической теории Ушинский придавал философии и психологии. Педагогика, писал Ушинский, наука в основном философская. Определение цели воспитания, организация народного образования, по правильному мнению Ушинского, невозможны без философского обоснования. Педагога, который стал бы руководить воспитанием, не имея основанной на философии теории, Ушинский сравнивал с архитектором, который, закладывая здание, не сумел бы ответить, что он хочет строить.

Такое же большое значение при построении педагогической теории он придавал психологии. Если мы хотим воспитывать человека во всех отношениях, его необходимо изучить также во всех отношениях; если мы хотим воспитать человека, то прежде всего должны со-

ставить себе понятие о человеке, неоднократно повторяет Ушинский. Этому вопросу он посвятил важнейший свой труд «Человек как предмет воспитания».

Руководящей идеей педагогической системы Ушинского является народность. К этой идее как основе своей педагогической системы Ушинский пришел, глубоко продумывая вопрос о путях развития России, по которому в 40—50-х годах, еще в студенческие его годы и в начале его деятельности, шел горячий спор между западниками и славянофилами.

Ушинский отверг реакционное понимание народности, какое придавалось этой идее в известной уваровской формуле — «самодержавие, православие и народность», а именно провозглашение крепостнической «самобытности» России; он горячо приветствовал падение крепостного права. Он отверг также одностороннее консервативное понимание народности славянофилами, отрицавшими целесообразность реформ Петра I и звавшими Россию назад, в Московскую Русь.

Народность Ушинский понимает как своеобразие каждого народа, обусловленное его историческим развитием, социальными условиями его жизни, географическими особенностями его родины. К этому пониманию народности он подошел еще на заре своей деятельности, еще будучи и. о. профессора Ярославского лицея, что можно проследить в помещаемых в I томе Собрания сочинений Ушинского его лекциях по камеральным наукам, особенно в лекции четвертой и в его речи «О камеральном образовании». Как ни далеки эти произведения Ушинского по своей тематике от вопросов воспитания, они, однако, дают нам возможность проследить генезис главной идеи его педагогической системы — народности.

Ряд мыслей, обобщенных затем в понятии народность, встречается в живом очерке «Поездка за Волхов». Весь этот очерк дышит большой любовью Ушинского к России, русской природе, русскому народу. Тепло

и любовно отмечает Ушинский в этом очерке красоту и разнообразие родной природы, предприимчивость наших предков и жителей северо-восточной России, русскую сметливость, великодушие и т. д. И как бы для контраста иронически рисует злополучного, тяжеловесного, скупого пассажира-немца. С удовольствием слушает Ушинский народные прибаутки, песню бурлаков.

Здесь же, в этом очерке, ярко видна одна из излюбленных идей Ушинского, органической частью вошедшая в его понимание народности, — тесная связь исторического развития народа и его характерных особенностей с географическими условиями его родины. Мысль эта подробно развивается во всех четырех лекциях Ушинского, художественно выражена в «Поездке за Волхов» и будет позже повторена в поэтической характеристике Ушинским родного слова, когда он указывает, что в языке народа отражаются климат, природа и историческое прошлое его родины (статья «Родное слово»).

Во многих из помещаемых в I томе ранних произведений Ушинского, на первый взгляд не имеющих прямого отношения к его педагогическим взглядам, отмечается самобытность, самостоятельность, величавое спокойствие русского народа, его любовь к красоте, которая обусловливает высокие художественные достоинства русского народного творчества: «Киев завладел последним отрогом Карпатов, последнею ступенью в ту равнину, на которой должна была развиться славянская жизнь в самостоятельную особенность. Смоленск возник на последнем уступе холмистой великорусской равнины в литовские болота; Владимир выбрал себе живописные берега Клязьмы и внес славянское владычество в финские леса; Москва разлеглась на холмах, в которых сливаются в гармоническое целое все разнообразные характеры русских местностей; Переяславль глядится в воды озера, чистого, как кристалл...»

Вопрос о возникновении и развитии характерных особенностей народа, того своеобразия, которое составляет, по Ушинскому, сущность понятия народности, освещается и в его статье: «Труды Уральской экспедиции», причем он отмечает, что в противоположность англосакскому племени, которое подавляло, истребляло слабейшие племена, русские «принимали в себя слабейшие племена (речь идет о «чудском племени»), возводя их на высшую ступень».

Ушинский указывал, что воспитание, основанное на народности, должно развивать в детях гордость героическим прошлым русского народа, уважение к замечательным деятелям русской земли. Эта любовь к героическому прошлому русского народа проявляется уже в ранних произведениях Ушинского, например, в статье «Труды Уральской экспедиции». Ушинский высоко оценивает роль Нижнего Новгорода, который во времена междуцарствия «так блистательно выступает на сцену нашей истории», который «совершил это великое дело: спас Россию от поляков и изменников».

Одной из главнейших черт идеи народности, как ее понимал в применении к русскому народу Ушинский, является его глубокая вера в могучие творческие силы русского народа. В ряде своих произведений он указывает, что русский народ проявлял эти могучие творческие силы и в защите своей самостоятельности от врагов, посягавших на его независимость, и в создании великого русского языка, в прекрасных произведениях народной поэзии, в народной песне, в народной мудрости, выраженной в пословицах. «Не забудем, что этот народ создал тот глубокий язык, глубины которого мы до сих пор еще не могли измерить; что этот простой народ создал ту поэзию, которая спасла нас от забавного лепета, на котором мы подражали иностранцам; что именно из народных источников мы обновили всю нашу литературу и сделали ее достойной этого имени; что этот простой народ создал и эту великую державу, под сенью которой мы живем»,—писал Ушинский в своей

предсмертной статье «Общий взгляд на возникновение наших народных школ».

В другой своей статье Ушинский указывал, что народная поэзия является источником для литературного творчества замечательных писателей, из народной песни черпают композиторы материал для своих произведений, народной мудростью питаются создатели философских систем.

Эта высокая оценка творческих сил народа сказывается уже и в ранних статьях и лекциях Ушинского, помещаемых в I томе собрания его сочинений.

Наряду с указанными прогрессивными сторонами идеи народности, в понимании ее Ушинским, в ней имеются, однако, и консервативные черты: Ушинский считал характерной, якобы присущей русскому народу чертой патриархально-религиозную нравственность.

Мировоззрение Ушинского, понятно, сложилось не сразу. Подобно Белинскому, он прошел сложный путь философского развития. Белинский, освободившись от ранних влияний на него идеалистической философии, преодолев влияние Шеллинга, Фихте и Гегеля, которое имело место в начале его деятельности, в последний период своего творчества сделался материалистом, социалистом-утопистом, революционером-демократом. Ушинский не дошел в своих методологических воззрениях до тех высот материалистической и революционно-демократической мысли, на которых в последний период своей жизни стоял Белинский, до тех позиций, которые занимали в его время Чернышевский и Добролюбов. Анализируя мировоззрение Ушинского, мы можем лишь сказать, что он шел по пути от идеализма к материализму, но путь этот остался незавершенным. Поэтому можно говорить лишь о материалистических *чертах* в педагогической системе Ушинского, не превращая Ушинского в материалиста. При этом материалистические черты мировоззрения Ушинского выступают все сильнее и сильнее в позднейших его произведениях, в особенности в написанном им во второй поло-

вине 60-х годов капитальном труде «Человек как предмет воспитания» (и при этом сильнее во II томе этого труда).

Философская мысль 60-х годов (в частности, опубликованная в 1860 г. работа Чернышевского «Антропологический принцип в философии»), изучение сочинений Дарвина, которого Ушинский ценил очень высоко, критика некоторых взглядов Ушинского «Современником», заставившая его пересмотреть свои прежние взгляды, развитие реакции в России, разбившей прежние иллюзии Ушинского (об этом говорят его письма из-за границы, в которых он писал, что министр народного просвещения и обер-прокурор Синода Д. А. Толстой «давит Россию тяжестью двух министерств», и т. д.) — все это обусловило эволюцию философских и политических взглядов Ушинского.

Если в статьях начала 60-х годов Ушинский признавал, что лучшими учителями и даже руководителями школ являются священники, то в предсмертной статье «Общий взгляд на возникновение наших народных школ» он резко выступает против того, чтобы священники были учителями народной школы. Если в своих первых педагогических статьях (особенно в статье «О нравственном элементе в русском воспитании», 1860 г.) Ушинский отводил большую роль религии в воспитании, то в позднейших своих произведениях он смело высказался за освобождение науки от влияния церкви: «Всякая фактическая наука — а другой науки мы не знаем, — стоит вне всякой религии, ибо опирается на факты, а не на верования», — писал Ушинский во втором томе «Человек как предмет воспитания».

В начале своей деятельности Ушинский считал речь — «даром», позже он четко указывал, что язык создан самим народом, является продуктом его исторической жизни.

Учителем К. Д. Ушинского, сильно влиявшим на него в студенческие годы, был правый гегелианец профессор П. Г. Редкин. Позже Ушинский, усвоив неко-

торые элементы диалектического мышления (но не сделавшись последовательным диалектиком), отрицательно относился к Гегелю, говорил о тумане гегелевской философии, о «мишурном блеске» ее. Отмечая как положительную черту тенденцию позитивизма Спенсера опереться на факты (в противоположность умозрительным спекулятивным теориям немецкой идеалистической философии), ошибочно принимая позитивизм за материализм (и даже характеризуя его как наилучшее выражение материалистической философии), Ушинский, однако, правильно отметил и отверг биологизм Спенсера в понимании развития человеческого общества. Критикуя тех философов и социологов, которые считали, что развитие человека происходит путем биологического приспособления, что у человека с течением веков вырастут крылья для полетов, Ушинский писал, что существует огромная разница между развитием животного и развитием человека. Первое происходит путем биологического приспособления, второе — путем исторического развития. «Сила человека — его паровая машина; быстрота его — паровозы и пароходы, а крылья уже растут у человека и развернутся тогда, когда он выучится управлять произвольно движением аэростатов».

Ушинский отверг довольно распространенный в его время в буржуазной натурфилософии витализм — идеалистическое объяснение жизни какой-то «жизненной силой», «жизненным потоком» (élan vital), но, не найдя по состоянию науки своего времени материалистического решения вопроса, правильно отвергая вульгарный материализм, он отдает дань идеализму, допускает условно термин «сила развития», оговариваясь, что в этом термине много туманного вследствие того, что наука еще слаба.

Отмечая материалистические черты в мировоззрении Ушинского, указывая в то же время идеалистические высказывания Ушинского, необходимо сделать вывод, что к работам К. Д. Ушинского надо

подходить с учетом той исторической обстановки, в которой он жил, и состояния философии его времени.

Вульгарный материализм Фохта, Молешотта и Бюхнера Ушинский решительно и правильно отверг. Он в пору расцвета своего творчества критически отнесся к немецкой идеалистической философии Канта, Гегеля и других немецких философов начала XIX в. Многое привлекало его в позитивизме Спенсера (особенно декларативное утверждение, что необходимо во всех философских построениях опираться на факты), но он решительно возражал против биологизма Спенсера, против теории приспособления, равно применяемой Спенсером к объяснению развития и в мире животном и развития человеческого общества. Не находя в свое время философской системы, которая последовательно, полно объясняла бы явления природы и общественной жизни, К. Д. Ушинский пытливо, творчески искал этого объяснения, критически брал из разных систем те элементы, которые казались ему в процессе сложного анализа жизни наиболее приемлемыми, творчески пытался создать свое мировоззрение, не следуя ни одной из существовавших тогда философских систем. Отсюда его неправильное признание, что ни идеализм, ни материализм не могут будто бы дать истины; его заявление, что всюду он предпочитает факты, что он шел везде за фактами и там, где факты, по его мнению, переставали говорить, он останавливался, «никогда не употребляя гипотезы, как признанный факт» *.

Для середины 60-х годов, когда сильно стала развиваться реакция и усилились гонения со стороны правительства на материализм, смелым, многозначительным было заявление Ушинского, что величайшая заслуга материалистической философии заключается в том, что она поправила ошибку гегелевской философии. Она (т. е. материалистическая философия), говорит

* К. Д. Ушинский, Человек как предмет воспитания, т. 1. Предисловие, стр. XXXI.

Ушинский в конце своей жизни, в 1868 г., когда министр народного просвещения и обер-прокурор Синода Д. А. Толстой вытравлял малейшие симпатии к материализму, «привела и продолжает приводить в настоящее время множество ясных доказательств, что все наши идеи, казавшиеся совершенно отвлеченными и прирожденными человеческому духу, выведены нами из фактов, сообщенных нам внешней природой, составлены нами из впечатлений или образованы из привычек, условливаемых устройством человеческого организма... Много последовательного внесла и продолжает вносить эта философия в науку и мышление; искусство воспитания в особенности чрезвычайно много обязано именно материалистическому направлению изысканий, преобладающему в настоящее время»...

Много нужно было гражданского мужества, чтобы сделать печатно такое заявление в атмосфере гонений на материализм и личной травли Ушинского со стороны реакционеров в Смольном институте и позже со стороны Филонова и Радонежского, обвинявших Ушинского именно в материализме.

Анализ философских, психологических и педагогических взглядов Ушинского в их развитии от раннего периода его творчества к последним годам его жизни дает основание сказать, что Ушинский не только шел по пути от идеализма к материализму, но что он тянулся, стремился к материалистическому истолкованию жизни, пытался преодолеть тот идеализм, который господствовал в философии, психологии и педагогике в 40-х годах — в период, когда складывалось его мировоззрение. Об этом стремлении ясно говорят его попытки опереться только на факты, его признание опытного происхождения ощущений и человеческих знаний, развития речи как продукта исторического развития народа, высокая оценка дарвинизма, острая критика спекулятивных идеалистических немецких философских систем, психологии Гербарта, мистицизма и абстрактности Фребеля и т. д.

В различных областях материалистические тенденции у Ушинского выражены неодинаково. Материалистические черты больше всего сказываются у него в области натурфилософии и гносеологии, причем ряд отдельных вопросов как из натурфилософии, так и в области гносеологии им нередко освещается и с точки зрения дуализма, агностицизма, позитивизма и т. д. В области же понимания развития общества Ушинский остается идеалистом.

В своем субъективном стремлении к материалистическому истолкованию жизни Ушинский нередко переоценивал (и даже считал подлинно материалистическими) такие теории, которые исходили якобы только из фактов и оперировали будто бы только фактами. Отсюда его ошибочное признание позитивизма материалистической философией. Отсюда же его некритическое, неправильное увлечение, особенно в начале творческой деятельности, «географическим материализмом», а в действительности идеалистическими построениями Риттера, что особенно заметно в его лекциях в Ярославском лицее и ранних географических работах (четвертая лекция, «Труды Уральской экспедиции» и др.).

Аналитический, пытливый ум К. Д. Ушинского не мог удовлетвориться лишь описанием стран и народов при преподавании камеральных наук. Как видно из речи Ушинского «О камеральном образовании», Ушинский подверг уничтожающей критике немецкую камералистику, совершенно правильно отказываясь признать за нею какое бы то ни было научное значение вследствие ее ограниченности, узкого практицизма, мелочности, случайности и рецептурности тех сведений, которые она преподносила. Ушинский указывает, что немецкие камералисты «оставили науке хозяйства самое бессмысленное название», «не определив цели своей науки, не отыскали ее предмета», «не нашли ей содержания», «ложно поняли практичность направления этой науки и вместо законов наполнили эту на-

уку правилами и благоразумными советами немецкой мудрости». Этот приговор немецкой камералистике К. Д. Ушинский заканчивает словами: «С такими недостатками она не может остаться и не имеет права называться наукою. Изучение ее не принесет никакой пользы»...

Следует тут же заметить, что позже Ушинский и в области педагогики дал острую критику немецкой системы воспитания и немецких педагогических теорий, отметив их абстрактность, формализм, педантизм и национальную ограниченность; глубоко критиковал фребелизм и формалистическую методику обучения грамоте. Эта критика и его требование, чтобы педагогика разрабатывала не рецепты, а законы воспитания, многими нитями связаны с речью «О камеральном образовании» 24-летнего Ушинского.

Отвергнув еще в начале своей научной деятельности немецкую «науку» о хозяйстве (камералистику), пытаясь в фактах и явлениях окружающей жизни найти законы хозяйства, Ушинский в своих исканиях некритически, однако, увлекся новым в его время учением немецкого географа Карла Риттера, своего современника, который отказался от господствовавшей ранее описательной географии и сделал попытку построить (совместно с Гумбольдтом) географию как науку, истолковывающую, объясняющую. Идеи Риттера привлекли Ушинского попыткой опереться на факты окружающего материального мира, однако К. Д. Ушинский не понял идеализма, искусственности построений Риттера, который односторонне сводит объяснение истории народов различных стран, их экономику, общественно-политический строй, культуру и национальные особенности только к влиянию географических условий, делая человека пассивным продуктом географической среды, не учитывая деятельности человека, изменяющей эту среду, внося элемент предопределенности и давая вследствие этого идеалистическое толкование общественной жизни народов.

При чтении четырех лекций Ушинского, его речи «О камеральном образовании» и его географических работ, помещенных в этом I томе «Собрания сочинений К. Д. Ушинского» («Труды Уральской экспедиции», «Магазин землеведения и путешествий»), надо поэтому очень критически отнестись к тем похвалам, которые Ушинский расточает Риттеру и Александру Гумбольдту, и к его попыткам, следуя Риттеру, объяснить национальные и племенные особенности населения только географическими условиями.

Надо учитывать, что идеи Риттера во времена, когда Ушинский только начинал свою деятельность, могли увлекать его своей новизной, попыткой заменить голое описание анализом, исканием обобщений и законов, внешней попыткой опереться на материальные условия. Вследствие новизны этих идей в то время еще не было их глубокой критики, которая могла бы вскрыть идеализм, односторонность и спекулятивность теорий Риттера, лишь замаскированные фактами и явлениями материального мира.

Надо учитывать также, что в I томе сгруппированы наиболее *ранние работы* Ушинского, мировоззрение которого только начинало складываться. Все помещенные в этом томе работы написаны Ушинским в возрасте всего лишь 23—34 лет, когда естественными были у молодого ученого некоторые некритические увлечения «модными» теориями, вносившими нечто новое в описательную географию и описательное естествознание предшествующего времени. Если мы проследим, как складывалось мировоззрение многих крупнейших мыслителей и ученых, то нередко встретимся с аналогичным явлением. Надо отметить, что в дальнейшие годы своей жизни Ушинский в значительной степени освободился от влияния Риттера. Мировоззрение его становилось глубже, сложнее, разностороннее; элементы материализма, которых мы почти не встретим в ранних его сочинениях, помещенных в этом I томе, становились (особенно во второй половине 60-х годов) сильнее.

Религия занимает в мировоззрении Ушинского в 40—50-х годах и в начале 60-х годов (в первых педагогических работах, помещенных во II томе настоящего «Собрания сочинений») значительно большее место, нежели в сочинениях последних пяти лет его жизни, хотя от ее влияния он и не освободился в течение всей своей жизни. В своих «Лекциях» 23-летний Ушинский, учителем которого был правый гегелианец проф. Редкин, еще уделяет большое место при трактовке исторического развития общества «божественному духу», материальная среда трактуется им как орудие «развития этого духа», а развитие общества как «видимое, историческое выражение развития духа». Таких формулировок в духе идеалистической немецкой философии мы не встретим у зрелого Ушинского во второй половине его деятельности, не только в конце 60-х годов, но и в 1861—1864 гг. Он позже будет резко характеризовать гегелевскую философию (в том числе и идею «абсолютного духа», который якобы проявляет себя в исторической жизни народов) как туман; будет говорить о «мишурном блеске» этой философии.

Риттером, Гумбольдтом и другими представителями западноевропейской буржуазной науки (главным образом, немецкими) навеяны были на юного Ушинского и его неправильные мысли об «азиатском» и «европейском» начале в жизни народов, о восточной и западной культуре, и отсюда в корне неправильна и его характеристика славян как народов, для которых будто бы присущ как основа жизни «быт патриархальный». Ушинский, правда, считает, что «славяне — по языку, физиономии, древности своего пребывания в Европе, по способности к цивилизации, наконец, по восприимчивости своей — бесспорно принадлежат к европейским народам»; этим утверждением Ушинский как бы делает попытку отвергнуть риттеровскую клеветническую характеристику славян, освободиться от неверной концепции, поскольку она оскорбляет его

чувство национального достоинства, но тут же оставляет элементы этой ложной концепции, приписывая славянам патриархальность как основу общественной жизни в противоположность государственности западноевропейских народов. Чувство национального достоинства, любовь Ушинского к родине и русскому народу заставляют его и в этот остаток риттеровской концепции вносить оговорку, что «неспособность к государственной жизни», якобы характерная для славян, не относится к русскому народу.

Уже в ранних произведениях и еще сильнее в позднейших Ушинский высоко оценивает русский народ, гордится его героическим прошлым, его культурой, тепло характеризует его, но некоторые следы этой ложно приписываемой славянам, якобы присущей им патриархальности сохранились все же и в позднейшем его понимании идеи народности. В этом понимании, как мы упоминали в начале статьи, наряду с целым рядом прогрессивных черт, имеется черта консервативная —приписывание русскому народу как будто бы присущей ему черты патриархально-религиозной нравственности. Генезис этой мысли ясно виден в ранних его произведениях.

В течение своей недолгой жизни К. Д. Ушинский прошел большой путь философского развития. Он вступил на этот путь в 40-х годах, отягченный идеалистическим наследством религиозно-патриархальной семьи и философских взглядов своих учителей —Грановского, Редкина и др. Постепенно он преодолевал это идеалистическое наследство, вырабатывая свое самостоятельное мировоззрение, встречая на этом пути, однако, то тормозившие и искривлявшие его движение концепции Риттера, Гумбольдта, то ускорявшие и помогавшие ему двигаться дальше учение Дарвина и сочинения Чернышевского. Особенно много внесло в его философское и педагогическое развитие общественное движение 60-х годов, под влиянием которого усиливались материалистические черты его мировоззрения.

Ранняя смерть прервала этот путь непрерывных исканий. Статья Ушинского «Общий взгляд на возникновение наших народных школ» — большой сдвиг в его взглядах, но это была его предсмертная статья.

Сочинения, помещенные в I томе — читатель должен учитывать это — ранние произведения Ушинского, когда мировоззрение его только начинало складываться, когда он еще не преодолел идеалистического влияния своих учителей и иностранной литературы. Многое, что настораживает советского читателя в этих ранних произведениях Ушинского, он позже критически отверг и сам. Но даже в этих незрелых еще произведениях юного Ушинского уже можно усмотреть его стремление стать на самостоятельный путь, выработать свое, независимое от иноземных влияний мировоззрение.

В этом отношении особенно следует обратить внимание на уничтожающую критику Ушинским немецкой камералистики в первой части его речи «О камеральном образовании». В то время как правительство Николая I в борьбе с прогрессивными течениями общественно-экономических наук насаждало рецептурность, ограниченную камералистику, следуя немецкому ее образцу, молодой 24-летний Ушинский смело выступил с анализом ее убогости и антинаучности и противопоставил этой чиновничьей феодальной камералистике требование построения науки об общественном хозяйстве на основе классической (в буржуазном смысле слова) политической экономии. Для того времени, когда Россия была еще полностью крепостнической страной с сугубо реакционным николаевским политическим режимом, такое требование было значительным шагом вперед.

Вполне естественной поэтому была у Ушинского, когда его научные интересы обратились от экономических и юридических наук к педагогике, такая же острая критика немецкой педагогики (в одной из первых его педагогических статей — «О народности в общественном воспитании») и стремление противопоста-

вить ей свою оригинальную педагогическую систему, понимаемую не как собрание правил, рецептов или спекулятивных метафизических построений, но как совокупность законов воспитания, обобщений педагогического опыта, построенных на философии, изучении психической жизни человека и учете исторического развития и особенностей русского народа.

Ушинский не только провозгласил народность в качестве основной идеи своей педагогической системы, не только дал с точки зрения народности острую критику немецкой педагогики и глубокую характеристику особенностей воспитания у ряда народов и указал, как, по его мнению, следовало бы проводить нравственное воспитание русских детей. Вся его дидактика органически построена на идее народности: в основу ее он кладет изучение русского языка, географии и природы России, историю русского народа.

Его учебные книги «Родное слово» и «Детский мир» построены на фольклоре русского народа, на доступных детям лучших образцах литературы русских писателей; статьи по природоведению, которыми так богат его «Детский мир», — это статьи, знакомящие, главным образом, с природой России. Вместо надуманных абстрактных фребелевских занятий для детей дошкольного возраста, он рекомендует доступные этим детям русские народные игры.

Е. Медынский





ОСНОВНЫЕ ДАТЫ БИОГРАФИИ К. Д. УШИНСКОГО

1824 г. 19.II ст. ст. (по другим данным 1823 г.) К. Д. Ушинский родился в г. Туле *.

1833 — 1840 — годы обучения в Новгород-Северской гимназии.

1840—1844 гг. — обучение на юридическом факультете Московского университета.

---

* Год рождения К. Д. Ушинского окончательно не установлен. В послужных списках Ушинского и в показаниях его биографов год его рождения указывается различно, причем большинство показаний колеблется между 1823 и 1824 гг., изредка в послужных списках предположительно ставится 1825 г., а часто год рождения неопределенно заменяется указанием на возраст Ушинского в момент составления списка. Метрическое свидетельство Ушинского, которое одно могло бы устранить разноречия показаний, безуспешно в течение многих лет разыскивалось В. И. Чернышевым. Ему было известно о существовании в архиве Московского университета какого-то документа о годе рождения Ушинского, но этого документа ему не показали. Только в 1939 г. автору кандидатской диссертации об Ушинском Н. В. Зикееву удалось обнаружить этот документ в архиве Московского университета, в личном деле К. Д. Ушинского. Документ был выдан из Тульской духовной консистории отцу Ушинского в 1833 г. Из документа видно, что непосредственно по рождении К. Д. Ушинский в метрическую книгу записан не был, так как его крестил кладбищенский священник, не имевший метрических книг. Откладывая со дня на день занесение совершенного им акта крещения в метрическую книгу соседней церкви, он скончался, а отец Ушинского, переходя по службе из одного города в другой, вспомнил о метрическом свидетельстве только тогда, когда наступила пора определять Ушинского в гимназию. В 1833 г. сви-

1844—1846 гг. — в качестве «отличнейшего кандидата» Ушинский выделен советом Московского университета в распоряжение попечителя Московского округа и в ожидании назначения готовится при университете к магистерскому экзамену.

1846 г. 2. VIII—1848 г. 21.IX—К. Д. Ушинский состоит и. о. профессора камеральных наук в Ярославском лицее.

1848 г. — «О камеральном образовании» — речь на торжественном заседании Ярославского лицея. Издана в Москве в 1848 г.

1850 г. 6.II — 1854 г. 1.VIII — служба в должности помощника столоначальника департамента инославных исповеданий в министерстве внутренних дел.

дегельскими показаниями, без единого письменного документа, пришлось установить по воспоминаниям участников акта крещения, что К. Д. Ушинский родился в 1823 г. 19 февраля. Эти показания и удостоверила консистория в документе, выданном отцу Ушинского. Устанавливаемая документом дата рождения Ушинского в 1823 г. могла бы быть принята как не вызывающая никаких сомнений, если бы в показаниях как самого Ушинского, так и его биографов не было никаких расхождений. Совершенно понятно, что официально установленной даты нельзя было избежать и на нее необходимо было ссылаться во всех документах. Но когда Ушинскому приходилось указывать свой действительный возраст, его показания и показания биографов склонялись к другой дате, к 1824 г. Товарищ Ушинского по Новгород-Северской гимназии М. К. Чалый, написавший обширные воспоминания об Ушинском, дает показания в пользу 1824 г.; Ю. Рехневский, товарищ Ушинского по Московскому университету, один из его близких друзей, а также секретарь Ушинского А. Фролков определенно называют 1824 г. Сам Ушинский в своих воспоминаниях об обучении в Новгород-Северской гимназии говорит, что ему «не было еще двенадцати лет», когда умерла его мать и он поступил в III класс гимназии. Это было в 1835 г.; в феврале этого года Ушинскому, как совершенно ясно из этого показания, было 11 лет. Это показание опять отсылает нас к 1824 г. Напрашивается предположение, что по весьма понятным житейским соображениям отец Ушинского, принимая во внимание блестящие способности своего сына, захотел определить его в школу на год раньше срока, и в этом смысле при отсутствии каких бы то ни было письменных документов были даны показания свидетелей в консистории. Практика поступления в учебные заве-

1852—1854 гг. — сотрудничество в журнале «Современник».

1854—1856 гг. — сотрудничество в журнале «Библиотека для чтения».

1854 г. 4.XI—1859 г. 25.I. — К. Д. Ушинский работает преподавателем и инспектором классов Гатчинского института.

1857—1858 гг. — сотрудничество в «Журнале для воспитания» и частью в «Сыне отечества».

1859 г. — «Письма о воспитании наследника русского престола».

1859 г. 10.II — 1862 г. III — К. Д. Ушинский состоит инспектором классов Смольного института*.

1860 г. VII — 1861 г. XI — редактор «Журнала министерства народного просвещения» **.

1860—1863 гг. — сотрудник того же журнала.

1861 г. — 1-е издание «Детского мира».

1862—1867 гг. — командировка за границу.

1864 г. — 1-е издание 1-го и 2-го года «Родного слова» с «Руководством» для преподавания по этим книгам.

1864—1869 гг. — первоначальные очерки «Педагогической антропологии» в виде статей в «Педагогическом сборнике».

дения раньше положенного срока нередко имела место в прошлом: известно, например, что Н. И. Пирогов 14-летним мальчиком поступил в Московский университет, имея на руках свидетельство о том, что ему исполнилось 16 лет. Характерно, что как в гимназии, так и в университете, Ушинский по воспоминаниям современников обращал на себя внимание тем, что он выглядел значительно моложе своих товарищей.

Таковы объективные данные о годе рождения Ушинского. Более подробное их изложение дано в статье «Новые материалы об Ушинском» («Советская педагогика», 1941, № 3).

* Заявление Ушинского с просьбой о командировке за границу подано в марте 1862 г., приказ же об его увольнении, оставлении членом Учебного комитета ведомства им-цы Марии и командировке за границу издан 9.VI. 1862 г.

** Приказ о назначении Ушинского редактором «Журнала министерства народного просвещения» издан 9.III. 1860 г.

1866 г. — статья «Вопрос о душе в его современном состоянии» в «Отечественных записках», 1866, № 11—12.

1867—1869 гг. — 1-е издание «Педагогической антропологии», т. I и II.

1870 г. — 1-е издание «Родного слова», год 3-й, с «Руководством» к нему.

1870 г. — «О возникновении наших народных школ» — предсмертная статья в журнале «Народная школа», № 5.

1870 г. 22.XII ст. ст. (по н. ст. 1871 г. 3.I) — смерть К. Д. Ушинского в Одессе.



РЕДАКЦИОННОЕ ПОЯСНЕНИЕ К ПЕРВОМУ ТОМУ

Согласно принятому плану издания в первый том сочинений К. Д. Ушинского включены его ранние произведения, написанные им за десятилетие с 1846 по 1856 г., в период, когда Ушинский сначала работал в должности и. о. профессора Ярославского лицея, затем состоял помощником столоначальника департамента инославных исповеданий в министерстве внутренних дел и, наконец, сотрудником журналов «Современник», «Библиотека для чтения» и др.

Материалы, вошедшие в этот том, далеко не исчерпывают однакоже всего написанного Ушинским за указанное десятилетие. Сюда вошли только наиболее крупные работы и статьи этого периода, дающие представление о характере и направлении умственных интересов Ушинского в эти годы. Значительное число других, большей частью анонимных, работ Ушинского — библиографические рецензии, иностранные известия, фельетоны, переводы с иностранных языков — в настоящее издание не войдет. Однакоже в целях учета этих работ в особом приложении в конце тома дается их перечень.

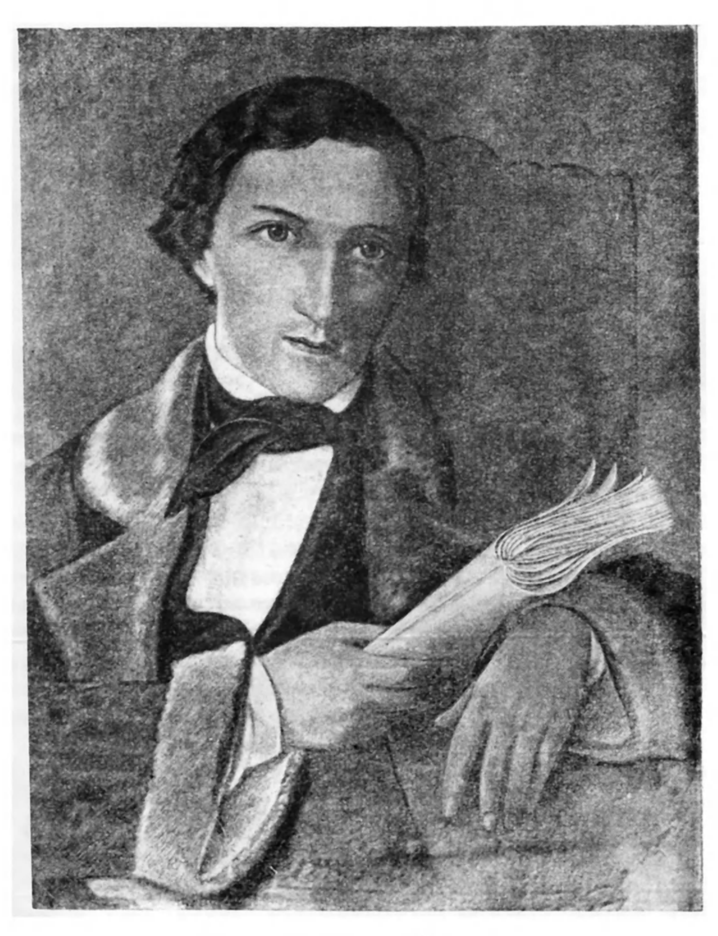
Так как наше издание имеет основной задачей воспроизведение текста наиболее ценных и законченных произведений К. Д. Ушинского, то комментарии к этому тексту ограничены необходимыми библиографическими справками и указателями.

Принимая во внимание, что извлечение ставших библиографической редкостью работ Ушинского, как включенных в настоящее издание, так и не вошедших в него, могло быть осуществлено только при содействии

администрации и работников библиотек — имени В. И. Ленина, А. М. Горького и Государственной исторической библиотеки, а также архивов — Главного исторического в Ленинграде и архива Института литературы Академии наук СССР, редакция считает своим долгом принести им свою благодарность за их содействие в подготовке собрания сочинений К. Д. Ушинского.



Научная работа в Ярославском лицее



К. Д. УШИНСКИЙ (1849 г.)



ЛЕКЦИИ В ЯРОСЛАВСКОМ ЛИЦЕЕ[2]

Лекция первая[3]

Мм. Гг.

ВАМ известно, что наш лицей, в новом своем преобразовании [4], имеет целью приготовить камералистов на службу нашего отечества. Этим действием правительство наше выражает сознание современной необходимости камерального образования для России и предлагает нам средства быть полезными отечеству на этом поприще. По выбору предметов, которые составили мою кафедру, на мне лежит обязанность не только познакомить вас частно с каждым из этих предметов, но и показать вам общее значение камералистики. А потому первое наше знакомство я начну тем, что постараюсь вам уяснить, насколько это возможно для первого раза, взаимное наше назначение.

Конечно, более всего желал бы я, чтобы мы поняли друг друга, чтобы ваше внимание еще более согрело мою ревность и чтобы то и другое было плодом не суровой обязанности, а обоюдного нашего стремления к истине и желания быть полезным нашему отечеству.

Вы теперь покинули уже школьную дорогу и входите в свободную, безграничную область науки, где первым руководителем вашим должен быть ваш свободный разум, а главным двигателем — стремление к истинному просвещению. Мое же дело не указывать вам давно истертую дорогу, но идти вместе с вами по той, которая мне только известнее, чем вам; и тем более,

4*

что эта дорога не только не вполне освещена, но едва проложена; да и самая цель нашего изучения является еще, и то только недавно, спорным пунктом. Еще не решен вполне вопрос, какой именно объем камеральных наук, какая наука должна быть для них основною, и не определена с точностью и сфера действий камералиста. Самое слово — камералистика — на Западе имеет случайное значение, а у нас не имеет даже и того, между тем как всеобщая потребность в так называемых камеральных сведениях, под которыми разумеют разные, но близкие понятия, делает необходимым множество учреждений, подобных нашему лицею. Кажущееся противоречие в этой мысли я постараюсь объяснить вам после, чтобы теперь оно не завело нас далеко в исследование чужих мнений.

Прежде всего я постараюсь указать вам то место, которое занимают камеральные науки в общей области человеческого ведения, а потом — какое место в камеральных науках занимают предметы моей кафедры, — и это мы назовем в в е д е н и е м в общий курс моих лекций.

Камеральные науки находятся в сфере тех наук, предмет которых создан духовною природой человека и именно тех, которые рассматривают человека в обществе других людей. Я не исключаю этим материальной природы из состава этих предметов — она входит в них, но входит столько, сколько человек усваивает ее себе, и притом человек, как член общества. Она входит в состав предмета этих наук потому только, что человек кладет на ней печать своей духовной природы, и притом той стороны души своей, которая выражается в общественной жизни. Следовательно, предметом этой области человеческого знания, к которой принадлежат и камеральные науки, является человеческое общество в его отношениях к людям и к материальной природе. Высшим человеческим обществом является государство — в него втекают, им живут и в

нем движутся все другие человеческие общества — и, следовательно, эту область наук в обширном смысле можно назвать государственными науками — Staatswissenschaften в обширном смысле.

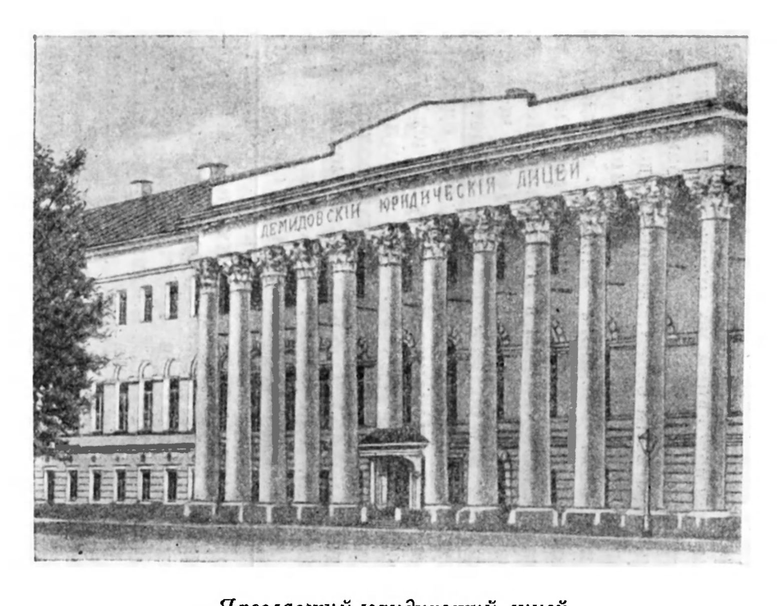
Человек является в государстве двояким: или лицом отдельным, самостоятельным, преследующим свои частные, эгоистические интересы, которые связаны нераздельно с его исключительной личностью, и сами исключают всякие интересы других лиц; или — членом одного живого организма — государства, выполняющим общую цель его, с пожертвованием даже своими частными интересами. В первой сфере двигателем является эгоизм, во второй — патриотизм. Первая сфера есть частная, эгоистическая, гражданская; вторая — публичная, общественная, государственная. Первая подчиняется последней, но последняя, самым своим существованием, необходимо предполагает существование первой, и без нее быть не может; но гражданская сфера только в государственной находит свое полное осуществление. Но, сливаясь в жизни, эти две сферы должны быть строго различаемы в науке. Для вывода понятия камералистики необходимо очертить характер этих двух сфер, потому что из общественных наук вытекают камеральные, и все, что я скажу об общественной науке, относится к камеральной, как к ее части. Гражданскую же сферу я должен отличить потому, чтобы резче определить общественную и еще камеральную, в которой предметами действия являются также имущества и которая, следовательно, может быть иногда смешана с гражданскою. В гражданской сфере человек является вполне лицом — persona, лицом отдельным, исключающим всякое другое, так что это исключение является ближайшим определением личности. Здесь он преследует свои частные, исключительные, гражданские интересы, которые он стремится выполнить только для себя. Здесь он высказывает только свою волю, достигает только своих выгод, я и мое — первые слова в этой сфере.

По самой природе своей, человек, как существо со свободною волею, имеет право на такую самостоятельную жизнь, на такое исключительное преследование своих интересов и носит в себе требование и средства самоудовлетворения, как мы назовем чувство, руководящее человеком в этой частной сфере его действий. И никто не может отказать человеку в этом праве самоудовлетворения — в нераздельности, исключительности, свободе его личности,— никто, ибо отрицающий это право сам бы уничтожил всякую силу своего отрицания. Эта свободная воля есть основа всей человеческой деятельности; только признавая ее, можно требовать отчета от человека в его деяниях. Этою свободою отличается деятельность человека от деятельности внешней природы — на ней основывается все достоинство человека; только с нею он может быть обвиняем в своей деятельности. Словом, на ней только основываются и могут основываться все действия человеческие, иначе они будут действиями внешней природы, действиями животного — как бы умны, как бы рассчитаны они ни были. Ибо часто бывают умны и действия животных. И что может быть умнее, что может быть рассчитаннее действий внешней природы?.. Следовательно, это эгоистическое чувство самоудовлетворения не есть само по себе ни злое, ни доброе, хотя может быть источником того и другого, но только необходимая основа всякого я, без которого оно не будет человеческим.

Обладатель свободной воли есть лицо — persona — и имеет право на признание своей личности, своей свободной воли от всякого другого лица. Прежде существовали отдельно понятие человека и понятие лица; всякое живое лицо было человеком, но не всякий человек был лицом. Христианская религия навек слила эти понятия, но прежде, в древнем мире, именно в Риме, развилось вполне понятие лица; но только римский гражданин был лицом. Памятником этого ложного разделения человека и лица — осталось у нас слово

«гражданин» — civis, имеющее теперь и другие значения; в выражении — гражданское право — оно именно удержало свою тожественность с понятием лица, и гражданское право значит то же, что личное, частное право — гражданская, личная, частная сфера.

Как я уже сказал, в этой гражданской сфере человек преследует свои частные, эгоистические интересы. В этом преследовании не нужно ни понуждать, ни поощрять человека. Чувство самосохранения и сохранения свободы воли своей, желание удовлетворить своим бесконечным потребностям и расширить свое владычество над всем внешним миром — рождаются вместе с человеческим **я** и достаточно ручаются за то, что он не останется спокойным в этой сфере. Человек, желающий чего-нибудь, лучше всех знает, чего желает, и потому сам же должен знать и средства достигнуть желаемого. Он ищет только для себя, один пользуется плодами своего искания, а потому может и должен быть предоставлен самому себе. Но всякое лицо равно другому лицу, как всякая свободная воля равна другой свободной воле. Свободная воля может только быть или не быть, а не может быть более или менее. Одно лицо может обладать большими средствами для достижения своей цели, но всякое — обладает одинаковым правом на достижение их, ибо всякое — имеет в одинаковой степени свободную волю, которая не имеет степеней. Оттого-то в гражданской сфере все лица равны — в этом смысле и наше законодательство объявляет всех равными перед законом. Таким образом, одно лицо, преследуя свои интересы, встречается в них с другим лицом. Или они ищут одного и того же, или разного, но так, что если один получит свое, то другой своего не может получить. Итак, здесь должны решить степень и количество их средств удовлетворить своим желаниям — и кто сильнее, тот и получит желаемое. Но самый сильный, говорит Руссо, не довольно силен, чтобы быть всегда господином. Таким образом, возникла бы борьба между лицами, которую решали бы



Ярославский юридический лицей

средства, которыми они обладают. Но при бесконечности человеческих потребностей и желаний, при бесчисленном разнообразии средств каждого лица, при шаткости и изменчивости этих средств и сил, — в этой борьбе все бы зависело от случая, не было бы никакого порядка, и не было бы ей никогда конца. Человек погрузился бы в беспорядочный, бесконечный и бесплодный хаос, в котором погибло бы все человеческое. Но не таково назначение человека — одно сильное влечение не разрушит в нем гармонии целого. Одна бесконечная сторона его бесконечного духа не погубит других. В человеке есть другое чувство, которое управит этим чувством самоудовлетворения — не ограничит его, но подчинит, как и само себя, законам разума, или, глубже сказать, введет законы разума в это чувство самоудовлетворения — в исключительное, человеческое **я**, ибо только собственный же разум человека может войти в его исключительное, собственное я, в его личность, не разрушив ее. Только разум может повелевать лицом и не уничтожить его свободной воли; ибо разум так же принадлежит лицу, как и свободная воля. Это успокаивающее, устрояющее, спасительное чувство есть чувство справедливости — совесть в своем развитии: voluntas suum quique tribuendi — хотение каждому воздавать должное ему. Оно так же врождено человеку, как и чувство самоудовлетворения, и живет в последнем так, что человек, удовлетворяя чувству справедливости, удовлетворяет самому себе, своему я.

Конечно, у многих нравственно неразвитых людей оно едва заметно, но, тем не менее, всегда и везде, у всех существует — у самых диких народов, у самых развращенных злодеев. Это ручается за его первобытность, природность, за то, что оно рождается и живет вместе с человеческим сердцем. Конечно, в неразвитом, первобытном человеке, в сердце, каковым оно выходит из рук материальной природы, это чувство, как подтверждают наблюдения, почти ничто в сравнении с чув-

ством удовлетворения своих, по большей части, телесных потребностей, и, повидимому, оно должно бы скоро исчезнуть в борьбе с этим диким, порывистым стремлением первобытного человека удовлетворить всем своим минутным желаниям и прихотям. Но это чувство имеет за себя огромное преимущество, непреоборимую силу — разум. На этом-то прочном основании, хотя медленно, но неудержимо развивается это, вначале едва приметное, чувство. Сообразность законов разума с этим чувством не только спасает его от уничтожения, но возводит на ту высокую степень, на которой мы видим его у развитых народов. Чувство самоудовлетворения резко, порывисто, часто овладевает всем существом человека; но зато неопределенно, темно, неограниченно, а потому пусто, и человек, как существо разумное, требующее определенного, разумного, не может остановиться на таком чувстве. Напротив, чувство справедливости, как только появляется, то и находит опору в твердой мысли человека, находит в разуме его такие законы, выполнение которых вполне может удовлетворить ему — этому чувству справедливости. И, кроме того, в самом внешнем мире, в окружающей его природе и порядке вещей чувство справедливости находит также себе твердую опору, ибо человек скоро замечает, что, руководствуясь этим чувством, он скорее, вернее, основательнее, спокойнее удовлетворяет своим потребностям. Верность этой мысли вы оцените при изучении политической экономии. Такое соответствие чувства справедливости с законами разума и с законами внешней природы легко объяснить: законы разума и законы внешней природы даны одним и тем же разумом и истекают из одного и того же источника, из высочайше справедливого существа — высочайшей справедливости.

Таким образом, чувство справедливости, соответствующее законам разума, одерживает верх над чувством самоудовлетворения, регулирует его, ставит его в свои пределы — в пределы справед-

ливости, вводит его в разумную сферу, подчиняет требованиям разума. Эти законы разума, удовлетворяющие чувству справедливости, выражаясь во внешних формах — в законах естественных и положительных — и составляют то, что называют правом. Или, право в строгом смысле этого слова, как право гражданское, есть такой единый закон разума, развитый в своей части, действуя по которому свободная воля лица, направленная на преследование личных его интересов, может удовлетворять им, удовлетворяя вместе и личному чувству справедливости. Под именем личных интересов не надобно разуметь интересов эгоистических в грубом смысле этого слова. Жертвуя какому-нибудь бедняку свое имение, я удовлетворяю этим также своей личной эгоистической потребности благотворения. Мысли и правила мои, которыми я руководствуюсь при этом даре, могут быть далеко не эгоистические, но даже мысли и правила высокого самопожертвования; но удовлетворение этим собственным моим мыслям и правилам будет чисто делом моего частного, личного и, пожалуй даже, эгоистического интереса; а потому и дар есть акт гражданской сферы. В праве гражданском, в праве собственном, в строгом смысле этого слова, не обращают, следовательно, внимания на внутреннее побуждение, на то, почему человек хочет того или другого, предполагая всегда, что во всяком действии человека в этой сфере права воля его направлена на удовлетворение его же исключительных потребностей, и это предположение не есть пустой вымысел, потому что во всяком действии свободной воли должно быть эгоистическое стремление, а иначе воля, как свободная желать того или другого, не проявилась бы или не была бы свободною волею. Этим показывается только то, что право берет и оценивает одну только

внешнюю сторону причины человеческих деяний или, что право не идет далее свободной личной воли человека, и что, наоборот, человеку достаточно только одной свободной воли, чтобы действовать в сфере права. И по этому свойству своему гражданское право, т. е. потому что оно не сходит в глубину духа человеческого, оно носит эпитет внешнего. Для того, чтобы действие человека явилось признанным в сфере права, нужна только известность присутствия свободной воли в действии лица; а как всякое лицо потому только и лицо, что имеет свободную волю, то всякое действие всякого лица в сфере его личных, гражданских интересов есть действие правовое и может иметь все последствия правового действия. А потому и судья в гражданском деле, предполагая всегда за лицом свободную волю, дает его действию всю силу гражданского действия; он не обращается к личности действовавшего, а обращается прямо к факту. Такое отдельное рассматривание, такое отвлечение свободной воли человека от всей остальной его духовной и материальной природы дает этому праву, или праву в строгом смысле, название отвлеченного, абстрактного — jus abstractum. Такое невнимание ко всему остальному человеческому в человеке дает этому праву название строгого права — jus strictum. Так называл его строгий римлянин, исключительно развивавший это любимое его право, так сходное, так слитое с его гордою натурой. Он возвышал понятие гражданина до этой неограниченной свободной воли, а мир христианский перенес такое понятие на всякую человеческую личность и тем сделал это необходимое условие человека еще независимее; ибо в Риме оно зависело от понятия гражданина, в мире же христианском достаточно быть человеком, чтобы иметь право требовать признания своей личности, своей исключительной воли.

Таким образом, вы видите, что право имеет своим непосредственным основанием свободную волю человека, своею непосредственною целью — развитие его лич-

ности; а потому-то в Риме, где, по преимуществу, развивалось это право, как на своей природной почве, личность гражданина получила такое огромное, гордое развитие.

Из этого быстрого очерка характера гражданской сферы вы можете видеть, что отличительный признак ее есть тот, что, действуя в ней, человек исключительно действует в пользу своей личности и что плод действий в этой сфере есть развитие собственной его личности; что интересы этой сферы — чисто личные и не могут быть другими, оставаясь в ней — относятся только к развитию той стороны человеческой природы, которая не может быть разделена и не терпит никакого чуждого вторжения, именно, личной свободной воли человека, именно так, что эта воля может быть только свободною, нераздельною или совсем не быть.

Из этого вы можете вывести, и ваш вывод будет совершенно справедлив, что гражданская сфера не только не соединяет личностей человеческих, но именно в ней-то они и разъединяются, получают обособление, делаются особыми, неделимыми, уединенными личностями. Вы выведете, и совершенно справедливо, что гражданское право именно направлено на то, чтобы разъединить личности в случайном столкновении их между собою, в их интересах; сделать личности тем, чем они должны быть: единичными, исключительными, свободными; защитить их от всякого чуждого притязания; спасти от всякого чуждого вторжения и сделать эту исключительную свободную жизнь их твердою, постоянною. Следовательно, гражданское право направлено на то, чтобы вполне определить, укрепить и постоянно сохранить исключительную личность человеческую.

Такова в самом деле жизненная сила гражданского права: ее можно назвать разъединяющею или обособляющею силою; она зависит от того, что гражданское

право имеет единственным основанием своей жизни свободную волю человека, а свободная воля человека, можно сказать, есть постоянное выражение его исключительности, независимости, самостоятельности, отдельности; а потому-то и в других сферах жизни человека, как только появляется надобность признать какую-нибудь мертвую вещь или какое-нибудь мертвое, отвлеченное понятие чем-то отдельным, самостоятельным, не зависящим от воли человека, то это можно сделать только введя эту мертвую вещь или это мертвое, отвлеченное понятие в обособляющую сферу гражданского права. Но как присутствие свободной воли возможно, в самом деле, только в живом существе человека, то такое предположение всегда остается только предположением, и такие лица носят название вымышленных, юридических — persona juridica vel moralis vel mortua; так общины, города, государства и прочее. Потому-то в гражданских отношениях государство, казна, церковь, частный человек и даже самая ничтожная вещь, которая облечена каким-нибудь гражданским правом, являются равными. Ибо, как мы сказали выше, личность может только б ы т ь или н е б ы т ь, но она не может быть более или менее и равна всякой другой личности. Этот-то смысл выражают слова нашего свода: в с е р а в н ы п е р е д з а к о н о м. Этою обособляющею, жизненною силою своею, т. е., следовательно, самым существом своим, гражданская сфера резко отличается от сферы публичной, общественной, государственной.

Мм. Гг.

Совершенно противоположное основание имеет общественная сфера. Самое название ее показывает, что главное ее свойство есть общить, делать из разных существований одно общее. Так, как мы рассматривали зарождение гражданской сферы и необходимость ее, так рассмотрим и общественную.

Мы видели, что человек, преследуя свои личные интересы, уединяет, обособляет свою личность, и что он совершает это посредством гражданского права. Но, живя в таком уединенном преследовании своих личных интересов, мог ли бы человек не только развиться до этой степени, на какой мы его теперь видим, мог ли бы даже достичь своих личных интересов? Мог ли бы выполнить закон создателя — будьте совершенны, яко отец ваш небесный совершен есть? Самое поверхностное рассуждение убедит вас в невозможности человеческого развития без общества. Но мы отыщем глубже причину этой невозможности, которая будет вместе причиною необходимости общества и, следовательно, и основанием, принципом, началом самого общества.

В общественной сфере, как и в гражданской, в основе всякого движения лежит необходимость удовлетворения своим потребностям. Самая существенная, самая человечественная потребность в человеке есть потребность совершенствования развития. Ею-то человек, подобный животному во всех своих способностях, резко, недосягаемо отделяется от него. Животное, каким родится, вырастет и умирает; роды животных, какими созданы, такими живут и исчезают. Но взгляните на эти беспомощные, презренные, материальные зародыши человечества, раскиданные по островам Океании, которых пропустило солнце истории в своем оплодотворяющем ходе — и вам странно будет назвать их людьми. Прочтите историю ваших предков — и вы увидите, что не одним только временем вы отделяетесь от них. Причина такого совершенствования лежит не вне человека, но вложена творцом в самый дух его или, глубже сказать, эта причина и есть самый дух человека. Божественным духом своим человек приближается к подобию божию, выполняет закон, который завещала нам бесконечная любовь — быть подобными творцу нашему. И без развития человек не будет человеком, а только тем, что могло бы быть человеком — тем.

чем был человек, пока господь не вдохнул в него вечно развивающейся жизни своей.

Эта потребность развития и есть причина, заставляющая человека входить в общество. Человек, один носитель сознательного духа во всей окружающей его бессознательной природе, не видит в ней ничего, подобного своему развивающемуся сознательному духу и потому не может развить его один с природою, но только с подобным себе существом — человеком, таким же носителем такого же сознательно развивающегося духа. Вот из этой-то простой истины вытекает необходимая связь между развитием и обществом, которую так многие не понимали. Человек развивается только в истории, только в истории сознает свое развитие — и нет истории без общества.

Общественная жизнь необходима для развития и, вызывая это развитие, она сама строится по степени этого развития, сама является его выражением.

Без общества нет развития.

Без развития нет общества.

Развитие есть принцип общества.

Общество есть необходимая и единственная форма, в которой совершает история развитие человечества. Замечу: слову «общество» я даю здесь тесное значение исторического общества и тем самым отличаю его от обществ, составленных произвольно, для произвольных целей, каковы — общества торговые, застрахования и прочие. Здесь я говорю об обществах, каковы — род, племя, народ, государство, в которые входит человек по необходимым законам своего существования исторического, и потому эпитет исторического общества вполне определяет характер этого общества. Итак, ко вступлению в историческое общество человек побуждается: во-первых, своею животною природою; во-вторых, инстинктом общественности — исключительною принадлежностью животного человека; и, в-третьих, необходимою потребностью совершенствования развития — потребностью духовного человека,

потребностью духа. И, таким образом, общество должно удовлетворить: во-первых, тем материальным потребностям, которые могут быть удовлетворены только в обществе; во-вторых, его инстинкту общественности и, в-третьих, его высшей потребности развития. Этого человек может требовать от общественной сферы, как от гражданской — исключительного признания свободы своей личности.

Таким образом, вы видите, что эти две сферы ставятся как бы в противоположности: одна стремится слить личности в едином развитии духа, другая — обособить, разъединить, исключить их. Но в богатстве человеческой природы есть такая среда, в которой примиряются эти два противоположные стремления; эта среда есть развитие человечества в истории. Различные, обособленные в гражданской сфере личности являются носителями одного божественного духа, живущего и развивающегося по одним непреложным его законам, и человек, с одной стороны, как личность исключительная, с другой, — как носитель духа, единого всему человечеству, сам в себе примиряет эту двойственную природу свою, а именно примиряет ее в историческом развитии общества. Высшее из обществ — государство есть это примиряющее; в современном государстве человек является личностью отдельною, свободною и вместе живет общею государственною жизнью и, следовательно, тою идеею, которую выполняет она в развитии человечества; в с о в р е м е н н о м государстве, сказал я, ибо, как вы знаете, в государствах древних элемент государственный поглощал частный. Такое примирение, как я заметил, совершается в обществе; это примирение и составляет развитие общества; оттого-то наши современные общества своею крепостью так превышают древние общества. Оттого-то чем более совершенствуется человек, чем сильнее в нем требование духа — тем сильнее требование общества; только дикарь еще может существовать среди лесов своих, но для человека образованного оно составляет необ-

ходимейшую потребность, и удаление из общества для человека развитого то же, что смерть. Так и в наших уголовных законах изгнанием из общества заменилась смертная казнь. Правда, иногда и добровольно, после сильных нравственных потрясений, человек прибегает к уединению, как к лекарству, но и там он не разрывает своих связей с обществом и живет с ним, связанный всем, что только он ценит.

Таким образом, и общество обнимает все развитие человека, и, наоборот, человек в сфере общественной должен находить место для полного всестороннего развития своего. И потому, какою стороною своею и в каком направлении развиваются члены данного общества, то это развитие собою и выражает историческое общество, и, следовательно, общество всегда выражает собою степень развития своих членов и направление этого развития, так что те ступени, по которым развивается историческое общество вообще, являются вместе и ступенями развития человечества.

Вы видите, таким образом, что, во-первых, главная отличительная черта общественной сферы от гражданской есть та, что ею соединяются отдельные личности в едином развитии исторического общества, так что человек участвует в развитии всего человечества через развитие этих исторических обществ, которые являются отдельными, самостоятельными личностями в развитии всего человечества (пример). Во-вторых, тогда как сила гражданского права стремится обособить, разъединить, определить личности человеческие, сила государственной, публичной сферы должна укреплять связь — целое, делать его жизнь самостоятельною, но не исключительною, а такою, чтобы она сливалась с общею жизнью, с общим развитием всего человеческого (пример). В-третьих, в гражданской сфере, чтобы появилось действие в этой сфере, достаточно, чтобы было признано, что оно исходит из свободной воли действовавшего. Цель же их и средства остаются на их произвол (пример). Напротив, в публичной сфере, чтобы дей-

ствие явилось публичным, получило место в этой сфере, нужно, чтобы оно имело отрицательное или положительное влияние на развитие этого данного исторического общества. В-четвертых, как и в гражданской сфере, если действие сообразно с законами этой сферы — с гражданскими законами, то оно получает юридическую жизнь, и действительность (пример), так и в публичной сфере действие, чтобы получить жизнь публичную, жизнь общественную, жизнь историческую — чтобы иметь историческое влияние на судьбу этого исторического общества — должно быть сообразно с законами развития этого общества, иначе оно само по себе, как чуждое этому развитию, не будет иметь на него влияния, будет произвольным, может быть граждански-правовым, но не публичным, не историческим и, как чуждое развитию этого общества, отвергнется самим этим развитием (пример). В-пятых, законы гражданского права, как законы, удовлетворяющие чувству справедливости — единому, хотя не в одинаковой степени развитому во всех людях, производят однообразие в гражданских правах народов. Это однообразие гражданских прав бывает большим или меньшим, смотря по тому, под большим или меньшим влиянием публичной сферы развивалась гражданская. Оттого римское гражданское право, которое развивалось почти совершенно самостоятельно, может быть принято, и в самом деле принимается, как бы за норму гражданского права — за чистое гражданское право и потому-то так легко и втекает в гражданские права других народов. Напротив, законы развития общества уславливаются местным и историческим положением этого общества, истекают из этой особенной идеи, которую развивает собою данное общество в истории. И потому эти законы развития обществ разнообразны, как самые общества. Но, несмотря на разнообразный характер, они особенным своим развитием выполняют единый общий закон развития всего человечества, так что все это общее со всеми его особенно-

стями составляет единое стройное развитие всего человечества. Так, в храме великого художника малейшие части, если смотреть на них отдельно, живут своей особенной жизнью — жизнью прекрасного, но все эти особенности развивают единую мысль, выраженную художником в целом здании. Так, в храме великого творца — в природе, так — в теле человеческом, так — везде, где живут законы вечного разума. Ибо этот закон разнообразия в единстве — так что единство осуществляется в разнообразии, и разнообразие живет единством — есть закон разума. В-шестых, мы видели уже, что в гражданской сфере не должно ни поощрять человека к деятельности, ни указывать ему средств, ни принуждать, ибо каждое лицо в гражданской сфере является полным, неограниченным представителем своих личных интересов; но в противоположность этим представителям личных, эгоистических интересов должен явиться такой же полный, такой же самостоятельный, такой же неограниченный представитель общественного интереса. Таким и является в обществе п р а в и т е л ь с т в о. Правительство, следовательно, не имеет своих частных интересов, не есть член общества, но представитель целого общества, представитель общественного интереса; следовательно, правительство не является уже лицом, равным всякому другому лицу общества, но относится к членам его — представителям частных, своих интересов, как целое — к своим частям; и как часть должна уступать и даже приноситься в жертву целому, так отдельное лицо — обществу и его представителям.

Из такого понятия правительства выходит, что все его действия должны быть сообразны с законами развития данного общества или, лучше сказать, совершаться по ним, как в сфере гражданской все решения судьи и действия лиц должны быть сообразны с законами гражданскими — с правом, в тесном смысле этого слова.

В первые времена исторического общества сообразность действий и решений с правом и с законами раз-

вития данного общества происходит бессознательно: первая, то-есть сообразность с правом, живет в юридических обычаях членов этого исторического общества, вторая — в их характере, так что в сфере гражданской оно действует правно не потому, чтобы сознало разумную необходимость сообразности своих действий с законами гражданского права, а потому, что это так повелевает обычай, потому, что в этом обществе привыкли так действовать и признавать такие действия за правные (рождение обычая я раскрою в юридической энциклопедии). В общественной сфере члены общества действуют сообразно с законами его развития, не по сознанию необходимости таких действий, а по внушению характера, общего всем членам этого общества. Эта общность характера происходит от одинаковости происхождения, от одной местности, занимаемой этим обществом, и, наконец, от одинакового исторического положения (например, славяне), — ибо в характере общества, в характере народа лежат и семена будущего его развития. Современем в гражданской сфере, с историческим ходом и с размножением общества, обычаи множатся, дробятся, забываются, находят себе противоречие в новых образах действий, происходящих или из случайностей исторических, или от влияния новых местностей и случайных характеров на характеры членов общества. Тогда обычаи имеют нужду в новой силе, в силе законодательной и, проходя через волю законодателя, являются законами, которым повинуются уже, как выражениям воли, признанной за всеобщую, за высшую. Наконец, с развитием общества является необходимость сознания права, разумности его; это сознание совершается в народе, но выражается в особенном сословии — сословии юристов; таким образом, юристы выражают собою сознание народа о праве.

Такой же путь, по моему убеждению, проходит и сознание разумности законов развития данного общества. Сперва, как мы уже сказали, сообразность дей-

ствий членов общества с законами этого общества лежит в бессознательном влечении общего характера членов этого общества, и это влечение так сильно, что нет нужды в побуждении к таким действиям. С ослаблением, распадением этого характера в историческом ходе, когда с размножением членов общества, с переменами местностей появляются многие новые характеры (пример), и, следовательно, с ослаблением общего характера, — появляется нужда в представителе этого общего характера, в его защитнике, который бы правил, принуждая членов общества повиноваться ему, вызывать его вновь и тем самым сохранил бы единство общества и развил далее его исторический характер; тогда и этот характер облекается силою закона — силою повелений правительства, интересы которого совпадают с этим характером, с интересами целого общества, но так, что эти интересы являются как бы частными интересами правительств, которые они преследуют так же, как и каждое лицо общества преследует свои.

Но в таком распадении общество не может оставаться; и тогда появляется необходимость сознания разумности этих законов развития — необходимость сознать, что, повинуясь этим законам, оно повинуется не безотчетному влечению характера, не повелениям принудительной силы, но необходимой силе разумного закона развития (пример). Это сознание совершается во всем народе; но выражение его принадлежит администраторам и науке, которая может быть названа наукою администрации, потому что публичную сферу в противоположность гражданской называют административною. Но такого общего названия, как и такой общей науки, не существует, хотя уже и были попытки составить ее под разными названиями.

Наука эта не существует в едином составе; но части ее беспрестанно обрабатываются, и особливо в настоящее время, когда административные вопросы получили

такую важность. Эта наука в едином своем составе должна показывать вообще законы развития исторического общества и в данном обществе — законы развития этого общества и тем самым предлагать правительству и частным лицам средства для сообразности их действий с законами этого развития.

Часть этой обширной и бесконечно важной науки составляет, мм. гг., и ваша наука, которая в целом своем составе носит название камералистики.

Теперь я постараюсь показать, какую именно часть политических наук составляет камералистика, показать ту особенную идею, которая принадлежит вообще науке администрации, но в частности развивается в вашей науке, — идею, которая, вытекая из основного принципа общественной сферы, является сама основным принципом для сферы камеральной, а, следовательно, и для области наук камеральных; так что эта камеральная сфера входит в общественную и подчиняется всем тем условиям существования этой последней, которые мы видели выше.

Я сказал уже, что материальная, внешняя природа входит в область политических наук постольку, поскольку человек наложил на нее печать своего божественного духа и сделал ее орудием для развития этого духа. Но как вы уже видели, что видимое, жизненное совершение этого развития является в обществе, что развитие общества есть видимое, историческое выражение развития духа, следовательно, жизни духа, ибо жизнь духа есть его развитие, то и внешняя природа постольку входит в состав политических наук, поскольку она служит орудием для развития общества; а как устройство общества, его сохранение и продолжение есть необходимое условие развития, ибо развивается только то, что есть, то, следовательно, и внешняя природа постольку входит в состав наук общественных, поскольку она служит орудием *устроения, сохранения и развития общества*. *Таким образом, устроение, сохране-*

ние и развитие общества посредством внешней природы и есть основная мысль, принцип камеральных наук, причина их самостоятельного существования, как отдельной области человеческого ведения. Разовьем же в сегодняшнюю лекцию эту основную мысль настолько, чтобы видеть общий состав камералистики.

Общество в своем развитии встречается с внешнею природою в двояком отношении. Внешняя природа, как бессознательная, является противною устроению, сохранению и развитию исторического общества. Такова внешняя природа в своих крайностях. Так, бесплодие, мрак и холод Сибири оставляют человеку одну возможность думать о продолжении самого животного существования; также и безмерная щедрость природы южных стран Азии усыпляет в человеке все человеческие порывы. Так, гористые страны Тироля и Альпов, покровительствуя пастухам и охотникам, мешают развитию промышленности, а заманчивая поверхность Адриатического моря сделали из Венеции не государство, но сборище купцов. Кроме таких постоянных вредных влияний внешней природы на развитие общества, сколько временных, проходящих, но тоже гибельных! Таковы — моровые поветрия, голод, наводнения. Многие, да почти и все, из этих препятствий могут быть удалены только соединенными усилиями целого общества и, притом, общества в его развитии. Средства такого удаления, как дело общественное, занимают важную часть в камералистике и входят в состав полицейской науки.

Другое отношение внешней природы есть то, что она является средством, которым должно воспользоваться общество для своего устроения, сохранения и развития; это и есть существенный предмет камералистики. Вы знаете уже из истории, какое огромное, благодетельное влияние имела изящная природа

Греции на развитие ее жителей. Вы узнаете из статистики, какое неоценимое влияние имело гармоническое разнообразие форм материка Европы, умеренность ее климата и развитие ее береговой линии на цивилизацию ее жителей, как самое разнообразие этих форм отразилось в живом разнообразии характеров европейских обществ. Это влияние сперва, конечно, происходит бессознательно; но в науке, как в сознании, в науке камералистики должно быть сознано, оценено, и тем самым покажутся средства, посредством которых можно воспользоваться этим влиянием для развития общества. Но, чтобы сознательно, свободно пользоваться природой, чтобы употреблять силы ее по мысли и для мысли, а не быть рабом ее доброго или дурного влияния — должно знать законы природы. Вся власть природы над человеком лежит в тайне этих законов; однажды обладатель этих тайн, человек явится властелином природы — все силы ее явятся его бессознательными покорными орудиями, чем и должна быть бессознательная природа.

Естественные науки во всем их объеме представляют собою эту вечную борьбу человеческого разума со скрытностью природы. Но цель естествоиспытателя есть только открыть эти законы; и если он пользуется своим открытием, то только для новых же открытий. Но камералист не естествоиспытатель; он должен видеть в законах природы орудия власти над нею. Механика, технология, агрономия должны научить его владеть этими орудиями. Но при всем этом изучении не должно забывать того, что здесь дело идет не о власти одного лица над природою, но о власти целого общества; следовательно, не механика, технолога, агронома должно приготовить камеральное учение, но — камералиста, который бы знал прилагать все эти свои знания к развитию данного общества; то-есть, камералист должен эти средства, добытые у природы, употребить на устройство, сохранение и развитие общества. Каким образом употреблять материальную природу

на устроение, сохранение и развитие общества, это показывают науки политико-хозяйственные, к которым относятся: политическая экономия, как наука о хозяйстве вообще исторического общества, с принадлежащею к ней наукою о торговле; финансия, как наука о хозяйстве правительств, и, наконец, хозяйство частных лиц, которое составит часть науки сельского хозяйства; кроме того, хозяйственная часть науки полиции.

Эти, если позволите так назвать, политико-хозяйственные науки составляют переход от одной, как кажется, отдельной половины камералистики к другой; или, лучше сказать, науки политико-хозяйственные составляют ту среду, в которой соединяются естественные науки, через их приложения, с науками чисто политическими; а потому и эти связывающие науки имеют две части — теоретическую и практическую, которые, впрочем, существуют под разными названиями. Связываясь между собою единством науки, первая из этих частей примыкает ближе к чисто общественным или политическим наукам, вторая — к чисто естественным и их приложениям; и потому-то от наук политико-хозяйственных мы переходим теперь к чисто политическим наукам.

Переход этот очень прост. Чтобы действовать внешнею природою для развития данного общества, камералист должен знать, во-первых, что такое общество вообще и законы его развития, а это и есть предмет политической части энциклопедии законоведения; во-вторых, камералист должен знать то данное историческое общество и законы его развития, в котором камералист хочет действовать. Но настоящее положение общества есть плод прошедшего — истории этого общества; бразды настоящего всегда во власти прошлого. Для этого русскому камералисту необходимо знать внутренний организм своего государства и законы, по которым движется государственная жизнь

в этом организме. Искать такого знания он должен в государственном праве и его истории. В-третьих, он должен знать настоящее положение общества в отношении его к внешней природе; словом, — статистическо-географическое положение общества.

Но далее, как вы видите, действия камералиста падают все в сферу имущественную, которая есть предмет обладания частного, а всякое частное обладание движется по законам гражданского права, которое в жизни своей выражается в судопроизводстве. Вот довольно полный круг камеральных сведений, который предлагает вам Демидовский лицей в новом своем преобразовании. Но в этом кратком обзоре, до крайности стесненном пределами вступительной лекции, вы, вероятно, заметили пропуск нескольких предметов вашего курса учения. Но я излагал круг только камеральных наук и потому не перечислял предметов общего образования, необходимых для всякого русского, каковы — богословие, русская словесность и языки; далее, я не перечислял тех предметов, которые приготовляют к особым камеральным наукам, как математика, или относятся к ним, как необходимые прибавки, как лесоводство, землемерие, и пр. Но и за этим еще остается одна целая наука и несколько частей других наук, которые не входят в состав камералистики. Причину их помещения в ваш курс я объясню словами второй статьи нашего нового устава — главною целью Демидовского лицея есть распространение основательных сведений по части камеральных наук, в с в я з и с о т е ч е с т в е н н ы м з а к о н о в е д е н и е м. В этих словах выражается то, что наш камералист может только действовать на государственной службе и, следовательно, должен иметь познания, необходимые для этой службы. Такие познания он должен получить предварительно: в части энциклопедии правоведения — в части государственного права и именно той, которая говорит ему о службе; в уголовном праве и судопроизводстве; в части поли-

ции и в догматических частях других политико-экономических наук.

Еще несколько слов. Вас, вероятно, поразило то, что для составления круга камералистики я должен был разрывать некоторые науки на части, другие же, напротив, соединять. Причина этого лежит в исторической судьбе камеральных наук на Западе. Там камерами назывались и называются присутственные места, ведомство которых составляли, большею частью, имущества владетельных особ, к которым причислялись прежде и теперешние государственные имущества и все, теперь чисто государственные, доходы, которые были тогда частными доходами владетельного лица. Сведения, необходимые для заведывания и управления этими имуществами и доходами, назывались камеральными, а науки, в которые их соединяли, большею частью, случайно, по требованию обстоятельств — камеральными науками. С постепенною переменою воззрения на эти имущества и доходы, когда они из частных, княжеских владений делались государственными, постепенно отделялись и камеральные науки к общественным, политическим. Так, сперва полиция, потом финансия сделались чисто политическими науками; тем же сделались и должны сделаться и различные науки, необходимые для управления всеми общественными, государственными имуществами. Но такой переход совершился не вдруг и, еще и теперь, не вполне; а потому многие камеральные науки, отделившись раньше, потеряли свое настоящее значение, присоединились к другим, чисто политическим, как хозяйственная полиция, или захватили не принадлежащее им. Словом, камералистика, как единая наука, осталась только в понятии — с несколькими отрывочными предметами, и жизнь первая, своими требованиями, напомнила об этом неосуществленном понятии. Требования жизни, в едином стройном камеральном управлении, не выполнены еще вполне и на Западе. Но и у нас стремление удовлетворить требование жизни отчасти выра-

зилось в учреждении Министерства Государственных Имуществ; а желание приготовить удовлетворение такого требования совершенно ясно — в основании камеральных заведений, к которым принадлежит и наше. И для нашего отечества такое единение легко, ибо у нас не было камер, подобных западным, и, следовательно, не было исторического раздробления камеральной сферы, и нам не нужно бороться с прошлым.

Нигде наука не соединяется так видимо с жизнью, как в политических науках; а самым ясным, самым видимым образом — в камеральных науках. Часто наука напоминала жизни о единстве; но здесь, наоборот, жизнь напоминает науке о единстве. И по моему убеждению с этих материальных границ политические науки должны начинать свое единение с жизнью, необходимость которого живет в единстве всемирных законов разума.

Таким образом, не разнообразные и не бессвязные между собою науки будут вам преподаваться здесь; но единая стройная и вполне современная наука камералистика. Единством мысли вы должны оплодотворять все ваши разнообразные сведения и помнить, что на вас более, чем на ком-нибудь, на всех на вас будет лежать обязанность сохранить в жизни стройность и истину этой науки. Только от юности и можно ожидать выполнения современных требований, лежащего в будущем.

Лекция вторая [5]

17-го февраля 1847 г.

Мм. Гг.

История русского государственного права есть история построения внутреннего организма этого государства. И как всякий организм в природе, так и организм государственный в своем развитии много зависит от этой среды, в которую он поставлен. Скажу

более: появлением нового государства вводятся в историю не только новые племена, новые характеры, но и новая страна со всеми особенностями своего характера. Эти оба данные есть тот субстрат, в который выливается историческая идея будущего государства. На страну какого-нибудь государства можно смотреть, как на материальные, вещественные выражения той самой идеи, которая, повторяясь, выражаясь яснее, духовнее в физическом организме и характере племени, выражается, наконец, совершенно полно, освобождаясь от этих материальных, стесняющих границ, в истории государства. По совершении этой истории идея принимает сообразную себе форму — форму мысли — и в таком же виде вносится в общее историческое развитие человечества. Я хочу допустить здесь для ясности довольно смелое сравнение, которое, тем не менее, будет верно; если мы представим себе существо государства в виде единого разумного создания, живущего в истории, то страна его будет его тело, его народ со своим особенным характером будет его чувства — телесно-духовные чувства, а смысл его истории, то, что обыкновенно называют судьбою государства, будет его разум — исторический разум. И все эти три части не противоположны в человеке — разум, чувство и тело, но составляют единое гармоническое целое, в котором живет одна идея, отражаясь и в теле и в чувствах; так что разум будет смысл этого чувства и этого тела, смысл концентрированный, выраженный в настоящей своей форме — форме идеи, а, наоборот, тело будет только вещественное, материальное выражение этой идеи, которая дает ей возможность существовать в мире вещей физических, как особенному, как отдельному, действительному созданию. Сохраняя такой взгляд на государство, мы в самой стране его будем искать первоначальных причин такого или другого ее направления и такого или другого характера ее племени, так же, как опытный физиономист ищет в теле признаков характера человека, а критик — в характере писателя признаков

особенности его идеи; и притом, должно заметить, что характер одного человека может измениться от какого-нибудь случайного капризного направления его воли, но в огромной массе народа, составляющего государство в его историческом протяжении, такие капризы невозможны.

После такого вступления вам не покажется странным, если историю государственного права России я начну обзором физического состояния страны, занимаемой ныне этим государством. Недостаток времени заставит меня ограничиться одною Европейскою Россиею, да, впрочем, я и не надеюсь дойти до того периода нашей истории, когда Сибирь сделается одною из областей русских.

Первое внимание мы обратим на то, какое место занимает страна России на том историческом пути, по которому проходило развитие человечества. Вы видели уже из моих лекций по энциклопедии, что история, расставшись с берегами Азии, перешла в Грецию, оттуда в Рим и, наконец, в Германию, в самом обширном смысле этого слова. Скоро ее оживляющее присутствие почувствовали и самые северные земли Европы: и этот север, носящий общее название Скандинавского мира, к которому принадлежали полуостров Скандинавский, Дания, северные берега и восточные края Балтийского моря, а также Исландия и, частью, острова Великобритании. Таким образом, вы видите, что развитие человечества достигло в своем круговом ходе границ нашей страны. С другой стороны Россия граничит с Азиею, которая давно уже передала все, что успела сделать, берегам Греции и с тех пор, не подвигаясь ни на шаг, если исключить только необыкновенное явление магометанства, дремлет над развалинами своих древних гигантских форм. Таким образом, огромная страна России стала на границе между Европою и Азиею. Если только справедливо определение истории, что она есть развитие духа человеческого в пространстве и времени, если движение развития в простран-

стве не остановилось, то русская земля является необходимым звеном такого движения. Но, конечно, если бы в ней представлялись какие-нибудь непреодолимые для человечества преграды природы, то это движение должно бы было избрать себе другой путь. Напротив, мы увидим, что в нашей стране произошло самое гармоническое смешение огромных, подавляющих форм азиатской природы с нежными, отчетливыми формами Западной Европы и что местность западно-европейская непременно соединяется в нашей стране с местностью азиатскою. Мы увидим, обозревая границы России, как расчетливо связала их природа и с Азиею и с Европою, как глубоко обдуманно вела эту связь до центра России, где создала нечто целое из этого смешения. Этот краткий очерк вам уже достаточно покажет, что давно появившаяся мысль, что Россия есть посредствующее звено между Европой и Азиею, не есть пустая гипотеза, но только подмеченная мысль самой природы. То же самое значение России, как звена между двумя частями Старого света, выразилось и в характере тех племен, из которых составился народ. Но этот образ племен мы оставим на другую лекцию.

При поверхностном взгляде вся страна России представляется не более, как одною огромною равниною, врезавшеюся на север Западной Европы углом, которого вершина лежит на устьях Рейна, а основание у устьев Немана и у юго-восточной оконечности Карпатов. Альпийские горы, стеснясь своими вершинами в Швейцарии и Тироле, протягивают на север Германии свои длинные ветви и неприметными склонами переходят в эту огромную равнину, центр которой лежит в сердце нашей земли. Но равнина, на которой расположена Россия, не представляет одной горизонтальной площади, а, напротив, она, падая почти в уровень с поверхностью морскою на своих границах, возвышается площадями, на которых расположены наши губернии, до той центральной плоскости, которую обыкновенно называют плоскою возвышенностью и

на которой должна была зародиться наша чисто русская история и наш чисто русский народ.

Обозрим границы этой плоскости. Начнем с северо-востока. Страны на запад от Белого моря представляют собою огромную равнину, перерезанную болотами и усеянную по местам скалами. Эта пустынная равнина, упираясь в горы Уральские к востоку и начиная с юга от источников Печоры, Мезени, Вычегды, Северной Двины и Онеги, склоняется совершенно ровною и неприметною плоскостью к берегам Белого моря и Ледовитого океана. Уже на юге этой страны жилища человека чрезвычайно редки, а на севере открывается совершенная пустыня, усеянная лесом и болотами. По этому-то склону бегут Печора, Мезень, Северная Двина и Онега со своими притоками. Климат этой страны — постоянный холод. На юге ее влажные леса, а на севере — почти всегда замерзшее море. Одних, казне принадлежащих, лесов здесь 72 миллиона десятин. Почва — болотистая — мало способна к земледелию, но обильных лугов встречается довольно. Здесь-то могли скрываться те полуохотничьи и полупастушеские племена, которые потом постоянно проходили юго-востоком России и через ворота гор Карпатских в Европу. Реки этой плоскости в своих источниках встречаются с притоками Волги, которые через нее несут свои воды в море Каспийское. И такая встреча давала в древности возможность сообщения этих на несколько тысяч верст раздвинутых стран. В этом же месте сообщения севера с югом лежат богатые остатки торговли незапамятной древности. Здесь же шла торговля новгородцев; здесь и теперь Вологда — колония новгородская — соединяет собою торговлю Петербурга с Сибирью, Архангельска — с Вяткою и Пермью. Далее к западу эта равнина продолжается до самых уступов Скандинавских гор, недалеко выдающихся в Россию. Но на западе своем она падает еще ближе к уровню моря и представляет собою в части Олонецкой губернии и в Финляндии огромное болото, прерывающееся

в бесчисленные озера, так что у берегов Балтийского моря не знаешь еще, что властвует — вода или земля, и представляет ли последняя продолжение континента или только кучу бесчисленных островов. Но зато те скалы, которые на востоке этой плоскости рассеяны там и сям, собрались на западе ее, на этом низменном и шатком основании, огромными группами, как будто для того, чтобы удержать здесь землю от совершенной гибели в борьбе с морем. Это смешение скал и воды, обнятое болотными испарениями, представляет собою ту чудную картину, которая под лучами солнца расцвечивается самыми живыми и разнообразными красками, а под задернутым небом представляется неприступным, суровым жилищем страшных божеств финской мифологии.

Воды, рассеянные там и сям в Финляндии, между скалами и болотами, на юг от ее гранитных возвышенностей, вырываются цепью больших озер, которые со своими притоками и искусственными каналами связывают со странами, лежащими вокруг Финского залива, страны Белого и Каспийского морей. Главнейшее из этих озер — Ладожское — связывается Свирью с озером Онежским, которое с немногими перерывами доводит эти водные пространства почти до самого Балтийского моря, так что, если бы воды Финского залива поднять только на 600 футов, то море Балтийское и море Белое соединились бы между собою в этом углублении, означенном большими озерами. В конце этого углубления, на том канале, которым связывается озеро Ладожское с заливом Финским, стоит новая Петровская столица, и много раз, когда сильный западный ветер гонит массу вод в этот залив, Нева должна была останавливать свое течение и заливала до половины эту новую Венецию. Вокруг Петербурга, как будто для контраста с этою блестящею столицею, распространяется страна низкая, болотистая, холодная и влажная, с неблагодарною почвою, и бедная лачуга финна недалека от пышных зданий Петербурга. Этот

город есть памятник самой блестящей победы в той трудной и упорной борьбе, которую уже тысячелетие ведет русский человек с природою своей страны. Основание Петербурга несравненно больше, нежели Полтавская битва, обрисовывает великое назначение нашего преобразователя и доказывает величие его непобедимой воли. Мы надеемся показать впоследствии все значение, которое имел Петербург в истории нашего государства. «Не было во всей обитаемой России, — говорит знаменитый французский географ, — менее удобного места для столицы Петровской империи». Но в ответ ему можно сказать, что, кажется, сама судьба, заботясь о России, указала это место Петру для его столицы. И жалки и смешны те обвинения, которые посылают Петру с одной стороны люди просвещенного Запада, с другой — противники их, наши московские патриоты. Оставим опровержение этих мнений до другого раза, а теперь станем продолжать начатое описание границ русской равнины. Пространство земли, граничащее к западу берегами моря Балтийского, начиная от Финского залива, представляет собою низменную равнину, перерезанную судоходными реками и озерами и поднимающуюся незаметно к нашей центральной возвышенности, которая яснее уже высказывается в возвышенностях Валдайских. К юго-западу же эта равнина еще более понижается в болотистые пространства Литвы. На юго-восточной возвышенной стороне этой равнины лежат источники самых значительных наших рек — Волги, Днепра, Западной Двины. Большие озера, встречающиеся еще на севере и северо-западе этой равнины — в Новгородской, Псковской, Эстляндской и Лифляндской губерниях, на севере Лифляндской, на юге ее и в губернии Курляндской, уже теряются и заключают собою страну больших озер, начавшуюся в Финляндии. На юге же Лифляндии и Курляндии начинается незаметно та глинистая возвышенная равнина, которая составляет отличительное свойство центральной России. Общий характер наших

южных Прибалтийских стран есть низменная, монотонная плоскость, на которой разбросаны известняковые возвышенности, выказывающиеся яснее на островах заливов Финского и Рижского, и которые, вероятно, соединяются с такими же возвышенностями, с одной стороны, Готланда, лежащего посредине Балтийского моря, а с другой — с возвышенностями южной Финляндии. По полям же повсюду рассыпаны отрывки гранита. Берега состоят из песчаных пространств, мало-помалу отдаваемых земле убывающими водами Балтийского моря. Климат этой равнины умеряется при берегах влиянием влажности моря и уже представляет значительное уменьшение суровости перед климатом Петербурга и Новгорода. Из всех, можно сказать, наших северных пространств это более всех имеет на себе характер климата европейского, но незаметно теряет его в своем постепенном возвышении на юго-востоке, а потому эта страна, то-есть нынешние губернии Курляндская, Лифляндская, Эстляндская, Псковская; южная часть Петербургской и юго-восточная часть Новгородской — первые выступили на страницы нашей истории под пером западных писателей, в устах исландских скальдов и в благочестивом временнике Нестора. Первобытная история этого пространства связана тесно с историей всего Балтийского поморья — с историею Дании, Скандинавии и даже далекой Исландии.

Оставляя эту страну, которую мы, пожалуй, назовем Южно-Балтийской, до будущего рассматривания начала нашего государства, я сделаю только одну важную заметку, что эта Прибалтийская страна, составляя однообразную массу на берегах всех наших Остзейских губерний, подымаясь к своим континентальным границам, не обозначает их резко, но, напротив, незаметно и совершенно последовательно переходит: на северо-востоке в страну больших озер и скал Финляндии; на востоке — в ту возвышенность, которою начиналась описанная нами северная равнина Во-

логодской и Архангельской губерний; на юго-востоке — в центральную плоскую возвышенность; с югом и юго-востоком она связывается двумя огромными реками — Волгою и Днепром — истоками своей реки — Западной Двины; на юге же Прибалтийская равнина переходит незаметно к низменным и болотистым пространствам наших Литовских губерний. Таким образом, эта замечательная для нас равнина связывается со всеми важнейшими частями нашего отечества, но не властвует над ними, а, напротив, переходит в них. Не властвует же потому, что центр ее — прибрежная ровная полоса — слишком ничтожен в сравнении с теми особенностями, в которые он переходит на своих континентальных границах.

Но прежде чем мы перейдем к описанию нижних юго-западных границ России, и единство природы, и история заставляют нас завернуть на запад, в тот угол, которым врезывается наша, так называемая, Сарматская равнина в юго-западную Европу, то-есть на восток и север Пруссии. Эта равнина, которую мы называем Н е м е ц к о ю на севере, у берегов моря, носит один характер с прибрежьем нашей русской Прибалтийской равнины, но, видимо, на континенте не связывается ни с нею, ни с нашею центральною равниною, а, напротив, в восточной части нынешней восточной Пруссии связывается Неманом и другими меньшими реками с болотистыми пространствами Литвы и лежащими от нее на юго-восток, которые достигают юго-восточных границ ее, выражаясь в группе озер; но, подступая к берегам Балтийского моря, переходит в пространства песчаные, выдающиеся далекими косами в море и образующие, таким образом, известные вам Фришгаф и Куришгаф — заливы пресной воды.

Далее к западу, за Вислой, характер этого песчаного прибрежья теряется. Наносы Вислы и Мемеля делают их берега плодородными, так что их устья представляют землю чрезвычайно низкую, но оплодотворенную богатыми наносами. Далее к западу и юго-западу

возвышается равнина земли глинистой, украшенной лесами, оживленной озерами и разделенной холмами, из которых, однакоже, самый большой не представляет более 560 футов. Эти возвышенности переходят незаметно в немецкую группу Альпов. На севере Пруссии встречается группа островов, которые с одной стороны связывают ее с островами Датскими, с полуостровом Скандинавии и с тем рядом островов, которые принадлежат нашей Прибалтийской равнине. Таким образом, вы видите, что эта Немецкая равнина является при поверхностном взгляде небольшим куском огромной русской равнины; но когда мы всмотримся ближе, то увидим, что по своему виду она в самом деле есть повторение прибрежья Прибалтийской равнины, но не связывается с нею ни одною замечательною рекою; напротив, отделяется трудным песчаным путем, на котором иногда при юго-восточном ветре поднимаются глыбы летящего песку, который и теперь часто заносит утлые хижины рыбаков. А что же можно предположить здесь за тысячу лет, когда песок еще не улежался и когда присутствие земледельцев не связало его удобрением; можно положительно сказать, что тогда они не были проходимы; и этот характер земли продолжается и по берегам Померании и даже до корня Дании, хотя, конечно, постепенно ослабевает и делается у́же. Но зато как удобно здесь морское сообщение! Острова, так сказать, мало-помалу сами уводили жителей этой страны и к берегам Ютландии, и в Скандинавию, и в нашу Прибалтийскую равнину. Поэтому мы и видим, что даже в XII веке короли датские предпринимают не сухопутные, но морские походы в эти страны; оттого-то далее история, не показывая нам никакого следа сухопутного сообщения этой местности с равниною Прибалтийскою, оставила следы самого деятельного сообщения этой равнины и ее островов с островами Рюгеном, Волином, Уседомом.

Но не то мы видим на востоке и на юге этой страны. Здесь довольно быстро меняется ее песчаный прибреж-

ный характер: на востоке, — вводясь вверх рекою Неманом и ее притоками в непроницаемые леса и болота Литвы, а на юге соединяется реками Одером и многими другими с плодоносною равниною Польши, которая постепенно здесь теряет свой характер. Таким образом, вы видите, что два пути связывали эту равнину Немецкую с центральной равниной России; на севере — путь морской по островам, на юге — через равнину Польши и болота Литвы. Но обе эти связи весьма слабы, и последняя имеет слишком много посредствующих колец для того, чтобы связать эту равнину с центральною равниною России и чтобы бороться с тем характером местностей, чисто европейских, которые входят в нее с силою из юго-западной Германии. В следующих лекциях наших о начале нашего государства мы необходимо должны будем рассмотреть подробнее эту страну.

Следуя физическим, естественным признакам в ходе очертания границ нашего государства, мы должны теперь необходимо перейти к Литве. Неудержимо вводят нас туда: во-первых, течение юго-восточных рек Балтийского моря; а во-вторых, самый характер земли. Заливы Фришгаф и Куришгаф, окруженные песчаными насыпями, не так противоположны болотам Литвы, как можно думать с первого раза. Их нельзя назвать заливами; они имеют пресную воду и скорее могут назваться озерами, сообщающимися с морем. Только песчаными насыпями отрываются они теперь от южной группы озер, в которые выливаются на севере болота земли Литовской. И этот разрыв берегов Балтийского моря с болотами Литвы посредством песчаных насыпей оканчивается еще на глазах истории; этим могут быть объяснены и те внезапные провалы южных островов и берегов Балтийского моря с целыми городами и селениями; и можно утвердительно сказать, что огромные полосы песку приморского покрывают собою пространства прежние болотистые и эта же причина, может быть, заставила исчезнуть с них леса.

Таким образом, восстановляя по историческим памятникам положение этих земель за тысячу лет, мы незаметно переходим от южных границ Курляндии в страну, которая, мало-помалу, принимает другой, совершенно особенный, свой характер, который долго делал ее исключительною страною, но который, тем не менее, подвержен изменению, — изменившийся и еще меняющийся на наших глазах, теряя свою суровую исключительность. Я говорю о Литве. Эта страна, отделяя собою от центральной русской равнины южный край Остзейских губерний, Пруссию и северную часть Польши, сливается с другой стороны с болотами юга Псковской и Витебской губерний, которые выражаются на севере большими озерами — Псковским, Чудским и Ильменем. Но здесь болота теряют уже свой господствующий и песчаный характер; их замещает здесь почва глинистая и известковая — почва возвышенных равнин, которые по течению Западной Двины поднимаются к возвышенной известковой равнине — к центральной равнине России.

Но переход известковой возвышенной равнины в песчаную, болотистую и низменную равнину Литвы совершается в губерниях Курляндской, Витебской, Псковской посредством самых неприметных склонов. А оттого-то эти губернии долго колебались между Литвою и Россиею. На юго-западе литовская равнина неудержимо связывается притоками Днепра с плодоносными равнинами Малой России так, как на северо-востоке и северо-западе — Неманом и притоками Вислы с плодоносной равниною Польши и с песчаным прибрежьем Балтийского моря. Эта литовская равнина представляет собою страну низменную, почти совершенно плоскую, вообще песчаную, перерезанную обширными болотами и торфяниками, и наполнена остатками тел морского образования. Мне. кажется, что Литва была в нашей части света последнею точкою, где распрощались навсегда воды Балтийского и Черного морей. Но и теперь еще им не хочется расставаться

безвозвратно, и часто встречаются эти старые знакомые, когда полноводье смешает воды рек Балтийского моря с водами рек Черного моря в их почти соединенных источниках, что случается довольно часто!

На следующий раз мы станем далее продолжать физическое описание России, а теперь я позволю себе сделать одну заметку. В странах, которые мы перечли в эту лекцию, начинает в первый раз пробуждаться движение, которым означилось появление на свет нашей истории. В этой же стране позднее, чем во всех других, уже на глазах истории, природа оканчивала свои предуготовительные действия для жизни человека. Так, в этом смысле мы можем назвать нашу историю древнейшею из всех других, хотя она началась уже тогда, когда отжили Греция и Рим, когда далеко зашли на поприще жизни исторической государства германские и германо-римские. Да, ни одна история не подходит так близко к началу жизни человека, как наша. Мы можем подсмотреть, как природа передавала свои бессознательные силы в сознательные руки человека, и России, может быть, назначено объяснить глубокое, многозначительное и доселе таинственное соединение бессознательного творчества природы с сознательным творчеством человечества.

Лекция третья

Мм. Гг.

Мы начали описание пограничных местностей России и в прошедшую лекцию успели осмотреть северный склон ее к Ледовитому океану, русскую, прибалтийскую равнину, немецкое поморье и остановились на обзоре болотистой низменности литовской. Эта низменность, прилегая на северо-западе к равнинам Польши, быстро переходит на севере в песчаное, безлесное немецкое поморье и постепенно изменяется в русской, прибалтийской низменности. На северо-востоке, в гу-

бернии Смоленской, литовская низменность довольно резко примыкает к центральной русской равнине. Это явление соответствует историческому значению Смоленска. Он долго является спорным пунктом между Россиею и Литвою и потом — пограничным стражем центральной России; и почти все нападения с запада обрушились сперва на Смоленске. На юго-западе низменность литовская переходит за границы Черниговской губернии и, продолжая там начатое уже в Смоленской губернии смешение с центральною русскою возвышенною плоскостью, прибавляет к этому смешению еще два новых элемента, которых мы еще доселе не встречали — элемент степной и горной местности. Первый заходит сюда с юга, а второй — с запада, в исчезающих отпрысках Карпатов. Но горный элемент здесь почти еще совершенно неприметен; в Киевской губернии он выказывается яснее, в Волынской — еще яснее и т. д. к западу, так что Черниговская губерния представляет собою замечательное соединение только трех первых элементов: в северной ее половине, до реки Десны, выказывается то глинистая равнина, то болотистые, лесные пространства Литвы, то песчаные остатки высохших болот, и только уже в южной половине Черниговской губернии, за Десною, слой чернозема начинает понемногу прикрывать то литовскую, то русскую почву. Такое наслоение чернозема на других почвах составляет отличительный признак малороссийской равнины, который вполне уже выказывается за южными границами губернии Черниговской, а именно в губернии Полтавской. Здесь на огромном пространстве видно только одно ровное, тучное поле, редко прерываемое лесами, наполненное самой благословенной жатвой.

Полтавская губерния является равниною по преимуществу, а также и самою чистою Малороссиею. В южной ее оконечности, за рекою Сулою, начинают уже появляться степные пространства; но прежде, нежели мы приступим к самому описанию малороссийской равни-

ны, окончим постепенные уничтожения песчаной, болотистой низменности литовской. На юге она переходит недалеко за северные границы губернии Волынской и только касается границ — Киевской. Здесь она встречает на малороссийской равнине новый, нами уже замеченный, элемент, — элемент горный. Уже сам Киев носит на себе отпечаток горного характера, так что все лежащее от него к востоку является как бы поляною. В Волыни присутствие гор выказывается еще более в разнообразии ландшафтов. Наконец, уже Галиция расположена на крутом восточном склоне Карпатских гор. Она обнимает собою северо-восточную дугу Карпатов и быстро понижается в своем направлении к северу и северо-востоку. Реки ее падают круто и быстрым течением своим прорывают глубокие долины. Но уже на северо-восточных границах своих Галиция примыкает к болотам и сыпучим пескам, которые есть не что иное, как высушенные литовские болота. Заметим, кстати, что возвышенные плоскости Галиции, доходящие почти до самых горных вершин Карпатов, являются сообщением весьма неудобным. И в этих горах славянская физиономия является с характером не совсем ей свойственным. Славяне, живущие в ущельях и высоких долинах Карпатов, являются настоящими горцами и ненавидят своих соплеменников, живущих внизу. На юго-востоке Галиции начинает проникать то смешение, которое составляет малороссийскую равнину; на нем живет и племя малороссиян, известное там под именем р у с н я к о в, тогда как север Галиции и реками и местностью притягивается к Польше.

Отсюда-то, из этой прикарпатской местности проникают в губернии Полтавскую, Волынскую и Киевскую постепенно уничтожающиеся возвышенности, сложенные из первозданных пород. Эта примесь горного характера к плодоносной равнине Малороссии производит ту роскошь и разнообразие ландшафтов, которыми отличаются южная часть Волынской губернии, губерния Подольская, до некоторой степени — Киев-

ская и Черниговская. За Днепр, в основную равнину Малороссии этот горный характер, кажется, не проникает. На этой малороссийской равнине в первый раз определенно появилось и утвердилось понятие Руси; на ней оно прожило раздоры князей; в ней оно сохранилось под татарским, польским и московским владычеством, оберегаемое от всего чуждого, как святыня, как драгоценная мысль, завещанная самою глубокою, самою непроглядною древностью. Днепр со своими притоками является основною чертою, как бы сердцевиною Малороссии. Вся эта равнина вообще ниже плоскости восточно-центральной и западной — прикарпатской, но незаметными чертами переходит в них. Днепр разделяет всю эту равнину на две половины: к западной половине мы причислим губернии Киевскую, Волынскую и Подольскую; к восточной — южную часть Черниговской губернии, лежащую по левой стороне Десны, северную часть Полтавской, северную часть Харьковской и юго-восточную часть Курской и Воронежской губерний (северную же часть Черниговской губернии, по правую сторону Десны, скорее можно причислить к смешению с центральною плоскою возвышенностью). Малороссия в этом своем составе является чем-то целым и так чисто выражает характер равнины, как ни одна из местностей России. Она есть соединение чисто литовской низменности с плоскостью центральною, смешение, постоянно одолеваемое характером степным, отчего в Полтавской губернии она является совершенною равниною, и в ней же уже начинается степь. Эта равнина находится в неразрывной связи с далекою прибалтийскою плоскостью, и эта связь совершается двумя путями: в болотах литовских — через реку Неман и на границах литовской и центральной русской местности — через соседственные источники Днепра и Западной Двины; так что вся эта западная половина России составляет собою нечто целое, самостоятельное и в самом деле находилась в древности в тесном, живом сообщении, ко-

торому мешали только болота литовские, а впоследствии — литовское владычество. Но, с другой стороны, восточные притоки Днепра, поднимаясь к своим источникам на центральную русскую возвышенность, передавали ей владычество над тою равниною, где лежат их устья. А потому, несмотря на всю связь бассейнов Западной Двины, Днепра и Немана и потом — близость системы рек новгородских, эта страна не могла быть совершенно самостоятельною, хотя и должна была иметь некоторую самобытность в своей внутренней жизни.

Теперь нам следует приступить к описанию южных, пограничных местностей России.

Южную границу России составляет с т е п ь. Ровное, бесконечное пространство с различною почвою, то песчаное, то болотистое, то покрытое плодоносным туком чернозема, но вообще безлесное, большею частью, с высокою травою. Это необозримое пространство земель недаром напоминает путешественникам морскую поверхность; и, по мнению геологов, оно составляло когда-то дно огромного моря, остатки которого видны теперь в бассейнах черноморском и каспийском. Степь, более плодородная и разнообразная на западе, более дикая и песчаная на востоке, является как бы вторжением Азии в Европу. Это только огромный угол степей Средней Азии. И долго не решались народы Европы причислить их к своему материку и скрывали эту нерешительность под двусмысленным названием Европейской Скифии, Европейской Сарматии и Европейской Татарии. И по самым народам, кочевавшим здесь, трудно было решить, принадлежит ли это Европе или Азии. Большей части народов, населяющих нашу часть света, суждено было пройти через это пространство, иногда надолго останавливаться в нем; а теперь оно является пустынею, которая только что начинает оживать старанием правительства. И все, что мы ни видим на ней, что-нибудь напоминающее жизнь европейскую, жизнь государственную, совершено в каких-нибудь

шестьдесят лет могучим правительством. И кажется, что отрывки всех народов и всех племен Старого света собрались на этот старый путь свой, чтобы оживить его пустыню и ввести ее в жизнь государственную и европейскую. Более, чем на чем-нибудь, можно видеть на этих степях, какую неодолимую силу приобретает человек в стройном государственном организме. Это — великая проба будущей великой борьбы с природою Азии, и эту пробу делает Россия. Мы вправе ожидать великого от этого пробуждающегося края, если посмотрим только назад, что сделано в эти пятьдесят шесть лет, считая от присоединения к России новороссийских степей, случившегося уже совершенно в 1791 году вследствие мира с Турциею в Яссах.

С первого взгляда все это огромное пространство степей представится утомительно однообразным; но, присмотревшись внимательно, можно заметить, хотя не резкие, но тем не менее, существенные и чрезвычайно важные различия в области степей. Почти все они лежат в России, и, начинаясь на востоке широким отверстием, края которого определяются с севера Уралом и болотистыми пространствами Сибири и восточной России, а с юга — Каспийским морем и потом горами Кавказа, область степей идет к западу, постоянно сужаясь и постоянно теряя что-нибудь из своего азиатского характера. На юго-западном конце России степь превращается уже в тонкую полосу бессарабского Буджака и в таком виде выходит из пределов нашего отечества и там сливается неприметно на юге с низменностью придунайскою — в равнинах Молдавии и Валахии, а на севере повторяется в обширной венгерской котловине, которая представляет собою ту же степь, но только измененную как европейским характером, так и болотами венгерской равнины. Пушты, составляющие поверхность Венгрии, замечательны для нашей истории во многих отношениях. По характеру своей местности и по племенам своим Венгрия больше принадлежит к России, нежели к Западной Европе, с ко-

торою, однакоже, связывается неразрывно и системою рек, и горными проходами, и историею. Кажется, как будто экземпляры всех наших местностей и всех наших племен были нарочно заброшены за Карпатские горы, чтобы соединить их там неразрывно с Западною Европою. Венгрия в этом отношении является тем же для южной России, чем балтийское, немецкое поморье — для севера. Теперь уже наука переступила за цепь Карпатов для того, чтобы изучать там родные племена славянские, и принесла нашей истории богатые плоды.

Мне кажется, она бы выиграла еще более, если бы обратилась туда для изучения тех монголо-финских племен, которые или прошли через Россию, оставив в ней глубокие следы, или ушли туда только частью, оставивши своих единоплеменников в пределах нашего отечества. Нижняя венгерская равнина представляет собою в большей своей части пустыню песчаную, пропитанную солью и оканчивающуюся огромным болотом у берегов Дуная и Тейсы. Поверхность ее весьма близка к уровню моря, но неприметно возвышается по направлению к северо-западу — к равнине Австрии — и связывается крепко с Западною Европою бассейном Дуная. По весьма вероятному предположению геологов, это есть не что иное, как осушенное море, которое вытекло отсюда через низменность, означаемую теперь течением Дуная, оставя свои следы в огромных иссыхающих скоплениях вод, каким, например, представляется озеро Балатон. В южной части венгерской равнины бесконечный горизонт утомляет взор путешественника; миражи, порождаемые раскаленным небом, мучат его обманчивыми призраками; и часто вредный туман, закрывая всю эту картину густым покрывалом, похищает и последние следы дороги. По всему этому пространству, а особливо возле озер и рек, разбросаны знакомые нам топкие болота, которые при разливе превращаются в озера, а под жгучими лучами солнца — в непроходимые пространства грязи. Соляные озера и солончаки встречаются здесь чрезвычайно часто;

а это составляет также отличительный характер и некоторых из наших степей. Под одними болотами здесь находится более 108 географических миль, а при разливе рек образуется множество стоячих и гниющих вод. Вся эта борьба все еще не установившихся элементов морского дна повторяется, только в больших размерах, на восточных границах наших степей, у моря Каспийского, и повторяется с чрезвычайною точностью. Только в Венгрии она неприметно утихает при переходе в центральную Германию и в северную Италию, а у нас теряется в безотрадной пустыне Средней Азии, а выражается еще с большею силою в южных пределах Сибири, так что полутатарские и полуфинские, полуоседлые и полукочевые, полустепные и полулесные племена, которых отрывки мы еще и теперь можем видеть в наших европейских, восточных губерниях и в южных пределах Сибири, могли, не изменяя заметно ни своего характера, ни своего образа жизни, перекочевывать от подошвы Алтая к пределам нынешней Австрии и Тироля. А потому, и в самом деле, в языке, в обычаях, в физиономии племен, населяющих Венгрию, мы с удивлением замечаем странное сходство с племенами, живущими по сю сторону Уральских гор и далеко за ними. Сообщение же этой равнины с племенами славянскими, кроме древнего, незапамятного, совершавшегося некогда на берегах Дуная, совершается и ныне, хотя трудно, через возвышенные площади Галиции.

Но перейдем за Карпаты к описанию наших степей. Здесь не вдруг встречается нам их безграничная и однообразная поверхность. Горы карпатские исчезают на востоке — в Галиции не вдруг; пуская свои понижающиеся отрасли в равнину малороссийскую, они в то же время наполняют через Буковину нашу Бессарабию своими исчезающими гранитными возвышенностями и в ней прилегают уже прямо к узкой степной полосе. Но, кроме того, невысокий их гранитный отрог, известный под именем выси Авратынской,

пройдя через литовские болота, где на невысоком хребте своем, покрытом лесом и болотами, смешивает воды Балтийского и Каспийского морей, этот отрог постепенно спускается на юго-восток, перехватывает заборами и порогами все главные реки Черного моря — Днестр — около Ямполя, Буг — невдалеке от Вознесенска, Ингулец — при селении Шестерне, Днепр между Екатеринославлем и Александровском — и, спускаясь потом к Азовскому морю, упирается в него гранитною плоскостью. Гряда эта, вообще низкая и понижающаяся к юго-востоку, обнаруживается по местам большими массами гранита, внезапно восстающего среди степей. Другая гряда гор, состоящая из пластов пород второзданных, настланных на гранитном основании, перерезывает степи поперек, спускаясь от реки Донца к тому же Азовскому морю, и соединяется с тою же гранитною площадью, отделяя, таким образом, бассейн Дона от бассейна Азовского моря, тогда как первая гряда отделяет этот бассейн от бассейна днепровского. Еще, кстати, заметим и третью гряду, тоже весьма невысокую, которая известна под именем Волжских холмов и, спускаясь от центральной плоскости России, отделяет систему волжскую от системы вод Черного и Азовского морей.

Все эти возвышенности так малы, что приметны почти только одному взору наблюдателя и не нарушают однообразия наших степей; но, тем не менее, они важны потому, что ими не только разделяются водные системы, но и обозначаются границы различных особенностей в характере этого пространства. Южная граница степи определяется сама собою берегами Каспийского, Азовского и Черного морей и подошвою Кавказа. Но не так легко определить их северную границу. Она постепенно от северо-востока падает к юго-западу, но провести с точностью этой линии невозможно. На севере постепенно уничтожается характер степной, переходя в равнину, покрываясь лесами и холмами; но пространства с некоторыми чертами степного харак-

тера можно встретить даже в южных пределах губерний Курской, Орловской, Рязанской и Тульской, где народ недаром присвоил им название степей. Такой совершенно неприметный переход в другие северные пространства совершается на всей ее северной границе, сообразно тем местностям, с которыми степь сливается; так, в отношении малороссийской равнины более приметными границами можно положить реки Рось и Сулу. Но, собственно, степь во всей своей наготе появляется уже только за порогами Днепра; там, собственно, начинается дикое поле запорожцев. И в самом деле, только дикая трава да раскаленный горизонт и изредка таинственные курганы, разбросанные по всему пространству, представляются взорам на этом диком поле. Приблизительно можно полагать, что под степями находится у нас до 15 тысяч квадратных географических миль. Сюда принадлежат: весь, так называемый, Новороссийский край, южные пределы губерний Полтавской, Харьковской, Тамбовской и Воронежской, земли черноморских и донских казаков, область Кавказская, вся губерния Астраханская и вся почти Саратовская и, отчасти — Симбирская и Оренбургская.

Горные кряжи, о которых я сказал выше, делят все это пространство на несколько самостоятельных частей. Каменный Донецкий кряж почти совпадает с восточною границею Новороссии, и эта часть степного пространства, заключающая в себе три губернии — Херсонскую, Екатеринославскую и Таврическую — и два градоначальства, имеет свой особенный характер. Она менее дика, менее песчана, чем остальная восточная половина. Отрогом Авратынской выси она разрезывается на два треугольника. Первый — северо-восточный — более разнообразен; в нем исчезает мало-помалу характер стран, граничащих к северу; холмы исчезают не вдруг; леса попадаются там и сям; плодородный тук лежит возле гранитного кряжа. Нижний треугольник ближе к уровню моря, яснее носит на себе

следы его волн. В северо-западном углу в него вступают леса, болота и песчаные их остатки. Южные же края его изрезаны множеством рек и ручьев, из которых немногие судоходны. Бесчисленное множество «балок» (так называются там речные иссохшие русла) показывает, что в древности богатство вод этого края было несравненно больше; а многие реки, отрезанные теперь песчаными пересыпями от морских устьев своих, дают понятие о постепенном осушении этого края. Многие из этих балок оживляются снова водою во время весны и делаются оттого чрезвычайно плодородными, равно как берега и острова и теперь существующих рек, где часто встречаются и до роскоши богатая жатва и прекрасный южный лес. А вообще вся местность изобилует роскошными лугами — богатым привольем для кочевых народов. Для сельской промышленности борьба с природою не легкая, но зато самою щедрою рукою она вознаграждает труды. В древности, по свидетельству Геродота, эти теперь обнаженные степи отличались удивительным богатством вод, и многие реки, теперь текущие раздельно, сливали прежде свои устья, так что устье Днепра походило более на огромный морской залив, чем на устье реки. Геродот приходит в восторг от водного богатства этого края, от роскошного земледелия здесь живущих скифов, от прекрасных лесов по берегам этих рек. Но около двадцати веков после него трудились природа и люди, чтобы превратить эту богатую страну, эту житницу юга — в безотрадную, нагую пустыню. Тем более приятно видеть пробуждение этой страны, почившей вне истории и вне всякого общественного быта около 2000 лет. Только всемогущая Россия своей единою гигантскою силою может воскрешать таких мертвецов!

Утомленный однообразием, взор с любопытством останавливается на юго-западном конце этой страны. Здесь поражает его странное смешение всех русских форм. Целое болотистое море встречается здесь возле огромных песчаных кос, летящие пески которых на-

поминают собою пустыни Аравии. Далее следует песчаная, болотистая и вместе покрытая и пропитанная солью равнина; но вдруг вы всходите на крутые вершины небольшой горной цепи, идущие в параллель с южным берегом острова, и картина внезапно меняется. Самый прелестный разнообразный ландшафт, самые плодородные пространства, самые редкие растения; и все это, окруженное волнами и лелеющим воздухом Малой Азии, поражает взор путешественника, утомленный однообразием и скудостью пустыни. И этот маленький райский отрывок делается приютом русских богачей, куда они убегали наслаждаться роскошью природы, как древние римляне — на острова своей благословенной Италии. Смешению физических форм Крымского полуострова соответствует и самое пестрое смешение самых разнообразнейших народностей.

Многого можно ожидать от новой России — от этой полуевропейской и полуазиатской страны. Более, чем куда-нибудь, врывается к нам сюда Западная Европа, более, чем где-нибудь, она получает яркий азиатский оттенок. Промышленность, торговля, науки, искусства собрались сюда со всех концов старого мира, чтобы соединить в общем труде и в общем пире Европу и Азию. Но крепкими цепями рек, потребностей и незаметных переходов прикрепляется эта страна к господствующей центральной высоте России; и самые разнообразные народности сплываются воедино в восприимчивом и вместе самобытном и твердом русском элементе.

За каменным Донецким кряжем степь делается однообразнее; на юге ее, между морями Черным и Каспийским, азиатский характер проглядывает во всей своей дикости, во всей огромности своих форм. Начиная даже от южных пределов губернии Рязанской, через губернии Тамбовскую, Воронежскую, частью Харьковскую и землю Донского Войска, русская центральная плоскость, изменяясь степным характером и изменяя его обратно, спускается постоянно до той глубокой впадины, которая, обозначаясь с одной стороны

рекою Манычем, а с другой — рекою Кумою, заставляет геологов предполагать здесь существование в древности пролива между двумя морями. Быстрое течение Дона обозначает довольно крупное понижение этой плоскости и в то же время привязывает ее к центральной русской плоскости. Азовское море, лежащее в этой области, представляет собою не более, как болотистое озеро, образованное водами Дона и других притоков на основании то песчаном, то иногда топком. Простирающаяся по берегу этого моря земля черноморских казаков идет к подошве Кавказа. Земля их является чрезвычайно плодородною и способною ко всякой обработке; только берега и устья Кубани исполнены вредных болот. От впадины, обозначаемой Манычем и Кумою, от впадины, наполненной морскими остатками, также — песками и соляными пространствами и гниющими водами — почва начинает сначала подниматься неприметно, но потом вдруг встречается с гористыми пространствами Кавказа, с его нетающими снегами и роскошными индийскими долинами, с его болотами и песками и с его вершинами, теряющимися в облаках, с его непроходимыми лесами и безводными пространствами. А далее, за этими воротами всего западного человечества непосредственно встречаются и роскошные долины — Рай Роз — Азии и ее безотрадные пустыни. Все роды восточных болезней и все ужасы азиатского климата и местности обвили змеею этот неприступный уголок дикой первобытной свободы. Кажется, как будто нарочно выслала Азия все свои природные преграды и образцы всех своих народностей на этот свой передовой пост против России и Европы; шаг за шагом, медленно, но неотразимо, по своему обычаю, входит русский человек в самые заповедные ущелья этих гор, и нельзя удержаться от мысли, что эти победы есть залог великих будущих деяний и указание на то будущее поприще действий, где разовьется назначение нашего государства. Отсюда такое упорство в этой борьбе, начатой вместе почти с началом на-

шего государства и, кажется, оканчиваемой в наше время. Великий Петр, которому суждено было прочитать ясно всю книгу судеб нашего государства, недаром рвался в эту страну!

Если бы мы следовали верно границам нашего государства, то мы должны были бы перейти за хребет Кавказа; но почитая это излишним для внутренней, правовой истории нашего государства, я перейду опять к степям, на север Каспийского моря.

Восточная половина нашего степного пространства, открывающаяся широко и беспрерывно в царство степей — Среднюю Азию — представляет собою огромный треугольник с широким основанием на юге и с постоянно сужающеюся вершиною на севере. Первое, что нам попадается на юге этого обширного треугольника, это — степь — голая, большею частью песчаная и бесплодная, сильно пропитанная солью, с разбросанными там и сям соляными озерами; и посреди всего этого широкое устье Волги, которое, по недостатку склона, дробясь на множество рукавов, образует огромную дельту и впадает в Каспий, которого поверхность ниже поверхности Черного моря. Эта степь занимает, большею частью, губернию Астраханскую и ничем не отделяется от степей Средней Азии. Климат здесь тоже напоминает их, и ртуть Реомюрова термометра то поднимается здесь выше 31°, то падает на 24° ниже нуля. Растительность дика и бедна, но появляется с необыкновенною силою и в огромных азиатских формах на берегах рек и особливо возле устьев Волги; пески отнимают, впрочем, много плодородья у этого северного Нила. Поднимаясь вверх по Волге, эта степь теряет мало-помалу свой дикий азиатский характер. По сю сторону этой реки она вскоре сливается с московскою возвышенностью — в губерниях Симбирской, Саратовской и Пензенской; но зато на той стороне Волги она, продолжая подниматься довольно быстро в направлении к северо-востоку, в северной части губернии Оренбургской и в губерниях Пермской и Вятской встре-

чается лицом к лицу — разом — со знакомыми нам северными болотами, покрытыми бесконечным северным лесом, с хребтом Урала, наполненным железом, и с русскими равнинами, заходящими сюда через Волгу. Все перемешано здесь между собою — степь, болото и равнина, как перемешаны татары, финны и русские. Но с увеличением последнего населения лес исчезает, болото высыхает, степи начинают обрабатываться, и равнина вкрадывается более и более. Но пока здесь руки заняты добычею железа, которого здесь такая неисчерпаемая бездна, что станет проложить железные пути на край света и оживить степи.

Остановимся несколько на Пермской губернии. Она взбирается к северо-востоку на значительную высоту над уровнем моря; но, тем не менее, не горы, а лесистые болота начинают в ней решительно преобладать над степными пространствами. Замечательное, многообещающее сближение железа и леса этой и соседственных губерний еще более будет полно таинственного смысла, если мы соединим с ним систему рек этой губернии. Эта губерния достигает той высшей линии, с которой начинается спуск к Ледовитому океану той огромной плоскости, которую мы описали в самом начале. А потому реки Пермской губернии сообщают ее прочное богатство, во-первых, с Ледовитым океаном — через Печору, со степями и морем Каспийским — через притоки Волги, и с Сибирью — через множество притоков Тобола, бегущего в Иртыш. Сама природа, отведшая устье Волги от Азовского моря, которого она, казалось, искала, и сообщившая Пермь со степью, Сибирью и берегами Ледовитого океана — как будто указывает сама исход неисчерпаемым богатствам этих губерний. Я не знаю, чего не могут сделать леса Сибири и железо Урала в руках русского народа!

Но эти страны неразрывно связаны с центральною Россиею притоками рек и спуском мало-помалу в ту огромную лощину, которая обозначается течением Волги и которая лежит между центральною русскою воз-

вышенностью и возвышенностью Урала. Но еще сильнее, еще яснее притягивается все это южно-Волжское и восточно-Волжское пространство самым течением этой реки к той прибалтийской низменности, которую мы описали вначале. А на северо-западе это волжское углубление сообщается с тем углублением, которого срединная линия обозначается Невою, Ладожским и Онежским озерами, реками и каналами, их сообщающими, и которое так близко подходит к Белому морю (смотреть вначале). Эти углубления разделяются только возвышенностями Валдайскими, не имеющими более 350 футов вышины. И, таким образом, это восточное углубление сообщается: во-первых, с бассейном Северной Двины, от которого отделяется бассейн волжский только небольшим волоком (а теперь соединяется каналом); во-вторых, с Финским заливом (тоже каналы соединяют уже); и в-третьих, с тем огромным западным бассейном рек Западной Двины, Немана и Днепра. Таким образом, путь естественного, удобного сообщения сводит страшно далекие страны и огибает огромным полукругом центральную московскую возвышенность — зерно России.

Перенеситесь же воображением за полторы тысячи лет, наполните огромные русла наших рек водою по самый край, и вы поймете возможность той жизни, общей этому полукругу, которая разбросала на нем монеты арабских калифов, выходящие теперь из земли с ясным, неопровержимым доказательством истины тех темных преданий, которые должны были осуждены быть сказками за их огромность, подавляющую самое пылкое воображение. Вам даже станет более нежели вероятною та смелая гипотеза знаменитого историка Гердера, что торговое движение на этом пути современно персидской монархии и не прерывалось с тех пор до исторических времен нашего государства.

Над всем этим кругом, над всем этим стройным и громадным сцеплением разнообразных местностей Евро-

пы, Азии и России — поставлена природою властвовать центральная плоская возвышенность; но она не тяготеет над этим кругом, как нечто чуждое; нет, она собирает к себе все концы его длинных нитей, соединяет в себе все жизненные силы его, неприметно сливает в себе все разнообразные характеры его местностей и народностей, все их назначения. И из всего этого гармонического разнообразия она делает не простое смешение, но образует нечто целое, массивное и вместе живое, в котором ничто не умирает и которого не разрывает никакое содержание. Это — нечто гибкое, восприимчивое, как воск, и вместе твердое, как железо, способное все принять в себя и всему дать место, сделать его не частью своего тела, но живым членом своего живого организма, и устремить все эти неисчислимые богатства, все эти гигантские силы к единой цели, к выполнению единого назначения, к осуществлению единой идеи — великой идеи русского государства.

Лекция четвертая [6]

18-го февраля 1848 г.

После краткого обзора земли русского государства и после столь же краткого обзора тех племен, из которых оно составилось, мы выведем теперь те результаты, которые важны для предположенной нами цели, и постараемся найти созвучие между выводами из обоих наших обозрений. Это созвучие между характером народа и характером земли было давно замечено, и много было попыток открыть его законы. Так, Монтескье остроумно угадывал причину тех или других действий народа в физиономии страны; но это было более остроумно, нежели основательно. Вопрос этот, столь же привлекательный, как вопрос о единении духовной и материальной стороны человека, и после того привлекал многих; но для решения его нужен был

более глубокий философский взгляд и огромное число сведений. Первому требованию удовлетворила новейшая германская философия, связав законы материальной природы с законами — духовной; а второму — новейшие германские географы и, особливо, Риттер, так что после него дело это находится на половине своего пути, и те мысли, которые до его обширной философской географии показались бы странными и даже смешными, теперь могут быть высказаны смело, под эгидою огромной учености и твердой логики этого великого географа. Мы выставим теперь параллель результатов нашего географического и племенного или этнографического обозрения России, применяя их, как данные, из которых история должна была создать русское государство.

1) Россия не только по географическому своему положению, но и по племенам своим, составляет срединную землю между Европою и Азиею. Славяне — важнейшие из ее племен — принадлежат к Европе. Восток и юг ее наполнен еще и теперь остатками выходцев Средней Азии. Племя же финское, колыбелью которого называют Уральский хребет, составляет средину между азиатскими и европейскими племенами. Оно так давно живет в Европе, что никак не может быть причислено к народам-пришельцам, но скорее — к самым коренным аборигенам ее севера. Как мы видели уже выше, оно занимало некогда, во времена доисторические, весь север Европы и весь север Азии, а, может быть, проникало далеко и в среднюю Европу. Это — какой-то цемент, на котором заложились все новые северные, европейские государства, что еще в большем смысле относится к России. Шведы, датчане, обитатели всего балтийского поморья, русские — все начинают свою историю каким-то молчаливым исчезновением финских племен. Кажется, они как будто сами составляют элемент доисторический и разгоняются вместе с мраком, покрывающим жизнь европейского человека.

2) В географии России мы заметили три первоначальные местности, три первобытные типа — малороссийская равнина, лесистые болота и, наконец, степь. Эти три местности, из сложения коих образуется вся физиономия нынешней России, находят себе представителей в трех первобытных человеческих типах, из коих сложилась физиономия русского народа, а именно: тип славянский, чудской и средне-азиатский. Каждая из этих трех народностей как будто была создана своею, ей соответствующею местностью. Нет, это не то сходство человека и его родной страны, которое производится самым влиянием последней на образ жизни, привычки и т. д., нет, это сходство имеет более глубокий смысл. Племя и его земля являются как будто созданными друг для друга по одному закону и для одной цели. Человек является здесь как бы сознательным выражением той самой идеи, которую бессознательно выражает собою его страна; это — только высшая форма одной идеи, форма, переводящая ее за категорию сознания, категорию, отделяющую мир духовный от материального. Оставляя вам самим проводить это сходство или, скорее, сродство наших племен с их местностями, я ограничусь только намеком на главные узлы этого сродства.

Славянин, в своей первобытной форме, каким мы его знаем от времен Геродота до наших, по показаниям главнейших писателей, был коренным жильцом малороссийской равнины. Проникал он и за Карпаты, и за Дунай, и к Адриатическому морю, и к берегам Балтики, и к Ильменю, и далеко на восток; но там — везде — или жизнь его была шаткая, нарушалась историей, или его заводила туда какая-нибудь особенная цель, какое-нибудь особенное, случайное движение народов; или, наконец, он терял там свой первобытный характер, развиваясь под другими условиями, или изменяясь под влиянием чужеземным. Здесь же, на этой равнине, от времен незапамятных до последнего века, он жил, не меняя дедовского обычая; часто платил он дань

другим народам, но никогда не покидал этой страны. Чуждые элементы иногда всходили на эти равнины, но всегда оставались чуждыми и временными. Светлый малороссийский ландшафт, с бесконечным, ничем не заслоняемым горизонтом, с целым морем тучных колосьев, с прозрачною, тихою рекою, и все это, согретое жаркими, но никогда не жгучими, лучами солнца, проникнутое каким-то светлым покоем — вот тип малороссийской равнины. Этот ландшафт, немного однообразный и скучный, отражает в себе, как в зеркале, всю душу первобытного славянина. Его страсть, неудержимая наклонность к земледелию, его покойная и медленно деятельная натура, его светлый, прямой характер, его домашний образ жизни, наконец, его сидячая жизнь, но, тем не менее, чрезвычайно полная самых нежных душевных движений, — легко обрисовываются в красках окружающей его природы. Он не любит менять места, и понятно — почему. На каждой точке его равнины его обнимет один и тот же горизонт; на каждой точке душа его будет полна одних и тех же ощущений. Он любит жить широко, как широк его горизонт. В замках и городах ему было бы невыносимо душно, и потому, племя славянское, разрождаясь, не соединялось в большие кучи, но все расселялось бесчисленным множеством отрывков. Мирная, покойная свобода, удаление от всяких политических бурь и общественных забот — необходимое условие жизни на этой светлой равнине, и тогда понятно — почему «privatae familiarisque vitae justissima exempla sunt Slavi; publicae contra tristissima» *. Жизнь отдельными семействами и, самое большое, отдельными родами, мирные, патриархальные добродетели, величавое спокойствие, добрый, но меткий юмор над всеми треволнениями жизни, радушное гостеприимство, необыкновенная человечность и немножко философской лени — вот

* Славяне представляют лучшие примеры частной, семейной жизни и, наоборот, весьма печальные государственной (разумной) жизни.

все, что могло вырасти на этой равнине и выросло в славянском племени. Но едва славянин вырывался за очарованный круг своего светлого горизонта, как сбрасывал с себя спокойствие и лень и мчался повсюду, куда его увлекала его бесконечная степь. Стремление к расширению, условливаемое, таким образом, самою местностью, заставляло славян расселяться во все стороны; и повсюду они старались, если только это было возможно, перенести с собою и свою любезную отчизну-равнину. В древности ему удалось даже довести ее до берегов Черного моря, как об этом свидетельствует Геродот, но племя азиатское, со своею степью, всегда врывалось между ним и морем. Славянская мифология никогда, как мне кажется, не образовалась в замкнутую систему, а была только поэтическим выражением светлой славянской природы. Мысль единобожия и, притом, представление бога существом чрезвычайно кротким и щедрым — всегда была у славян, да не могла и не быть посреди такой природы и такой жизни. Оттого-то так легко вошла сюда христианская религия и так глубоко вкоренилась. Большая часть ее кротких заповедей была только прекрасною формою для начал, уже таившихся в натуре этого племени и выражавшихся в жизни.

Болото с бесконечными и грустными северными лесами — родина финна. Имя финна, его характер, его история есть имя, характер и история этой местности, и если она исчезает, превращаясь в русскую равнину под рукою земледельца-славянина, то и самый финн исчезает в лоне широкой русской натуры. Это — племя бродячее, в противоположность оседлому племени славянскому и кочевым племенам азиатским; оно не остается на одном месте, но и не переходит из страны в страну с какой-нибудь целью, а бродит врассыпную, доставая пропитание рыбным и звериным промыслами и защищая свое бессилие топкими болотами и непроходимыми лесами. Отнимите у него эти леса и эти болота, и ему останется или умереть или

переродиться, или смешаться с пришельцами без всякого следа своей особенности или примешивая к ним и свой элемент. Наконец, он может сделаться еще безмолвным, забитым рабом, машиною, а не человеком, каким сделался он под владычеством немцев и шведов в наших Остзейских губерниях и Финляндии. Финская народность — это какая-то безразличная, мягкая масса, превращающаяся во что угодно и сообщающая новому произведению только особенный самобытный контур, более или менее заметный, смотря по силе той народности, с которою сливался финн. И потому-то финская народность, в своей чистоте, сохранилась только в глуби северных лесов и топей, и у нас теперь в некоторых местах северных и северо-восточных губерний и в Сибири, словом, там, где леса и болота сохранились еще в своей первобытной неприкосновенности, а по окраинам финн вымирал или смешивался. Там, где в болота и леса северные врывается среднеазиатская степь отпрысками и островами, а именно, в губерниях Пермской, Оренбургской, в Вятской и в западном углу Сибири, там происходило и странное смешение, которое так прекрасно выражается в басне «О происхождении гуннов», созданной ужасом средневековой Европы. Из этого смешения племен среднеазиатских с чудскими, кочевых — с бродячими, пастушеских — с охотничьими, степных — с болотными произошли те варварские племена, которые, пройдя степями южной России, находили себе пристанище в венгерской котловине и встречали там снова свою родину в смешении степей и болот. Авары, гунны, болгары, хозары, печенеги, половцы, венгры — родились из этого смешения. Здесь же и теперь встречаются небольшие отрывки таких смешений, которые долго составляли загадку для филологов и историков, каковы: мордва, черемисы, чуваши и другие. Но и здесь показывалась слабость финской природы; они увлекались пришельцами степи и променивали свою бродячую жизнь на кочевую.

Мифология финская лучше всего выражает собою грустную, мрачную природу лесов севера и волшебную, страшную картину скал Финляндии. Боги их перепутаны и перебиты и, большею частью, страдают и терпят от чужих богов или чародеев. Часто она возвышается до поэзии, но это — та же самая поэзия, которая есть в таинственном мраке лесов северных и в угрюмых, неприступных странах Финляндии. В ней выразилась и жалкая судьба народа, всегда побежденного, никогда — победителя. С завистью и злобою глядит языческий финн на величие и на силу богов других народов, ненавидит их, но не может отказать им в силе и славе. Христианская религия входит в финские племена медленно и трудно. И долго еще волховство и кудесничество напоминают собою ту ненависть к чуждым богам, которую питал языческий финн.

Племена среднеазиатские врываются в наши пределы одни за другими или чистыми, несмешанными, через то широкое отверстие, которым открывается Россия в Среднюю Азию или, прогоняя свои стада по роскошным пастбищам южной Сибири, являлись к нам уже в смешении с финским народцем. Степь, жизнь в кибитках, набеги и разбой, нечистота, безмолвное повиновение одному деспоту, стремительный натиск и потом самая глубокая лень — вот отличительные признаки этих порождений Средней Азии. Одним ударом они могли разрушить самые огромные государства, распространить власть своего повелителя от стены Китая до берегов Дуная и Вислы и проникнуть в самую глубь Европы. Но не имели силы поддержать своей власти и даже своего существования; не могли не только основать государства, но даже хоть на время сделаться народом, и оставались всегда в племенном устройстве, достигая той его ступени, где оно, силясь создать что-нибудь историческое, лопается, как мыльный пузырь. Степь, со своим привольем для кочевья, со своим вечно уходящим горизонтом, со своими пастбищами, солончаками, со своими крайними переменами

жара и холода — была естественным жилищем и родиною таких племен. Номад связывается со степью неразрывно. Он создан с ней, он — только высшее выражение ее характера и за ее границею он или гибнет, или изменяется до основания. Потому-то азиатские скитальцы нашего юга никак не могли надолго утвердиться со своим характером на севере и западе. Желая проникнуть далее, они подвигали с собою и свою родную степь, выжигая леса и превращая в пустыни плодородные нивы, зарастающие без обработки; так что борьба славян и русских с этими племенами была вместе борьбою равнины со степью, цивилизации с дикостью, человечности с варварством, жизни оседлой с бытом кочевым. Южные степи, их скитальцы играют роль Турана в нашей истории, и мы отстаивали здесь не только себя, но и все человечество, усыпав всю эту границу храбрым казачеством. Наши южные степи, как мы видели из географического обозрения, имеют двоякий характер, смотря по тому, что преобладает в известном месте: болото или песок или, наконец, высохшее болото, тучная черноземная почва. Так и у жильцов этих степей заметна то примесь уральско-финского характера, то чисто среднеазиатский, то, наконец, европейский, как, например, у запорожцев и донцов.

Но не только каждая из трех главных русских местностей имела себе соответствующую народность, но и их подразделения находили для себя выражение в подразделениях племен на наречия и поднаречия. Так, малороссийская равнина — в малороссийском племени; великорусская — в великорусском племени; смешение малороссийской равнины с литовскою низменностью — в белорусском племени; и, наконец, местность новгородская, со своим неисчерпаемо богатым водным сообщением, нашла свое выражение в предприимчивом новгородском племени. Что касается до финских племен, то мы, не беря в расчет их смешений, можем заметить в них только три оттенка, а именно:

во-первых, тот оттенок, который придавала этому племени жизнь в скалистой Финляндии, одетой каким-то волшебным мраком; все там чудно, все заставляет предполагать какую-то чародейскую силу. В самом деле, читая описания этой страны, поймешь баснословные рассказы скандинавов о чудном Iotunhein'е, жилище волшебников. Другой характер финскому племени придает жизнь на тех лесистых вершинах Урала и гор Сибири, под которыми скрывались добываемые ими металлы. В этом последнем случае они поневоле должны были делаться оседлыми, не покидая, впрочем, совершенно своей бродячей жизни. Добывание железа из болот, кажется, тоже было несколько знакомо некоторым финским племенам, или, может быть, их познакомили с этим в первый раз племена русские.

Можно бы показать еще и гораздо мельчайшие узлы той сети, которою переплетена народность нашего государства с его землею, но это отняло бы слишком много времени. Мифология этих племен немногосложна. Жизнь их, широкая по форме, но чрезвычайно мелкая по содержанию, удовлетворялась шаманством и несколькими кумирами, боязнью и верою в силу злого духа. Магометанство со своей формальной стороны пришлось как раз по плечу этим дикарям, не любившим заботиться о будущем, гниющим беспечно под игом деспота, но не соглашавшимся ни за что стеснить своей необузданности и провести твердые правила в свою жизнь, обуздывая тело. Однако магометанство не могло воспламенить этих племен к делам историческим. Оно было принято больше формально, и, к счастью, магометанский фанатизм не мог одушевить наших южных скитальцев.

3) В географическом обозрении нашем мы видели, что три типические местности русские, из смешения которых возникает вся физиономия России, именно, равнина, степь и болото — не являются чем-то постоянным, а, напротив, могут по воле человека изменяться одна в другую. Вырубливается лес, осушивается боло-

то, обрабатывается и превращается в равнину русскую, имеющую особый характер от первобытной малороссийской равнины. Труднее, конечно, уступает степь усилиям труда человеческого, но, все-таки, и ее нельзя назвать непреодолимою местностью, особенно, в таком виде, в каком является она сейчас на юго-западе России. Да и на востоке она похожа на степи Бухары, Хивы и Ирана и может усилиями человеческими превращаться так же, как и они, в плодородные оазисы. Мы видим, что там достаточно провести какой-нибудь канал, оросить им почву и сделать из нее самый райский уголок. То же можно сказать и о странах, лежащих по обеим сторонам устья Волги. Огромные силы их дремлют только от недостатка влаги; а там, где она присутствует, растительность возникает в гигантских азиатских формах. Зато и обратно, степь может далеко захватить под себя и равнину и лесистое болото. Уничтожьте леса, не обрабатывайте земли, и степной характер начнет пробиваться на месте леса и равнины. Наши степи, если не все, то, по крайней мере, значительная часть их, особенно на севере и западе, обязаны появлением своим варварству кочевых народов, так что земли по обе стороны Днепра, отличавшиеся во времена Геродота чудесными рощами и бывшие неисчерпаемою житницею греков во времена скифов-земледельцев, потом покрылись надолго степною травою. Болото может также менять свое место, но гораздо труднее и медленнее. Не то же ли самое мы видим на племенах русских? Беззащитный финн уступает свои леса болоту и равнине славянина и степи номада; уступает им и сам умирает или поглощается их характером. Но завоевание номада и степи быстро, как лесной пожар, и быстро они увлекают бродячего финна в жизнь кочевую. Победа равнины медленнее, но зато прочнее; она до корня изменяет природу финна, поглощает его, не уничтожая. Так же, как трудно превращается степь в равнину, так же трудно славянизируется азиатский номад. В самом деле, мы еще и

теперь не можем похвалиться, чтобы много из остатка кочевых народов сделались русскими. Они входят в наш государственный состав почти без перемены, но это, может быть, отчасти и потому, что вся новейшая наша государственная история была обращена преимущественно на запад и север. В последнее царствование неудавшиеся попытки Петра Великого начались вновь и, кажется, счастливее. Эта деятельность, впрочем, принадлежит еще будущему. Оставляя вам самим развивать далее это поразительное сродство между человеком и местностью, я не войду здесь в подробности.

4) Почва внутренней России — великорусская равнина — есть создание человека, а сам человек, живущий на этой почве, — создание истории. Эта почва является средним звеном между тремя главными типами русских местностей, развивающихся на границах государства в свои крайности. Такими же, как увидим далее, являются и народы этой местности. Твердая, светлая природа славянина, грустная и покорная природа финна, отголоски грозного скандинавского обычая и приволье жизни степей — все это слилось в самобытное нечто в характере этого созданного империею народа. Принадлежа к племени славянскому по языку и светлой части своего характера, этот срединный, связующий Россию, народ соединил в себе и много финского и татарского, подчинив его славянскому элементу. На запад, на восток, север и юг простирает он свою народность, везде находя себе отзыв. Он захватывает и связывает своим собственным характером все народности, все окраины народностей русских. Так же, как плоская возвышенность, на которой живет он, дает начало тем рекам, кои, как длинные ветви, скрепляют государственное тело России, так же этот народ скрепляет своим характером все разнообразные по окраинам народности русского государства. Недостаток времени не позволит нам подробнее проследить эти связи, чтобы мы увидели, что самые подразделения этого народа соответствуют тем смешениям местностей

средины с местностями окраины, на которых живут они. Впрочем, заметим, что, тогда как на западе это племя обведено довольно положительною чертою, на востоке ему никаких определенных границ положить нельзя; и оно, простираясь туда сначала островами и отраслями, потом сливается в единое целое.

5) Мы заметили в географическом обозрении, как формы азиатские и европейские, соединяясь гармонически, образуют единое целое, самостоятельное — землю русскую, подобную которой нельзя встретить ни в одной части земного шара. Из обозрения Азии мы знаем, что вся ее жизнь есть развитие патриархального быта, и что далее его она не пошла. Быт патриархальный — вот первое и последнее слово азиатской жизни. Славяне — по языку, физиономии, древности своего пребывания в Европе, по способности к цивилизации, наконец, по восприимчивости своей — бесспорно принадлежат к европейским народам. Но быт патриархальный — это основа славянской жизни. Не смешиваясь с племенами другими, славянин не шагнул далее этого быта. Общинно-родовое устройство, подобное устройству индийских общин и некоторых горных племен Урала — вот высший результат, до которого могло достигнуть славянское племя в своей общественной жизни. Быт государственный для него невозможен; в этом сознаются и самые фанатические защитники славянской доблести. Мы согласны с ними в этом, но утверждаем, что этот приговор славянам н а с — р у с с к и х не касается. Наша история разрешила эту трудную задачу, уничтожила этот коренной недостаток славянского племени, перешагнула, и притом разом, из периода патриархального в государственный. Мы усвоили себе государство — это создание Европы, величайшее из всех творений человека. Длинная и бесцветная история приготовила нас к этому огромному переходу; междуцарствие, оконченное Петром Великим, быстро совершило его. В этом отношении наша политическая жизнь совершенно соответствует смешению форм местности

азиатской с местностями Европы — смешению, из которого возникла самостоятельная физиономия нашей страны. И эта связь быта патриархального с государственным, азиатского — с европейским делает нас столь же особенным народом в политическом отношении, как особенна физиономия нашей страны — в географическом. Те, которые хотят все переделать у нас по общественной форме Запада, и те, которые бы хотели воротить нас в общинно-родовое устройство, хотят разрушить самостоятельность русской жизни, уничтожить нас, как народ, отняв у нас наш отличительный тип, вырвать идею из нашей жизни, разрушив великую цель в истории. В этом соединении еще пока скрывается идея назначения нашего государства: по крайней мере, то верно, что это соединение дает нам самостоятельный тип, делает самостоятельным в кругу других, а без этой самобытности нет для народа жизни в истории. История не терпит повторений и подражаний.

6) Мы заметили в географическом обозрении, что равнина проникает все далее и далее на восток: с ней вместе проникает племя славянское, а потом — русский народ. И народная жизнь настоящего времени все еще идет на восток. Племена и наречия западные, от границ которых отправилась наша история, остались и доныне нетронутыми в своей самобытности. Поляки, малороссияне, белоруссы, немцы, эстонская и финляндская чудь — почти ничего не уступили русским из своего самобытного характера, рассеянные нерасширяющимися и неисчезающими отраслями и островами. Мы вторгнулись туда, но и только. Под самым Петербургом чудь остается чудью, немцы — немцами, и русские селения в Курской губернии, посреди малороссийских, стоят, как острова, меняясь словами и обычаями, но не сливаясь. А на востоке совсем другое явление: острова...* русских поселений, разрастаясь и превращаясь, наконец, в сплошную массу, с каждым

* Неразобранное слово. — Изд.

годом подвигают, таким образом, все далее к востоку русскую народность. И это движение русских, славянских племен на восток современно их истории. Мы уже заметили, что движения с востока не было, а Шафарик ошибся, предполагая, что натиск уральско-чудских народов заставил обратиться нас снова на запад. Уральско-чудские народы проходили юго-восточную часть славянских племен и захватывали только их окраины. Кочевому народу нельзя было идти через леса и болота наших срединных губерний, и мы подвигались на северо-восток в то же самое время, как эти народы двигались на юго-запад. История наша не отметила ни одного замечательного, энергического сопротивления со стороны находимых нами на северо-востоке народностей; да это бы было и не в их характере.

Восточные славяне в этом своем движении разошлись с западными. Создание особого государства и принятие религии от греков совершило и увековечило этот раздел. Греко-российская религия в том отношении важна для нашей истории, что она сделалась знаменем, под кое собирались русские славяне, девизом всей их исторической деятельности, самым ярким признаком их особенного исторического назначения. Под ее-то эгидою русский народ совершал свое дело. Защищая религию, казаки умирали за неприкосновенность границы русского славянства. Начало этого движения на восток трудно определить. Может быть, первый толчок к этому движению был подан тем переходом готских народов от берегов Балтики к Черному морю, коим они разрезали славян на две огромные половины: восточную — русскую и западную. Движение на север сообщено было русским славянам натиском кочевых народов наших русских степей. Движение на северо-восток и создание русского государства до некоторых эпох совпадают в нашей истории, а именно — до Андрея Боголюбского.

7) Связать все это, исполнить весь этот трудный подвиг, провести это историческое движение, наконец, расширить наше отечество до исполинских размеров

и сделать его государством могли только два недостатка славянского племени, кои единогласно замечают в нем все писатели всех веков, и в которых они с таким жаром обвиняют это племя, а именно: враждебность этих племен друг к другу, их неумение держаться в куче, их страсть к расселению и жизнь особняком. Этому недостатку мы обязаны тем, что русская речь слышится теперь на целом полушарии. Другой недостаток — страсть к чужим обычаям — помог нам совершить огромный переход от быта патриархального — к государственному, от быта азиатского — к европейскому. Достоинство же славянского племени: его неудержимая наклонность к земледелию, любовь к общинному быту, наконец, возможность вдруг переменить свой характер, по требованию обстоятельств и природы, бросить мирную и сидячую жизнь, превратиться в храбрую казацкую толпу, которой легко прогуляться до берегов Малой Азии, или в новгородских молодцов, которым так легко побывать и за Уралом, на берегу Каспия, и в Любеке. Этой особенности мы обязаны спасением нашей страны от чуждых врагов и, что всего более, первым движением нашей исторической жизни.

Мы заметили уже огромную разницу между славянами средины и окраины. Дальнейшая история покажет нам всю неоценимую важность этого различия. Здесь я только припомню и попрошу сравнить жизнь Новгорода... *, Запорожья, Дона и Урала с жизнью мирных поляков, для которых, кажется, оторваться от родной почвы — все равно, что умереть. Все эти качества славянского племени передали ему в руки русскую историю.

Патриархально-общинное устройство, переходящее, по надобности, в дружинное, — вот органический закон нашей первой жизни.

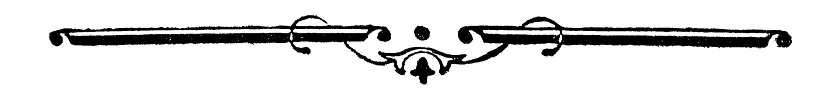
---

* Неразобранное слово. — Изд.

З а к л ю ч е н и е. Соединить все эти элементы местности и народности, слить их в единое — живое, вложить в это соединение особенную идею историческую и провести ее во все части этого живого организма — вот задача нашей истории. И верно, неотразимо, глубоко-расчетливо шла она этим путем, вполне решила эту задачу — и результатом ее был наш великий преобразователь.

За этим будет следовать такой отдел: П е р в ы е п р и з н а к и и с т о р и ч е с к о й ж и з н и на почве России до основания государства. Первые общины. Первые дружины. Древняя торговля. Варяги.





О КАМЕРАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ[7]

РЕЧЬ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ ЛИЦЕЯ 18/IX 1848 г.

Мм. Гг.

В 1845 ГОДУ 22-го ноября его императорское величество утвердить соизволил устав, по которому Демидовский лицей должен был преобразоваться в новый вид, получить новое направление. Прошлый академический год совершалось это преобразование, теперь оно окончено.

С тех пор еще не было годичного торжественного акта, и потому мы после преобразования еще не имели счастья беседовать с вами, мм. гг., публично. Итак, это будет первая беседа нового лицея с почтенными согражданами его незабвенного основателя, а потому естественно, что в ней мы должны дать вам отчет в том, что сделали и что надеемся сделать в заведении, назначенном преимущественно для вашей губернии, основанном тем человеком, которому вы всегда выражали столько почтения и признательности.

Павел Григорьевич Демидов, вероятно, никогда не забудется вами: памятник, сооруженный ему вашею признательностью, укрепляет воспоминания о покойном; но лицей наш сохраняет его живого, — благотворя и просвещая, сохраняет лучшую часть души его, и эта часть не слабеет, не умаляется, но расширяет круг своего благодетельного действия и развивается далее сообразно требованиям века. Вот то земное бессмертие, которое доступно всякому, ищущему в жизни истины и добра!

Отчет по внешней стороне последнего преобразования нашего лицея отдаст вам его начальство; я же думаю поступить сообразно значению нынешнего дня, если буду беседовать с вами о внутренней стороне этого преобразования.

Вы, мм. гг., всегда принимали в нашем заведении, которое не должно быть никогда чуждым для вас, такое живое участие, что, вероятно, знаете о направлении, данном лицею новым уставом: это направление камеральное. Сообщить камеральное образование молодым людям, сделать из них верных проводников благодеяний верховной воли, приготовить камералистов, чиновников на службу отечества — вот наша задача!

Если бы мне удалось выразить эту задачу ясно, верно изложить ее, убедить в необходимости и важности ее решения и указать, сколько можно, на самый путь этого решения, то цель моей беседы была бы вполне достигнута.

Речь мою о камеральной науке я разделяю на три части: в 1-й в самом кратком очерке изложу немецкую систему камеральной науки, потому что камеральная система создана немцами и у них только эта наука существует во всей своей целости; во 2-й части я постараюсь изложить мой взгляд на науку и ее систему; а в 3-й скажу о приложении камеральных наук к жизни.

Часть первая

Немецкая камеральная система

Название науки. Наша наука лишена того преимущества, которое имеют почти все другие науки: ее названием нисколько не объясняется ее содержание. Корень слова камеральный, камералистика, есть камера. Это слово, говорит Баумштарк *, находится почти во всех языках Востока

* Cameralistische Encyclopädie. Heidelberg und Leipzig, 1835, ст. 2.

О

КАМЕРАЛЬНОМЪ ОБРАЗОВАНІИ.

РѢЧЬ,

ПРОИЗНЕСЕННАЯ

ВЪ ТОРЖЕСТВЕННОМЪ СОБРАНІИ

ЯРОСЛАВСКАГО ДЕМИДОВСКАГО ЛИЦЕЯ,

18-го Сентября 1848 года.

Исправляющимъ должность Профессора Энциклопедіи Законовѣдѣнія Государственнаго права и науки Финансовъ,

Константиномъ Ушинскимъ.

МОСКВА.
Въ Университетской Типографіи.
1848.

и Запада: греческое καμάρα, латинское camera, немецкое Zimmer, французское chambre, польское и малороссийское к о м о р а имеют совершенно одно и то же значение: комнаты для хранения имущества, кладовой, казны в прежнем тесном смысле этого слова. В капитуляциях французских королей в первый раз это слово получает значение государственной казны, но часто заменяется другими словами, например cubiculum; а оттуда и чиновник, смотрящий за казной, называется то Camerarius, то Cubicularius.

Этот чиновник, вместе с некоторыми придворными должностями, заведывал также собиранием и управлением королевских доходов и некоторыми расходами двора *. Он был одним из четырех высших чиновников и заседал в Curia Regis **. Потом этот Камерер превратился очень естественно в Grand Chambellan, и заведывал жилищем, одеждой короля и сбережением тех сокровищ, которые находились в королевских покоях; а также под его надзором состояли те парижские цехи, произведения которых доставлялись ко двору ***. Таково везде, таково было и у нас начало попечений правительства о народном хозяйстве. Почти в том же смысле и в том же порядке перемены значений употреблялось это слово в Германии ****; но тогда как во Франции оно, вместе с введением французского языка, заменилось французским словом, от него происшедшим, в Германии это слово осталось без перемены и получило гражданство. В конце IX столетия это слово стало употребляться чаще, вытесняя другие, и стало определеннее выражать казну владетельных особ, а потом было перенесено на самые доходы казны, подати, пошлины, штрафы, которые, имея множество самых

* Deutsche Staats und Rechts Geschichte, von Eichhorn. Fünfte Ausgabe, 1843. Erster Theil. S. 25. 6.

** Französische Staats und Rechts Geschichte, von L. A. Warnkönig, 1846, 1 Band. S. 210.

*** В том же сочинении, стр. 213.

**** Deutsche Staats und Rechts Geschichte, von Eichhorn.

разнообразных названий, вообще назывались camera и cameralia государей, баронов, епископов, монастырей и т. д. Наконец, и самые недвижимые имущества владетельных особ и казны (недвижимое имущество казны и государя в то время строго не различались) начали называться в Германии камеральными. Независимо от этого значения слова, камерами назывались в Германии придворные присутственные места, и в этом случае это слово вполне переводится нашим словом палата. Особых присутственных мест для управления имуществами и доходами казны сначала не было; они управлялись отдельными чиновниками с самыми разнообразными названиями, а если управлялись иногда и коллегиально, то в этих местах юстиция не была отделена от управления. Рау полагает, что первая такая коллегия, для дел юстиции и управления нераздельно, была основана герцогом Бургундским Филиппом Смелым в Лилле в 1385 году. Иоанн Бесстрашный разделил это присутственное место на два и камеру юстиции перенес в Женеву, а камеру финансовую оставил в Лилле. Наследник Бургундии, Максимилиан 1-й, подражая этому учреждению, основал такую же камеру в Инсбруке, а в 1501 в Вене *. Скоро этому учреждению стали подражать и остальные немецкие земли, равно как Дания и Швеция **; а из Швеции Петр Великий, в своей камер-коллегии, перенес это учреждение с его названием и к нам. Впрочем, это слово в различных своих изменениях заходило к нам, и через Польшу, где оно в большом употреблении (коморный, коморник, подкоморий и т. д.). В Польшу же это понятие и слово, вероятно, зашло из Саксонии, где камеральные учреждения еще с курфюрста Августа 1-го сильно привились. Занятия этих камеральных

* Über die Kameralwissenschaft von Rau. Heidelberg, 1825. S. 3. Впрочем, первые следы Rentkammer'ы находятся еще в XII столетии.

** В Англии при Генрихе VIII была уже Courts of augmentations of the revenues of the Kings Grown.

мест были до чрезвычайности разнообразны, как-то: управление имуществами казенными, собирание податей, некоторые государственные расходы и потом многие полицейские обязанности и наблюдение за народною промышленностью. Многие из предметов деятельности камер требовали технического приготовления; а потому совершенно естественным путем и те знания, которые требовались от камерального чиновника, начали называться камеральными *. Когда же эти сведения стали организоваться в науку, то и сама наука назвалась камеральною наукою, камералистикою; следовательно, верно переводя это слово, мы должны будем дать нашей науке весьма странное название науки казенной.

Из самой истории названия нашей науки видно, что она появилась из практики, из требований жизни, а потому, чтобы излагать историю камералистики, должно бы было сначала изложить, каким образом составился в истории самый предмет этой науки **. Но предмет камералистики так разнообразен, части его так разновременно появлялись, так различно понимались, что история его, пока еще весьма мало обработанная, могла бы дать содержание не только целой особенной речи, но даже огромному сочинению, — такая история была бы очень важна только как критика теперешних немецких камеральных систем, — она бы,

* Желавший посвятить себя камеральной службе по окончании курса в обыкновенных училищах поступал в ученье в канцелярию камеральной коллегии и приобретал там необходимые познания больше посредством переписки. Три года он назывался начинающим (Incipient), три года писарем (Scribent) и, наконец, получал жалованье. Таким образом, составился особый цех писцов, имевший свое управление (Elisium) в Виртемберге. Для этих-то лиц начали составляться первые камеральные руководства. Это обучение, похожее на наше юридическое образование при Петре, см. подробнее: Versach einer Geschichte... der Staatswissenschaft, von Strelin, 1827. Erlangen, стр. 37 и след.

** Мы здесь не имеем претензии написать историю камеральной науки.

как мне кажется, доказала всю случайность их состава и вывела причины неопределенности понятия немецких систематиков о камеральной науке. Но мы, забравшись в исторические исследования камерального предмета, уклонились бы далеко от цели, нами предположенной.

Попечения государей о хозяйстве казны везде и всегда существовали, но большая часть камеральных предметов вошла в эти попечения потому, что правительства почти единственным источником дохода имели недвижимые имущества, вначале весьма огромные, и, следовательно, сами должны были заниматься их хозяйственным управлением. Вот почему в законах Карла Великого и его преемников мы можем встретить уже множество камеральных распоряжений, из которых многие касаются всего народного хозяйства; но почти все они причиной своего появления имеют финансовую цель *. Такое же начало имели правительственные заботы о народном хозяйстве и в Германии. Но возле дохода с домен образовалось мало-

* Камеральные учреждения в том смысле, как их понимают немецкие писатели, не чужды даже Востоку, Греции и Риму. Особливо много их на Востоке; так, например, в Китае, где эти заботы чрезвычайно сильны и где мы можем встретить даже камеральную науку; в Индии, где множество правил Вед посвящено камеральным заботам, или заботам о народном хозяйстве; в древней Персии, в Египте. Но здесь все эти заботы выходили из того начала, что сам народ составлял в Азии как бы имущество государей. В Греции находятся еще исчезающие остатки азиатской заботливости, а особливо сильна эта заботливость в Спарте, где все принадлежало государству. Платон, строивший свое идеальное государство по спартанскому образцу, поручал правителям своей «Республики» в неограниченное распоряжение все хозяйство народа. В Афинах, где вырабатывалось философское понятие личности, камеральных забот уже весьма мало; римский гражданин был неограниченный властелин своего имущества и своего хозяйства. Но государственное имущество — финансовые сборы, некоторые камеральные наблюдения были и в Греции и в Риме, следовательно, там должны были быть весьма многие камеральные понятия и предметы в смысле немецкой камералистики, не только XVIII, но даже нынешнего столетия.

помалу бесчисленное множество разных финансовых поборов; и когда города успели освободиться от феодального ига и приобрести своим богатством независимое и почетное положение, когда торговля и промышленность заняли важнейшее место в народной жизни, тогда и финансы должны были изменить свое направление и черпать из этих новых обильных источников, тем более, что число домен уменьшилось через их постоянную раздачу, и они были приведены в жалкое состояние худым управлением и войнами, а заведение постоянного войска в то же время чрезвычайно увеличило государственные расходы. По этим причинам уже в XV столетии налог начинает брать значительный перевес над доходами с государственных имуществ. При такой перемене необходимо было правительствам обратить внимание на самое состояние тех источников, из которых они должны были черпать свой доход. Это внимание часто было довольно тяжело для самих этих источников и всегда имело финансовую цель.

Таким образом, финансовая половина камералистики составилась из трех частей: во-первых, из наблюдения за сокровищами государей и дворцовыми расходами *; во-вторых, из управления доменами; в-третьих, из наблюдения над сбором податей. Эти три отрасли финансовых распоряжений вели за собою меры, касающиеся и целого народного хозяйства, которые при перемене обстоятельств могли превратиться в настоящие бескорыстные меры поощрения (Volkswirtschaftspflege). 1-е. Дворцовые управляющие получали в свое заведывание и те цехи, произведения которых поставлялись ко двору, заботились об их организации, способах обработки и т. д. 2-е. Управление доменами также вело за собою множество таких распоряжений, которые иногда весьма благодетельно,

* Самое слово «камера» употреблялось в смысле дворца, палат; оттуда «камергер», «камер-фрау» и т. д.

а иногда и весьма дурно действовали вообще на народное хозяйство. Разнообразие этих домен требовало от управляющих и разнообразия технических камеральных сведений. Не имея специальных приготовительных сведений, трудно было заведывать обширным горным делом, соляным промыслом, или управлять огромным имением. При неразвитии общественной жизни в тогдашней Германии частные хозяйства были слишком бедны для того, чтобы вызвать особые ученые труды; вот почему хозяйственные науки начали появляться в Германии только по требованию правительств и на счет все еще очень богатых казенных домен. Это было причиною, что все первые хозяйственные сочинения написаны были для казны и притом с финансовым направлением. Эта особенность появления камеральных технических наук ввела в грубую ошибку первых германских камералистов и заставила их наложить финансовый характер на все науки. 3-е. Подать, будучи собираема с различных отраслей народного хозяйства, еще прямее вела правительства к наблюдениям над этим хозяйством. Впрочем, к концу XVII столетия накопилось уже весьма много чисто административных мер без финансовой цели. Привести все это в систему еще не было силы, потому что не имели ясного понятия ни о государстве, ни о его управлении; видно было только то, что эти меры не принадлежат ни к юстиции, ни к финансам. Сперва об некоторых из этих мер в начале XVIII столетия начали толковать в юридических сочинениях, но даже знаменитые юристы отказывались сказать об них что-нибудь определенное. В половине XVIII столетия эти меры, названные общим именем полиции, были отделены от наук юридических и присоединены к камеральным *. Если содержание камералистики было пестро и неопределенно, то содержание полиции было еще пестрее, еще неопределеннее;

* Die Polizeiwissenschaft, von Robert von Mohl. Erster Band, 57, 58.

в нее бросали все, чего некуда было девать *, а такого было очень много. Можно же себе представить, какое разнообразие, какое страшное смешение, какая запутанность и неопределенность должны были быть в тех местах и в тех книгах, где оба эти отдела соединялись в одно. К финансовым наукам приплетались полицейские рассуждения; в полицию вносились и сельское хозяйство, и горное дело, и наука о торговле, и естественная история **. Только в конце XVIII столетия появляется стремление отделить полицию и отыскать самостоятельное ее начало. Первая систематическая книга полиции принадлежит Германии, именно Юсти ***. Но книга Юсти, как и камеральные сочинения того времени, лишена хозяйственной основы, потому что настоящей науки народного хозяйства еще не было в Германии. В науке народного хозяйства Германия далеко отстала от Франции и Италии; в ней не было той основы, на которой должны были строиться и камеральные науки, и хозяйственная часть полиции. А между тем хозяйство народное развивалось и осложнялось. Огромное множество самых противоречащих правил и начал, уничтожающих друг друга, было в полном ходу. Появление науки сделалось необходимым; она должна была развязать бесконечное число узлов, завязанных практикой и германским резонерством; но, к сожалению, немецкая наука сама запуталась в эту сеть и начала резонерствовать. Трудно решить, чем бы это все кончилось, если бы наука Франции и Англии не подоспела на помощь.

* Drais в «Blättern fur Cultur und Polizei» (1803) говорит, что в полицию входит все, что не принадлежит другим наукам внутреннего управления, все что не церковное, не судебное, не финансовое в этом управлении.

** Ibid., стр. 58.

*** Justi. Grundsätze der Polizeiwissenschaft. Появилось в 1756 г. Франция в этом случае предупредила Германию: знаменитая для практического пользования книга: De la Mare, Traité de la Police, вышла в 1722 г.

Первые камеральные сочинения брали предметом только то ту, то другую часть занятия камеральных коллегий и состояли в записывании практических правил. Их накопилось весьма много с самыми разнообразными направлениями; потом появились и систематики. Первые ученые, которые захотели составить из этого множества хозяйственных заметок одну науку, не могли еще оторваться от того направления, на которое им указывала практика, — камеральная коллегия была у них живо перед глазами *.

Труды ученых обратили наконец внимание правительств, и король прусский Фридрих Вильгельм 1-й рескриптом 24 июня 1727 года установил кафедры экономии и камеральных наук в Галле и Франкфурте. Этому нововведению последовали скоро и другие государства: Дания, Германия, Швеция и даже Англия. В 1751 году появилась кафедра камеральных наук в Оксфорде. Потом начали везде появляться камеральные школы и целые факультеты **, но в сочинениях тогдашнего времени и в преподавании *** заметны два недостатка, которые, казалось, должны были уничтожать друг друга, а между тем один был необходимым следствием другого. Эти два недостатка были: во-первых, преобладание практического направления, и во-вторых, отвлеченность правил и их бесполезность в жизни. Писатели руководствовались тем понятием о камералистике, которое создалось в практике, и ни один из них не хотел вывести науки из самого предмета, никто его не выставил, никто не определил. Все правила были выводимы из рассудочных умствований, а не из сущ-

* Таковы Seckendorf (Der deutsche Fürstenstaat. 1656 г.), Schröder (Fürstliche Schatz und Rentkammer. 1686 г.), Horneck и др.

** В Гиссене в 1777 г., в Штутгарте в 1782 г., в Майнце в 1784 г. и т. д., в 1789 г. камеральный институт в Марбурге.

*** Таков, например, компендиум лекции Дитмара, изданный в Франкфурте в 1729 г. Он толкует об одном предмете с трех разных точек зрения: с технической, полицейской и финансовой.

ности предмета, которого ясно никто себе не представлял. Вот почему камеральные сочинения конца XVIII столетия более похожи на бессвязный сбор хозяйственных заметок тогдашнего камерального чиновника, и еще были хуже этих заметок, потому что, будучи оторваны от места и времени, не имели живости заметок опытного делового человека.

Состав камеральных наук в это время был почти всегда таков: 1-я часть экономическая, куда причислялись все технические науки, сельское хозяйство, лесоводство, горное дело и т. д. 2-я часть полицейская, куда все шло, что не шло более никуда, следовательно, и полиция нравственности, и полиция безопасности, и полиция образования народного, — все это вносилось в камералистику (Шлетцер первый ясно отделил меры попечения о народном хозяйстве от полиции). 3-я часть была финансовая или собственно камералистика, она рассуждала о доходах и расходах правительства. Самое название камералистики накладывалось то на весь объем наук экономических, полицейских и финансовых, то по большему праву на одну финансовую науку; но что за предмет этой камеральной науки, это в то время никем не было ясно высказано *. Предмет и содержание для камеральной науки были, но им назначено было выразиться и развиться не в Германии, где за тучей благоразумных правил не видно было ничего, а в Англии и во Франции. В этих двух странах создалось и выработалось содержание камеральной науки, которого и до сих пор германские ученые не могут упрятать в свои узкие системы. Англия, сделавшись узлом материальных интересов всего мира,

* Некоторые, как, например, Юсти, чувствовали этот недостаток, но не могли от него избавиться и уже начали впадать в другую крайность: мечтали о какой-то науке общего хозяйства; но для этой науки не было еще основы: ложное понятие о политической экономии и неправильно занесенное из Аристотеля понятие хозяйства дали эту основу, как мы увидим ниже. Ложна была эта основа — ложное направление приняла и наука.

возвела эти интересы на государственную ступень, дала им ту степень ясности, при которой глаз гениального человека мог уже подсмотреть их законы. Она дала возможность этим интересам облечься в форму идеи, в одежду науки. Узкое немецкое хозяйство не могло создать политической экономии, не могло вызвать упорного внимания гениального человека.

Франция пробудила вопрос о незыблемом законе народного хозяйства и пыталась решить его: Англия решила этот вопрос и положила начало логике той сферы идей, которую германцы напрасно и долго старались уловить в своих камеральных системах. Административная же и техническая часть камеральных наук создалась почти вся во Франции, в государстве, по преимуществу административном. В самом деле, полицейской науки, например, Франция, до сих пор не имеет, а между тем почти все полицейские вопросы, все полицейские учреждения появились, обдумались, опробовались и установились сперва во Франции. Так, при Людовике XIV мы видим уже несколько высших мест для хозяйственного управления *. Установление особых судов для торговых дел, имевшее столь благодетельное влияние на промышленность, началось также во Франции еще при Карле IX, который завел их, по совету канцлера l'Hopital'я ** и освободил этим торговлю и промышленность от стеснительных форм обыкновенного судопроизводства; а в 1713 году уже вышло знаменитое Traité de la Police ***, за ним следовали и другие; все они написаны с чрезвычайным практическим тактом. Система полиции полна и наглядна ****.

* Conseil royal des Finances, Conseil royal de Commerce, а также большие и малые финансовые управления; генерал-инспектор королевских домен; генеральный контроль. См. Französische Staats und Rechts Geschichte, von Warnkönig, § 518—520.

** В 1563 г. Ibid.

*** De la Mare.

**** В двух последних томах «Методической энциклопедии» в статьях Police et Municipalité обозреваются различные от-

Учреждения по полиции здоровья, нравственности, безопасности появляются во Франции весьма рано, раньше, чем где-нибудь. Полиция промышленности и торговли начала обращать внимание французского правительства еще со времен Сюлли. Цехи, фабрики и мануфактуры еще в XVI столетии вызвали много полицейских распоряжений и учреждений *. Но всего яснее преимущественное развитие полиции во Франции доказывается историею благотворительных учреждений; почти вся она совершается во Франции, менее в Англии, отчасти в Италии и почти совершенно не касается Германии, где все эти учреждения по большей части появились позже, далеко не в таком роскошном виде, и то скопированы с чуждых образцов. То же самое и еще в большей мере можно сказать о финансах. Финансовые системы и почти все приемы финансового искусства созданы Францией и отчасти Англией **. А между тем ни у англичан, ни у французов нет науки финансов, хотя есть множество отдельных монографий по финансовым предметам, множество историй финансовых систем (история финансов, напротив, у немцев весьма плохо обработана) и довольно систем положительного финансового законодательства. Теоретическая сторона финансов обработана в политико-экономических сочинениях этих двух народов. Но наука финансов — создание немецкое; другие народы ее не знают. Эта немецкая наука перенесена и к нам. Странное дело! Немец больше всех имеет хозяйствен-

---

расли полиции, см. в том же сочинении Warnkönig'а, т. I, стр. 646, примечание 3. Здесь части полиции все, только они разбросаны по разным главам энциклопедии.

* См. Ibid, стр. 646—653.

** Можно проследить заимствования, сделанные германцами в этом отношении. Так Graf von Brühl (первый министр) копировал Law'а; так Гельвециус, изгнанный из Франции и принятый Фридрихом Великим, ввел в Пруссии французское таможенное и акцизное управление; Неккера изучали немецкие министры. Особливо сильно это заимствование при Фридрихе Великом.

ного такта, а хозяйственная наука решительно не дается ему; впрочем, эта странность весьма легко объясняется: от частного хозяйства немец никогда не мог возвыситься до понятия народного и государственного, и мерил их на аршин своего домашнего копотливого хозяйства, в котором германец гений. Мы увидим далее, как ярко подтверждается эта заметка разбираемой нами наукой.

Торговле уже, конечно, нельзя учиться у немцев, хоть и можно учиться бухгалтерии; что касается до технических промысловых наук, то здесь большая часть их, по крайней мере существеннейшая, обработана Англией и Францией; только сельское хозяйство, горное дело и лесоводство имели несколько самостоятельности в Германии.

Камеральная германская наука с финансовым направлением появилась прежде существования науки народного хозяйства, и потому естественно, что она была построена вся на узкой идее немецкого домашнего хозяйства, только в большом размере, и отличалась тем патриархальным благоразумием, которое противилось всякой живой мысли.

Но вот появилась, с удивительной быстротой развилась и распространилась новая наука хозяйства, в которой ничего не говорится ни о чистоте полов, ни о необходимости быть честным, трудолюбивым, расчетливым, даже ни слова о счетах, о двойных и простых книгах, — никаких благоразумных советов; что было делать с такою странною наукою? Этот наплыв новых идей должен был разрушить худо склеенную немецкую камералистику; но отказаться от науки, созданной с таким трудом, немецкие ученые не могли, и вот они сбросили с нее казенный характер, переменили ее определения, наполнили ее фразами из политической экономии (превративши их в форму советов), изуродовали эту прекрасную науку и втиснули ее в бесконечный ряд созданных ими частных хозяйств, как одно из них. Это значило совершен-

но не понять основной мысли политической экономии.

С этим вместе начинается второй период нашей науки, период, когда она из науки к а з е н н о й превращается в н а у к у х о з я й с т в а в о о б щ е. Потерявши казенный характер, камералистика не приобрела никакого другого, даже потеряла всякую определенную цель и открыла собою бесконечное поприще резонерству благоразумных хозяев. В это время к этой новой науке, с старым названием, присоединился еще один элемент, который подействовал на нее весьма дурно, а именно — элемент формальной кантовской философии; науку хозяйства стали строить по ее категориям *.

Ученые, которые дали новое направление, или, лучше сказать, новое определение старой науке, были Völlinger и Seger. Schmalz и Fuld в своих учебниках старались систематизировать эту науку общего хозяйства. Gejer создал общую часть камералистики, извлекши ее из особенных хозяйственных наук, и отделил в промысловых науках часть техническую от хозяйственной **. Все эти последовательные маленькие преобразования системы общего хозяйства достигли своей полноты у Рау ***. А потому мы и должны поблагодарить знаменитого камералиста за облегчение нам обзора системы нашей науки. Замечательных уклонений

* Странно звучат эти категории в книге Клипштейна (Reine Wirtschaftslehre) и еще страннее в книге Völlinger'а (Grundriss einer allgemeiner kritisch-philosophischen Wirtschaftslehre). Недостаток немецкой камералистики большей частью происходит именно от того, что она воспользовалась только формальною философиею; одна половина камеральных сочинений написана под влиянием добродушной домашней немецкой философии, построенной на немецком здравом рассудке, а другая под влиянием кантовских категорий; элемент же исторический совершенно выпущен.

** См. историю камералистики у Рау и Баумштарка; также у Штрелина. Эти сочинения цитированы выше.

*** Две его брошюрки: Grundriss der Kameralwissenshaft, 1823, и Über der Kameralwissenschaft, 1825.

от общего хода не было *. Новее книги Баумштарка, из общих камеральных сочинений, мы не знаем, а из статьи, помещенной в Государственном лексиконе Роттека и Велькера под заглавием «Камеральные науки» **; видно, что эта наука не переменила своего направления и все еще продолжает свой второй период существования ***. При нашем разборе мы будем придерживаться преимущественно Рау, отчасти Баумштарка, верного его последователя ****.

Начнем наш разбор с названия науки: Трудно понять, зачем немецкие писатели, лишивши нашу науку казенного характера, оставили ей казенное название. Разве только затем, что оно сколочено так хитро, что не сразу поймешь, о какой науке идет дело. А название науки много вредит ей в ее распространении; мне самому случалось видеть, какой странный эффект производит слово камералистика: оно представляется чем-то вроде немецкой книги на серой бумаге и с красным обрезом *****.

Теперь выставим то основное понятие камералистики, которое выставляет Рау и которое обще большей части писателей второго периода науки: вся разница только в словах.

---

* Кроме разве книги Бутте.

** Das Staats-Lexikon, zweite Auflage, 1846 г. Книги Лотца мы не можем причислить к камералистикам, как делают это некоторые.

*** Впрочем, в статье Schütz'а, помещенной в Staats-Lexikon, чувствуется уже потребность нового направления камералистики.

**** Если исключить только то, что Баумштарк в ряд хозяйств, перечисляемых Рау, вводит еще одно: общинное (Gemeindewirtschaftslehre) в противоположность общественному (öffentliche) и частному.

***** Впрочем, слово Wirtschaftslehre употребляется безразлично с словом Kameralwissenschaft, иногда последнее присваивается только науке финансов, как части камералистики, иногда же прибавляется выражение: «в тесном смысле».

Рау * на основании благоразумных умствований об отношении человека к природе выводит понятие имущества, и занятие, которое стремится к приобретению имуществ, называет хозяйством; науку же о лучшем ведении хозяйства, — наукою хозяйства. Что эта наука тождественна с прежнею камералистикою, Рау доказывает единством частей той и другой. «Полного совпадения, — продолжает Рау, — быть не может, что легко объясняется историей камеральной науки, но стоит только отделить несколько частей **, прибавить несколько других, чтобы преобращение было вполне совершенно»; но из чего же бьются Рау, его последователи и его предшественники второго периода науки? Из того только, чтобы дать науке хозяйства название, которое бы нисколько не объясняло ее содержания.

Разберем это определение науки. Так как мы будем разбирать его не в словах, а в самой сущности, то мы можем не приводить всех мнений камералистов о хозяйстве, потому что сущность этих мнений одна.

Слово «хозяйство» слишком обширно определяется у Рау, так что, во-первых, под него подходит всякое приобретение имущества: и воровство, и грабеж, и выигрыш в карты и т. д., а во-вторых,

* Über die Kameralwissenschaft, стр. 15 и след. Баумштарк Kam. Encyclopädie (стр. 56) так определяет хозяйство: «Деятельность человека для произведения, содержания и употребления имуществ называется хозяйством (=?!); систематическое изложение правил и оснований хозяйства есть наука хозяйства». Иногда называют и наукою государственного хозяйства, но это только злоупотребление слова государство и государственное имущество (так в Encyclopädie der Kameralwissenschaften, von Schmalz, 1797, см. § 89 и предыдущие, его объясняющие); иногда даже наукою народного хозяйства, напр. у Штурма и Вебера, но из систем их видно, что из этого нового названия они не выводили никаких новых последствий.

** Вероятно, он здесь намекает на отделение тех частей полиции, которые не принадлежат к науке хозяйства и которые отделил Шлетцер.

под это определение подходит и хозяйство животных. Здесь я нападаю не на пропуск слова: человек, оно есть у Баумштарка, — но тем не менее и его определение не отличает человеческого хозяйства от хозяйства животных. И это отличие не так легко, как может показаться с первого взгляда; для этого, как мы увидим ниже, нужен был гений Адама Смита. Следовательно, по определению немецких писателей, камералистика есть наука о способах приобретения имуществ, но может ли быть такая наука? что человек, то способ, и если между этими способами есть что-либо общее, то оно о б щ е е до ничтожества. Загляните в книгу Баумштарка *, где он хочет найти общие правила для хозяйства государя и нищего; он находит эти правила, но они годятся разве только для прописей и азбук. Далее, такое определение камералистики лишает возможности положить какие-нибудь границы этой науке; если она учит всем способам приобретения, то зачем же ей останавливаться на некоторых? Пусть она учит и сапожному, и портному, и часовому мастерству, и пению, и музыке, и танцам; ведь это все способы приобретения! Такт истины спасает камералистов от таких нелепостей (а впрочем, Баумштарку сильно хочется внести в свою книгу поварское искусство); но зачем мысль, ограничивающая науку, не вошла в определение?

В Германии смотрят на камералистику, к а к н а н а у к у п р а к т и ч е с к у ю; Рау так объясняет эту практичность: он видит в человеке существо двух миров, материального и духовного, и выводит из этого, что человек может направлять волю свою по своим понятиям. Правила для действия воли, следуя которым она может достигнуть своей цели, излагаются в науках практических в отличие от наук теоретических, целью

* Книга цит. стр. 87, 88, 89 и т. д. Скажите, ради бога, что это такое? для кого и для чего это нужно? Батюшка должен советоваться с матушкой, жена должна заниматься женским хозяйством, дети должны любить своих родителей и помогать им в их занятиях... и т. д. бесконечно, и это W i s s e n s c h a f t!

которых одно только познавание; наука хозяйства есть наука практическая — она излагает правила, следуя которым, человек достигает своих хозяйственных целей *.

* Вот слово в слово этот вывод Рау; я приведу его потому, что в одной и той же философской ошибке коренится все ложное направление немецкой камералистики: «Дух и природа связываются в человеке, и он принадлежит обоим мирам. Подчиняясь своей телесной стороне, законам и явлениям природы, человек, с другой стороны, сообразно духовной части своего существа, развивает свою особенную жизнь, образует единичное существо с огромным множеством чувств, склонностей, представлений, желаний, стремлений; он способен определять свою деятельность по собственным своим понятиям и имеет множество сфер для выражения этой деятельности; к одной из этих сфер относится и наука хозяйства; таким образом, цель ее практическая, она выставляет требования для воли, по которым воля может правильно идти к достижению своих целей; этим самым камералистика отличается от тех наук, которые направлены только на познание, т. е. наук теоретических. Наша наука возникает из отношений человека ко внешнему миру» (Rau, Über die Kameralwissenschaft). Замечу: во-первых, наука не имеет права смотреть на человека, как на существо двух миров, наука не начинает с верований; во-вторых, воля тогда только и воля, когда она не имеет никаких правил, когда она может воспользоваться, какими хочет; одно только правило не уничтожать воли, это то, которое вытекает из той же самой воли, из другой ее стороны, из разума. Все науки действуют на волю, только развивая разум; разум развивается по внутренней сущности своей, а не для каких-нибудь посторонних целей: он сам цель всему. В этом науки теоретические и практические совершенно сходятся, и нет между ними той разницы, которую находят вообще все немецкие камералисты. Вот отчего их наука вместо законов разума набита правилами домашней немецкой мудрости и благоразумнейшими советами немецкой хозяйственной опытности. Такие же шаткие, пустые философские основы, какие-то фразы без смысла, какие-то устарелые поговорки о человеке и его способностях служат основанием камеральной энциклопедии Баумштарка (см. в энциклопедии главу Die Philosophische, Entwickellung der Kameralistischen Studium; да то же и в статье Shütz'а в — государственном лексиконе Welker'а). Странное дело! Самый живой, самый современный предмет, который теперь движет человечеством, достался такой жалкой обработке, такой категории ученых! Я думаю, что в этом отношении нет предмета несчастнее нашей науки.

На подобном же философствовании строят и другие камералисты свою науку; и так как немцы отличаются своею последовательностью, то можно уже увидеть, какие выводы они сделают из этого резонерства.

Нет, никакая наука не должна предписывать правил воле, не должна тиранствовать; практическая цель науки одна: развить мой разум в известной сфере так, чтобы я в этой сфере мог действовать разумно. Напрасно человеку говорить: делай так, делай иначе; покажите ему законы ума, законы природы, законы истории, укрепите его волю самою жизнью; а действовать предоставьте ему самому; введите его в мир, откройте ему глаза, но если вы не хотите унизить в нем человеческого достоинства, то не ведите его, слепого и связанного, к той цели, которая для вас кажется лучшею. Да и можно ли определить правило на всякий случай жизни? всех букв, всех возможных азбук недостанет для рубрик.

Немецкая система камералистики. Система камералистики развивается у немецких писателей из их понятия о практичности этой науки, которое мы выставили выше, и почти у всех у них эта система одинакова, разница только в полноте, да в весьма неважной перестановке некоторых частей. До Гейера обыкновенно камералистика делилась на две части: в первой обыкновенно излагались промысловые науки: сельское хозяйство, технология, горное дело и т. д.; а во второй — науки политико-хозяйственные, именно политическая экономия, промысловая полиция, финансы или собственно камералистика *. Но

* Таково деление у Шмальца, и это еще лучшее из прежних, бывших до Гейера. Штурм и Фульда делят точно так же, но не дают в своих системах особого места политической экономии. Вебер первую часть называет частной экономией, а вторую политической, к которой относит и государственную, т. е. полицию (куда он вносит и полицию безопасности и полицию образования) и финансы. Обернсдорфер, находясь под влиянием категорий Канта, делит камералистику на рациональную, положительную и практическую; первую он снова делит на а) по-

после того, как Гейер создал общую часть камералистики, отделив ее от особенных хозяйственных наук, камералистика стала делиться на часть общую и особенную *. Общая часть камералистики обыкновенно не подразделяется, по очень простой причине: в ней нечего подразделять; в ней излагаются правила вообще всякого хозяйства. Часть особенная подразделяется различно **, и преимущественно на два отдела: в первом излагаются науки частного хозяйства, к которому причисляются все промысловые науки и хозяйство домашнее (Hauswirtschaftslehre); во втором отделе — политическая экономия, промысловая полиция и финансы. Совершенное исключение составляет книга Бутте; он хочет дать камералистике совершенно особенное содержание, видит в ней науку земли (Landwissenschaft), и сообразно с этим подразделяет ее на части ***. Система Рау заключает в себе все ре-

---

литическую экономию, которая подразделяется на национальную экономию и государственную экономию (к первой он относит промысловые науки и собственно политическую экономию, ко второй — финансы). Во второй, положительной, он хочет видеть изучение положительного законодательства; а в третьей, практической, излагает теорию камеральных занятий, собственно камеральную практику, постройку водных и сухопутных сообщений и все практико-математические предметы. Все эти системы очень отчетливо изложены у Баумштарка на стр. 47.

* Таково деление у Гейера, у неизвестного, у Рау, у Баумштарка.

** Так, например, у Гейера: на практическую и теоретическую с одними и теми же подразделениями; у неизвестного на науку производства, где все промысловые науки, и науку обращения ценностей (Circulationslehre); у Рау особенная часть делится на частное и публичное хозяйство; Баумштарк вставляет между ними еще общинное; некоторые вводят народное в отличие от государственного и частного.

*** К сожалению, я не успел получить этой книги и знаю об ней только из сочинений Баумштарка, который отзывается об ней с презрением, что, впрочем, ручается за то, что в ней много дельного.

зультаты и все подразделения прежних систем *, а потому все, что мы скажем об его системе, будет относиться и к другим; о мелочных видоизменениях мы упоминать не будем, а только укажем на главные в наших замечаниях.

Что такое общая часть науки хозяйственной, общая часть камералистики? Во-первых, в ней излагаются предварительные философские понятия о человеке в отношении к внешнему миру, в отношении его к вещам, о его материальных потребностях, о его хозяйственной деятельности и т. п.

Мы уже видели выше, каковы эти философские понятия, и теперь скажем только, что они, оторванные от всякой исторической и психологической основы, не могут быть не чем иным, как пустым и бесполезным резонерством. Возьмите эту часть у Баумштарка: какие наивные воззрения на мир и на людей! Потом излагаются понятия о цене, ценности, издержках; но кто хоть немного знаком с началами политической экономии, тот знает, что эти понятия совсем не так легки, чтобы их можно было высказать в нескольких фразах: они могут только уясниться в общей системе политической экономии. Так, например, понятие цены может существовать только в общественном хозяйстве; для частного его не существует. Какую цену будут иметь вещи для дикаря или анахорета? Что можно сказать об установлении цены, не выходя из пределов частного хозяйства? Что можно сказать об деньгах, вне общественного хозяйства, когда они сами являются его произведением и объясняются только его составом. Далее следуют понятия о доходе, расходе, богатстве, бедности, а потом благоразумные советы вроде следующих: должно стараться достать как можно более грубого дохода, сделать как можно меньше издержек, заботиться о продолжительности и о прочности

---

* Кроме, конечно, странного нововведения Баумштарка, о котором мы упомянули выше.

промысла, не делать издержек бесполезных, издержки нужнейшие ставить впереди других, покупать вещи прочные, не издерживать более дохода и т. д. *. И это еще только программа того, что должен был читать Рау своим слушателям. Я не понимаю, как достает смелости произносить такие истины с кафедры? Для этого надобно иметь весьма терпеливых слушателей. Далее к общей части прибавляют еще несколько понятий о счетоводстве, которое имеет свое место в бухгалтерии, и вот вся общая часть. Таким образом, да позволено мне будет вычеркнуть эту общую часть из списка отделов хозяйственной науки. Рау доказывает необходимость общей части ** из того, что эти положения, взятые из политической экономии, могут быть отнесены ко всякому хозяйству, несмотря на различие его субъектов; но против этого мы можем сказать, что такое понятие, как, например, цена, правда, относится ко всем родам хозяйств, но только, как членам одного общественного, и, по нашему мнению, другой науки общего хозяйства, кроме политической экономии, нет и быть не может ***. Подробнее эту мысль мы разовьем при самой постройке нашей системы.

Для особенной части Рау принимает два начала деления: или по субъектам, или по объектам хозяйственной деятельности ****. По первому началу он разделяет камералистику на части, по второму — подразделяет эти части на отделы. Против подразделения науки

* Rau, Über die Kameralwiss., § 28, 29, 30 и 31, но чтобы вполне понять, до чего может дойти немецкое благоразумие, направленное на рассуждение о хозяйском быте — для этого советую прочитать всю 85 стр. из книги Баумштарка.

** Über die Kameralwissenschaft, § 19.

*** Так и в самом деле смотрели на нее Зегер, Гейер и неизвестный.

**** По субъектам науку хозяйства разделил Фульда (частное, народное хозяйство и государственная экономия). В основе деления все немецкие писатели согласны с делением Фульда, но только спорят в том, куда поместить народную экономию. Некоторые (как Зегер, Гейер и неизвестный) ставят ее вместо

хозяйства по объектам хозяйственной деятельности мы ничего сказать не можем; но разделение науки хозяйства по субъектам нам кажется совершенно невозможным. Во-первых: каждое хозяйство отличается от другого по своему субъекту; где же будут границы дробления? Рау принимает только частное и государственное хозяйство, Фульда признает еще народное, Баумштарк, по полному праву, вносит еще общинное и по тому же праву можно внести хозяйство крестьянское, мещанское, купеческое, дворянское, хозяйство международное и пр.; не будет конца и счета различного рода хозяйствам. А если вы выставите какую-нибудь мысль границею этого дробления, то эта самая мысль и должна быть основой дробления, а не субъекты хозяйства. Во-вторых: по какому праву помещает Рау в отдел частного хозяйства сельское хозяйство, горное дело, лесоводство, науку о торговле и т. д.? Почему все это частное хозяйство? Разве оно не составляет предмета общинного, народного и даже государственного хозяйства? По моему мнению, оно всем принадлежит одинаково. В-третьих: в отделе публичного хозяйства ставят обыкновенно политическую экономию, промысловую полицию и финансы; но разве эти науки имеют какое-нибудь сходство между собою? Разве промысловая полиция есть особый вид хозяйства? Как поставить наряду хозяйство народа и финансы? Вот какие странные вещи проходят иногда под мантией немецкой учености, построенные в ряды и предводимые бесчисленным множеством букв всех возможных азбук. Теперь скажем несколько слов о том отделе, который помещается под названием частного хозяйства. Из этого помещения промысловых наук, равно как и из их

общей части; другие (как Фульда, Шмальц, Рау, Баумштарк) ставят ее в средине науки, или в начале второго отдела особенной части, как особенное по субъекту хозяйство. Это, как мы увидим ниже, происходит от ложного понятия предмета политической экономии.

изложения в немецких камералистиках, видно, что на все промышленные науки немецкие писатели смотрят с точки зрения частного хозяйства, ставят себя и слушателя на место хозяина, ведущего промысел *. А так как мы видели уже выше, какое практическое направление хотят дать они камеральной науке, то спрашивается, для какой же цели читать одним и тем же слушателям такое множество промысловых наук. Неужели немецкие писатели думают, что каждый из их слушателей будет и копать землю, и разводить лес, и торговать, и выделывать кожи, и шить сапоги, и быть лакеем и т. д.? Или здесь скрывается другая хитрая мысль, именно, чтобы камералист мог со временем выбрать себе какой хочет род занятий? Но это бы значило слишком долго собираться жить. Если уж человек должен жить промыслом, то с него будет и одного, да и тому в университетах не выучишься. Цель публичного воспитания должна быть публичная, а домашнее воспитание, домашний порядок — дело домашнее. Высшие публичные заведения не богадельни, не больницы, не дело милосердия государства в отношении к частному лицу и не технические школы и институты, а дело государственное, для государственной же цели. По крайней мере, это можно сказать о тех заведениях, где существуют профессуры и чтение лекций, а не учение уроков; да и можно ли выучиться какому-нибудь промыслу в публичном заведении с университетским устройством? Чтобы пользоваться промысловою наукою в жизни, для добывания средств существования, должно не только знать ее во всех ее мелочах, но даже нужно иметь известной степени навык в этом промысле; потому что промысел в жизни движется в мелочах, а не в общностях, и большая разница между знанием и уменьем. Для изучения промыслов с практическою целью существуют не факультеты и университеты, а техниче-

* Эту мысль, впрочем, высказывают и сами немецкие камералисты, как, например, Рау, Баумштарк, Шмальц и др.

ские институты, школы и т. п. Сказанного кажется довольно, чтобы доказать, во-первых, нелепость изучения всех возможных промыслов с частною целью; во-вторых, что помещение промысловых наук под заглавием частного хозяйства не имеет никакого смысла и, в-третьих, что изучение промысловых наук в том виде, как предлагают его немецкие камералисты, не имеет никаких границ; если сельское хозяйство — наука, если технология — наука, если бухгалтерия — наука, если охота (Thierfangslehre) — наука, то почему же искусство шить сапоги, править лошадьми и т. д. не наука? Наконец, если домашнее хозяйство может быть предметом науки, то почему же не может быть науки приятного обхождения, науки вежливости, науки одеваться к лицу? И в самом деле, посмотрите, чего нет в тысячелистной книге Баумштарка, чего здесь нет? Так, например, у него целая глава посвящена правилам, как обходиться с женою, с детьми, как смотреть за кухнею, запирать шкафы, переменять белье и т. п. Какою же стеною оградится бедная камеральная наука от всех этих пошлостей? Если бы это был только личный недостаток того или другого камерального писателя, то я не сказал бы ни слова; но это прямой вывод из того понятия о камералистике вообще, которое существует во всей Германии. У Баумштарка только недостало такта, чтобы удержаться на том пути, который перед ним открыла камералистика и по которому повела его самая наивная немецкая последовательность. Эти все недостатки произошли от того, что творцы всех возможных наук на свете никогда не задавали себе вопроса, что такое наука? Можно излагать науку с тем направлением, чтобы она могла быть приложена к жизни, но никогда не должно унижать ее до ремесленного обучения. Где заканчиваются законы разума, находящиеся в связи с историческим развитием мира, где начинаются правила, советы, навык, там оканчивается и наука. Сельское хозяйство, технология и т. д. не выводят этих законов, а только занимаются и с к у с-

ством приложения этих законов, открытых другими науками, к хозяйственным целям. Следовательно, и камералистика, слепленная из таких наук, не будет наукой, а так как мы видели выше, что и этим различным искусствам научить она не может, то я утверждаю, что немецкая камералистика, или по крайней мере, наука частного хозяйства не имеет никакой цели. Да и самого частного хозяйства нет и быть не может; хозяйство есть только одно из проявлений общественной жизни, одна из общественных связей, и вне общества немыслимо. Частного хозяйства нет, как нет звериного хозяйства. Частное хозяйство законов не имеет. Человек хозяйствует только как член общества; ценность, цена, регуляторы ценности, разделение труда, заработная плата и т. д. — все основные элементы хозяйства суть произведения жизни общественной; частному хозяйству остается только то материальное производство и то материальное потребление, куда не может входить наука. Чем теснее общественный круг, тем более сливаются и смешиваются эти элементы хозяйства, так что в индивидуальном хозяйстве весь этот организм элементов превращается в точку и исчезает. Вместе с ним исчезают и законы этого организма, законы хозяйства, исчезает и наука. В чем состоит внутренняя сила, сущность хозяйства? Эта сила, эта сущность всех хозяйственных законов есть сила, соединяющая людей в общество эгоистическими их интересами. Из этой сущности должно вытекать и определение науки хозяйства, и развитие ее организма.

Разбирая внутренний состав этого второго отдела частного хозяйства, мы можем упрекнуть немецких камералистов в том, что промысловые науки ничем у них между собой не связываются; что они не имеют общей предшествующей части, или части заключительной, где бы они соединялись. Правда, эти промысловые науки находятся у них в системе, но нет такого особого отдела, где бы выражена была эта самая система и

доказана ее цель и необходимость. Эта ошибка произошла из того же недостатка, который мы показали выше, из того, что немецкие камералисты не определили, для чего они набивают головы своих слушателей такой бездной промысловых наук.

Весь этот отдел частного хозяйства Рау снова подразделяет на два отдела: промысловые науки (Erwerbslehre) и домашнее хозяйство. Это деление взято еще прежде немецкими камералистами у Аристотеля. Баумштарк согласен в этом с Рау; но только ставит ему в вину изложение домашнего хозяйства отдельно, а не при каждом промысле. Потом каждую промысловую науку Рау делит на две части: 1) меркантильную, экономическую, промысловую и 2) часть техническую. Это деление, перенесенное из Аристотеля *, вошло в учебники еще прежде Рау; Тэер принял это разделение для сельского хозяйства; Гейер для ремесел и т. д. Это деление нам кажется совершенно справедливым, и притом оно прекрасно объяснено у Рау, так что мы только можем указать на него **. Следовательно, вообще касательно этого 1-го отдела второй части камералистики мы можем заметить, что он, во-первых, не имеет границ; во-вторых, не имеет цели; в-третьих, излагается слишком отвлеченно и, в-четвертых, не имеет никакого достоинства науки.

Что касается до 2-го отдела второй части, или до отдела общественного, или государственного хозяйства, то мы уже прежде высказали ложность его состава, а эта ложность зависит от того, что немецкие писатели смотрели на политическую экономию, как на науку особого хозяйства, имеющего своим субъектом народ, и потому ставили его наравне с хозяйствами других субъектов, с хозяйствами частного лица, общества, государства. Смотреть на политическую экономию, как на науку хозяйства какого-нибудь народа, значит

* Polit. Arist. 1.
** Rau, Über die Kameralwiss., стр. 69—73.

совершенно не понимать сущности и силы политико-экономических законов. Мы докажем справедливость этого мнения в том месте, где, при постройке нашей системы, будем говорить о значении политической экономии; там же мы покажем значение и финансов и промысловой полиции как хозяйственных наук, а теперь изложим результаты, вытекающие из нашего рассматривания немецкой камералистики.

Главнейшие ошибки немецких камералистов, откуда происходят уже все прочие, состоят в следующем: немецкие камералисты имеют ложный взгляд на хозяйство, видят их множество, когда оно одно: лепят хозяйство человечества из частей, тогда как оно есть организм, развивающийся в своих членах. Части настоящей германской камералистики сложились из прежней финансовой, и то сложились случайно. Они удержали части прежней финансовой науки, не переменили ее имени, а переменили только без всякой цели ее определение и оставили науке хозяйства самое бессмысленное название. Они не определили цели своей науки, не отыскали ее предмета, разделили ее по субъектам, что невозможно; внесли туда частное хозяйство, чего также не может быть; они составили общую часть науки и не нашли ей содержания; они дали ложное определение политической экономии; поставили рядом и финансы и промысловую полицию, как хозяйства особых субъектов. Они ложно поняли практичность направления этой науки и вместо законов наполнили эту науку правилами и благоразумными советами немецкой мудрости. Вот обвинительный акт немецкой камеральной науке второго периода. С такими недостатками она не может остаться и не имеет права называться наукою. Изучение ее не принесет никакой пользы, и за нею всегда останется тот эпитет скучной, который ей дали немецкие студенты *.

* Были еще попытки соединить камеральную науку с юридическими, но я не могу понять цели таких попыток. Такова, например, книга Кютлингера Grundzüge einer allgemeinen

Часть вторая

После краткого обзора немецкой камералистики, в котором мы старались доказать невозможность ее существования, как науки, с тем определением и тем направлением, которое дают ей немецкие писатели, мы должны теперь задать себе такой вопрос: возможно ли, изменивши определение, направление и даже самое название камералистики, сделать ее наукою? и если возможно, то по какому праву заменим мы камералистику этою новою наукою?

Из всего предшествующего разбора камеральной системы мы можем вывести положительно, по крайней мере, то, что все камеральные писатели второго периода науки хотели сделать ее наукою хозяйства вообще, следовательно, и та наука, которая должна заменить собою камералистику, должна иметь своим предметом хозяйство вообще.

Главное направление немецкой камералистики верно; хозяйство может быть предметом науки, но я утверждаю, что само хозяйство понято немецкими писателями неправильно, и то понятие хозяйства вообще, которое они себе составили, или, лучше сказать, которое они перенесли из Аристотеля в новый мир, теперь ложно, несовершенно и не может быть предметом современной науки. На эту неверность понятия немецких писателей о хозяйстве мы уже указали выше, а теперь мы постановим такой вопрос: каково должно быть понятие, каков должен быть предмет, чтобы мог он сде-

Rechts und Wirthschaftslehre von F. Küttlinger, 1836, Erlangen, но неужели соединить две науки значит сопоставить их сколько-нибудь схожие отделы? А больше никакого соединения нет в этой книге; так общей части камералистики здесь сопоставляется гражданское право, домашнему хозяйству — семейное и т. д. Из русских сочинений о камералистике мне известна одна речь проф. Платонова, 1845 г.

латься предметом науки? Германская философия глубоко и удовлетворительно разрешает этот вопрос; но германские ученые не пользуются этим решением и называют именем науки все, что могут построить в какую-нибудь систему. Слова Wissenschaft и Lehre они употребляют чрезвычайно неосмотрительно; и странно, что у французов, где наука никогда не имела такого важного значения, как в жизни германской, понятие науки гораздо определеннее, яснее, хотя не так глубоко. Мы заставим здесь говорить об этом одного французского писателя, тем более, что это понятие науки высказывается им по поводу предмета, весьма близкого к предмету нашей речи. Росси спрашивает: «Приложение знаний человеческих для достижения практической и определенной цели, это употребление индивидуальных и общественных сил для достижения того или другого частного результата, разве в этом, собственно говоря, состоит наука?» Далее Росси говорит: «Как должно определять науку, по тому ли употреблению, которое можно из нее сделать, по той ли выгоде, которую можно из нее извлечь, или же по ее природе и предмету ее изысканий? Ответ не труден. Нельзя определять сущность науки и назначать ей место по ее практической цели; строго говоря, наука не имеет цели. Как скоро начинают заниматься только тем употреблением, какое можно сделать из науки, только тою пользою, какую можно из нее извлечь, наука исчезает, начинается искусство (l'art). Наука занимается только истиною, размышляет о тех отношениях, которые вытекают из самой сущности вещей, восходит до причин явлений и связывает те выводы, которые вытекают из этих причин. Познание истины есть предмет и цель науки, а средства ее та метода, посредством которой она изыскивает истину. Наука не обязана что-нибудь сделать для нас. Если в целом мире не будет ничего, кроме бедности, невежества и бедствия, наука политической экономии все-таки будет существовать. Всегда останется истинным то, что, прилагая тем или

другим образом разумные и органические силы человека, мы произведем вещи, способные удовлетворять нашим нуждам, и эти продукты распределятся известным образом между производителями. Если человек, зная выводы науки, употребляет их для достижения богатства, благосостояния, или для общественного развития, то он делает то, что он должен делать, но через это наука не изменяется. Если ни одного корабля не останется во всем океане, астрономия останется, и ее положения тем не менее будут истинны» *. К этому прекрасному описанию науки мы прибавим, что возле всякой науки может образоваться искусство, которое будет показывать, каким образом человек может извлекать выгоды в жизни, пользуясь положениями науки; но эти правила пользования наукою не составляют еще науки, таких правил может быть столько же, сколько может человеческий произвол создать себе целей в жизни, следовательно, таких правил может быть бесконечное множество, и они могут изменяться бесконечно; но истины науки не изменяются произвольно, а только развиваются; и это развитие состоит в том, что человек от причин более видимых восходит к причинам более глубоким, или, что все равно, приближается более и более к сущности предмета. Понимая так науку, мы не можем дать этого названия немецкой камералистике, потому что в ней излагаются только правила, каким образом человек и различные общества должны пользоваться истинами политической экономии и наук естественных, чтобы достигнуть богатства и материального благосостояния.

Наука не имеет цели, или лучше сказать, сама себе цель, а это-то и выпустили из виду немецкие писатели: они определили науку хозяйства по ее практической цели — доставлять человеку средства к жизни. Довольствуясь этим определением, они не стали отыскивать предмета для своей науки, необходимость которой

* Rossi. Leçon 2-me, p. 19—20. Édition de Bruxelles.

сознавали; они не стали отыскивать такого предмета, который не был бы создан произволом человека, не зависел бы от его взгляда на жизнь, а был бы самостоятелен, как создание природы, имел бы собственное свое содержание, раскрыть которое было бы задачею науки. Если бы они отыскали такой предмет, тогда и самая система науки не была бы произвольной теорией, не строилась бы по началам удобства, а развивалась бы так же, как развивается самый организм предмета.

Немецкие писатели смешали науку и искусство; и так как предмет науки не был схвачен ими, то камералистике осталось одно искусство — искусство добывать деньги. Вот почему удобные правила и благоразумные советы занимают в немецкой камералистике место законов.

Из всего сказанного мы можем вывести, что предмет науки хозяйства должен быть самобытен, независим ни от каких частных целей, должен иметь такие законы, которых бы не мог изменить произвол человека и которые бы развивались из самой сущности предмета. Таков всякий предмет природы, таково и само человечество в его истории. Поэтому всякий предмет природы может войти в науку, хотя, конечно, не всякий может сам по себе составить целую науку *: природа, для того, чтобы выразить свое содержание, проходит эти ступени, но проходит их вечно, и они остаются вечно, и потому являются вечными предметами науки. Таково царство минералов, царство растений, царство животных. Каждое из этих царств есть предмет особой науки, но все они вместе составляют единую науку природы.

Другая половина мира, сознательная его половина, человечество, также развивается, также проходит целый ряд ступеней, в которых высказывает свое содер-

* Природа в своем развитии проходит несколько ступеней, и каждая из этих ступеней делается предметом особой науки природы.

жание; также проходит их вечно, и каждая из этих ступеней остается вечным выражением одной стороны человечества и может быть предметом особой науки, но все эти науки составляют единую науку, науку человечества. Здесь предмет науки не только есть предмет сознания, но сам одарен сознанием. В науках природы главным является наблюдение, а разумное развитие является уже второстепенным, есть только вывод из этих наблюдений; здесь же в науках человеческих * разумное развитие предмета является главным и только подкрепляется наблюдением. Эти два отдела наук никогда не должны быть смешиваемы потому, что самые эти предметы никогда не смешиваются в природе **.

Мы не будем доказывать, что в названии науки хозяйства предполагается эпитет человеческого хозяйства, и что, следовательно, самая эта наука должна быть наукою мира сознательного, что она должна брать свой предмет не как явление бессознательной природы, не как создание человеческого произвола, но как ступень в развитии сознательной половины мира — человечества; ступень, которую вечно проходит человечество, предмет, в котором развивается одна сторона, одна идея содержания человечества. Этот предмет сам сознателен, но имеет вечные, неизменные законы, по которым он организуется и развивает свой организм.

Ни Аристотель, ни принявшие его мнение немецкие камеральные писатели не отделили в своем определении человеческого хозяйства от хозяйства животных; и разница между Аристотелем и немецкими камеральными писателями только та, что Аристотель понимал свое определение, понимал, что смешивает в нем хозяйство человеческое и хозяйство животных, хотел даже этого смешения и в свой век имел

* Человеческими мы называем их по предмету, а по субъекту сознания все науки человеческие.

** В философии и истории человеческие науки и науки природы соединяются, но не смешиваются.

право на него *, а немецкие писатели не понимали своего определения и, живши в XVIII и XIX столетии, не имели права смешивать этих двух хозяйств. В своей Политике ** Аристотель видит в государстве творение природы, сложенное ею из семейств ***. Мы же не имеем никакого права смотреть так на общество. В человеке Аристотель видит животное более общественное, нежели пчелы и другие животные ****, следовательно, только высшую ступень животного, мы же не имеем права смотреть так на человека, даже и в хозяйственном отношении. Далее Аристотель видит в работнике раба, а в рабе одушевленное орудие *****. Знания хозяйственные он разделяет на приличные господину и приличные рабу и к последним причисляет все механические и технические знания (которым, например, учили рабов в Сиракузах), говорит, что в этих знаниях ничего нет возвышенного, и что даже самое управление рабами может быть поручено управляющему для того, чтобы господин мог предаться более благородным занятиям ******. И потом, что не одно и то же уметь управлять домом и уметь добывать деньги *******. Все эти понятия совершенно не наши, они принадлежат древнему миру, и мы не можем ничего на них строить.

Потом Аристотель проводит аналогию между животными и людьми, разбирая, какое влияние на общественное устройство тех и других оказывают способы, предлагаемые природою для добывания необходимого в жизни ********, и не выставляет в этом другого различия между человеком и животным, кроме того, которое имеет человек, как высшее животное. Хозяйственный чело-

* Как мы это увидим ниже.
** Это очень ясно видно в Polit. Arist. I. 7—10.
*** Polit. Arist. I. 2,—3.
**** Ibid.
***** Ibid. I. 4 и еще 6.
****** Ibid. I. 7.
******* Ibid. I.
******** Ibid. I. 8.

век времен Аристотеля был и в самом деле не более, как высшее животное. Упрекать Аристотеля в том, что он не вывел настоящего понятия человеческого хозяйства, было бы так же несправедливо, как упрекать его в том, что он доказывал возможность и необходимость рабства, что он не выставил понятия гражданского права, как его выставили римляне, что он не имеет того же понятия о государстве, о чести, о любви, какое мы имеем. Не было предмета, и Аристотель не мог знать его, хотя были в его время и честь, и любовь, и государственное право, и хозяйство. Вот почему Аристотель совершенно справедливо смотрит на человека в семействе, как на высшее животное, на семейство, как на произведение природы, на государство, как на сложение семейств, на хозяйство, как на приобретение необходимых средств к жизни и как на дело домашнее, и на хозяйство общества, как на хозяйство семейственное *. Но мы, проживши столько после Аристотеля, имеем ли право смотреть так же на вещи и заимствовать его определения для явлений нашей жизни? Если даже на общество смотреть, как на создание природы, то после Аристотеля появилось много таких новых созданий природы, о которых он знать не мог и из которых он знал только первое по времени и порядку развития, именно то, в котором он жил. Итак, кажется ясно, что на хозяйство человеческое Аристотель смотрел, как на хозяйство животных, хотя различал их по степеням; но степень не разделяет, а соединяет предметы. Хозяйство человека было только высшею степенью хозяйства животных, и этим-то приобретением средств для животной жизни и их управлением занимается Аристотель. Это определение немецкие писатели приняли без перемены, и Рау, определяя хозяйство, как деятельность, направленную на то, чтобы снабдить человека вещественными предметами, не отличает точно так же хозяйства человеческого от

* Ibid. Polit. Arist. I. 8.

хозяйства животных; потому у него и наука хозяйства излагает правила, по которым человек, семейство и государство удовлетворяют своим потребностям добыванием, содержанием и приложением вещественных имуществ *. Под это определение хозяйства подходит и хозяйство животных. Если человек смотрит на весь внешний мир, как на средство, которым он может удовлетворить своим потребностям, то я думаю, что лев и тигр смотрят так же на внешний мир и причисляют к нему самого человека; если человек употребляет усилия, чтобы сделать вещи природы средствами для удовлетворения своих нужд, привести их в то положение, в котором они удовлетворяют его нуждам, то то же делает и птица, свивая себе гнездо, и бобр, строя свое жилище; если человек соединяет несколько вещей природы, чтобы сделать из них то, что ему нужно, то то же делает и пчела, превращая материалы природы в воск и мед и выбирая место для своих сотов; если человек заботится сберечь добытые им средства к жизни и если заботится в этом случае не только о себе, но и о своих близких, то это так же делают пчелы и муравьи: они хлопочут точно так же и трудятся целую жизнь, как и человек. Многие звери точно так же, как и люди, целыми семействами, родами, поколениями покоряют природу своим целям; повторяю еще, что о степени развития здесь не может быть речи. Правда, животные побуждаются к этим действиям инстинктами и исполняют их тоже по правилам вложенного в них инстинкта, но название инстинкт еще не отличает этой способности от рассудка, и кроме того, животные также сообразуются с обстоятельствами; человек так же побуждается инстинктами, но удовлетворяет этим инстинктам по правилам рассудка. Мотив не различает действия. Человек ходит, также побуждаясь рассудком, но никто же не думал отличать человека от животного тем, что он ходит, и способность ходить в человеке изучается, как

* Rau, Lehrbuch der Politischen Oekonomie, 1833. S. 2.

способность животного, хотя эта способность имеет в человеке некоторые особенности; а потому я утверждаю, что хозяйство, как его определяют немецкие писатели, есть принадлежность человека-животного, и потому может быть изучаема или как явление природы, или как искусство, но не как наука.

Но огромность размеров человеческого хозяйства, стройность его организации, непобедимая сила этого хозяйства, его развитие в истории и неизменность его законов заставляют нас отказываться от этого смешения человеческого хозяйства с добыванием средств к жизни у животных, заставляют нас отыскивать основное отличие, из которого вытекает уже вся бесконечная разница этих двух действий, имеющих одну и ту же цель, следовательно, не цель различает эти два действия, а потому и не она должна определять человеческое хозяйство. Основной отличительный признак человеческого хозяйства должен составлять и сущность этого хозяйства, должен быть его содержанием, следовательно, содержанием и предметом науки хозяйства. В самом деле, как только был найден этот отличительный признак, тотчас появилась и наука хозяйства; с этого времени начинается ее история. Этот отличительный признак найден Адамом Смитом; я не говорю, что он первый заметил его: нет, этот закон так прост, так виден для каждого, но только Адам Смит понял важность этого закона, увидел, что на нем строится и человеческое хозяйство и человеческое общество; он первый выразил внутреннюю необходимость этого закона и положил его в основу своей книги, которая вся есть только развитие этого закона в разных сферах, а эта книга легла основою науки хозяйства. И притом только в его время можно было сделать это, потому что только в его время политико-экономический закон лег в основу общественного устройства. Вот почему с Адама Смита начинается история этой науки, а все прежние сочинения были только попытками отыскать этот единый основной за-

кон человеческого хозяйства, были только введением в историю этой науки. Этот основной закон человеческого хозяйства, этот его отличительный признак есть свободное разделение труда и соединение посредством этого разделения*.

Я не стану здесь объяснять этого закона, потому что со времени Адама Смита он не требует больше пояснений; самые красноречивые страницы в сочинении этого великого человека посвящены объяснению этого закона, все остальное в его книге есть только дальнейшее его развитие, есть только доказательство того, что на этом законе строится и должно строиться человеческое хозяйство и хозяйственное общество людей. За этот закон сражается Смит, за неприкосновенность его стоит он и угрожает тем, что всякое нарушение его отомстится самым этим законом, как всякое нарушение закона природы. Мы не спорим, что, может быть, Смит, пораженный величием открытой им истины, забыл, что человек имеет возможность, не нарушая разумного закона природы, прилагать его к своим целям и даже развивать его далее, сообразно требованиям века; но тем не менее истинность этого закона и его разумная необходимость не подвержены никакому сомнению, и, с отвержением свободного разделения труда, должно исчезнуть всякое хозяйство, или по крайней мере свободное человеческое хозяйство, и должно начаться кормление животных.

Мы сказали, что отличительный признак человеческого хозяйства есть свободное разделение труда и соединение в общество посредством этого разделения и для этого разделения; но и звери также соединяются в общества и целыми семействами, целыми родами и поколениями одолевают внешнюю для них природу и

---

* Называя этот закон разделением труда, мы определяем его односторонне: он столько же закон соединения труда, сколько и разделения. Это легко понять.

подчиняют ее своим целям. В этом-то смешении обществ родовых, кровных и обществ хозяйственных — свободных лежит главная ошибка не только немецких, но и французских экономистов. Вследствие этого смешения камералисты немецкие ставят рядом хозяйство семейства, общины, народа и государства, а французские политико-экономы то вносят в свою науку все общественные вопросы, то оставляют в ней только произведение ценностей. Нам кажется, что в первом случае они слишком расширяют свою науку, а во втором слишком стесняют ее.

Не все общества принадлежат политической экономии, а только те, которые установляются самым хозяйством и для хозяйства. Чтобы отыскать экономическое общество в числе других обществ, мы должны обозреть их в историческом порядке.

Мы сказали уже выше, что человечество, развиваясь, проходит целый ряд ступеней, но проходит их вечно, и каждая из этих ступеней остается вечно и может быть предметом особой науки; а теперь мы постараемся отыскать, какая из этих ступеней является предметом науки хозяйства. Это изложение ступеней развития человека здесь не может быть полно, я ограничусь только самым кратким обзором, необходимым для выведения самой науки; многие истины я должен здесь принимать за аксиомы уже доказанные, на многие только намекать, многое и совсем выпускать из виду.

Человек развивается только в обществе. Развитием человека я называю тот процесс, которым он ближе и ближе приближается к своей человеческой сущности, к своему человеческому назначению, более и более сознает его и выражает это сознание в своих действиях. Общество вызывает эти законы натуры человеческой и выражает их в своем организме; таким образом, изучая развитие организма общественного, мы изучаем развитие человечества. Человек вступает в первое общество, побуждаясь инстинктом общим ему и животному: это первое общество есть брак. Первый мотив вступления в брак

есть чисто животный, он условливается крайнею односторонностью двух полов; но эта односторонность выражается во всем организме этих двух полов, не только в телесном, но и в нравственном, и человек, вступая в брак, уничтожает односторонность всей своей природы.

Но брак остался бы только временным, если бы к этому половому стремлению не присоединялось другое — стремление хозяйственное. Женщина, по самой слабости ее организма и по назначению производить людей, является в зависимости от мужчины и привязана к одному месту, является, так сказать, животным домашним. Мужчина, напротив, способный к трудам и далеким отлучкам, по своей подвижной натуре, не способен к жизни домашней и кропотливому занятию домашним хозяйством; но тем не менее перемены времен года, возможность болезни и ожидание старости заставляют его подумать о том, чтобы иметь свой уголок, куда бы он мог сложить плоды своей деятельности и где мог бы потом наслаждаться ими. Таким образом человек, привыкая удовлетворять половому стремлению, привыкает в то же время удовлетворять другому, которое не чуждо и животным — стремлению хозяйственному. Этими двумя стремлениями, удовлетворение которых находит мужчина в женщине, вводится он в постоянный брачный союз; но природа не позволяет человеку остановиться на этой первой ступени: рождаются дети и круг общественный расширяется; эти новые существа привязаны к семейству самою продолжительностью своего детства, которое у человека не без намерения продолжительнее, чем у прочих животных, а впоследствии связываются единством характера потому, что в семействах первобытных дети не имеют причины не быть верным отражением своих родителей. Родители передают свой физический темперамент, следовательно, основу, на которой развивается характер человека, и сами же последующим своим влиянием строят будущий харак-

тер детей. Таким образом основывается дом, лица которого все пропитаны одним характером, выражают собою одну идею; способ добывания средств к жизни, которым пользовался отец, передается и детям и отражается, следовательно, на всем имуществе этого дома; таким образом создается дух семейный, первое существо не материальное и отрешенное от индивида. Когда умирает глава семейства, дух семейный, который римляне олицетворяют своими пенатами, не умирает. Китайцы, образец первобытной семейной жизни, верят только в бессмертие этого духа и не имеют другой религии, кроме поклонения ему.

По смерти родителей семейство уже не распадается, но все члены его соединены этою общностью семейного духа, который выражается в общности их характеров; расселяясь по разным местностям, соображая с ними способы своего существования, члены бывшего семейства разнообразят и развивают далее этот общий, им завещанный характер; но общность никогда не может исчезнуть, как не исчезает темперамент и влияния, принятые в детстве. Еще в семействе разделяет отец занятия и хозяйственные труды по полам и возрастам. Аномалий в первобытном семействе быть не может. Таким образом человек самым неизбежным (в отличие от необходимого) законом разрождения и смерти вводится во вторую ступень общества, которая выше семейной по самому началу своего соединения; там связывались люди непосредственным чувством, человеку в семействе не нужно было думать, чтобы определить свои отношения к отцу и к матери: он чувствовал эти отношения; но в роде это непосредственное живое чувство ослабляется; племянник должен уже считать, чтобы определить свои отношения к дяде, двоюродному брату, троюродному и так далее; человек должен уже направить мысль на свое общественное положение. Число, как и везде, является переходом от чувства к мысли и чем более разрождается род, тем труднее становится определить числом родовичу свои отноше-

ния к обществу; наконец, поколенный счет делается невозможным, и человек поневоле должен искать другого соединяющего начала. Хозяйство родовое оставило свой вечный образец в хозяйстве индийских каст; но мы не можем им заняться теперь подробнее.

При распадении семейства на множество семейств, каждое из этих новых семейств, расселяясь, уносило с собою основу общего характера, но разнообразило ее под влиянием тех разнообразных местностей, на которых поселялось, и тех разнообразных способов жизни, которые условливались этими местностями; вместе с тем единый семейный дух разнообразился, и содержание его полнело; потому-то, чем разнообразнее страна, тем полнее содержание народного характера; чем гармоничнее сложена страна, тем гармоничнее этот характер. Когда возможность поколенного счета уничтожается, а между тем единый характер, оставленный прежним единым семейством, слишком тверд, чтобы исчезнуть, тогда обыкновенно члены рода заменяют потерю поколенного счета мифом. Такой миф был почти у всех народов; но в этом-то и состоит проба рассудка народного, чтобы сбросить этот миф, не удовольствоваться им. Избыток воображения у индийцев над всеми другими способностями не позволил им разрушить этого мифа, напротив, они привязали к нему и свое политическое, и свое религиозное, и свое нравственное существование, и жизнь индийская застыла в кастическом устройстве, как жизнь китайская в семейном. Недостаток воображения остановил развитие китайцев, избыток воображения сделал у индийцев то же, но если народ имеет довольно задатков будущей силы, довольно рассудка, чтобы разбить миф и не успокоиться на нем, тогда он должен искать нового начала для соединения своего общества, и бросивши число, принимает этим началом мысль. Так неизбежный закон разрождения и смерти * выводит человека из

* Разрождение есть главный внешний, природный двигатель патриархального периода. Этот двигатель и теперь, впро-

быта родового в племенной; здесь человек связывается с другими уже не чувствами, не числом, а мыслью, единством языка, единством религии, единством той земли, на которой они живут и оразноображенное единство которой выражают в оразноображенном единстве своего характера.

Но и племя разрождается; язык распадается на ветви, наречия и подречия; религия на различные культы, обычаи; и весь характер народный вместе с разрождением и расселением народа разнообразится, распадается, и нет человеку возможности остановиться на чем-нибудь. Такой порядок дел в мире повел греческих философов к отысканию идеи: такой порядок дел в племени доводит его до создания первого исторического факта, общего всему народу, и этот единый факт ложится в основу соединения народа. Западная Азия представляет до сих пор эту отчаянную борьбу человека с ничтожеством, это постоянное стремление племени быть народом; но все эти стремления оказались безуспешными, и племя исчезает в распадениях. Так в Иране племя наплывало на племя, каждое из них хотело произвести какой-нибудь исторический факт, стать народом, но каждое падало в бессилии; история забывала его неисторические деяния, а новые племена, как волны, заливали остатки прежнего. Так громоздились в Иране развалины на развалины. Посмотрите на эту страну, как в ней азиатские формы силятся приобрести европейский индивидуализм и определенность, силятся добыть разумное содержание европейских форм *, и вы вполне поймете, почему такая судьба была назначена этой роскошной стране. В Азии не было ни одного народа, ни одного исторического факта; начало истории человека, а не природы, было в Греции, в Греции же было создано и понятие нового общества, народного, понятия народа. Из всего

чем, оказывает влияние на историю, принуждает человека приступать к решению его вопросов.

* Риттер.

племенного распадения остаются человеку только две постоянные связи: это единство страны, которою завладел народ, и единство того характера народного, который совпадает с характером страны. Если в физиономии страны провидение означило какое-нибудь историческое назначение, какую-нибудь историческую идею, и если зерном народного характера является то же самое назначение, та же идея, то от всего племенного распадения остаются неизменными, как неизменны законы разума, только эти две идеи, или лучше сказать, одна идея, выраженная в этих двух формах — в стране и ее народе. Только эта одна идея непоколебима во всеобщем потоке времени; только ею может спастись народ от ничтожества, и племя, сочувствуя этой идее, как единой, общей всем членам племени, выражает это свое чувство в первом историческом факте своей жизни, в этом факте выражены и запечатлены характер племени и народа, и этот факт ложится в основу соединения общества, и это общество является уже не неизбежным кровным соединением, а народом, обществом человеческим, обществом историческим. Воля индивида, участвуя в совершении этого факта, освятилась его совершением потому, что в это время ее содержанием было нечто историческое, вечное, истинное, и в высшей степени правное. С этого-то времени начинается и существование народа и развитие личности. Греция во всю свою историю успела совершить только этот факт и совершила его за все человечество; идея личности появилась уже под конец истории греческой и то только в форме возможности, в форме философской идеи; выражение ее стоило жизни Сократу. Риму назначено было создать тело для этой личности, и Рим во всю свою историю создавал это тело — создавал гражданское право, которое есть не более, как связь личности с ее телом, с миром материальным. Сущность личности состоит в том, чтобы быть исключительною, или, лучше сказать, сама абстрактная личность человека есть не более, как этот постоянный процесс исключения; на

этой исключительной личности не должно останавливаться, но тем не менее она лежит в основе всякого человеческого деяния, всякой ответственности за свои поступки. Рим создал личность, но разрушил общество; весь древний мир распался на индивидуальные атомы, эгоистические, исключительные, но общества не было. Этим появлением личности, воплощенной миром материальным, начинается второй период общественной жизни. Греция была только переходом от быта патриархального к быту гражданскому, первым историческим фактом всего человечества, таким фактом, который бывает во всяком народе в начале его истории и которым решается его судьба, его будущее назначение. Греция совершила этот факт для европейского народа. Рим создал только одну эгоистическую личность и ее одежду — право собственности; но создать общество на этой основе, соединить эти эгоистические личности, не уничтожая их, следовательно, соединить их собственным их эгоизмом, — Рим не мог, он был слишком дряхл для такой великой задачи, а для решения ее нужно было много борьбы, много побед одного эгоизма над другим, чтобы, наконец, убедился человек, что его эгоизм может удовлетвориться только в удовлетворении эгоизма другого лица. Этот закон лежит в самой основе личности, всякая абстрактная личность равна другой по тому самому, что абстрактная личность не имеет содержания; всякое содержание она должна отделить от себя, следовательно, если человек будет поступать логически, то, отвергнувши одну личность, он должен будет отвергать и все прочие, следовательно, и свою собственную. Этот простой логический закон лежит в основе всего второго периода; чтобы убедиться в нем, на это нужно немного усилий ума, но чтоб исполнять его, для этого нужно было человеку пересоздаться. Первые герои этой мысли, которые преобразили себя и хотели преобразовать других, были герои христианской любви к людям; но все общество не могло подняться на такую высоту; сбык-

новенный человек, может быть, только несколько мгновений в жизни своей действует, повинуясь идее любви и самопожертвования, а вся остальная жизнь его выходит из эгоизма. Итак, надобно было, чтобы человек в истории убедился в том, что истина везде верна самой себе, что эгоистически верный расчет должен быть истинен, что для человека и выгодно только то, что истинно; что личность человека может только существовать при признании всех личностей и что эгоизм одного человека удовлетворяется только в удовлетворении других людей, а не на счет их. Но расширить свой эгоизм разом до того, чтобы он обнял все человечество, человек не мог, ему надобно было, начавши с самого тесного кружка и проходя все более и более расширяющимся, дойти до единого народного интереса. Вот почему в средние века все европейское общество распадается на множество отдельных, мелких, замкнутых общин; но это был уже шаг вперед в сравнении с римским исключительным эгоизмом. Здесь уже несколько эгоизмов сливалось в один о б щ и н н ы й, и уже в таком виде этот эгоизм является исключительным, враждебным ко всему тому, что было вне его. Средневековая мысль, какой бы сфере ни принадлежала, как только выходила в мир, тотчас создавала общину, являлась в форме общины. Борьба идей, борьба интересов выражалась в борьбе общин; но в этой долгой и упорной борьбе человек постоянно убеждался, что, уничтожая интересы других, он уничтожает свои собственные, и так же часто забывал эту истину. Трудным и кровавым процессом входила она в мир. Одна община сливалась с другою из эгоизма, чтобы победить третью, и потом сливалась и с этою третьею, чтобы победить четвертую и т. д. Так расширялся эгоизм, так более и более, преследуя свой исключительный интерес, человек расширял круг эгоистического общества — теснее и теснее соединялся с целым миром, возводил к сознанию те связи, которые уже прежде его опутывали, видел, что эти связи необходимы для его собственного

эгоизма. Наконец, отдельные общины начали сливаться в более обширные, в сословия. Возникновение городов и среднего сословия было уже значительной победой этой истины, но отвержение ее продолжалось в самой борьбе сословий. Эта борьба только доказала ту истину, что не человеку, а всему человечеству отдана в удел земля; что человек может перестать жить, но не может выйти из человечества; что частный, индивидуальный интерес может осуществиться только в интересе человечества. С окончанием борьбы сословий, вместо интереса индивидуального, городского, интереса сословия, выступает на сцену материальный интерес целого народа. Мы не будем говорить здесь, в чем выразилось это появление единого интереса народного, а упомянем только об одном его проявлении — системе меркантильной, упомянем именно потому, что в ее возникновении, в ее опровержении, в ее ошибках и в упорной слепоте ее защитников, в ее популярности выражается всего яснее та трудность, болезненность процесса, которым политико-экономическая истина проходит в жизнь. Это именно потому, что эта истина проникает в самый центр человеческого существа, проникает в его эгоизм, но зато, проникнувши однажды, она завоевывает себе непоколебимую почву, завоевывает себе такого поборника, против которого ничто не может бороться, и который никогда не изменяет тому, что принял однажды: завоевывает себе эгоизм человека. На этом-то основании строится политико-экономическое общество, самое крепкое из всех обществ.

Когда таким образом окончилось сложение второго периода общества — общества гражданского, появилась потребность возвести его к сознанию. Это прекрасно исполнили: Гроций, Гоббез, Локк, Фергюсон, школа шотландских моралистов, Руссо, Кант, Фихте, и наконец, в наше время эта же идея выразилась в Rechtsstaat и нашла себе пропаганду в лексиконе Роттека и Велькера. Эта идея совершенно

верна, но ошибка последователей состоит именно в том, что они видят в этой форме последнюю форму общества; а ошибка Шеллинга и даже Гегеля состоит в том, что они не дают надлежащего места этой идее, что они не сознают всей ее юридической силы. Одно только это общество и нужно для экономистов, материальная сторона этого эгоистического, гражданского общества и есть экономическая сторона, и общество, построенное на этой материальной основе, есть экономическое общество. Вот почему только по создании этого общества могло появиться истинное начало человеческого хозяйства, и вот почему его не могло быть ни у греков, ни у римлян. Величие, современность Адама Смита и состоит именно в том, что он первый созерцал и выразил эту в его время творящуюся идею. Вот почему и история политической экономии не идет и не может идти в прошедшее далее Смита, если выкинуть только попытки физиократов и меркантилистов отыскать этот закон. Экономическое общество в течение всей средней и новой истории восходило к своему сознанию, но только в теории Адама Смита достигло до сознания своего основного закона свободного соединения и разделения труда, соединения и разделения этим трудом самого общества.

Поражая меркантильную систему, Смит снимает последние границы, разделявшие это общество, и, высказывая истину свободного разделения труда не только между членами одного народа, но и между членами всего человечества, возводит к сознанию экономическое общество человечества. Это великое хозяйственное общество существовало и прежде: грек носил шелковые ткани Китая и употреблял произведения Индии; римлянин пользовался трудами всего мира, и в средние века люди всего мира менялись также своими трудами; но к сознанию этого общества пришло человечество только в конце прошедшего столетия, и первый закон этого общества выражен был отцом политической экономии. Вот почему я сказал, что наука человече-

ского хозяйства не могла быть ни на Востоке, ни в Риме, ни в Греции, между тем как искусство хозяйства животного, может быть, нигде так не обработано, как в Китае. Хозяйство только в новое время делается связью людей, или лучше, эта связь людей только в новое время делается историческою, и следовательно, предметом человеческой науки.

Итак, из нашего исторического очерка развития общества мы можем вывести, что нашей науке принадлежит то общество, которое обыкновенно называют обществом гражданским: общество, основанное на эгоизме и на материальных интересах, общество, в котором один член соединяется с другим именно потому, что думает только о себе, о достижении своего исключительного интереса. В этом обществе всякий член самою исключительностью своего эгоизма связывается неразрывно с другим; в основе этого общества лежит та же истина, которая лежит в основе разделения труда, та же истина, по которой все, соединяясь, разделяется и, разделяясь, соединяется.

В этом обществе чем ближе люди по своим занятиям, тем они дальше, и чем дальше, тем они ближе. Интересы двух фабрикантов одних и тех же материй, живущих в одном и том же городе, противоположны, а интересы русского фабриканта с интересами того индийского производителя, который доставляет ему краску, — одни и те же. Этот фабрикант, желая, чтобы фабрика его соперника подорвалась, желает в то же время, чтобы дела индийского производителя шли как можно лучше, и забывает часто, что они пойдут хуже, если фабрика его соперника подорвется. Ремесленники одного города смотрят враждебно друг на друга, но, между тем, единство их занятия соединяет их в одно сословие; напротив же, каждый из этих ремесленников связан своим интересом с успехами ремесленника другого ремесла. Сапожник желает, чтобы как можно менее было у него соперников и как можно более выделывателей кожи.

Я вхожу здесь в политико-экономические толкования потому только, что они необходимы для выражения характера того общества, которое составляет предмет науки хозяйства. Работники, ремесленники, фабриканты, капиталисты и землевладельцы — вот сословия этого общества, или, лучше сказать, его элементы; они между собою распределяются по тому же неизменному закону, который лежит в основе всякого хозяйства. Это экономическое общество заключает в себе все человечество. Сознательно и бессознательно каждый находится в нем. Привести это общество и его законы к сознанию, — вот цель хозяйственной науки.

Интересы этого общества суть только материальные, так же как и предметы права этого общества, права гражданского. Для юриста это общество есть общество гражданское; для экономиста — экономическое. Юрист рассматривает это общество в том виде, как его оставили римляне, рассматривает его как множество отдельных, исключительных эгоистических единиц. Экономист связывает эти единицы самим их разделением. Для юриста все эти единицы тождественны, безразличны; для экономиста все они являются колесами огромной машины, побеждающей природу; для экономиста вся эта огромная масса безразличных юридических единиц оразличивается; но и для юриста (в строгом, римском смысле этого слова) и для экономиста один и тот же субъект — эгоизм: один и тот же предмет — материальный интерес. Гражданское право лежит в основе экономии, но в нее не входит; оно предполагается ею, как бесспорно существующее. Экономический интерес человечества и связь людей этим интересом, вот предмет н а у к и х о з я й с т в а. Все другие общества, члены которых соединяются или единством происхождения, или единством характера, или единством государственной идеи, или единством исторической жизни, — принадлежат к другим наукам; а науке хозяйства принадлежит одно общество, члены которого соединяются разделяющим

эгоизмом людей и которое организуется разделением труда.

Предмет этого общества один только материальный интерес, потому, что эгоизм в чистом виде проявляется только в материальных интересах, и потому еще, что в основе этого общества лежит гражданская личность, а идея гражданской личности только в собственности, только в мире материальном находит себе тело. Вопросы политические, религиозные, нравственные не находят себе места в науке хозяйства потому, что эти вопросы решаются по законам соединения, а не разделения, по законам любви, единства происхождения, единства исторической жизни, — не по законам эгоизма, не по законам исключительной человеческой личности, которая есть единый деятель гражданского общества; только в мире материальном может осуществляться исключительная гражданская личность потому, что осуществление личности состоит в том, чтобы напечатлеть на чем-нибудь внешнем свою исключительность, то-есть сделать это внешнее исключительно своим, то-есть усвоить его, завладеть им. А усваивать и завладевать может человек только в материальном мире; следовательно, ясно, что предметом науки хозяйства может быть только материальный интерес и то общество, которое связывается материальными интересами; те же политико-экономы и камералисты, которые боятся загромоздить свою науку, вводя туда самое общество, делают так же дурно, как тот полководец, который, выучивши свое войско владеть оружием, выслал бы его на битву, забывши построить его в порядке, потребном для битвы.

Таким образом мы выставили закон свободного разделения труда за отличительный признак человеческого хозяйства и потому можем утверждать, что человеческое хозяйство может быть только общественное и что только общественное хозяйство может быть предметом человеческой науки. По-

тому я утверждаю, что немецкая камералистика ложна в самой своей основе, следовательно ложна в постройке и во всей своей системе.

Человек не только пользуется произведениями природы, но и заставляет природу производить; подметивши законы природы, заставляет ее служить себе. Человек овладевает природою, овладевая ее тайнами; он проникает внутрь природы и, овладевая ее законами, заставляет ее действовать сообразно своим целям. Но человек не может извратить законов природы; он только может воспользоваться ими, приводя их в действие в данное время и для данной цели. Закон разделения труда и соединения его этим разделением потому так и силен в хозяйстве человека, что он есть закон той самой природы, с которою борется человек. Этот логический закон, соединяющий противоречия, будучи основным законом человеческого хозяйства и хозяйственного общества людей, есть в то же время и основной закон хозяйства нечувствующей природы. Не нужно доказывать, что природа не есть бессвязный сбор вещей, но гармоническое целое, все части которого суть только члены живого организма. В этом живом организме жизнь его и развитие совершаются по тому же логическому закону соединения и разделения труда. Все части природы, все члены ее стремятся создавать единое, и вместе с тем ни один из этих членов природы не смешивает своей деятельности с деятельностью другого; всякий из этих членов имеет свою особенную функцию, и все они этим соединением труда распадаются на бесконечное множество различных членов, различных существ. Каждый из членов природы именно потому и является особым существом, что имеет особую функцию, особое назначение. Этим своим особым назначением он отделяется от всех прочих, но вместе с тем, этою только особенностью он соединяется с тем, от чего отделяется. В химии, в ботанике, в зоологии, в физике, в анатомии, в географии везде один и тот же закон является окончательным выводом;

везде приближением к открытию этого закона оценивается совершенствование науки *. От этого совпадения основного закона человеческого хозяйства с законом хозяйства природы происходит вся сила первого и удача всех тех действий, которые на нем основаны. Человек не борется с природою, а только сознает ее законы, и это сознание передает ему власть над нею; природа до тех пор еще грозна, пока недостижима, пока успевает скрывать свои тайны от человека; но как только человек успевает вырвать у ней эти тайны, он тотчас вводит природу в круг своих сознательных действий, заставляет ее действовать сознательно, дает ей душу, сознание, потому что и самый человек не может вырваться из природы.

Наука хозяйства должна излагать те законы, по которым человек вводит природу в круг своих сознательных действий, делает ее участницею своей цели — не временной, не случайной, но цели развития. Эти законы не случайны, неизменны, потому что борьба человека с природой совершается по неизменным законам. Так как основа хозяйства человеческого есть разделение труда, и основа науки хозяйственной есть логический закон этого разделения, и притом этот закон извлечен из самой природы, то наука хозяйства и должна показать, каким образом человечество пользуется этим законом природы, должна показать, как разделяется труд людей по этому закону, и как по этому разделению соединяются люди в единое хозяйственное общество.

Новейшие географы уже без боязни подвергнуться насмешкам и прослыть мечтателями отыскивают в форме земли, в отношении ее главных, второстепенных и мелких частей, в различных их соединениях, в произведениях различных стран, отыскивают и находят че-

* Это так и должно быть, потому что этот закон есть первый основной закон мышления, разума.

ловеческое назначение какой-нибудь страны, назначение ее — служить развитию человечества. После Риттера нам нет уже нужды в боязливых догадках намекать на то, что весь земной шар распадается на такие части, из которых каждая имеет особую физиономию, и что в этой физиономии, как в физиономии человека, скрывается мысль. Если какой-нибудь народ хочет удачно действовать, то должен действовать по закону той мысли, которая выражена в физиономии его страны, и только действуя так, он будет действовать исторически, производить вечные исторические деяния; потому, что эта мысль вложена самим провидением, которое создавало человека для развития, а землю делало поприщем и орудием этого развития. Провидение выразило эту мысль в гигантских и вечных письменах природы: в небе, в море, в очертании берегов, в расположении гор, рек, долин, равнин, степей, в геологическом составе почвы. Первым произведением этой выраженной мысли является растительность — первое произведение этих условий; вторым — животные — второе произведение этих условий и самой растительности; третьим — общества. Как тщетна и безумна была бы борьба с провидением, так тщетно и безумно было бы стараться исказить ту мысль, которую скрыло оно в физиономии страны. Стать выше этой мысли человек не может, сознать ее и выполнить — вот все его назначение. Чем более народ овладевает этою мыслью, чем покорнее становится ему земля его, тем становится она одушевленнее, живее, разумнее. Только того народа существование крепко и обеспечено, который опирается на эту мысль своей страны. Этот закон верен для всех действий народа, но нигде он не имеет столь очевидности, нигде истинность его не блещет так ярко, так неотразимо, как в экономических действиях народа. Причина этого весьма понятна: это потому, что всего осязательнее действует природа на человека свойством тех произведений, которые она доставляет ему для его жизни. Правда, человек в этом отношении употребляет

природу, как орудие, но человек всего больше зависит от тех орудий, которые он употребляет *.

В разделении земного шара на страны всего яснее выразилось то, что человечество должно разделять свои труды и этим разделением соединяться в одно великое хозяйственное общество, поприщем для которого вся земля, имуществом которого все богатство природы, а орудиями все ее неистощимые силы.

Но в этом же разделении выразилось и то, что великое общество не должно быть сплошною массою, но должно расчленяться на множество отдельных хозяйственных обществ, из которых каждое занимает отдельную функцию в великом хозяйстве человечества; и эта функция, дело этого отдельного общества, должна совпадать с тем хозяйственным назначением, которое выразилось в физиономии страны, занимаемой этим обществом. Тогда только дружно и гармонически пойдет сознательное развитие природы, тогда только в самом деле вся природа явится верным орудием человека. Это распадение одного великого хозяйственного общества совпадает с историческим делением человечества на племена, народы и государства. Каждый народ, являясь членом в историческом развитии человечества, является в то же время живым членом в истории великого хозяйственного общества, в истории так называемой борьбы человека с природою **. Хозяйственный интерес народа в том и состоит, чтобы выполнить это хозяйственное назначение своей страны; то только и выгодно народу, что стремится к выполнению этого назначения; все же другое будет противно экономическому интересу народа, будет не выгодно для него. Доказывать это я здесь не буду потому,

* Превосходно блещет эта простая истина у Аристотеля. Arist. Polit. 1.

** Человек не борется с природою, и зачем ему бороться с нею? Природа так разумна! Не значило ли бы это бороться с собственными своими законами. Нет, человек только сознает природу и превращает ее бессознательные действия в сознательные.

что и так много голосов поднялось в последнее время в защиту того, что хозяйство народа должно быть сообразно климату, положению, почве и произведениям его страны, что с хозяйства человеческого должны быть сняты произвольные ограничения, и что оно должно быть предоставлено природной силе вещей, силе природы. В одном только я не согласен, именно в том, чтобы оставить эти законы бессознательными; нет, мы должны сознать их и претворить их в нашу разумность, в наши законы.

Интерес хозяйственных сословий народа, интерес всех общин, находящихся в этом народе и имеющих хозяйственную цель, интерес города и села, и наконец интересы частного лица выполняются только в достижении этого общего народного интереса; из наполнения этого народного интереса, как из одного центрального резервуара, черпают интересы всех членов народа. Эта истина блещет чрезвычайно ярко, чрезвычайно просто в тех приговорах, которыми чаще всего осуждают неудавшуюся хозяйственную попытку, говорят, что она была не к месту, не к времени. Простой инстинкт расчета заставляет человека угадывать то, что было к месту и к времени. Всякая хозяйственная деятельность, направленная и по месту и по времени, не может быть неудачна потому, что нет причины неудачи; вся природа и все человечество, вся природа страны и все ее население помогают этой деятельности *; только одни непредвиденные случаи, както — пожар, неурожай, наводнение — могут принести неудачу, да и с этими случаями можно бороться, их можно предвидеть. Всякая хозяйственная деятельность тогда только выгодна для частного человека, когда выгодна для целого народа. Если правильно богатеет человек, то он никого не разоряет, и только это пра-

* В этом случае, говорит Сэй, «к своему собственному интересу присоединяют силы всей страны, и даже всех людей и всех стран». J. B. Say. Cours Compl. 2-de édition. Paris. 1846, p. 32.

вильное богатство есть истинное богатство; в этом случае опять справедливо, что выгодное для индивида, выгодно народу. Всякая другая деятельность, интересы которой не совпадают с интересами страны и народа, не должна удасться, а если и удается на время, то это та же удача, которая сопровождает человека, совершающего преступление, нарушающего законы. Такая хозяйственная деятельность, выгода которой не совпадает с выгодой народа, есть или безумный проект, обломки которого задавят самого составителя, или преступный умысел, совершение которого накажется рано или поздно. Посмотрите на человека, неправильно нажившего богатство, и пожалейте об нем: каждая копейка выбивает у него часть души, и, наконец, им овладевает та страшная болезнь, о которой так удачно сказал Ювенал: «crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crescit». Недаром твердит наш народ, что дурно нажитая деньга в прок не пойдет *. В этой простодушной вере в силу истины скрыт глубокий, неодолимый закон этого мира.

Если вы возьмете на себя труд собрать все результаты наших рассуждений, то увидите, что предмет науки хозяйства действительно существует, существует так же, как существует каждый предмет природы, самобытно, по внутренним своим законам, как и проявление этих внутренних законов в мире действительном, так что все эти законы развиваются из одного и выражаются органически в различных оболочках этого предмета.

Логическая идея человеческого хозяйства есть разум этого живого предмета; хозяйственное общество людей

* «Честность в производстве, — говорит F. de la Farelle, — предписывается нравственностью, сколько советуется политическою экономиею; честность должно считать в числе самых могущественных средств постоянного и возрастающего успеха; это условие sine qua non прочного благосостояния. Из всех спекуляций честность самая лучшая и самая верная спекуляция». Journ. des Économistes, 1846, Mai, N 5. Edition de Bruxelles.

есть душа этого предмета со всеми ее способностями; а расчлененный организм земли есть тело этого предмета. Таким образом возникает этот предмет перед нами, как живой, разумный, действительно существующий в природе и истории. Деятельность этого предмета совершается по законам его разума, души и тела, и эта-то деятельность называется хозяйством человечества. Изучать этот предмет должно нераздельно, не дробя его, точно так же, как истинная наука должна изучать человека, не дробя его; потому что всякое существо природы существует, как единое, как выражение единого закона. Так в теле, в душе и в разуме человека выражен один и тот же закон, закон сознания, закон его божественного назначения.

Мы теперь, следовательно, можем сказать, что, во-первых, мы нашли для науки хозяйства такой предмет, какого совершенно справедливо требует Росси: предмет, существующий самостоятельно, имеющий свою организацию и свои законы, который действует в мире по внутренним своим законам, следовательно, такой предмет, который может сделаться предметом науки. Во-вторых, этот предмет есть действительно п р е д м е т науки хозяйства, потому что хотя такое всемирное историческое общество людей есть предмет истории, предмет философии и предмет права, но наш предмет берет ту сторону, ту сферу жизненной деятельности всемирно-исторического общества людей, которая не принадлежит никакой другой человеческой науке. Это есть только особенная точка зрения, особенная постановка наблюдателя, но этот предмет есть ступень в развитии человечества, которую оно проходило всегда и проходит вечно. В-третьих, этот предмет не смешивается с предметом политической экономии и так же не есть приложение законов политической экономии к какой-нибудь особенной цели. Политическая экономия излагает законы хозяйства всемирно-исторического общества, но только отвлекая эти законы от действительности, от места, времени и национально-

сти. Политическая экономия возводит оба элемента хозяйства — человеческое общество и его страну в форму логических понятий и принимает в свои выкладки только эти логические понятия; она говорит о хозяйственном обществе вообще, а не о хозяйственном обществе какого-нибудь данного народа; она говорит о влиянии свойетв страны вообще, а не какой-нибудь данной страны в особенности. Наша же наука берет вещи, как они существуют в истории и в пространстве, с их собственными именами и их числовыми величинами; но чрез это наша наука не делается, как немецкая камералистика, приложением законов политической экономии к какой-нибудь частной произвольной цели. Она излагает предметы, действительно существующие в мире, и выводит законы их существования; таким направлением наука хозяйства приобретает полную жизненность и приложимость к расчетам человека, но сама не занимается этими расчетами. Она развивает экономический разум человека, но не падает в отвлеченную немецкую практичность, а напротив, оставляет этому экономически развитому разуму полную свободу в действиях.

Политическая экономия к науке хозяйства относится как философия к истории, а не как теория к практике, хотя наука хозяйства одна только может дать практичность отвлеченным положениям политической экономии. Эта наука хозяйства, как видно из ее предмета, должна составлять целую сферу наук, и политическая экономия является логикой этой сферы.

Чтобы построить организм хозяйственной науки, или лучше, чтобы построить ту сферу наук, которая могла бы исчерпать предмет, нами выставленный, мы должны будем забыть на время обыкновенное деление так называемых политических наук, потому что каждая из этих наук или появилась для какой-нибудь особенной цели, или появилась самостоятельно, не обращая внимания на то, что возле нее могут быть другие науки. А так как в сфере наук хозяйствен-

ных все они должны стремиться к одной и той же цели, то мы и принуждены будем не соглашаться во многом с обыкновенным составом наук и иногда разрывать их на части.

Наука хозяйства может быть и общая и частная. Обе эти науки будут находиться точно в том же отношении, в каком находятся общая и частная история. Первая показывает развитие идеи человечества человечеством, а вторая — развитие особенной идеи народа одним народом. Общая наука хозяйства должна иметь окончательным своим результатом общий современный хозяйственный интерес человечества; или, по крайней мере, должна всегда предполагать себе целью выражение этого интереса.

Частная наука хозяйства имеет целью найти и выразить хозяйственный интерес данного народа; но общая наука хозяйства не будет простым соединением частных. Нет, она должна иметь с ними совершенно различное содержание. Общая наука хозяйства развивает в своем содержании то, каким образом каждое отдельное хозяйственное общество народа участвует в интересе всемирного хозяйства, и, как каждый народный интерес наполняется из этого всемирного. Частная же наука хозяйства должна так разъяснить национальный хозяйственный интерес, его организм и его жизнь, — то-есть тот процесс, которым этот интерес слагается и разлагается, чтобы отношения каждого члена хозяйственного общества народа в этом процессе были ясны; по крайней мере, такова цель частной науки хозяйства, цель, которую оно должно достигать бесконечно (бесконечность есть один из необходимых признаков науки, потому что всякий предмет науки, как мы его выше определили, бесконечен и допускает бесконечное углубление в себя).

Теперь приступим к самому выведению организма науки хозяйства из организма самого предмета. Мы видели уже, что этот предмет имеет три главные части,

которые, по сравнению с человеком, мы назвали *разумом, душою и телом предмета.*

Разум предмета — логический закон его существования, есть предмет особой науки политической экономии. Она излагает, как мы сказали уже выше, только отвлеченные законы этого предмета, но не надобно думать, чтобы она должна была отвлекать эти законы от двух остальных частей предмета, от общества и земли. Нет, при таком отвлечении в политической экономии не осталось бы ни одного закона, и она должна бы была черпать свое содержание из другой тесно определенной науки, — а именно: из логики. Закон разделения труда, отвлеченный от земли и от общества, явится простым логическим законом соединения противоречий или, лучше сказать, примирения взаимных отрицаний. Но в этом законе не осталось бы уже ничего хозяйственного, и он вышел бы из сферы нашей науки. Здесь мы считаем кстати припомнить выражение Платона: «Наука одна, но каждая из ее частей, приложенная к какому-нибудь предмету, образует особый отдел и получает особое имя». Политическая экономия не отвлекает своих законов от общества и земли, но самое общество и самую землю отвлекает от их действительного существования и превращает их в логические понятия, с которыми и имеет дело. Так в самом деле и излагается политическая экономия или, по крайней мере, первая ее часть, которая говорит о произведении и распределении ценностей, также и о соединении и разделении хозяйственного общества по этому произведению и распределению ценностей. На этом и останавливается политическая экономия в собственном смысле, как хозяйственная наука, как развитие логического закона соединения и разделения труда. Но здесь, для составления перехода к другим наукам хозяйственной сферы, должна присоединиться к политической экономии *особенная часть.* Я говорю здесь о той прикладной части, или, лучше сказать, о той особенной части, которая помещена у

Рау под заглавием производительных промыслов *. В первой части политической экономии излагались законы разделения и соединения труда и законы разделения и соединения общества этим трудом, но излагались так, как являются они и в целом огромном обществе, и в каждой части его. Там говорилось о взаимном воздействии природы, труда и капитала в каждом производстве, в каждом производительном хозяйственном обществе, не обращая внимания на самое разделение производств. Здесь же, в этой особенной части, должно с экономической точки зрения обозреть весь круг производств и показать, как в каждом из этих производств соединяются и действуют законы и деятели, изложенные в общей части. В особенной части должно показать взаимное воздействие всех промыслов в достижении экономического интереса; таким образом эта часть составит общий обзор, сделается связью всех промысловых наук, а этой-то связи и недостает промысловым наукам в немецких камералистиках, а потому и изучение их является бессвязным и бесцельным, тогда как в этой особенной части ясно уже определится для камералиста, для чего он должен изучать промысловые науки. И в этой особенной части политическая экономия не должна бросать своей логической дороги и падать в нравоучительные сентенции; она должна брать здесь промыслы, отвлекая их от времени, места и народности, и брать в них только то, что неизменно.

Эта особенная часть, повторяю, составит в преподавании естественный переход к изучению отдельных промысловых наук, даст им связь, а главное покажет цель, для которой должно изучать эти промысловые науки. Еще при разборе немецкой камеральной системы, мы, кажется, доказали ясно всю невозможность и бесполезность изучения всех возможных промыслов с частною целью. Не станем повторять наших опровер-

* Lehrbuch der politischen Oekonomie, 1-e Bd.

жений и выскажем прямо нашу мысль: изучение технического производства промыслов невозможно, ни с целью частною, ни с целью общественного блага. Правда, можно выучить несколько промыслов, но выучивание это не принадлежит науке. В науке хозяйства изучение промыслов имеет одну цель — понять состав народного хозяйства, и без изучения промысловых наук живо представить себе этот состав невозможно; так, например, чтобы понять влияние страны на ход народного хозяйства, должно знать, какие этой страны произведения, и как достигают до народного употребления. Например, чтобы оценить важность какой-нибудь местности с особыми свойствами почвы, должно знать, куда требуются и как употребляются произведения этой особенной почвы. Чтобы знать, какое влияние оказывает известный промысел на состав хозяйственного общества, должно знать самый технический состав этого промысла. Чтобы понять влияние страны и ее хозяйственного общества на всемирное хозяйство, должно знать, куда и как употребляются произведения этой страны.

Вот почему и вот для какой цели можно и должно изучать все промыслы в науке хозяйства. Здесь в этом случае промыслы будут изучаться не как искусства, но как явления хозяйственной деятельности, объясняющие не отвлеченные законы этой деятельности, а действительное существование их в этом хозяйственном мире. Я с намерением сказал, что такое изучение промыслов возможно, потому что большая разница, изучать ли промыслы для частной цели, как предполагают это немецкие камералисты, или только для того, чтобы уяснить себе ход народного хозяйства. В первом случае требуется самое подробное техническое изучение потому, что каждый промысел двигается в действительности не в общностях, а в мелочах; такое изучение я не только выбрасываю из науки, но даже полагаю совершенно невозможным в обыкновенных публичных заведениях с университетским устройством. Для этого

есть школы, институты, где практика должна играть главную роль, а теория второстепенную. Но если изучать промыслы с целью понять совершение народного хозяйства в действительной жизни, то для этого достаточно знать общий характер промысла, его составные части, материалы, которые он добывает, превращает или переносит; распределение работ и т. д. Словом, нужно настолько знать техническую часть промысла, чтобы иметь возможность представить его живую картину и видеть, по крайней мере, главные нити, которыми этот промысел связывается с хозяйственною природою страны и с хозяйственным обществом, и этим самым определить его место и его функцию в жизненном процессе, которым развивается хозяйственный интерес народа. При такой цели изучение всех промыслов сделается возможным и получит смысл научный; а именно, это изучение явится прямым переводом отвлеченных истин политической экономии в действительную жизнь, — а не в практику. Таким образом технические промысловые науки с особенною частью политической экономии составят как бы одну науку; но, конечно, должны преподаваться отдельно, потому что тогда как особенная часть политической экономии есть вывод из ее общей абстрактной части, науки технические должны, напротив, быть выводом из технических познаний. Мы будем иметь еще случай сказать несколько слов о промысловых науках, а теперь обратимся к дальнейшему развитию хозяйственной сферы наук из самого предмета.

Мы сказали выше, что наука хозяйства распадается сама собою на три части, из которых каждая развивает в действительности те же самые законы, которые в абстракте излагаются нам в политической экономии; остальные науки будут только теми сферами действительной жизни, в которых действуют абстрактные законы хозяйства. Эти сферы суть: земля в хозяйственном отношении, как созданная и расчлененная для человеческого хозяйства; общество, которое

строится по хозяйственным законам, и, наконец, деятельность, посредством которой хозяйственное общество, пользуясь хозяйственными свойствами земли, составляет и развивает хозяйственный интерес общества. Таким образом у нас являются три отдела знаний, исчерпывающих хозяйственный предмет:

1) знание земли в хозяйственном отношении;
2) знание организма хозяйственного общества и
3) знание хозяйственной деятельности.

Мы можем прибавить к ним еще такую сферу знаний, в которой все прежние группируются и в которой хозяйственный интерес возникает в своей целости из всех прежних частей науки. Мы скажем о цели, направлении и значении каждого из этих отделов.

I. Изучение земли

Землю изучают с весьма разнообразными направлениями, но так как общие географические познания уже предполагаются у занимающихся частной наукою хозяйства, то география, будучи помещена в сфере хозяйственных наук, должна иметь и чисто хозяйственное направление, которое, между прочим, составляет едва ли не самую большую часть и в общих курсах географии. Но там хозяйственный отдел науки смешан с другими, и часто хозяйственное значение явлений земли закрывается другими. Так, например, различные формы земной поверхности рассматриваются там по отношению их к общей физиономии земли и по влиянию их на политический состав и разделение общества и на этнографический состав народа; тогда как в географии хозяйственной различные формы земной поверхности должны рассматриваться в отношении их влияния на производительность страны, на разнообразие и свойства этих произведений, на разделение занятий и богатств между различными составными частями страны; и наконец, в отношении влияния этих форм на устройство путей сообщения и на хозяйственную связь всех частей стра-

ны и населения. Самые границы государства, излагаемые обыкновенно в общих курсах, должны рассматриваться и здесь, но только с особым направлением, а именно, здесь должно обращать внимание на соотношение этих границ с естественными хозяйственными границами страны, и т. д. Естественные произведения страны, разделение по почвам, геологический ее состав, география ботаническая, зоологическая, геогнозия составляют важнейшие отделы в этой хозяйственной географии и сами составляют цель изучения; тогда как в общих курсах, даже самых обширных, эти части служат только для обрисовки общей физиономии страны. В отношении общей и частной хозяйственной географии мы можем сказать то же, что сказали об отношении общей и частной науки хозяйства. Задача всемирной хозяйственной географии состоит в том, чтобы выразить характер каждой хозяйственной части земного шара; задача же частной хозяйственной географии состоит в том, чтобы показать, как из различных хозяйственных частей одной страны и ее произведений составляется общий хозяйственный характер данной страны; следовательно, и здесь хозяйственная география, всемирная и частная, не смешают своих содержаний. Знание земли в таком направлении совершенно необходимо для хозяйственной науки и составляет не побочную, не приготовительную, но одну из главных существенных частей этой науки, потому что хозяйственная география занимается не побочным каким-нибудь предметом, но существенною частью хозяйства, которая не уступает в важности всем прочим его частям; потому что хозяйственное расчленение земли и ее произведений составляет основу, на которой строится человеческое хозяйство в действительной жизни; составляет тело хозяйственного предмета, чрез которое он получает действительность. Если немецкие камералисты не хотели ввести в сферу камеральных наук хозяйственной географии, то это, вероятно, потому, что они предполагали ее, как предмет общего образования; но это

совершенно несправедливо. Земля — основа всех действий человека и общества. Человек, как предмет науки, без земли немыслим; для науки земля и человек составляют одно и то же развитие. В создании земли не забыта может быть ни одна черта человеческого развития. Весь план этого развития начертан на ней, вся возможность выражена в ее физиономии. Чем является тело для индивидуального человека и его развития, тем является земля для развивающегося целого человечества; от неизвестного, от сочувствий и верований, наука начинать не может. Ей принадлежит человек и человечество земли; человек неба принадлежит религии. Из такого отношения земли к человеческим наукам видно, что изучение земли обширно до бесконечности и может иметь столько же отделов, сколько имеет их и человеческая наука. Государственное право предполагает знание истории, но история государственного права не принадлежит к предметам общего образования, а составляет государственную науку, хотя развитие идеи государства принадлежит и истории вообще. По тому же праву история философии причисляется к кругу философских наук, а история философии права к кругу юридических и составляет не побочную, приготовительную науку, а одну из главных юридических. Мы уже сказали выше, что план хозяйства человечества начертан создателем в формах земной поверхности, в их составе и их производительных силах; мы также сказали, что безумно бы было противиться этому плану. Опыт и политическая экономия доказывают несомненно, что для человеческого хозяйства не может быть ничего выгоднее, как следовать этому плану; отсюда ясно, что изучение этого хозяйственного плана составляет не побочный, но существенный предмет хозяйственной науки. Из всех бесчисленных нитей, которыми связывается человек с природою, в хозяйственной географии изучается самая видимая, так сказать, материально ощутимая нить, а именно нить хозяйственная, то влияние природы, которое она оказывает на человека своими

хозяйственными произведениями. Выбрасывать хозяйственную географию из сферы наук хозяйственных, все равно, что выбрасывать природу из круга хозяйственных деятелей потому только, что она не производится человеком. А в этом лежит и причина часто встречающегося ложного взгляда на политико-экономические аксиомы. Хозяйство не есть плод только человеческой деятельности, но производится совокупными силами человечества и природы, действующими по одному и тому же логическому закону соединения и разделения.

II. Изучение общества

Как невозможно выбросить из науки хозяйства хозяйственной географии, так нельзя выбросить и наук общественных. Причина одна и та же: как в расчленении земли, так и в расчленении общества человеческого проявляется хозяйственный закон. Мы уже сказали выше, что распадение человечества на расы, племена, народы, наречия и т. д., и распадение единого человеческого общества на части света, государства, даже области, — более или менее совпадает с хозяйственным разделением земли на части света, страны, области и т. д. Мы сказали — более или менее потому, что человеческий произвол часто переступает естественные границы деления, но только переступает границы, а никогда совершенно не переменяет их; и деление человечества по происхождению и человеческого общества по политическому разделению, в главных своих чертах совпадает и до сих пор с естественным хозяйственным делением земли; это мы могли бы доказать множеством примеров, если бы эти примеры не были, более или менее, известны всякому. Возьмите древнее греческое племя, его характер и характер его страны и вы увидите, до какой мелочной отделки верно это совпадение. Греческий народ и греческая земля — это одно и то же прекрасное создание природы, которое этот великий художник отделывал по одной и той же мысли, развивая ее с

непостижимою отчетливостью в частях. В Греции это совпадение выразилось осязательнее, чем где-нибудь; потому-то в Греции оно и понятно было и выражено народом прежде, чем где-нибудь; потому-то в Греции совершался переход племени в народ и началась история человечества. В больших размерах так же гармонически, хотя не так определенно и не так художественно-отчетливо, выразилось это для германского племени. В расчленении этого племени на народы, и в разделении общества западной Европы на государства и союзы, и в расчленении земли западной Европы на ее члены — трудно не заметить прохождения одного и того же закона дробления и соединения. Когда еще германское племя не выступало из своих первобытных жилищ, и тогда уже в его характере и разделении на языки и наречия выразилось назначение его занять земли западной Европы. Не только для всей западной Европы, но даже и для многих частей ее, выражается иногда весьма ясно совпадение законов разделения хозяйственного общества с теми законами, по которым разделились и соединились формы земли и ее произведения. Но, может быть, эта тождественность, это единство закона нигде так ясно не выразились, как в племени славянском. Впрочем, этот предмет так еще мало исследован, что если бы мы стали говорить об нем, то должны бы были зайти в географические и этнографические вопросы и удалиться слишком от предмета нашей речи, для того только, чтобы найти один пример; и потому мы предоставляем себе право поговорить об этом в другое время. Влияние организма нашей страны на нашу историю, наши деления и наше хозяйство, — предмет слишком важный, чтобы об нем можно было говорить слегка, в виде примера. Влияние разделения материка Азии на разделение ее населения на расы, племена, на роды и хозяйственные общества поразительно ясно выражено в гениальном и огромном труде Риттера. В некоторых местах его сочинения эта истина блещет до того ярко, что читатель готов отвергнуть переселение народов и смотреть

на человека, как на произведение земли, восставшее из ее органических сил.

Это совпадение законов организации человеческого общества с организациею земли составляет естественный переход от наук географических к наукам общественным. Это совпадение есть уже прямое следствие того непосредственного влияния природы на хозяйство и на хозяйственную жизнь человека, которое так прекрасно выражено у Аристотеля и о котором мы сказали уже выше. Теперь мы примем за доказанное, что хозяйственная мысль, скрытая в организме природы, имеет неотразимое и решительное влияние на хозяйственную деятельность людей, а разделение хозяйственной деятельности имеет такое же неотразимое и решительное влияние на устройство и разделение человеческого общества. Знаменитейшие из политико-экономов никогда не решались выбросить из своей науки общественные вопросы; но принимая их, всегда ставили себя в затруднительное положение; потому что не знали, где остановиться в этих общественных вопросах, которые заводили их во все сферы человеческих наук; и только один экономический такт спасал их от того, чтобы не пускаться в рассуждения о политике, нравственности, религии, науке и т. д. Другие политико-экономы, боясь попасть на эту бесконечную дорогу, объявляли вперед, что они будут говорить только о произведении, распределении и потреблении ценностей; но в своих сочинениях говорят о разделении человечества на народы, на экономические сословия, говорят о сословии работников, мануфактуристов, капиталистов и землевладельцев; говорят о сословии городском и сельском; о цехах, о хозяйственных общинах, о бедных, о скоплении капиталов в одних руках; словом, говорят о множестве общественных вопросов.

Рассматривание общественной организации необходимо входит в хозяйственную науку, потому что законы хозяйства с необыкновенною силою проявляются в организации обществ; из всех делений человечества,

самое заметное, самое ощутительное, и которое так часто заставляет чувствовать себя, есть деление, производимое разделением труда и вообще законами хозяйства. Может быть, из всех связей, которыми только соединяются люди, ни одна не является такой прочною, такою осязательною, ни одна не поглощает собою столько минут нашей жизни, как та связь, которая производится соединением труда и вообще законами хозяйства. Даже в сферах высших люди являются уже с тем неизгладимым отпечатком в их характере, который они получают от характера места, занимаемого ими в хозяйстве человечества, и от той функции, которую они отправляют в этом хозяйстве. Даже в высшие сферы переносят свою деятельность те связи, которые заключаются человеком в хозяйстве, так что в этих высших сферах эти хозяйственные союзы являются уже единицами с определенным характером.

Отвергать общественные вопросы в политической экономии, все равно, что стараясь изучить законы, по которым живет тело человека, отвергать необходимость изучения организма этого тела, тогда как законы жизни создают этот организм и в нем проявляются; но, излагая устройство кровеносной системы, мы не должны в одно и то же время излагать устройство мозга, хотя мозг и кровеносная система находятся в непосредственном соотношении. Точно так, и излагая проявление законов хозяйства в организме человеческого общества, мы не должны излагать всех отделов этого организма, а только тот, который строится по хозяйственным законам, который есть не более как выражение этих законов в человечестве, соответствующее выражению их в природе. Мы уже выше показали действительное существование такого отдела в организме человеческого общества. Показали также, что этот отдел один и тот же с тем гражданским обществом, которое помещается философиею права между союзом патриахальным и государством; мы показали также, что единый закон, по которому организуется и развивается экономическое

общество, есть закон эгоизма; законы эгоистических материальных интересов, законы высочайшего разделения и высочайшего соединения, — законы хозяйства. Мы напомним еще раз, что ставя эгоизм законом гражданского и хозяйственного общества, мы не ставим его законом общества вообще; напротив, именно этим законом и отличается гражданское хозяйственное общество от союза патриархального и государства. В союзе патриархальном основою соединения является единство происхождения, единство родового характера и кровная любовь, а в государстве — единство идеи, единство исторического назначения, которое совпадает и с единством кровным и с единством эгоистического интереса народа, так что выполняя это назначение, народ и каждый индивид его удовлетворяют своему природному характеру и своим эгоистическим выгодам. Есть союзы еще выше, еще обширнее, где должен властвовать христианский закон любви человека к человеку; но всему свое место, всему свое дело; нет ничего излишнего и бесполезного в созданиях бесконечной премудрости.

Но это гражданское хозяйственное общество может быть понято только в связи с предыдущим и последующим, потому что из первого, патриархального союза, оно вытекает, и только во втором, то-есть в государстве, находит свое полное осуществление; в государстве только гражданский интерес, гражданская собственность и хозяйственный интерес целого народа могут вполне свободно двигаться. Гражданское общество существует в патриархальном союзе в смешении с другими сферами общества, а в государстве в органической связи с ними; *но отдельно оно никогда не существовало и существовать не может*. Материальный интерес никогда не может поглотить всего человека; законы хозяйственные никогда не могут сделаться одним законом человеческой жизни. Если мы говорим о гражданском обществе, то мы разумеем здесь только сферу явлений, группирующихся возле одного закона. Только в государственном союзе

эгоистический интерес народа находит себе покровительство и представителя. Государственный же союз своими материальными потребностями имеет влияние на ход народного хозяйства. Общество международное своим существованием также оказывает влияние на хозяйство народа; следовательно, наука общественная должна показать нам весь процесс развития общества и определить место и дело хозяйственных законов в этом процессе. Эту задачу выполняет обыкновенно философия права; но в философии права есть еще много такого, что не принадлежит к той науке общества, которую мы себе предполагаем. Рау говорит: «те не много сказали, которые политическую экономию и естественное право называют двумя частями одной теории общества». Но к этому замечанию я прибавлю только, что самое понятие естественного и философского права весьма неопределенно, и что здесь нечего говорить о теории общества, а должно напротив излагать самую историю его развития. В этой философской истории развития общества должно быть показано и то соотношение разделения людей и человеческих обществ с хозяйственным разделением земли, о котором мы сказали выше. Я бы назвал этот предмет философиею права, но я думаю, что этим названием я ничего бы не объяснил потому, что естественное право, философия права чрезвычайно неопределенны; даже стройная гегелевская система, падая в область права, спуталась, и его книгу, по моему мнению, скорее можно назвать философствованием о праве, на основании гегелевской логики, нежели философиею права. По этой причине я скорее назову этот предмет философиею общества; и так как исторический элемент должен быть основой этого предмета, то он еще более определится названием философской истории общества. Этот предмет необходим для камералиста потому, что общество составляет один из главных элементов хозяйственной деятельности, а понять какое бы то ни было данное общество, без предварительного понятия обще-

ства вообще, невозможно; всякое же понятие общества, построенное не на историко-философской почве, является совершенно ничтожным. Напрасно стараются развить организм общества из какой-нибудь одной мысли, не находящейся в связи ни с историею, ни с философиею. Самым лучшим доказательством бессилия таких попыток мне кажется попытка Роттека и Велькера, выраженная в их огромном государственном лексиконе.

Я сознаю также вполне, что в эту философскую историю общества войдет много такого, что прямо не относится к камеральным знаниям; но общество хозяйственное существует только как живой член, имеющий свое особое назначение в целом организме общества; а потому насильно вырванный оттуда, он явится чем-то чрезвычайно странным.

Его отдельное изложение может подать повод к бесчисленным ошибкам, которые и теперь легко может заметить каждый юрист при чтении новейших политико-экономических сочинений. Если бы политико-экономы глядели на хозяйственное общество, предмет их изучения, в связи его с целым общественным организмом, тогда бы они не отдавали в жертву хозяйственному элементу всей человеческой природы; тогда бы они сознались, что их математически-верные выводы ложны перед лицом исторического разума; они бы убедились, что давая чрезмерную силу одному члену общественного тела, они лишают жизни другие члены его и тем разрушают самое тело. Каждый круг общественного организма необходим потому, что в каждом из них развивается одна из сторон природы человеческой, которая только чрез этот общественный круг входит в горнило вечного исторического развития. В этом развитии участвует не одно какое-нибудь качество человеческой природы, но весь человек, и телесный и духовный — развивается в истории. В общественном организме должны быть устроены органы для всех сторон души человеческой, в нем должно быть место историческому развитию любви кровной, народному характеру, любви к отчизне,

единичной личности, общественному разуму и гению народному. Уничтожьте один из этих общественных кругов, и вы уничтожите место, или более — орган, в котором находила жизнь и развитие какая-нибудь ступень души человеческой, и вместе с тем нарушите нормальное существование этой души; сперва остановите, а потом и совсем уничтожите ее собственное развитие. Человек не есть экономическая единица, но единица семейства, рода, племени, народа, государства, человечества, единица в великом развитии мира, чаша, в которую влита душа природы. Мне кажется, что политико-экономы хорошо бы делали, если бы выставляли эпиграфом своих рассуждений выражение спасителя: «не о хлебе едином жив будеши». В последнее время экономические вопросы до такой степени оживились, что перед ними померкли все другие, но не должно забывать, что всякий период истории имеет свой особый центр, свое особое солнце. Потому-то я думаю, что теперь, более чем когда-нибудь, на камералистах лежит обязанность изучать общественный организм в его целости и притом не в какой-нибудь внешней системе, а именно в его историческом развитии.

В частной камералистике за этим предметом должно следовать изложение истории данного изучаемого общества в той же историко-философской системе, если только обработка материалов истории этого народа допускает такое изложение.

Оба эти предмета должны оканчиваться догматическим изложением настоящего состояния общественного организма: философская история общества вообще должна иметь своим результатом ту науку, которой слабые начатки мы имеем в науке международного права, а философская история данного общества должна иметь своим окончанием ту науку, нестройно сложенные члены которой скрываются под чрезвычайно неопределенным и шатким названием государственного, общественного, или публичного права. Наука международного права, любимая наука прошедшего столетия, создан-

ная Гуго Гроцием, с тех пор мало подвинулась вперед. Она успела только собрать громаду материалов, до которой, к сожалению, еще до сих пор не коснулся организующий и оживляющий гений философии. В последнее время, впрочем, эта наука от бесполезного резонерства и политического умствования, которым так занималось остроумие XVIII столетия, начала обращаться к более дельным и более прочным историческим основам и остановилась покуда на собрании и кое-каком систематизировании трактатов и договоров. Странное дело, что для этой науки философия истории, сделавшая столько огромных успехов от Вико до Гегеля, как будто не существовала, между тем как при самом поверхностном взгляде на обе науки можно сейчас убедиться, что философия истории есть источник, из которого должна вытекать наука международного права. В самом деле, из всех прав — право международное менее всего передано письменности и менее всего может быть почерпнуто из письменных источников — договоров и трактатов, а должно, напротив, все почерпаться из фактов потому, что в этом верховном круге общества, где государства являются индивидами, факт и право, наконец, соединяются, а судьею является не резонер о правах мира и войны, а сама история.

Всякий, конечно, согласится со мною, что задача международного права состоит в том, чтобы объяснить организм всемирного общества, принимая безответственные государства за единицы; а неужели можно из нескольких десятков трактатов и договоров вывести те законы, по которым в настоящую минуту существует и развивается государственный организм? Я спрашиваю: можно ли объяснить отношения между Англией и Францией из договоров между этими двумя державами? Можно ли, например, оценить влияние какого-нибудь государства на другие трактатами этого государства с иностранными державами? Я скажу с убеждением, что до сих пор пока юристы обрабатывали одно гражданское право международного общества, в котором го-

сударства являются, как единицы, равные, а такими ли являются они в самом деле? Историки позаботились о том, чтобы не только скопить, но и обработать материалы для настоящего международного права, — юристу остается только черпать из этого богатого источника.

Государственное право обработано лучше международного, но границы его тоже совершенно неопределенны: большею частью оно ограничивается скучным изложением устройства присутственных мест, и само собою разумеется, что в таком виде я никак не могу поставить его результатом философской истории народа*. Вообще область государственных наук худо ограничена, а еще хуже разграничена. Чтобы убедиться, до какой степени все еще здесь подлежит пересозданию, или даже и созданию вновь, стоит только взглянуть на перечень государственных наук, которые выставляет Велькер в энциклопедическом введении в свой государственный лексикон**. Здесь почти все науки новые — и все построены по произволу, выведены совершенно из произ-

---

* В настоящее время многие еще под именем государственного права (положительного или естественного) разумеют анатомический скелет государственных форм, из которых удалены и жизнь и движение и которые должны быть только схвачены памятью; напротив, под именем политики разумеют самую философию государства. Древним было неизвестно это разделение, и они имели дело с одним великим и живым целым: такова Республика Платона, такова Политика Аристотеля; только уже в государствах, возникших в средние века, произошло отделение движения, выходящего из исторических основ, от самых форм, которые, оставшись без жизни и без смысла, сделались наследием юристов (Grundlinien der Philosophie des Rechts. Berlin. 1833. Vorrede VII und VIII). Вот почему Гегель в своей философии права не избегал ничего, что только относилось к государству, занимался всеми политическими вопросами, и самая наука политической экономии нашла у него свое место в отделе гражданского общества. Обвиняя Гегеля в плохом юридическом такте и во многих натяжках, я не могу, однако, не согласиться, что в этом случае он взглянул на науку государственного права с настоящей точки зрения.

** Das Staats-Lexikon von Rottek und Welker. 1845. Erstes Heft, стр. 56, 57 и т. д.

вольного положения. Это введение достаточно убедит каждого, в каком глубоком младенчестве находится наука государства, и, что всего страннее — младенчествует при таком обилии материалов и при таком развитии философии.

Науке общественного права (название государственного здесь совершенно не у места потому, что здесь должны излагаться не одни государственные, но все общественные союзы, находящиеся внутри государственного) всего более вредило отделение ее от политики, так что праву остался мертвый труп без жизни, а политика, лишившись тела, сделалась пустым резонерством, похожим на тучу дыма, форма которой изменяется при каждом дуновении ветра. Книги, издаваемые теперь под громким названием политики, не имеют никакого сходства с наукою: это что-то вроде журнальных умствований, от которых через несколько дней готов отказаться сам сочинитель; а между тем эти книги принадлежат самым блестящим дарованиям нашего века*. Аналогия, которую проводит Цахария между науками государственными и медицинскими, и выводимое оттуда разделение государственных наук на анатомию, физиологию, семиотику, патологию, терапию, диететику никуда не годится. Гете не напрасно смеялся над анатомами, желающими изучить жизнь на трупе, откуда жизнь улетела; но в природе, после отсутствия жизни, одушевлявшей труп, материя все еще живет своею особою жизнью, тогда как в государственном праве,

* Таковы: Die Politica, von Dahlmann. 1847. Leipzig; Lehrbuch der Economischen Politik, von Rottek, Preussen, Bulau-Kamerau и др. Все эти сочинения чрезвычайно замечательны, но это не наука. Они временны, написаны с известной целью или до такой степени общи, что не могут иметь никакого приложения, а всему виною недостаток философской исторической основы. Всего заметнее вред, происходящий от этого недостатка, в политических статьях «Государственного лексикона», издаваемого Роттеком и Велькером. Все они дышат полемикой, и, может быть, ни одна из них не выдержит строгой критики.

после отделения мысли от формы, форма является только сцеплением непонятных и бессмысленных названий. С другой стороны, эта немецкая наука государственной мудрости Staats-Klugheitslehre * является чем-то вроде советов кабинетного ученого государствам и народам, как они должны вести себя. Как ни глубоко уважаю я науку, как ни высоко ставлю ее, но никогда не сделаю ее наставницею истории. Таким образом результатом философской истории данного общества я полагаю науку общественного права, в котором политика не отделена от догмы и в котором притом политика, равно как и догма, имеет историко-философскую основу. В этой науке должно изучать не то, что могло бы быть, или должно бы быть, по понятию того или другого лица, но что в самом деле есть, то-есть гармонию явлений общественной жизни, и должно преследовать в этой гармонии основной принцип этой жизни. Истинная мысль не есть мнение о вещи, но понятие самой вещи; наука должна открывать человеку глаза на явления внешнего мира, а не предаваться бесплодным сожалениям и утопиям, должна предоставлять индивидуальному чувству каждого — любить или ненавидеть эти явления. Единственным критериумом для вещи есть сама вещь, а не наше понятие об ней; единственным основанием критики в общественном праве должен быть тот принцип, который развивается обществом, а не какое-нибудь внешнее явление или внешнее мнение. Если принцип, развиваемый обществом, действительно развивается свободно в данной форме, то эта форма хороша для этой вещи. Изучать отношения членов общественного организма, изучать связь формы с содержанием, вот задача общественного права, а не постройка произвольных теорий и не резонерство, основанное на шатких понятиях о каком-то общем совершенстве и какой-то общей справедливости. Общностей нет в мире, хотя они

---

* Zacharias. Vierzig Bücher vom Staats. Erster Teil, стр. 169, 170, 174, 175, 176.

и могут быть в книге. В общественное право, как я его понимаю, должны войти не только одни правительственные места и лица, но все то, в чем выразилась общественная жизнь народа, и что в то же время достигло высоты права в письменных законах или на факте. Следовательно, здесь должны быть изложены, кроме органов верховной власти, также общества, которые мы называем сословиями, общества городские, сельские и т. д., и должны войти не одним только остовом своим, но самою жизнью, так, чтобы в этой науке выражены были отношения этих общественных кругов, не только выраженные в законе, но и существующие только фактически. Ступени, по которым развивается организм общества, не умирают, но входят одни в другие, так что низшие отдают высшим все, что не принадлежит им, и оставляют себе одну только сущность, т. е. низшие сферы осуществляются в высших. Так семейство, переходя в род, само не уничтожается, но только, в продолжение иногда весьма долгих, постоянных переходов в многих поколениях — отделяет от себя в род все, что не должно принадлежать семейству, и много такого, что не должно принадлежать и самому роду, а именно, верховная власть с главы семейства переходит на родоначальника, или на общину, состоящую из глав семейства и заменяющую родоначальника; туда также переходит власть судебная, религиозная, общее владение и т. д.

Такому же процессу отделения подвергается и род, находясь в племени — племя — в гражданском обществе и гражданское общество — в государстве. И потому справедливо можно сказать, что низшие сферы в высших осуществляются, то-есть остаются при своей сущности и проявляют ее; так, например, семейство только в государстве, и то после долгого развития в нем, остается при одних кровных естественных началах. Таким образом государство окончательно собирает в себя все сферы общества в органической их связи между собою. Не должно, впрочем, думать, чтобы каждая из этих сфер следовала необходимо за предыдущею; напротив, в каж-

дом народе они все находятся в одно и то же время, только в разных отношениях друг к другу: высшие находятся в низших в химическом соединении, а низшие в высших — в органической связи *, которая и выражается по преимуществу общественным правом, а первое выражается по большей части в обычаях и фактах, в самой жизни. Так, мы называем государством и то общественное состояние, в котором находится народ при самом начале его исторического развития, и поступаем совершенно справедливо: государство в самом деле существует, но только почти в одной возможности, почти в виде одного пустого круга, обнимающего более или менее сильно все прочие общественные круги народа. Действительное же содержание, власть его, силы его (законодательная, судебная, военная и т. д.) — находятся в других кругах в химическом соединении с особенным существом этих кругов; то-есть находятся в руках, например, главы семейства, в безразличном слиянии с теми правами, которые и в самом деле должны принадлежать ему, как главе семейства. Точно так же и государственная сила может поглощаться экономическими обществами, общинами, городами, компаниями. Еще пример: нельзя отыскать ни одного народа, на какой бы низкой степени развития он ни стоял, о котором бы можно было сказать, что у него нет гражданского экономического общества в том смысле, в каком мы выше определили это общество; но между тем это общество может быть до крайности слабо, потому что большая часть сил его химически поглощается низшими сферами; а именно: экономическая деятельность поглощается семейною экономической деятельностью, которая, как известно, противится разделению труда, ослабляет его, следовательно, ослабляет основной закон экономического общества (см. выше). В то

* Эти выражения заимствованы из естественных наук потому, что для выражения различных родов соединений мы других выражений не имеем.

же время эта семейная имущественная деятельность химически поглощает и основы гражданского права. Теперь, достаточно объяснивши поглощение, мы скажем об отделении и об органическом помещении низших сфер в высших, т. е. о движении и органической жизни общества. Весь процесс жизни и развития общества состоит в том, что оно ежеминутно из химической жизни переходит в органическую, и процесс этот совершается очень просто. Мысль дальнейшей сферы есть результат и вместе отрицание мысли предшествующей сферы. По этому своему свойству она, как только появится, то и начинает разлагать сферу низшую, так что за этой низшей сферой остается только то, что имеет больше сродство с нею, нежели с высшею сферою, то-есть все то, что не выше этой разлагаемой сферы. И это выделяемое все переходит в высшую сферу, потому что нет еще ничего выше и, следовательно, сроднее этой сферы. Низшая, разложенная сфера входит в высшую только с одною своею сущностью, т. е. с одним своим назначением, с одной своей функцией, а тем именно и отличается органическое соединение от химического, что в органическом все соединяющиеся члены удерживают свое особое назначение, функцию и, наоборот, по этой самой своей функции являются членами, а не частями целого. Таким образом, низшая сфера переходит в высшую и т. д., до самой высшей — человечества в истории. И каждый член из химического ингредиента делается органическим членом, а из органического — живым, сознательным, логическим выводом. Это и есть развитие общественного организма, да может быть, и всякого организма природы; только там труднее подсмотреть этот закон. По крайней мере, для развития природы, по разным ступеням создания, такой закон развития может быть проведен. В таком-то постоянном, не останавливающемся внутреннем развитии находится всякое историческое общество и каждый член его, и это развитие не может дойти до совершенства и, следовательно, прекратиться; иначе, если это

совершится для целого общественного организма, то он умрет, а если для одного органа, и притом низшего, то он парализуется. Схватить верно и выразить данный момент в этом движении, в этом развитии общественного организма, — вот задача догмы общественного права (результат философской истории), а не срисовать с живого тела мертвый скелет; и, конечно, это развитие выражается в развитии права положительного, но не исключительно в нем. Теперь понятно, в чем должна состоять политика догмы общественного права: в выражении закона развития общественного организма, а не в разглагольствованиях и благоразумных советах, которых никто не спрашивает. Этою наукой догмы общественного права заключается отдел наук общества, и за нею непосредственно должны следовать науки хозяйственной деятельности.

III. Науки хозяйственной деятельности

Эти науки должны так же непосредственно привязываться к логике хозяйственной сферы политической экономии. Мы видели уже, что предмет второй части ее составляют различные производства, с их экономической стороны, и их взаимная связь между собою. После этого общего обзора должно непосредственно следовать изложение внутреннего состава отдельных производств, или, так называемые, технические науки. Мы уже сказали прежде, в какой мере доступно и необходимо техническое изложение этих наук для камералиста; здесь же мы только перечислим их. Те только технические производства должны быть излагаемы камералисту, влияние которых на общественное хозяйство он может проследить; таковы земледелие, лесоводство, горное дело. Что же касается до производств фабричных, которые излагаются в технологии, то мы предполагаем, что только некоторые из них необходимы в науке хозяйства, а именно те, которые в данном государ-

стве и в данное время имеют большее влияние на хозяйственную деятельность народа и занимают важнейшее место в современных экономических вопросах. Здесь все должно зависеть от места и времени, и преподаватель должен заботиться не столько о том, чтобы дать камералисту понятие о самом производстве, сколько о том, чтобы дать ему верный взгляд на состояние этого производства в данное время и указать на те нити, которыми это производство связывается с организмом общей хозяйственной деятельности. Мы уже сказали выше, в какой мере нужны для этого технические познания*. В этом же отделе наук технических я помещаю и науку торговли. Вспомогательными науками для этих технических наук являются: во-первых, наука, обладающая самым бессмысленным названием — именно — политическая арифметика; во-вторых, бухгалтерия, тоже имеющая притязание на название науки, землемерие. При каждой из этих технических наук должна быть изложена внутренняя история того промысла, который составляет предмет науки. Я назвал ее внутреннею затем, чтобы отличить ее от внешней истории промыслов или истории промышленности. В этой внутренней истории должна излагаться история совершенствования способов производства, тогда как во внешней истории излагается развитие промысла в связи с развитием всей экономической деятельности народа.

Оканчивается каждая промысловая наука внутреннею статистикою промысла, т. е. изложением тех способов производства, которые употребляются в данном народе и в данное время. Повторяю еще раз, что изла-

* Теперь иногда излагаются раздельно химическая и механическая часть технологии, но мне кажется, что для камералиста такое разделение не необходимо, а лучше, если изучению технических наук будет предшествовать предварительное изучение технической химии и технической механики, так, чтобы при изложении технических наук и при обрисовке картины промысла, излагатель не стеснялся разделением науки на эти ее составные элементы.

гающий промысловые науки должен руководствоваться современным состоянием промыслов и их относительною важностью, иначе он впадет в ошибку немецких камералистов, которые хотят из своего слушателя сделать фабриканта всех возможных фабрик и ремесленника всех возможных ремесел. Еще одна заметка: немецкие камералисты имеют обыкновение при каждой промысловой науке, в особенной части, излагать экономическую сторону промысла; но все экономические части до такой степени сходны между собою и до такой степени лишены всякого важного содержания, что, право, не знаешь, для чего они пишутся. Так, например, при каждом производстве имеют обыкновение ставить в особенной главе бухгалтерскую, счетную часть этого производства, как будто не предполагается в камералисте достаточно рассудка, чтобы, изучивши бухгалтерию вообще, приложить ее к особенному промыслу. Познакомившись таким образом с техническим составом хозяйственной деятельности вообще, можно уже приступить к изучению этой деятельности в том виде, в каком она существует на самом деле. Здесь изложение начинается историей и оканчивается догмой, или статистикой.

Экономическая деятельность народа может быть рассматриваема с трех сторон: со стороны *исторической*, *юридической* и *статистической*, откуда выйдет *история экономической деятельности*, *право этой деятельности* и *ее статистика*.

История экономической деятельности обширнее истории промышленности и заключает в себе эту историю. Цель ее — показать, каким путем достигло экономическое общество до настоящего состояния; в ней не только должна быть изложена история развития промышленности, но также история экономической полиции и финансов, потому что правительство в этих двух направлениях своей деятельности оказывало и оказывает такое сильное влияние на хозяй-

ственную деятельность народа, что его никак не может выпустить из виду изучающий историю и настоящее положение экономической деятельности. Выбрасывать из истории экономической деятельности народа историю мер полицейских и финансовых потому только, что она излагается в других науках, совершенно неосновательно; да притом такое выбрасывание совершенно невозможно, потому что сделает историю не только неполною, но даже совершенно непонятною. Мы уже сказали выше об отношениях этой истории к внутренней истории промыслов, а здесь скажем, что эта история должна носить, как можно более, характер местности и национальности. Только при таком изложении она уяснит нам настоящее состояние действительности, потому что действительность хозяйственная, как и всякая другая, есть движение, а всякое движение есть только переход из прошедшего в будущее. Для меня важно понять, какая отрасль промышленности находится в развитии, а какая в упадке, как быстро это развитие и этот упадок; а не то, сколько в данную минуту производят известные отрасли.

Настоящее только в связи с прошедшим дает право заключать о будущем, а оторванное от прошедшего является пустым, непонятным фактом. Вот почему статистическая цифра, не предшествуемая цифрою предыдущих годов и не связанная с другими цифрами настоящего времени, является для меня числом, не имеющим никакого смысла, как бы ни было велико или мало это число. Как ни проста эта истина, а статистики часто грешат против нее, хотя, впрочем, по большей части стараются вывести определенную мысль из отношения различных величин. Достаточное изложение экономической деятельности само собою разлагается на два отдела: юридический и статистический.

Юридическое изложение хозяйственной деятельности мы можем назвать камеральным правом вообще. Всякая ступень развития общественного организма, которая в то же время является чле-

ном этого организма, имеет свое особое право; в отношении этого общественного круга будет не более, как только выражение тех законов, по которым существует и развивается эта ступень общества. Так, общество семейное, общество гражданское, общество государственное и наконец общество народов, — каждое имеет свои особые права, которые суть только отражения в области права законов организации и развития организации этих обществ. Свою принудительную силу законы получают от внутренней силы этих самых обществ, которые, действуя по законам бытия и самосохранения, общим всему существующему, приводят своею естественною силою свои законы в осуществление. Эта внутренняя сила общества для индивида является в н е ш н е ю принудительною силою общественного закона, тою силою, которою юридический закон отличается от всех прочих нравственных законов. Хозяйственное, или камеральное, право является одним отделом прав общества гражданского, потому что и самое хозяйственное общество является одною ступенью общества гражданского*. Основою камерального права является гражданское право; но в гражданском праве люди рассматриваются, как исключительные эгоистические единицы, не имеющие никакого содержания, словом, как юридические личности. В хозяйственном же обществе, как мы видели выше, тоже берутся эгоистические личности, но уже как имеющие своим содержанием какие-нибудь определенные эгоистические интересы, так что тождественность, существующая между личностями в гражданском праве, совершенно уничтожается**. Этими своими интересами все личности различаются, разделяются и в то же время ими же соединяются. Это тот же основной закон хозяйства, труда, основной за-

* См. выше.

** Гражданское право находится в том же отношении к камеральному, как политическая экономия к науке хозяйства.

кон политической экономии*. Этот закон хозяйственного общества без сомнения должен развиваться и в праве этого общества, потому что право есть только отражение общественного организма в юридической сфере. Все явления этого хозяйственного общества носят на себе характер основного закона — разделения и соединения посредством этого разделения. Точно так же и все юридические законы, регулирующие эти явления, носят тот же хозяйственный тип; имеют целью — разделить экономические интересы членов государства так, чтобы они, достигая каждый своего особого интереса, достигали вместе с тем экономического интереса и всего народа; а с другой стороны, — соединить эти экономические интересы так, чтобы каждый член народа, достигая этого общего хозяйственного интереса, самым полным образом достигал своего собственного. Такой характер, в самом деле, носят все хозяйственные законы сословий, все хозяйственные полицейские законы и учреждения и, наконец, все финансовые учреждения и законы. В самом деле, какую цель имеет вся экономическая часть полиции, как не ту, чтобы устроить экономическую деятельность каждого члена общества так, чтобы она не только не мешала экономической деятельности другого члена, но помогала ей и сливалась с нею в один экономический интерес народа; там же, где еще это соединение экономических интересов не произошло, полиция старается произвести это соединение силою. Такой характер носят все экономические действия и учреждения полиции, которыми она помогает недостаточности сил индивидуального лица; потому-то, чем более развита экономическая деятельность народа, тем более гармонии в интересах его членов, тем менее нужна деятельность полицейская. Финансовые законы и учреждения — все имеют целью, соединивши экономические средства на-

* Я здесь только намекаю на него, потому что он развит выше в том месте, где мы исторически доходили до понятия о хозяйственном обществе.

рода, удовлетворить тем его экономическим потребностям, которые иначе не могут быть удовлетворены, как в соединении. Я говорю экономическим потребностям, потому что если, например, государственная служба в большей части своих отраслей и не имеет экономических целей, то тем не менее плата за эту службу есть экономическая сторона этого дела, так точно, как в политическую экономию вводится плата за личные услуги, когда самые эти услуги могут не иметь никакого отношения к политико-экономическим предметам. Теперь, кажется, ясно, почему полицейские и финансовые законы и учреждения, а равно и экономические законы, которые излагаются обыкновенно в правах сословий, я подвел под один общий отдел хозяйственного права. Все эти учреждения и законы имеют один общий тип, находятся в тесной связи между собою (так, например, многие законы состояний могут быть объяснены только полицейскими или финансовыми законами, и наоборот, финансовые полицейскими, и т. д.), имеют одну основу — логический закон труда и человеческого хозяйства, принадлежат одному обществу — хозяйственному. Здесь, в этом отделе должны быть объяснены юридические хозяйственные отношения земледельцев к землевладельцам, городских жителей к сельским, городских жителей между собою; финансовые отношения различных сословий, ремесел, фабрик, цехов, гильдий к правительству и т. д.; словом, здесь должна быть выражена экономическая деятельность народа настолько, насколько она отразилась в праве. Попытки такого соединения всех хозяйственных законов и учреждений в один общий отдел были уже; но эти попытки, как первые, конечно, не полны*. Были также и попытки университетского изложения экономических законов и учреждений в такой их связи**. За этим юридико-хозяйственным предметом, которому

* Blanqui.
** Wolowsky.

мы можем дать название науки камерального, или хозяйственного, права, следует последний предмет, довершающий собою камеральное образование и, вместе с тем, составляющий окончательный результат этого образования, — это статистика. Границы статистики, как вообще и всех общественных наук, чрезвычайно неопределенны* и по большей части слишком обширны; они захватывают собою всю географию, большую часть государственного и хозяйственного права.

В самом деле, провести границу между географиею и статистикою весьма трудно. Moreau de Jonnès старается сделать это отделение** и не находит никакого сходства между этими двумя науками, потому что «география описывает страны, а статистика анализирует общества; первая рассказывает или рассуждает, вторая высчитывает и анализирует». Но в первом отделе своей статистики, под заглавием «Территориум», он требует изложения таких предметов, которые решительно никак не могут быть выброшены из географии: таковы — горы, границы, берега, реки, геологический состав различных местностей, средняя и крайняя температура, количество выпадающего дождя, величина атмосферического давления, величина стран, горных долин, равнин,

* Так, например, что может быть неопределеннее того определения статистики, какое дает ей Шницлер: «Статистика, — говорит он, — есть наукообразное изложение различных интересов народонаселения, организованного в политическое общество. Полная или частная картина элементов, составляющих благосостояние, силу, величие народа, она может допускать в свои отделы бесконечное множество предметов, но с тем только условием, чтобы они все относились к государству и более или менее споспешествовали его богатству, силе и славе. Все совершенно чуждое государству не относится к статистике». (Statistique générale de la France par Schnitzler, 1846, Tome premier. Preface p. VIII). Но что же останется после этого политической экономии, государственному праву, политике, полиции? Может ли быть что неопределеннее такого определения?

** Eléments de statistique par Moreau de Jonnès, 1847, p. 2.

обработанной земли и т. п. *. Но чтобы излагать такие предметы в статистике и не столкнуться с географией, должно или лишить последнюю всякого разумного смысла и сделать ее простым, бесцветным описанием, следовательно, отнять достоинство науки, на которое возвели ее новейшие географы, или излагать в статистике одни только числовые таблицы, которые, в свою очередь, будучи оторваны от описания, лишатся всякой живости. Обыкновенно между этими двумя крайностями избирают средину, но благоразумная средина при распределении границ никуда не годится, и только избавляет автора от необходимости строго преследовать особенную цель своей науки. Moreau de Jonnès ограничивает статистику ее средствами, а именно, он говорит, что средство статистики есть цифра, и что она так же существенна для статистики, как фигуры для геометрии и условные знаки для алгебры; что статистика, как астрономия и геодезия, есть наука числовых явлений и притом явлений общественной жизни**. По крайней мере, для экономической статистики, выведением понятия которой мы теперь занимаемся, это определение Moreau de Jonnès совершенно справедливо. Предмет экономической статистики есть выражение настоящего состояния экономической деятельности народа. Всякая деятельность, как сила, как движение, определяется только относительно, во времени или в пространстве, то-есть относительно прошедшего или относительно других деятельностей, других движений и сил. Это отношение может выразиться точно только в цифрах. Это понятие, логически справедливое для измерения всякого движения, всякой силы, еще очевиднее при измерении экономической деятельности, предметом которой является ценность. Таким ограничением экономической статистики я никак не хочу заставить ее выражаться только цифрами, напротив, она должна показать происхождение каждой из своих числовых величин в прошедшем, или

* Ibidem, p. 24.
** Ibidem, p. I, 2.

в других современных явлениях, выраженных тоже в цифрах, должна объяснить, на основании законов политической экономии, отношение этих цифр между собою и их взаимное воздействие. При этом не должно забывать, что цифра, как цифра, стоящая отдельно от цифр, выражающих ту же силу в прошедшем, и цифр, выражающих другие современные силы, не имеет никакого значения и не может быть ни мала, ни велика, какова бы ни была ее нумерическая громадность. Экономическая статистика собирает в себя результаты всех других камеральных наук, выражает их в цифрах и производит математические выкладки на основании законов политической экономии.

Наука хозяйства, начавшись абстрактными положениями политической экономии, проводит эти абстрактные положения через н а у к и з е м л и, н а у к и о б щ е с т в а и н а у к и д е я т е л ь н о с т и и достигает в статистике полного осуществления своих абстрактных положений, — достигает достоинства идеи, достигает до цифры, до числа, которое стоит уже на границе материи, на границе факта, на границе практики, действительности. Далее не идет наука, далее начинается жизнь. Я сознаю всю огромность той бездны, которая до сих пор еще отделяет политическую экономию от статистики; но судя по быстроте хода этих обеих наук в последнее время, я верю, что они скоро сойдутся и одна перестанет быть организмом отвлеченных понятий, а другая организмом безжизненных фактов и, соединившись вместе, создадут и д е ю н а у к и х о з я й с т в а.

Хозяйственная статистика в отношении политической экономии является: в о-п е р в ы х, выражением осуществления ее отвлеченных истин в действительной жизни народа; в о-в т о р ы х, пользуясь всеми особенностями хозяйства данного народа, изложенными в хозяйственных науках земли, общества и деятельности, видоизменяет и пополняет исключениями отвлеченные истины политической экономии; в-т р е т ь и х,

служит самою лучшею проверкою и в то же время самым очевидным доказательством верности логических выводов политической экономии и в этом случае оказывает ей весьма важную услугу тем, что, доводя ее истины до непреложности и очевидности арифметических счислений, проводит эти истины в убеждение и в деятельность правительств и народов; в-четвертых, хозяйственная статистика в таком своем направлении может навести политико-экономов на разрешение таких вопросов, к которым трудно, или почти невозможно, дойти простым логическим мышлением. Хозяйственная статистика, органически соединенная с политической экономией целым рядом других хозяйственных наук, может выставить в ослепительной яркости каждую ошибку хозяйственной науки, потому что логически верная истина политической экономии, проявляясь в данной стране и в данном обществе, которые верно описаны в их взаимной деятельности, должна дать непременно определенную цифру. Если же эта цифра противоречит положению политической экономии, то причина этого противоречия необходимо должна скрываться в ошибке которой-нибудь из хозяйственных наук. Таким образом наука хозяйства приобретает в хозяйственной статистике непреложный критериум для проверки своих положений. Конечно, я здесь предполагаю совершенную верность статистических сведений и в то же время сознаю невозможность такой абсолютной верности, по крайней мере, для многих предметов хозяйственной статистики; абсолютно верного ничего нет в мире, но статистика должна, по крайней мере, рассчитать вероятность этих неверностей и ввести этот расчет в свои вычисления. В тех хозяйственных науках, которые составляют среднее звено между политическою экономией и статистикой, лежит причина, сила, необходимость, почему цифры статистики и положения политической экономии должны быть верны, должны подтвердить друг друга, должны сходиться, потому что вывод политической экономии сам по себе верен, как логический вы-

вод, а цифра статистическая верна, как факт: следовательно, они необходимо должны совпасть. Таким образом политическая экономия, облекаясь в собственные имена в других хозяйственных науках, достигает наконец до цифры в статистике. Эта политическая экономия, выраженная в том виде, как она действительно существует, облеченная в собственные имена и числовые величины, составляет предмет и вместе идеал хозяйственной науки, — идеал, достигнуть которого, конечно, невозможно, но достигать его и возможно и необходимо. В таком замкнутом и определенном круге хозяйственная наука будет носить семена жизни и развития, будет сама себя поверять и сама себя развивать, будет живым развивающимся существом в действительном мире науки.

Я попрошу вас, мм. гг., обозреть весь тот круг предметов, который мы прошли теперь, соединить органически только то, что в каждом из них есть существенного, и вы увидите, что в таком виде наука хозяйства будет в самом деле живым и сознательным отражением живого хозяйственного организма, будет выраженным сознанием хозяйственного общества и верным критериумом его деятельности. Мне кажется, что я достаточно разрешил тот вопрос, который задал сам себе: отыскать предмет хозяйственной науки. Этот предмет, живой и развивающийся со всеми условиями жизни и развития, есть та идея, понятием, возможностью которой является политическая экономия; энергией, жизнью, необходимостью — все науки, составляющие среднее звено между политической экономией и статистикой; а действительностью — хозяйственная статистика.

Мы сказали выше, что наука хозяйства, доходя до выражения в цифрах, в числах, доходит до материального, до практического мира, и потому, самая наука дальше идти не может; далее может быть только навык, практика, искусство. Но материальная наука ближе, чем какая-нибудь другая, подходит к практической жиз-

ни и требует навыка, искусства. В самом деле, если юридические науки требуют в человеке юридического такта, то хозяйственные науки требуют хозяйственного такта еще в большей мере. Почти всякое хозяйственное явление в жизни народа требует для того, чтобы разобрать и оценить его, соединения выводов всех хозяйственных наук. Так, например, чтобы оценить чистый доход какой-нибудь предполагаемой фабрики, мы должны употребить выводы политической экономии, выводы хозяйственной географии, наук технических, общественных, наук хозяйственного права и статистики. Чтобы производить верно и быстро эти соединения выводов, должно приучить свое соображение распоряжаться ими как своею собственностью. Мы не имеем права в каждом предполагать такой быстроты и верности соображения и, кроме того, знаем по опыту, что соображение, направленное на один и тот же предмет, чрезвычайно усиливается, так что люди бездарные и даже поразительно глупые во всех отношениях, имеют в каком-нибудь известном круге действий, где требуется весьма большое соображение, огромное преимущество над людьми даровитыми и развитыми, но чуждыми этому кругу. Разительнее всего проявляется эта психологическая особенность в хозяйственной сфере в людях, посвятивших свою жизнь какому-нибудь отделу этой сферы. Вот почему я полагаю не только полезным, но даже необходимым существование практических упражнений после изложения хозяйственной науки. Эти практические упражнения хозяйственного соображения должны состоять в том, чтобы приучить это соображение схватывать все особенности какого-нибудь хозяйственного явления и соединять эти особенности так, чтобы выразить вполне характер явления и безошибочно определить в отношении к нему план своих действий. Такие практические упражнения могут быть предложены изучившему науку хозяйства в виде задач или вопросов. Эти задачи должны быть как можно менее отвлеченны, так, чтобы данные географи-

ческие, статистические и т. д., необходимые для решения этой задачи, решающий ее мог сам брать прямо из жизни. Для этого, конечно, нужны средства, которые должны быть предоставлены камералисту, если мы хотим, чтобы он приучился прикладывать свою науку к жизни*. Таких задач может быть множество относительно всех хозяйственных вопросов, но, конечно, лучше бы было, если бы задавались те задачи, которые находятся в связи с вопросами, играющими важнейшую роль в современной хозяйственной жизни. К таким практическим упражнениям, к таким хозяйственным искусствам я причисляю две, так называемые, науки: науку полиции, науку финансов. Вот почему я пропустил их в моей системе хозяйственных наук, что, конечно, должно было показаться странным для тех, кто привык их всегда видеть на первом плане — в немецких камералистиках. Я уже сказал выше, почему я причисляю к искусствам эти оба предмета, здесь же постараюсь только объяснить, почему я ставлю их в виде практических упражнений, следующих за наукою хозяйства. При существовании такой системы хозяйственных наук, какую мы выставили выше, ни полиция, ни финансы не выдержат прикосновения анализа и распадутся на составные элементы так, что все эти элементы неудержимо войдут в другие науки хозяйственной сферы, а полиции и финансам останется только голый скелет, система соединения, в которой прикосновением частного случая, какой-нибудь частной цели, собирались элементы из всех хозяйственных наук, собирались и соединялись для разрешения этого частного случая и только. Предмета этим наукам не останется, потому что внешняя цель, задача, предложенная на решение, не может быть предметом науки. Таких задач может быть

* Нельзя при этом случае не обратить внимания на прекрасный выбор задач, которые ежегодно предлагаются Министерством Государственных имуществ. Многие из них могут быть разрешены только камералистами, хотя большая часть, конечно, принадлежит только техникам.

бесчисленное множество — столько же, сколько может быть целей в хозяйственной жизни, а потому-то я и утверждаю, что таких наук, как полиция и финансы, может быть наделано бесконечное множество. Но цели, задачи, которые предлагают себе эти две науки, так важны в хозяйственной жизни народа, что эти две уже построенные системы упражнений в хозяйственной науке должны необходимо существовать, но только в живом подвижном виде таких упражнений. Чтобы доказать справедливость нами высказанного об этих двух науках и чтобы яснее выразить нашу мысль о методе их преподавания, о которой мы здесь только упомянули, мы поговорим о каждой из этих наук отдельно; и, чтобы избежать бесконечно длинного разбора, мы примем за образцы: для полиции сочинение Моля*, признанное классическим в своем роде, а для финансов сочинение Рау**, которое, как и все труды этого знаменитого ученого, можно принимать за результат всех прежних, по крайней мере, немецких, сочинений.

1. Полиция. Хозяйственной науке из полиции принадлежит только одна хозяйственная полиция, но надобно заметить, что она стоит в таком же отношении ко всей полиции, как хозяйственная статистика ко всей статистике, а именно, занимает почти две трети всей науки***. Но разберите каждую из глав этой хозяйст-

* Die Polizei-Wissenschaft, von Robert von Mohl. Zweite Auflage.

** Grundsätze der Finanzwissenschaft, von Rau, 1843.

*** А именно, из двух томов полиции Моля в первом томе хозяйственной полиции принадлежит весь отдел: «О народонаселении» и вся третья глава: «О помощи государства при тяжелом удовлетворении необходимых жизненных потребностей», весь второй том, за исключением главы «Об организации полицейских мест», так что из 1194 стр., составляющих оба тома полиции Моля, 771 стр. посвящены предметам хозяйственной полиции, а если из остальных 423 стр. выкинуть предварительные понятия, определение науки, литературные и исторические заметки и главу, посвященную организации полицейских мест, для остальных полицейских предметов останется только 313 стр.

венной полиции и отбросьте от нее все то, что принадлежит другим наукам: после этого вся историческая часть отойдет к истории промышленности, из которой вы, под страхом сделать ее непонятною и бессвязною, никак не можете выбросить всех тех мер, которыми правительство или общество покровительствовали развитию народного хозяйства, народонаселения и т. д.

В хозяйственное право мы возьмем все те учреждения правительственные и общественные, которые носят юридический характер и имеют хозяйственную цель; а притом, так как мы, по вышеизложенным причинам, не можем отделить в хозяйственном праве догмы от политики, то, следовательно, не только будем излагать в этом хозяйственном праве сухой скелет общественных хозяйственных учреждений и законов, но будем говорить также об их цели, назначении и действии. Наконец, если политическая экономия не хочет, забывши, что дело ее происходит в обществе, впадать в беспрестанные промахи, то она должна принимать в расчет и разбирать все то влияние, которое оказывают правительство и общество на хозяйство народа. Следовательно, к политической экономии отойдут все те политико-экономические рассуждения, которыми наполнены страницы хозяйственной полиции. И в самом деле, знаменитейшие политикоэкономы никогда не оставляли в стороне вопросов о народонаселении, о помощи бедным, о рабстве, о поземельных отношениях, о покровительстве различным отраслям промышленности, о цехах, гильдиях, о таможнях, монете, банках, биржах и т. п. Далее, вся техническая часть полиции может быть понята и оценена только в технических науках: так, например, только в науке сельского хозяйства можно вполне понять и оценить все меры, которыми правительство споспешествует и может споспешествовать развитию этой отрасли; только при изложении монетного производства можно показать все, что может быть предпринято против подделки монет и т. п. Чтобы еще яснее показать шаткость хозяйственной полиции, как отдельного пред-

мета, я предполагаю себе, что полицией хочет заниматься такой политико-эконом, который в строгости придерживается правила laissez faire, laissez aller, а в отношении народонаселения и помощи бедным является строгим последователем Мальтуса; никто, конечно, не станет оспаривать, что такое явление не только возможно, но и оправдано на фактах. Что же будет делать такой человек, взявши в руки хозяйственную полицию? Будет вырывать листок за листком от первого до последнего. Плоха та наука, самый предмет которой существует только при известном мнении и может увеличиться, сжаться и даже совсем уничтожиться при перемене мнения и притом такой перемене, которая весьма возможна. Laisser faire, laissez aller и теория Мальтуса пока еще стоят неколебимо (если только в отношении последней мы не признаем, что мир не мог быть устроен так дурно, как описывает его Мальтус). Нет, предмет науки должен существовать сам по себе, независимо от мнений, как существует всякий предмет природы. Такое неприятное уничтожение, или, по крайней мере, значительное уменьшение, которое грозит полиции, случилось, как мы увидим дальше, с наукою финансов. Что касается до технической части хозяйственной полиции, то большая часть технических правил или советов может быть совершенно выброшена, потому что эти правила толкуют о вещах, всем общеизвестных или таких, которые становятся известными при первом взгляде на предмет, или таких, до которых может дойти весьма недалекий человек, обладающий общими техническими сведениями. Другая часть этих технических правил хозяйственной полиции должна быть изложена в технических науках, тем более, что при том характере национальности, который мы им старались сообщить, они необходимо будут говорить об этих полицейско-хозяйственных предметах. Разложивши таким образом хозяйственную полицию на составные элементы, мы увидим в каждом отделе ее не более, как разрешение известной хозяйственной задачи, а в целой

науке — собрание таких задач, имеющих, впрочем, общий характер. К этим задачам может быть присоединено множество других с другою целью. Полиция своим существованием в виде особой науки обязана именно тому отделению политики от догмы, ложность которого мы доказывали выше. И замечательно, что появление полиции, как особой науки, современно этому отделению. Строились системы без жизни, а все, что носило признак деятельности, жизни, складывалось в одну груду, на которую накинулись досужие немецкие систематики и, разложивши ее по частям, назвали наукой полиции; потом задумались над определением этой мудреной науки и до сих пор думают. Оторвавшись от догмы, полиция получила форму резонерства, форму благоразумных советов, до которых такие охотники политические немецкие писатели. Политическая экономия сообщила богатое содержание полиции, а полиция обобрала ее; и, если первая возьмет у нее свое, то у последней не останется почти ничего. Комбинации выводов из разных хозяйственных наук, которые производит полиция, бывают, конечно, иногда весьма сложны; но чем же они сложнее тех, которые бывают нужны при основании какой-нибудь частной фабрики, при составлении какого-нибудь трактата, при предоставлении каких-нибудь особенных прав какому-нибудь сословию и т. п.? Этим не хочу я уничтожить важность полицейско-хозяйственных задач, но только хочу показать, что они могут идти в ряд с множеством других.

2. Финансовая наука — наука хозяйства правительств, как ее определяют обыкновенно, но если мы возьмем то определение хозяйства вообще, которое имеют немецкие писатели, и их взгляд на выгодность различных источников государственного дохода, то мы придем к странному заключению, что немецкие финансовые писатели, в науке правительственного хозяйства, советуют правительству хозяйничать как можно меньше или даже и совсем не хозяйничать; сбывать с рук те источники доходов, где требуется больше

хозяйства, и оставлять только те, где хозяйство совсем не нужно*. Так что, излагая не догму финансов, а теорию их, немецкие писатели только классифицируют существующие источники финансовых доходов и уничтожают сами свою собственную науку, признавая почти все эти источники, за исключением двух или трех, или абсолютно дурными, или допускают существование их, как необходимое покуда зло, к возможному уменьшению которого должны стремиться финансовые правительства. Так, например, теория финансов Рау представляет собою весьма странное явление: после необходимых предварительных страниц, которые немецкий писатель всегда уже сумеет сделать очень длинными, и в которых, замечу между прочим, как и в других финансовых системах, ни слова не говорится о самом финансовом праве**, после довольно пустой главы о государственных издержках, которая шатко держится в финансовых системах, следует самая финансовая наука, или перечисление различных источников дохода, оценка их выгодности, изложение обыкновенно употребляемых способов добывания доходов из этих источников и оценка самых

* Если же полагать, что слово «хозяйство» в финансовой науке принимается в смысле человеческом, общественном, то это слово значит производство, распределение и потребление ценностей, но финансовое правительство производством ценностей не занимается, или, по крайней мере, ему советуют не заниматься им. Финансовое правительство в государстве одно, и потому распределять ценностей ему не с кем; употребление же ценностей не относится к финансовой науке, и самые финансовые писатели или совершенно выкидывают издержки правительства из науки финансов, или, если и занимаются ими, то в видах экономической бережливости в этих издержках, следовательно, как одним из источников финансового дохода (см. соч. Рау, Якоба, Мальтуса).

** В самом деле, довольно странно, что в науке финансового права (немецкие писатели никак не соглашаются назвать ее искусством) ни слова не говорится о самом финансовом праве, а между прочим замечу, если бы идея этого права была развита, сущность его выражена и границы строго очерчены, то тогда не нужно бы было для вывода первоначальных положений о величине финансовых доходов и издержек, о равномерности распределе-

этих способов: наконец, предложение тех мер добывания, которые писатель считает лучшими. Разберем каждый из этих составных элементов.

При перечислении источников дохода писатель никак не может рассчитывать на полноту, если бы он ограничился даже одними европейскими государствами и одними значительными источниками. Так, например, Рау посвящает особые отделы тем источникам, которые могут доставить только несколько сот гульденов дохода, а пропускает вместе с другими финансовыми писателями тот источник дохода, который называется у нас казенными имениями. Конечно, я не думаю ставить этого в вину немецкому писателю, но только привожу этот факт* в доказательство того, что такое неограниченное перечисление источников государственного дохода не имеет значения.

Если мы захотим перечислять все источники дохода, какие могут быть, то их может быть бесконечное множество, а если только те, которые существуют в известном государстве, то это будет догматическое изложение, а не теория. Что касается до оценки выгодности источников государственного дохода, то, следуя движению, общему всем теперь финансовым писателям, а тем более всем политико-экономам, критериумом оценки будет такая мысль: хозяйство требует необходимо эгоистического интереса хозяина; эгоистический интерес может вполне преследовать только эгоистическая личность; следовательно, чем далее отстоят друг от друга лицо,

---

ния налогов—прибегать к таким странным предположениям, к каким прибегают Сэй, Сисмонди, Роттек, Якоб, Лотц, и к таким примирительным мнениям, к каким прибегает Рау. Я уверен, что только из идеи финансового права можно вывести твердые первоначальные законы для действия финансовых правительств. Но и тогда финансовое право не составит предмета особой науки, а должно быть рассматриваемо там, где рассматривается право власти законодательной, судебной, административной и т. д., то-есть в науке общественного и, в тесном смысле, в науке государственного права.

* Замеченный г. Горловым.

владеющее источником дохода, в пользу которого этот доход должен обратиться, и лицо, заведывающее хозяйством этого источника, тем хозяйство будет идти хуже, и тем этот источник дохода будет невыгоднее, следовательно, для лиц, которые не могут хозяйствовать сами, каково, например, правительство. Тем выгоднее источник дохода и способ добывания из этого источника, чем менее требуется хозяйства при этом источнике.

Вот общая, единственная мысль, руководствующая теперь финансовых писателей, при оценке выгодности различных источников государственного дохода и различных способов добывания этого дохода. К ней еще присоединяется несколько полицейских и политических мер, — и вот все, что составляет критериум для оценки. На основании-то этого критериума советуют оставлять известные источники дохода в руках правительства, или отчуждать их, и предпочитают одни способы хозяйства другим. Кто хорошо сроднится с этой мыслью, тот может даже не читать немецких финансовых учебников, а привыкши несколько к методе писателя, продолжать чтение с закрытыми глазами. Комбинация политико-экономических выводов, результатов технических наук, полицейских мер и политических предположений бывает иногда очень сложна; так, например, при оценке некоторых родов недвижимого имущества государства, а особливо при рассмотрении лесов, как источника государственных доходов; но я повторяю еще раз, что такая же сложность может быть при оценке фабрики частного лица, как источника его дохода. Я отдаю все преимущество в важности государственным целям перед частными и потому допускаю возможность и необходимость весьма важных монографий, журнальных живых, современных статей о финансовых предметах, но не вижу возможности ф и н а н с о в о й н а у к и, потому что она, при прикосновении анализа, разрешается на свои составные элементы, составление которых в ту или другую форму зависит от такого же случая, от какого зависит составление бесконечного ряда

различных фигурок в калейдоскопе. При этом составлении финансовых монографий все зависит от особенностей времени, места, народа и т. д. Отделы финансовой науки мы еще с большим правом, чем отделы хозяйственной полиции, можем назвать разрешением заданных финансовых задач, которые все имеют одну цель — финансовую.

Что касается до оценки самых способов управления, то до очевидности ясно, что они должны быть излагаемы в технических науках, и там только изложение их получит полноту и твердый смысл; так, например, способы управления землями, лесами, горными и соляными заводами и регалиями, казенными фабриками и т. п. могут быть поняты и оценены только в сельском хозяйстве, лесоводстве, науке горного дела и в различных частях технологии. Вырванные оттуда эти рассуждения о лучших способах управления приобретут ту форму неопределенных советов, ту бесцветность, которой отличаются немецкие финансовые учебники. Из всех источников дохода один только не подвергается совершенному уничтожению ни при каких обстоятельствах (конечно, я здесь говорю опять только о теориях знаменитейших политико-экономов и финансовых писателей потому, что в это время я занимаюсь только разбором этих теорий, а не говорю о выгодности различных источников дохода), и именно н а л о г и, и следовательно: один только он остается за финансовой наукой; но если мы постараемся разложить и его на составные элементы, то увидим, что и от этого отдела останется финансовой науке один только скелет. Во все времена финансы оказывали такое важное влияние на народное хозяйство, и притом самое существование финансов в народной экономии занимает такое важное место, что выбросить из политической экономии этого участника в народном хозяйстве — невозможно. Политическая экономия рассматривает не хозяйство вообще, а хозяйство общества: следовательно, в политическую экономию должны входить и все те условия, которым подвер-

гается хозяйство в обществе вообще; а в какой бы форме мы ни предполагали себе это общество, оно без общественных издержек, а следовательно, без общественных доходов невозможно, и потому ясно, что позабыть о существовании финансов и о влиянии финансовых доходов и финансовых издержек политическая экономия не может. И в самом деле, знаменитейшие политико-экономы, начиная с Адама Смита, никогда не оставляют в стороне финансовых вопросов, но только иногда, сознавая особенную важность влияния этой общественной стороны народного хозяйства, посвящают ей особую главу или излагают в виде приложения. Притом же, помещение экономической стороны финансовых вопросов в политической экономии приобретает много в отношении краткости и ясности. В самом деле, то, что в политической экономии может быть решено, при удобном случае, несколькими словами (например, вопросы, на кого падает известный косвенный налог; вопрос о переходе налогов с одного лица на другое; о том, что должно считать капиталом, грубым и чистым доходом известного промысла; о том, какая часть чистого дохода может быть поглощена общественной издержкой без вреда частному и народному хозяйству; о том, какое распределение налогов можно считать равномерным, и т. п.), в науке потребует особой главы, начала ab ovo, множества ссылок; и при всем том, никогда не достигнет той степени ясности, как в общей системе политической экономии. Словом, экономической части финансов нельзя, да и не должно вырывать из политической экономии. Что касается до технической части налогов, куда принадлежат способы оценки, кадастр, различные способы взимания, то нельзя не согласиться, что такие вещи могут быть поняты и изложены только в технических науках, где разбираются технические свойства тех самых предметов, которые облагаются налогами. Точно так же таможенные сборы и пошлины только в науке о торговле, следующей за изучением политической экономии, могут быть изложены с достаточною полнотою

15*

и твердостью; только в науке о торговле тариф и каждый отдельный предмет его, равно и величина каждой пошлины, получат важный и значительный смысл. Отдел торговой науки — товароведение (Waarenkunde) придаст смысл каждой статье тарифа, и он перестанет быть простым и непонятным перечислением вещей. Что касается до юридической части налогов, то идея права налогов и равномерности их распределения не может быть выброшена из общественного права, а все финансовые законы и учреждения и их оценка найдут себе место в хозяйственном праве. История финансовых законов и учреждений найдет себе место в истории хозяйства, в которой, замечу между прочим, история финансов займет, если не главнейший отдел, то, по крайней мере, один из главных. Заметим при этом, что в частной внутренней истории каждого промысла налог, касающийся каким бы-то ни было образом этого промысла или одной из его составных частей, не может быть выброшен. Вся статистическая часть финансов не может быть выброшена, да и не выбрасывается никогда из хозяйственной статистики, и там только финансовые цифры, приведенные в соотношение с другими, получают смысл и перестают быть простой нумерацией. Таким образом, не допуская финансовой науки в круг других самостоятельных хозяйственных наук, я тем не менее не уничтожаю ее важности и предполагаю, что хозяйственная полиция и финансы займут весьма важное место в числе практических упражнений камералиста, которого назначение есть, по большей части, государственная служба по двум этим отраслям.

Окончивши обозрение и постройку системы науки хозяйства, мы перечислим здесь еще те предметы, которые, собственно не будучи камеральными, необходимы однакоже для того, кто хочет преследовать камеральное учение. Таковы:

1. Науки естественные: они должны преподаваться в объеме, достаточном для того, чтобы понимать хозяйственную географию и науки техниче-

ские. Поэтому мне кажется, что в этих науках особенно должен быть развит географический отдел. Важность ботанической, зоологической географии и геогнозии для камералиста неоценима. При изложении химии не должно забывать, что наука хозяйства приготовляет не техников, обязанных знать производство во всех его мелочах, а камералистов, которые изучают технические производства только затем, чтобы узнать состав промыслов, из которых слагается народное хозяйство.

2. История и особливо того народа, хозяйство которого мы хотим изучать.

3. Гражданское право, как основа всякой собственности, всякого имущества, как основа гражданского общества, законы сложения которого изучает камералист; как логика той сферы права, к которой принадлежит и камеральное или хозяйственное право.

Часть третья

О приложении камеральных наук к жизни

В предыдущей части я старался высказать ясно цель науки хозяйства и удержать ее от того ложного практического направления, которое дают ей немецкие писатели*. Мне хотелось бы показать, что в нынешней современной жизни носится в обществе множество

* Но, удерживая камеральные науки от ложной практичности, я тем не менее вижу всю важность практических целей. при изучении и преподавании камеральных наук. Они должны излагаться так, чтобы слушатель мог воспользоваться ими в жизни; но я не полагаю практичности науки в том, чтобы излагать в ней истины и без того всякому известные или которые всякому становятся известными при первом взгляде на предмет; зачем, например, с большой важностью проповедывать с кафедры, как должно ставить и красить фонарные столбы и т. п.? Большая разница между знатоком дела, который может приложить свои знания всегда и во всех обстоятельствах, применяясь к бесконечному разнообразию явлений, и рутинером, который вращается только в известных заученных формах, и, выходя из них, теряет голову. Оставьте здравому смыслу каждого отражать и со-

самых важных, самых животрепещущих вопросов, принадлежащих к одной категории и для которых нет места ни в одной из существующих научных систем; а между тем, эти вопросы по общему лежащему на них типу должны принадлежать науке хозяйства.

Мне хотелось бы отклонить эту науку от того мнимо-полезного направления, по которому ведут ее немцы, а, сбросивши с нее и казенный характер и характер частной пользы, дать ей характер народный, государственный, исторический. Я убежден, что только с таким характером камералистика удостоится высокого названия науки, названия, которое в последнее время в Германии так злоупотреблялось. Камералистика же, как мы ее понимаем, вступает в круг наук потому, что предмет ее есть хозяйственный интерес народа, хозяйственный интерес человечества, предмет истории, допускающий бесконечное углубление в себя. Душа этого предмета есть вечная идея, и по силе этой-то исторической идеи возводится наука хозяйства в круг наук человеческих.

Наука хозяйства уступит, может быть, многим другим в занимательности, но не уступит ни одной в важности и современной необходимости. В самом деле, наш век давно уже упрекают в индустриальном направлении, давно уже успели и доказать нелепость этих упреков. Но представителем этого направления в мире науки

ображать те внешние обстоятельства, в которых судьба поставит его деятелем, если не хотите, чтобы ему опошлела наука, толкующая о пустяках. Камеральная наука границами своими должна прямо соприкасаться с жизнью, но не должна падать в грязь ее. Трудно выразить уныние молодого человека, когда он и в науке встречает те же мелочи, какие в обыкновенной жизни цепляются за него, как репейник за платье. От того, может быть, что в Германии камеральные науки читаются так практически, камеральные аудитории так пусты, а камералисты так бездарны, по сознанию самого Баумштарка. Какую надобно иметь темную голову, чтобы заучивать определение сохи, дуги и т. п.? А такими определениями загромождены немецкие учебники предметов, входящих в камералистику. И это называется *возводить в науку*; не скорее ли значит это низводить науку до пошлости?

должна быть наука хозяйства. Перемена в направлении века требует, чтобы и образование юношества переменило свое направление; а у нас многое еще осталось от того времени, когда новое человечество освежало себя изучением старого — осталось от периода возрождения наук. Тогда было необходимо копаться в древнем пепле, чтобы отыскать там феникса, но теперь едва ли нужно заходить так далеко; не правда ли, что во всех нас есть какое-то тайное убеждение, что оставляя учебную скамейку и вступая в жизнь, мы начинаем совершенно новую науку, беспечно и даже весело забывая школьную?

Спрашивается, зачем нам это изучение? Человек создан для настоящей жизни, и мы живем не для греков и римлян, а для самих себя, и зачем же не последовать нам в этом случае примеру греков? Их образование начиналось в школе и оканчивалось жизнью, не прерываясь. Между миром древним и миром новым лежит та страшная бездна, без конца и начала, в которую провалился Фауст с таинственным ключом своим. Не всякому же удается выбраться оттуда, как выбрался он, — этот шаг делает человечество, а не человек. Но большая часть из нас, да и не все ли, вместо того, чтобы забиваться в такую глубь, кладут науку школьную в одну сторону души, а в другую копят новую науку жизни, но какую науку? Всю в обрывках, в обрывках, запачканных и измятых, перемешанных с ошибками наших отцов и нашими собственными, с предрассудками толпы, в обрывках, покрытых грубою корою случайности. Эта наука похожа на геологическое сокровище, только что открытое: грубую, безобразную массу представляет оно, но рассмотрит его глаз знатока, очистит его рука мастера, повеет на него гений науки, — и светлым прекрасным собранием, много говорящим образованному уму, явится безобразная груда. Индустриальное направление века требует и науки индустриальной. Не наука должна унизиться до хозяйства, но хозяйство в новое время стало так важно, так полно государственного и

исторического значения, что должно сделаться предметом науки.

Дело индустрии сделать природу орудием человека; дело науки хозяйства сделать индустрию орудием духа исторического; а потому мы не вводим индустрию в науку, как делают это немецкие писатели, но рассматриваем живое, движущееся и развивающееся в истории хозяйство и хозяйственное общество. Это всемирное хозяйственное общество существовало, как мы сказали выше, всегда, но только в нынешнее время связи этого общества возводятся к сознанию и проявляются в исторической жизни. Выразить сознание об этих связях дело науки, а подчинить их свободно-разумной воле человека — дело разумной государственной жизни. Теперь вопросы этого общества жаждут разрешения. В ряду вопросов, разрешаемых человечеством, они занимают последнюю страницу, и нельзя перевернуть ее, не разрешивши. Это хозяйственное общество в течение веков выросло, организовалось, окрепло, опутало каждого из нас тысячью потребностей, и, не давая покоя, требует устройства. Я не защитник системы руковождений, но мне всегда было противно ленивое правило: laissez faire, laissez aller.

Нет, человек не должен равнодушно, сложивши руки, оставаться на берегу этого бесконечного моря материальных интересов, или бросаться в него, очертя голову, не изведавши глубины, не открывши законов волнения, не изучивши направления ветров, приливов и отливов. Нет, в гении человечества достаточно силы, чтобы обуздать эту хозяйственную стихию, волнение которой потрясает теперь человечество. Не всегда же провидение будет в минуту опасности посылать к нам гениев, которые по какому-то особенному чутью открывают нам новые миры и новые богатства.

Гении рождаются веками, а потребности народные ежеминутно требуют разрешения ежеминутно рождающихся вопросов, и наука хозяйства должна возвести обыкновенного человека на ту высоту, с которой прежде

только один гений угадывал хозяйственные потребности народа и возможности их удовлетворения. Высота, достойная науки! Наука выше гения и менее стоит человечеству. Гений во многом действует бессознательно и помогает человечеству, увлекая его и подчиняя — гений требует веры от людей, наука открывает свободную дорогу, дает знание, убеждает и не требует веры. Если мы даже признаем, что промышленности в ее развитии должна быть предоставлена свобода, а с другой стороны, будем убеждаться явлениями мира, что и при этой свободе в настоящем ходе промышленности есть много такого, что должно быть исправлено для блага людей или для успеха этой самой промышленности, — то мы одним только способом можем выйти из этого противоречия, а именно, взявши своим руководителем науку; потому что одна только наука может вести человека, не стесняя его свободы, действуя не на волю, а на разум. Одна часть этой науки будет постоянною, другая постоянно изменяющеюся. Связывать органически эти две части в каждое данное время, спешить за веком — есть живое, прекрасное дело камералиста. Этого дела достаточно, чтобы поглотить самую полную, самую прекрасную жизнь, и всякое мгновение этой жизни, посвященное этому делу, не пропадает даром.

Мы рассмотрим теперь, какую пользу может доставить наша наука в руках ученого для других наук, в руках правительства для государства и народа, и, наконец, в частных руках для частной выгоды.

I. Для науки

Говоря о том, что может сделать наука хозяйства в мире науки, мы должны сказать здесь, какое влияние производит наука хозяйства на другие, уже организованные, и за которыми достоинство науки признано давно.

Мы остановимся только на тех науках, на которых наука хозяйства производит решительное и непосред-

ственное влияние, потому что влияние посредственное, более или менее сильное, производит каждая наука на все другие науки уже тем самым, что расширяет область человеческого мышления, которая едина и по предмету и по субъекту. Политическая экономия, которая теперь стоит отдельно и является как бы чуждою всем другим наукам, войдя в сферу наук хозяйственных, найдет настоящее свое место в области человеческого ведения и соединится органически с другими науками — науками природы и науками человеческими. Поставивши политическую экономию на такую точку, мы тем самым избавим ее от важного недостатка, который заметен в ней с первого взгляда; а именно, политическая экономия в сфере наук хозяйственных, как логика этой сферы, получит строго определенные границы, которых ей теперь недостает. Стоит пересмотреть определения политической экономии, которые даются ей французскими и немецкими писателями, чтобы убедиться, как неопределенны ее границы — как широки они у одних и сжаты у других. И причина этой неопределенности весьма понятна: множество вопросов, сродство которых с политико-экономическими вопросами ясно с первого взгляда, не находили себе места ни в какой другой науке, а потому, естественно, привлекали внимание политико-экономов и заводили их дальше всяких границ. Если же мы поставим политическую экономию на то место, которое мы ей назначили выше, то эти сродные, но не принадлежащие ей вопросы найдут себе место в сродных ей науках, составляющих с нею вместе одну науку хозяйства. Далее, политическая экономия во всех курсах лишена исторической основы; правда, исторические толкования появляются в этих курсах там и сям, но, излагаясь отрывочно, они не дают светлого взгляда на историческое развитие экономической деятельности людей. Попытки написать историю этой деятельности были неудачны, или потому, что смешивали историю деятельности с историею науки, или потому, что хотели писать историю экономической деятельности отдельно от истории

общества, или, наконец, потому, что не умели отделить истории политико-экономического общества от истории общества вообще и вводили в историю политико-экономической деятельности такие трактаты, которые ей вовсе не принадлежат, а потому эта история была только выражением убеждений автора, подкрепленных историческими примерами. В науке хозяйства, как мы ее очертили выше, история экономического общества и экономической деятельности получает твердые границы, причем ясно высказывается тот путь, который должна пройти эта история, и круг тех предметов, которыми она должна заниматься, и тот результат, которого она должна достигать.

Политическая экономия получит богатую основу в географических и статистических данных, и в сфере хозяйственных наук она уже будет отвлечением действительной экономической жизни. Абстрактные положения политической экономии получат в науке хозяйства строгую поверку; ее правила должны будут разветвиться для того, чтобы быть верными жизни. Если эти правила, обставившись множеством исключений, потеряют свою логическую краткость и могущество, зато приобретут гораздо большее могущество истины практической, приложимой. Вверяться одному логическому рассудку, логическим выводам в деле жизни весьма опасно а особливо в таком деле, как материальный интерес. Вот почему я уверен, что в теперешнем положении политической экономии, в отвлеченности ее выводов лежит причина, почему ее истины, ясные, неопровержимые, при всей этой своей ясности и неопровержимости, проникают в жизнь таким медленным и болезненным процессом. Человек, который очень смело оригинальничает в своих мнениях, как только дело доходит до материального интереса, делается трусливым и рабским подражателем тех ближних, которые сумели нажить копейку. Он в этом случае не доверяет выводам своего рассудка, потому что должен доверить этим выводам и то, что составляет его насущную жизнь и что, раз потерявши, трудно уже воротить.

Человек становится в этом случае в разлад с своим разумом, который как будто только для того и существует, чтобы забавлять человека в минуты праздные и молчать, когда дело идет о таком важном предмете, как деньги. Это происходит оттого, что между выводами разума и практикою нет посредника — опыта и примера, и человек справедливо поступает, когда, руководствуясь своим инстинктом, хватается за первые обрывки опыта, которые попадаются ему в тесном круге его жизни. Но раздвиньте этот круг посредством науки и поставьте перед глазами человека опыты веков и примеры миллионов людей, разоблачите перед ним состав всякого производства, дайте ему возможность увидеть и его собственное производство в кругу других — и тогда он уверует в непогрешительность выводов разума и не побоится доверить этим выводам свой труд и капитал. Словом, я полагаю, что только в сфере наук хозяйственных наука политической экономии может излагаться со всею полнотою и ясностью, только в этой сфере определяются ее границы, и сама она построится в систему.

Так называемая наука финансов, которая излагается то отдельно, то как приложение к политической экономии, может быть излагаема со всею практичностью, как искусство, только после науки хозяйства. В самом деле, для человека, не знакомого с другими науками хозяйства, весьма много непонятного в науке финансов. Мы не будем говорить о необходимости политической экономии для финансовой науки, эта необходимость всеми признана: эти науки едва ли где преподаются отдельно; но науки промысловые — хозяйственная история, промысловая полиция и статистика также необходимы для объяснения науки финансов потому, что эта наука, или, лучше сказать, искусство, есть только приложение к особой цели истин, которые находятся в перечисленных нами науках. В самом деле, каким образом я могу понять выгодность и невыгодность для финансовых целей какого-нибудь рода имуществ или

какого-нибудь производства, не зная свойств этих имуществ или состава этого производства. Далее, наука финансовая имеет смысл только, как наука практическая, или лучше как искусство, и должна излагать не одни отвлеченные правила, но показывать источники финансов, как они существуют на самом деле. Для удовлетворения этих двух требований науки необходимо: для первого — множество знаний технических, а для второго — множество исторических, статистических и географических данных. Далее наука финансов должна излагать также и средства, которыми ее правила могут быть приведены в осуществление; так, например, должны быть показаны способы оценки различного рода имуществ, различных промыслов; а возможно ли знать эти промыслы без предварительного технического знакомства с этими имуществами, с этими промыслами? Учебники финансовой науки, созданные в Германии, служат лучшим доказательством всей бесполезности одних отвлеченных финансовых правил. Прочитавши в них два правила, можно угадать третье и четвертое и прибавить к ним еще полдесятка таковых же мудрых советов, так что, пересмотревши целый учебник, признаешься, что не узнал в нем ничего нового.

Промысловая полиция также только в сфере наук хозяйственных может перестать быть пустым резонерством и сделаться дельным приложением хозяйственных познаний к особенной цели. Наука хозяйства принесет также важные результаты для истории и политики: для первой она обрабатывает значительнейшую, и может быть, важнейшую часть ее; для второй она является необходимым средством*.

---

* Об отношении камералистики к наукам общественным см. речь «Какое общее образование требуется современностью от русского правоведца?», произнесенную в торжественном собрании Московского университета профессором Редкиным, 1846, стр. 71 и след.

II. Для правительства

Прежде, чем мы скажем о пользе нашей науки для правительства, мы должны заметить, что у большей части политико-экономов существует убеждение, будто народ в деле хозяйства сам лучше всех знает и чувствует, что ему выгодно и полезно; но события новейшей истории, кажется, должны бы были уничтожить веру в эту непогрешительность хозяйственного инстинкта людей; да притом трудно различить инстинкт народа от частного рассудочного расчета, который бывает весьма часто ошибочен. Нет, частный человек своими частными средствами, не призывая в помощь науки, созданной человечеством, не может стать на такую высоту, с которой он обозрел бы всю организацию той сети материальных интересов своего народа, к которой он хочет приплесть и свой узелок. Политическая экономия думает помочь этому недостатку, но на это не стает ее абстрактных положений. Нужно знать, или, по крайней мере, иметь возможность знать, действительное движение хозяйственной жизни, а не одни выведенные законы этого движения. Нет, и в хозяйственной жизни и в хозяйственном обществе нужен такой разум, который бы знал законы этой жизни и этого общества, который бы стоял так высоко между людьми, что мог бы обозревать их хозяйственную деятельность и имел бы столько силы, чтобы быть в состоянии удерживать ее от ложного направления, указывать ей новые пути и удалять с этих путей все препятствия. Люди, подобные Петру Великому, Сюлли, Кольберту, Питту, не всегда же готовы для такого дела; а это дело идет ежеминутно, удовлетворяет ежеминутным потребностям и не может остановиться ни на мгновение. Наука, переданная в руки правительства и людей, стоящих в главе хозяйственной деятельности, должна заметить этот недостаток. Нельзя не согласиться во многом с защитниками полной свободы промышленности, нельзя не видеть, что многие из обыкновенных запрещений и поощрений, которыми думают

усилить и обезопасить народную промышленность, ведут только ко вреду ее, мешают свободному ее развитию и вообще, служа к пользе какого-нибудь отдельного класса, или какой-нибудь отдельной промышленной отрасли, приносят более вреда, чем пользы целому ходу хозяйства. Показать нелепость этих препятствий и поощрений было делом политико-экономов, и они прекрасно исполнили это дело; но ревность к поражению врагов свободной промышленности завела защитников ее слишком далеко. Они думают и утверждают, что все зло, которое испытывает хозяйственное общество людей, происходит только от этих искусственных препятствий и уничтожится вместе с уничтожением их; мне кажется, что они взводят слишком много обвинений на эти препятствия и ждут от уничтожения их уже слишком больших последствий.

Теперь, кажется, ясно, что если бы мы могли разом освободить промышленный путь от всех искусственных препятствий и поощрений, то и тогда останется чрезвычайно много нерешенных вопросов, которые воздвигнуты новейшим временем в хозяйственной сфере. Теперь кажется ясно, что одной отрицательной, разрушающей деятельности недостаточно в хозяйственном мире, но что должно действовать положительно, устрояя и управляя; что должно, наконец, овладеть браздами этого страшного существа, которое в своем неудержимом порыве растаптывает столько несчастных жертв. Если правительства часто ошибались в выборе тех мер, которыми они думали поощрять хозяйственную деятельность, то это не доказывает еще, чтобы должно было не принимать никаких мер, а доказывает только то, что наука хозяйства находится еще в младенчестве. Мы можем обвинять прежних великих министров и правителей в том, что они действовали односторонне, с односторонними взглядами*. Но мы видим, что после них хозяйственная деятельность сделала большой шаг впе-

* Как, например, Сюлли, Кольберт, Петр Великий и т. д.

ред, и не должны забывать того, что в истории, из великих односторонних деятельностей, составляется всесторонее движение человечества вперед на поприще развития. Но если бы предположить, наконец, что правительство могло бы совершенно предоставить промышленность ее свободному развитию, то и в таком случае наука хозяйства является неизбежною для правительства.

Правительства в нынешнее время так глубоко связаны с жизнью народною, так соединены с ее внутренним организмом, что всякое правительственное движение, какое бы оно ни было, глубоко отзывается в народной жизни и особливо в самой чувствительной ее стороне, самой животрепещущей — в хозяйстве народа.

Почти каждый закон гражданский и даже уголовный, а тем более каждая политическая и финансовая мера производят неотразимое влияние на народное хозяйство; неотразимое уже потому, что закон есть высшая сила в обществе. Закон этот, падая в *известный народ, в известную сферу* хозяйственной деятельности, должен произвести и *известное* влияние на эту деятельность; на это влияние должен рассчитывать законодатель. Кто же соберет эти данные, кто же сделает их *известными*, кто же приведет их в такое естественное соотношение между собою, чтобы можно было, приложивши к ним данный закон, видеть все то влияние, которое производится приложением этого закона в этой живой, нежной, чувствительной сфере? Никто не будет оспаривать, что всякая финансовая мера или всякий гражданский закон, касающийся собственности, производит в хозяйственном мире свое *особенное* влияние, и что эта особенность зависит, вопервых, от свойства самого закона, или меры, и от свойства той частицы хозяйственной сферы человечества, в которую падает этот закон или эта мера, и наконец, от того положения, в котором в данный период времени находится промышленность народа. Неужели же можно издать такой закон, или предпринять такую меру, не рассчитавши вперед всех последствий? Кто же будет

держать пред глазами законодателя такую живую и движущуюся картину, как не наука хозяйства, такая живая, движущаяся, современная наука? Одной политической экономии на это не станет. Здесь недостаточно абстрактных выводов, а нужны данные с именами, величинами и количествами. Статистика тоже не может одна совершить этого дела, потому что здесь недостаточно показать одни явления, а надобно объяснить причины их и показать возможность действовать на эти причины. Да притом статистика сама есть не более как плод науки хозяйства. Верную, полную статистику хозяйственной деятельности может составить только человек, знакомый с условием этой деятельности, т. е. наукой хозяйства.

Показавши такую общую необходимость хозяйственной науки для лиц правительственных, мы постараемся теперь указать несколько сфер правительственной деятельности, где в особенности требуется она для верного и отчетливого действия. Можно сказать с уверенностью, что из десяти правительственных должностей по крайней мере семь имеют какое-нибудь хозяйственное назначение*; начнем с высших сфер. Во внешних сношениях с другими государствами хозяйственные вопросы являются главными и почти единственными. Для решения этих вопросов необходимо ясное, обширное сознание современного состояния экономической деятельности всего человечества, или, по крайней мере, значительной части его. При составлении планов войны и завоеваний необходимы лица, которые могли бы вычислить все экономические выгоды и невыгоды этого. При заключении мирных, торговых трактатов

* Речь профессора Редкина, стр. 73: «До сих пор русские юристы более посвящают себя отраслям администрации, а одною из главных отраслей администрации является хозяйственное управление. Преимущественно в наше время оно получило такую важность для государственной жизни, что в вопросах, касающихся хозяйственного управления, скрываются все почти современные политические вопросы».

только человек, обладающий данными науки хозяйства, может рассчитать все их последствия.

При всех тех действиях правительства, которыми оно думает покровительствовать народной промышленности и управлять ею, камералист должен являться и распорядителем и исполнителем. В тех местах, которые учреждаются для такого покровительства и управления, присутствие камералистов необходимо; так, в министерстве внутренних дел, в местах, заведывающих торговлею, земледелием, при собрании статистических сведений и т. п. Здесь между главным распорядителем и техническим исполнителем всегда должен стоять камералист: он есть среднее связующее звено между политиком и техником. Например, правительство думает построить железную дорогу: инженеры составят смету и представят проект, министр финансов ассигнует средства, справясь прежде с общим положением финансов; но кто рассчитает выгодность этой дороги, кто укажет те географические точки, связавши которые эта дорога принесет более пользы; кто покажет, что издержки на дорогу вознаградятся, и в какой мере должно ожидать этого вознаграждения; придет ли это вознаграждение непосредственно в руки финансового правительства, или посредством развития вообще народной промышленности? Целый ряд важных и существенных вопросов, решить которые можно только на основании правил и данных хозяйственной науки. И не должно думать, чтобы одни только такие обширные вопросы могли занимать камералиста; напротив, ему всегда есть дело возле техника: и при закупке материалов, и при найме рабочих, и при ревизии, потому что во всех этих действиях есть такая экономическая сторона, которая доступна только камералисту и от незнания которой самый опытный техник может впасть в страшные ошибки.

Далее, знание науки хозяйства необходимо при финансовых действиях правительства, когда оно требует части от плодов промышленной деятельности народа. Все финансовые места принадлежат камералистам.

В самом деле, кто хоть немного знаком.с свойствами прямых и косвенных налогов, тот легко поймет, какие обширные расчеты требуются при наложении всякого налога. Почти все результаты хозяйственных наук должны соединить свои силы, чтобы решить самый малый вопрос этого рода. Налог, падая в живую и развивающуюся сферу хозяйственной деятельности народа, подвергается множеству условий, которые могут совершенно изменить назначение налога и дать ему смысл, совершенно противный тому, который предполагался законодателем. И здесь также в самых низших сферах есть место для приложения камеральных знаний, так, например, при оценке имуществ, подлежащих налогу, при кадастрации, при раскладке податей и повинностей. и т. д. В этих низших сферах камералист снова встретится с техникой, но сферы их деятельности резко различны. Знание технических наук поможет камералисту соединить свои силы с силами техника и достигнуть полных и определенных результатов.

Знания камералиста также необходимо должны соединяться с знаниями техника и в тех случаях, когда правительство является владельцем, управителем и производителем. Заведывание государственными имуществами требует двоякого рода людей: техников и камералистов; но границы их деятельности и здесь, как везде, легко и сами собою обозначаются. Так, например, в управлении горным делом, конечно, технику должно быть поручено все его производство, но техник не в состоянии будет оценить выгодности. этого производства и его влияния на финансы государства и на промышленность народа, указать границы, в которых должно в известное время и в известной стране двигаться это производство и которых оно не должно переступать, чтобы не расточать бесполезно богатств природы.

Далее, при управлении лесами технику должно быть поручено их содержание, устройство и разведение, но чтоб оценить важность какого-нибудь лесного участка, указать способ и время его продажи, показать отношение

его к другим лесным участкам, чтоб объяснить его значение для климата целой страны и для всего ее лесного богатства, для ее водных путей, для промышленности народной, — для этого необходим человек, обладающий правилами и данными науки хозяйства. В решении всех этих вопросов выводы одних техников будут слишком односторонни и могут часто идти прямо против выгод народа и даже против выгод финансового правительства.

Наконец, присутствие камералиста необходимо и в тех местах, где правительство является судьею рождающихся в промышленной сфере требований и споров частных лиц. Так, например, при выдаче привилегий, премий, при ограничении и поощрении каких-нибудь производств, при спорах, в решении которых необходимо требуется знание промысловых наук, торговых отношений и т. д., — а вместе с тем и законов государственных, имеющих своим предметом эти отношения.

III. Для частного человека

Всякий человек необходимо есть член хозяйственного общества своего народа, а чрез него и всего человечества. От этой связи человека освободить может только смерть, тогда как от других он может сам уклоняться более или менее. Человек занимает место в этом хозяйственном обществе и как производитель и как потребитель; но всегда занимает определенное место, и самым уже своим существованием оказывает определенное влияние на весь хозяйственный организм. В отношении этого влияния можно всех людей разделить на два отдела: или частная деятельность прямо имеет своею целью произвести известное влияние на этот организм, — такова деятельность купца, земледельца, фабриканта, финансового чиновника, лиц, занимающих некоторые полицейские должности и т. п., или же, имея своею целью не экономический интерес, производит только посредствующее влияние на эконо-

мическую деятельность хозяйственного общества. Такова жизнь капиталистов, проживающих доходы со своих капиталов, духовных, врачей, и т. д.; деятельность этих последних имеет влияние на экономический интерес народа, но влияние посредствующее. Для обеих этих категорий наука хозяйства имеет различную важность. Для первых определить точку, которую они занимают в хозяйственном мире своею деятельностью, чрезвычайно важно; и это определение может дать их планам и предположениям чрезвычайную верность и твердость. Для лиц второго порядка знание науки хозяйства может быть более или менее необходимо, смотря по силе того посредственного влияния, которое производят они на хозяйственную деятельность общества.

Сэй говорит о политической экономии, что она, показывая средства, которыми производятся материальные блага, удовлетворяющие потребностям существования всего общества, указывает в то же время всякому отдельному лицу и всякому семейству, каким образом они могут увеличить имущества, служащие к их общему существованию. Показывая, какими количествами эти созданные богатства разделяются между членами общества, она показывает частным лицам и семействам тот род деятельности, которым для них будет выгодно заняться, смотря по тому воспитанию, которое они получили, по свойству той страны, в которой они живут, и по тем средствам, которыми они располагают. Наконец, политическая экономия, раскрывая следствия потребления, научает частных лиц лучшим способам потребления имуществ, приобретенных ими. Отдавая полную справедливость остроумию и точности выражений автора, мы спросим только, может ли одна политическая экономия в том объеме, в каком излагает ее сам знаменитый автор, дать такие выгодные познания частному человеку? Нет, одни абстрактные экономические законы не сообщат этих выгодных познаний. Мы имеем дело с производителями такого-то города, которые, в свою очередь, зависят от производите-

лей или потребителей тех или других местностей, от удобства тех или других путей сообщения; а эти последние от расположения тех или других рек, гор и т. п. Частный человек имеет дело не вообще с потребителями, но с потребителями известной страны, разделенными на известные классы, по богатству и по положению в обществе, расселенными по известным местностям, имеющими известные потребности, подлежащими известным законам, обложенными известными повинностями и податями и т. д.

Частный производитель не имеет дела вообще с произведениями фабрик, но с произведениями известных фабрик, известных промыслов, известных почв земли, известных стран, известных свойств, которые опять находятся в зависимости от множества физических и общественных условий. Из этого видно, что частному человеку, для достижения тех выгодных результатов, которые обещает ему Сэй от имени политической экономии, должно ещё иметь множество познаний географических, статистических, юридических, финансовых, технических, а все эти познания не входят в политическую экономию, но являются элементами науки хозяйства в том ее объеме, который мы ей дали выше.

Определение своего положения в хозяйственной сфере не менее важно, как точное ведение счетных книг, и притом так занимательно, что я не предвижу большой трудности для богатых капиталистов, купцов, фабрикантов, помещиков, которые имеют возможность следить за движениями народной промышленности, прийти к этому определению. А какую бы полноту его деятельности сообщило такое определение, какую верность его расчетам, безошибочность предположениям! Сколько разумности сообщилось бы тогда промышленной деятельности этого человека, и она потеряла бы тогда весь характер мелочности и машинальности, который так часто заставляет людей с возвышенными порывами пе-

реходить из промышленной сферы в другие. Представим себе человека, который, ознакомившись со всеми частями хозяйственной науки, заведет потом обширное фабричное производство: вместе с началом работ он положил себе за правило употреблять несколько часов для определения положения своего промысла в хозяйственной сфере; познания, сообщенные ему наукою хозяйства, поставят его уже на настоящую точку, с которой он может отправиться в своих изысканиях. Обладая знанием земли и знанием настоящего положения промышленности, хотя в общих ее чертах, он уже видит, так сказать, канву и узор своего будущего труда; газеты, отчеты разных обществ и лиц, биржевые известия, слухи, и, наконец, собственный опыт дадут ему материал для его дела; и вот в продолжение нескольких лет он все яснее и яснее видит тот круг, в который поставлен он своим производством, видит все нервы, которыми это производство связано с хозяйственною деятельностью общества и даже всего человечества. Конечно, чем далее тянутся эти нервы, тем труднее становится разбирать их сплетения;но если свеча не заменяет нам солнца, то это тем не менее не заставляет нас отказаться от употребления свечей ночью; если корабельщик не может наверное предсказать счастливого путешествия своему кораблю, то тем не менее он все-таки смотрит на звезды, на море, прислушивается к ветру. Такой фабрикант через несколько лет будет стоять несравненно выше своих собратьев, действующих большею частью, по примеру других, на удачу, по темным и неверным слухам, по недолговечному опыту и, наконец, по отрывочным известиям, которых они не могут привести в стройную систему и которым они не могут дать верной оценки. Фабрикант, по верным правилам хозяйственной науки, определивший относительное положение своего производства в хозяйственной сфере, будет в состоянии верно определить точные причины упадка или возвышения цен на свои произведения и материалы их; будет в состоянии предвидеть бурю, уклониться от нее, или пред-

отвратить ее, если можно*. Наконец, такой фабрикант ясно будет видеть, что он находится в такой связи со всем человечеством, что должен смотреть на свое производство не только, как на дело, для которого он существует в мире, — как на должность, занимаемую им в человеческом обществе, должность, обязанности которой он должен исполнять, если не хочет заслужить укоров совести. Производитель, который так поймет и так определит свое положение в хозяйственном обществе, который будет действовать с сознанием всей важности своего призвания, не может уже бессознательно давить своих ближних и не будет заслуживать тех упреков, которыми иногда и теперь люди других сфер осыпают человека, предавшегося промышленности**.

* Знание политической экономии, говорит Сэй, во многих случаях заменяет опыт, тот опыт, который стоит столь дорого и который часто приобретается в тот период жизни, когда он более не нужен. Последствия обстоятельств, среди которых мы живем, последствия и не подозреваемые толпою, легко предвидятся тем, кто умеет связать причины с их следствиями. А сколько огромных выгод можно извлечь во всяком производстве из этого предвидения более или менее верного? Если я негоциант, то мой барыш и мои потери будут зависеть от большей или меньшей верности заключений, которые я составил себе о будущей цене вещей. Если я мануфактурист, то как важно для меня знать следствия соперничества производителей, расстояние тех мест, откуда я достаю материалы для моего производства, и тех, куда я сбываю мои произведения, влияние способов сообщения, выбор способов производства. Принося нашу благодарность знаменитому политико-эконому в том, что он так ясно выражает нашу мысль, мы не можем не подумать, что, излагая эти мысли, Сэй имел в уме науку хозяйства, а не одни абстрактные положения своей науки. Say, Cours, comp. 1, p. 32 .

** Здесь в подтверждение наших слов мы можем привести слова Сэя, хотя они относятся к одной политической экономии, но мы объяснили уже выше, почему мы считаем себя вправе прилагать их к науке хозяйства. «Должно признаться, — говорит Сэй, — что большая часть людей мало думает о тех отношениях, которые существуют между благом общим и их частными интересами. Жители известных местностей принимают горячо все интересы их местности или тех классов, к которым они принад-

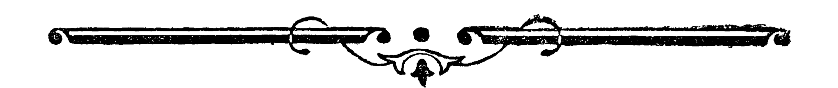
Из этого быстрого очерка вы видите, мм. гг., как обширно поприще камеральной деятельности. В нашем отечестве оно обширнее, чем где-нибудь. Много еще нетронутых сил дремлет в лоне русской природы; пробудить их и воспользоваться ими — великая задача, великое назначение! В этой огромной деятельности и мы принимаем участие, по силам своим, благодаря попечительности августейшего монарха, благодаря щедрой любви к просвещению незабвенного основателя Демидовского лицея.



лежат, а если только национальная гордость их не тронута, то они остаются совершенно равнодушными ко всему тому, что касается интересов их народа или человечества». Say. Cours comp. 1, p. 31.

Интерес общий для них есть отвлеченное понятие, интерес чуждый — такой же интерес, какой имеют для них комедия или роман.

Статьи в журнале „Современник“



„МАГАЗИН ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ И ПУТЕШЕСТВИЙ“ [8]

Географический сборник, издаваемый Николаем Фроловым. Том I. Москва, 1852 г.

С НЕКОТОРЫХ пор деятельность московских ученых обратилась преимущественно на издание специальных сборников по разным отраслям науки. Сборники, издаваемые господином Калачовым — по предмету русской истории, господином Леонтьевым — по предмету классической древности, принадлежат, без сомнения, по разнообразию и ученому достоинству своего содержания к числу замечательнейших явлений современной ученой литературы. К этим двум сборникам присоединяется теперь третий, предметом которого будет землеведение в самом обширном его смысле, — наука, по важности своей не уступающая, конечно, ни русской истории, ни греко-римской археологии. Нельзя не радоваться появлению этого нового издания и нельзя не пожелать, чтобы оно дельностью своего содержания и общедоступностью формы сравнилось, по возможности, с предшественниками своими на этом полезном поприще.

Географический сборник, к изданию которого приступил ныне г. Фролов (известный весьма удовлетворительным переводом гумбольдтова «Космоса»), имеет ту общую черту с «Архивом» г. Калачова и «Пропилеями» г. Леонтьева, что, подобно им, назначается для любителей дельного, серьезного чтения. Но при этом сходстве легко заметить, однако, между тремя изданиями и значительные, существенные различия.

Сборники гг. Калачова и Леонтьева, особенно первый, имеют целью не одно распространение ученых сведений между читателями, но и самостоятельное развитие самой науки. Поэтому самое главное содержание их составляют исследования оригинальные, обогащающие науку новыми данными и открытиями. Совершенно другое назначение имеет разбираемый нами «Магазин землеведения и путешествий». Не предъявляя никаких притязаний на самостоятельную разработку науки, издатель поставил себе другую, более скромную, но тем не менее весьма полезную цель, а именно: ознакомление русских читателей с важнейшими, уже добытыми наукою истинами, распространение в нашей публике географического образования. В предисловии к первому тому «Магазина» сам г. Фролов определил с точностью назначение и характер своего издания, сказав, что он хотел «представить отечественной публике к н и г у д л я ч т е н и я по части общего землеведения и путешествия». Этого назначения, данного сборнику, никак не надо терять из виду при суждениях об его достоинстве. Иначе можно будет прийти к весьма несправедливым заключениям. Если бы мы стали рассматривать «Магазин», как специальное ученое издание, подобное упомянутым выше «Архиву» и «Пропилеям», то могли бы, конечно, упрекнуть его в отсутствии самостоятельности, в недостатке статей и исследований оригинальных, даже в том, что большая часть сочинений, из которых почерпнуты помещенные в нем статьи, далеко не новы и не безызвестны. Но все такого рода упреки, спешим это заметить, были бы совершенно неосновательны. Разбирая книгу, надо всегда иметь в виду ту самую задачу, которую избрал сочинитель или издатель. С этой точки зрения будем и мы смотреть на «Магазин» и, следовательно, будем требовать от него не более того, что хотел представить нам сам г. Фролов.

Как по назначению своему, так и по действительному содержанию «Магазин землеведения и путешест-

вий» представляет некоторое сходство с «Живописным обозрением», которое некогда издавалось в Москве книгопродавцом Семеном. Последнее издание назначалось почти для того же круга читателей, как и сборник г. Фролова, и также наполнялось преимущественно статьями географическими, популярно изложенными и посвященными общезанимательным предметам. Но в «Живописном обозрении» на первом плане стояли рисунки и на втором уже текст; в сборнике г. Фролова, напротив, текст занимает главное, а рисунки — второстепенное место. Поэтому самому статьи «Магазина» гораздо полнее, подробнее и серьезнее, нежели статьи «Живописного обозрения» о тех же предметах. Это различие в характере двух изданий необходимо должно иметь следствием различие и в самой пользе их для читателей. Нет сомнения, что сборник г. Фролова будет содействовать распространению географических сведений в массе нашей публики несравненно более, нежели содействовало тому «Живописное обозрение», которое, впрочем, издавалось весьма удовлетворительно и в свое время принесло немалую пользу русским читателям, особенно же читателям юношеского возраста.

Первый, изданный ныне, том «Магазина» состоит из 48 листов большого формата, напечатанных довольно мелким шрифтом. Следовательно, по объему своему сборник г. Фролова далеко превосходит все другие сборники, изданные в последнее время в Москве. Цена сборнику назначена самая умеренная — три рубля серебром. Таким образом, читатели за незначительную плату могут приобрести огромную книгу, которая доставит им чтения на несколько недель. Эта дешевизна издания при значительности его объема заслуживает полной благодарности, тем более, что дешевые книги составляют у нас весьма редкое явление. В этом отношении можно только заметить, что толщина и громадность книги делают ее не совсем удобною для чтения; для читателей было бы, без сомнения,

гораздо приятнее, если бы г. Фролов вместо одного огромного тома издал два или три небольших. Внутреннее достоинство сборника от этого, конечно, ничего бы не потеряло.

Первый том «Магазина» состоит из двух отделов: в одном излагаются «Физические и исторические материалы землеведения»; в другом — «Географические известия». Признаемся, названия эти кажутся нам не совсем ясными и даже не совсем правильными. Что значит выражение: «исторические и физические материалы землеведения»? Скрывающуюся под ними мысль не всякий поймет с первого раза; притом, нам кажется, что отделить материалы землеведения от самого землеведения и невозможно и бесполезно. По крайней мере, большая часть статей, напечатанных г. Фроловым под именем «материалов», могли бы войти целиком и в догматическое изложение самого землеведения. Еще неправильнее показалось нам название второго отдела. Со словом «известия» соединяется всегда понятие о каком-нибудь новом событии или явлении, о котором доводится до сведения читателей. Поэтому и в отделе «Географических известий» мы полагали встретить современную хронику географической науки, т. е. более или менее подробные сведения о новых сочинениях по части землеведения, о вновь предпринятых или совершенных экспедициях, об открытиях, в последнее время сделанных и т. п. Но ничего подобного не нашли мы в «Магазине». Под именем «Географических известий» в нем помещено несколько статей, переведенных, по большей части, из сочинений, уже довольно давно вышедших и по самому содержанию своему вовсе не представляющих живого, современного интереса. Нельзя не заметить при этом, что между первым и вторым отделами сборника едва ли можно открыть какое-либо внутреннее, существенное различие. И по содержанию, и по форме, и по ученому значению, статьи обоих отделов совершенно одинаковы, так что каждую из них можно по произволу и без всякого нарушения систе-

мы, перенести из одного отдела в другой. Различие между отделами — чисто внешнее, основанное единственно на объеме статей: более значительные по объему помещены в первом отделе; менее значительные — во втором.

Но довольно о названиях. Вопрос, конечно, состоит не в том, как назвал издатель отделы своего сборника, а в том, как и чем он наполнил их? С этой стороны нельзя не отдать «Магазину» полной справедливости. Содержание его весьма разнообразно; предметы большей части статей и важны и общезанимательны, а сочинения, из которых извлечены сведения об этих предметах, избраны весьма удачно и с несомненным знанием дела. Чтобы убедиться в этом, стоит только перечислить статьи, помещенные в обоих отделах.

Первый отдел «Магазина» начинается двумя статьями Д. М. Перевощикова: одна содержит в себе «историческое обозрение исследований о фигуре и величине Земли»; другая представляет «Сведения о суточном и годичном движении Земли». Обе статьи, подобно всему, что писал и пишет г. Перевощиков, составлены весьма добросовестно и тщательно и изложены довольно ясным, общедоступным языком. Затем следует статья г. Спасского: «Атмосфера Земли», весьма важная по содержанию, но, сколько нам кажется, не довольно ясно изложенная; людям не специальным многие из выводов г. Спасского покажутся, без сомнения, не совсем понятными. Нельзя сказать того же о помещенных тут же трех статьях, переведенных из сочинений знаменитого Риттера: о географическом распространении кофейного дерева, о чае и сахарном тростнике. Эти три превосходные статьи, при чтении которых не знаешь, чему более удивляться: необыкновенной ли ясности изложения, или занимательности и дельности самого содержания, составляют, по нашему мнению, лучшее украшение сборника; чем больше таких статей будет переводить г. Фролов, тем более пользы будет приносить и издаваемый им «Магазин». Весьма

замечательные также, и по интересу содержания и по ученому достоинству, статья о хлебном дереве, переведенная из Форстера, и письмо известного натуралиста В. Ф. Эдварса к Амедею Тьерри «О физиологических признаках человеческих пород и их отношения к истории», последней статье придают особенную цену ученые примечания, которыми снабдил ее наш даровитый историк Т. Н. Грановский. Наконец, в первом же отделе помещено и обширное, сделанное г. Бабстом, извлечение из классической книги Мюллера о речной области Волги. Нельзя не быть благодарным г. Бабсту за то, что он дал средство русским читателям, не знающим немецкого языка, познакомиться с прекрасным сочинением Мюллера; но нельзя также согласиться с его странным мнением, будто сочинение это «весьма мало у нас известно». Из людей, занимающихся географиею и статистикою России, мы уверены, нет ни одного, который бы не был близко знаком с книгою Мюллера. Еще страннее показалось нам мнение г. Бабста, будто профессор Соловьев первый обратил внимание (?) на эту книгу. Весьма быть может, что сам автор в первый раз узнал о ней из статьи г. Соловьева, но, повторяем, ученому миру книга эта была очень хорошо известна гораздо прежде, чем обратили на нее внимание профессор Соловьев и г. Бабст. Нельзя не заметить также, по поводу статьи последнего, что приложенная к ней карта не может принести читателям большой пользы. К статье, подробно описывающей все течение Волги, необходимо было бы приложить карту подробную, с обозначением всех рек, озер, городов, даже селений, которые упоминаются в самой статье. Но вместо того, в «Магазине» помещена карта России, сделанная в самом небольшом масштабе и до такой степени неполная, что из городов, например, означены на ней одни губернские, а из уездных — только Осташков и Рыбинск. Такого рода карта не может, конечно, доставить читателю статьи удовлетворительного пособия.

Второй отдел «Магазина» состоит из статей, по большей части весьма интересных. Здесь помещены исследования Араго о том: оказывает ли луна заметное влияние на нашу атмосферу? и статьи о назначении и употреблении барометра (г. Спасского), о воздухоплавании, об алмазах Восточной Индии (Риттера), о большом водяном змее, о сибирских белках (И. Корнилова), об острове Отаити (Пёнинга), об Илецкой Защите (г. Бабста) и о распространении немецкой народности (А. Кояндера). Основанием последней статьи послужило, вероятно, какое-нибудь сочинение, автор которого, по весьма понятному патриотическому чувству, преувеличивает влияние своего племени на все другие народности. Г-н Кояндер не подверг заимствованных им сведений более строгой и беспристрастной критике.

Указав на содержание «Магазина», скажем также о внешнем его виде. И с этой стороны издание заслуживает полного одобрения. Бумага, шрифт и печать — превосходные. Для пользы сборника не лишним считаем, однако, сделать одно, неважное, впрочем, замечание. Мы весьма сожалеем, что издатель принял странную методу помещать целые ряды цифр, не отделяя их запятыми. Для читателей это в высшей степени неудобно, потому что принуждает их к весьма скучным и отнимающим время перечислениям. Есть ли, например, какая-нибудь возможность прочесть без запятых ряд цифр, подобных следующему: 7000000000. В книге, где цифры, и цифры весьма крупные, попадаются почти на каждой странице, это недостаток весьма важный и неприятный.

После всего сказанного, нам остается только искренно поблагодарить г. Фролова за начатое им прекрасное предприятие и пожелать ему полного успеха на полезном, избранном им поприще.



17*



ПОЕЗДКА ЗА ВОЛХОВ[9]

Глава I

Пароход

В ПОЛОВИНЕ девятого я был на Невской пристани. Пароход «Урания», который должен был ровно в девять часов отправиться в Шлиссельбург, уже дымился, пыхтел и собирался с силами. Приказчики и работники, с ящиками, цибиками, узлами уже суетились на палубе, и я, взойдя на нее, остановился у перил, чтобы рассмотреть своих спутников. Общество было самое пестрое, но, несмотря на все свое разнообразие, разделялось резко на две категории: в первой разнообразие цветов было сильнее, но легкое преимущество оставалось за черным; во второй владычествовал серый. Лица первой категории, заплативши целковый, чинно рассаживались по лавочкам кормы или пользовались правом спускаться в каюту; серые же мирно улеглись на полу передней части парохода, укладывали головы на кулечки, свернутые армяки или на колени своих соседей и, заплатив полтинник, метили выспаться на целковый. Вещи и товары горой навалены были посредине парохода.

Колокольчик прозвенел во второй раз: толпа провожавших бросилась на берег, и пароход медленно отвалил. Пискливые и басистые «прощайте, до свиданья, *adieu*, *leben sie wohl*» сыпались с примесью утренней сиплости на корму, тогда как на нос парохода падали, как бомбы, увесистые поклоны не менее увесистым Аку-

лине Савишне, Марье Трофимовне, дяде Герасиму, на которые получались удовлетворительные ответы: «будем кланяться!» Наконец, пароход отплыл на такое расстояние, что прощанья должны были умолкнуть, и провожавшие начали расходиться с пристани; только один дюжий парень, без шапки, в рубахе на распашку, не мог оторвать глаз от предмета своей дружбы — такого же дюжего и такого же рыжего детины в сером армяке. Парень на берегу истощил, казалось, все прощальные фразы и только махал рукою и грозил кулаком своему отъезжающему приятелю; когда же пароход был уже готов скрыться, он собрал свои последние силы и гаркнул во всю мочь: «Эй, Ванюха! прощай, прощай, разбойник! прощай...» Ванюха, в ответ на любезность своего приятеля, послал такую же любезность и, завернувшись в армяк, растянулся на полу, положив голову на ноги своего соседа, который уже храпел

— Что это — брат, что ли, тебя провожал? — спросил я его.

— Брат? какó брат!

— Так вы земляки?

— Уж и земляки!

— Из одной деревни?

— Какó из одной деревни? — сказал он, махнул рукою и грустно понурил голову.

— Так что же он тебе? — приставал я.

— Что он мне? Ничего! а так, вместе кирпич делали; ну и делали, — а приведет ли бог свидеться?

И парень повернулся; ему, видимо, было грустно.

Пароход выбрался на средину и пошел полным ходом. Мерно колеблясь, дрожа и вздыхая, взбирался он вверх по течению, сбивая в пену спокойную поверхность Невы и оставляя за собой в воде широкую, кипящую серебром, борозду, а в воздухе — толстую, волнистую струю дыма. На корме молчали и оглядывали друг друга, на носу храпели; я смотрел на исчезающий Петербург. Широта реки быстро поглощала громад-

ность его зданий, и скоро он стал походить скорее на небольшой промышленный город, раскинутый по низменным берегам прекрасного озера, чем на пышную Северную Пальмиру. Низменные, глинистые, темные, чуть-чуть взволнованные берега Невы обнажались более и более от зданий. Пошли фабрики, потом дачи, мелкие лески; там и сям — бедные рыбацкие деревни и чистенькие немецкие колонии; только Нева оставалась попрежнему могуча, широка, попрежнему синя и полна до самых краев; только она одна напоминала, что Петербург близко.

— А не правда ли, окрестности Петербурга очень грустны? — проговорил кто-то басом возле меня, так что я вздрогнул и оглянулся.

Сосед мой был мужчина лет сорока, краснощекий и довольно полный, в белом пеньковом пальто и в серой широкополой шляпе, с огромными усами, через которые он пускал струйки табачного дыма из коротенького дорожного чубука. Добродушное выражение его лица напоминало мне моих знакомцев степных помещиков, и мне показалось, что я где-то его видел.

— Вы бывали в Москве? — продолжал он, не обращая внимания на мое молчание.

— Я прожил там лет десять.

— Ну, не правда ли, какая огромная разница!

Я ожидал бесконечного спора о преимуществах обеих столиц; но собеседник мой, ничего не замечая, продолжал:

— То ли дело, как подъезжаешь к Москве! С каждой верстой сел все больше, храмы все лучше и древнее, жизнь роскошнее и раздольнее, веселые сельские ландшафты сменяются быстро, и чувствуешь приближение к центру русской жизни... А Москва-то, Москва! Со всех сторон она обнимает тебя, как мать родная! Какие дивные панорамы! Стоит только взойти на Поклонную гору!

— Петербург также имеет свою Поклонную гору, —

сказал я, стараясь перебить восторженную речь защитника Москвы.

— Не эта ли, что по дороге в Парголово — эту петербургскую Швейцарию? Был я и там; но не знаю, чему там можно дивиться...

— Мне кажется, я имел удовольствие где-то встречаться с вами?

— Весьма вероятно.

— Да вы из какой губернии?

— Пензенской.

— А! Так мы земляки.

Мы сочлись своими и открылись, что мы знакомы и даже почти родные. Я припомнил, что раза два видел Аркадия Петровича, а еще более слышал о нем. Это был страшный чудак, который в молодости учился дельно, а потом сделался степным помещиком. Но ему не сиделось на месте, и он без отдыху колесил по России, из одного края в другой. Он везде находил себе дело, всех расспрашивал, во все вмешивался, и не было такого уголка русской жизни, в котором бы он не побывал. Он что-то все записывал, собирал, но не напечатал еще ни одной строчки.

— Куда же вы теперь пробираетесь, Аркадий Петрович? — спросил я своего собеседника. — Или все еще продолжаете свое вечное путешествие по России?

— Да! И не намерен никогда его кончить. Это совсем не так скучно, как вы думаете. Я только что вернулся из Финляндии и пробираюсь теперь в Петрозаводск, а оттуда думаю махнуть в Колу. Впрочем, еще и сам хорошенько не знаю, куда направлю стопы свои. А вы?

— Я еду по делам, в Ладожский уезд, в деревню.

— Браво! Я вас поздравляю. Вам предстоит презанимательная дорога, и вы, верно, напечатаете свои дорожные впечатления?

— Право, не знаю. Кажется, здесь не предстоит ничего особенно занимательного, да что и есть, так все известно и переизвестно. Я удивляюсь вам, как

вы находите пищу для любознательности в бесконечных вояжах по этой однообразной равнине?

Аркадий Петрович грустно покачал головой и на минуту задумался.

— Странны для меня все вы, господа! — проговорил он, наконец. — Однообразная равнина, да однообразная равнина! Затвердили одно, да на этом и остановились.

— Ну право же, Аркадий Петрович, вы должны сознаться, что разнообразие не слишком велико. Граф Соллогуб несколько прав, говоря, что у нас ездят, а не путешествуют.

— Да, конечно! Но я попрошу вас ответить мне на некоторые вопросы; только беру наперед слово, что вы будете отвечать чистосердечно.

— Извольте!

— Хорошо! Так скажите же мне, пожалуйста (я степняк, и этот вопрос для меня извинителен), вы должно быть отлично знаете Россию?

— Увы! К несчастью, нет! Немного, очень немного из нас таких, которые старались ее узнать; немногие узнали случайно, и то кое-как... а большинство...

— Знает очень плохо, — докончил мою мысль Аркадий Петрович и, откладывая ее большим пальцем правой руки на мизинец левой, продолжал. — Хорошо! Примем это к сведению и пойдем дальше! Если вы не познакомились с Россией путешествуя, то, вероятно, знаете ее из книг? Вероятно, можете изучить ее в подробных географиях, в описаниях, в собраниях путешествий?

— Вы сами знаете, что нет, — отвечал я смиренно. — Подобной географии у нас, можно сказать, нет, потому что я и не смею назвать этим именем учебников, в которых ничего нет, кроме номеклатуры гор, рек и городов и сведений о числе кирпичных и кожевенных заводов; путешествия, помнится, есть и у нас кое-какие, но все они стары, написаны дубоватым слогом, русско-

немецкой учености, и едва ли многие знают даже имена их авторов; а описаний... описаний у нас много, но они хоронятся в журналах.

— Гм! Странно! Никто ничего не знает, а описывать нечего и путешествовать незачем? Я тут чего-то не понимаю.

— Оно, конечно, странно; но, кажется, можно несколько объяснить это: в самом деле, русская равнина, исключая окраин ее, описанных довольно порядочно, так однообразна, что, очертив одну местность, очертишь все.

— Так почему же не описана хоть эта одна местность?

— Да потому, что она всем известна.

— Вы сами себе противоречите, мой почтенный! Следовательно, Россия всем известна как нельзя лучше, — а минуту тому назад вы говорили совершенно противное!

И Аркадий Петрович смотрел на меня, лукаво улыбаясь.

— Вы правы только отчасти, — сказал я, — конечно, и в русской равнине есть разнообразие и в природе и в жителях; но оно так незначительно, развивается на таких огромных протяжениях, и характер одной местности так незаметно, так медленно переходит в характер другой, что, проехав тысячу верст, можно заметить только весьма немногое, написать только несколько страниц или набить свой дорожник, как делают некоторые, сведениями о том, что ел и пил в каждом городе...

— Но неужели на вас производят одно и то же впечатление и саратовские поля, и калмыцкая степь, и владимирские болота, и окрестности Москвы, и холмистые пространства Орла и Тулы, и равнины Малороссии и новороссийская степь, и белорусские песчаные и лесистые пространства, и вологодские леса, и здешние болота? Неужели на вас веет одною жизнью

и посреди умных и веселых москвичей, и посреди патриархальных вологжан, и посреди промышленных архангельцев, и посреди приземистых белорусцев? Где же здесь однообразие?

— Правда! Но эти впечатления как будто ни на чем не основаны, неуловимы, неизъяснимы.

— Ни на чем не основаны они быть не могут, ибо все имеют свою причину, следовательно, есть причина и вашему верному впечатлению; а неуловимо оно потому, что вы его не ловите; неизъяснимо потому, что вы не хотите взять на себя труда изъяснить его.

Я замолчал, побежденный неумолимою логикой моего собеседника, хотя какие-то возражения еще шевелились в моем уме.

Небо потемнело; ветер с моря усилился. Местность была невеселая: низкие, темные берега, поросшие густым хвойным леском, наклонившимся над водою, казалось, с трудом удерживали огромную, почерневшую массу воды, взволнованную морским ветром. Река бурлила, но звуки ее, то грустные, то сердитые, умирали без ответа на пустынных берегах. Она вся покрылась белыми гребнями, которые, перегоняя друг друга, бежали, казалось, не вниз, а вверх по течению. Возле парохода была страшная свалка. Он шел гордо и только мерно вздрагивал; его колеса не отгоняли волн, которые с какою-то злостью лезли под них, а давили и резали их, разбивая в пену и усыпая серебром широкий след, далеко остававшийся за ними. Но как были ничтожны мы, на хребте этого чудовища, перед смельчаком, который мелькал посреди реки, в небольшой лодке. Он, казалось, наслаждался борьбой с гневной влагой. Белая развевающаяся рубаха его то показывалась высоко над водой, то снова погружалась в волны; иногда блестело самое дно лодки, иногда мы видели только развевающиеся волосы отважного пловца. Я взглянул на своего собеседника: он жадно следил глазами за исчезающей лодкой, ему хотелось быть на месте гребца.

— Картина в самом деле хороша! — сказал я Аркадию Петровичу, — но она так обыкновенна, столько раз описана! И что она перед морскими бурями, которые так прекрасно переданы и слову и полотну! А скучные берега не придают ей решительно никакой особенной характеристики.

— Извините, но я больше думал о вашем инстинкте. Я видел бури в океане и на всех русских морях и почти на всех замечательных реках и озерах; буря на Неве, особливо когда ветер с моря, производит на меня совершенно особое впечатление. Но мне еще ни разу не удавалось видеть этого пролива, когда морской ветер победит его и погонит его воды назад в Ладожское озеро. Неужели контраст этого водного богатства, посреди этих унылых берегов, эта деятельность волн и шум нашего парохода, посреди этого безлюдия окрестностей, не напоминают вам ничего?

— Постойте! Что-то в самом деле шевелится в моей памяти...

Я силился припомнить что-то, но никак не мог.

— Я вам помогу, — сказал Аркадий Петрович, улыбаясь. — Вы, вероятно, читали какие-нибудь пароходные сцены на американских реках или озерах...

— Да в самом деле! Между этими сценами есть какое-то отдаленное сходство, — но только очень отдаленное. Где здесь эта роскошная растительность, это сближение крайностей, ужасов и красот природы?

— Совершенно справедливо; но остается же какое-то общее чувство: вот это-то общее и уловите; вот, видите ли...

— Позвольте, мне кажется, я сам открыл причину. Это тот же самый контраст обильной, живой и шумной влаги с безлюдьем и тишиной пустынных берегов.

— Но здесь есть еще нечто сходное, — перебил меня Аркадий Петрович. — Это то, что Америка и эта страна — земли новые, в которых природа скопила страшные силы и бережно хранила их до прибытия

европейского человека, и он со всею мощью своей гражданственности вошел в эти долго неведомые страны, в которых люди попадались только как будто для дополнения картины... Еще Шлецер находил сходство между открытием России славянскими племенами и открытием Америки *, но нигде это сходство не поражает вас так, как здесь и в некоторых местах Сибири.

— Как разыгралась! — продолжал Аркадий Петрович, любуясь яростью волн. — Право, не знаешь, чему более удивляться — гению ли Великого, который так верно открывал источники сил русской природы, твердости ли его непреклонной воли, не знавшей препон ни в людях, ни в природе, или его бесконечной смелости и вере в безошибочность своего гения? Когда Петр явился сюда закладывать новую столицу, то здесь сохранилось не только воспоминание, но даже следы страшного наводнения, случившегося за двенадцать лет перед тем, и которое почти вдвое превосходило наводнение 1824 года. Нева подымалась тогда на 25 футов выше своего обыкновенного уровня и затопила все пространства даже до Охты. Наводнения эти повторялись так часто, что жители были как на биваках, ежеминутно готовые бросать в жертву волнам свои хижины, или превратить их в плоты **. Но Петр не побоялся основать свою новую столицу еще ближе к устью, на почве, еще не совсем обсохшей, и спокойно смотрел, как вода заливала основания новых зданий. И что же? волны унялись и с каждым годом унимаются больше и больше. Как после того не сказать, что гений знает будущее?

— Да! Но все это давно уже, и так прекрасно выразил Пушкин, — заметил я.

— Право, даже досадно, — возразил с нетерпением Аркадий Петрович. — Память дана вам как будто

* «Нестор» Шлецера.

** Штукенберг, Hydrographie des Russischen Reiches.

нарочно для того, чтобы оправдать свою леность. Но разве это чувство так мелко, что его можно исчерпать дюжиною стихов? Разве оно не стоит того, чтобы повторить его несколько раз?

— Но ведь вы, кажется, приверженец московской природы?

— Да, я люблю Москву, но разве это мешает мне восхищаться Невою? В самом деле, посмотрите, как даже реки обеих столиц прямо противоположны и как характерны обе! Москва — это маленький, пересыхающий ручеек, вьющийся как блестящая змейка на дне огромного бассейна, с крутыми, живописными берегами, свойственными вообще юрской известковой формации, набитой окаменелостями. Эта маленькая речка, при каждом повороте своем, создает новый ландшафт, новую светлую картину, к которой так и льнет славянское сердце. А здесь огромная масса воды течет почти прямо, в ровных и болотистых берегах, которые изредка подымаются на несколько аршин, а устья и исток уходят в воду неприметными склонами, — в берегах, которые состоят из самой древней глины в свете, в которой нет решительно никаких остатков прежней жизни *. Свойство этой глины решает судьбу невских берегов. Она, может быть, делает возможным существование человека на этой мокрой местности; но, с другой стороны, она же производит ту бедность произрастания, которая так поражает вас при приближении к Петербургу. Эта глина довольно часто, однакож, прикрывается намывным песком или илом, как, например, возле Петергофа и Павловска. Петербург закрыл эту почву гранитом и пештняком, которые не без намерения же природа рассеяла вокруг его с такою щедростью. Это пространство, на котором самый древний слой силлурийской формации выглянул наружу, очень не велико; далее оно начинает покрываться другими породами.

* Geologie des Europäischen Russlands, von R. Murchison. Bearbeitet von G. Deouhard, 1848.

— Но, — заметил я, — невольно улыбаясь странной связи мыслей моего собеседника, — для новой столицы не было бы, однакож, хуже, если б почва ее была несколько поновее, да и несколько повыше.

— Последнее, может быть, и правда, хоть и то еще сомнительно: будущее все впереди; но что касается до первого, так вы решительно ошибаетесь, если принимаете эту местность за новую в истории России. Я много имею причин думать, что на водах Невы завязался один из первых узлов общественной жизни России, но это длинно было бы доказывать; а теперь я только замечу вам, что варяго-славянская речная, торговая дружина с незапамятных времен утвердилась на этих водах, и что древнее судоходство по Неве, которое было возобновлено договором новгородцев с латинцами, древнее ганзейской торговли, и что этот договор родной брат договору...

В это время ветер, давно уже подбиравшийся под широкие поля серой шляпы моего разгоряченного собеседника, наконец сорвал ее и покатил по палубе. Аркадий Петрович бросился догонять шляпу, и наш разговор прервался.

— Послушай, любезный! — сказал возле меня какой-то тощий господин, придерживая рукой свою соломенную фуражку и обращаясь к нашему кормчему, русскому мужичку в непромокаемом плаще и в английской матросской шляпе. — Послушай, любезный, скоро ли мы приедем к порогам?.. Эй ты! Эй!

Но «любезный» не слышал ничего: он зорко смотрел вперед и быстро поворачивал колесо то в ту, то в другую сторону.

— Эх, барин, не мешай! — сказал он наконец, не оборачивая головы и сильно опуская колесо, отчего наш пароход круто повернул налево и быстро понесся по фарватеру. — Разве не видите, вот и пороги!

В самом деле, здесь Нева волновалась и пенилась сильнее. В некоторых местах вода особенно шумела и вертелась, в других волны отпрыгивали назад и рас-

сыпались серебром, как будто находя себе преграду. Камни почти нигде не выглядывали на поверхность, но под водой можно было различить их белеющие верхушки. Берега реки в этом месте выше и волнистее, а течение ее гораздо быстрее и совершается по склону, заметному для простого глаза, так что, кажется, нельзя приписать происхождение этих порогов исключительно наносным блокам*; не проходит ли тоже и здесь подводная каменная гряда, которая перерезала все истоки Ладожского озера с западной стороны: Волхов, Сясь, Пашу, Оять, Свирь и другие, и, взволновав их берега, дала прекрасные ломки плиты, украсившие столицу. Трудно сказать что-нибудь положительное о происхождении порогов прежде, нежели будет исследовано дно этих рек. Эта гряда, идущая полукружием (с перерывами), нарушает скучное однообразие той местности, которая лежит между последними холмами Валдая и первыми уступами Финляндии. За порогами наносная глина начинает мало-помалу перемешиваться с песком, который почти один составляет берега Невы при ее истоке из Ладожского озера.

Ветер крепчал с каждым часом; дорога мне начинала надоедать, и я хотел было уже укрыться от жестокого ветра и сойти в каюту, как вдруг довольно странная сцена привлекла мое внимание... На отлогом берегу собралась большая толпа крестьян, разодетых по-воскресному и блестящих самыми яркими цветами; они бросили свои хороводы и столпились в кучу, оставив посредине только небольшой кружок. Подъехав ближе, мы рассмотрели, что в этом кружке лежал человек. Потопленная лодка, которую двое дюжих парней выталкивали на берег, объяснила нам эту сцену. Мы быстро проскользнули мимо ее, но она успела навеять на нас грустное впечатление. Пошли рассказы, из которых я узнал, что Нева шутить не любит и что удовольствие покататься по ней в бурю, которому

* Как у Штукенберга.

я так недавно завидовал, не всегда обходится дешево.

Вдали забелелся шпиц Шлиссельбурга, и, зная по опыту, что в городских ресторанах не всегда найдешь что-нибудь порядочное, я отправился в общую каюту позавтракать. Здесь застал я довольно большое общество, которое, спасаясь от ветра, свирепствовавшего на палубе, теснилось на лавочках хорошенькой каюты. Оканчивая завтрак, я почувствовал, что наш пароход остановился.

Началась суматоха: толпа носильщиков предлагала свои услуги. Мы остановились у борта, чтобы еще раз взглянуть на Неву, которая в этом месте (самом широком) имеет пятьсот тридцать сажен ширины, т. е. гораздо шире, чем у Троицкого моста (триста сорок пять сажен). Вообще, Неву можно назвать одною из самых непостоянных рек в мире: ширина ее изменяется почти на каждой полуверсте, и изменяется на полтораста и двести сажен, но не бывает менее ста сорока. Это же явление еще в большей степени замечено за реками Новой Голландии, которые еще не нашли своих русл; но для Невы Петр Великий создал берега. Быстрота ее течения также чрезвычайно непостоянна и по месту и по времени. А потому удивительно ли, что Нева каждую секунду приносит морю массу воды во сто шестнадцать тысяч кубических футов *, и в этом отношении превосходит знаменитый Нил и немного уступает Гангу (183 970 кубических футов), далеко оставляя за собой Рейн (64 160). Так что этим коротким рукавом, в несколько десятков верст длины, изливается в море богатейшая во всей Европе система вод, наполняющая собою всю северо-западную часть России. Огромные бассейны Ладоги, Онеги, Ильменя, Саймо сбирают дань с бесчисленных рек, озер и речек и несут ее к царственной Неве.

Когда я оглянулся, Аркадия Петровича уже не было, и я нигде не мог отыскать его.

---

* Штукенберг.

Глава II

Трешкот

В Шлиссельбурге мы оставались недолго. В этом небольшом городке, разбросанном по низменным берегам Невы и Ладожского озера, немного замечательного. Особенного внимания заслуживают только прекрасные шлюзы, идущие из Ладожского канала в Неву и сложенные из огромных гранитных масс, да крепость, которая напоминает собою Петропавловскую и расположена на низком острове, в самом истоке Невы из Ладожского озера *. Петр Великий очень удачно назвал эту крепость ключом-городом. Этим ключом он отпер Балтийское море для России, навсегда замкнул ее враждебным посещениям соседей. Это последнее значение принадлежало прежде одной Ладоге, но с распространением Новгородской области перешло к Орешку — теперешнему Шлиссельбургу (выстроенному, вероятно, вновь новгородцами в 1223 г.), а впоследствии Петербургу. В самом деле, в прежние времена, когда болотистые пространства между Невой и Волховом были покрыты лесом, стоило только замкнуть вход неприятельским лодкам в Ладожское озеро из Невы и в Волхов из озера, чтобы Новгород мог быть спокоен за безопасность своих северных и северо-западных пределов. Берега Ладожского озера у Шлиссельбурга песчаны, низки и, медленно уходя в воду, составляют отмель на несколько верст. На этой отмели округленные фратические блоки разлеглись подобно огромному стаду быков, ищущих прохлады; и сходство это до того обманчиво, что объясняет, почему эти камни в некоторых местах народ называет быками. Здесь в первый раз я увидел в таком множестве эти загадочные округленные массы горных пород Финляндии. На берегах Невы они появляются очень редко, только кое-где по холмам, возле порогов; но здесь сложила их, вероят-

* Канал и шлюзы прекрасно описаны у Штукенберга.

но, какая-нибудь запоздавшая на озере ледяная гора, которая приплыла окончить свое существование на этих берегах, усыпанных гранитным песком. Несмотря на ужасный ветер, поверхность отмели едва волновалась; зато вдали на горизонте, где вода, кажется, уходит в самое небо, волны подымались горами, и их пенящиеся верхушки строились в какие-то фантастические города. Маяк и вокруг его множество мачт виднелись вдали. Ладожское озеро более Финского залива похоже на море, и в бурю оно очень опасно; однако, многие суда предпочитают быстрое плавание на парусах медленному движению по каналу, который идет почти возле самого берега, так что мы, в продолжение своего переезда до Ладоги, несколько раз видели еще озеро вдали.

Кто никогда не езжал по Ладожскому каналу, тот едва ли знает, что такое трешкот, потому что этот способ перевозки, сколько мне известно, употребляется только здесь. На трешкоте очень кстати было бы написать вместо девиза русскую поговорку: «тяп да ляп и вышел корабль». Это — небольшая барка, на которой есть все, что вам угодно: и мачта, и флаг, и три низкие, тесные каюты в два кубические аршина, для желающих заплатить два или три целковых, и палуба человек на пятьдесят для тех, кто хочет прокатиться сто двадцать верст за пять копеек серебром. Но все это сколочено на живую нитку, скрипит и шевелится.

Свободной каюты я не нашел и очень был рад, когда один из пассажиров позволил мне поместиться в своей, где уже на полу расположилась его собака. Товарищ мой был, повидимому, охотник и человек самого спокойного свойства. Он кивнул мне головою, повернулся лицом к стене на узеньком диванчике и захрапел. Каюта была так тесна, что я только боком мог протиснуться в нее, и не было никакой возможности поместиться в ней третьему существу, так что рулевой едва мог просунуть туда свою голову, чтобы спросить нас с насмешливою улыбкой, просторно ли нам? Дру-

гую каюту заняли какие-то барыни, а в третьей поместился купец, которого мы уже видели на пароходе.

— Ich verstehe nicht, не понимай! — раздалось у нас над самым ухом.

Я выглянул в узенькое окошечко и увидел довольно забавную сцену.

Какой-то толстяк стоял на берегу, задыхаясь под тяжестью чемодана и множества узелков, наваленных горою на его плечах. Его обступило несколько носильщиков, настойчиво предлагавших ему свои услуги; несколько баб совали ему судки с вялеными сыртями. Рулевой приступил к нему, требуя, чтобы он нанял себе особую каюту.

— Не понимай! — бормотал он, стараясь взбросить сам на палубу свои вещи.

— Знаем мы вас, — не понимай! — ворчал рулевой. — Да дай хоть двугривенный, чтоб вещи поднять... а то смотри, плохо будет.

— Гривенник! — сказал немец.

— Двугривенный! — отвечал рулевой и полез наверх.

Новый пассажир сделал последнее усилие, но чемодан вылетел у него из рук и упал в воду.

Все захохотали, и немец вытащил двугривенный, произнося какую-то брань на немецком диалекте. Вещи были подняты, и самого хозяина их кое-как спровадили на палубу, которая страшно затрещала под ним.

— Тише, не возись! — закричал рулевой. — Из-за пятака серебра ты у меня весь трешкот разломишь... Ну, с богом, отчаливай!

И мы тронулись.

Пара лошадей, идущих по берегу маленькой рысцой с одним верховым, везут трешкот верст по шести в час; лошадей меняют по станциям, и часов через двадцать можно быть в Ладоге. Могучий рулевой, опирающийся на вечно скрипящий руль, стоит только затем, чтобы скорее помощью крика, чем помощью руля, провесть

трешкот между множеством судов, которыми канал постоянно загроможден. Лодка скоро скрылась из виду.

Канал довольно узок: вода в нем стоячая, мутная, и вокруг самый скучный, самый однообразный финский болотный ландшафт, решительно не изменяющийся на протяжении всех этих ста двадцати верст; повсюду одни и те же низкие, ровные берега, по которым идет узкий бичевник; повсюду одна и та же болотистая равнина, на которой не видать ни лесов, ни полей, — равнина гладкая, как ладонь.

Небо нависло почти над самою головою, и сырой, густой воздух, скрадывая всю яркость цветов, налагал на все какой-то матовый, серый оттенок.

Канал весь загроможден барками; наложенные горою, набитые до того, что, кажется, бока их готовы треснуть, барки двигаются тяжело и медленно, постоянно сталкиваясь и останавливаясь. Длинный и почти непрерывный ряд мачт тянется по каналу в обе стороны и теряется вдали, так что канала не видно, а мачты кажутся рядом огромных шестов, разрезывающих землю. По правому берегу канала три пары лошадей тащат три трешкота; на каждой из них по ямщику, который, опустившись всем телом, лениво переваливается с боку на бок и для препровождения времени перебранивается или с своими лошадьми, или с бурлаками, которые постоянно попадаются навстречу. Бурлаки идут семериками, ступают мерным, трудным шагом, налегая всей грудью на свою лямку, прикрепленную к бичеве. Они, обыкновенно, угрюмы, не обращают внимания на крик и понуканья, которые сыплются на них со всех сторон, идут, потупив глаза в землю и молча уступают дорогу всякому. Их загорелые лица, мощные члены, классические бороды и рубахи как-то нейдут к их занятию. Они не веселы и не облегчают тяжкого труда тем мерным пением, которое раздается на берегах Волги. Здесь они как будто попали не в свою сферу. Там и сям небольшие кустарники, из-

редка чистенькие деревни полунемецкой, или, лучше сказать, петербургской постройки и красивые домики военной команды, надзирающей за порядком на канале.

Но если зрение ваше утомляется однообразием этой финской природы, зато слух никак не может пожаловаться на тишину ее: крик и стук почти не умолкают. Команда лоцманов, перекличка их между собою и с ямщиками и бурлаками, крик ямщиков, скрип никогда не мазанного руля, треск сталкивающихся судов, говор и хохот на трешкотах составляют вокруг такой хор, что голова кружится, утомленная и без того тихим покачиванием трешкота. Сквозь этот шум, несущийся с барок, с тихвинок, с берега, с трешкотов, встречающихся и перекрещивающихся в сыром и тяжелом воздухе, изредка и с трудом пробьется грустная русская песня о чем-то неведомом, по поводу какой-нибудь белолицей Маши.

В этом канале соединяются все водные системы северной и восточной России; а потому не удивительно, что здесь можно видеть образчики всех народностей, разбросанных по этому великому северо-восточному пути; зато мне не удалось здесь встретить не только ни одного жителя Малороссии, но даже ни одного москвича или орловца. И на всем этом пестром смешении лежит один оттенок, который легче чувствовать, нежели выразить, и который можно назвать новгородским. Этот оттенок предприимчивости, подвижной торговой жизни — готовность взяться за всякий промысел — совершенно отличает нашу северо-восточную Россию от юго-западной, сидячей, мирной, сельской или удалой казацкой. Здесь к одной и той же бичеве прицеплены низовой, саженный бурлак, с правильной, загорелой физиономией, и неуклюжее порождение татарского и финского элемента, еще не выучившийся порядочно говорить по-русски и не помнящий родства тептярь. А там, на барке, на кулях, наваленных горою, стоит, с шестом в руках, добродушный наивный костромич, с наивно-детскою улыбкою и с умными, сметливыми гла-

зами; на корме же тихвинки охорашивается обожженный ярославец, румяный, как майская роза. Здесь слышится новгородское наречие, столь любезное малороссийскому слуху; там галицкое цоканье, там вологодское резко-протяжное «о». И это все сталкивается, здоровается, перебрасывается прибаутками на пространстве канала в несколько сажен шириною.

На трешкоте сначала все улеглись спать, и только к вечеру проснулись и оживились; из кают тоже повылезли на палубу, за исключением одного торговца, который проснулся на пароходе, чтоб съесть дюжину вяленых сыртей на берегу и снова завалиться спать на трешкоте. Так путешествует он по всей России и, по его собственным словам, нигде не спит так покойно, как на почтовой тележке; спит, а между тем карман его толстеет не по дням, а по часам.

Мы с трудом завоевали себе место на скамейке, хотя и то большая часть народа лежала на полу, в самых живописных позах.

Над всей этой группой высилась фигура рулевого, дюжего тихвинца, в красной рубахе и какой-то странной шапке, которая, вероятно, через десятые руки попала с головы петербургского франта на эту рыжую, косматую голову. На полном, лоснящемся лице его постоянно скользила самая едкая улыбка. Он повелительно осматривал толпу, расположившуюся у ног его, осыпал ее насмешками, кричал за десятерых, не пропускал ни одной барки, чтоб не послать ей вслед какой-нибудь прибаутки, и ни одного человека на берегу или на борте чужого судна, чтобы не попотчевать его насмешкою. Более всех доставалось от него непомерно толстому немцу, который для избежания излишних издержек притворился, что ни слова не понимает по-русски, и, развалившись на груде своих чемоданов, старался казаться равнодушным, хотя иногда насмешки явно задевали его за живое. Рулевой сердился, что немец не взял для себя особой каюты; но это было физически невозможно. Толпа рабочих, усевшись в кружок,

спорила с жаром. Дело шло о преимуществе ремесел, и каждый выхвалял свое и порицал чужое. Петербургский каменщик, превознося свое занятие, лгал немилосердно; барочник-костромич слушал его внимательно, хотя, повидимому, не верил его словам и твердо стоял за свое непоседное ремесло; странствующий плотник порочил их обоих, но когда бурлак хотел тоже вмешаться в этот спор и защитить свое бедное занятие, то рулевой оглушил его такой насмешкой, что бедняк махнул рукою, повернулся лицом вниз и, уткнув нос в свою суконную шапку, скоро захрапел. В продолжение нашей дороги разговор часто превращался в общий спор, в котором принимали участие все сидевшие на палубе; но всегда этот спор оканчивался общим соглашением на каких-нибудь сентенциях народной логики, вроде следующих: «всякое ремесло хорошо, если сам хорош», «добрый человек везде уживется», «всякому свое» и т. п. Далее сидело полдюжины баб, у которых платки были надвинуты на самые глаза; они все пригорюнились, поминутно зевали, охали и крестились. Одна каялась во всеуслышание в своих прежних грехах: рассказывала, какая она была гулящая и как надувала своего мужа. Все слушали ее очень снисходительно и жалели о ней, как будто бы она рассказывала о своей болезни. Крестьяне очень снисходительны к слабостям своих ближних и смотрят на беспутную жизнь или как на наваждение нечистого, или как на болезнь. Все эти бабы отправлялись из Петербурга по своим деревням к Троицыну дню, чтобы помахать зеленой веткой над могилами своих мужей. Мужчины смеялись над ними, но они отвечали на эти насмешки только покачиванием головы и смиренным вздохом. Крестьяне наши по большей части скептики: их здравый смысл не может не посмеяться над иными поверьями, но они спускают старухам их привычки, говоря: «это их дело!». А старухи — это настоящие мешки, в которых предания старины и предрассудки хранятся бережно и передаются от предков к потомкам. Мне случалось видеть в наших де-

ревнях такие экземпляры старух, которые говорят, как члены китайской академии наук, ходят не иначе, как по строгим правилам; каждое движение их, каждое слово совершается по какому-нибудь преданию, по какой-нибудь пословице. Оттого лица их так важны, оттого они так часто качают головой и сожалеют о заблуждении молодежи. Только на женщинах можно еще видеть древние костюмы различных племен, вошедших в состав России; они больше сберегают старые сказки, и даже язык их более, нежели язык мужчин, сохраняет следы племенного различия. Чувство, предание, мечта преобладают в наших крестьянках, тогда как в мужчинах здравый, ясный смысл сглаживает все различия, и общий русский костюм, общий русский язык, общая русская логика, недалекая, но сметливо-хозяйственная, основанная на начале порядка, везде берет перевес.

На корме также господствовало совершенное дружелюбие. Ее занимали человек двадцать бурлаков, которые в полном смысле слова лежали один на другом и оказывали взаимные услуги известного рода!..

В середине всей группы, возле самой мачты, на полу, лежал высокий, сухой мужчина в сером дырявом армяке. Его архангельская островерхая шляпа была надвинута на самые глаза, и из-под нее падали по плечам длинные пряди рыжих волос. Лицо его, худое, изрытое оспою, выражало суровую энергию; но голубые глаза смотрели на всех ласково и с какой-то особенной простотою. Чрез плечо его висела кожаная сума, а у ног, босых и израненных, лежал огромный посох и мешок с хлебом.

— Куда ты, любезный? — спросил я его, привлеченный его характерной физиономией.

— Збирав на циерковь божию, господине, а теперици пробираюсь домой, в Вологодьцкую губернию, в Тотюмьский уезд, в село Руцьи.

— И давно ты собираешь на церковь?

— Да ужё двенадьцатый годоцёк, господине, на цетвертую церковь збираю.

— Да что же тебя заставило взяться за такую жизнь, бросить семью и дом?

— Нет у меня сёмьи, господине; одна матуська только, да и та у монастыри зивё; а зобираю по обецянию, господине.

— Какое же обещание дал ты?

— Оно рассказаць ницаго, господине, мозьно, и народу поуцение и сёбе покаяние, да длинно рассказываць, господине *.

Я хотел просить его, чтобы он рассказал мне свою историю; но в это время у бурлаков, которые давно уже спевались вполголоса, наконец, сложилась песня. Голоса были свежие и подобраны хорошо.

Все притихли, и я заслушался. Длинные, заунывные звуки невольно погружали в задумчивость. Вдруг трешкот наш сильно покачнулся и затрещал. Он увяз между какой-то огромной баркой и глинистым берегом. Одна сторона его поднялась выше другой и села на мель. От неожиданного удара лошади, тянущие бичеву, сильно попятились назад и чуть-чуть вместе с ямщиком не свалились с берега, что, говорят, иногда случается.

— А! Чтоб вас! Заснули! — закричал снова рулевой, умолкнувший было на время.

С барок отвечали такими же приветствиями; крик скоро сделался общим и огласил сырой, тяжелый воздух. Но никто не трогался с места: всякому жаль было расстаться с покойной позой, которую он себе выбрал. Однако делать было нечего, трешкот сам решительно не хотел сдвинуться с места; ему, кажется, также приятно было задремать на тинистом дне канала; и рабочие на нашей и на соседних барках начали подыматься с своих теплых логовищ. Наконец, после

---

* Я мог запомнить только несколько звуков этого смешанного наречия и потому за полную верность не отвечаю.

немногих усилий и бесконечного числа зевков, трешкот снова съехал в воду.

Во время этой суматохи какому-то бродяге удалось тайком перебраться с берега на трешкот бесплатно. Он сначала притаился между бурлаками; но когда мы отвалили, он высунул свою лысую сократовскую голову, которая обязательно улыбалась. Розовые губы его и красные стеклянные глаза показывали, что он находится в нетрезвом виде. На трешкоте оказалось много его знакомых, которые сказали мне, что Федюшка Лысый (Федюшке было лет пятьдесят с лишком) постоянно пьян и уже несколько лет только и делает, что таскается по берегу канала, да норовит, как бы бесплатно прокатиться из Шлюшина в Ладогу, или обратно. Часто ему приходится купаться в канале и пробовать кулаков рулевых; но ничто не может излечить его от странной мании кататься до зимы по каналу. Федюшка — невысокий, широкоплечий мужик, с высоким лбом и вздернутым носом. На голове у него и в бороде немного волос, а на плечах только обрывки рубахи и синего испачканного кафтана. Он обыкновенно весел, любит компанию и сидит смирно, только бы везли его. Но в этот раз он уж чересчур развеселился и, несмотря на угрозы рулевого, бурлил, не умолкая. Наконец, рулевой, видя, что он никак не унимается, привязал его к носу трешкота и, сняв с него картуз, забавлялся, поливая беспрестанно водою лицо дарового седока. Несчастный жмурился, отворачивался, то сжимал рот, то широко раскрывал его, чтобы просить пощады, но вода заставляла его молчать. Напрасно он старался высвободить свои руки из веревок и глядел умоляющим взором вокруг: рулевой продолжал поливать его, останавливаясь только по временам, чтобы зачерпнуть воды. Некоторым пассажирам стало жаль бедняка и они упросили рулевого, чтобы он развязал его; но не успел тот исполнить их просьбы, как Федюшка выскользнул у него из рук и полетел в канал. К счастью, место было неглубокое, и Федюшка успел

скоро выбраться на берег; грязь валилась с него комками, и лысую голову прикрывал толстый слой ила. Он отряхнулся и потребовал своей фуражки, а когда ее бросили ему, он очень вежливо расшаркнулся рулевому и сказал ему:

— Умен ты, брат Егор: знаешь, как с пьяным обходиться надо. А вы, дураки, что мне руки развязали и пьяного послушались! — прибавил он, грозя своим благодетелям, тронувшимся его отчаянными мольбами.

Федюшка долго гнался за трешкотом, но так как его не принимали, то он послал всех нас в теплое местечко и, растянувшись на песке, сложил руки на груди и заснул сном ребенка.

— А ведь был человек, — сказал рулевой, махнув рукой.

Уже было около полуночи, и «одна заря спешила сменить другую». Огни, разложенные бурлаками на берегу, погасли в сыром воздухе, и только кое-где еще двигались возле них громадные фигуры детей степи, сбиравших по болотам хворост и листья, чтобы поддержать беспрестанно гаснущее пламя и сварить запоздалую кашу. Небо было закрыто тучами, и вокруг все та же мокрая и бесцветная пустыня. Я задумался, и когда обернулся, то на палубе все уже храпели, развалившись в самых живописных позах, перемешав руки и головы, прикрытые армяками и тулупами. Только рулевой ворочался на своем скрипучем руле, да толстый немец возился с больными зубами и ворчал себе под нос. Вдали слышен был глухой шум озера. Оно еще не могло успокоиться, и по временам на горизонте, сквозь ночную тьму, прорезывались белые гребни его волн. Края неба начали румяниться, болота закурились туманами; но ни одна птица не приветствовала утра. Становилось холодно, и я отправился в каюту.

Долго я ворочался с боку на бок на узеньком диване. Несносный беспрерывный, пронзительный скрип руля, тяжелое стуканье трешкота то об барки, то об берег и чья-то возня на палубе долго не давали

мне покою. Товарищ мой храпел давно и только иногда покрикивал во сне, вероятно, воображая себя на охоте. Наконец, и я начал было дремать, как вдруг страшный треск раздался у меня над головой и что-то тяжелое опустилось к нам в каюту. Напрасно я упирался в него руками и ногами: оно все опускалось ниже и ниже и, наконец, наполнило собою все углы нашей каюты. Я задыхался. Охотник кричал: ему, вероятно, почудилось, что его давит медведь. Собака, лежавшая на полу, заметалась спросонья и жалобно завыла.

— Да что это такое? — наконец закричал я, не будучи в силах далее выдерживать страшной тяжести.

— Verzeihen Sie mir, meine Herren, meine liebsten Herren, — пищал кто-то над самым моим ухом.

Охотник кричал и, кажется, кусал толстого немца. Мне тоже приходилось невтерпеж. На палубе наконец зашевелились.

— Эге! да никак немец-то у меня всех господ передавил, — раздался голос рулевого. — Вишь каков! и как его угораздило! Четыре доски продавил! Егор, а Егор, подь-ка сюды! глянь-ка, какая оказия приключилась.

— Говорил, надо доску переменить: давно гнила была, — отвечал сердитый и сиплый голос Егора. — Еще намеднись Васька Косой две сломал.

— Эх-ма! Вот оно что! Вот так оказия! — говорил рулевой, постукивая каблуками о края пролома.

— Да что вам здесь нужно? — закричал я немцу, упираясь в него руками и ногами, с отчаянием человека, которого душат. — Убирайтесь! Что вам здесь нужно!?

— Нишего, совершенно нишего! Я так только немножко, einwenig, bei Gott, немножко, я сейшас, сейшас, вы только немношко, немношенько потерпите, — пищал немец самым сладким голосом, продолжая медленно опускаться в каюту, так что у меня наконец захватило дух.

Я сделал отчаянное усилие и успел, наконец, кое-как высвободить голову, хотя все еще не мог двинуться ни рукой, ни ногой.

— Да тащите же этого лешего, тащите! — вопил охотник, которому, вероятно, приходилось хуже моего. — Ведь это, наконец, бог знает что такое!

— Да чем его вытащить! — продолжал рассуждать Егор, не трогаясь с места. — Ишь его как угораздило! Иван, а Иван! Подь-ка, разбуди Семена да хомутников-то кликни; а то одним его не вытащить. Надобно доски переменить... две только маленько и подгнили... а теперь четыре меняй. Степан, а Степан! Ну что же ты стоишь? Разбуди народу-то!

— Милостивый государь! — продолжал охотник уже умоляющим голосом. — Милостивый государь, Herr, любезный Herr... как вас там?.. отодвиньтесь хотя немножко.

— Aber, ей бог сейшас...

— Aber, aber! Да прими хоть локоть, проклятый! Прямо под ложечку уперся.

Немец сделал нечеловеческое усилие и провалился совсем, и мы с трудом успели добраться до отверстия и вылезли на палубу.

— Ух! Слава тебе, господи! — произнес охотник, вставая и расправляя измятые члены.

Но в каюте продолжалась отчаянная борьба; собака защищала жизнь свою и впилась в толстяка, который душил ее.

— Собака, собака моя! — кричал охотник, узнавший, наконец, в чем дело. — Послушайте, милостивый государь! если вы задавите мою собаку, — продолжал он, нагнувшись к пролому и грозя туда кулаком, — если вы задавите мою собаку, то и не думайте... она стоит пятьсот рублей, пятьсот рублей серебром... слышите ли вы?

Немец только кряхтел.

— Да скажите ему по-немецки, чтобы он не давил моей собаки! — обратился ко мне охотник отчаянным

голосом, но в это время собака выскочила на палубу и, дрожа всем телом, начала лаять в отверстие.

Наконец, кое-как, после бесконечных усилий и с помощью бурлаков, успели вытащить бедняка на веревках; потом снова кое-как закрыли дыру, и, вероятно, оставили эту мышеловку до новой оказии.

Мы опять отправились спать, и, утомившись борьбой, я скоро заснул богатырским сном.

Когда я проснулся, солнце было уже очень высоко, и мы подвигались быстрее вчерашнего. Я вышел наверх. Охотник был уже на палубе и гладил собаку, которая еще ворчала и огрызалась на бедного толстяка.

Народу поубавилось; многие разошлись поутру, и все как-то приутихли. Я присел на лавочку. Та же печальная картина, все тот же мокрый, серорыжеватый финский ландшафт. Езда на трешкоте начинала мне надоедать. Но вдруг вдали показалась Новая Ладога, и все оживились. Разом заговорили, зашевелились. Рулевой заголосил пуще прежнего и пуще прежнего начал сыпать насмешками, не пропуская никого.

— Эй вы, хомутники! — кричал он смиренно гнущимся бурлакам. — Что хомуты-то не вычистили? Долой хомуты-то!

Но хомутники, не отвечая ни слова, смиренно отстегивали свои лямки от бичевы и опускали ее в воду, чтоб дать пройти трешкоту. Казалось, они так прислушались к насмешкам, что считали их за обыкновенный разговор и решительно не обращали на них никакого внимания. Но вдруг рулевой притворился добряком и закричал бурлакам:

— Бог помощь, ребята!

— Спасибо! И вам помогай бог! — отвечали они в один голос.

— Что ж это, ребята, семеро вас тянут и ни один не схрамлет?

Не успел рулевой выговорить этих слов, как вся толпа бурлаков залилась страшною бранью. Они оста-

новились; мужественные лица их выражали угрозу, и долго грозили они нам вслед кулаками и взглядами. Я смотрел в недоумении на эту картину. Рулевой хохотал и уже начинал разговор с барочниками, везущими дрова.

— Эй вы, барочники, божьи дети! Пока доедете, весь хлеб переедите. Кушайте, кушайте кашу, брызнуть бы воды вам в чашу.

Барочники ворчали.

— Хлеб да соль, ребята! — продолжал рулевой, как будто ни в чем не бывало.

— Хлеба кушать! — отвечали они в один голос.

— Спасибо, спасибо, ребята! А у меня к вам дельце есть, — продолжал рулевой, — дядюшка Прохор письмо послал.

И барочники не могли перенесть этих слов, побросали ложки, схватили шесты, и самые звонкие эпитеты долго провожали нас.

Я не мог добраться, что за горечь скрывается в этих бессмысленных словах; но при многочисленных пробах они всегда производили одинаковое действие, и притом, если про дядю Прохора говорили бурлакам, то они нисколько не обижались, а напротив, испускали дружный хохот, означавший: «молод ты еще зубы скалить!» и, наоборот, приветствие, назначенное бурлакам, нисколько не трогало барочников. Смысл этих выражений потерян, как потерян смысл насмешек над пошехонцами, которые, как нарочно, умны и сметливы. Бог знает, из каких далеких времен идут эти поговорки; но всего страннее то, что, потеряв всякое значение и всякий смысл, они сохранили горечь, скрытую в них, и она пробивает толстую кожу барочника и бурлака, которой не пробить и самою едкою бранью. Вообще, наше речное судоходство сохранило в себе много следов глубокой древности и чисто русского происхождения. Чрезвычайное разнообразие речных судов, их национальные названия, множество поговорок и технических терминов, относящихся к судоходству, мно-

жество обычаев, соблюдаемых безмолвно (tacitu consensu), устройство артелей, символические числа, — все говорит о древности здешнего речного судоходства... Но вот Ладога.

Глава III

Волхов

В Ладоге я оставался ровно столько времени, сколько нужно было, чтобы взять лошадей и поесть ухи из знаменитых волховских сигов. Скучный, формальный вид торгового городка решительно не вызывает любопытства. Новая Ладога вполне соответствует Шлиссельбургу; да берег, если можно, кажется еще ниже.

Весь город расположен на отмели, на которой прежде, вероятно, происходило впадение Волхова в озеро; но теперь озеро блестит вдали, за рядом островков и рыбачьих хижин, из-за которых выглядывает частокол мачт. Город создан новою промышленностью и потому утомительно-однообразен. Только канал, в который прекрасными шлюзами впускается волховская вода, набитый барками, оживляет несколько тишину купеческого городка.

Ухарский ямщик лихо выкатил из Ладоги, но тотчас же за заставой увяз в песках, и лошади потащились шагом, колеса едва двигались и, шумя, разрезали сыпучий песок, который, как вода, тотчас же снова заливал наши следы. Скоро мы очутились в совершенно песчаной пустыне. Повсюду глубокий, сыпучий песок. Изредка, кое-где, зеленеет жалкая травка да там и сям на обсыпавшихся песчаных буграх торчат кривые деревца, держащиеся бог знает какими средствами в этой безжизненной почве. Чем далее, тем хуже, и жалкие, приземистые рощи кривых сосен и елок нисколько не утешали нас. Солнце пекло невыносимо; лошади чуть ступали, побрякивая бубенчиками, и, пользуясь случаем, ямщик дремал.

Нет никакого сомнения, что эти пески занесены сюда Волховом. Они совершенно непохожи на тот красивый гранитный песок, которым финляндские скалы усеяли берега озера возле Шлиссельбурга. Но теперь Волхов уже с незапамятных времен, даже весною, не потопляет этого пространства, хотя берега его здесь очень низки. Основываясь на этом, можно предполагать, что эти пески нанесены сюда Волховом еще тогда, когда устье его было гораздо выше и западнее теперешнего*, а воды Ладожского озера захватывали более южного берега, что, кажется, было не весьма давно, и Старая Ладога (находящаяся теперь верстах в десяти от Новой, и следовательно, от устья Волхова в озеро) была построена при самом устье. Упадок воды в Ладожском озере — факт, неподлежащий сомнению; только о причинах его можно толковать различно. От нечего делать я прибегнул было к общему мнению всех иностранцев, путешествующих по России, которые большую часть дороги любуются своим ямщиком, и начал уже находить много художественной красоты в его медленной грации, много мысли в его загорелом, красивом лице и много скрытого чувства в его светлых, как небо, ничего не выражающих глазах, — как вдруг свежий ветерок, полный роскошной прохлады, пахнул мне прямо в разгоревшееся лицо и разбудил задремавшего ямщика.

Налево между холмистыми берегами заблестел Волхов, а прямо перед нами зазеленели небольшие возвышенности, уступами подымающиеся вдаль. Песок начал мелеть, покрываться травою, и грунт более твердый зазвучал под колесами нашей телеги. Ямщик и лошади пробудились, и тройка бодро побежала на эти веселые холмы. Перед нами мелькнула деревня, так

* А исток Невы был южнее и восточнее, так что этим несколько объясняется странная ошибка Олеария, который говорит, что Волхов протекает Ладожское озеро и, пересекая Неву, впадает в море. Не показался ли ему Волховом один из рукавов Невы, вид которой, без сомнения, изменился?

удачно названная Красным, или Прекрасным Островом; за нею мы спустились с бугра только затем, чтобы потом подняться еще выше, и очутились в Старой Ладоге. Это теперь небольшое село Успенское, сохранившее еще несколько свой городской вид, хоть большая часть жителей выселена в Новую Ладогу еще Петром Великим. Дома раскиданы по холмам и окружены садами и огородами. На нас повеяло запахом малороссийского местечка, которому подобное что-нибудь так трудно отыскать в Великой России. Все было мирно и тихо вокруг; промышленность отхлынула далее вместе с водами озера.

Взобравшись на возвышенность, на которой расположена Ладога, я оглянулся назад. Из-под ног моих уходила вдаль до самого горизонта скучная песчаная равнина, покрытая кое-где пятнами желтой зелени, и редкие лески торчали там и сям. Зеленый вал, на котором я стоял, понижался к западу и рассыпался потом в отдельные холмы. Мне невольно пришло на мысль, что этот вал был берегом острова в то время, когда возвышенная равнина, ожидавшая нас впереди, омывалась, с одной стороны, Волховом, а с другой — водою Ладожского озера. За селом я сошел с телеги и взобрался на огромный курган, возвышающийся на самом берегу Волхова.

Как все изменилось, с незначительным поднятием почвы, которая возвышается здесь по обеим сторонам Волхова, подобно холмистому зеленому острову посреди болотистого и песчаного моря! Здесь отовсюду веяло свежестью, миром, довольством и полнотой. Взору, утомленному бедностью финских болот, отрадно было носиться по этой светлой, живой, разнообразной равнине, останавливаться на этих холмах, округленные формы которых облиты яркою зеленью, скользить по этим долинам, раскрывающимся до самого горизонта, и различать там вдали веселые деревни и кресты сельских церквей, сверкающие на солнце. Все здесь свежо, зелено; округленные формы рощ

так не похожи на общипанные, мокрые лески, которые мы оставили за собою. Но эта хорошенькая местность всей красотой своей обязана одной природе да еще остаткам минувшей жизни, рассыпавшей вокруг валы, зеленые курганы и развалины. Яркие полосы хлебов, которыми так испещрены разлоги наших центральных равнин, здесь мелькают только кое-где, как островки на этом взволнованном море зелени; деревни тоже могли бы быть гораздо чаще. Может быть, каменистая подпочва, которая в некоторых местах почти выглядывает наружу, может быть, множество эрратических камней, которыми усеяны вершины здешних холмов, были причиною такого безлюдия; но всего вероятнее, что торговая деятельность по Волхову и каналам увлекла народонаселение этого красивого уголка. А как бы хотелось, чтобы все это взволнованное поле наполнилось и заколыхалось тучными жатвами, а все эти грациозные холмы покрылись деревнями! Эта местность как будто вырвана из центральной России и брошена сюда посреди финских болот. Любуясь этим красивым, чисто русским ландшафтом, я легко понимаю, какое чувство заставило новгородцев остановиться здесь, когда они пробились сюда в первый раз через псковские пески, новгородские и тверские болота: человек так любит находить на чужбине картины своей родины. Но, выбрав по чувству, новгородские славяне не обманулись и в расчете, потому что не могли найти места, которое бы соответствовало более их историческому назначению. И это не простая случайность: таинственные законы судьбы народа выражены в формах его страны, а непосредственное детское чувство народа — лучший угадчик этих законов. Народ выбирает место для первых поселений своих под влиянием этого непосредственного чувства, этой бессознательной любви к природе своей страны, характер которой он выражает в себе; но в то же время, самый умный расчет не мог бы сделать выбора выгоднее для народной жизни. Это совпадение законов истории зем-

ли и истории ее народа легко объяснить: местность красива там, где она характерна, где в формах ее, как в гигантских буквах, блещет мысль, которой везде и во всем ищет человек; а характерна местность там, где собираются и выражаются яснее разнородные силы страны. Вот почему местоположение наших древнейших городов всегда живописно, а вместе с тем имеет глубокий исторический, географический и экономический смысл. Киев завладел последним отрогом Карпатов, последнею ступенью в ту равнину, на которой должна была развиться славянская жизнь в самостоятельную особенность. Смоленск возник на последнем уступе холмистой великорусской равнины в литовские болота; Владимир выбрал себе живописные берега Клязьмы и внес славянское владычество в финские леса; Москва разлеглась на холмах, в которых сливаются в гармоническое целое все разнообразные характеры русских местностей. Переяславль глядится в воды озера чистого, как кристалл. Один Ростов жмется к болоту, да и то потому, что основание ему положено финнами. Даже для постройки Юрьева, нынешнего Дерпта, Ярослав выбрал самую живописную местность, какая только нашлась на однообразной прибалтийской низменности.

Так и здесь: среди мрачной финской природы славяне отыскали этот светлый островок, так живо напомнивший им их южную приднепровскую родину, и посвятили его своему светлому богу Ладо. Как должны были радовать сердца их веселые песни этому мирному, чисто славянскому божеству, посреди бесконечных лесов и болот, таинственных и грустных! Я не понимаю, почему Ладога должна быть необходимо норманской Алдогой, или Альдеаборгом*, а не городом славянского Ладо; окончание «г а» нисколько этому не мешает. На нашей северной Украине норманская, фин-

---

* Мюллер, Ugrisher Volksstamm.

ская и славянская жизнь часто перевиваются в такие узлы, которые нелегко распутать.

Альдеаборг — старый город, в противоположность Новгороду; Гольсмгард — город-остров, и город бога Ладо, по одинаковому праву, могут быть приложены и, без сомнения, прилагались к этой местности. Припомним только название Иомсбурга, этой древней сечи, в котором начало И о м, название финского божества, соединено с немецким окончанием б у р г, и в которой под этим финско-норманским именем скрывается так много славянского. Таких археологических узлов немало наделала известная страсть норманских скальдов вносить в свои саги чужие предания и приписывать своим героям чужие подвиги: они даже из Ромула и Рема сделали немецких рыцарей. Что под именем Новагорода, стоящего на озере Музиане (Майск, впоследствии Ильмень), о котором говорит Иорнанд, как о самом северном населении славян, необходимо разуметь нынешний Новгород, в этом нет сомнения, как и в том, что именем Старого города Альдеаборга называлась Ладога; но был ли это вместе и загадочный Славянск, это неизвестно. Впрочем, Славянском могли называться и Новгород и Ладога, в то время, когда тот или другой из них был главным сборным местом торгового племени с л а в я н.

Глядя на эту местность, наполненную развалинами, зелеными курганами и остатками валов и стен, рассчитывая, как была она важна для той полувоенной торговли, которая усыпала монетами наш великий водный путь, чувствуя, как льнет мое сердце к этим холмам и разлогам, я невольно убеждаюсь, что здесь был один из первых постоянных лагерей речных, полувоенных, полуторговых дружин, когда, двинутые с юга, они завладели узлами Пейпуса, Ильменя, Бела-озера, — узлами, в которые связываются все водные нервы России. Устроив крепость в Ладоге, новгородцы разом получили возможность владычествовать над финскою окрестностью и закрыть норманским лодкам

вход в свою речную область, потому что в то время эта возвышенность с обеих сторон была окружена лесами и болотами, проходимыми только для бродячих финнов. Смелый норманн, отправлявшийся грабить богатый Асгард, не мог миновать этого речного дефиле и должен был пройти его под градом стрел и камней, которые так удобно было сыпать с высоких и утесистых берегов. Но этого мало: впереди ждали их страшные пороги, и они должны были во что бы то ни стало вытащить свои лодки на берег или тащить их на веревках, по способу, описанному Олеарием. Вот почему новгородцы так дорожили этою местностью и, основав здесь крепость, посадили в ней старшего князя варяго-русской дружины. Утвердившись в Ладоге, предприимчивые новгородцы не остановились, но основали крепость и при истоке Невы, на острове Зеленце — нынешний Шлиссельбург, и, устроив свои сношения с ганзейскими городами, очистили этот путь от разбойников, которые тогда страшны были здесь не менее, чем впоследствии в низовьях Волги. Шведы уже гораздо позже оценили важность этой местности и стремились в продолжение нескольких столетий отнять ее у русских; они предчувствовали, какая гроза вылетит на них из этой гавани. Орешек, как центр всего пути, беспрестанно переходил из рук в руки, потому что этот островок был ключом от тех сокровищ, которые так верно, так заботливо перечислял Густав-Адольф, завещая своим подданным упорно хранить их от русских. Петр Великий окончил эту тысячелетнюю борьбу, начатую новгородцами еще до Рюрика, и невдалеке от первой столицы русских князей основал новейшую. Так история наша окончила свой первый полный круг, чтобы начать новый, обширнейший. Замечу, между прочим, что речные острова были любимым местом славянских дружин, да и вообще славян, селившихся по рекам и забиравшихся по ним в средину чуждых им племен; таковы Хортица, Черкасск, Уральск и Тамань, Белобережье; таковы Ладога и Орешек;

такова большая часть городов в польских королевских Пруссах; таков самый Иомсбург, относящийся к Винете, как Запорожская Сечь к Киеву.

Развалины так называемой Рюриковской крепости лежат на самом берегу Волхова; они сложены чрезвычайно крепко из местных материалов: плитняка и эрратических блоков, которыми природа так щедро снабдила эту местность. Возле каменных развалин видны остатки земляных валов, принадлежащих, вероятно, древнейшей крепости, о которой говорит Нестор, потому что каменная воздвигнута новгородцами только в VII столетии. На этих валах расположены теперь огороды и смиренно процветают лук и капуста. Но всего более поражается внимание множеством могильных холмов, раскинутых здесь по обоим берегам Волхова и невдалеке от него, на высоких холмах. Эти курганы очень правильны и подымаются куполами; некоторые из них огромны, все поросли яркою зеленью, а иные — живописными купами деревьев. Они красноречиво напоминают, что на этой границе славянского мира много пролилось нашей и враждебной крови. Но можно ли сказать наверное, кто спит под этими насыпями? А может быть это только сторожевые холмы, подобные казацким и киргизским, или языческие молельни. Как нарочно, решительно все народы, сталкивавшиеся на русской почве, имели обычай увековечивать курганами память своих героев. Таинственный чудин, славянин, норманн, киргиз, калмык, казак и крымский татарин усыпали курганами русскую землю, и едва ли удастся археологии отыскать твердые законы, по которым можно бы было угадывать различное происхождение этих таинственных памятников по их внешней форме. Некоторые из здешних курганов, говорят, были разрыты, но в них нашли к а к и е - т о остатки железных орудий. Бока некоторых курганов обвалились в Волхов, но кроме насыпной земли ничего не видно.

Налюбовавшись на прекрасные окрестности, на-

бродившись по развалинам крепости и намечтавшись вдоволь над курганами, я снова взобрался на телегу, и ямщик, успевший в это время выспаться, снова помчался далее.

Дорога идет по левому берегу Волхова, все по такой же высокой, холмистой, живописной равнине. В противоположность другим русским рекам, оба берега Волхова здесь высоки и круты, потому что Волхов не прислоняется к возвышенностям и не подрывается под них, как, например, Волга и Ока и большая часть русских рек, не ищет обойти их, как, например, Дон, но смело прорывается сквозь них. Обрывистые берега Волхова в некоторых местах завалены серозеленоватыми грудами искрошившегося плитняка; но в других они возвышаются гладкою, будто выполированною стеною, испещренною геометрически правильными параллельными слоями. Тяжелые барки чуть движутся внизу по мутной влаге; но в двух шагах от высокого берега видны только их разноцветные флаги. Проехав мимо Николаевского монастыря, за которым на высоком холме еще высится могильный курган, мы остановились, чтобы посмотреть ломку плиты. Под небольшим слоем намывной земли, в которую до половины врылись эрратические блоки, идут разноцветные слои плиты; они тонки, отделяются хорошо и необыкновенно, геометрически параллельны между собою. Порядок их тот же, что и при Старой Ладоге, который замечен Мурчисоном. Работники, начиная ломку, стараются сначала отыскать трещину, которая идет вертикально и перерезывает все пласты. Этот отрез совершенно перпендикулярен и необыкновенно гладок, наполнен глиной, в которой изредка попадаются куски медной руды. Что могло произвести такие разрезы? Неужели подземный удар, выдвинувший эти холмы? Но в таком случае, могли ли бы они быть так правильны, так гладки и самые слои не должны ли бы следовать тогда всем прихотливым понижениям и повышениям почвы? Но этого не видно; напротив, слои,

доходя до какого-нибудь понижения почвы, вместо того, чтобы понижаться вместе с нею, вдруг пересекаются и снова начинаются там, где почва возвышается, как будто эти впадины произошли уже после поднятия холмов.

Ночевать я остановился в селе Ильинском, где красивая новая церковь привлекла наше внимание. Она нравится своей простотой и какою-то легкою грациею, которую сумел передать ей архитектор, г. Сычов, обладающий, как видно, тонким вкусом и знанием дела. На другой день я спешил к знаменитым порогам. Еще издали слышен их шум; а подъехав к берегу, я увидел прекрасную картину: вода во всю ширину реки пенилась и клубилась; и хотя пороги нигде здесь не образуют водопадов, но падение реки в некоторых местах так велико, что вода несется с быстротой стрелы — по выражению Олеария — и, ударяясь о камни, разлетается в пыль и пену. Довольно одного простого взгляда, чтобы убедиться, что здесь река не только встречается с каменными громадами и пробивается между ними, как, например, на Днепре, но ниспадает по ним, как по уступам. Не знаю, до какой степени верно измерение, которое дает всего падения Волхову не более сорока восьми футов, но то, что две трети этой высоты принадлежат девяти верстам, занимаемым этими порогами, нисколько не кажется преувеличенным *. Все это девятиверстное пространство разделяется порогами на несколько площадей, которые заметны для простого глаза, лежат одна выше другой, уступами; оттого-то и берега реки за порогами значительно ниже, а за Вындиным островом спускаются почти до уровня воды, хотя большого спуска с того высокого пространства, по которому мы ехали, нигде не заметно. Самые опасные пороги у села Петропавловского, которое стоит на правом берегу; а на левом, против него, постав-

* Волхов еще имеет пороги, но те не так значительны и страшны только своими отмелями.

лен каменный крест, к которому, конечно, много взоров обращалось с горячею мольбою.

Спустившись с крутого берега, в котором во многих местах между слоями просачиваются ключи, я пробрался по груде плитняка в реку к самым порогам. Сначала от шума и блеска воды у меня закружилась голова. Во всю ширину реки, в тысяче местах вода кружится, ревет, бьет ключом и пенится, и это тем более поразительно, что решительно не видно достаточной причины такому бешенству волн: кажется, как будто волны выбрасываются снизу каким-то подводным вулканом. Гряды почти нигде не выглядывают наружу, а только видны шевелящиеся, прибитые по ним груды разбитой плиты. Этой плиты здесь так много, что не мешало бы ее вытащить. Еще со времени Петра Великого начались попытки расчистить как эти, так и другие пороги Волхова; но все эти попытки оказались более или менее безуспешными, а произведенные при Екатерине II, показали, что простое уничтожение порогов ведет за собой обмеление Волхова и вследствие того появление новых камней, новых порогов. Обводный канал также едва ли здесь возможен, судя по высоте берегов и по мелководью и слабому падению Волхова. Несчастные случаи нередки; но самый важный убыток происходит от замедления, потому что незначительный боковой ветер делает проход невозможным. Гряды порогов следуют недалеко одна за другою, а проходы сквозь каждую из них лежат то у одного, то у другого берега, так что барку должно поворачивать быстро и управлять поперек течения, а потом направлять в самые ворота, тогда как некоторые из них не более как на вершок шире тяжелых, неуклюжих и утлых барок, постройку которых тщетно старался улучшить Петр Великий. Опытность, ловкость, сила и сметливость тамошних лоцманов изумительны. Это искусство передается наследственно от отцов к детям, и им занимается с незапамятных времен несколько прибрежных деревень. Еще в договоре Ганзы с Новгородом, 1269 го-

да, упоминается о плате, которую должны были давать иностранные гости лоцманам. В лодках через пороги перевозят женщины и так ловко, что каждый без боязни может вверить себя этим волховским нереидам. Пороги еще замечательны в том отношении, что по сю сторону их (к Ладожскому озеру) почти совершенно не видать окаменелостей, тогда как по другую их сторону до Вындина острова огромные куски плиты состоят насквозь из одних сплющенных раковин. За Выдиным островом, где берега Волхова снова понижаются, исчезают и обломки плиты и окаменелости, так что последние можно находить не более, как на пространстве двух или трех верст, — но зато в изумительном изобилии. Прибрежные крестьяне, от нечего делать, часто, сидя на берегу, вытаскивают их из песка, дивуются ими и дают характеристические названия этим ракумкам.

Глава IV

За Волховом

Я переехал реку у Гостинопольской пристани, название которой напоминало мне, что здесь ганзейские гости расплачивались с лоцманами, и отправился прямо в середину волока между Сясью и Волховом, в село Усадницы. Еще с полверсты провожали меня веселые волховские холмы; но потом телега покатилась по проселочной дороге, ровной и гладкой, как ладонь. По обе стороны засеменил реденький хвойный лесок, плохо прикрывавший ржавую землю с бедной болотной растительностью. Местность казалась гораздо ниже той, которую я оставил позади, хотя я нигде не заметил значительного спуска; а ряды эрратических блоков, которые обыкновенно располагаются только на возвышенностях, и глубокие русла речек показывали ясно, что я нахожусь попрежнему высоко над уровнем Ладожского озера. Эти речки, вероятно, были прежде весь-

ма значительны, а теперь они едва-едва пробираются по грудам камней, в крутых и высоких берегах, в которых, без сомнения, под прекрасным дерном таится хорошая плита, а может быть и каменный уголь, небольшие куски которого недаром попадаются иногда в Волхове. Посреди беспрерывного надоедающего леска там и сям попадаются прогалины, занятые тощими лугами и плохо обработанными рыжеватыми полями. Они расположены не смежно, но раскиданы без всякого порядка и не предвещают близкого появления деревень, потому что находятся от них в неопределенном расстоянии и где попало. Эта странность прежде всего бросается в глаза тому, кто привык видеть в центральной России поля, расстилающиеся разноцветными коврами вокруг сел и деревень, расположенных по скатам холмов, вершины которых украшены рощами. Такое беспорядочное расположение полей, конечно, весьма некрасиво для глаз и вредно для хозяйства, но тем не менее оно очень характерно и имеет исторический смысл. Чудские племена, эти аборигены лесистых болот, бродили по ним, занимаясь охотой, рыбной ловлей, а иногда торговлей. Они не пренебрегали и земледелием, но только не решались отказаться ради него от своих бродячих привычек, без которых и финн не финн. Останавливаясь на время, они строили свои юрты-избы, прототипы наших курных изб; выжигая лес, засевали эти огнища и пали и покидали их до осени, а осенью, возвращаясь со своих охотничьих промыслов, собирали хлеб и потом снова брели далее. Паллас и Лепехин застали еще остатки такого хлебопашества на лесистых вершинах Среднего Урала. Нечто подобное, но с степным характером, сохранилось доселе у киргизов и башкиров.

Новгородцы, с незапамятных времен проникшие к Ильменю и Волхову в самый центр финских кочевьев, пришли сюда не племенем, как проникали другие славянские племена на северо-восток России, но дружиной, ватагой, отправившейся на промыслы в безвест-

ные края*. Сборным местом они назначили Ладогу или Новгород, а сами разбрелись отдельными артелями по беспредельной равнине, богатой реками и лесом. Проживая иногда за 1 000 верст от своего господина Великого Новгорода, эти дружины видели в нем или в одном из его пригородов свою настоящую отчизну, по образцу которой строили свои маленькие автономические селения и промышляли в окрестности. Таким образом, живя в волости Великого Новгорода, они смотрели на свои села и деревни как на временные становища промышленника, и потому не заботились об их улучшении, об обрабатывании земли и сохранении лесов. Они усвоили себе легкий финский способ земледелия и если не переменяли своих жилищ так часто, то меняли свои поля, как скоро растительная сила их, возбужденная пеплом деревьев и болотных растений, истощалась. Этот способ обработки продолжался бы и до сих пор, если б правительство не остановило такого беспощадного истребления лесов. Поля не меняются уже более, но они остались там, где застала их благодетельная мера. Впрочем, здешние крестьяне мало и заботятся о земледелии: промыслы поглощают попрежнему всю их деятельность; только центром их является уже не Новгород, а Петербург.

Пока эти мысли бродили у меня в голове, телега наша совершенно неожиданно вынырнула из леса, и я, не видавши ни неизбежных огородов, ни риг, ни амбаров на курьих ножках, въехал прямо в широкую чистую улицу, по обеим сторонам которой чинно стояли каменные и деревянные домики городской архитектуры: крыши покрашены заново; на светлых окошках гардины, цветы и гипсовые статуэтки. Это село Усадище; но оно меньше похоже на село, чем иные уездные города, которые не могут сбросить своего деревенского костюма. А здесь наоборот, — потомок промышлен-

* Таков, по крайней мере, характер Новгорода и его колоний, которые выходили оттуда.

ного новгородца лишь только немножко пообживется, то так и смотрит в горожане: ни садов, ни пчельников, ни даже порядочных огородов, с которыми не может расстаться ни курский, ни черниговский мещанин. Впрочем, и природа этой местности так бедна, так однообразна, что нет уголка, к которому можно бы было привязаться и на который можно бы с любовью истратить деньги, нажитые в промысле. На мужчинах или синие кафтаны, или длиннополые сюртуки, даже пальто, которое больше другого немецкого платья пришлось по нраву русскому человеку; неуклюжие круглые фуражки вытесняют грациозную новгородскую шапочку с коротенькой тульей, которую нельзя иначе носить, как набекрень. Женщины — в немецких платьях, в платках, повязанных по-купечески.

Я заехал к знакомому крестьянину: он ведет порядочный торг и живет барином: изрядное зеркало в рамке красного дерева, стенные часы, гравюры по стенам, неудобная, но красивая мебель.

— А хорошо ваше село, Петр Кондратьич, — сказал я хозяину, — мне еще не приводилось видеть такого. И видно, что люди живут трудящие.

— Да-с! — сказал он, приосанившись и наливая мне чай в красивую фарфоровую чашку, — да-с! Оно, конечно, труд — дело важное, да и с трудом-то ничего не возьмешь, коли сметки нету, — ну да и удача тоже дело не последнее. А мы за все Питеру спасибо...

Слово за словом, и я узнал от него, как живут и чем промышляют жители этого уголка.

Всякого, въезжающего в Петербург, вероятно, поражает та странность, что такой богатый, так много проживающий город почти не имеет предместий; причины этого — дешевизна и удобство сообщений, и предместья Петербурга — здесь, за двести верст от него. Почти все народонаселение этой местности живет столицею и для столицы, теми промыслами, которые дает она. Эти промыслы крестьяне добросовестно

разделили между собою по селениям, или округам. Так, один округ весь занимается выпойкой телят и отправляет их целыми сотнями на барках в Петербург; другой весь состоит из коновалов, и сын идет бродить с медной бляхой на груди туда, где бродил его отец; третий дает барочников на Волхов и каналы; четвертый — рулевых на тихвинки; пятый — лоцманов для провода судов через пороги и т. д. Каждый округ занимается своим промыслом, не вмешиваясь в чужое, и этот промысел передается наследственно, до тех пор, пока какой-нибудь предприимчивый гений не найдет новой отрасли промышленности и не проложит новой, более выгодной дороги.

К вечеру я выбрался из Усадищ, по дороге в село Мотохово, которое лежит верстах в 40 от него далее к югу, в глубь этого небольшого волока, между притоками Сяси и Волхова. За селом снова потянулись, по обеим сторонам дороги, редкие лески, рыжеватая почва и рассеянные клочки полей и лугов. Но чем далее, тем лес становится гуще, болота мокрее и дорога хуже; по всему было видно, что я забирался в порядочную глушь. Наконец, промоины и колеи стали так глубоки, что не было никакой возможности усидеть в тряской телеге, которая, хотя прыгала как мяч, но подвигалась очень медленно. Я пошел пешком, пробираясь по полусгнившим деревьям и хворосту, которыми когда-то была вымощена эта болотная лесная дорога. Только при приближении к речкам места становятся суше и грунт тверже, а вместе с тем болотные травы заменяются луговыми. Это влияние рек на осушение почвы и на растительность заметно и здесь, хотя далеко не в том размере, в каком оно является в наших приуральских губерниях, где реки с своими притоками составляют настоящую систему каналов, осушающих почву. От этого в той стороне только по берегам значительных рек можно забраться в самую средину болот и найти места, удобные для жилья и полей.

Рассуждая так с самим собой, я опередил несколь-

ко телегу и бодро подавался вперед, как вдруг внимание мое привлекла грустная песня, раздававшаяся впереди. Я ускорил шаги, но песня вдруг прекратилась, и я увидел высокую фигуру тотемца, того самого, с которым я познакомился на трешкоте. Увидев меня, он приостановился.

— А, старый знакомый! скоренько же ты ходишь, — сказал я ему, посматривая с изумлением на его тяжелую суму и босые израненные ноги.

— Здравствуй, господине! — проговорил он своим кротким детским голосом. — А ты, видно, у Ильи ноциовау.

— А ты, видно, нигде не ночевал?

Он не отвечал на мой вопрос, а только улыбнулся. Эта светлая улыбка странно отразилась на этом суровом, страшно худом лице, изрытом оспою и преждевременными морщинами, похожими более на швы и рубцы залеченных ран, нежели на те легкие черточки, которыми покойная старость оттеняет лицо человека. Эта улыбка странника, его кроткие голубые глаза, его почти детский нежный голос показывали в нем одного из тех людей, которым крестьяне дают название людей божьих, и у которых сердце слишком кротко и мягко, чтобы вынесть грубую жизнь; впрочем, твердая, разумная речь странника была вовсе не похожа на бессвязный лепет юродивых.

— Это ты пел песню? — спросил я у тотемца.

— Да, господине, — отвечал он, немного смутившись. — И сам не ведаю циогото сердиоцько больно засциомило; прости, господи!

И он набожно перекрестился.

— Видно по сиолу, по родимому, — прибавил он задумчиво, будто отыскивая сам, отчего ему стало грустно.

— Что же, разве тебе здешняя сторона не нравится?

— Ой, что ты, господине! Бог с тобою! Увезде люди, увезде христиане и храмы божии, а так сгрустнулось, сам не ведаю циого.

Я напомнил ему, что он обещал мне рассказать, зачем он взялся за свою странническую роль, и он рассказал мне историю своей жизни с такою простотою, с такою беспощадностью к самому себе, с такою снисходительностью к слабостям других, что я невольно верил каждому его слову и удивлялся тому чувству приличия, с которым высказывал он самые темные случаи своей жизни. Я не записал тогда же этого рассказа, а теперь не могу уже повторить его, тем более, что странное, смешанное наречие, которым он рассказывал, весьма мало знакомо мне. Да и имею ли я право передавать всем эту откровенную исповедь человека, который решился не скрашивать ничего, высказывать все и не щадить себя ни на словах, ни на деле? Скажу только, что в молодости он сделался случайно обладателем большой суммы денег и предался самому безграничному разгулу, не внимая никаким увещаниям своего отца и родных. В чаду разгула он сделал проступок, за который совесть мучила его беспощадно. Она преследовала его везде, не покидая ни на минуту, и он нашел покой и прибежище только в посвящении своей жизни прославлению имени божия. Четвертая церковь строилась трудами его.

Я смотрел на него с невольным чувством умиления: такая твердость воли, такое постоянство сознания своего проступка, такая глубина чувства ставили этого человека на неизмеримое расстояние от наших легких, забывчивых натур.

Когда мы вышли из лесу, перед нами открылась довольно гладкая дорога, и телега моя подъехала. Я предложил моему спутнику довезти его до Мотохова, куда и он также пробирался; но он отказался и побрел, тихо читая какую-то молитву.

Чрез несколько минут я обернулся назад, чтобы еще раз взглянуть на тотемца; но его уже не было на дороге, и высокая фигура его виднелась в стороне у опушки леса. Может быть, он захотел завернуть в

один из тех скитов, которые, как говорят, находятся вдалеке отсюда, в самой глуши лесов.

Уже совершенно смерклось, когда я въехал в деревню, где должно было переменить лошадей; но дорога так утомила меня, что я решился немного отдохнуть.

На другой день солнце только еще подымалось, когда я отправился далее. Леса и болота еще глуше, а окрестности еще грустнее и пустыннее; но при въезде в область речки Черной (в Волхов) и ее многочисленных притоков почва сделалась суше и тверже, поля и деревни стали попадаться чаще, — но попрежнему они разбросаны без всякого порядка. Это явление, о котором я уже упомянул выше, напомнило мне теперь некоторые местности наших прибалтийских губерний; но там разбросаны по лесам отдельные лачуги, а здесь — зажиточные деревни и богатые села. Уединяющий, разбрасывающий характер нашей северной полосы, так препятствовавший развитию бесчисленных народцев слабого чудского племени и бывший даже причиною их исчезновения, не мог одолеть духа новгородских промышленников, а только придал особенность их поселениям, так что здесь появляется особый географический тип, не встречающийся ни в наших приуральских лесах, где славянское племя раскинулось по рекам родами и семьями, ни в тех пространствах, где разъединяющая сила природы раздробила чудские племена, несмотря на то, что внешний натиск заставлял их сближаться. Я не сравниваю этой местности с местностями центральной и южной России, с которыми нет у ней почти ничего общего.

Настоящий географический тип страны выходит всегда из борьбы характера местности с характером ее населения. Проследить эту борьбу, анализировать элементы этих типов и комбинировать их в одно гармоническое целое, проникнутое исторической и философскою мыслью, — вот дело географии, если она хочет быть наукой самобытной и получить пределы, которых ей пока недостает.

Еще рано поутру я добрался до села Мотохова, которое стоит почти в середине области речки Черной. Этой речке, богатой притоками, обязан весь этот полуосохший островок своим населением; далее на юг и запад опять тянутся бесконечные, непроходимые болота. В Мотохове телега моя остановилась на большой площади, окруженной со всех сторон деревенскими домами, высокими, островерхими, с деревянными крышами, бревенчатыми крыльцами на боку, с хлевами внизу: городская архитектура еще не проникла сюда. Посредине площади, возле маленькой деревянной и очень ветхой церкви, строилась новая — каменная. День был праздничный: крестьяне из Мотохова и окрестных деревень собрались вокруг новой церкви, и так как обедня еще не начиналась, то все, даже старики, женщины и дети, таскали кирпич и известку, не боясь запачкать своих праздничных нарядов. Дело шло так быстро, так охотно и так весело, что я невольно припомнил те обыденные храмы, которые выстраивались в один день в годины радости или бедствий народа.

По обширности основания новой церкви, стены которой уже выведены выше окон, можно судить, что постройка ее обойдется не менее тридцати пяти тысяч рублей серебром; а между тем местное духовное начальство не усомнилось заложить ее, имея в кассе прихода не более трех тысяч рублей.

И оно не обманулось: крестьяне наложили на себя ежегодное пожертвование и взялись доставлять материалы; лес дала казна; купцы, узнав, что дело шло о постройке церкви, отпускают известку и плиту за половинную цену, а иные и даром; искусные костромские каменщики работают так прилежно, с таким благоговейным вниманием к своему делу, что постройка идет быстро и прекрасно, несмотря на то, что архитектор — тот самый, который строил церковь Ильинскую, может только изредка приезжать из Петербурга в такую даль. Церковь растет быстро, стройно и

прочно, а маленький капитал почти не уменьшается, пополняясь беспрестанно новыми приношениями. Таким-то образом в России восстают великолепные храмы и в небогатых селениях. Все смотрят на это, как на святое дело, прихожане видят в нем, кроме того, славу и гордость своего селения, и потому удивительно ли, что дело идет так хорошо и скоро.

В Мотохове я увидел в первый раз корелок, которых привел кто-то из Тверской губернии месить глину и делать кирпич. Это племя, переселенное уже так давно в средину русских, почти не утратило своей национальности. Я не знаю наверное, но думаю, что корелы поселены были деревнями в одном месте, и это мешало их смешению с туземными жителями.

Мотохово и деревни одного с ним прихода все торгуют телятами, выпаивая их и потом отправляя на барки. В Усадище все коновалы, здесь — все телятники.

На другой день поутру я выехал из Мотохова и тем же путем воротился в столицу.





ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ ЭСКАДРЫ [10]

Статья принца Жуанвильского о состоянии морских сил во Франции (Note sur l'état de forces navales de la France)* произвела на всех такое сильное впечатление и вызвала столько толков в журналах, что мы считаем совершенно излишним предуведомлять наших читателей, какой всеобщий интерес возбуждает новое сочинение того же автора, «Эскадра Средиземного моря», вышедшее в конце прошедшего года**.

Это небольшое сочинение назначено собственно для того, чтобы показать Франции, какими средствами создана та прекрасная эскадра, которая возбудила общий восторг во время своего пребывания в Шербурге, куда она, в 1850 году, была призвана президентом. Эта эскадра, в самом деле, составляет замечательное явление во французском флоте. Она не раз вызывала громкую похвалу со стороны опытных английских моряков, и адмирал Непир (Napier) в полном собрании парламента не только поставил ее наряду с английской эскадрой, крейсировавшей тогда в равных силах и на том же море, но даже отдал преимущество эскадре французской. Стройная организация, сильно выраженный

* Essais sur la marine française, par le prince Joinville vice-amiral de France. Bruxelles, 1852.

** Revue de Deux Mondes, Mai, 1844.

и однообразный характер, навык в исполнении самых сложных морских маневров, меткость артиллерии, прекрасное направление, одушевляющее экипаж, — все это с первого взгляда бросалось в глаза знатокам дела, не привыкшим видеть французский флот в таком отличном устройстве.

Принц сам много заботился об этой эскадре и, вместе с адмиралом Лаландом, может быть назван творцом ее. Он долго делил с ее экипажем труды и опасности морской службы, и потому понятно то одушевление, с которым он рассказывает эту историю: оно проглядывает в каждой строчке и обличает в авторе страстного моряка, который и на чужбине продолжает с горячим участием следить за судьбою того флота, которому раз отдался всею душою. Принц Жуанвильский не выставил своего имени под статьею, но, вместо того, не упомянул в ней ни слова о самом себе; и этого нового способа подписывать свое имя было совершенно достаточно для того, чтобы все угадали автора.

История эскадры Средиземного моря рассказана тем же ясным и живым языком, которым отличается и первая статья принца, где в немногих словах он так полно выразил значение и действительные потребности французского флота. Но, излагая свой специальный предмет, автор умел придать ему общий интерес и сделать его занимательным не только для моряков, но и для всякого, кому хочется знать, что такое эскадра и какими средствами создается эта пловучая армия. Кроме того, молодой адмирал так живо и с таким знанием дела рисует различные фазы жизни моряка, его потребности и обязанности, что мы с удовольствием познакомим наших читателей с несколькими страницами этой книги.

Кто любовался военным кораблем, когда он, грозя на все стороны рядами своих пушек, гордо прокладывает себе дорогу посреди волнений моря и атмосферы, кто наблюдал за его умными, сознательными движениями, так отчетливо выражающими волю человека, тот,

вероятно, видит в корабле уже на бездушную машину, управляемую руками людей, но живой и стройный организм, полный своего особого характера, выраженного сильно и верно. Этот характер корабля создается его воспитанием, сообщается ему тою школою, из которой он вышел; и опытный моряк по одним движениям корабля может отгадать его нацию и многое в его истории, — до того способна эта громада отражать в себе не только характер народа, но даже характер тех происшествий, в которых она принимала участие. Еще в большей степени обладает этой способностью целая эскадра, где уже не одна, но несколько подобных громад, разделенных всеми прихотями моря и ветра, соединяются в один живой организм, проникнутый одним характером и выражающий одну сознательную идею. Нравственное начало эскадры, этой школы отдельных кораблей, очевиднее, выдается яснее и легче может быть выражено. История ее продолжительнее истории отдельного корабля и идет на целые десятки лет. Время, бури и битвы могут совершенно изменить состав эскадры, но характер ее, сохраненный в непрерывных преданиях, останется. Он, одолевая произвол отдельных лиц, переходит от одного поколения моряков к другому и приобретает, наконец, силу давно установившегося обычая. Этот характер составляет моральную основу всякого флота, — такую основу, без которой флот никогда не достигнет своего полного развития, как бы ни была совершенна его материальная сторона; потому что всякое развитие непременно требует неистощимой духовной почвы, из которой оно могло бы почерпать всегда новые силы.

Многие занятия требуют от человека такого постоянного, усидчивого внимания, что он, завладевая ими, в свою очередь и сам невольно подчиняется их влиянию. Они налагают неизгладимый оттенок на его манеры, характер, образ мыслей, даже на его телесный организм. Этот оттенок выражает собою самую идею занятия; и чем эта идея глубже, чем сложнее это заня-

тие, чем более требует оно навыка, тем самый оттенок, налагаемый им, резче и яснее. Но, может быть, ни одно занятие в мире не кладет на человека такого сильного отпечатка, как занятие моряка. Причина понятна. Иные занятия требуют более телесного навыка, другие — особого направления умственных способностей, редкие касаются души и сердца; но занятие моряка требует всего человека — безраздельно, и в свою очередь, производит в натуре его коренное преобразование, которое, оставаясь на всю жизнь, выражается во всех его поступках, мыслях и даже в его телесном организме. В самом деле, подумайте, сколько условий должен выполнить хороший моряк, и вы поймете, что такое соединение в одном известном направлении столь многих и часто противоположных качеств может произойти только вследствие совершенного перерождения всего человека. Простой матрос (а во флотской службе чем выше звание, тем больше налагает оно обязанностей) должен приучиться различать голос начальника посреди страшного шума и суматохи; он должен безошибочно и быстро понимать самые сложные приказания, выражаемые в одном слове, в одном звуке, заглушаемом ревом бури или грохотом тяжелых морских орудий, от которого содрогается и стонет весь остов корабля; он должен исполнять эти приказания мгновенно, так сказать, инстинктивно, прежде чем успеет подумать о них, и притом не однообразно, но исполнять свое особое дело, состоящее в необходимой связи с занятиями его товарищей. Он должен исполнять эти приказания хладнокровно и с математическою точностью и в то время, когда ветер и качка грозят каждую минуту сорвать его с гнущейся мачты или дрожащей веревки, — исполнять бестрепетно, когда смерть грозит ему со всех сторон. Матрос до того должен проникнуться чувством долга и повиновения, чтобы, стоя на краю верной гибели, он не позабыл своей обязанности, чтобы страшный, леденящий взгляд близкой, неминучей смерти не мог ни на минуту потемнить его

рассудка, ослабить верности его взора или энергии его мускулов. Привычка к выполнению одних этих условий может уже совершенно пересоздать человека. Но остроты слуха и зрения, привычки превозмогать усталость, силы и навыка мускулов, гибкости членов, быстроты соображения, слепого повиновения начальству, хладнокровия в опасности, неодолимой энергии, презрения к смерти — всего этого мало для хорошего матроса: самое сердце свое он должен отдать своему занятию. Моряки знают, как необходимо для хорошего экипажа, чтобы матрос пристрастился к морю, к своему кораблю, к своему начальству, к своим товарищам и к своему занятию. Только страстная привязанность может дать ту готовность выполнять приказания, ту одушевленную энергию в выполнении их, которые одни могут спасти корабль в минуту опасности и которых не может создать самая строгая дисциплина. Таким образом, тело, со всеми его инстинктами и привычками, ум, воля, душа и сердце хорошего моряка безраздельно принадлежат морю. Припомнив все эти условия, выполнения которых требует флотская служба, мы легко уже поймем, что для образования полного характера моряка мало не только нескольких десятков лет, но даже целой жизни человеческой, и что такой полный, цельный и сильный характер принадлежит к небольшому числу тех, которые создаются историею, — последовательными усилиями многих и многих поколений.

Мы учимся тремя путями: или путем опыта и собственного наблюдения, — путем, ведущим к прочным, но скудным результатам, для которого жизнь человеческая слишком коротка; или нас учат другие: этим путем мы приобретаем менее, чем обыкновенно полагают; или, наконец, мы учимся, подчиняясь бессознательно влиянию сильнейших, уже образовавшихся характеров. Образование, передаваемое этим последним путем, едва ли не самым быстрым, ведет к изумительным результатам. Оно действует не на ум человека,

медленно усваивающий новое, но на самый центр человеческой природы, на тот таинственный узел, которым связываются душа и тело, так что человек начинает радикально изменяться, прежде, нежели сам подметит в себе эту перемену. Этот магнетический способ передачи создает те поразительные типы, в существование которых отказывается верить воображение, и изменяет натуру человека, не только не ослабляя ее, как обыкновенная наука, но придавая ей новую энергию. Этим способом передаются и морские предания.

Характер моряка, образовавшись раз в истории флота, где бури и битвы наполняют каждую страницу, потом переходит уже легко и быстро от одной личности к другой, от одного поколения моряков к другому. Новый пришлец на борте корабля, окруженный энергическими натурами старых моряков, быстро и неудержимо подчиняется их влиянию и проникается их характером, сложившимся веками. Этот характер скоро покоряет безразличную, неустановившуюся натуру молодого рекрута, находит в его душе новую, свежую и, может быть, сильную почву для своего дальнейшего существования и развития. Таким образом полнеют предания флота и создаются типические личности моряков, живые хранилища морских преданий. Эти предания не могут быть ни записаны, ни рассказаны. Они живут не мертвою жизнью пыльной летописи, но полною жизнью настоящего — живут в характере моряков. Они неоценимо важны для флота и составляют корень его живучести и силы; они-то дают его развитию ту неистощимую моральную почву, которая не боится уже случайностей, потому что всегда может создать и новый флот и новых моряков.

Вот одна из главнейших причин, почему в той стране, где предания имеют силу закона, где прошедшее сберегается даже в ущерб настоящему, флот получил такую прочную, живучую основу, такой сильный типический характер и огромное развитие. Вот почему также в другой стране, вся история которой состоит в раз-

рушении прошлого, флот, несмотря на все усилия и пожертвования, несмотря на очевидную необходимость свою, не может получить твердой организации, и история его полна неудач и ошибок.

«Предания флота, — говорит принц Жуанвильский, — ничем не заменимы. Они не усваиваются из книг, не изучаются в школе, но создаются опытом и практикою. Они-то составляют силу и жизнь английского флота и передаются в этой стране, столь верной своему прошедшему, из века в век, из поколения в поколение, как драгоценное наследство, завещанное от предков потомкам. Без сомнения, географическое положение Великобритании, промышленный гений этого народа, славные воспоминания, которыми полна история его морских подвигов, много способствовали совершенству английского флота; но в глазах внимательного наблюдателя предания также играли важную роль в достижении этого совершенства.

Французский флот не соединяет в себе всех этих преимуществ. Природа, — продолжает автор, — создала нас, прежде всего, солдатами, и мы делаемся моряками только по необходимости и силою воли. Если в прежние времена мы и имели блистательные успехи на море, то эти времена уже далеки от нас. Революции последнего столетия нанесли жестокий удар нашему флоту, и, в продолжение двадцати лет, история его представляет только длинный ряд неудач, которые должны быть приписаны именно влиянию этих революций, разрушивших предания».

Это, по мнению автора, есть главная причина, почему Франция, со времен падения Наполеона, когда созданный им флот был расстроен, не имела ни одной эскадры, в настоящем значении этого слова; потому что этим именем нельзя назвать тех случайных собраний военных судов под одно начальство и для одного назначения, которые с 1814 составлялись несколько раз, по требованию политических обстоятельств. Эти случайные эскадры формировались наскоро и, по ми-

новании в них надобности, тотчас же расстраивались. Суда, их составлявшие, не успевали сжиться одною общею жизнью, и история их была слишком коротка, чтобы дать воспитание флоту.

«Эскадра, — говорит автор, — так же, как и армия, образует собою один великий организм, который движется и действует сообразно воле, управляющей им; но этот организм получает силу и настоящее свое значение только от данного ему воспитания. Если это воспитание было хорошо, то оно даст и хорошие результаты; если же, напротив, оно было ошибочно, то непременно поведет к большим неудачам, а иногда и к большим несчастиям. Но воспитание эскадры, как и воспитание армии, есть дело времени. Начальники, последовательно командовавшие эскадрой, происшествия, в которых она принимала участие, роль, которую она играла в этих происшествиях, — все это вместе составляет ее воспитание».

Эскадра Средиземного моря одна только во всем французском флоте имела счастие просуществовать более тринадцати лет сряду, и просуществовать так, что первоначальная идея, положенная ей в основу, не была нарушена, но, укрепляясь с каждым годом более и более, осталась и до настоящего времени.

Первоначальное появление этой идеи и потом сохранение ее рассказывает нам автор в этой скромной истории.

Начало эскадры Средиземного моря автор относит к 1839 году, когда положение дел на Востоке заставило французское правительство отправить свой флот к берегам Леванта. Но весь этот флот, зерно будущей эскадры, состоял только из трех военных судов, из которых одно было оставлено в Смирнском заливе, по причине скорбута, развившегося в экипаже, а два остальные — корабль «Тритон» и адмиральский корабль «Иена» — начали крейсировку у мыса Бабы, в бассейне, образуемом, с одной стороны, троянским берегом, а с другой — островами Тенедосом, Лемносом

и Митиленом. Эта местность была выбрана с тою целью, чтобы следить за всеми известиями, идущими из Константинополя, на котором тогда сосредоточилось внимание главных европейских держав.

С каждым днем эти известия становились грознее, и все предвещало, что Франция, желавшая удержать свое влияние в Египте, в Сирии, вмешается, вместе с другими державами, в борьбу, готовую возникнуть между султаном и египетским пашою.

Положение эскадры было весьма затруднительно. Она состояла только из двух кораблей и должна была или отказаться от своего назначения, или готовиться к совершенно неравной борьбе. Ни инструкций, ни подкреплений из Франции не приходило, и адмирал Лаланд имел слишком много сил, чтобы остаться праздным зрителем событий, и слишком мало, чтобы надеяться своим вмешательством дать благоприятный оборот делам. Но должно было на что-нибудь решиться, и решение адмирала было быстро. Он понял, что ему остается только чрезвычайными средствами увеличить те немногие силы, которыми он располагал, и так приготовить и одушевить свою эскадру, чтобы она, во всяком случае, каково бы ни было положение дел, не уронила чести флага. «Постараемся, — сказал он, — сделаться самыми смелыми моряками и самыми искусными артиллеристами, и в виду неприятеля, каков бы он ни был, мы возьмем своим мужеством. Может быть, успех увенчает наши усилия; если же мы принуждены будем уступить числу, то, по крайней мере, погибнем со славою». «Такова была, — говорит автор, — первая мысль, положенная в основу нашей эскадры. Эта мысль осталась в ней навсегда, и из нее-то развился тот простой характер холодного и спокойного мужества, который так кидается в глаза знатоку и который сообщился и тем, кто впоследствии приходил учиться в этой школе. Он стал одним из преданий эскадры. Затруднительное положение, в котором мы тогда находились, приучило нас стремиться к достижению совершен-

ства во всех частях морского дела и извлекать возможно большую пользу из людей и вещей. Наблюдая за ходом происшествий, совершавшихся вокруг нас, мы каждую минуту должны были ожидать, что нам придется на деле показать все наши сведения, и, под влиянием этих ожиданий, в нас зажглась та жажда знания, которая дается только восторженным чувством чести».

«В продолжение всего крейсерства у мыса Бабы, — продолжает автор-очевидец, — два корабля наши постоянно во всем соперничали между собой, и некоторые из молодых матросов дорого поплатились за это соперничество. Сложение и телесная сила играют важную роль в морских маневрах; но так как во всех флотах мачты, паруса и снасти имеют почти одинаковые размеры, а морское народонаселение Франции дает людей слабых и худо вскормленных, то в первое время матросы наши не могут выдержать соперничества с матросами северных стран. Только одна хорошая пища, получаемая ими от правительства, и правильная жизнь на борте корабля могут дать им силу, которой у них недостает; обучение довершает остальное».

Место, выбранное французской эскадрой, несмотря на прекрасный ландшафт, открывавшийся с верхушки мыса, где расположена была турецкая деревенька, ни на славные воспоминания, связанные с этими берегами, не представляло больших развлечений. Крейсерство могло бы показаться слишком долгим, и скука, этот враг морской дисциплины, завладела экипажами эскадры, если бы они с утра до вечера не были заняты военными упражнениями.

Морская наука сложна, и экзерциции французской эскадры были очень разнообразны. Благодаря твердости воли адмирала, рвению офицеров и доброму желанию экипажей, поощряемых соперничеством, благодаря, более всего, тому прекрасному настроению духа, которым все были оживлены, ожидая каждую минуту случая перейти от уроков к делу, воспитание двух кораблей шло быстро. Если иные старые офицеры, кото-

рых сама жизнь сделала скептиками, сомнительно смотрели на все эти усилия и находили крейсерство слишком долгим и скучным, зато молодежь принимала самое живое участие во всех маневрах и проходила в них ежедневно все столь разнообразные фазы жизни моряка. Каждый вечер, по окончании дневных занятий, уменьшали паруса, и весь экипаж, собираясь на юте, проводил там часть прекрасной левантской ночи, посреди теплой атмосферы, напоенной благоуханиями, несущимися с азиатских берегов. Там всякий вспоминал упражнения дня, всякий высказывал сделанные им замечания и сообщал другим плоды приобретенного им опыта. Молодые офицеры с жадностью выслушивали рассказы старших, принимавших участие в морских делах империи или бывших очевидцами каких-нибудь великих морских катастроф. Этим взаимным обучением, которое приобретается в беседах с товарищами, не должно пренебрегать: часто оно-то именно и оставляет самые прочные следы. «И возможно ли, — говорит автор, сам, вероятно, не раз принимавший участие в подобных вечерах, — не слушать с глубоким вниманием рассказов старого офицера, которого судьба поставила наряду с молодым моряком, только что начинающим свою служебную карьеру? Возможно ли не слушать его, когда он говорит своим юным товарищам о том, что он видел и делал, прежде чем они явились на свет? Хладнокровно и просто рассказывает он интересные сцены морской жизни, в которых он сам играл роль, и часто роль геройскую. Суровый голос рассказчика, раздающийся в поздний час ночи, посреди мест, прославленных битвами, сильно действует на юное воображение. Так проходили наши вечера. Но наступала ночь, и на палубе оставалась одна вахта: команда пела хором, а вахтенный офицер начинал свою обычную прогулку, изредка останавливаясь, чтобы бросить беспокойный взгляд на горизонт, с горизонта на паруса и с парусов на компас.

Но политические происшествия на Востоке быстро

шли вперед, и 3 июля в Тенедосском проливе показалось судно, покрытое парусами. Штурмана признали его за военное: это был французский бриг «Бугенвиль». Скоро верхние паруса его исчезли, и на место их развилось несколько разноцветных флагов, говоривших нам: «важные депеши к адмиралу». Вмиг все взволновались на борту. Все знали, что пришли важные известия и, что, может быть, настало время перейти от уроков к делу. Сам адмирал не мог скрыть своего нетерпения и, сидя в больших креслах, к которым приковывала его болезнь, устремил свой огненный взор на неопределенную точку, одетую туманом, откуда ждал он призвания к великому делу».

Здесь принц посвящает несколько страниц своему бывшему сослуживцу и рисует портрет его с таким увлечением, которое, может быть, внушено только горячею привязанностью. Этот портрет Лаланда вызвал следующее замечание одного опытного голландского моряка: «Я вижу, — говорит он в одной из газет, — в этом портрете, или, лучше сказать, в этом идеале совершенного адмирала, начерченном принцем, поразительное сходство с нашим великим Рюйтером, не раз спасавшим Голландию тою же самою тактикою, которой следует французский адмирал, желая придать единство и жизнь своей эскадре».

«Адмирал Лаланд, командовавший тогда левантскою позициею, был еще в самых цветущих летах мужества. Преждевременные болезни, следы трудной морской службы, ослабили его тело; но душа его, всегда юная, нисколько не утратила своей пылкости. Смелый, даже до крайности, он обладал сильною волею и, зрело обдумывая свои планы, приводил их в исполнение с непреклонной настойчивостью. Ему-то исключительно обязана Франция созданием той эскадры, которая уже в продолжение тринадцати лет составляет нашу силу и нашу славу. Никто до него не занимался образованием экипажа с такою строгою методою и такою последовательностью. Правда, что обстоятельства не-

обыкновенно благоприятствовали адмиралу, что он встретил в своих офицерах беспримерную готовность содействовать ему и воспользовался энтузиазмом и желанием славы, которые одушевляли всех; но, тем не менее, ему одному принадлежит честь создания этой примерной эскадры. Все, что он учредил и в то время, когда командовал только двумя кораблями, и впоследствии, когда более двадцати военных судов соединилось под его начальством, обратилось в предание и получило в нашем флоте силу закона, свято соблюдаемого и поныне. Командиры, следовавшие за ним, только сберегли его создание, так что флот, который в 1848 году, во время своего пребывания в Палермо, заслужил публичную похвалу адмирала Паркера, мог быть и тогда назван эскадрою адмирала Лаланда.

Человек, не знавший Лаланда, приближался к нему без всякого замешательства. Его седые волосы внушали уважение, а добродушное и приветливое выражение его лица невольно привлекало. В разговоре с ним всякий чувствовал себя на своем месте; но должно было остерегаться противоречить его мнениям. Правда, он всегда отвечал вам с улыбкой, но эта улыбка говорила ясно, что вы напрасно трудитесь, стараясь изменить его мнение. И в разговоре, и в службе он всегда был вежлив и ласков, мало придавал важности внешним знакам уважения, но был настойчив и требовал самого строгого выполнения своей воли. Не щадя самого себя на службе, принося в жертву свое болезненное тело и рискуя своим здоровьем, он считал себя вправе многого требовать от своих подчиненных. Люди, знавшие его коротко, уважали его еще более за необыкновенную скромность; но самое это достоинство давало ему новое средство действовать на своих сослуживцев и возбуждать в них ревность к службе. «Я не лучше других, — говорил он, — и того, чего достиг я на своем корабле, может достичь всякий, и то, что я делаю, доступно каждому». Впоследствии, начальствуя значительным флотом, адмирал всегда был во главе своей

эскадры и без предварительных сигналов смело прокладывал дорогу вперед. Ему почти всегда удавалось достичь предположенной цели и увлечь за собою всю эскадру, так что старые капитаны, которые иногда публично называли действия адмирала безумно-смелыми, следуя за ним из одного повиновения, после сами удивлялись своему успеху, и доверенность их к начальству возрастала. «Я уверен,—прибавляет принц,—что никто, кроме адмирала Лаланда, не мог так организовать, обучить и приготовить эскадру, и никто с таким успехом не повел бы ее на неприятеля. Но мы слишком рано потеряли этого человека, давшего нашему флоту такое прекрасное направление».

Бриг «Бугенвиль» присоединился к эскадре ночью. Он привез важные известия: султан Махмуд умер; таврская армия получила повеление атаковать Ибрагима; весь турецкий флот, предводительствуемый английским кораблем, должен был выйти на другой день из Дарданелл, без сомнения, затем, чтобы искать флота Мегмед-паши, постоянного союзника Франции. Французский адмирал должен бы был задержать турецкие суда в Дарданеллах, но, конечно, не мог этого сделать, начальствуя только двумя кораблями. Однако он не терял еще надежды одним моральным влиянием склонить капитана-пашу к тому, к чему не мог принудить его силою.

«На другой день, с рассветом, все уже были на ногах. Яркое солнце подымалось над Идой и обещало прекрасный день. Французские корабли совершили свой туалет: во-первых, из кокетства, а во-вторых, по благоразумной привычке, которую имеют военные суда, никогда не встречаться с судами других наций, не приняв предварительно предосторожностей, оправдываемых многими примерами нечаянных нападений. Все взоры были устремлены на Тенедосский пролив. Наконец, часу в девятом утра показался английский корабль «Вангард» (Vanguard), приближавшийся к нам на малых парусах. За ним, в некотором расстоя-

нии, следовал целый лес мачт, и вскоре глазам нашим открылось величественное зрелище: более тридцати больших военных судов, кораблей и фрегатов с значительным количеством корветов, бригов и пароходов выходило из Тенедосского пролива. Все эти суда, не соблюдая никакого порядка, толпились вокруг флага капитана-паши почти так же, как арабы толпятся вокруг своих знамен. Свежий ветер округлял бесчисленные паруса флота, и всякое судно чертило белую, пенистую борозду на блестящей лазури моря. По временам облако, бросая свою полупрозрачную тень на какую-нибудь часть картины, производило один из тех чудных эффектов света, которые так любимы живописцами и так трудно передаются полотну. Черный дым пароходов и красные флаги турецких кораблей придавали всей этой сцене какой-то дикий характер; а вдали, из-за этой оживленной и движущейся картины, печально выглядывали пустынные троянские берега.

«Вангард» гордо прошел как раз возле наших судов, будто желая поразить нас своим превосходством. И в самом деле, это был такой прекрасный корабль, что наши ревнивые взоры не могли отыскать в нем ничего, к чему бы можно было придраться. Он оправдывал решительно все требования, какие только можно было сделать кораблю этого морского народа. По английскому обычаю, один только вахтенный офицер с несколькими матросами был на палубе. Весь остальной экипаж находился внизу, но мы видели, как задыхались английские офицеры, выглядывая на нас из тесных портов. Командир, старик с почтенной и благородной физиономией, стоял на своем балконе. Проходя мимо, он приветствовал нас; но нам показалось, что за этим вежливым приветствием скрывалось что-то другое, и тысячи воспоминаний наполнили горечью наши сердца».

Французский адмирал хотел во что бы то ни стало добиться личного свидания с капитаном-пашою, и, зная наверное, что ему в этом откажут, решился на

смелый поступок. Дав пройти англичанам, адмиральский корабль, без предварительных сигналов, пустился прямо в средину турецкого флота и произвел там страшный беспорядок. Турецкие суда, стараясь избежать встречи с французскими, бросались куда попало. Это была одна из тех морских сцен, полных смятения, о которых только голландская живопись может дать некоторое понятие. Наконец «Иена», пробившись к самому кораблю капитана-паши, остановилась и, вся дрожа под напором своих парусов, отброшенных назад, салютовала оттоманскому флагу. «Капитан-паша, — говорит принц, — не мог сомневаться: со всею возможною вежливостью мы загораживали ему дорогу».

При таком решительном поступке со стороны французов турки не могли отказать им в требуемом свидании. Переговоры адмирала с капитаном-пашою, который шел неохотно и, втайне от своих подчиненных, разделял мнения Франции, кончились, казалось, к обоюдному удовольствию; и французские суда воротились назад прежде, чем турки пришли в себя от изумления.

«Наши два корабля, — рассказывает принц, — втеснившись в средину турецкого флота, произвели в нем такую суматоху, из которой, казалось, он никак не мог выйти. Турецкие суда, избегая встречи друг с другом, не переставали маневрировать; но ничего не может быть забавнее этих азиатских маневров. Двое или трое из старших офицеров, сидя на пятках и спокойно потягивая трубки, держат между собою совет; потом посылают подчиненных разносить свои приказания и не заботятся уже более ни о чем, предоставляя исполнение воле Аллаха. И в самом деле, надобно благодарить бога, что в такой сумятице и при подобных распоряжениях не случилось никакого несчастья. Но была минута, когда мы не на шутку испугались и ждали страшной сцены. В батареях адмиральского корабля, у самых пушек, грудами были навалены зарядные картузы; возле них сидели матросы и с вели-

чайшим хладнокровием курили свои трубки, грозя каждую минуту взорвать корабль на воздух. Впрочем, ничего особенного не случилось, и мы отделались одним страхом».

Но кое-как все пришло в прежний порядок, и турецкий флот, покрывшись парусами, отправился на юг, предоставляя каждому судну идти как ему вздумается и насколько ставало у него скорости. «Вангард», обеспокоенный было остановкой турецкой эскадры, понесся вперед, указывая дорогу; а французские корабли возвратились к своему прежнему посту.

Вскоре к французской эскадре начали приходить подкрепления, и в четыре месяца, которые провела она у входа в Дарданеллы, число составлявших ее судов возросло от двух до тринадцати. Никогда, со времени войн империи, Франция не соединяла такой значительной морской силы. Эта эскадра, в ожидании результата политических переговоров, не теряя времени, продолжала свое образование.

Суда, приходившие вновь, усваивали мало-помалу характер эскадры. В ней уже не было прежнего одушевления, вызванного обстоятельствами, когда она, слабая силами, стояла в виду гораздо сильнейшего неприятеля. Теперь эскадра была сильна, и пылкий, но вскоре проходящий энтузиазм заменился в ней более спокойным и более надежным чувством — чувством чести и долга и хладнокровным, сознательным мужеством. «Это направление, — говорит автор, — овладело всеми, от начальника до последнего матроса — редкое и неоцененное преимущество, доставляемое всегда продолжительным соединением большой массы людей под властью военной дисциплины. Чувство долга, любовь к знаменам или, что все равно, любовь к родине — все благородные и мужественные качества военного человека развиваются и сберегаются в этих великих школах». Адмирал с удивительным уменьем воспользовался этим прекрасным настроением духа своей эскадры и старался, сколько возможно, подвинуть впе-

ред ее воспитание, начатое так удачно. Экипажи, приходившие вновь, должны были во многом догонять своих предшественников; надобно было дать им все средства к тому и беспрестанною деятельностью поддерживать во всех искру священного огня.

Два или три раза в неделю вся эскадра поднимала паруса и предавалась целому ряду разнообразных экзерциций. Эти экзерциции развивали соображение в капитанах и офицерах и, укрепляя силы молодых матросов, приучали их превозмогать усталость. Приятно было видеть, с какою ловкостью наши люди управлялись с парусами и действовали пушками и ружьями. Беспрестанная стрельба в цель образовала метких стрелков, и способ быстро заряжать орудия получил в то время много усовершенствований, принятых впоследствии во всем флоте. Постоянная практика приучила наших матросов различать голос начальника посреди страшного шума и суматохи и немедленно исполнять его приказания. Они привыкли также сохранять молчание на борту, что весьма важно, но чего трудно добиться, по крайней мере от порывистой натуры французского матроса.

Время от времени адмирал, желая поддержать благородное соперничество между судами своей эскадры, назначал *общие гонки*. Здесь всякий употреблял все свои знания и всю свою опытность, чтобы придать быстроту своему судну. В другое время эскадра наша бросала якорь у Имбры, небольшого островка, изредка посещаемого несколькими барками, которые привозят туда предметы первой необходимости. На этом острове жили греки, подданные Турции. Они с удивлением смотрели на появление многочисленного флота у пустынных берегов их острова и были твердо убеждены, что этот флот принадлежит русским, пришедшим освободить их от турецкого ига. Оттуда мы снова возвращались к Безике. Всякий старался прийти на свое место с математической точностью и, несмотря на ветер и морские течения, бросить якорь там, где

назначал адмирал: превосходное упражнение для того, чтобы приучить судно занимать в день битвы именно этот пункт, который ему вверен.

В те дни, когда эскадра не трогалась с места, адмирал переходил на борт какого-нибудь судна, приказывал поднимать паруса и бросал якорь у крутого берега, где была выставлена цель. Корабль открывал огонь, а адмирал, обходя батареи, говорил с матросами, заставляя их стрелять при себе то ядрами, то картечью, объяснял им действие выстрелов и, словом, не пропускал ничего, что могло приучить их обращаться с орудиями; потом он шел разговаривать с офицерами, и само собой разумеется, что все старались угодить такому начальнику и ждали только случая показать на практике, что заботы его не пропали даром.

«Здесь я нахожу уместным, — продолжает автор, — сказать несколько слов о той популярности, которою пользовался у матросов адмирал Лаланд. Он был чрезвычайно смел; а этого одного достоинства достаточно, чтоб французский матрос привязался к своему начальнику. Но адмирал, кроме того, был всегда вежлив с своими подчиненными — другое качество, заставляющее охотно повиноваться. Наконец, он с истинно отеческою заботливостью занимался благосостоянием своих экипажей, и пища их была предметом его постоянных хлопот. Нерешительное положение политики принуждало французскую эскадру сберегать, сколько возможно, провизию, которую она взяла с собою. Во время войны мука, сухари, солонина, сыр, вино, кофе дают возможность выполнять продолжительные операции; они должны быть употребляемы с самою строгою экономиею, иначе эскадра, посреди блокады или других военных предприятий, может остановиться на половине дороги или подвергнуться всем опасностям добывания провианта. Но нелегко, и особенно в турецкой земле, добыть ежедневную пищу десяти тысячам человек. Обязанность соблюдать интересы казны не всегда, в этом случае, соединима с необходимостью

доставить экипажам хороший провиант и тем сохранить их здоровье. В Смирне, впрочем, отыскалось несколько негоциантов, которые подрядились доставлять эскадре всюду, куда она ни пойдет, необходимые для нее припасы. Греческие острова давали чудесное вино, на азиатском берегу не было недостатка в рогатом скоте, но хлеб добывали с большим трудом; адмирал весьма много заботился об этом предмете, и самая живая признательность экипажей была ему наградою».

Начертив портрет своего бывшего сослуживца, в котором принц видит идеал совершенного адмирала, он старается далее показать, каков, по его мнению, должен быть капитан военного корабля, и излагает нам его права и обязанности в одной общей картине, которую мы также передадим нашим читателям.

«По нашим законам, — говорит автор, — капитан имеет неограниченную власть над всеми, кто находится на борту его судна. Эта власть простирается даже до права на жизнь и смерть; да и не может быть иначе. В самом деле, представьте себе положение человека, который один, без всякой внешней поддержки, одним своим нравственным влиянием должен содержать в повиновении несколько сот человек, — повиновении, необходимом как для спасения тех, чья жизнь ему вверена, так и для спасения чести флага, которую он поклялся защищать, — и вы поймете, почему закон вооружил начальника корабля такою страшною властью.

Но с этими огромными правами связана не менее огромная ответственность, которая уже сама по себе не допускает злоупотреблений. Капитану не только нужно, чтобы ему повиновались, но чтобы повиновались охотно и выполняли его приказания не из одной боязни, но, из желания угодить ему, старались бы выполнять их как можно лучше. Вот почему злоупотребления этой неограниченной власти чрезвычайно редки, и по большей части мы встречаем в капитанах военных судов людей справедливых и с добрым сердцем, хотя твердых и нередко даже суровых. Они стараются из-

бегать частого употребления наказаний, чтобы сохранить им их угрожающую силу. Но если, сверх того, капитан вежлив со своими подчиненными, заботится об их благосостоянии и, командуя своим кораблем, успел доставить ему известность и тем польстить самолюбию экипажа, — тогда популярность его весьма сильна, и самый корабль его получает, на простом, но сильном языке матросов, название божьего корабля (vaisseau du bon dieu). Такой начальник может всего требовать и всего ожидать от своих подчиненных. Они расстаются с ним со слезами и по вступлении в порт с торжеством на руках несут его на берег; а когда он опять приготовится к выходу в море, то может быть уверен, что его прежние матросы употребят все усилия, чтобы снова попасть в его команду.

Собственный интерес капитана советует ему соединять доброту со строгостью и умеренно пользоваться своею властью. Но он был бы достоин сожаления, если бы его поступками руководило одно только это эгоистическое побуждение, и если бы другое, более возвышенное чувство — чувство привязанности не заставляло его быть отцом своего экипажа. Когда матросы уверены, что начальник в поступках своих с ними руководствуется этим последним чувством, то они готовы все принять от него и все ему простить. Но, может быть, никто не угадывает чувства командира с такою прозорливостью, как экипаж корабля. Это собрание одиноких людей, отделенных от всего остального мира, имеет довольно времени, чтобы наблюдать за своим начальником и размышлять о его поступках. В грубой натуре матроса есть удивительно тонкое чутье, которым он открывает доброту под личиною самой неумолимой строгости. Но может ли быть, чтобы капитан не любил своих матросов? Я ссылаюсь в этом на того, кто, находясь в море во время бури и приняв на себя ответственность за жизнь семи- или восьмисот человек, имел нужду для общего спасения, во всей их преданности и во всем их мужестве, — когда он видел, что все

эти люди, устремив на него взоры, полные безграничной доверенности, кажется, говорят ему: «да, мы знаем, что наша жизнь в твоих руках, но доверяемся тебе и уверены, что ты пожертвуешь собою за спасение последнего из нас». Ничто, как мне кажется, не может так возвысить чувств и мыслей человека, как эта единодушная доверенность целого экипажа, как эта слепая преданность его своему начальнику. В этих общих опасностях, в этих общих усилиях преодолеть их, в этой взаимной готовности пожертвовать жизнью для спасения друг друга есть нравственная связь, — связь истинно семейная, та, которая соединяет отца с детьми. Какая высокая, священная обязанность лежит на командире гибнущего корабля! Он последний должен оставить его. Тысячи средств к спасению проходят перед ним безвозвратно; но он должен оставаться на палубе, пока хотя один из его подчиненных не будет вне опасности. Это одна из самых священных обязанностей командира корабля, или, вернее, это одно из лучших его прав, которым он гордится. И должно заметить, что в огромном числе наших судов, доведенных до последней крайности, не было примера, чтобы капитан из страха смерти не выполнил своего священного долга. Впрочем, я ошибаюсь, — прибавляет автор, — был один пример: в 1816 году капитан «Медузы», господин Шомаре, имел несчастье оставить свой экипаж в минуту гибели: предмет вечных упреков для тех, кто мог вверить флаг Франции и жизнь трехсот человек офицеру, до того позабывшему благородные обязанности моряка, что он уклонился даже от выполнения требований чести!»

«Я сказал довольно, — продолжает автор, — чтобы показать, на каком основании покоится морская дисциплина, и что взаимная привязанность начальника и экипажа может сделать гораздо более, нежели употребление власти и строгость наказаний».

Политические обстоятельства несколько изменились, и 5 августа английская эскадра, состоящая из

десяти кораблей, бросила якорь невдалеке от французской. Мы не можем пропустить этой страницы, где автор описывает дружное соседство этих двух эскадр, принадлежавших двум нациям — вечным соперницам на суше и на море; тем более, что из этих страниц можно видеть, каким успехом увенчались усилия адмирала Лаланда.

Несмотря на общую цель, соединившую эти две эскадры, между ними не было почти никаких сношений. Адмиралы посещали друг друга довольно редко; капитан Непир нашел на французских судах несколько офицеров своего времени, своих старых противников, и охотно братался с ними; но это было и все; между мичманами и офицерами не было ни визитов, ни обедов, как это водится в подобных случаях. Воспитанники обеих эскадр, посылаемые в одно и то же место за водою, находясь в четырех шагах друг от друга, оставались холодными и молчаливыми, несмотря на свой возраст, в котором люди обыкновенно так сообщительны.

«Наша эскадра, — говорит автор, — равная английской по числу судов, была лучше ее: это самое адмирал Непир объявил в полном собрании парламента. Мы стреляли не хуже англичан и превосходили их в маневрах. Два или три раза в неделю мы попрежнему снимались с якоря, и присутствие англичан сообщало нашим экипажам необыкновенную быстроту и стремительность. Прокрейсировав два-три дня, мы возвращались назад. Но английский флот все это время не трогался с якоря: он чувствовал, что не может соперничать с нами, и не принимал вызова. Для англичан ново и не совсем приятно было смотреть на многочисленную французскую эскадру, хорошо выдержанную, полную огня и смелости, — видеть, как наши корабли, носясь посреди скал и морских течений, перегоняли друг друга, как наши орудия, наведенные верно, метко попадали в цель. Мы же находили в этом зрелище обильную пищу нашему самолюбию и патриотизму и радостно приветствовали возрождение французского флота.

В первый раз в продолжение столетий мы могли бы сразиться с англичанами равным оружием. Число и величина судов с обеих сторон были одинаковы; но не в этом состояло равенство. Очень часто, во время войн империи, наш флот встречался с английским, находясь в равных, а иногда даже и в превосходных силах; но тем не менее победа оставалась не на нашей стороне. Главною причиною этого было то, что во время империи мы имели только одни случайные эскадры, составляемые наскоро, офицеров храбрых, но по большей части неискусных и неопытных артиллеристов; и тогда как английское ядро уносило у нас десятки людей, ядро французское отвечало ему, перерезывая какую-нибудь ничтожную веревку или прорывая парус. Но теперь было не то: наши люди и наши вещи приобрели настоящую свою цену, а самоуверенность придала нам еще более мужества».

С приближением осени и с переменою политического ветра английская эскадра исчезла. Дни стали коротки, начались осенние бури, и французский флот принужден был удалиться в Смирнский залив. Там провел он первые месяцы 1840 года, постоянно продолжая свое воспитание. Происшествия этого года так свежи в памяти всех, что автор на них не останавливается. «Была минута, — говорит он, — когда наша эскадра надеялась, что откроется война с Англиею, и с нетерпением ждала дня, когда она могла бы загладить прежние неудачи и восстановить славу французского флота; но день этот не настал». Эскадра была отозвана, ее начальник сменен; но экипажи не потеряли присутствия духа: прекрасный характер, одушевлявший их, пережил это испытание и остался нетронутым.

«Флот воротился в Тулон, и для эскадры открылся новый период, в котором ей не оставалось уже ничего более приобретать, но должно было сохранить приобретенное. Прежде всего надобно было отразить удары, которые старались нанести ей многие из жарких экономистов Собрания. Конечно, — продолжает автор,

много содействовавший сохранению эскадры, — конечно, Собрание обязано, по возможности, уменьшать публичные расходы; но это уменьшение должно быть прилагаемо с знанием дела, и в особенности в таких частях управления, каков флот. Многие из членов Собрания, не зная дела, рассуждали так: «В этом году мы находимся в мире со всеми, не должны поддерживать наших внешних сношений, ни подкреплять нашего влияния в чужих странах; а потому, не имея надобности в военных судах, уничтожим эскадру и распустим экипажи. Если же наши внешние сношения потребуют употребления морской силы, то мы снова составим флот и сохраним, таким образом, значительную годовую издержку на жалованье, на провиант, на подновление материалов и пр...» Но люди практические отвечали на это: «Если вы будете так действовать, то сделаете самую неудачную операцию. Что касается до материальной части флота, то обезоружение его и вооружение вновь, совершенные в такой короткий срок, будут стоить гораздо дороже, чем бы стоило содержание его во все это время. Что же касается до состава экипажа, то вы уничтожите организацию, опытность, предания — все то, что доставляется только временем и постоянством и чего нельзя купить за деньги». Вот те нападения, против которых должны были бороться наши государственные люди, отстаивая существование эскадры. К счастью, усилия их были увенчаны успехом, и если число судов, составлявших эскадру, было последовательно уменьшаемо, то по крайней мере эскадра продолжает существовать непрерывно до настоящего времени. Вот за что должно благодарить судьбу, потому что мы живем не в те времена, когда хорошее установление, счастливо перенесшее слабость и болезни детства, приобретало право на жизнь. В последние годы монархии мы боялись за наш флот необдуманной ревности проповедников бережливости, — мы боялись за него во время революционных реформ 1848 года; но теперь, когда он избежал этой двойной опасности, необходимость

его постоянного существования не может быть более подвержена сомнению».

Недостаточно было защитить одно существование эскадры, надобно сохранить в ней нетронутым и тот характер, который приобрела она в первую половину своей жизни, — дело, для которого нужно столько здравого смысла и благородного самоотвержения, что на него немногие способны.

«Натура человеческая так уж создана, — говорит автор, — что каждый более доволен самим собою, нежели другими, и более имеет доверия к своим собственным созданиям, чем к созданиям других. Редко можно найти человека, который, наследуя во власти другому, удержался бы от искушения поступать иначе, нежели поступал его предшественник. И в самом деле, разве нет у него в запасе своих собственных идей? Не должен ли и он оставить по себе память? Редко встречаются люди, столь умеренные и столь умные, чтобы они решились только продолжать добрые учреждения, начатые прежде их. И управляя эскадрой, можно также желать отличиться какою-нибудь особенностью и связать свое имя с каким-нибудь громким нововведением».

Но, к счастью эскадры, за адмиралом Лаландом следовал адмирал Гюгон (Hugon), матрос времен империи, превосходный моряк, начальник, заслуживший общее уважение. Он доказал твердость и прямоту своей души, желая только сохранить то, что введено было его предшественником. Имя его было слишком известно, и он был слишком благороден для того, чтобы искать отличий в нововведениях или изменять хорошее старое единственно из самолюбия. Приняв начальство над эскадрою адмирала Лаланда, он считал ее уже своею и принял все идеи своего предшественника.

«Мне хотелось бы, — продолжает принц, — обратить должное внимание на этот умный образ действия, которому потом подражали все адмиралы, последовательно командовавшие эскадрой. Это, по моему мнению, самая важная услуга, которая когда-либо была оказана

нашему флоту, и самое плодовитое нововведение, в котором он более всего нуждался, потому что в нем давно уже все учреждалось только на время. С этих пор морская сила Франции перестала быть зданием, выстроенным наскоро, не имеющим твердых, положительных основ и готовым исчезнуть при первой перемене ветра: она приобрела постоянную внутреннюю организацию и получила, как и наша сухопутная армия, целое собрание правил, освященных опытом, — получила предания. Эти предания стали обязательными и приобрели силу закона».

Адмирал Гюгон, преследуя свою благородную цель, нашел себе усердных помощников в старых офицерах, которые не требуют от морской службы одних сильных ощущений, но понимают всю цену скромной преданности пользам отечества и знают очень хорошо, что во флоте сберечь старое значит уже улучшить. Они, поощряемые примером своего начальника, жертвовавшего честолюбием пользе вверенного ему дела, заботились о сохранении всего, что было установлено адмиралом Лаландом.

Но теперь приходилось защищать эскадру от нового врага — от скуки, столь гибельной для экипажа, долго застоявшегося в порте. Близких опасностей и ожидания войны, которые так помогали адмиралу Лаланду в создании эскадры, теперь не было. Внешние отношения Франции были такого рода, что нельзя было предпринимать далеких морских экспедиций, и адмирал выхлопотал себе позволение заняться морскими маневрами и выбрал для этого, невдалеке от Тулона, безопасный бассейн, закрытый со стороны моря рядом Гиерских островов. Здесь он преимущественно приучал матросов к высадкам, необходимость которых испытала Франция во время своих последних войн. Этими постоянными экзерцициями поддерживал он дисциплину и бодрое состояние духа в своей эскадре и сохранил привычку к деятельности, приобретенную экипажем во время крейсерства у турецких берегов.

Таким образом, несколько лет, спокойно проведенных эскадрою, не пропали для нее даром.

«Зима 1841 года, — продолжает автор, — была ознаменована одним из тех страшных напоров ветра, которые время от времени проносятся по Средиземному морю и составляют эпоху в жизни моряка. Эти напоры ветра в свирепости своей уступают только одним тропическим ураганам. Они спускаются по снежным обрывам Пиренеев и Альпов и несутся, обыкновенно, от севера к югу, сметая все, что попадается им на пути. Ничто не предсказывает их появления; даже барометр, этот верный указатель атмосферных перемен, стоит высоко не только перед началом бури, но и во время ее продолжения. Встреча этих страшных явлений природы требует от моряка более мужества, нежели самый день сражения. Он не слышит запаха пороху, не чувствует упоения славы, а между тем должен собрать всю энергию своей души, всю силу тела и бороться с опасностью, которая грозит со всех сторон, растет, не переставая, и каждую минуту возрождается с новою силою, в тысяче новых образов. Паруса изорваны, мачты сломаны, корабль не повинуется более и, поражаемый беспрестанно новыми волнами, не в состоянии уже отражать их бешеных приступов. Дерево трещит и ломится под тяжестью орудий, вода пробивается во все щели, борьба кажется безнадежною; но тем деятельнее, тем смелее должно бороться. Долго ли еще может продержаться корабль? Никто не знает. Может быть, в одну минуту все будет кончено! Каждое мгновение уносит с собою еще одну надежду. Силы людей истощены, но мужество переживает самые силы. Тогда-то со всею яркостью показывается могущество дисциплины, тогда-то ее настоящее торжество. Яростная качка никому не позволяет держаться без помощи, и капитан, крепко привязанный, стоит на корме корабля. Лицо его спокойно, взор ясен. Он горд своею ответственностью; он горд и тою обязанностью, которая лежит на нем: подавать собою пример для всех. Он или спасет, с помо-

щью божьею, всех этих храбрых людей, жизнь которых ему вверена, или умрет, выполняя свою обязанность до последней минуты. Эта мысль одушевляет его, — одушевляет и всех. Молодые мичманы толпятся вокруг капитана. Они с жадностью ловят каждое его слово, каждый знак и, с быстротою и понятливостью юности, разносят его приказания туда, где шум разнузданных стихий заглушает человеческий голос. На поле битвы, где решается судьба народов, полководец может еще иногда смотреть со стоическим хладнокровием на разрушение своих сил огнем неприятельских орудий: или у него есть еще резерв, или он дождется ночи, а завтра ему представятся новые средства выйти из стеснительного положения. Но в борьбе со стихиями нет отдыха: день и ночь длится битва, — битва без свидетелей и без славы. Человек заперт в корабле будто в крепости, которую безустали осаждают волны; он может ожидать помощи только от одного неба. Душа закаляется в этих испытаниях, где личная опасность забывается в виду опасности общей, где каждый каждую минуту рискует своею жизнью для спасения всех и может измерить глазами, какое ничтожное расстояние отделяет его от вечности. Удивительно ли, что по выходе из такой опасности человек становится лучше: понятие его о долге расширяется, дисциплина делается для него чем-то священным; любовь и уважение его к начальнику, с которым он перенес это страшное время, возрастают. В эти минуты человек думает о боге, о будущей жизни, — и как ничтожны кажутся ему все мелкие хлопоты этого мира! Если наша природа так слаба, что ее добрые впечатления скоро изглаживаются, то по крайней мере впечатление этих часов никогда не изглаживается совершенно: патриотизм, светлый рассудок, привязанность к вере, качества, которыми отличается наше морское народонаселение, служат тому лучшим доказательством».

Французская эскадра выдержала этот страшный напор ветра. 23 января утром она выходила из Тулона

к месту, назначенному для маневров. Время было прекрасное, ветра почти не было, барометр подымался, и все предвещало благоприятную погоду. Но ночью северный ветер подул с такою необыкновенною силою, что адмирал отдал приказание убрать все паруса. Эскадра отправлялась на запад, а северный ветер гнал ее с правой стороны: следуя этому направлению, она пришла бы в Лионский залив, где бури действуют всегда сильнее, чем на берегах Прованса. Все советовало переменить направление; но буря уже потушила все сигнальные фонари, и адмирал не захотел покинуть своей эскадры, которая без его приказания также не могла избрать другого пути. Таким образом, весь флот продолжал идти на запад. Одно только судно, потеряв из виду адмиральский корабль, достигло берегов Прованса и понесло, в сравнении с прочими, гораздо менее повреждений.

Утром адмирал не видел уже на горизонте ни одного из своих судов и сам, вынесши страшную трехдневную бурю, только необыкновенными усилиями всего экипажа спас свой корабль. 26-го утром без парусов, с изломанными мачтами, с израненными людьми добрался он до гавани. Вся флотилия его была раскидана. Принц подробно рассказывает все происшествия этой бури, понятные вполне только для моряков, и видит в ней один из эпизодов жизни своей любимой эскадры, один из дней ее воспитания. Нашлись, впрочем, строгие экономы, которые упрекали министра, дозволившего флоту без всякой надобности выйти в море зимою; но моряки были довольны этим, и достоинство эскадры еще возросло.

В 1843 году эскадра, уменьшенная в составе своем до восьми судов, находилась уже под командою нового адмирала, Персеваля Дешена. Несмотря на всю свою огромную опытность, несмотря на все уважение, которым он пользовался, несмотря на любовь к нему подчиненных, новый адмирал упорно отказывался от всяких перемен. Он очень хорошо знал, что все, что де-

лается по воле одного, с каким бы энтузиазмом оно ни было принято вначале, под конец всегда оказывается слабее преданий, которые каждый считает за свою собственность. В продолжение трех лет начальства этого адмирала эскадра каждый год, летом, появлялась у африканских берегов. Здесь она проводила несколько месяцев без всякого движения. Это были те дни в жизни моряка, полные тоски и скуки, которые иногда заставляет его переносить политика. Эти дни, проводимые в полном бездействии, доставляют часто более пользы отечеству, чем самые битвы; но чтобы вынести их, должно скопить всю силу воли и призвать на помощь всю святость долга.

Причины этих ежегодных экспедиций были следующие.

Французам удалось обезопасить западные и южные границы Алжирии: но на востоке они не предпринимали никаких военных операций, и потому для них чрезвычайно важно было дружественное расположение тунисского бея, удерживавшего спокойствие на всей этой границе, которая без этого была бы даже опаснее прочих. По счастью для французов, они нашли в бее, подчиненном только номинально Турции, верного союзника. Он обязался удерживать в повиновении племена, кочующие на границе Туниса и Алжирии; а Франция, с своей стороны, обещала ему отражать все удары, направленные на него турецким правительством, желавшим утвердить в Тунисе свое влияние. Таким образом, для Франции было чрезвычайно важно, чтобы в Тунисе, вместо независимого бея, не появился турецкий паша, который мог бы возмутить всю восточную границу Алжирии. Вот почему каждое лето, как только турецкий флот под начальством капитана-паши выходил из Дарданелл, французская эскадра также поднимала паруса и появлялась у берегов Туниса, где и должна была стоять до тех пор, пока турки, окончив свое обычное странствование по Средиземному морю, не возвращались домой.

В этой экспедиции положение французской флотилии было весьма неприятно. Она должна была бросить якорь вдали от берега, напротив пустынного Карфагенского мыса, на котором виднелась одна только часовня, выстроенная Людовиком-Филиппом, в память Людовика Святого. В глубине залива белелись укрепления Гулетжы и лагерь войск бея, где они учились европейской дисциплине у французских офицеров.

«Я одно только могу сказать, — говорит автор, — об этой ежегодной стоянке у Туниса, что она из всех служб эскадры была едва ли не самою тягостною. Время года, в которое приходила эскадра, было всегда одно и то же: самая жаркая пора лета. Экипаж должен был оставаться три или четыре месяца в совершенном бездействии, не разнообразя скучных дней ни маневрами, ни стрельбою, под жгучими лучами солнца, от которых зарождались болезни, и подвергаясь, кроме того, почти постоянно сильной качке. Тунис — ужасный город; да и к нему нелегко было добраться по длинной дороге, идущей по движущимся раскаленным пескам, вдоль зловонного болота. Потому все оставались на борту, проклиная обстоятельства, приковавшие их к этим скучным берегам. Если морская служба имеет свои привлекательные стороны, если она представляет так много сильных впечатлений, то почему же ей не иметь и своей скуки? А нигде нет ее столько, как в этих долгих стоянках, в которых должно только наблюдать и ждать того, что по большей части вовсе не приходит. Но если к скуке, как это всегда случается, присоединится дурное влияние климата, если болезнь начинает губить людей, — тогда должно собрать всю силу характера, чтобы не потерять присутствия духа. Одно только безграничное уважение к святости долга и к преданиям чести не допускает человека до отчаяния; да иногда мелькнет, будто в волшебном мираже, картина отчизны, столь привлекательная для сердца моряка».

Но такие ежегодные путешествия к Тунису сделались наконец невыносимы, и Франция искала случая,

чтоб, с своей стороны, напугать турецкое правительство, смотревшее с постоянной враждою на алжирские завоевания, и принудить его оставить в покое тунисского бея. В 1846 году случай этот представился. Мы расскажем эту новую экспедицию французского флота, чтобы показать еще очевиднее, какие важные услуги может оказывать стране всегда готовая, хорошо организованная и характерная эскадра, которая способна внушать уважение одним своим появлением, — услуги тем более драгоценные, что они не требуют ни пролития крови, ни больших издержек, в которые бы необходимо вовлекло страну движение за границу сухопутных войск.

Триполи есть последнее из Варварийских владений, оставшихся в действительной власти Порты. Это настоящий пашалык, глава которого меняется так часто, как этого желают в Константинополе. В 1846 году французское правительство узнало, что турки, видя невозможность пробраться к Тунису морем, приготовляют в Триполи сухопутные войска и, таким образом, грозят поставить в опасное положение восточную границу Алжирии, и потому решилось послать эскадру в Триполи. Эскадра в это время состояла из семи больших парусных судов и трех пароходов.

«Когда, — рассказывает принц, — мы уже приближались к берегу, но еще не видели земли, взоры всех были поражены странным явлением: солнце стояло на полудне, а нижние края облаков были окрашены тем розовым цветом, который можно видеть только вечером. Это явление, столь новое для наших глаз, происходило от отражения солнечных лучей на песках пустыни, которая в этом месте, во всей своей ужасающей наготе, подходит к самому берегу. Здесь нет уже гористой полосы, идущей к берегам Марокко и Алжира: она достигает до мыса Бона, прекращается и уступает место песчаным и низменным берегам. Эти берега так же негостеприимны, так же лишены гаваней, как и западные, но гораздо их опаснее. Они не видны изда-

ли, и самый лот не всегда угадывает их соседство. Вот почему близость земли мы узнали сперва по цвету облаков, и в самом деле, скоро показалась на горизонте длинная полоса пыли, образуемая песками, поднятыми ветром. Вслед затем появился пальмовый лес, и из темной среды его выглянули причудливые верхушки укреплений и несколько вершин высоких зданий, воздвигнутых для паши и консулов; а над всем этим развевалось красное знамя султана. Город стоит на оазисе, покрытом пальмами, но вокруг этого оазиса видно только море красных песков, исчезающее в бесконечной дали. Пустыня совершенно безлюдна; только кое-где с трудом пробираются по ней длинные вереницы верблюдов. Триполи, однакож, несмотря на свой жалкий вид, служит центром весьма важной торговли и совсем не такое безжизненное место, каким кажется с первого взгляда. Торговля не покидает этих печальных берегов, несмотря на страшное угнетение жителей, обязанных в самый короткий срок составить состояние паше, который тотчас же сменяется другим. Племена Феца и Центральной Африки получают произведения европейской промышленности почти исключительно через Триполи. Триполийская гавань, подобно Александрийской, образуется цепью скал, посреди которых открывается несколько проходов. Гавань эта весьма незначительна и недоступна для больших военных кораблей; но суда в 500 и 800 тонн находят в ней надежное убежище, и притом единственное между Тунисом и Александриею. Вот почему торговля продолжает посещать эти берега, несмотря на корыстолюбие и произвол турецких правителей.

Эскадра бросила якорь в виду города и, несмотря на обычную флегму турок, произвела в нем заметное волнение. Драгоман паши тотчас же явился к адмиралу с предложениями провизии и прохладительных напитков. Ему очень хотелось узнать поскорее, примем ли мы эти подарки, и через то увериться, пришли ли мы как друзья или как враги. Мы успокоили его, но от-

ложили все объяснения до завтра. На другой день адмирал, в сопровождении французского консула, отправился к паше. Мы должны были проходить по грязным изрытым улицам, довольно похожим на те, какие мы застали в Алжире. Они были наполнены арнаутами, этими храбрыми воинами, которых доставляют султану Албания и Босния — две провинции, оставшиеся верными древнему мусульманскому фанатизму. Трудно найти людей красивее, которые бы с большею гордостью показывали свои грязные рубища. Арнауты белы лицом, и глаза у них голубые; их благородная осанка и правильные, прекрасные лица напоминают горцев Кавказа; только длинные русые усы и резкие черты придают их физиономиям более выразительности. Рубаха их, заменяющая им всякую одежду, вся в лохмотьях, и широкая, могучая грудь открыта. Грязные шаровары стягивают их стройный стан, тонкий как у женщины; голову прикрывает красный колпак, и длинная кисть свесилась на ухо. Но это описание будет не полно, если не присоединить к нему целого арсенала неизбежных пистолетов и великолепных ятаганов, красующихся вокруг пояса. Превосходные солдаты на поле сражения, они повсюду сохраняют буйный и жестокий характер разбойничьего племени, так что турецкое правительство, которое не может обойтись без арнаутов во время войны, не знает, как управиться с ними в мирное время. Вся дорога, от самой пристани до дворца паши, была покрыта ими, и их дерзкие лица странно противоречили с униженными физиономиями турок*.

* Не один принц Жуанвильский заметил странное противоречие этих славянских лиц с физиономиями турок. Многих путешественников поражало это явление, объясняемое, впрочем, очень легко происхождением древнего населения северной Турции. Даже в Малой Азии можно встретить эти чуждые тому краю лица; так далеко проникло и так верно сохранило свою характерную физиономию славянское племя. Но повсюду в этих странах оно является полудиким: азиатская образованность и азиатская изнеженность не могли привиться к европейскому племени.

Паша принял адмирала более, чем вежливо, и, после обмена обычных учтивостей с обеих сторон, начались политические переговоры. Они были коротки. Адмирал объявил паше, что Франции надоела постоянная тревога, в которой держало тунисского бея турецкое правительство своими враждебными намерениями, и что Франция, приняв бея под свое покровительство, всякую попытку против него будет отражать силою. «Если, — прибавил адмирал, оканчивая свои переговоры,—вы будете продолжать вооружение против Туниса, то ждите, что мы явимся к вам врагами». Сказав это, адмирал удалился, и в тот же самый день мы оставили пустынные берега.

Угроза эта, — продолжает принц, — подействовала, да и не могла не подействовать. Триполи есть последний остаток действительного турецкого владычества на африканских берегах. И если бы мы взяли этот город, то вся страна, находящаяся всегда в постоянном волнении, была бы предана безначалию, и все усилия Турции восстановить здесь свою власть были бы тщетны. Торговля, потеряв всякую надежду на безопасность, принуждена бы была искать других путей и, по всей вероятности, пошла бы через Тунис и Алжир. Порта поняла, что Франция без больших издержек может наделать ей много вреда, а себе приобрести одну только выгоду, и не хотела подавать к этому предлога. С этого дня Турция не беспокоила более тунисского бея, а восточная граница Алжирии продолжала охраняться без помощи французского оружия».

Зимою эскадра воротилась в Тулон, и в 1847 году число составлявших ее судов было уменьшено до пяти кораблей самых больших размеров и одного фрегата. «Но уменьшение числа судов, — продолжает принц, — не ослабило силы эскадры. Никогда не имели мы такого стройного и сильного флота. Мы с гордостью могли показать его и нашим друзьям и нашим врагам. Начальники и экипаж, наученные долгим опытом, не нуждались более в уроках. Рассматривая эту небольшую

эскадру и в целом ее составе и в самых мелких ее подробностях, должно было согласиться, что трудно найти что-нибудь лучше в каком бы то ни было флоте. Мы отыскали секрет заменить количество качеством. Но к этому преимуществу, соединения возможно большей силы в возможно меньшем объёме, эскадра прибавила еще другое — подвижность: к каждому парусному судну было присоединено одно пароходное для буксировки. И в первый раз увидели мы, как наш флот, во время затишья, шел по семи миль в час: целая эскадра достигла от Специи до Тулона в тридцать шесть часов, несмотря на свежий противный ветер, который, без помощи буксировки, задержал бы ее по крайней мере на целую неделю. В морских экспедициях, еще более, чем в сухопутных, дорого время, и случай, пропущенный раз, уже не возвращается.

В 1848 году Республика дала эскадре нового начальника; но по счастью, — говорит автор, — выбор пал на адмирала Бодена. Не теряя ни минуты, он решился тотчас же удалить эскадру от зрелища, которое представляла тогда Франция, и, устранив ее от участия в борьбе партий, сохранил для отечества. «Эскадра, — продолжает автор, — была спасена: ее организация, ее предания, дух, ее оживляющий, — все осталось. Она была счастливее армии и могла служить отечеству, не проливая крови сограждан». В Италии, в Неаполе и Леванте она оставалась верною самой себе и своим преданиям. От берегов Леванта в 1850 году она была отозвана в Шербург, где посетил ее Людовик-Наполеон.

«Не из одного Парижа, но из всех частей Франции любопытные толпами стекались в Шербург. Во Франции любят флот, но мало с ним знакомы. За исключением жителей наших больших портовых городов и, может быть, немногих туристов, никто не знает или, лучше сказать, не знал до осени 1850 года, что такое эскадра». «Но тем не менее, — повторяет автор, — я готов утверждать, что во Франции любят флот, — любят по созна-

нию необходимости его не только для нашей славы, но и для защиты нашей самостоятельности, — любят потому, что он много стоил усилий людям, которые не родятся моряками, и часто приносит существенную пользу отечеству, не вовлекая его в огромные издержки, — любят, наконец, как вообще любят все неизвестное, увлекающее воображение». Французы с восторгом смотрели на свою прекрасную эскадру и громко выражали свое удивление и горячее сочувствие к экипажу. Но, по удовлетворении любопытства, внимание наблюдателей обратилось на столь заметное различие в физиономии офицеров и матросов. «Все были поражены, — говорит автор, — холодным, немного высокомерным спокойствием первых и веселою беззаботностью вторых. Эта гордость происходит в наших офицерах от сознания собственного достоинства. В самом деле, в эскадре, как бы она многочисленна ни была, все знают друг друга, и карьера всякого — открытая книга для его товарищей. От этого во флоте уважение измеряется только одним действительным достоинством лица. Дорога каждого начертана вперед, и человек не принужден выбирать между путем чести и выгоды: одна необходимо сопровождает другую. Вот отчего происходит в наших морских офицерах то чувство собственного превосходства, которое, может быть, придает их характеру некоторый оттенок гордости, но зато налагает на них и великие обязанности. Впрочем, эта гордость умеряется несколько другими качествами. Уединение, в котором живет моряк, долгие странствования и бессонные ночи располагают его к задумчивости и открывают его душу живым и глубоким впечатлениям. Вот почему, несмотря на видимую холодность, несмотря на некоторую суровость, происходящую от привычки к морской дисциплине, трудно встретить сердца более горячие, как сердца наших моряков».

«Это последнее замечание, — продолжает принц, — относится и к нашим матросам. Матрос является на борт прямо из тесного семейного кружка. Он сын ры-

бака: юность его была согрета теплою верою, и он поступает на флот прежде, чем порча успеет коснуться его сердца. Дисциплина немедленно овладевает им, и матрос в несколько дней может убедиться, что ни одна из его дурных наклонностей не останется безнаказанною. Государство заботится об его содержании так же, как и о содержании солдата, но никогда не оставляет в праздности. Матрос всегда занят и каждую минуту смотрит в глаза опасности. Взобраться в темную ночь на страшно раскачавшуюся мачту, собрать парус, задубевший от холода, твердый, как доска, и который, между тем, сгибаемый сильным ветром, сжимает тело матроса — все это не безопасные подвиги и требуют столько же смелости и присутствия духа, сколько нужно для того, чтобы взять приступом холм, на вершине которого собралась толпа кабилов. Эти подвиги матрос совершает каждый день, и притом без надежды на славу: разорвется веревка, поскользнется нога — и матрос погиб, и имя его останется неизвестным. Войско, раз побывавшее в огне, делается мужественнее; а матрос каждый день, в борьбе со стихиями, рискует жизнью и приобретает, наконец, привычку с презрением смотреть на опасности, — привычку, в которой коренятся все благородные побуждения сердца. Не заботясь ни о настоящем, ни о будущем, подчиняясь отеческому управлению, всегда справедливому при всей своей строгости, доверчиво полагаясь на своего начальника, он всегда весел и доволен своею судьбою».

Из Шербурга, перезимовав в Бресте, французская эскадра была, по случаю последних португальских происшествий, отправлена в Кадикс. Теперь (в 1852 году) она странствует по Средиземному морю, под начальством адмирала Ла-Зюса (La Susse). Он служил у адмирала Лаланда, был лейтенантом при Безике, «и этого довольно, — прибавляет принц, — чтобы надеяться, что добрые предания эскадры не умрут».

Оканчивая свою статью, принц с таким увлечением говорит о переменах, произведенных в последнее

время в материальном составе эскадры, что уже по одному этому мы легко узнали бы в авторе жаркого защитника необходимости пароходного флота во Франции. Идеи принца об этом предмете, которые он старался провесть в практику, просты и ясны. Он доказывает, что введение военных пароходов в английский флот лишило берега Франции прежней их безопасности. «Половина наших границ, — говорит он в прежней своей статье, — принадлежит морю; но так как берега Франции по большей части недоступны, или по крайней мере опасны для больших парусных судов, то мы, защитив наши главные гавани, могли не бояться высадок. Но теперь, со введением пароходного флота, все изменилось, и наши берега, на всем их протяжении от Дюнкирхена до Байоны, открыты для нападений. Войска, посаженные на пароходы в Портсмуте или на Темзе, могут в несколько часов явиться у наших берегов, проникнуть по рекам внутрь страны и сделать высадку или разрушить бомбами наши города, арсеналы, наши важные торговые пункты. Быстрота движений доставит неприятелю верный успех. Наша армия, наши крепости и пушки не могут быть повсюду, и мы узнаем, в одно и то же время, о появлении неприятеля, об исполнении его планов и об его объезде». «Таким образом, — говорит он далее, — Англия с помощью пароходного флота грозит всем нашим берегам, и для нас нет другого средства противостоять ей, как употребив против нее то же самое оружие. Кто может сомневаться, что, имея сильный пароходный флот, мы можем нанести много вреда великобританским берегам и познакомить английское народонаселение с теми бедствиями войны, которых оно не испытывало.

Пароходы, отправленные ночью, легко избегнут крейсеров и в несколько часов доставят на любой пункт британских берегов военную силу, достаточную для того, чтобы она могла распоряжаться там, как признает нужным. Для сэра Сиднея Смита нужно было не более нескольких человек, чтобы нанести Тулону

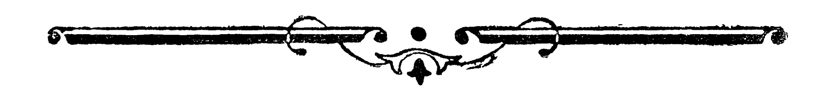
невознаградимый вред*. И только, поставив себя в такое положение, мы можем надеяться на прочный мир и, действуя свободно на море, не страшиться за нашу торговлю».

Вот смысл столь известной статьи принца. Но его идеи, несмотря на всю неоспоримость и ясность свою, нашли большое сопротивление и со стороны приверженцев старого и со стороны многих членов Собрания, полагавших, что содержание пароходного флота вовлечет Францию в большие издержки; и потому понятно то удовольствие, с которым смотрит принц на введение двух новых сильных пароходных судов в состав его любимой эскадры.

«Быстрота, — говорит он, — вот девиз нашего времени! Можно сказать, что настоящее поколение увлечено одним желанием: передавать свои мысли с возможно большею быстротою и точностью. Электрические телеграфы, железные дороги, пароходы — все эти изобретения появились вместе, под влиянием одной и той же потребности века».

«Но если, — говорит автор, оканчивая историю эскадры, — материальные улучшения флота так важны, то не забудем, что важность их второстепенная: когда все дело состоит в приготовлении железа и дерева, то деньгами и усиленною деятельностью можно загладить потерю времени и следы нерадения. Но экипаж и его воспитание, характер и предания флота, дух, его оживляющий, не приготовляются наскоро, не покупаются за деньги. Здесь все дело времени и воли, твердой, последовательной в своих желаниях. Если это дело остановится, если воля ослабеет или изменит свое направление, то все сокровища мира не поправят испорченного и не свяжут разорванной нити спасительных преданий».

* Множество предложений в английском парламенте об укреплении южного берега Британии и толки в журналах показывают, что сами англичане разделяют мнение принца Жуанвильского об этом предмете. — *К. У.*



ТРУДЫ УРАЛЬСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 1853 г., т. I[11]

Северный Урал и береговой хребет Пай-хой, Записки русского географического общества, кн. VII и VIII. Этнографический сборник, вып. I. Путешествие по северной Персии Березина, Казань 1852.

Статья первая

СЕВЕРНОМУ Уралу посчастливилось в этом году: вот первый том «Трудов» известной уже нашим читателям ученой экспедиции, и вот обширные путевые записки г. Латкина о той же местности, занимающие собою целую половину огромной седьмой книжки «Записок Географического Общества» и служащие прекрасным дополнением к «Трудам Уральской Экспедиции». Оба эти сочинения, как они ни различны, знакомят нас с одною и тою же страною, которую весьма справедливо называют Печорским краем. Второй том «Трудов Уральской Экспедиции», скорое появление которого обещано в отчете Географического Общества, дополнит картину этого края, который с этих пор мы не в праве уже будем называть малоизвестным. В самом деле, в настоящее время этот край относительно весьма хорошо известен: относительно других местностей России и относительно своего скудного содержания. Сколько есть губерний, играющих весьма важную роль и в общей природе России и в общей жизни ее народонаселения, которые известны географии менее Печорского края! Что, например, может собрать географ о северной границе южных степей или о замечательном водоразделе бассейнов Балтийского и Черного?.. Принимая все это в соображение, мы можем сказать, что край Печорский, пустынный, дикий, населенный не-

большими толпами мелких промышленников и остатками исчезающих племен, не имеющий прошлого, не играющий никакой важной роли в настоящем и обещающий только в отдаленном будущем получить некоторое значение, известен весьма хорошо, когда прежние наши сведения об этом крае дополняют такие многосторонние и основательные труды, каковы «Труды Уральской Экспедиции», показания таких искусных наблюдателей, каковы капитан Крузенштерн и граф Кейзерлинг, и такой прекрасный путевой дневник, каков дневник г. Латкина. Это более чем нужно для такого бедного и дикого края, могли бы мы сказать, если бы только в деле науки могли быть излишние сведения.

Русская географическая литература обладает теперь обильным материалом, из которого легко уже может быть создан географический тип Урала. Начиная от киргизских степей и даже от Усть-Урта и до берегов Ледовитого моря, Уральский хребет подвергался в разное время и с различных точек зрения многосторонним и весьма основательным наблюдениям и исследованиям. Наблюдения Палласа, Рычкова, Лепехина, Фалька, Зуева, Розе, Гумбольдта, различные путешествия в киргизские степи, в Хиву и Бухару, описания Северного Урала, филологические и исторические исследования о народах финских и финно-татарских, множество специальных статей о горном деле, изданных отдельно и помещенных в «Горном журнале», и исторические сведения о русском периоде Урала, весьма хорошо сохранившиеся в официальных актах нашей страны, представляют богатый материал будущему географу этой границы двух частей света. Какой богатый, разнообразный, цельный предмет! Какою типическою индивидуальностью отмечен он! Какой прекрасный пробный камень географического таланта! И можно смело утверждать, что ни один тип русской природы не обладает в настоящее время таким полным, основательным и многосторон-

ним собранием материалов. Будем же надеяться, что нам недолго придется ожидать основательной географии Урала! По крайней мере, здесь нельзя уже ссылаться на недостаток материалов. Они, конечно, еще собраны не все; но их достаточно для того, чтобы вывести из них географический тип Урала, в его природном, историческом и статистическом значении.

Первый том «Трудов Уральской Экспедиции» выполняет только одну сторону задачи Географического Общества:

«Определить положения и высоты Уральских гор от широты Чердыни до берегов Ледовитого моря, течения главнейших рек, впадающих в Обь и Печору, и географические положения некоторых важнейших мест по рекам Печоре и Оби».

Вследствие чего в этом томе представлены астрономом экспедиции определения 186 пунктов по географическому их положению и 72 высоты над уровнем моря, выведенные частью геодезическими способами, частью помощью барометрических наблюдений. Кроме этой задачи Географического Общества, астроном Уральской Экспедиции выполнил еще задачу Академии наук, которая предложила ему произвести наблюдения для определения элементов земного магнетизма в местах, прилежащих Северному Уралу; для чего избрано было астрономом пять пунктов, три на западной стороне Урала, — именно: Чердынь, Оранец и Пустозерск, и два на восточной его стороне, — именно: Обдорск и Березов. Автор, желая, чтобы всякий мог видеть, какой точности можно ожидать в представляемых им результатах, разделил весь том на три части: в первой заключаются результаты каждого отдельного астрономического наблюдения или геодезического измерения; во второй — окончательные результаты, основанные на совокупности всех наблюдений, относящихся к одному месту, и, наконец, в третьей части помещены результаты магнитных наблюдений.

К этому тому принадлежит также и карта, составленная экспедицией. Карта эта обнимает Северный Урал от 61 градуса широты до берегов моря, береговой хребет Пай-Хой, Печорский край и часть Тобольской губернии до реки Оби и берега Ледовитого моря, на протяжении семнадцати градусов по долготе.

Карта Северного Урала основана на двух прежних съемках: 1) Описи берегов Ледовитого и Карского морей и Обской губы, совершенной, по поручению правительства, штурманами Ивановым и Бережных с 1821 года по 1828, и 2) Описи реки Печоры от деревни Усть-Илыча, под 62°30′ широты, до самого Пустозерска, рек Илыча, Мылвы и части Вычегды, сделанной в 1843 году капитан-лейтенантом Крузенштерном и основанной на положении 47 пунктов, определенных астрономическими наблюдениями. За исключением этих двух указанных съемок, карта Урала основана на собственных исследованиях экспедиции. Маршрут экспедиции в горах обозначен на карте непрерывною линиею, за исключением тех мест, где экспедиция следовала по рекам. Так как карта Северного Урала составлена была ранее окончательных выводов для долгот, то в нее вкралась ошибка, и все означенные на ней долготы должны быть уменьшаемы тремя минутами. Названия местностей и рек приняты те, которые употребляют тамошние жители, с весьма малыми исключениями. На Урале от 61° до 65° широты все названия остяцкие: они взяты из наречия остяков — манчи, как природных обитателей этой страны. На карте, по словам «Введения», означены все более примечательные реки и пропущены только т а к и е р е ч к и, к о т о р ы е н е с т о я т в н и м а н и я; но и те, где собраны были о них сведения, означены на карте пунктиром. На Большеземельской тундре, между рекою Печорою и хребтом Пай-Хоем, экспедиция не была, поэтому сведения о топографии этой страны весьма ограничены; впрочем, означенные здесь реки и озера поверены описаниями нескольких самоедов се-

ла Колвы на реке Усе и зырянами. То же замечание относится и к рекам, впадающим в Обь ниже Обдорска.

Предоставляя специалистам-математикам оценку верности способов вычислений, употребленных для определения положения и высот Уральских гор и важнейших мест по главным рекам, мы заметим только, что, принимая в соображение количество определенных пунктов, Северный Урал, если не весь Печорский край, обладает теперь весьма достоверною картою. Не знаем, будет ли приложена другая карта при втором томе трудов, заключающем собственно географические результаты наблюдений; но если нет, то нельзя не пожалеть, что при этом удобном случае на одну и ту же карту не нанесены результаты других наблюдений: так, например, означение племенного различия жителей по селам, судоходности рек, северной границы различных пород леса, хлеба, начало тундры и т. п., что, принимая в расчет немногочисленность названий, нанесенных на карту, не очень бы ее испестрило; а между тем такое наглядное выражение различных наблюдений на одном и том же месте, где позволяет пространство, чрезвычайно облегчает изучение страны.

Нельзя отрицать важности точного определения высот и географических положений различных пунктов данной местности: такое определение служит верною основою для ее картографии, но само по себе составляет лишь верную рамку для географии страны. Можно измерять страну с величайшею точностью, составить самую подробную карту ее, даже с точным означением самых мелких ее природных и произвольных подразделений, прекрасно нарисовать эту карту — и все-таки не познакомить с ее географиею. Вот почему, видя такое прекрасное, основательное начало, мы с нетерпением ждем, для представления с нашей стороны полного отчета, второго тома трудов Уральской экспедиции.

Во «Введении» к первому то́му автор помещает «Об-

зор путешествия по Северному Уралу и прилежащим странам в течение 1847 и 1848 годов, и замечания о климате страны, разных явлениях природы и о религии туземцев».

В этих заметках, которые не были главною целью автора, занимавшегося только астрономическими определениями и магнитными наблюдениями, и которые потому набросаны слегка, мы, тем не менее, находим несколько новых и любопытных сведений: таковы, например, известия о зимних дорогах в этом крае, о религиозных суевериях иноверных туземцев, о самоедских названиях местностей, которые, простираясь гораздо южнее их кочевьев, подтверждают то общее явление на нашем севере, что самоеды, точно так же, как и лапландцы, загнаны с юга в северные тундры финскими племенами, теснимыми, в свою очередь, племенами славянскими, с одной стороны, и турецко-татарскими, с другой. На этих пустынных окраинах России, будто на обрывистых берегах моря или реки, сохранились следы наслоения русской народности. Бродячий финн, житель лесов и болот, теснит к берегу Ледовитого океана кочевые племена, странствующие со своими стадами не по степям, а по тундрам; а русское племя, идя по следам финнов, вносит славянское земледелие в средину финских болот и лесов. Тундра, высыхая и обогреваясь, уступила место лесу и болоту; а лес, становясь реже и доступнее, уступает место европейской равнине. К сожалению, автор не говорит нам, какова природа тех мест южной части Северного Урала, где сохранились самоедские названия, хотя давно уже нет самоедов: представляют ли они возможность для кочевки со стадами оленей, или нет? Переменили ли самоеды, подвинувшись к северу, свой образ жизни и, выйдя из лесов, превратились ли из народа бродячего в кочевой, или, в отдаленные времена, тундра, постепенно подымаясь и осыхая и подвергаясь этому общему изменению температуры из холодной в более теплую, которое замечается на всем европейском се-

вере, мало-помалу заросла лесом? Перемены в природе часто с необыкновенною верностью отражаются в этнографических переменах. Азиатский элемент заходит в Россию вместе с расширением пределов степи на берега Днепра, в область скифов-земледельцев, и создает полуазиатские племена казачества. Угры, забравшись в середину Европы, постарались расширить свои любимые п у щ и, к которым они привыкли на склонах Урала. Славянские племена, земледельческие по природе, превратили в равнину лесисто-болотистое пространство центральной России. Да и вообще, при несколько внимательнейшем наблюдении, мы увидим, как земля нашего отечества несколько раз изменяла свой вид уже на глазах людей.

Но мы и не вправе требовать от краткого введения более отчетливых сведений: ждем разрешения этих чисто географических вопросов от второго тома «Трудов Уральской Экспедиции». Хотелось бы знать также географические причины благоденствия одних сел, упадка других; хотелось бы иметь живое, наглядное описание тундры и ее границ с гористыми и лесными пространствами. Жалеем, что автор «Введения» изложил свои сведения без всякого порядка и не подарил нас дневником своего путешествия. Дневник — самая лучшая форма для географических материалов: перемешанные в беспорядке, как мы находим их во «Введении», или даже построенные в произвольную систему, они могут сохранять всю свою важность в этнографическом и статистическом отношениях или в отношении к естественным наукам, но в отношении географическом теряют более половины своей цены. Объяснимся.

Поверхность земного шара имеет бесконечное и бесчисленное множество форм; но эти формы постоянно смешиваются, переходят одна в другую и образуют новые — п о с т о я н н о и з м е н я ю т с я. Так что география имеет дело не с одними типическими формами, которых немного, но с постоянным переходом этих

форм и их смешений одних с другими. Замечать этот переход, показывать, где характер одного типа начинает исчезать, другой — преобладать (где страна начинает делаться горною, где исчезает лес — начинается тундра, и т. п.), в каких явлениях выражаются эти перемены и какое влияние оказывают они на атмосферу, ландшафты, на царство растительное и животное и, наконец, на людей, на их промыслы, быт, характер, физиономию, — вот в чем состоит задача географа-наблюдателя. Земля, в этом отношении, вообще, и каждая страна, в особенности, представляют все для путешественника живым процессом, который развертывается перед его глазами. Верно записать этот процесс — дело путешественника; понять его законы и выразить его смысл — дело географа. Вот почему дневников никогда не может быть слишком много: чем более они исчерчивают страну, тем доступнее становится ее географический смысл. Вот почему — повторяем мы — форма дневника, по нашему мнению, есть лучшая форма для географических материалов. Следующее за этим сочинение даст нам повод высказать несколько мыслей о том, каков, по нашему мнению, должен быть дневник путешественника, желающего, чтобы его путешествие послужило географическим материалом. Посмотрите, как дорожит Риттер самыми скудными, сухими, но только добросовестными дневниками, и как предпочитает их самым подробным систематическим описаниям. В описании трудно и почти невозможно сохранить колорит местности, которого необходимо требует география; в дневнике же он отражается невольно во всем своем последовательном развитии. Все пятнадцать томов географии Риттера составляют один огромный дневник, в котором все постепенное развитие азиатских форм проходит перед глазами читателя, как будто он сам совершает путешествие по Азии, обладая огромным запасом сведений о тех странах, которые он проезжает. Вы не останавливаетесь ни на минуту и п о с т о я н н о

переходите от одной формы земной поверхности к другой. Это отличительный характер творения Риттера, и в нем-то заключается тайна необыкновенной живости и занимательности этого сочинения, громадность которого, без этого качества, могла бы подавить всякую любознательность.

Дневник г. Латкина, веденный им во время путешествия его на Печору в 1840 и 1843 годах, представляет собою отрадное явление. Мы убеждены, что если бы множество подобных простых, но умных дневников исчерчивали поверхность России в различных направлениях, то русская география много бы выиграла. Дневник, несмотря на свою заметную растянутость, читается легко, а забывается с трудом. Мы совершенно согласны с мнением редакции этого «Дневника», которая думает, что «читателям, без сомнения, приятнее будет в безыскусственном рассказе следовать за самим путешественником, переносясь с ним от одной любопытной местности к другой и как бы обозревая их собственными глазами, чем читать предлагаемые им сведения в сухом статистическом перечне». Мы вполне постигаем, по собственному своему чувству, нелюбовь читателей к сухим статистическим перечням. Однакоже, не мешало, как нам кажется, выкинуть многие совершенно излишние дорожные заметки, не характеризующие ни местности, ни путешественника, ни даже обстоятельств путешествия (как-то — заметки об обеде, чае и т. п.); а между тем этих заметок весьма много, и они заметно уменьшают удовольствие, доставляемое чтением. Желательно бы, чтобы эта книга была сокращена в одном, дополнена в другом: она могла бы тогда стать наряду с замечательными явлениями в нашей литературе.

Познакомимся прежде с самою личностью путешественника, чтобы определить ту точку воззрения, с которой он смотрел на предметы, и тем вернее отделить истину от самообольщения, в которое необходимо вдается всякий наблюдатель, рассказывающий свои собст-

венные ощущения путешествия. Но мы готовы скорее мириться с этим самообольщением путешественника, нежели с бесцветным, безличным и потому безжизненным описанием. Здесь мы можем отделить истину от ошибки, — там все мертво.

Вот что говорит г. Латкин о самом себе:

«Огромные лесные пространства Печорского края, богатые рыбные и звериные ловли, море, обильное животными, обширные тундры, питающие многочисленные стада оленей, неисследованные минеральные богатства Урала и, с тем вместе, малочисленность, бедность обитателей, почти совершенное отчуждение этого края от круга торговой деятельности государства — издавна привлекали мое любопытство. Я стремился туда с целью исследовать и описать его и, если возможно, учредить компанию, чтоб, с помощью ее капиталов, развить там промышленность, воспользоваться природными богатствами края, до сих пор как будто бы забытыми и не приносящими никакой пользы. С этою целью я был два раза в этом краю, слушал рассказы разноплеменных его обитателей, внимательно всматривался в их быт, нравы, обычаи, занятия, промыслы, собирал предания, изучал местность, вглядывался в богатства этой страны и таким образом собрал много сведений, на которых основал мои предположения.

Поверив некоторым лицам эти предположения и ободренный ими, я утвердился в своих убеждениях. Так решился я на поездку в Печорский край в 1840 году. Живя тогда в Пермской губернии, я через Чердынь перебрался на систему вод Печоры; но, к сожалению, обстоятельства заставили меня оставить край прежде, чем я успел окончить его обозрение.

Между тем, чтоб новыми сведениями подкрепить прежние соображения, я снова отправился, в 1843 году, из Петербурга на Печору, через Устьсысольск и Печорский Волок. Обозрев страну по Усе до Урала, по Печоре до ее устья и по Ижеме до ее вершин, с которых перебрался на Вычегду, и сделав верхом, пешком

и лодкой по горам, разным рекам и речкам более 8000 верст, я возвратился поздней осенью, в октябре, в Устьсысольск, а оттуда в Петербург.

Еще осенью в 1843 году начал я приводить в порядок дневник поездок моих на Печору; но разные обстоятельства лишили меня возможности кончить тогда начатый труд. Представляя его ныне на суд публики, прошу снисхождения к нескладному, может быть, рассказу моему, составленному из путевых заметок. На литературное его достоинство я не имею никакого притязания; развлеченный с самых ранних лет разными трудами и заботами, я не мог получить никакого образования, а все приобретенное мною в русском слове есть плод необходимости, которая была очевидна при занятии таким важным делом, как учреждение Печорской Компании; но прошу читателей обратить благосклонное внимание на самую мысль, которая увлекала меня на труд и занимала в продолжение нескольких лет моей жизни. Кто знает, может быть, этим положено начало одному из полезнейших предприятий; по крайней мере утешаю себя этою мыслью, а потому не считаю совершенно бесплодными труды мои и потраченное время».

Но мы, с своей стороны, смеем уверить автора, что русское слово, которым он выражается, чисто русское: ясно, просто, правильно и подтверждает заметку, сделанную нами уже не раз, что практическая необходимость является часто лучшим наставником в деле языка. Слог так хорош, чист и выразителен, что мы с наслаждением прочли этот обширный дневник, несмотря на его растянутость, естественное последствие беглости путевых заметок, сделанных в разное время, в продолжение длинного путешествия по стране, представляющей так мало разнообразия. Повторяем еще раз, что нам редко случается встречать такой прекрасный и простой язык даже в лучших произведениях современной литературы, и мы с удоволь-

ствием будем заменять, где возможно, словами автора наши собственные рассуждения.

Мы видим, таким образом, что путешественник смотрел на Печорский край глазами человека, желающего открыть в нем новое поприще для русской торговли. Этим объясняется некоторое, совершенно понятное пристрастие, с которым автор говорит нам о красотах и богатствах страны, бывшей так долго предметом его любимых дум. Этим мы не хотим сказать, что считаем несбыточными планы г. Латкина, находящего возможным дать сбыт огромным лесам этого края и проложить через его полноводные реки кратчайший путь за границу произведениям не только Урала, но даже и отдаленной Сибири. Напротив, сколько можно судить издали как по сведениям, собранным г. Латкиным, так и по сведениям других путешественников, мы думаем, что планы его, по крайней мере отчасти, совершенно верны и заслуживают (да уже и заслужили) полного внимания со стороны людей, двигающих русскою торговлею.

Но мы хотим прибавить еще несколько черт, определяющих характер воспитания и стремления автора: мы должны хорошо ознакомиться с ними, чтобы не вдаться в ошибку, в которую вдается всякий человек, путешествующий с особенною, практическою целью, и притом в стране, которую давно уже рисовала его фантазия. Автор три раза предпринимал путешествие в этот край, и в первый раз в самой ранней молодости: Печорский край, как кажется, занимал его в продолжение целой жизни. Вот отрывок из его первого путешествия, если только можно назвать путешествием этот невольный порыв юноши, пылкое воображение которого разгорячено рассказами об отдаленной, малоизвестной стране:

«Октябрь 1825 года с своими ненастьями и холодом уже приближался, когда я начал просить отца моего отпустить меня на Печору. Непродолжительны

были мои сборы. Трудно было проехать нам до села Усть-Кулома, 170 верст: в санях, в телегах, а иногда верхом тащились мы порой по непроходимо грязной дороге, а иногда по замерзлым колотням. Мы так спешили, что часто даже и ночью тряслись без седла на зырянских лошадях; но зато час отдыха был невыразимо отраден.

Однажды, после трудной верховой езды, одну станцию нас везли на санях; раза три опрокидывались сани, раза два поднимали меня с дороги — я ничего не слыхал; товарищ мой и ямщик удивлялись богатырскому сну молодого путника. Крепко замерзло, когда мы поехали верхом из Устьколома Пожегодским Волоком; опасно было сидеть на неподкованных лошадях: они скользили, таращились; того и гляди, что, вместе с лошадью, упадешь на твердую кору льда, а из веревчатых стремян нескоро выпутаешься. Так мы проехали около 15 верст и наконец решились взять котомки, отослать обратно лошадей с нашим ямщиком и идти пешком. День был сумрачный; мы, вдвоем с моим товарищем, дотащились до зимовки, или зимовой избушки *, и расположились в ней ночевать, в надежде, что придет кто-нибудь из звероловов провести с нами длинную осеннюю ночь. В наших лесах нетрудно, не стрелявши, иметь обед из дичи. Мы нашли близ зимовья пестерь ** с рябчиками, взяли две пары, положили за них деньги; нашли также котел, приготовили себе славный обед и с усталости сытно поели. День клонился уже к вечеру; начало смеркаться, а никто не являлся к нам на ночлег; меня беспокоила мысль ночевать двоим среди дремучего леса в самую позднюю пору осени. Спутник мой пред-

* Зимовками называются избы, построенные в лесу, где на большое пространство нет деревень, также избы в лесах для промышленников; в них помещается иногда по нескольку человек.

** Корзина, сплетенная из бересты, которую носят за спиной, как котомку.

ложил мне идти к другому зимовью, верст пять дальше; по его мнению, там наверное должны быть лесовщики (звероловы), а нам необходимо было нанять одного нести вещи. С радостью принял я предложение моего товарища. Недалек был переход; но с тяжелой ношей, в темень, по неровной лесной дороге, где на каждом шагу коренья, пни, ямы, он показался мне за несколько десятков верст. Но вот достиг до нас запах дыма; потом мелькнул огонек; слава богу, там есть люди, подумал я, и мы пошли скорее. Вот мы и перед зимовой избой; мигом долой котомки, и я вошел, согнувшись, в низкую дверь. Шесть человек звероловов сидели перед огнем и занимались обыкновенной работой: после удачного промысла сдирали шкурки с белок и весело разговаривали. До десятка собак лакомились мясом добычи и, уничтожив его, облизываясь, следили глазами за движениями рук своих хозяев и нетерпеливо ждали новой подачи. В печи, сбитой из глины, — а это было уже большое удобство — варился ужин; огонь ярко пылал, обхватив смолистые сосновые дрова; дым чуть не до полу носился серым облаком вплоть над ногами собеседников. Собаки, почуяв чужих, заурчали и были готовы броситься на пришельцев. «Видзя оланныдь (здорово живете)», — сказали мы, входя или чуть не вползая в избу. «Локтэ видзя (идите здорово)» —отвечали, ласково взглянув на нас, временные хозяева лесного жилища. «Тэ мудзин, том-морт; пукси шонтыс (ты устал, молодой человек, садись, согрейся)», — заботливо сказал мне старший из звероловов и отодвинулся от огня, давая место нежданным посетителям. Некоторые из звероловов знали меня и потому были рады гостю. Из моей котомки вынули медный чайник; один молодой парень сбегал к ручью за водою; вода скоро вскипела; я положил чай и, погодя немного, с наслаждением пил с домашними сухарями отвар китайской травы, весело разговаривая с моими новыми знакомцами, с которыми случайно столкнулись мы в темном лесу, в осеннюю ночь.

А подле огня уже было не только тепло, но и жарко. Всем собеседникам я подал по чашке чаю; не знаю, нравился ли вкус его этим добрым людям, но они пили да похваливали; иные, верно, в первый и последний раз, на всю жизнь, полакомились теплой водою с куском сахара. Они предложили мне поужинать вместе с ними; мы подвинулись к столу, т. е. к доске, шириной вершков семи, плохо прикрепленной на четырех палках, и принялись деятельно за работу — восьмеро ужинали шестью ложками. Недолго продолжалась наша трапеза; скоро огонь в печи погас, все улеглись на голых досках, каждый окутался своим верхним платьем. Мы встали рано, и опять закипела деятельность: мигом запылал огонь; дым опять плавал над нами облаком. Мне надобно напиться чаю, им —прибрать высохшие шкуры белок, подкрепить себя на дневной труд завтраком и отправиться в разные стороны. Я нанял одного из ночных товарищей, за рубль медью, нести мою котомку до села Пожега, около 30 верст. Еще было темно, когда мы втроем оставили гостеприимный кров нашего ночлега и, радушно простившись с другими звероловами, пошли по дороге к Пожегу. Две собаки пустились в чащу леса отыскивать добычу. Удивительное свойство зырянских собак: они издали попадают по запаху на незаметный след белки, и тогда уже пропала она, бедняжка; как по знакомой тропе бежит ее неутомимый преследователь и останавливается только у того дерева, в ветвях которого скрылась беглянка; нетерпеливый лай привлекает туда зверолова; он старается разглядеть маленькое животное, привычный глаз скоро открывает место ее убежища, и как бы высоко ни была она, но метко пущенная из винтовки (по-зырянски, пищали) пуля редко минует свою жертву; бывает, однакоже, что белка, завидев охотника, пускается в дальнейшее бегство с дерева на дерево, делает удивительные прыжки с одного на другое, сажень по десяти (?); ей нужно, чтоб хоть одна тоненькая веточка попала в ее лапку,

и она уже в одно мгновение на вершине дерева; собака преследует ее, охотник настигает, и бедняжка все-таки не избегает пули своего проворного и неутомимого врага.

Настрелянных белок навешивают за пояс. Когда промысел удачен, то они составляют красивую кисть около талии охотника; тогда ему весело возвращаться в зимовую избу. Редкие берут с собой матку (так называют зыряне маленький компас); лес — их стихия, и они в глуши его ходят, как по знакомой тропе; в ясный день солнце, в ненастный — сучья и кора дерева * указывают им дорогу; добравшись до приюта, иногда уже поздно ночью, раскладывают огонь, поедят чего-нибудь и принимаются снимать шкурки с белок; инструмент один — хорошо наточенный нож, но привычная рука им легко действует; минута — и шкурка готова; мясо белки принадлежит собаке — это награда верному животному за дневной труд; немного нужно времени, чтоб кончить дело, т. е. снять шкурки, расправить их и поднять для сушения. Такова жизнь, проводимая на промысле несколькими тысячами жителей этого края, и они счастливы, когда вознаграждаются труды их. Они весело беседуют вечером, сидя в зимовке перед пылающим огнем, о приключениях того дня, о следах других зверей, на которые попали они, а всего больше об удаче и неудаче промысла, вспоминают своих домашних и терпеливо ждут дней возврата под родную кровлю. А как счастлив бывает зверолов, когда под меткой пулей его пищали падет куница, или лиса, особенно чернохребетная **—такая добыча одна выкупает его от полугодовой, а иногда и от годовой повинности. В этот день, когда мы шли к Пожегу, довольно потрудились за охотой: несмотря на то, что я устал, мы немедля спешили на призывный

* На дереве к северной стороне сучья короче и реже, а цвет коры темнее.

** Лисиц ловят, больше окармливая сулемой: они редко попадаются под пулю.

лай собак, и ни одна белка, па след которой попадали они, не скрылась от пищали Григорья (так звали моего спутника). Одиннадцать шкурок было наградою за наши труды.

Пешком шел я тогда и по Печорскому Волоку, и тем труднее было переходить его, что полузамерзлые болота еще не поднимали человека. Труден был этот переход через пространство до 140 верст; но я дошел счастливо, здорово и семь недель тогда жил здесь. Печора и все реки в ноябре снова вскрылись — столь сильна была необыкновенная оттепель осенью 1825 года. В эти семь недель я ходил с охотниками в леса стрелять рябчиков и ловил в Печоре рыбу. У меня не было ни чаю, ни сахару — запасы были взяты ненадолго и скоро вышли; я привык к крестьянскому быту; а потом пешком же принужден я был еще идти и в обратный путь».

В 1840 году, мая 20, автор, преследуя свою любимую мысль, пустился снова в Печорский край и начал с Чердыни, откуда пустился далее на лодке по реке Колве, берега которой так отличаются типическою красотою наших северо-восточных ландшафтов:

«Утром, в ожидании лодки, — говорит путешественник, — я взобрался на громадную скалу, отвесно возвышающуюся над Колвою. Чудный вид! К югу извивается Колва по долине, усеянной кустарниками; вдали синеют и зеленеют леса, подымаются холмы длинными грядами; к северу река теряется между громадными горами, и на них, как гнезда, видны две деревеньки; на востоке ярко сияет солнце, в пролесках едва виднеются домы деревни Ветлан; везде море зелени».

Этой простой картинки, нарисованной живописно, без претензии на живописность, достаточно, чтобы перенести нас в эти холмистые, малонаселенные, богатые лугами и лесами предгория Урала, имевшего своим поднятием такое сильное влияние на образование поверхности всего Заволожского края. Находясь в таких типических местностях, путешественник, по нашему

мнению, должен не только верно нарисовать ландшафт, но и объяснить его, т. е. показать, от каких причин геологических, ботанических или исторических зависят характеристические черты ландшафта. Иначе этот ландшафт может остаться непонятным. Так, например, во «Введении» к «Северному Уралу» почва окрестностей Чердыни, богатых лугами, называется тундристою и болотистою, и из этого описания, равно как из «Дневника» г. Латкина, мы решительно не можем понять, какова почва этой местности и каково свойство богатых лугов ее. До тундры еще далеко, неужели болота и тундры одно и то же? Леса идут еще гораздо севернее: почему же здесь тундристая почва? Путешествия Палласа и Лепехина, описывающих те же местности, отличаются точностью, достойною всякого подражания.

Далее г. Латкин, следуя тому же направлению к северу, из реки Колвы перешел во впадающую в нее Вишерку и через озеро Чусовое вступил в Вогулку, небольшую речку, едва доступную, и то только весною, для небольших судов; откуда, через, так называемый, Печорский Волок, он должен был перейти в реку Волосяницу, впадающую в Печору. Этот путь обыкновенно избирается в той стороне для не слишком частых сообщений, существующих между бассейнами Камы и Печоры, данницами двух столь отдаленных морей. Для нас всегда имели особенный интерес эти северные волоки, столь важные в географическом, этнографическом и историческом отношениях, играющие и теперь значительную роль в сообщениях и промышленности края; и, благодаря ясной наблюдательности г. Латкина, мы получаем несколько новых черт, характеризующих эту типическую местность. Плаванье по Вогулке оказалось затруднительным...

«Для облегчения лодки, я приказал, — говорит путешественник, — сломать мою каюту. Пройдя 2 или 3 версты от устья, начинаются довольно широкие озера и тянутся верст пять. В глуши дремучих сосновых

и еловых лесов эти бассейны имеют прекрасный вид: в зеркале вод, не возмущаемых даже и тихим веянием ветра, отражаются и ясное небо, и летучие облака, и темные прибрежные леса. Пройдя озера, опять вошли мы в узкое русло Вогулки. Тут начались (по мелководью) новые затруднения... Местами тащили лодку по мелям. Было уже поздно, и мы все еще плыли к, так называемому, Пищальному Бору и, наконец, увидели его. И точно чудный бор! Сюда стараются добраться все судовщики к обеду или на ночлег. После дремучих лесов здесь такое приволье, так светло, так бел мох, покрывающий бор, такие прекрасные сосны растут на нем! Развели огонь. Рабочие ужинали, я пил чай, и потом все предались отрадному отдыху...

...В прежнее время, поднявшись по Вогулке, перевозили суда на реку Волосяницу, а теперь на обеих реках есть особые суда. Для перевозки грузов здесь живет подрядчик, который перевозит кладь по 20 коп. асс. с пуда. Перешеек между Вогулкою и Волосяницею известен под именем Печорского Волока; длина его между Пуповою Пристанью и Волосяницею 10 верст, а между Остожьем и Волосяницею только 4 версты».

Лодки и кладь повезли на телегах; а сами путники отправились пешком по прекрасному берегу:

«Везде как ковер разостлан белый мох. В сумраке ночи, в этих лесах, так редко посещаемых людьми, царствовала совершенная тишина. Сосны, как великаны, высоко раскинули свои ветви. Изредка испуганные тетерева слетали с уединенных ночлегов и быстро скрывались вдали. Вблизи последней пристани (Свинок) открывается порядочная площадь болот; налево от дороги течет, едва заметным ручьем, Вогулка; отсюда недалеко уже до ее вершины. На берегу поставлены до 20 паузков *; они поднимают от 300 до 400, некоторые до 500 пуд.; весной и осенью, когда от дождей речка

* Так называются суда, которыми сплавляют кладь по Волосянице и Вогулке.

наполняется, в них доставляют грузы к Волоку. Осмотрев суда, я пошел далее. Вот и домы, все старые; иным, говорят, более 80 лет, и только один занят подрядчиком. Уже спали, когда мы пришли туда. Утром багаж мой взвесили и перевезли на Свинку — так называется мост, который тянется через топкое болото до канала, прорытого от моста к озерам, сквозь которые течет река Волосяница. На этот мост складывают товары и с него же грузят их в суда. Канал длиною около 150 сажен, и до того заплыл тиною, что в маленькой лодке трудно было пробираться; здешние промышленники и не думают об удобстве.

С пристани мы опять шли пешком к Волосянице по прекрасному и высокому бору. Невдалеке от домов, на дороге, стоит часовня, вероятно, уже давно построенная, во имя Николая Чудотворца, покровителя всех плавающих и путешествующих. В ней есть все принадлежности служения: свечи, ладан, курильница и пр. Путники с душевным умилением входят молиться в это святилище, воздвигнутое в пустыне».

Но, достигнув Печоры, автор не мог далеко продолжать своего странствования; он был остановлен неожиданными обстоятельствами, которые принудили его воротиться домой. Впрочем, мысль о Печорском крае уже не покидала его. Он успел составить компанию для развития промышленности на Печоре и, уже по поручению этой компании, в июне 1843 года, выехал в Печорский край, с целью, во-первых, ознакомиться с состоянием лесов этого края и с возможностью их сбыта, а во-вторых, — отыскать ближайший и легчайший способ сообщения Сибири с Европою посредством Оби и Печоры.

Господин Латкин начинает свой второй дневник с выезда из Санкт-Петербурга, откуда, через Шлиссельбург, он отправился по ярославскому и потом по вологодскому тракту; из Вологды же (через которую в то время капитан Крузенштерн и граф Кейзерлинг уже проехали в Устьсысольск), через Тотьму, Устюг-

Великий, Сольвычегодск, Яренск, Устьсысольск добрался он до Усть-Кулома на Вычегде. Следовательно, теперь ему приходилось проникнуть в тот же край через другие ворота, другие волоки, с которыми он нас и знакомит. Весь путь от Санкт-Петербурга до берегов Вычегды описан на четырех страницах! Здесь мы не можем не остановиться и не выразить нашего сожаления о том, что многие путешественники, отправляются ли они в Оренбург, Астрахань, Сибирь, на Урал, Кавказ, в Крым, Бессарабию или Печору, хотя и начинают свои дневники с Санкт-Петербурга, но, кажется, только для того, чтобы перечислить города и станции, через которые они проехали к месту своего назначения. Неужели же только на границах России, в диких прикаспийских пустынях, посреди башкир, татар или тунгусов, в лесах и тундрах Печорского края можно встретить что-нибудь замечательное? Неужели в середине России, промышленной, деятельной, посреди бесчисленных русских племен и наречий, на этой прекрасной равнине, на которой природа, кажется, старалась примирить все противоречия отдаленных границ, нет ничего достойного внимания? Или все уже так подробно и хорошо описано, что нечего более описывать? Но находят же возможность и в настоящее время путешествовать, и путешествовать интересно, по Англии, каждый клочок которой измерен, срисован тысячу раз, — чуть ли даже не взвешен. Прежние путешественники (Гмелин, Паллас, Лепехин, Зуев) еще хоть что-нибудь говорили о центральной России; многие из теперешних — решительно только записывают станции или довольствуются восклицаниями: прекрасный вид! монотонная окрестность! страшная грязь! и т. п. Хоть бы они позаботились о том, чтобы объяснить, где начинается то или другое изменение форм поверхности, и от чего оно зависит, по их наблюдению, — где одно племя или наречие сменяется другим, и тому подобные вещи, которые сами кидаются в глаза и в которых нуждаются

и наша география и наша этнография. Но обратимся к нашему путешественнику, которого мы оставили на берегах Вычегды.

Из Усть-Кулома, для сокращения пути, г. Латкин решился отправиться верхом через Пожегодский Волок в село Пожег (на карте Северного Урала мы находим только деревню Пожегодскую, стоящую тоже на Вычегде —?). Но это, собственно, не волок между двумя реками, а только прямой путь через далеко вогнутую луку, образуемую Вычегдой, — и вот каковы на нашем северо-востоке подобного рода местности, лишенные рек, этих природных осушающих каналов: несмотря на свою относительную возвышенность, подошву которой обрисовывает река, они всегда болотисты, сыры и потому не населены.

«Пожегодский Волок переехать не совсем легко и в хорошую погоду, не только теперь, после дождей (3 июля). В продолжение 13 часов мы сидели на лошадях. Вдобавок, я нехотя выкупался в реке Куломе. Через нее нет моста, и лошадей перевели вплавь, мы же переходили по дереву, переброшенному через русло реки. Я поскользнулся и упал в воду. Может быть, опасности большой не было, но ехать ночью в мокром платье было не совсем приятно; к тому же езда по живым мостам утомительна; а эти мосты занимают едва ли не половину пути. Я называю живыми их потому, что под ногами лошади каждая мостовина движется, выскакивает, открывая местами довольно глубокие ямы. Это короткие, ничем не скрепленные жерди, набросанные местами на деревья, положенные по бокам дороги; местами эти жерди лежат в порядке, местами набросаны кое-как одна на другую, и по этим-то мостам надобно ехать! Лошадь с трудом держится на них, часто проваливается в болото, выскакивает, старается приостановиться на мосту, но жерди двигаются под ногами, и она, спотыкаясь, идет дальше, снова проваливается, а иногда и падает. На непривычной

лошади здесь не проехать и версты, особенно при спуске с крутых и высоких гор, также грязных и также намощенных, которых много в этой пустыне. Сначала на опасных спусках я сходил с лошади: мне казалось, она неминуемо упадет; но потом усталость превозмогла опасение, и я вполне доверился доброму животному, которое, будто чувствуя оказываемое ему доверие, с величайшей осторожностью ступало по движущимся мостовинам, в глубокой грязи, между корней и зыбучих топей, в довольно темную ночь.

Между тем воздух наполнился комарами; в глубину этих лесов едва ли когда проникает ветер, а потому здесь царство этих насекомых. Проехавши 50 верст, мы не видали ни птицы, ни зверя, как будто и животные чуждаются этих диких дебрей. Поздно ночью подъехали мы к речке Пожег, вблизи деревни; лошадей пустили бродом, а сами перешли по дереву».

Из села Помоздина, последнего по Вычегде, путешественник опять пустился через в о л о к — уже настоящий волок, — который он тоже называет Печорским и на котором на пространстве 140 верст нет обитателей. Это, как мы сказали, отличительная черта волока, который всегда есть возвышенность, более или менее лишенная рек, и потому топкая, дремучая, неудобная для жизни. Реки в этих странах, как мы и прежде убедились из путешествия Лепехина, заменяют осушающие каналы; берега их по большей части имеют твердый обсохший грунт, а потому и самое расселение в этих местах идет по берегам рек. Так прежде шло оно не только в центральной России, но даже в нынешней Орловской и Тульской губерниях, природа которых когда-то не много отличалась от нынешней природы печорских стран. В этом легко убедиться, приглядевшись к расселению различных наречий, которые почти всегда совпадают с бассейнами рек и их притоков. Один бассейн составлял один особый м и р, за которым уже был мир чужой: только какие-нибудь особенные обстоятельства или особая беспокойная

удаль могла выгнать человека из теплого родимого мира в далекие неведомые страны, — за волок. Там, если ему посчастливилось сделать оседлость, завестись домом, заманить к себе чудина в захребетники и расплодить семью, он делался родоначальником нового рода. Так расходилось славянское племя в лесистой чудской земле («бродя по горам между певкинами и финнами»). Оно не любило сбиваться в кучу, не любило строить бургов и, несмотря на свои мирные, земледельческие наклонности, не могло ужиться в мире, ссорилось и расползалось, пока не заняло всей огромной страны. Так, самый природный недостаток славянского племени, в котором укоряют его древние иностранные писатели, служил ему путеводителем по дороге, указанной провидением. По речным ветвям, переходя волок за волоком, разрастаясь на бесчисленное множество родов («кийждо с родом своим»), из которых каждый образовал не только отдельный мир, но отдельное наречие, расходились славянские племена по русской земле. И посмотрите, какую важную роль в нашей истории играют волоки, теперь исчезнувшие, превратившиеся в живописные холмы, увенчанные рощами и деревнями, покрытые разноцветными коврами хлебов; посмотрите, какое неотразимое и благодетельное влияние оказали они сначала на разделение нескольких славянских племен в бесчисленное множество наречий, потом на смешение этих наречий, и, наконец, на соединение всех их в один русский народ. Природа не создала посреди России огромной горной цепи: эта цепь разрушила бы значение нашей земли, стала бы неотделимою преградою между Европою и Азиею; но она и не оставила однообразной, ничем не разделенной равнины: однообразие действует так же убийственно, разделяет так же неодолимо, как и высочайшие горные группы, — как будто природе нужна была страна, могущая соединить две части света. Она создала новую типическую форму, не повторяющуюся уже более на всем земном

шаре: связала огромнейшее пространство, целые полсвета, в одно оживленное целое беспримерной речной системой, которая бесчисленными, перепутавшимися ветвями соединяет Ледовитое море с Каспийским и Черным и море Балтийское с Восточным океаном. Реки стали соединяющими жилами этой неизмеримой страны; а волоки, за недостатком невозможных здесь горных цепей, поделили всю эту местность на области и тем доставили ей то разнообразие в единстве, которое необходимо стране, назначенной к самостоятельному развитию, и которое отразилось и в богатстве русского языка, слившего множество наречий, в богатстве русской души, столь однообразной в бесконечном разнообразии, и в богатстве способностей на все способного русского человека, и, наконец, в том государственном единстве, которого не достигало еще ни одно государство в мире. Волоки, лесистые, топкие, трудные для переходов, населенные недобрыми людьми, о которых и теперь еще на этих местах повсюду сохранились предания *, исполняли у нас ту же самую роль, которую отрасли Альпов исполняли в Западной Европе — разнообразили племя и его историю. Но тогда как горы на Западе остались, наши волоки, исполнив свою роль, превратив славянские наречия в русский народ, и слив славянские ручьи в русское море, а славянские миры в русское государство, исчезли вместе с непроходимыми лесами и болотами. Преграды снялись и уступили место одному цельному и дивно разнообразному территориуму и народу. Вот великое значение волоков не только в нашей протекшей истории, но и в настоящей жизни народа, и вот почему мы следим за ними с таким вниманием.

Не нужно много доказывать, что то же, что совершалось около Владимира, Мурома, Ростова, Твери,

* За несколько подобных преданий мы обязаны автору разбираемой нами статьи.

а еще прежде на верховьях Оки и Днепра, продолжает совершаться теперь, с необходимыми изменениями, где-нибудь в Печорском крае, где продолжают *закидываться* в глушь лесов те же самые *починки*, которые закидывались прежде в глушь муромских дебрей, оставшихся только в предании. Эти *починки*, о которых говорит автор разбираемого нами путешествия, встречаются на каждом шагу в наших юридических актах. Посмотрите, как расползается народонаселение Печорского края, и мысль невольно умчит вас в далекие времена. Но перейдем еще несколько верст за нашим наблюдательным путешественником, чтоб еще более ознакомиться с местностью, на которой скоро выступят и действующие лица. Мы оставили автора при начале трудного пути через стосорокаверстный волок:

«Проехав около 80 верст, а может быть, с объездом болот, 90, усталые, уже поздно ночью, мы приехали к зимовой избе на берегу Вычегды. Лошади до того утомились, что одна из них на пути несколько раз ложилась под седоком; да и есть отчего. Изба была наполнена комарами, а потому мы расположились около огня, на развалинах старой избы. Проводник мой потерял топор, и мы едва достали дров, сварили кашу и наскоро поужинали. Множество лягушек прыгало около нас, но, несмотря на их соседство, мы спали крепко. Вот рассвело; небо все в тучах, дует сильный ветер, накрапывает дождь, в лесу слышно кукованье кукушки. И не в безлюдной пустыне такая погода навеяла бы грусть, особенно, когда от вчерашнего переезда ноют кости, а впереди еще далекий переход пешком по топким болотам...

Вчера в 10 часов утра началось наше пешеходное странствование. Нас пятеро: я, мой человек, двое рабочих и один попутчик, посланный на Печору с бумагами из Усть-Кулома. Дождь лил словно из ведра. Надобно было перебраться через Вычегду на плотике из жердей и двух досок, набросанных на два неболь-

шие бревна. Едва двоим было на нем места. Глубина реки, прибывшей от дождей, была до двух сажен (6 июля); хотя ширина и не более 5 или 6 саж., но шесты едва доставали до дна.

При малейшем движении наш плот погружался в воду; однакож кое-как переправа совершилась благополучно. Мы вышли на противоположный крутой берег и по узкой тропе, едва заметной в высокой траве, пошли один за другим. От зимовья на Вычегде до реки Сордель считают 30 верст; но они показались нам очень длинными. Все это пространство однообразно-низменно (?), с широкими и частью совершенно безлесными болотами, с небольшими возвышениями, поросшими еловым лесом, между которым изредка видны были кедры. Повсюду топь, грязь, местами едва проходимые, особенно там, где много валежника. Дождь лил целый день; с древесных ветвей, мимо которых мы проходили, нас окачивало потоками воды. Комары тучей окружали нас. Медленно один за другим миновали чемкосы, которыми измеряют расстояние у зырян. *На пространстве этих длинных 30 верст мы не видали ни одного ручья;* жажда томила нас, и мы принуждены были пить болотную воду. В 8 часов вечера, усталые в полном смысле этого слова, пришли к зимовой избе.

Вчера, пройдя от ночлега 4 чемкоса, мы отдохнули на берегу какого-то безымянного ручья; шли постоянно по направлению к северу; день был очень хорош, местоположение не лучше вчерашнего; те же болота и топи, но было легче идти, потому что ветер навевал прохладу и прогонял комаров. Около 5 часов вечера мы подошли к быстрой реке Сойве, впадающей в Мылву. В необыкновенно светлой и холодной воде этого потока мы выкупались и перебрались по жердям, переброшенным с одной козлы на другую, между обоими берегами на ширине 30 сажен. Мостик этот лежал над горизонтом быстрой Сойвы более 4 аршин; нельзя

сказать, чтоб переход по этому мостику был совершенно безопасен. С истертыми ногами едва мог я пройти еще три версты до деревни Сойвы, где думал найти лошадь, чтоб доехать до Мывдынского погоста. К несчастью, все лошади были в лугах, и, отдохнувши, пришлось, хотя с большим трудом, идти дальше, едва ступая. Так прошли мы еще 10 верст и поздно ночью кое-как добрели до погоста на берегу Печоры».

Вот каков волок и в настоящее время. Чем же он был прежде, когда на нем не было ни мостов, ни плотин, ни тропинок, когда не только человек, но даже и зверь не забирался в такую глушь! И сколько нужно было мужества предприимчивому удальцу, который, решившись покинуть свой мир, пускался в эти непроходимые дебри искать нового места для поселения! Но вот картина, которая может нам несколько напомнить давно былое:

«Река Сойва протекает между высоких гор; вершины ее довольно далеки; они принимают в себя до семи притоков; на берегах ее только два селения: одно, где мы были, на пути от города, — в нем восемь домов; другое, еще новое поселение, выше по реке около двадцати верст от погоста, — в нем всего четыре дома. На месте первого, назад тому около полувека, была пустыня. Один из крестьян мывдинских, по имени Фома, деятельный и трудолюбивый, заметил, что луговые берега Сойвы предоставляют большие удобства для скотоводства, что река обильна рыбой, что возвышенности около нее богаты доброй землей, и решился основать здесь свое жилище; он вырубил лес, с неутомимым трудолюбием разрабатывал поля, и девственная почва вознаграждала хорошо его труды. Скоро широко раскинулись поля и луга Фомы, появились стада домашних животных; необыкновенным радушием и гостеприимством Фома приобрел общее уважение. Для каждого прохожего у него был искренний привет, ласковое слово, жаркая баня, сытный стол и мягкая постель из оленин и соломы. Едва ли кто проходил

или проезжал мимо его селенья, не погревшись в теплой избе старика Фомы; зато бог и благословил его: довольство обитало в его гостеприимном доме; сыновья, внуки и правнуки окружали его и, построив новые дома, составляли все население деревни. Я знал этого доброго старика и ночевал под его гостеприимной кровлей несколько ночей, проходя пешком вперед и обратно Печорский Волок в октябре 1825 года; тогда он встретил меня как дорогого гостя; он понимал, как трудно в эту пору переходить волок, особенно пятнадцатилетнему мальчику. Я помню этого, сгорбленного от трудов и лет, маленького старика, который приветствовал нас ласковым словом «видзя локтэ»; теперь я гостил у его внука; старичка уже давно нет. Поселение Фомы расположено на красивой возвышенности, близ реки; около полей растут посаженные им, теперь уже большие, кедры».

Таких новых поселений, возникших лет за пятьдесят и шестьдесят, предприимчивые основатели которых живы еще или недавно только умерли, много в Печорском крае; некоторые из них стали уже порядочными деревнями, бросили от себя в глушь окрестных лесов новые, уже изрядные починки, скоро, может быть, превратятся они в почтенные села и погосты, украшенные божьим храмом, окруженные деревнями-приселками — детьми и внучатами. В этом месте поселения эти основываются зырянами, удивительным финским племенем, которое, по своим способностям, по своей предприимчивости, по своей физиономии, даже совершенно не похоже на своих соплеменников и только языком отличается от великороссиян. Русские поселения (как прекрасно заметил автор при описании Пустозерска) теряют уже здесь характер славянских одиночных расселений. Но мы будем еще иметь случай поговорить о печорских зырянах, а теперь последуем за нашим путешественником, простой и ясный рассказ которого беспрестанно пробуждает новые мысли.

Мы покинули г. Латкина усталого, измученного, после перехода через огромный волок с берегов Вычегды на берега Печоры. Отдохнув в Троицком погосте, он быстро пустился вниз по течению Печоры на большой лодке. В тридцати чемкосах ниже Троицкого погоста, г. Латкин показывает устье Вельвы, реки весьма порядочной, в 250 верст длины, со многими притоками, богатой по берегам лиственничными и сосновыми лесами; но мы не находим этой реки, которую никак нельзя причислить к ничтожным*, на карте Северного Урала. Не знаем, чему приписать такой пропуск со стороны составителей карты или ошибку со стороны путешественника, тем более, что деревни Покчинская и Петрушино, мимо которых проезжал г. Латкин, на карте означены, и далее также означена и деревня Митрофановская. Деревни по берегам Печоры, упоминаемые г. Латкиным, хотя их и очень немного, также не все означены на карте. Также необъяснимыми остаются для нас противоречия подобного рода: г. Латкин говорит (стр. 63), что, проплыв от деревни Подчерема один чемкос, он увидел «впереди высокий мыс горной возвышенности, покрытый еловым лесом; он изменяет течение Печоры, которая подле него довольно круто поворачивается к западу», тогда как на карте, где не означено никакой возвышенности, за деревней Подчеремом река продолжает течь постоянно на север и даже уклоняется несколько на восток. Не принял ли путешественник небольшого изгиба за поворот реки?

Затем следует весьма интересное описание Брусяной горы.

Дальнейшее плавание по величественной реке этой северной пустыни изобилует множеством прекрасных картин и драгоценных заметок, высказанных тем же ясным и метким, чисто русским языком. Жаль

* Да и те, по объяснению, приложенному к карте Урала, должны быть означены на ней пунктиром.

только, что г. Латкин еще не довольно подробен. Он большой мастер рисовать картины, и в этих картинах лучше, чем в целых томах статистических перечней, отражается характеристика местности. Вот еще одна из этих картин, в которой выступает на сцену иное племя, некогда безраздельно властвовавшее в этой пустыне, а теперь скитающееся в жалких остатках по болотистым вершинам Урала. Мы уверены, что читатели наши не посетуют на нас за эти частые выписки:

«Вчера был чудесный вечер (17 июля); порой ветерок надувал парус, и лодка быстро неслась по гладкой поверхности реки. Разнообразные виды берегов отражались в ней как в зеркале; две, три вершины горы Сабли едва виднелись вдали на горизонте, верст за сто от нас; в стороне, на берегу, в тени кустарников мелькал огонек, и дым застилал часть берега. Мы поворотили к неизвестному биваку и скоро увидели берестяную юрту или чум и толпившихся около огня бедных его обитателей. «Откуда взялся тут ёгра? видно, пришел из-за Кимья хлеб искать», — сказал один из проводников моих, когда мы поднимались на крутой, обрывистый берег и по тропинке подходили к кочевому жилью; собаки зачуяли приближение чужих, и сердитый лай их смутил тишину вечера; старый манча встретил нас приветливо; мы кое-как объяснились по-зырянски. Это была семья зауральских остяков; сами себя они называют манчами; зыряне же называют их ёграми. Все богатство этого остяка, манча или ёгра, заключалось в чуме, или круглом шалаше, крытом летом берестою, а зимою оленьими кожами, и в нескольких оленях. У богатых остяков и самоедов чумы, или, по-самоедски, мяканы, укрываются двойными оленьими кожами и внутри выстилаются или цыновками из разных растений или теми же кожами; такое жилье немного хуже киргизских кибиток, с тою только разницею, что последние выше и просторнее. Чум остяка представлял бедное кочевое жилье, да и сам он едва прикрывался лохмотьями малицы; на

загорелых ногах не было обуви; длинные, черные волосы, до которых никогда не касался гребень, прядями висели до плеч; ему было около 50 лет, но нужда и, вероятно, голод избороздили плоское и желтое лицо бедняка. Подле него лежал у огня полунагой мальчик; двое детей выглядывали из-за редины, которою завешен был вход в чум (жена и дочь ушли работать в деревню); два оленя с телятами паслись в стороне за дымом, отгонявшим комаров. Тут были все радости, все богатство старого манчи, для которого хлеб — редкость. Сегодня у него варился сытный ужин из тетерева; но что будет завтра, что будет зимой, когда завернет мороз в 40 градусов, или метелица занесет все лесные травы, когда и зверь с трудом защищается от холода в этой пустынной стороне?

Манча давно окрещен; христианское имя его Дмитрий; но он держится и своих родовых обычаев. Летом он ловит рыбу в Печоре, ловит тетеревей, рябчиков; жена ходит на работу в деревни; зимой он живет в землянке на правом берегу. Когда ижемцы с стадами оленей прикочевывают на левый берег Печоры, то житье бедной семьи становится лучше: они помогают ей скудной милостыней; и когда, на их счастье, из многочисленных стад ижемцев останется больной олень, то существование семьи, хоть ненадолго, обеспечено. Назад тому около десяти лет (в точности он не помнит), в отчизне его, на берегах Оби, свирепствовала ужасная болезнь и истребляла целые семьи. Это побудило его оставить родной край и откочевать через Урал к берегам Печоры. Я дал детям по куску сахара, а ему — чарку водки и немного хлеба; он был счастлив и беспрестанно повторял, провожая меня до лодки: «а тэ кучем бур ез! (Ах, какие добрые люди!)», желал нам всевозможного счастья и долго стоял на берегу, пока сумрак вечера и даль не скрыли его от нас.

Мне рассказывали, что в прошлом (1842 году) манчи зауральские пообидели промышленников на зверином промысле; говорят, это и прежде случалось. Бывает,

что промышленники платят кочевым племенам за Уралом, вроде оброка, свинцом и порохом за право промышлять в их лесах. Порой бывают драки и насилия; не встречу ли и я этих властителей пустыни?

Проплывши версты четыре от чума манчи, мы пристали к левому берегу, и я пошел пешком в деревню Кожву. Мне нужно было найти бывалого проводника на Усу. Эта деревня хотя и подле реки, но не всегда можно плыть по мелководному протоку Печоры, на берегу которого лежит она. Была полночь, когда я пришел в деревню. Здесь уже Архангельская губерния, и это селение принадлежит к Ижемской волости Мезенского уезда. Я остановился у богатого крестьянина Силы Артеева, хорошего рыболова и оленевода; у него порядочный дом, состоящий из нескольких горниц с большими окнами. Здесь начинается другой край. Построение домов, чистота в них, большие светлые окна, довольно крупный домашний скот, много рыбных бочек около изб — дают понятие о приволье, о значительном рыбном промысле и что осиновый кач едва ли здесь в употреблении».

Но предоставим самому читателю отыскивать в этом путешествии прекрасные места, которых в нем так много, и поспешим проследить, сколько можно короче, путь г. Латкина, который только что начинается.

Берега Печоры прекрасны и чрезвычайно живописны. Обитатели сел и деревень — зыряне, народ промышленный и потому довольно зажиточный; главный промысел их составляют обильные рыбные ловли в водах Печоры и ее притоках. Но мы не можем пропустить еще одного любопытного известия о том, как заводятся новые поселения в этой стороне. Вот как основалась деревня Соколова, считающая теперь уже 7 дворов:

«Назад тому лет семьдесят какой-то писарь села Усть-Цыльмы, Соколов, первый поселился здесь, и вот явилось уже целое поселение из его потомства, которое занимается рыбным промыслом, и в иной год

продает семги до 400 пуд.; только один из Соколовых имеет в тундре до 300 оленей».

Добравшись до устья реки Усы (огромного притока Печоры, впадающего в нее с левой стороны), г. Латкин решился, взяв проводника, пуститься вверх по этой реке. Здесь путешествие его становится еще занимательнее. Он останавливается на несколько времени в Колве, одном из немногих самоедских селений, жители которого христиане, хотя и недавно еще сделались оседлыми. Быт священников села Колвы и их полукочующего прихода описан прекрасно. Сведения о самоедах, собранные здесь г. Латкиным, равно как и изложенные выше сведения о зырянах, интересны, представляют много нового и показывают, что автор приготовился к своему путешествию, прочитав все, что мог добыть об этом крае и его населении. Пример, достойный подражания. Отчего, по большей части, пусты наши дорожники и путевые заметки? Да потому, что авторы их не знают ничего о стране, по которой проезжают; а замечательности страны надобно уметь отыскать: сами они в глаза не кидаются. В Колве наш путешественник встретился с известным филологом г. Кастреном, который в то время уже полтора года, как оставил Финляндию. Сначала он был у лопарей, потом навестил самоедов Малоземельской тундры, потом переехал в Ижемский погост к зырянам, а из Ижмы в Колвинский погост, откуда намерен был пуститься далее по берегам Сибири, надеясь там встретиться с Шегренем и предполагая все путешествие кончить в шесть лет. Самоеды очень любят свою дикую, пустынную родину, которую обыкновенно раскрашивают так страшно. Вот как отзывается об этой страшной тундре один из самоедов, который, как и многие из его собратий, уже не может попрежнему кочевать по ней и с грустью вспоминает прежнее, веселое время. К сожалению, этот рассказ, весьма замечательный, как кажется, несколько подкрашен автором, что отымает у него много оригинальности:

«В час пополудни рабочие отдыхали. Мы опять бежали под парусом. Самоед Миклей сидел на носу лодки, и мы разговаривали с ним по-зырянски о тундре. Передаю в переводе его рассказ.

«В тундре нам весело (говорил он); зиму откочевавши в лесах или около камня, где бор и мох, там и житье зимой со стадом; летом идем в тундру, на север. На одном месте живем день, иногда два, три и даже пять, пока есть корм для оленей. Зимой олень добывает белый мох из-под снега, а летом иногда питается травой и листьями керча *, которого в тундре много. Зимой там бывают страшные вьюги и метели, а потому жить нельзя; но летом хорошо: днем тепло, даже иногда жарко, а ночью прохладно. Ну, и оденешься потеплее, да за то нет комаров: не обидно ни нам, ни оленям. В тундре мы почти все знаем друг друга; бываем рады встрече с родными и приятелями. Летом берестяные чумы видны далеко; иногда на виду по холмам несколько чумов; мы даже по дыму узнаем кочевья не за один десяток верст и знаем, чей должен быть там чум. Богатым, вестимо, везде лучше. Иной только встанет, запряжет в легкие сани отличную тройку быков ** и летит по тундре к чуму друга; там его принимают радушно; иногда для дорогого гостя заколют жирного оленя, полакомятся его теплым мясом и кровью (мы едим сырое и пьем кровь: это нам кажется очень вкусным); пируют и едят целый день, иногда два, три; гостей сбирается много, до десятка, и больше. Если есть вино — так уж полный пир. Да, богатые живут весело; и о чем им думать, когда есть сот пять оленей? Для присмотра у них наняты работники; обыкновенная плата в год пять и шесть оленей, готовая пища и платье; то и другое от оленя. Для присмотра за стадом людей нужно немного: на пятьсот, даже на тысячу довольно двух человек, а троим можно

* Растение не выше трех четвертей аршина с мелкими листьями.

** Быками называют кладеных оленей.

управиться и с двумя тысячами, потому что настоящие-то сторожа — собаки. Зато их и ценят дорого: за лучшую собаку даем два, три и даже четыре оленя. К тысяче оленей довольно трех добрых собак. Олени, на которых мы ездим, ценятся дороже: за иного не возьмут пяти простых, особенно за передового; таких холят, как лошадей. Зимой пара, а летом тройка, или четверка одного седока несут довольно быстро, без остановки, верст по пятидесяти. Большими стадами кочевать неудобно, и потому разделяют их. Летом в одном стаде ходит оленей по тысяче и больше, а зимой меньше: тогда трудно находить корм. Жены и дочери наши делают чумы, приготовляют из жил оленя нитки, шьют платья и обувь, готовят пищу; есть такие, которые только и живут шитьем. Да, летом в тундре очень весело! Иногда подвигаешься понемногу вперед и вдруг видишь вдали, на высоком месте домы; подумаешь, деревня — откуда взялась? Знаешь, кругом нет жилья; вот и подойдешь ближе и увидишь одни бугры. Тундра неровна, все холмы; иные круты, другие отлоги, а есть и высокие горы; виды красивы; почти везде сухо; иногда едешь целый день — и олень копыта не замочит. Местами белый, черный и красный мох. Сырые и болотистые места покрыты белоголовчатою травой *, издали словно снег лежит. Правда, и его есть немало за холмами, в рытвинах и под крутыми берегами рек. Озер у нас много; иные очень велики и глубоки. Мы спускали в одном озере камень на веревке до 100 саж. и не достали дна, а вода так светла, что на две сажени виден песок. В одном месте на большом озере есть остров; он весь, я думаю, из медной руды разных цветов: зеленого, черного и медянистого. А сколько в озерах всякой рыбы — и сигов, и пелядей, и чиров! Ловим большими неводами. Бывало, закинешь и столько вытянешь, что достанет рыбы не на один день; иногда мелкую девать некуда: соли у нас

* Болотный пух.

нет. Крупная рыба жирна и вкусна. Ну, хлебом мы небогаты; иногда муку привозим от ижемцев. Да можно и без нее жить. Рек по всей тундре много; есть быстрые и с каменными берегами. Множество гусей и уток прилетают на реки и озера; но и кроме их в тундре много разных птиц; кажется, там птицы всех родов, какие есть на свете. После этого, как же не весело в тундре! То кочуешь, то остановишься у озера неводить рыбу, или кулемами ловишь песцов; проворный промышленник поймает их много, до сотни и больше. Летний зверь недорог; отдаем песца по рублю, а зимние по три рубля; голубых мало; за них-то платят по 7 рублей и дороже. Годом родится морошка; мы запасаем ее на зиму. Когда сам и стадо здорово, да промысел удачен — где же можно жить веселее, как не в тундре?»

«Зачем же ты переселился к Колвинскому погосту, когда так весело в кочевье по тундре?» — спросил я. — «Да, так, и сам не знаю зачем. Женился; а жена хочет жить в деревне, и я от того не прочь. Может быть, и здесь будет хорошо», — отвечал он. «В погосте, разумеется, будет лучше, — сказал я, — там и благовест слышишь, там и в церковь помолиться сходишь». — «Да, правда, веселее, веселее», — с выражением удовольствия отвечал Миклей.

По рассказам Миклея и других, тундра представляется пространством неровным, топким и болотистым. Это безлесная степь севера, богатая птицами и животными, по которой тянутся высокие хребты, холмы и горы; она усеяна множеством светловодных озер, прорезана реками и речками, изобилующими рыбой, покрыта разноцветными моховыми коврами, где пасутся сотни тысяч оленей и кочуют коренные обитатели страны самоеды, и деятельные пришельцы с берегов Ижмы, завладевшие всеми выгодами края, богатого, по своему положению, дарами природы. Разве не богатство — мох, питающий оленей, дичь и рыба, обеспечивающие существование полудиких обитателей тундры?

Путешественник продолжает подыматься вверх по течению Усы, преодолевая трудности мелководья, и мало-помалу вдается в страну, которая может составить особый географический тип. Это — тундра, но тундра, оразноображенная предгориями Урала, вершины которого уже показываются вдали. К сожалению, путешественник не означает с точностью мест перехода, да и не может этого сделать по недостатку геологических и ботанических сведений. Как ни скудна растительность этой страны, но, вероятно, в ней можно видеть различные флоры: флору тундры, болот, предгория и горных вершин; а это различие необходимо для полной и ясной картины всякой переходной страны, где одна форма поверхности сменяется другою. Тем не менее, наглядные заметки путешественника передают нам несколько характеристическую особенность этой красивой, но безлюдной пустыни, где попадаются только избы и амбары, выстроенные предприимчивыми ижемцами, которые за 900 верст от дома ходят на рыбные промыслы. Г. Латкин сообщает нам интересное и весьма вероятное предание, что «в старину по Усе доставлялись произведения Зауралья к торговцам Великого Новгорода», но, к сожалению, не сообщает источника этого предания, равно как и некоторых других, приведенных им в разных местах его путешествия.

Страна час от часу делается гористее, река суживается, мели и камни затрудняют проход лодки, притоки шумят и пенятся, подобно горным ручьям; вдали появляются горы: «Местами тянулись блестящие белые полосы снежных сугробов, местами казалось, что целые скалы были покрыты светлорозовыми, темными и синими цветами... Я шел, — продолжает путешественник, — по безлесной, холмистой тундре; вдали кое-где торчали группы елей — это уже тундра; кругом холмы; их перерезывает светлая полоса реки — это наш путь». И далее: «Мы теперь среди настоящей тундры; редко видим лес; всюду места откры-

тые, холмы и долины. Берега так красивы, как будто нарочно выровнены, сглажены, выстланы дерном и инде усажены кустарниками. Вы не успеете полюбоваться одним местом, каким-нибудь дальним холмом, и вот, по направлению реки, несколько далее, показываются новые долины, рощицы, возвышенности еще красивее прежних. Ручьи и речки разрезывают тундру, образуют овраги; берега их опушены кустарниками, кое-где даже елями, а они здесь становятся редкостью». Неужели это — тундра, о которой с таким мрачным негодованием обыкновенно отзываются? Да! Но только тундра предгорная, о которой география вовсе умалчивает.

Далее путешествие продолжается по Ельцу, одному из притоков Усы; но Елец так быстр и на нем такое множество порогов, что путешественник должен был идти пешком «по длинным скатам холмов, покрытых местами кустарниками, усеянных колокольчиками, купальницей, белыми и розовыми цветами и множеством незабудок, мелких и крупных, всех возможных цветов, особенно в некотором расстоянии от берега; много и керчи — это родное растение тундры. Кругом холмы выше и выше, а за ними хребет Урала, с белыми снежными долинами, вершины которого скрыты в облаках и в тумане. Иногда взор обманывается: видишь целую деревню, несколько домов, наводишь трубу — а это бугры или группы кустарников. Кажется, недалеко до хребта, но еще долго надобно идти к нему... Сильно шумят светлые струи Ельца, встречая преграду в камнях...» Картина предгорной тундры, которою воспользовался бы Риттер, ясна и отчетлива. Таких картин много в путешествии г. Латкина. Мы не будем уже выписывать их далее, но скажем только, что такие описания типических местностей, рассказанные просто, нарисованные ясно, без размалевки, не всякому даются легко, несмотря на свою кажущуюся простоту, и составляют истинный клад для географа. Мы смеем предсказывать, что многие

страницы путешествия г. Латкина войдут в будущую географию России, так как подобные страницы могут развить в душе русского ясное сознание о своей родной стране. Такими картинами вовсе не должно пренебрегать: они твердо, неизгладимо напечатлевают в нашем уме характер местности и оставляют в душе живой образ ее.

Русло Ельца так стеснилось далее, быстрота его так увеличилась, пороги сделались так часты, что путешественник должен был покинуть лодку и продолжал свой путь в горы пешком. Описание плоских вершин Урала прекрасно. Скоро г. Латкин добрался до угла своего путешествия — раздельного пункта между притоками Оби и Печоры. На самом этом месте находится небольшое озеро, «длиною около версты, шириною до 300 саженей, окруженное довольно высокими берегами, так что если запереть его у истока речки, которая должна быть Симаруха, то можно поднять горизонт воды сажени на три...» Приблизившись к северному берегу озера, путешественник увидел еще два озера и русло реки Соби. «Она течет с юга, — говорит путешественник, — из-за самых гор; приняв несколько ручьев, она становится порядочной речкой, впадает в одно из сказанных озер, переливается в другое и в крутых, довольно высоких берегах течет дальше. Около шести верст отходил я от большого озера. К северу от него, несколько выше, еще порядочное озеро и множество мелких».

Из этого описания мы видим, что и в северной части своей Урал сохраняет свою характеристику: на западе — холмистое, постепенное поднятие, и на востоке — обрывистое, означенное озерами, через которые ручьи и реки переливаются, увеличиваясь быстро. Эту характеристику заметил еще Паллас: так везде верен самому себе один и тот же *географический тип*. Но напрасно мы хотели следить по карте Северного Урала за нашим путешественником и поверить сколько-нибудь предполагаемую им возмож-

ность соединить Собь (приток Оби) с Ельцом (притоком Усы и, следовательно, Печоры): истоки обеих этих рек означены на карте очень неясно; а озер и речки Симарухи и вовсе нет, да и самая Собь означена только пунктиром, следовательно, нарисована по слухам *, хотя она никак уже не может быть причтена к «речкам, не стоящим внимания». Еще более жаль, что на карте мы не находим горных и предгорных озер, может быть, весьма не замечательных по величине, но составляющих географическую характеристику Уральского хребта на всем его громадном протяжении. На карте не может быть начерчено все, да и не должно: чем менее карта испещрена, тем лучше; но характеристические черты географического типа, как бы они мелки ни были, должны быть непременно сохранены. Карта, как и географическое описание, не должна быть дагерротипным снимком, но художественным портретом страны, и карты, нарисованные с величайшею точностью, с мельчайшими подробностями, раскрашенные великолепно, но нарисованные только посредством механического способа, без одной идеи, всегда мертвы и менее знакомят с местностью, нежели две-три черты, набросанные на лоскутке бумаги даровитым наблюдателем, постигшим характеристику изображаемого им географического типа. Никакая карта не может выразить всего, но должна выражать хоть что-нибудь. Все сказанное нами, конечно, нисколько не относится к карте Северного Урала, составленной прекрасно, и описание которой еще впереди. Но мы не знаем, как объяснить многие противоречия, существующие между путешествием г. Латкина и картой Северного Урала.

* В объяснении карты Северного Урала сказано, что «пропущены только такие речки, которые не стоят внимания», но что и о тех, однакож, экспедиция старалась собрать на месте сколько возможно полные сведения и они на карте означены пунктиром. Но Собь вовсе не ничтожная речка.

Добравшись таким образом до цели своего странствования, г. Латкин помещает здесь большое рассуждение о возможностях и выгодах соединения Оби, следовательно, всей богатой Западной Сибири и Приалтайского края (через Иртыш) с Печорой, т. е. с Ледовитым морем. Мы не будем приводить здесь этих рассуждений, — желающие могут найти их в самой книге; но скажем только от себя, что они показались нам совершенно дельными. Соединение Сибири с заграницею через волжскую систему так затруднительно, что выгоды другого, гораздо кратчайшего и удобнейшего пути очевидны. Тогда бы богатства Сибири нашли себе прекрасный сбыт: огромные леса, огромные и необыкновенно плодородные поля, луга, которые в силах вскормить миллионы скота, и произведения минерального царства, доставляемые одним водным путем, получили бы свою настоящую цену. Но действительно ли возможен такой канал? Ответ на это мы, вероятно, найдем во втором томе «Трудов Уральской Экспедиции».

Отсюда путешественник отправился обратно вниз по той же реке: те же картины, то же безлюдье; но вот на берегу семья самоедов, прокутивших при помощи ижемцев всех своих оленей:

«Вся семья состояла из 7 человек: молодого и красивого самоеда с полурусской физиономией, жены, четверых детей — чистых самоедов, и еще молодой самоедки, которой отец в тундре у ижемцев, а она предпочла сообщество с ними житью с земляками. С ними было до 10 собак, и все люди и собаки лежали вместе на пространстве каких-нибудь 4 или 5 квадратных сажен. На вопрос мой: почему не живут в избе, самоед отвечал, что хотя там просторнее и удобнее и что хоть они было так и поселились, да скоро наскучило, и они перебрались в чум. «Есть ли у вас хлеб?» — спросил я. «Есть немного, для примеси в уху и в щи», — отвечал он, — «да и на что нам хлеб? Мы привыкли жить без него; если есть рыба, то и слава богу».

Но вот самоед в самом уже жалком состоянии, до которого только могли довести его промышленные ижемцы, оживляющие этот край своею неугомонной деятельностью.

Груз лодки, на которой г. Латкин подплывал уже (во 2-й части своего дневника) к истоку Усы в Печору, увеличился одним пассажиром — самоедом. «Мы нашли его на берегу Усы и взяли с собой. Служа работником у одного ижемца, он был с ним в тундре. Оттуда хозяин вздумал послать его домой, т. е. в Ижемский погост, а на дорогу ему дал только топор, огниво и хлеба дня на два, хотя пути предстояло, при благоприятных обстоятельствах, дней на десять. Бедняк пошел один с своей шершавой собакой. У верховьев реки Азьвы он сделал плотик и поплыл по течению; голод начинал уже томить его, когда, по счастью, он встретил самоедов на гусином промысле. Они взяли его с собой. Лов был довольно удачный, и на его часть досталось до 40 гусей. С этой добычей самоед поплыл опять по Азьве на своем плотике, вычистил гусей и стал сушить их на солнце, некоторые начали скоро портиться; попорченных он ел и кормил ими собаку, а сухие берег в запас. Часто сильные ветры захватывали и задерживали его; один раз большой медведь неотступно следил его вдоль берега неширокой реки Азьвы. Бедняга-самоед думал уже, что настал его последний час, однакож решился попугать медведя: начал кричать, стучал топором, а медведь шел да шел рядом с плотом самоеда. Наконец косматый житель пустыни видно сжалился над бедняком, или наскучило ему: посмотрел на пловца и поднялся на берег. Самоед много раз был в опасности во время сильных ветров на своем утлом плоте, но судьба хранила его. Однажды донеслись до него звуки человеческих голосов из-за острова... он обрадовался; но крика его никто не услышал, и он опять остался один в пустыне. Издали он видел нашу лодку, когда мы бежали парусом; надеялся завернуть в погост, да не нашел устья Колвы. Он сидел на берегу у огня,

когда мы плыли, и просил нас остановиться и взять его с собой. Мы приняли его с условием, чтоб он бросил полугнилых, вонючих гусей, и обещались кормить его. Он долго не решался на такое пожертвование; наконец необходимость заставила согласиться; он взял одного гуся в запас, другого в руки — глодать, и сел в лодку, но долго с грустью поглядывал на свой плотик, где гнилые гуси. Павлу, так звали самоеда, было около 25 лет; он хорошо говорит по-русски, знает язык манчий и зырянский. Все платье его состояло из плохой малицы, худых штанов и обуви; рубах он давно не знает; шапкой служат ему густые черные волосы. Жалованья он получает по 11 рублей серебром в год.

Но каков же хозяин Павла — послать бедного самоеда пустыней, через сотни верст и не дать даже хлеба! Поступок этот не лучше грабежей карачеев».

Теперь интересно узнать, кто же такие сами эти ижемцы, оживляющие Печорский край своею промышленностью, подобно тому, как северо-американцы оживляли леса краснокожих, или англичане — Восточную Индию? Вот как описывает их автор «Введения» в 1-м томе «Трудов Уральской Экспедиции»:

«Зыряне села Ижмы живут гораздо лучше, нежели в других селениях. Многие из ижемских крестьян имеют большие стада оленей; у некоторых есть стада до шести тысяч голов, и оленям Ижма обязана своим благосостоянием. Предприимчивость и коммерческие способности ижемца видны на каждом шагу: он вполне постиг, какое важное значение имеет олень в северных странах. Ижемец пользуется им систематически, у него ничто не пропадает даром. В течение лета он с своими оленями кочует на Большеземельской тундре, ладит с остяками и самоедами и дешево покупает у них лисиц, песцов, особенно же оленьи шкуры. В начале зимы он приближается на берега Усы и после к своему селу, оставляя стада оленей вблизи Ижмы. Постоянные сношения ижемских оленеводцев с Обдорском в

течение зимы дают им возможность покупать там хлеб дешевле, нежели в Архангельской губернии. В Обдорск ижемец не едет с пустыми руками; он туда везет мясо убитых оленей, масло, семгу и прочее, продает все это дорого: например, масло продается в два раза дороже в Обдорске, нежели в Ижме, и взамен покупает из первых рук меха, особенно оленьи. Замшевые фабрики в Ижме имеют постоянную работу. Русские, живущие в Обдорске, дорожат этими сношениями с ижемцами. Некоторые из русских обдорских купцов и мещан пробовали подражать ижемцам, обзаводясь оленями: но, поручая стада свои надзору самоедов, они не имели от этого никаких выгод. Оленеводство может процветать только под личным надзором самого хозяина, оленевод должен решиться на кочевую жизнь. Зыряне в высшей степени способны к промышленной и торговой жизни, — это народ, полный энергии, живого характера. Мужчины и женщины весьма стройны и красивы; редко случается, чтобы зырянин молчал, он постоянно говорит с таким увлечением, что разговор их кажется ссорою. Очень немногие из них знают русский язык. Смотря на этот народ, полный жизни, на стройность и подвижность их тела, невольно удивляешься, отчего это племя так резко отличается от своих собратов — финнов. Зырянин оживляет эту мрачную страну Севера. Костюм женщин мало отличается от костюма мужчин. Верхнюю одежду составляет малица, вроде длинной рубахи из оленьего меха. Когда зырянка сядет верхом на лошадь и отправляется в соседнюю деревню, то она всю дорогу без умолку распевает русские песни камских и волжских бурлаков, несмотря на то, что она вовсе их не понимает. Контральто зырянки раздается далеко по лесам. Зырянин, особенно ижемский, весьма любознателен; все его интересует, ему надобно все растолковать. Я познакомился в Обдорске с одним ижемцем, астрономом-самоучкою, имеющим порядочные сведения в астрономии. При частых с ним разговорах он постоянно

сводил речь на движение планет; здесь он не довольствовался обыкновенным поверхностным описанием, какое достаточно для большей части диллетантов; напротив, моему знакомцу надобно было объяснить все с подробностью, иначе он вас остановит на каждом слове. Так как он не учился нигде математике, то обыкновенно от законов движения планет разговор переходил к математике, к свойствам геометрических фигур. Наши лекции часто продолжались по нескольку часов, и на другой день опять он являлся с новыми вопросами. Мало того, он нарочно переезжал с места на место, чтобы опять встретиться со мною. За несколько лет до того времени он ездил в Петербург и, разумеется, не преминул познакомиться с С. И. Зеленым, которого лекции популярной астрономии были ему известны. Надобно было слышать, с каким увлечением он рассказывал все, что он видел в Петербурге, с какою основательностью он изучил все книги, которые он получил в подарок от С. И. Зеленого».

И можно ли поверить, что это одноплеменники наших подпетербургских чухонцев?! Должна же быть какая-нибудь этнографическая, или, скорее, историческая причина такой разницы? По нашему мнению, это различие зависит от того, что чудь остзейских провинций с незапамятных времен была народом покоренным и никогда властвующим; а зыряне всегда не только оставались народом самобытным, но гнали перед собой племена остяков и самоедов, — а такое пополнение сил одного племени на счет другого, такое взаимное поглощение племен действует благоприятно на развитие племени властвующего. Доказательств этому в истории множество, и мы не знаем ни одного новейшего племени, которое бы не усилилось на счет других, исчезнувших в нем, но оставивших след в его характере. Припомните только множество этнографических пластов, которые нужны были для образования английской народности. Не это ли же было причиною такого замечательного развития зырянского

племени, наследовавшего землю, богатства и силы самоедов и остяков?

Статья наша давно уже перешагнула пределы журнального разбора, а между тем перед нами еще вся вторая часть «Дневника» г. Латкина, нисколько не уступающая в занимательности первой. И потому мы поневоле должны ограничиться, выставив один дальнейший маршрут г. Латкина и указав на лучшие места. Путешественник спустился по воде до самых устьев Печоры. Его описание сначала зырянских, а потом русских деревень и погостов — прекрасно. Особенно характеристика русского народонаселения, происшедшего от выселенцев Великого Новгорода, чрезвычайно ярка. А с каким интересом читается описание отдаленного Пустозерска и быта его жителей! Сведения о рыбных промыслах интересны. Но если бы мы захотели познакомить читателя со всеми лучшими местами путешествия, то нам пришлось бы перепечатать почти всю книгу, за исключением некоторых ненужных известий об обстоятельствах путешествий, которые неизбежны в «Дневнике», набросанном наскоро, но которые весьма удобно могли бы быть исключены, от чего самый «Дневник» бесконечно бы выиграл.

Дай бог нам побольше таких умных путешественников и так прекрасно рассказанных путешествий. Если бы такие «дневники» — повторяем еще раз — исчерпали Россию во всех направлениях, то география ее могла бы в живой, увлекательной картине передать нам характеристический портрет той страны, которую провидение назначило поприщем деятельности и развития русскому народу.

Статья вторая

Вторую статью в седьмой книжке «Записок Императорского Русского Географического Общества» «Статистическое Обозрение Персии», составленное полковником Бларамбергом в 1841 году, мы обозрим

вместе с «Путешествием в Северную Персию», так как оба эти сочинения знакомят нас с одним и тем же краем, а теперь займемся сочинениями, относящимися к России.

В восьмой книжке «Записок Географического Общества» помещено одно сочинение К. А. Неволина: «О пятинах и погостах новгородских в XVI веке». Это сочинение, вместе с обширными приложениями, занимает 650 страниц и издано под редакцией самого автора, действительного члена Общества. Если «Записки Географического Общества» не изменят теперешнему своему прекрасному направлению, то современем они станут богатым собранием материалов, относящихся к географии нашего отечества, — материалов, которые бы без этого или никогда не перешли в печать, так как специальные ученые сочинения у нас расходятся трудно, или были бы разбросаны по разным повременным изданиям, или, наконец, напечатанные отдельно, были бы, по своей дороговизне, мало доступны для большинства людей, занимающихся русской географией. Вот почему мы не можем не радоваться направлению, выраженному в последних книжках «Записок».

Сочинение г. Неволина задумано им еще в 1847 году, когда он изъявил желание написать для «Императорского Русского Географического Общества» статью: «О важности писцовых книг для древней географии России»; но, при разборе древнейших новгородских писцовых книг, у него мало-помалу образовалась мысль — начертить карту пятин и погостов новгородских в XVI веке. Весь текст сочинения имеет главной целью — объяснить эту карту и показать источники, на основании которых она начертана. Несколько мыслей об историческом и географическом значении погостов и пятин, о времени их учреждения и об отношении их к общей системе древнего управления не составляли главной задачи для автора, который, как мы уже сказали, желал только предста-

вить, по возможности, точную и верную карту древнего разделения области Великого Новгорода. Такие собрания материалов с известною целью и предуготовительная ученая обработка их чрезвычайно важны в том отношении, что приближают эти материалы к современным исследованиям и, не искажая их, представляют в очищенном критикою виде для пользования историку и географу. На единственно возможную критику таких сочинений указывает сам автор, говоря: «Новую услугу окажут исторической географии те, которые примут на себя труд переверить мою работу и сообщат ученому миру, тем или другим путем, результаты своей поверки». Следовательно, нам остается только сказать здесь несколько слов о содержании труда г. Неволина и о том значении его, какое этот труд имеет, по нашему мнению. Неволин и сам смотрит на свое сочинение как на труд предуготовительный и говорит, что настоящие его исследования «представляют только первый период работ, которые должны быть предприняты по географии новгородских пятин и погостов, — самый общий очерк этой области, очертание самого существенного в ней».

В «Введении» г. Неволин указывает кратко на то, что сделано было прежде его для объяснения областного новгородского управления. «Ходаковский в 1822 году жаловался на мрак, окружающий этот предмет. Мрак и до сих пор не был рассеян. Не составлено верного даже каталога погостов, и имена их не приурочены к определенным местностям; границы пятин вообще и в частности посредством этого приурочения не установлены; происхождение, дальнейшая судьба и правительственное, или какое-либо другое, значение не раскрыты». «Настоящий труд мой, — продолжает автор, — предназначен к тому, чтобы разъяснить, по возможности, некоторые стороны темного предмета, по крайней мере обратить на него внимание исследователей отечественной географии, которого он в высокой степени заслуживает, и возбудить новые тщательные изы-

скания». Вопрос, предложенный автором самому себе, раскрыт им настолько, насколько может быть раскрыт при первоначальном решении подобный вопрос, связанный со множеством других, еще не разрешенных юридических, исторических и географических вопросов. В труде г. Неволина границы новгородских пятин, в том виде, в каком они существовали в XVI веке, и главные места погостов обозначились ясно и с тою достоверностью и точностью, которых требует всякое ученое сведение и которыми отличаются все исторические труды того же ученого автора. Твердое основание к разрешению исторического, юридического и географического значения пятин и погостов положено; но самое это значение еще далеко не раскрыто, что, впрочем, и не было главною целью автора. Мысли, высказанные им об этом значении, высказаны только вскользь, не представляют прочной исторической основы, и с многими из них, по крайней мере соображаясь с теми немногими доказательствами, которые приводит автор, трудно согласиться. Но, прибавляем еще раз, мы не думаем ставить этого в вину автору, потому что значение пятин и погостов новгородских требует множества предварительных исторических и географических изысканий, которые сами по себе могут быть предметами многих отдельных ученых монографий. Неволин представляет нам *пятины и погосты* в том виде, в каком они были в XVI столетии: историческое происхождение и образование их, их юридическое значение, внутреннее управление их и отношение их к естественному географическому и этнографическому разделению страны, — отношение, без сомнения, существующее — все эти важные вопросы, благодаря положительному труду г. Неволина, возникают с новою яркостью, и возможность их решения получает новую основу. Такое умное, старательное собрание материалов имеет значение нового исторического источника, который и возбуждает множество новых вопросов и дает новые средства к разре-

шению вопросов, уже существующих. Заслуга существенная и весьма важная, хотя она и не кидается в глаза с первого взгляда, подобно какой-нибудь удачной теории, которая, как блестящий метеор, разрешает мрак, покрывающий древность, но разрешает, быть может, только на мгновение, показывая прошлое в ярком, но часто ложном свете. Труды, подобные труду г. Неволина, могут быть названы *основными* в исследовании прошлого: чем более таких трудов, тем менее делаются возможными ложные теории, тем с большею уверенностью проникает в мрак прошлого добросовестный исследователь и — что, по нашему мнению, всего важнее, — тем доступнее становятся для большинства исторические исследования.

Из сказанного видно, что заключительный вывод (résumé) сочинения г. Неволина составляет «*Карта пятин* новгородских» в XVI веке, с показанием в них городов и погостов, принимая здесь слово погосты в значении главных мест округов, а не самых округов. «Для полного, по крайней мере сколько-нибудь удовлетворительного означения границ округа *каждого* погоста» автор «не имел источников». Но, принимая в соображение, что в сохранившихся описаниях погостов означены подробно не только села, жилые деревни и пустоши, но даже отдельные *починки*, урочища, угодья, леса и т. д. и, зная сверх того, как в русских селах и деревнях свято сохранились подразделения местностей и древние названия урочищ, даже в ущерб новым подразделениям и названиям, мы убеждены, что определение прежних границ погостов совершенно возможно. Но само собой разумеется, что такое определение может быть сделано только *на месте*; а при добросовестном труде г. Неволина может быть сделано скоро и легко. Без этого же *определения на месте*, при нынешнем состоянии географических карт этого края, мы не можем ожидать появления верной карты древних погостов. А сколько важ-

ного географического значения представила бы такая карта, о которой уже позволяет мечтать добросовестный труд г. Неволина, открывшего новый путь для исследователя-путешественника! Мы не совсем согласны с автором, придающим такую важность означению границ к а ж д о г о погоста (Введение, стр. VII). К чему нам знать границы в с е х погостов? Погосты о т д е л ь н о не играли никакой важной роли ни в истории, ни в юридическом быте Новгорода. Но нам хотелось бы знать, что служило основанием разделению на погосты? почему известные деревни, пустоши, лесные участки и урочища т я н у л и к одному, а другие — к другому погосту? не было ли это деление основано на е с т е с т в е н н о м делении местности или на этнографическом подразделении н а ш и х бесчисленных разноречий? Эта мысль не покажется странною тому, кому случалось со вниманием к окружающим предметам проезжать по проселочным дорогам России. Он, без сомнения, заметил, на какое бесчисленное множество естественных, орографических и этнографических округов делится эта, п о в и д и м о м у, сплошная и однообразная масса русской земли и русского народа. А прислушавшись к местным названиям этих п р и р о д н ы х округов, можно скорее убедиться, что естественное дробление страны на мелкие округи и наречий на мелкие разноречия и говоры совпадает, если не всегда с нынешними официальными делениями на уезды, станы, волости, то почти всегда с местными простонародными названиями. Эти названия в большей части случаев основываются на естественном дроблении нашей речной страны на бассейны и ведут свое начало из глубокой древности, сохраняясь до нашего времени в устах и обычаях народа. Наши ч е р н я в щ и н ы, п т а н щ и н ы, з а б р о в щ и н ы и т. п. чрезвычайно метко и верно делят землю и население. Да и кто же может лучше подметить самые тонкие черты земли, как не тот, кто всю жизнь свою борется с нею, извлекая из нее все

средства к жизни? Определить отличительные географические признаки, различающие одну местность от другой соседней, — трудно; но, прислушавшись к суждениям самого народа, столетним опытом изведавшего все добрые и дурные качества своей земли-кормилицы, — не невозможно. Этнографические подразделения заметить легче. К отличительным признакам этих последних подразделений мы относим не только отличия в языке, но и в обычаях, одежде, хозяйстве, — отличия, иногда едва заметные для проезжего, но достаточные для того, чтобы нерушимо установить известный округ в убеждении местных жителей. Эти отличия в одежде, обычаях, языке, хозяйстве не только удивительно совпадают между собою, но, что еще поразительнее, совпадают с естественным разделением местности. Сознавая действительное и повсеместное существование этого факта, как сознает его, вероятно, всякий, кто знаком с сельским бытом великоруссов, мы невольно задаем себе вопрос: неужели самое древнейшее, коренное разделение русской земли, пережившее столько новых разделений, и начало которого теряется во мраке языческих времен, было случайным установлением одной исторической личности, как думает г. Неволин, приписывающий Ольге установление погостов? Для того, чтобы приписать Ольге такое коренное разделение огромной и самостоятельной области, образовавшейся гораздо прежде, надобно представить доказательства посильнее одной строчки летописца-несовременника, — строчки, явно испорченной и которая в разных списках читается различным образом, изменяющим самый смысл ее. В Лаврентьевском списке сказано: «Иде Вольга Новугороду и устави по Мсте повосты и дани; ловища ея суть по всей земли, знаменья и места и повосты, и сани ея стоят в Плескове и до сего дне, и по Днепру перевесища, и по Десне, и есть село ее Ольжичи и доселе». Что погосты заменены здесь словом повосты, г. Неволин объясняет тем,

что монах Лаврентий, как суздалец, мог не знать новгородского установления, каковы были погосты. Филологическое же доказательство возможности перемен буквы *г* в букву *в* так слабо, что автор, кажется, и сам не придает ему большого значения. Такая замена, возможная в произношении окончания родительного падежа (*его, ево*) и при слиянии двух гласных (П ч о г ж а, П ч о в ж а), кажется нам совершенно невозможною в ясном слове п о г о с т, точно так же, как невозможна была бы такая замена в словах г о с т ь (в о с т ь), п о в е с т и (п о г е с т и) и т. п. Что же касается до того доказательства, что монах Лаврентий, к а к с у з д а л е ц, мог не знать новгородских учреждений, то оно могло бы иметь некоторую силу, если бы мы не знали, что п о г о с т ы существовали не в одной Новгородской области, и, не смею утверждать, но сколько помнится, погосты именно нужно указать в области Суздальской. Так, например, в духовной Симеона Иоанновича (1353 г.) сказано: «а села на Москве в городском уезде» и далее: «село на Сулишине погосте *. Следовательно, здесь погост принят в смысле округа, к которому принадлежало село, и, кроме того, погост имеет здесь свое о с о б о е н е ц е р к о в н о е название. Но если, наконец, ошибся суздалец Лаврентий, то как мог ошибиться архангелогородец, не могший не знать, что такое п о г о с т, и который, вместо этого слова, поставил слово п о м о с т ы, что и гораздо вероятнее. Учреждение п о м о с т о в могло быть делом правительственным; да и в самом деле У с т а в о М о с т о в ы х после Русской Правды есть древнейший из новгородских уставов. Владимир, собираясь на Новгород, также велит мостить мосты. (Ярославу сущу в Новегороде и урок дающе к Киеву две тысячи гривен от года до года, а тысячу гривен в Новегороде раздаваху гриднем, и

* «Румянц. Сбор. Грам. и Догов.», т. II, гр. 24-я.

тако даваху вси посадники Новгородстии, а Ярослав сего не даяше к Киеву отцу своему, и рече Владимер: теребите пути и мосты мостите.) Это понятно и совершенно согласно с тогдашним состоянием почвы и путей сообщения. Мосты, перевесища, ловища, знамения, оброки, дани, — все это идет одно к другому и может быть учреждением личным, но погосты — никак. Чтобы приписать Ольге учреждение погостов, надобно, по крайней мере, ответить на следующие вопросы: почему Ольга установила погосты именно и исключительно по Мсте и Луге, рекам, не имеющим никакой особенной важности? отчего она не установляет их на Волхове, центральном нерве древней Новгородской области? почему ни на Днепре, ни на Десне, по берегам которых, по словам летописца, путешествовала Ольга, не учредила она также погостов да и нет следа их? почему слово погост встречается только на севере России и решительно не встречается ни в Малороссии, ни в Белоруссии? Нам кажется, что это место летописи испорчено безвозвратно; но чтение помосты, принятое Эверсом, имеет за себя более доказательств, даже не отбрасывая слов по Мсте и по Луге. Путешествие по рекам, на которое нам ясно указывает и путь варягов и путь Аскольда и Дира, потом Олега и наконец даже самой Ольги, было обыкновенным путем между Новгородом и южною Русью; а припомнив это, мы увидим, что переезды через волоки, места обыкновенно лесистые, сырые и топкие, необходимо требовали помостов, как требуют они еще и до сегодня на волоках между притоками Волги и Печоры. При таком воззрении Мста и Луга приобретут особенное значение: волоки между Мстою и Тверцою (т. е. Волгою), между озером Ильменем и Лугою (т. е. Балтийским морем) могли иметь важное значение в то время, и учреждение помостов по несудоходным верховьям их могло быть делом такой мудрой хозяйки, какою была св. Ольга. Сопоставление же слов помосты и по

Мсте могло ввести в ошибку переписчиков, копирующих буквы, и заставить их, пропустив созвучное слово, выбросить другие. Мы сознаем, что это мнение, высказанное здесь только вскользь, нуждается в доказательствах; но во всяком случае оно имеет за себя тот естественный смысл, основанный на преданиях и географии страны, который мы всегда охотно предпочитаем смутным филологическим толкованиям, основанным на такой мимолетной и неопределенной вещи, какою нам кажется звук, особливо, когда дело касается столь явно испорченного места летописи. Разделение области на округа в начале истории есть всегда дело географических и этнографических причин, особливо там, где администрация находится в младенчестве. На основании этих причин мы никак не можем согласиться с г. Неволиным, который в заключение говорит: «и так Ольга установила погосты», — тем более, что и по толкованию, принятому автором, летописец приписывает Ольге учреждение погостов только по Мсте и Луге, следовательно далеко не всех.

Но последуем далее за автором. Приняв за известное, что Ольга установила погосты, г. Неволин задает себе вопрос: что же такое значили эти погосты?

Для разрешения этого вопроса автор приводит сначала мнения, выраженные в различное время исследователями русской истории о значении погостов. Большая часть этих мнений справедливы, но односторонни, хотя все вместе исчерпывают почти все обширное значение погоста. Это перечисление различных мнений весьма полно; но нам кажется, что автор хорошо бы сделал, если бы прибавил к ним современное, доселе сохранившееся значение этого слова, весьма употребительное в Олонецкой, Новгородской, Архангельской, Вологодской и даже Пермской губерниях, где оно принимается не только в тесном значении земли, на которой выстроены церковь, церковные здания,

обнесенной церковной оградой и на которой прежде хоронили мертвых, — земли, которая в Малороссии называется ц в и н т а р е м, а в Польше, кажется, c w e n t a r z e n e; или в значении села с церковью — прихода нескольких деревень; н о и в з н а ч е н и и г р у п п ы д е р е в е н ь, р а с п о л о ж е н н ы х, к а к б ы, в о т д е л ь н о м о к р у г е, о т д е л е н н о м о т д р у г и х т а к и х ж е п р и р о д н ы х о к р у г о в л е с а м и и б о л о т а м и. Это последнее чисто географическое значение погоста, хотя нигде и не высказывается, но выдается само собою с необыкновенною яркостью в сочинении нашего даровитого путешественника Лепехина, столь богато одаренного истинно русскою сметливостью. Это — самое естественное, взятое с природы и потому, без сомнения, первоначальное значение погоста, — значение, из которого развились впоследствии все остальные. Такие естественные округи, острова, оазисы посреди лесов и болот, по которым прежде располагалось все народонаселение северной и северо-восточной России, сохранились во всей полноте только в самых северо-восточных краях России; но следы их, исчезающие с увеличением народонаселения и истреблением лесов, можно указать в Новгородской, Ярославской, Костромской и даже Владимирской губерниях. Села и деревни расположены в них группами, между которыми идут лес, болото, м х и (как говорили прежде) — незаселенное место. Чем далее к северо-востоку, тем длиннее эти незаселенные места, достигающие в Вологодской губернии до сотни верст; тем далее должно тащиться от одного жилого острова до другого, от станции до станции, — от п о г о с т а до п о г о с т а. Природа малороссийской равнины, южной степи и даже белорусских холмистых пространств совершенно другая: там нет такого природного явления или, по крайней мере, оно исчезает в незапамятной древности. В средней России можно еще его заметить, но трудно, потому что оно вместе с исчезновением лесов исчез-

ло очень давно; только за Владимиром, на востоке, за Тверью и Псковом, на севере, начинает разделяться население страны на такие группы деревень и на такие округи обработанных полей, расположенные островами посреди лесов и болот. Вот чѐм, по нашему мнению, объясняется существование погостов северо-восточной половины России и отсутствие их в юго-западной.

Из этого естественного, природного и потому чрезвычайно богатого по содержанию значения погостов развились, как мы думаем, все остальные — побочные, — погоста, как главного села округа, как сборного пункта мира, как станции для княжеских объездов, как места, куда окрестные деревни и села тянули податьми, как общинной подати *, как прихода приходской церкви и так далее. Таких значений осталось и в летописях и в преданиях множество, и мы не должны придавать им особенной важности. Вот на каком основании мы не можем согласиться с г. Неволиным, который говорит:

«Заметим, что во всех известных значениях коренным понятием места является понятие погоста богослужебного. Писцовые книги, другие памятники, и даже нынешнее словоупотребление не оставляют в том ни малейшего сомнения. По сим источникам погост прежде всего значит место, на котором стоит церковь с ее принадлежностями (между прочим, кладбищем и домами священно- и церковнослужителей), потом самую церковь; далее — селение, в котором она находится; наконец, округ людей и земель, принадлежащих к этой местности в церковном и гражданском, или исключительно церковном отношении».

Что касается до писцовых книг, то они принадлежат слишком позднему времени, чтобы из них можно

* «Румянц. Собр. Грам. и Догов.», т. I (№ 143) «погоста им не платити...» «с рушаны (жителями города и округа Русы) в их потуг не тянути». Г-н Неволин и сам заметил это значение погоста.

было выводить коренное, т. е. древнейшее значение погостов; да и в них значения погоста и прихода не всегда совпадают: есть погосты, имеющие несколько приходов, и есть такие села-погосты, в которых вовсе нет церквей. А если в большей части случаев в селе-погосте была и приходская церковь, то это объясняется тем географическим значением погоста-округа, которое мы ему дали. Естественно, что, по принятии христианства, храмы появились в главных селениях таких округов-миров. Что же касается до древнейших памятников, то, напротив: погосты встречаются в них чаще во всяком другом значении, а не в значении прихода. Так, в Уставе св. Владимира о церковных судах погосты поставлены наряду с городами и слободами. Так в Уставе Святослава Ольговича * упоминаются «Волдутов погост», «Тудовор погост» (названия вовсе не церковные), «Иван-погост», наравне с другими подразделениями — урочищами Новгородской области.

«В Олонце — три гривны; на Свери — гривна; в Юсколе — три гривны; устье Паши — гривна».

Так, в грамоте, данной жителям Заволочья князем Андреем Александровичем Невским **, говорится о данническом пути, на котором надобно было давать «корм и подводы по пошлине с погостов». Так, в летописи *** говорится о каком-то Луке Варфоломееве, что он «скопив холопов сбоев... взя землю Зоволотскую по Двине, вси погости на щит». Так: «погоста им не платити». Так: «завел (в полон) погост».

Так, наконец, в Ипатьевской летописи погостами зовутся не русские, а чудские селения:

«В се же лето (6624?) Мстислав Володимирич ходи на Чюдь с Новогородци и Псковичи и взя город их

* «История Государства Российского», Карамзин, т. II, Примеч. 267.

** «Ист. Гос. Росс.» Карамзин, т. IV, Примеч. 206.

*** «Новогородская первая летопись», стр. 82.

Медвежа Голова и погост без числа взяша, и возвратишася во свояси со многим полоном» *.

Но вот еще яснее выраженное значение погоста в «Жалованной веча новгородского грамоте» **, где изложена жалоба нескольких владельцев, которые «на веце, на ярославли двори били целом...» «господину Великому Новугороду», что чиновники новгородские «емлют у ихних сирот на Терпилове погосте поралье посадницье и тысяцкого не по старине». На что и дана была жалованная грамота «сиротам Терпилова погоста»: «давати им поралье посадничье и тысяцкого по старым грамотам». «А кто крестьянин Терпилова погоста в Двинскую слободу войдет, ино ему мирянину тянути в Двинскую слободу; а который Двинянин, слободчанин начнет жити на земле Терпилова погоста; а той потянет потугом в Терпилов погост».

Здесь погост противополагается слободе, обладает землею, собирает оброки, получает грамоты от веча, жалуется, отыскивает через своих владельцев потерянные права, имеет свою юридическую старину, пошлину, — словом, составляет отдельный округ, отдельный мир, отдельное нравственное лицо.

Но автор твердо держится того мнения, что Ольга установила погосты, и что коренное значение их религиозное. Его не останавливает даже и то, что Ольга в то время еще не была христианкой.

«Если, таким образом, — говорит он, — понятие места богослужебного есть коренное в слове погост, то, как я полагаю, это понятие должно удерживать и при объяснении учрежденных Ольгою погостов. Невозможность видеть в погостах Ольги установление религиозное, заключающееся в том, что она учреждала погосты еще до принятия ею и народом ее христианства, есть только кажущаяся. Что если погост значил и во

* «Собрание Русских Летописей». Ипатьевский летописец, стр. 4.

** «Акты Истор.», т. I, № 17.

времена язычества именно место богослужебное? Что если места языческого богослужения, называемые теперь городищами, прежде назывались именно погостами? Такие места во время язычества, без сомнения, не назывались городищами, потому что это слово собственно значит то место, где был некогда город, остатки города. Итак, не назывались ли они погостами, если для них должно существовать какое-либо название? По крайней мере, других названий неизвестно. Места общественного богослужения Ольга могла сделать основанием для гражданского союза и к каждому из них приписать определенное число селений. Когда потом всем русским народом принята была христианская вера, то эти места украсились или заменились храмами истинного бога, сохранив прежнее, гражданское, значение для окрестного населения. Таким образом, значение погостов до христианства и значение их во времена христианства непосредственно связываются одно с другим».

На все это мы можем заметить: что славянская мифология дело темное, а существование языческих приходов надобно еще доказать; что если мы не знаем названий таких, может быть, никогда не существовавших приходов, то это не доказательство, что они назывались погостами; что места, называемые городищами, вовсе не означают остатков города, как предполагает автор, но означают только места, где сохранились валы и курганы, расположенные в известном порядке, и что городище происходит не от слова город, а оба они происходят от слов городить, огород, огорожа. Если бы городища означали места прежних городов, то какое невозможное множество городов должны бы мы были предположить в древней России!

Желание автора видеть в погостах личное учреждение Ольги вводит его, как нам кажется, в совершенно произвольные рассуждения, не имеющие исторической основы. Так заключает он далее:

«Совершенно безразлично в отношении к предмету, который теперь нас занимает, назначены ли были отправления общественного богослужения и с тем вместе для гражданского соединения самою Ольгою известные места, или места религиозных собраний существовали уже прежде, а теперь они сделаны были только основанием гражданского союза. Могло быть отчасти то и другое. Могло даже быть, что гражданские общественные связи и прежде уже соединяли жителей; но теперь они были отчасти преобразованы и сильнее скреплены. Если при таком взгляде на погосты, учрежденные великою княгинею Ольгою, она является как учредительница религиозных установлений, то в этом случае представляется только сходство ее с славным внуком ее Владимиром. Но Владимир был просвещен верою, сам и сокрушил идолов, им поставленных; бабка его, приняв христианство, не могла своих погостов обратить на служение богу истинному, так как в сыне своем Святославе и в своем народе она встретила еще непреоборимые препятствия».

Таких рассуждений о том, что могло бы быть, но чего также, может быть, вовсе и не было, мы не можем назвать историческими.

Что касается до происхождения слова п о г о с т, то г. Неволин не принимает «ни одного из тех производств, которые были даваемы этому слову». Он скорее согласился бы искать корня этого слова в русском слове г о с т и т ь, если бы не был убежден (и, по нашему мнению, совершенно несправедливо) в языческо-религиозном значении этого слова. «Если бы, — говорит он, — одно из этих значений (погоста, как места временного гощения или места торга) было первоначальное, то почему именно в этих значениях слово п о г о с т нигде у нас не сохранилось?» Он скорее готов приписать этому слову азиатское, т. е. темное, происхождение, и у него возникает мысль — не находится ли славянский погост в связи с индийским пагодом. Так далеко завело его убеждение, что погост есть ре-

лигиозное учреждение Ольги! Но почему же погост не может быть самостоятельным названием округа, естественные границы которого резко бросались в глаза? Торговля, княжеские объезды, путешествия не могли иначе идти, как по погостам, этим природным станциям в лесистой и болотистой стране. Так, в приведенной уже нами грамоте, данной жителям Заволочья Андреем Александровичем Невским, говорится о «данническом пути», на котором должно было давать «корм и подводы по пошлине с погостов» * и который, следовательно, шел по погостам. Здесь погост имеет то же самое значение станции, которое в договорной грамоте Михаила Ярославича Тверского с Великим Новгородом выражено словом постоянье: «А как, княже, поедешь в Новгород, тогда тебе дар емати по постояниям, а коли поедешь из Новгорода, тогда дар тебе не надобе» **. Но и это значение только второстепенное, вытекающее из главного, природного, которое мы вывели из положения существующих ныне погостов, — положения, так прекрасно очерченного Лепехиным. Все последующие значения погоста: как религиозной общины-прихода, как политической общины-мира, как станции для гостей и чиновников, объезжающих область, образовались уже впоследствии, из первоначального значения жилого места, жилья, обработанной земли посреди болот, обитаемого острова посредине необитаемого моря лесов. В значении жилья оно употребляется в летописи, когда говорится о завоевании и пленении чудских погостов. Новые погосты, как видно из писцовых книг, учреждаются тогда, когда деревни погоста отделились от него далеко мхами и болотами ***. Отноше-

* «Ист. Гос. Росс.». Карамзин, т. IV, Примеч. 206.

** «Румянц. Собр. Грам. и Догов.», т. I, гр. 11-я.

*** Святозерская волостка отделена при Михаиле Федоровиче от Важинского погоста, «для того, что та волостка от Важинского погоста сто двадцать верст и стала за мхи и болоты и проезжих дорог летом нет». В этом же сочинении г. Неволина стр. 109.

ние погоста, как главного села, к другим селам и деревням тоже, по нашему мнению, не есть установление, принадлежащее кому-нибудь лично, — но чисто патриархальное. Одно село, размножаясь в несколько деревень, оставалось главным — так сказать, столицею погоста. Такие размножения совершаются, как мы видели, и теперь в Печорском крае. Хотя, конечно, впоследствии, при образовании хозяйственной администрации, когда родовой счет между селами и деревнями был уже забыт, могли быть произвольно назначаемы не только главные центры погоста, но и самые границы погостов; но корень их сохранялся в народных обычаях и вековых преданиях. Вот почему так живуче было деление на погосты, вот почему пережило оно множество других делений и, пройдя многие столетия, достигло до нашего времени.

После разобранной нами главы «О начале погостов» следует глава: «Погосты после первоначального их учреждения до конца XV века». В этой главе автор довольствуется кратким указанием в летописях на непрерывное существование погостов, как округов, со времен Владимира Святого до писцовых книг — факт, неподверженный ни малейшему сомнению, для уяснения которого мы имеем гораздо более свидетельств в грамотах и актах юридических, нежели в летописях, на которые ссылается г. Неволин. Погост редко играл роль в исторических происшествиях, хотя имел весьма важное значение в обыденной жизни народа. Следы этой жизни остались для нас в юридических бумагах того времени, которые, к сожалению, изданы в «Юридических Актах» только в виде образчиков древней юриспруденции, тогда как многие из них сами по себе имеют чрезвычайно важное значение.

В главе «О происхождении названий погостов» автор замечает, что «большая часть погостов имели составное двоякое наименование. Одно из сих названий большей частью было заимствовано от церкви, или церквей, бывших в главном селении погоста, другое —

от имени этого главного селения, например погост Андреевской-Грузинской, погост Григорьевской-Кречневской и пр. Таким образом, составлены были названия всех погостов в Бежецкой пятине, наибольшей части в пятинах Вотской и Обонежской. Но ни один погост не имел составного названия, заимствованного и от церкви и от главного селения, где она стояла, в Деревской пятине». «Нельзя не поразиться (?) тем обстоятельством, — говорит далее автор, — что в пятинах Шелонской и Деревской наибольшая часть погостов не носили церковных названий, тогда как в других пятинах было противное. Это различие между наименованиями погостов в разных пятинах основывалось ли на каком-нибудь случайном обстоятельстве, например, на том, что первые писцы в одних пятинах внесли погосты в свои книги с церковными названиями, в других — без этих названий, или была тому какая-нибудь другая, более важная, существенная причина? Я не осмеливаюсь окончательно решить этого вопроса». Вопрос этот решить, конечно, трудно. Но такая разница в названиях различных пятин одной и той же Новгородской области заставляет нас не слишком доверяться названиям погостов, приведенным в писцовых книгах, и не придавать, как придает автор, особенной важности церковным названиям погостов: эти названия также, может быть, внесены писцами произвольно и не были в народном употреблении.

Мы не можем оставить этой главы, не обратив внимания на факт, замеченный автором: что к составному наименованию погостов «присоединялась какая-нибудь отличительная черта, заимствованная от реки, народа, обширной местности, где находилось главное селение погоста (только одно главное селение?), например: Успенской Коломенской на Волкове, Воздвиженской Опольской в Чуди, Ильинской Замозской в Бегуницах, и пр., что в Бежецкой пятине к церковным названиям многих погостов прибавлялось название от той об-

ширной местности, в которой находилось несколько погостов (а уже не одно главное селение, как сказал выше автор): например, Никольской в Мошне, Спасской в Мошне; Троицкой в Охоне, Никольской в Охоне, Иванской в Охоне; Спасской в Слёзкине, Ильинской в Слёзкине и пр.». Чтобы показать, что эти названия не принадлежат к случайным, прибавим еще несколько взятых с карты г. Неволина: Покровский в Слёзкине, Никольский в Слёзкине, Воскресенский в Слёзкине; Никольский в Дорке; Богородицкий в Плавах и т. д.; но почти все эти названия принадлежат одной Бежецкой пятине. Не намекает ли это опять на произвол писцов? Что же такое эти обширные местности, как их весьма неопределенно называет автор, содержащие в себе по нескольку погостов? Не существуют ли они также и в других пятинах, что, принимая в расчет подобные народные названия местностей, существующие в других местах России, становится более, нежели вероятным? Автор напрасно смешивает эти характеристические, весьма замечательные названия с названиями случайными, которые могли быть приняты самими составителями писцовых книг для различия двух погостов одного и того же имени: например, на Волхове, на Пидьбе и т. д. Народные названия округов заслуживают того, чтобы обратить на себя особенное внимание и географов и историков. Нет никакого сомнения, что они и до сих пор сохранились в народном употреблении и могут быть вызваны на свет внимательным наблюдателем-путешественником. Мы имели столько случаев убедиться в верном географическом такте народа, что не сомневаемся, что эти Слёзкины, Охони и тому подобные народные названия округов имеют твердую основу в природе страны или в этнографической особенности населения. Как бы хотелось, чтобы эти географические типы, подмеченные народом, появились, наконец, в нашей географии!

В летописях, грамотах и юридических актах раски-

дано множество названий различных округов Новгородской области, — названий, сделавшихся теперь непонятными. Нельзя ли, отыскав предварительно все эти названия и пользуясь превосходным трудом г. Неволина, собрать на месте все, что осталось из них в преданиях нашего народа, так свято сберегающего подобные предания? Сколько исторической ясности, сколько характерных географических заметок, в которых наша география чувствует огромный недостаток, были бы наградой подобного труда! Прекрасное, добросовестное собрание материалов, относящихся к погостам писцовых книг, прокладывает дорогу такому предприятию и дает средства к его совершению.

Не были ли эти обширные местности древними погостами, разделившимися со временем на несколько отдельных? На эту мысль невольно наводят нас часто встречающиеся разделения одного погоста на два, занесенные в писцовые книги. Нет сомнения, что такое дробление погостов должно было совершаться не только во время, близкое к составлению писцовых книг, но и гораздо прежде, и совершаться беспрерывно, вместе с беспрерывным размножением и расселением славянского племени по обширной области, составившей потом область Великого Новгорода. Древние погосты, по всей вероятности, были гораздо обширнее тех, которые существовали уже во время покорения Новгорода. Вот почему мы сожалеем, что автор не обратил особенного внимания на эти названия обширных местностей, хотя, конечно, мы не ставим ему в вину того, что он не сообщает нам о тех местностях более подробных сведений, которые могут быть собраны только на месте. Сравнение погостов писцовых книг, так отчетливо изложенных г. Неволиным, с погостами, сохранившимися в летописях, грамотах и актах, и с местными преданиями, конечно, дало бы нам множество драгоценных указаний на историю погостов, которой нет (да и не могло быть) в раз-

бираемом нами сочинении. Мы не можем назвать историею краткие указания на последовательные перемены в официальном разделении бывшей области Великого Новгорода, означенные г. Неволиным.

Далее следует глава о географическом значении погостов. «Погост, — говорит автор, — в смысле географического округа, образовал (?) непрерывное пространство земель, лежавших одни подле других и в одном месте». Определение чрезвычайно неясное и которому автор напрасно придает эпитет географического. Далее автор говорит об огромном неравенстве погостских округов и, обращая внимание на то, что чем далее были погосты от Новгорода, тем округи их были обширнее, весьма справедливо замечает, что «главная причина такого неравенства заключалась в неравенстве народонаселения и обработки земель». В этой же главе автор говорит, что пустошами «назывались бывшие прежде селения; почему писалось: пустошь, что было село или сельцо такое-то; пустошь, что была деревня такая-то». Неужели все пустоши, без которых нет ни одного порядочного имения в России, были местами запустевшими?

В главе «О правительственном значении погостов» автор излагает весьма отчетливо то значение погостов, которое они имели во время писцовых книг, т. е. уже после покорения Новгорода, когда область его, по желанию Иоанна, стала управляться на одинаковых основаниях с другими областями Московского государства *. В правительственном значении волостей многое еще остается совершенно темным и объяснится только вместе с объяснением древнего сельского быта; а потому мы не можем требовать и от г. Неволина особенной полноты и точности в изложении этого предмета: все еще здесь остается неопределенным. Но нам показалось неудовлетворительным объяснение столь известного места договоров князей с Новгородом:

* Никоновский спис., т. VI, стр. 96.

«А что закладников в Тържъку или инде, или за тобою или за княгынею, или за мужи твоими кто купьць, пойдет в свое сто, а смерд пойдет в свой погост: тако пошло в Новегороде — отпусти их прочь» *. «Это сравнение погостов с сотнями, — говорит автор, —показывает, что все смерды одного погоста образовали(?) такое же целое, какое все купцы одной сотни. Но одни ли смерды? Как из поселян погостов одни только смерды по их бедному положению закладывали свою личную свободу, то в договорных грамотах и говорится только об них одних». Первая половина этого рассуждения совершенно справедлива; но вторая нам кажется странной ошибкой со стороны г. Неволина. Положим, что смерды, как говорит автор, закладывали свою личную свободу по своему бедному положению; но неужели купцы доводимы были до этой крайности тоже по бедности?! И возможно ли предположить, чтобы бедный смерд (если уже он непременно должен быть бедным) закладывал себя таким лицам, каковы князь Юрий или князь Михаил Ярославич Тверской и их княгини? Какие денежные сделки могли существовать между лицами, разделенными таким огромным расстояним? Если это не ошибка, то, по крайней мере, толкование совершенно непонятное; и это постоянное сопоставление в договорах купцов с смердами остается для нас попрежнему необъяснимым.

Также недоказанным кажется нам в этой главе то место, где автор, говоря о разделении одних погостов на двое, говорит о соединении нескольких в одну обширную область. «Наоборот, — говорит он, — из нескольких погостов составляется одна область. Особенно велика была в Бежецкой пятине область Слёзки, в состав которой входило несколько погостов. Это соединение нескольких погостов в одну волость проистекало из того, что все земли в них по какой-нибудь

* В договоре Михаила Ярославича Тверского с Новгородом и в многих других подобных же.

причине составляли владение одного лица, назначавшего для них одного волостеля». Если это не мнение, ни на чем не основанное, то мы жалеем, почему автор не привел доказательств.

Но, увлекшись интересным исследованием о погостах, мы пропустили целую и обширную главу о пятинах. «До того времени»,—говорит автор,—как великий князь Иоанн III покорил Новгород своей власти и приступил к производству в нем описания лиц и имуществ, ни в каких исторических свидетельствах не встречается прямого указания на Новгородские пятины. Напротив, скорее встречаем всякие другие разделения, чем это. Имена, от которых взяты наименования пятин, попадаются довольно часто в летописях и различного рода актах, но не названия пятин».

С этим нельзя не согласиться, потому что доказательства о существовании пятин, именно с этим названием, прежде Иоанна III слишком слабы; и хотя автор соглашается, что «так как собственные имена, от которых названы пятины, известны были уже во время самостоятельного существования Новгорода и присвоялись различным частям его области, то при учреждении пятин Иоанном III имелось в виду уже существовавшее прежде, в правительственном отношении или в народном употреблении, разделение Новгородской области на части». Но думаем, что «по известным до сих пор памятникам, пока не будут открыты новые, нельзя определить, в какой мере древнее разделение послужило основанием новому».

Трудно доказать противное; но мы думаем, что автор слишком много придает важности слову пятина, соответствующему вполне иоанновскому же разделению тогдашней области России на трети, и слишком мало обращает внимания на древние части Новгородской области, собственные имена которых постоянно попадаются в летописях, а также и на тот многозначительный факт, что в одном из древнейших уставов (который приводится самим автором) — в Уставе

Ярослава о мощении Новгорода, упоминаются уже т р и и м е н и, сделавшиеся потом именами трех пятин, а именно сотни: Бежецкая, Вочская, Обониская (Обонежская); да и остальные сотни — Луская (от реки Луги), Лопская (Лопь) *, Ржевская (Ржева), Волоховская, Яжелбицкая, намекают на какое-то отношение новгородских городских сотен, о которых идет дело в Уставе Ярослава, к различным частям Новгородской области, — отношение, которое становится ёще заметнее, когда мы припомним себе столько раз уже приводимое место: к у п е ц в с в о е с т о, а с м е р д в с в о й п о г о с т. Доказательства же, что, например, в Софийской первой летописи говорится: «в е л и к а б е с е ч а т о г д а В о ж а н о м, а не жителям Вотской пятины»; или что в Уставе князя Святослава Ольговича, 1137 года, «упоминается несколько Онежских погостов, и сверх того О б о н е з ь с к ы й р я д и Б е ж и ч ь с к ы й р я д, а не Обонежская или Бежецкая пятина»; или что в договорной грамоте Новгорода с великим князем Ярославом Ярославичем Тверским, 1285 года, пишется: «А с у д, к н я ж е, о т д а л Д м и т р и й с Н о в г о р о д ц и Б е ж и ч я н о м и О б о н е ж а н о м, а не жителям Обонежской пятины»; то все эти места доказывают только одно — несуществование тогда с л о в а п я т и н а, с чем трудно не сóгласиться, но в то же время доказывают существование особых округов, Бежецкого и Обонежского, с определенными границами, признанными в правительственных отношениях, — особых областей, жители которых составляли одну общину, точно так же, как и следующие выражения: «а за Волок тебе (князю) ездить только через Новгород; а снизу ти не слати, такоже и в Бежице» ** или:

* Лопь Дикая и Лешая, о которых говорится в духовном завещании Иоанна III. «Румянц. Собр. Грам. и Догов,», гр. 114-я.

** Договор. Грам. Михаила Ярославича Тверского с Новгородом, год 1305. «Румянц. Собр. Грам. и Догов.», гр. 6-я.

«а из Бежиць людей не выводить» *. А в Уставе Святослава Ольговича показывается именно содержание этих областей: «В Онеге: на Волдутове погосте, на Иване погосте и т. д.» и далее: «а се Обонезьский ряд (т. е. уряд, повинность): в Олонце, на Свери, в Юсколе и т. д., а се Бежичьский ряд... и т. д.». Из всех этих мест ясно, что Бежич, Онега, Водь **, бежичане, обонежане, вожане были установившимися разделениями Новгородской области и ее населения, принятыми за известные не только в народном употреблении, но и в правительственных распоряжениях. Весьма любопытно бы было проследить по историческим и юридическим памятникам судьбу всех этих названий до установления московской переписи и даже еще далее, потому что и Иоанн III, несмотря на установление пятин, помещает в своей духовной эти новгородские названия местностей.

Мы не имели здесь возможности входить в подробнейшие исследования многозначительного соотношения между городскими, торговыми сотнями Новгорода и различными подразделениями его области и ее сельского населения; но нам кажется, что это отношение может быть хотя несколько раскрыто на основании уже существующих исторических данных.

Нет сомнения, что Новгород обязан своей значительностью исключительно торговле, что все его открытия на севере и все его завоевания в этих странах произведены исключительно с торговой целью, торгово-военными дружинами, ватагами, и по всей вероятности, еще до призвания князей или по крайней мере до Ярослава ***. На это мы имеем множество доказательств в летописях, приводить которые считаем излишним. При таком направлении новгородской жизни торговое

* Александра Михайловича Тверского с Новгородом, год 1327, «Румянц. Собр. Грам. и Догов.», гр. 15-я.

** Новгородск. I, стр. 54.

*** «Ист. Гос. Рос.» Карамзина, т. II, стр. 24 в том же примеч. 61 и другие.

сословие естественно должно было быть многочисленным и стать во главе прочих, так что в самом разделении города должно было отразиться это торговое направление. Да и кто не торговал в Новгороде? Нам кажется, что знаменитые слова грамот: «купец потянет во свое сто, а смерд в свой погост» обнимали все народонаселение Новгорода и его области, кроме людей служилых, которые, по древней привилегии, свободно переходили из одной области в другую, от князя к князю, и о которых поэтому умалчивается в договоре. Все остальное народонаселение состояло из купцов, жителей Новгорода и городов его области, и смердов, сельских жителей, земледельческого класса. Смерды делились по погостам, купцы по сотням, и те и другие платили подати Новгороду; а потому естественно, что он заботится о возвращении своих даньщиков из плена. Мы знаем, что и в позднейшие времена община городская и сельская, платя налог с общины, а не с души, преследует всех лиц, которые отлучаются из нее. Множество просьб, писанных по этому случаю городами, слободами, волостьми и селами, сохранились до нашего времени. Что же удивительного, что сотни и погосты новгородские, платившие подать с общины, заботились о возвращении своих членов-плательщиков? Что же удивительного, что Новгород, заботившийся, как свидетельствуют грамоты, прежде всего о своих финансовых выгодах, требовал при всяком договоре, чтобы купец был возвращен в свое сто, а смерд в свой погост? Но, принимая во внимание названия новгородских сотен, у нас невольно рождается вопрос: не разделялся ли Новгород на сотни по тем торговым путям, играющим, как видно из грамот и исторических актов, такую важную роль во всех финансовых сборах Новгорода, по которым купцы Новгорода вели торговлю по области? Не вела ли Лусская сотня исключительно торговлю по Луге, Волоховская — по Волхову, Бежецкая — с Тверью, Вочская — с Вотью и т. д.? Не разделялась ли и сама

область Новгородская по этим торговым путям? Мы могли бы найти на это множество указаний в исторических памятниках, — указаний, которые, вероятно, и без того припомнят себе все знакомые с этими памятниками; но, оставляя это до будущего времени, мы должны теперь снова возвратиться к сочинению г. Неволина, которое своим отчетливым, ясным, добросовестным изложением фактов наводит нас беспрестанно на новые вопросы. Вот еще один из них:

«Самый первый (?) взгляд на карту, — говорит г. Неволин, — дает уже видеть(?!), что область пятин не обнимала всех древних владений Новгорода, а ограничивалась наиболее близкими к нему, можно сказать — внутренними его землями. В область пятин не входили многие земли, лежавшие на север, восток и юг за чертою, означенною на моей карте, именно: земли, лежавшие в глубоком севере по берегам Студеного Моря; земли по рекам Онеге и Двине и далее к востоку; Бежичи, Торжок, Великие Луки, Ржев и земли вокруг этих городков».

Но, выставив ясно этот многозначительный факт, г. Неволин, к сожалению, ничего не сделал для его объяснения, хотя это явление наводит на множество мыслей, особливо, когда мы знаем, что гордый Новгород не все свои области третировал одинаковым образом и что права их были различны.

Впрочем, повторяем еще раз, мы не ставим этого в вину автору, который хотел познакомить нас только с официальным разделением Новгородской области в XVI столетии, — и с этой стороны добросовестный труд его представляет много замечательного.

Показав еще другие подразделения Новгородской области на уезды, или присуды, и станы, автор предлагает нам полный каталог новгородских погостов по пятинам. «В каждой пятине каталог погостов расположен по градусам долготы и широты, начиная с ближайших к Новгороду в каждой пятине погостов». При каждом погосте означены важнейшие источники, пис-

цовые и изгонные книги, по которым приурочены главные селения погостных округов к определенным ныне существующим местностям. Здесь кстати мы перечислим источники, которыми, кроме обычных источников русской истории, пользовался г. Неволин для нанесения на карту главных селений погостских округов. Это перечисление покажет нам, что «Карта пятин и погостов» составлена с возможной добросовестностью.

1) Писцовые книги, из которых подробные выписки представлены в приложениях в конце книги, дали самый главный материал.

«Писцовые книги, — говорит автор, — составляют важнейший источник для географии области новгородских пятин и для определения местности каждого погоста: в них поименованы все селения, принадлежавшие к тому или другому погосту, а также многие живые урочища; многие из тех и других существуют до сих пор под теми же названиями и, следовательно, непосредственно указывают на древнюю местность. Но как ни богат этот источник, он оказывается иногда недостаточным. Для некоторых мест, в которых расположены были погосты, у меня совсем не было полных писцовых книг: это именно должно сказать о некоторых частях Шелонской пятины. Сверх того, в писцовых книгах, у меня бывших, некоторые места показываются в такой мере запустелыми, что едва несколько значащихся в них имен можно приурочить к названиям, показываемым на известнейших, самых подробных, картах России».

В приложениях к тексту сочинения г. Неволин представил подробные выписки из писцовых книг, бывших в его руках. Эти выписки «сделаны преимущественно с тою целью, — говорит автор, — чтобы представить читателям доказательства для многих частей моего исследования; но и, кроме того, вообще с целью — сообщить желающим ближайшее знакомство с одним из важнейших источников познания о

древней русской жизни и при удобном случае наглядно указать, какие, самые разнообразные, сведения могут быть извлечены из этого источника».

Мы заметим, что эта последняя цель, с которою автор делал свои обширные приложения, достигнута им вполне. Всякий, кто бросит хотя беглый взгляд на эти выписки из писцовых книг, скоро убедится в важности и обилии их содержания. А так как мы не можем ожидать скорого издания писцовых книг, то выписки г. Неволина получают еще большую цену. В конце статьи мы возьмем несколько отрывков из этих книг, чтобы показать нашим читателям, незнакомым с писцовыми книгами, какой живой исторический интерес возбуждают они.

2) Вторым источником для сочинения г. Неволина служили изгонные книги XVII века или, вернее сказать, «Подробная роспись селений пятин Новгородских, выписанных из старых Новгородских изгонных книг XVII века, с показанием расстояния каждого селения от Новагорода», помещенная в прибавлениях к «Историческим разговорам о древностях Великого Новагорода». Автор смотрит на эту выпись, «как на труд самого сочинителя разговоров, основанный на изгонных книгах».

«Впрочем, — продолжает г. Неволин, — при таком на нее взгляде, предполагая, как и должно вообще предположить, что извлечение сделано верно, мы должны признать ее в высшей степени важной для разысканий о пятинах и погостах Новгородских. Она есть самая полнейшая, до настоящего времени известная, роспись погостов. Означая расстояния погостов от Новгорода, она тем самым показывает, в каком от него отдалении должно искать того или другого погоста. Нужно только при сем не забывать, что версты, которыми означены в Росписи расстояния селений от Новгорода, как доказано Бутковым, в пятьсот сажен трехаршинных. Но определение местоположения по-

гостов по расстояниям от Новгорода, показанным в Росписи, представляет и важные затруднения. Как направление известного селения от Новгорода в отношении к странам света в Росписи не показано, то на расстоянии, указываемом Росписью, надобно бывает отыскивать селение иногда во всех возможных направлениях. Отыскивание затрудняется еще более тем, что расстояния селений, за исключением ближайших к Новгороду, показаны круглыми числами не менее полудесятков, так что до селений, стоящих в расстояниях весьма различных от Новгорода, показывается одинаковое число верст, например до всех волостей Деревской пятины 150 верст. Трудность отыскивания увеличивается до чрезвычайности оттого, что селения, стоящие в совершенно различном направлении от Новгорода и в различном, или даже и сходном, от него расстоянии в Росписи, положены одно подле другого. Ко всему этому должно присоединить ошибки в показании числа верст и в названиях погостов. Ошибок в показании числа верст мною замечено, конечно, весьма немного; но они рождают в исследователе, если он не скоро находит на указываемом Росписью расстоянии известное селение, тотчас сомнение о правильности показания числа верст. Еще важнее ошибки в наименовании погостов. Они заставляют долго и совершенно напрасно отыскивать селения, никогда под тем именем не существовавшие».

При таком взгляде автора на выпись из изгонных книг невольно рождается вопрос: на каком основании показано в верстах расстояние каждого погоста от Новгорода и можно ли довериться этому показанию? От разрешения этого вопроса зависит большая или меньшая уверенность в точности приурочения древних погостов на карте г. Неволина.

Автор перепечатывает эту роспись в конце своей книги на том основании, что «Разговоры, в которых первоначально была напечатана Роспись, не находятся в продаже в настоящее время и не сделались более

доступными для общего употребления от перепечатки в Новгородских Губернских Ведомостях».

3) Третьим источником, послужившим для определения границ Вотской и Обонежской пятин, служили «договоры Российского Правительства с Шведским и Норвежским и межевые записи, которыми определена была граница русских земель с Швециею и Норвегиею».

4) Кроме того, древние и новые географические карты России, списки, составленные по Министерству внутренних дел, «Описание С.- Петербургской губернии», изданное от С.-Петербургского губернского правления, и наконец, сведения, собранные от разных частных лиц.

Но прежде, чем мы расстанемся с прекрасным трудом г. Неволина, нам бы хотелось показать, сколько интересного заключается в сделанных автором выписках из писцовых книг: это — новый и чрезвычайно обильный источник для истории быта русского народа, — источник почти еще непочатый. Автор сам прекрасно знакомит нас с содержанием писцовых книг. Вот что, например, говорит он о содержании книги Шелонской пятины:

«В каждом погосте описывается прежде всего главная его местность, по преимуществу называемая погостом.

После сего описываются Государевы земли, находившиеся во время составления описания в поместье: особо земли за старыми помещиками — детьми боярскими: особо за новыми помещиками Немецких городов, испомещенными в Шелонской пятине, и особо за служилыми земцами. Далее, описываются государевы порожние земли, которые прежде находились в поместье за разными лицами, но во время составления описания не находились ни за кем в поместье: особо описываются земли, бывшие за детьми боярскими, и особо за служилыми зем-

цами. Наконец, описываются земли владычни и монастырские. Разумеется само собой, что в каком погосте не было земель того или другого разряда, там этот разряд не встречается и в самом описании. Земли, находящиеся или бывшие в поместье за одним человеком, или обще за несколькими лицами, равно как и земли владыки, а также каждого отдельного монастыря, составляют в описании особую группу. Описание земель, состоящих в поместье за одним человеком, подразделяется на части, сообразно тем старым поместьям, из которых составилось новое поместье: каждое старое поместье, вошедшее в состав нового, описывается отдельно. В каждой отдельной группе земель описание располагается сообразно селениям и пустошам, входящим в состав этой группы; селения и пустоши различных наименований описываются одни за другими, без соединения селений или пустошей одного рода в одну группу, даже без отделения селений живущих (жилых) от пустых, или от пустошей, в особую группу.

Предмет описания в каждом селении, по указании рода (село, сельцо, деревня и пр.) и собственного имени этого селения (например сельцо Людяно, деревня Коробовья), составляют: находящиеся в нем здания — церкви, дворы лиц разного звания, другие строения, или, если самые строения уничтожились, места их; земли под пашнею, лугами, лесом; особенные угодья — отхожие пожни, мельницы, рыбные ловли и т. п. Если угодья составляют принадлежность целой известной группы земель или находятся вообще во владении известного лица или монастыря, не составляя принадлежности того или другого из его селений, то в этом случае угодья описываются в конце описаний всей означенной группы земель или всех земель означенного владельца.

Предмет описания пустоши, по означении рода и собственного имени селения, из которого сделалась эта пустошь (например, пустошь, что была деревня Козловичи; пустошь, что было сельцо Заречье и пр.), составляют — число мест строений различного рода (на-

пример, место церковное, место дворовое помещиково, три места дворовых крестьянских) и земли под пашнею, лугами и лесом.

При описании церквей, не входящих в состав какого-либо монастыря, означается во имя какого празднества или святого церковь построена, на чьей земле она находится, каменная ли она или деревянная; если она есть теплая, с трапезою, стоит без пения, об этом замечается особо; показывается, чье в ней строение, приходное или известного лица; именуются дворы священно- и церковнослужителей, дворы других лиц (например, бобылей) на церковной земле, число келий для нищих; исчисляются земли пашенные, луга и леса, принадлежащие церкви. Там, где существовавшие церкви, дворы, кельи нищенские уничтожались, означаются их места.

Дворы жилые означаются по именам их хозяев, дворы пустые — или также по именам прежних хозяев, или общим числом. Места уничтожившихся дворов означаются общим числом, с разделением только по разрядам прежних хозяев.

По отношению к земле пашенной различаются: пашня паханая (возделываемая), перелог и пашня, поросшая лесом; количество каждой пашни означается отдельно. Оно означается коробьями, и притом, по означении количества пашни в одном поле, прибавляется: «а в дву потому ж». При пустошах, как разумеется само собою, показываются только количество перелога и количество пашни, поросшей лесом.

По отношению к лугам означается количество копен скашиваемого на них сена.

По отношению к лесу означаются род его (кустарь и болото или бор и болото) и количество (десятинами или верстами).

По указании количества земель под пашнею, лугами и лесами, принадлежащих к известному жилому селению или пустоши, означается, сколько в этом селении живущих и пустых обж, а в описываемой пу-

стоши сколько пустых обж. При исчислении обж берется в расчет только земля под пашнею; каждые пять коробей полагаются в одну обжу.

В отношении к угодьям описание соображается с особенным их свойством (например, мельница мелет одним колесом, рыбная ловля производится такими-то снастями, в такое-то время года, ловится такая-то рыба).

В особенности, в главной местности погоста означаются церкви, там находящиеся, дворы священно- и церковнослужителей и других лиц, а равно число келий для жительства нищих на церковной земле, количество церковной земли под пашнею, лугами и лесом, количество обж. Там, где самые строения уничтожились, описываются места их.

Описание каждого отдельного поместного владения, существовавшего во время составления описания, а равно и каждого порожнего поместья, слагаясь из описания всех селений и пустошей того поместья, заключается приведением общего итога, в котором означаются: число живущих и пустых селений и пустошей различного рода (сел, селец, деревень); число в них дворов помещичьих, людских, бобыльских, крестьянских, других, как живущих, так и пустых; число людей во дворах крестьянских и бобыльских; число дворовых мест, на которых были прежде дворы, и притом с разделением по званиям прежних хозяев; количество пашни, отдельно — паханой и перелогу, коробьями и четвертями, и обще — той и другой четвертями; количество скашиваемых копен сена; количество лесу; количество живущих и пустых обж, тех и других отдельно; количество сошек в живущем и в пустом, отдельно. В конце замечается еще, в каких других погостах есть земли того же помещика, какое есть общее количество земель за ним во всех погостах, какой его оклад и в какой мере это количество наполняет его оклад; или в отношении к окладу замечается, в каком погосте он писан. По описании поместных земель одного разряда, т. е. или состоящих за старыми помещи-

ками — детьми боярскими, или состоящих за новыми помещиками — немецких городов, или состоящих за земцами, или порожних, бывших за детьми боярскими, или порожних земецких, приводится общий итог по землям описанного разряда».

И все это подробное описание сделано тем юридическим языком старого времени, который возник из потребностей прежней жизни и который теперь для нас навсегда утрачен. Каждое слово живет, каждое слово дышит преданием. Наш старый юридический язык, прекрасные образцы которого мы можем найти в юридических актах, до сих пор еще не разобран и не оценен по достоинству, хотя он этого вполне заслуживает. Составители писцовых книг, несмотря на простоту форм своего языка, отлично знали свое дело. Да и самая простота их языка имела свое современное достоинство: они выражались терминами, взятыми из жизни и потому понятными для всех, коротко и определенно. Описывая землю, они описывали ее в том виде, в котором она, в своих различных подразделениях и употреблениях, перешла в сознание тех, кто ее обрабатывал и кто, потому, знал ее превосходно. Погост со своими селами и деревнями, починками, выставками, рядками, пустошами, перелогами, борами, кустарями и болотами, с своим характерным населением, описанным поименно, живо возникает перед нашими глазами.

Кроме описаний, особенное внимание обращают на себя законные распределения, инвентари, в которых подробно означены натуральные и денежные повинности крестьян новгородских имений, раздаваемых в поместья.

«Приступая, — говорит г. Неволин, — к поименованию видов о б р о к а, значащихся в первой половине писцовой книги Вотской пятины 1500 года, замечу, что в нижеследующих указаниях везде разумеется сброк в пользу поземельного владельца, если где прямо не отмечено другое лицо, в пользу которого он установлен. Таким образом значится: «1) В п о г о с т е

Климетцком Тесовском: л. 71: ключнику лопатка баранья; л. 72: ему же четыре сыра, четыре горсти льну, в пользу поземельного владельца пять ставцов соли; л. 33: три ставца масла; л. 82: бочка пива, 20 возов дров. 2) В погосте Спасском на Оредежи: л. 86: четверть из хлеба; л. 86: из хлеба пятина, две бочки пива, два воза сена; л. 87: из хлеба половье, из хлеба треть; л. 91: сыр; л. 93: борцю шесть денег» и т. д. Все было определено и внесено в писцовые книги».

Окончим же наш разбор искренним желанием, чтобы прекрасный и истинно добросовестный труд г. Неволина принес всю ту пользу, которую он может принести в уяснении многих темных сторон русской истории. Такие труды, повторяем еще раз, приближая к нам источники истории и делая их доступнее и понятнее для большинства исследователей, оказывают истинную и прочную услугу науке.

Первый выпуск «Этнографического Сборника» есть только начало обширного издания, предпринятого Императорским Русским Географическим Обществом, которое, как сказано в предисловии, с самого своего основания «стало получать от частных лиц сборники песен, сказки, записанные простонародные обряды, праздники, поверья и тому подобные этнографические материалы», что подало мысль Обществу «дать направление и единство» собиранию таких материалов и «раздвинуть шире круг этой деятельности Общества». С этой целью в 1847 году была издана Обществом печатная программа, которая, в числе семи тысяч экземпляров, была разослана по губерниям, в виде инструкции для желающих доставлять в Общество этнографические материалы.

«План этой программы, изложенный довольно подробно, обнимал следующие предметы: наружность

жителей; отличительные особенности их наречия; домашний быт; юридические обычаи; умственные и нравственные способности и образование; наконец, местные народные предания и памятники.

Издание и рассылка этнографической программы имели самые утешительные последствия, даже превзошли ожидания. Местные описания и этнографические сборники начали поступать в Общество из всех краев России в большом количестве и, очевидно, несомненно доказывали, что желающих принять деятельное участие в трудах Общества весьма значительное число, что важность предложенной этнографической задачи понята и оценена в полной мере. Очень многие из доставленных местных описаний отвечали на все или на большую часть вопросов программы; прочие же только на некоторые. Но между теми и другими находятся статьи, составленные весьма тщательно, с большим знанием дела, и заключающие в себе богатые и разнообразные этнографические материалы, словом — статьи во всех отношениях превосходные.

Присылка местных описаний в Географическое Общество до сих пор продолжается весьма деятельно. Ныне их уже имеется до двух тысяч номеров.

Чтобы сделать эти материалы доступными для любителей и ученых, Императорское Русское Географическое Общество, в 1850 году, определило издавать их. Для этого предположено:

«1) Отделить этнографические описания инородцев, в России обитающих, и напечатать их особливо.

2) Из прочих этнографических описаний, относящихся собственно к русскому племени, издать вполне только те, которые подробно и основательно отвечают на все или, по крайней мере, на большую часть пунктов программы; из остальных же составить систематические своды или сборники».

Далее редакция сборника говорит:

«Издаваемый ныне первый выпуск «Собрания местных этнографических описаний

России» содержит в себе одиннадцать статей первого разряда, т. е. таких, которые Общество определило напечатать вполне. При выборе их имелось в виду представить образцы этнографических материалов, поступивших в Общество в большом числе из различных местностей и относящихся к трем главным отраслям русского племени — великорусской, белорусской и малороссийской, с их подразделением и оттенками.

Все заключающиеся в этом выпуске статьи напечатаны с дипломатическою точностью, насколько это было возможно. Поправлен только местами слог статей, и то в тех местах, где авторы говорят от себя; кроме того, исправлены некоторые очевидные, не подлежащие сомнению ошибки; песни же, сказки, поговорки, названия — все это передано из буквы в букву, без малейших изменений.

Чтобы обнародование этнографических материалов шло не прерываясь, Императорское Русское Географическое Общество определило печатать их впредь особым отделом в «Вестнике» Общества, и все помещенные в оном в течение года этнографические статьи издавать особым выпуском».

Изъявляя свою «искреннейшую признательность всем составителям этнографических описаний, просвещенные и добросовестные труды которых дали возможность предпринять это издание, Общество определило рассылать каждому из них, по мере напечатания их статей, один экземпляр того выпуска этого издания, в котором помещены их описания и, сверх того, по сто экземпляров особых оттисков доставленных ими статей».

«Редакцией первых четырех этнографических описаний, заключающихся в этом выпуске, заведывал действительный член Н. И. Надежин, а редакцией последних семи — действительный член К. Д. Кавелин».

В первом выпуске «Этнографического Сборника» заключаются статьи: 1) Сельцо Васильев-

ское, Нижегородской губернии, Нижегородского уезда (помещика В. Бабарыкина). 2) Село Ульяновка, Нижегородской губернии, Лукояновского уезда (священника М. Доброзракова). 3) Волость Покровско-Ситская, Ярославской губернии, Моложского уезда (священника Преображенского). 4) Приход Станиславовский на Сити той же губернии и уезда (воспитанника семинарии А. Преображенского). 5) Быт крестьян Тверской губернии, Тверского уезда (священника Н. Лебедева). 6) Быт крестьян Воронежской губернии, Нижнедевицкого уезда (старшего учителя Воронежской гимназии П. Малыхина). 7) Село Бобровка и окружной его околоток, Тверской губернии, Ржевского уезда (священника С. Разумихина). 8) Приход Остринский, Виленской губернии, Лидского уезда (профессора литовской семинарии Н. Юркевича). 9) Село Кобылья, Волынской губернии, Новоград-Волынского уезда (протоиерея И. Морачевича). 10) Местечко Александровка, Черниговской губернии, Сосницкого уезда (священника Г. Базилевича). 11) Домашний быт малоросса, Полтавской губернии, Хорольского уезда (священника А. Иваницы).

Нам кажется, что вся обязанность критики при разборе статей, в которых излагаются местными жителями сведения, собранные ими на месте, состоит в том, чтобы указать на годность и важность этих сведений, как материалов для науки: оценить же их достоверность можно только на месте. Но прежде мы считаем нелишним сказать несколько слов о плане «Этнографического Сборника» и о той пользе, которой может от него ожидать и требовать русская география.

Мы разбираем все сочинения, заглавия которых выставлены в начале нашей статьи, только с географической точки зрения. Этнографические материалы, предлагаемые нам «Сборником», составляют, без сомнения, неотъемлемую принадлежность географии. Но

всякий этнографический материал, чтобы сделаться достоянием науки географии, должен необходимо иметь два качества: первое, он должен излагать нам какое-нибудь существующее в действительности проявление народного характера (принимая слово характер в самом обширном смысле: общей характеристики) в связи с физическими явлениями страны и с историей народа; второе, всякий этнографический факт тогда только делается достоянием географии, когда он верно приурочен к местности, когда верно показаны границы области, в которой этот факт существует. Без первого из этих качеств этнографический материал будет мертвым фактом, который наука, ищущая в явлениях мысли и гармонии, пожалуй может занесть для памяти на свои страницы, но из которого она не извлечет никакого вывода. Мы не хотим сказать этим, чтобы этнографические материалы в «Сборнике» должны были быть представлены в обработанном виде, в котором они могли бы уже прямо поступить на страницы науки: обработка фактов, возведение их в мысль есть дело ученой критики. Но мы желаем выразить ту мысль, что всякое этнографическое явление должно быть представлено в связи, хотя и неосознанной, нераскрытой, с другими явлениями того же народного подразделения, будет ли то целое племя или только разноречие; должно быть представлено, так сказать, с корнем: без этого свойства никакая географическая критика ничего из него не сделает. Без второго качества, которое мы назовем местностью этнографического факта, он, хотя и может быть, и то не вполне, пригоден для других наук, вовсе не годится для географии, которая, занимаясь множеством разнообразнейших предметов, относящихся к области самыхразнсобразных наук, тем только достигает самостоятельности, необходимой принадлежности науки, что излагает все эти предметы в приложении к местности. Поясним нашу мысль примером.

Возьмем самый мелкий, самый незначительный факт. Положим, что географ находит в каком-нибудь этнографическом сборнике известие, что в такой-то деревне, находящейся в таком-то уезде, такой-то губернии, при возделывании поля, посеве семян, при снятии и обработке хлебов употребляется особенный способ, не существующий в общем народном употреблении. Одно описание этого способа может иметь еще какое-нибудь значение для агронома; но для географа это описание тогда получает важность, когда он видит его отношение или к почве местности, или к историческим преданиям народа или, наконец, к особенности его быта вообще. Так, если географ видит, что употребление этого способа зависит от особенности почвы, или что оно зашло к народонаселению данной местности вместе с другими обычаями, словами, костюмами от другого народа или племени, соседнего или имевшего в истории какое-нибудь влияние на данную местность. Но этого мало. Географ только тогда может внести уже многозначительный этнографический факт на страницы науки, когда он в состоянии, с большею или меньшею достоверностью показать границы области, в которой является этот факт. Так, если он знает пространство, на котором развивается данная особенность почвы, или границы того населения, в котором употребляется известный обычай, тогда только может он выставить этот факт и в гармонии с другими фактами и в гармонии с другими местностями, с другими подразделениями населения, с историческими переселениями племен и их взаимными влияниями и т. п. Тогда только факт делается географическим, исполняет свое настоящее значение: объясняет взаимное воздействие природы и человека, — воздействие, из которого рождается настоящий географический вид страны.

Теперь посмотрим, в какой степени удовлетворяют этому требованию факты, предлагаемые нам «Этнографическим Сборником».

Возьмем для образца две первые статьи «Сборника»: описание сельца Васильевского и описание села Ульяновки. Обе эти местности принадлежат к двум различным уездам одной и той же губернии, Нижегородской; и потому обе, при некотором различии, условливаемом их значительною отдаленностью друг от друга, носят на себе общий тип, свойственный Нижегородской губернии. В обоих этих селах, как и во всей Нижегородской губернии, вы видите смешанное народонаселение. Это смешение двоякое:

Во-первых, смешение племени славянского с чудским. Племя славянское, относительно новое в этой стране, поглотило в свою обширную народность слабые племена происхождения финского. Припомнив, что говорят об этих или, по крайней мере, соседних местностях Паллас и Гмелин *, мы с достоверностью можем заключить, что племя мордовское, прежде столь могучее и даже страшное, недавно только исчезло и продолжает исчезать в этой стране, превращаясь очень быстро в русских **. Но это слияние чудских племен в русскую народность не остается без следа. Чудское племя, исчезая, при прикосновении славянского элемента, оставляет, однако, более или менее ясный отпечаток свой в физиономии, обычаях, языке и образе жизни того уже русского племени, которое появляется на его месте. Факт, заметим кстати, совершенно противоположный влиянию англо-саксонского племени на племена слабейшие: оно их подавляет, истребляет, а не принимает в себя, не возводит на высшую ступень, как делает это русское племя при столкновении с племенами чудскими, — факт многозначительный, наводящий на множество мыслей, многое

* См. Палласа «Первое путешествие». Перевод Тимковского, изд. 2-е, СПБ, 1789 г., ч. 1, стр. 81—132; Лепехина, Академ. изд., ч. 1, стр. 90—111.

** См. также об этом «Дорожные записки на пути из Тамбовской губернии в Сибирь» в «Отечественных Записках» за 1839 г., т. II. «Смесь», статья И. Г. Мель — кова.

объясняющий в русской истории. Но нигде он не совершается с такою очевидностью, как в Нижегородской губернии, — совершается, так сказать, на наших глазах, хотя немногие * замечают его совершение, и никто не дает ему важного места, которое он должен занимать в истории образования русской народности. Вот почему мы следим с особенным вниманием за всеми теми известиями, которыми этот факт подтверждается, пополняется или уясняется; и вот почему мы прочли с особенным удовольствием эти два первые описания «Этнографического Сборника», обогащенные немногими (к сожалению, слишком немногими) заметками их ученого редактора, г. Надежина. Здесь не место высказывать, насколько это явление — превращение чудского племени в русское — может быть распространено на север и северо-запад, и какую роль играет это поглощение (не исчезновение) чудского племени в истории образования русского языка и русской народности; но когда-нибудь мы поговорим об этом подробнее, если люди, более нас знающие в этом деле, не потрудятся предупредить наши слабые усилия.

Второе смешение, совершающееся в области Нижегородской губернии, нельзя назвать вполне смешением, а скорее столкновением и взаимным воздействием двух, хотя не одинаково сильных, но одинаково упругих народностей — русской и татарской, из которых последняя, прежде еще постоянного столкновения с русскими, оказала уже свое влияние на чудское население той страны. По недостатку положительных сведений мы не можем определить, в какой степени и в каком виде происходит влияние русского населения на татарское; но, сравнивая число татарских поселений, показанных у Палласа и Лепехина в области реки Суры, с теперешними известиями об этих

* Сколько помнится, особенно ясно выразил эту мысль г. Надежин; но, к сожалению, он нигде не высказывает ее вполне.

поселениях, мы имеем право думать, что это влияние действительно существует, если и не выражается с такой быстротой и в таком ярком виде, в каком оно высказывается в отношении племен финского происхождения. Это сожительство, если уже не смешение с татарами, также не осталось без следов в характере, языке и обычаях русского населения Нижегородской губернии.

Кроме этого смешения и столкновения с чуждыми племенами, само русское племя, населявшее уже на глазах истории область Нижегородской губернии, приходило туда с трех различных концов, по трем различным притокам, и составилось, таким образом, из трех различных подразделений славянского племени: с севера — из Новгорода и его области, в виде торговых колоний, из Москвы и Владимира —в виде военных и полувоенных поселений, назначенных для защиты линий против нападения татарской и мордовской «сволочи», и, наконец, прямо с запада, с берегов Дона, а через Дон и с берегов Днепра * — движение, которое прошло более незаметным образом, но следы которого, кажется, можно отыскать.

Не можем не заметить здесь при случае, что движения, притоки, с различных сторон различных элементов русского населения — явление, играющее такую важную роль и в истории и в характеристике населения наших различных губерний — не обратило на себя ровно никакого внимания со стороны наших историков... я не говорю уже: географов, потому что географов, в настоящем смысле этого слова, мы покуда еще не имеем. А, между тем, следы этого движения и слияния различных и разнохарактерных племен в одну русскую народность еще достаточно живы, чтобы их можно было подметить и проследить в настоящей этнографической характеристике народа, да и в исто-

* Движение народонаселения с берегов Днепра на берега Дона замечено в путешествии Гмелина, проехавшего через Воронежскую губернию и Донскую область.

рических источниках прошли они не вовсе незамеченными.

Это смешение различных элементов, из которых составилось народонаселение Нижегородской губернии, находит себе удивительное соответствие в смешении трех различных видов земной поверхности, из которых составился территориум той же губернии. В самом деле, каждое из трех главных племен, славянское, татарское и финское, имеет на этом территориуме соответствующую себе почву: племя финское — болотистые лесные пространства, с которыми, кажется, связано их самостоятельное существование, так что где исчезает лесистая болотистая природа, там и финн перерождается; племя татарское (в самом обширном смысле этого слова), или лучше сказать, племя азиатское, в противоположность славянскому — европейскому и финскому — северному *, находит себе родную почву в степных пространствах, заходящих в Нижегородскую губернию с юга, а земледельческое племя славян — в тех прекрасных равнинах, которые, являясь здесь с берегов Оки, разрастаются все более и более на счет исчезающих финских лесов и болот, в той же мере, в какой славянское племя разрастается на счет русеющего чудского. Смешение этих трех главных типических элементов русской земли, повторяющееся и в других местах, нигде не высказывается с такой ясностью, как в Нижегородской губернии и сопредельных с нею местностях. Мы обязаны этою заметкою прекрасным и точным наблюдениям Палласа и Гмелина, отмечающих подробно всякую перемену в почве и в народонаселении. С тех пор многое изме-

* Мы в этом случае следуем К. Риттеру, который смотрит на север Европы, Азии и Америки как на самостоятельное целое. И в самом деле, природа, население и даже историческая судьба севера во всех трех частях света имеют так много общего, что мы не можем не согласиться с справедливостью этого взгляда. А мы видим в финском племени одно из многочисленнейших племен — аборигенов севера, которое исчезало и продолжает исчезать по мере покорения этих стран европейской цивилизацией.

нилось в этой местности, и записки наших старых путешественников, кроме интереса географического, получают для нас еще интерес исторический. С тех пор леса исчезли, мокрые, болотистые пространства превратились в обработанные равнины, мордовские разбросанные деревни — в русские села. И что удивительного: с тех пор прошло уже почти 80 лет! Заметки Палласа и Гмелина о разнообразном, смешанном характере нижегородских местностей находят себе блестящее подтверждение и пополнение в местных показаниях, представляемых «Сборником».

Это строгое соответствие между элементами народонаселения и элементами территориума кажется странным только с первого взгляда, но при внимательном наблюдении есть необходимое следствие природного характера каждого племени. Бродячий финн может жить только в лесах, которые одни могут дать ему поприще для его охотничьих занятий. Самое земледелие финнов, основанное на выжигании лесных участков и постоянной перемене этих участков (огнищ), истощенного плодородия которых он не любит возобновлять, условливается существованием лесов. Если же лес истреблен, если финн волею-неволею должен переменить свою бродячую жизнь и свои подвижные селения на жизнь постоянно оседлую, то немудрено, что вместе с тем и самая характеристика его изменится. Славяно-русское племя ведет какую-то ожесточенную и постоянную борьбу с лесами. Уже Паллас заметил это, а некоторые факты «Сборника» подтверждают *. Но, истребляя леса и уничтожая финскую народность, славянское племя, по природе оседлое, получает от него склонность к бродячей жизни, или, лучше сказать, мордвин, сделавшись русским, не совершенно забывает

* Вот что, например, говорится в «Описании волости Покровско-Сицкой (Ярославской губернии)»: «Вообще должно сказать о Сицкаре, что он, родясь и выросши в лесу, свыкся с топором, как казак со своим копьем, его любимое занятие возиться всячески с лесом. Таким образом, лет тридцать тому назад,

свои прежние наклонности, хотя удовлетворяет им на более обширном поприще: большею частью пускается бурлачить по Волге, на что также жалуются в обоих описаниях, относящихся к Нижегородской губернии. Что касается до татар, то, говоря о их природных наклонностях, мы должны различать два племени, совершенно различные: турецкое и монгольское, которые так долго смешивали под одним названием. И монголы и турки — первоначальные жители степи, народ кочевой; но монголы крепко держатся кочевой жизни; тогда как турки легко меняют ее не на жизнь земледельческую, как финны, но на жизнь городскую: занимаются ремеслами, к которым они имеют природную способность. Доказательством справедливости этой заметки в отношении племен турецкого происхождения, к которым принадлежат и наши казанские и нижегородские татары *, могут служить все промышленные города по обеим сторонам Тянь-Шанского хребта, от Гами и до Кашгара, точно так же, как оазисы Хивы, Бухары и Коканда. Факт, не подлежащий сомнению, и на котором потому мы не будем останавливаться **. Сидячая же жизнь ремесленника, лишенная разнообразия и прелести жизни сельской, не по характеру славянина, и мы встречаем в «Сборнике» не одну жалобу на отвращение крестьян от ремесел.

Вот элементы, из которых сложились земля и население Нижегородской губернии. И как недавно сложилось это население! Как ясны еще следы этих элементов во время первых (и — увы! — пока последних) наших путешественников! Ряды военных линий,

---

крестьяне здешние, не имея за собой надзора, сильно губили волостной свой лес...» и т. д. Нижегородские же крестьяне дали такую свободу своему природному стремлению, что в обоих описаниях, относящихся к Нижегородской губернии, мы встречаем громкие жалобы на недостаток в лесе, хотя восемьдесят лет тому назад Нижегородская губерния могла считаться в числе лесистых.

* Клапрот.

** Риттер в «Путешествии» Муравьева.

остатки которых видны повсюду, начинаются незадолго до междуцарствия; менее чем за двести лет до настоящего времени мордовские разбойники были грозою этого края; набеги кубанских татар были еще в памяти жителей во время переезда Лепехина. Таким образом. мы можем с полной достоверностью утверждать, что во время междуцарствия, когда Нижний-Новгород так блистательно выступает на сцену нашей истории, он был еще краем новым, последнею твердою ступенью России в ее юго-восточном расширении. Такие новые страны, полные девственной энергии, еще не испытавшие порчи, гордые своею новою гражданственностью, способнее всех прочих совершить великое в истории, и мы могли бы представить тому несколько примеров. И Нижний-Новгород совершил это великое дело: спас Россию от поляков и изменников. Не забудем также, что Никон, этот человек, обладавший таким твердым, ясным умом, этот смелый нововводитель, положивший твердую границу между суеверием и верою, был сыном нижегородского крестьянина.

Смотря с этой точки зрения, мы находим глубокий исторический смысл в заметке, которую делает автор «Описания сельца Васильевского», г. Бабарыкин, говоря о характере окрестных жителей. Они, по словам его, питают уважение к себе, «не чуждое некоторой гордости и даже нетерпимости: так, при водворении крестьян из других мест, здешние крестьяне до тех пор не примут новопереселенного в свое братство, пока не поддержат его кредитом; не дадут, без особого понуждения, невесты в дом, пока дом этот не примет всех здешних обычаев. Посему, первым отличительным нравственным качеством здешнего народа должно счесть уважение его к своей общественности, проникнутой христианскими понятиями. Этою-то, пережившею века, народною чертою можно объяснить себе патриотизм нижегородцев в знаменитом 1612 году».

«Другие отличительные качества народа, — продолжает автор далее, — суть: твердость в слове, смет-

ливость и предприимчивость, знание цены времени и деньгам. С темной стороны, заметна недостаточная твердость семейных уз между мужем и женою, что должно приписать отчасти соседству магометан, а всего более многолетним отлучкам мужей из домов по промыслам. Есть также в нравах некоторая суровость, отчего сами здешние жители называют себя «злым, лютым народом».

Из этих главных данных природы, характера смешанного поселения и истории возникает весь настоящий вид Нижегородской губернии. Два описания, указанные нами, дают множество чрезвычайно ярких фактов для пополнения этой картины, основные линии которой мы набросали. Описание местности, жилищ, одежды, языка, промыслов, обычаев, характера, — все так льнет одно к другому, так настоятельно требует страницы в географии! Но можно ли по этим данным начертать географию Нижегородской губернии? Им недостает того качества, которое мы назвали местностью. Мы знаем, что в этой губернии степные и лесные пространства и равнины перемешаны между собою, но, не зная взаимных границ этого смешения, не можем отгадать его законов; то же должно приложить и к элементам населения. Как бы ни было богато количество фактов, собранных нами в известном округе, как бы ни многозначительны были эти факты, как бы ни ясно звучала гармония, находящаяся в них, но если не показаны границы известной местности, известного племени, известного обычая и т. д., то география невозможна. Мы не хотим этим сделать упрека «Сборнику»: это не имело бы никакого смысла, — но хотим только показать, что самые подробные сборники местных описаний не могут заменить для географа путешествий. Одни путешествия могут разместить эти богатые факты, которые нам предлагает «Этнографический Сборник». Заметки, сделанные о сельце Васильевском или о селе Ульяновке, конечно, не относятся к ним одним (тогда бы они имели

весьма мало цены для науки), но и не могут быть приложены ко всем селам Нижегородской губернии. Подобного же описания всех сел и деревень мы, конечно, ожидать не можем. Вот, как нам кажется, ясно доказанная необходимость путешествий по России, — необходимость, которая тем более будет чувствоваться, чем более фактов представит нам «Этнографический Сборник». Запасшись этими фактами, можно путешествовать с пользой. Вот какое значение мы даем «Этнографическому Сборнику» — значение весьма важного и прекрасного собрания географических материалов, достоверность которых возрастает пропорционально с количеством авторов различных описаний. Но не должно забывать, что только одни путешествия могут внести в географию эти материалы.

Все, что мы сказали о выбранных нами первых двух описаниях сел Нижегородской губернии, еще в большей мере относится к другим описаниям — сел ярославских, тверских, воронежских и малороссийских. В этих местах мы и вовсе не имеем путешествий и решительно не можем приурочить важных фактов, сообщаемых нам «Сборником». А как важны, как интересны эти факты, как хотелось бы знать их географию и через нее объяснить их историю! Как интересно бы, например, знать границы наречия, которое всякий, не знакомый, по какому-нибудь случаю, с местностью, с удивлением встретит в глуби Великороссии, в Ярославской губернии:

«С в а т. Здоро́во-цё мои ронныjo! Здоро́во-цё золотыjo мои! — (Обращаясь к невестину отцу): Здоро́во, задушевный мой прия́целишшо!

О т е ц. А зацем ваше прихожество к нашему убожеству? Зацем к нам пожаловала твоя милосць?

С в а т. Ишшу́, нет ли гдзе полу́цце любо яроцки, любо целушецки на свой двор. Нет ли у ця, браця́ша, е́втакой для племени? — Я слышал онодысь, што́ у цея́ е́сци евтакая пригожая, росхорошая, да и продажная ешшо́ — дак я к цёе по слухам-цё и забрёл. Слухом

земля полницца, братеч! (Тут отец невестин догадывается, к чему клонится дело, а сват продолжает.) Ну штó, голубцык мой, éсци што ли у цéя?

Отец. Есць, дружоцык, есць. Да самому нужна мне кацца, не лишняя јона.

Сват. О родзи-мојо, мојо! Ништо, вишь, цее нехóцца с ней раступисцца. Померекай-кё хорошенькё, да и по рукам скорејо: дзенжóноцки сейцас же на рýцку! Нецово мешкаць, покуда не ушли годоцки у нејо; толда и рад бы продаць, да уж поздно будзёт. Спýсця лето по малину в лес не ходзят николда: слыхал ли ты, мојо родзимојо, евту пословицу рассейскую? Мерéкай-ка!..»

Или можно ли себе представить, что сказка, начало которой мы приводим, принадлежит Тверской губернии, столь отдаленной от Белоруссии?

«Как не в каким чарстви, не в каким гасударстви, как жив (у) поп, поп удов (вдовый), и как была у иевтаго папа доц яго радная. Эта, братиц ты, так ён бярёг яе, и как ён ни едзить кудý у приход, ён завсегды вязетсь ей гастинцыки, що ёвта прихожани знаютсь, що ёсь у нашего папа доць и надабитсь ей как-нибутсь гастинцыкав паслатсь; и паехав (у) ён у приход, — вёрст за двинадцать дзиревня. Ну ета ён з прицасттям паехав, и там ён прицастив цалавека ну ладна, и прибярягли яго воцинна харашо. Ну ён и забыв (у), щобы гастинца доцки дали, ну, ён и сев з евтсим и поехав дамов (у). И едзить ён па дороги, и гаритсь цалавеццая галава на дароги, и усý згарела, тóльки пóпил (пепел) ядин астаéтцы. Ен было праехав (у), патом и уздумав: щошь я праехав, видзь цалавеццая галава гаритсь, дай я вазьму у карман етат папялок и нагрябу. Ну, дай я ёвтак пóпил у карман улажу, и звязу дамов и пагрябу. Ну узял éн у карман ягó и усыпав (у), сев нá лашадзь апятсь и паехав дамов. Ну, пряжжаитсь к двару и сувстрикаитсь яго дóцка, з лошадзи знимаитсь ягó; у ягó забалела галава, видна з ветру, и яна спатсь яго палажила на пярину. Ну потом яна уздумала ёта,

ах, батюшкаж мой нябо́сь гастинца привёз. Яна и цап у карман, ёвтат жи папялок абаратсився ларцыкам. Ну ета яна выхватсила етат ларцык, и кажитцы, ну ларцык; харашо, а нязнаю как его атлажитсь. Ну, вот яна выхватсила и лизнула яго и забяреминила. Хто носитсь па нядзелям, а яна па цасам; дайшло да таго уре́мя, що радзить и радзи́ла; ну, сийцас патом ягó и ахристсили, наркли ямя Надзе́й, панов унук».

Мы не можем не одобрить такого помещения целых разговоров или целых сказок, какие мы видим в «Этнографическом Сборнике»; в них виднее, чем в отдельных словах, выражается характер наречия; но должно, чтобы такие отрывки были написаны и отпечатаны именно с дипломатическою точностью. Имев случай познакомиться с несколькими русскими разноречиями, мы, сколько можем судить, находим, что все слова, речения и целые отрывки, помещенные в описаниях сел великороссийских, достаточно верны, но, к сожалению, не можем сказать того же о словах, речениях и песнях малороссийских; а это тем более жаль, что описания этих сел прекрасны, и мы не можем удержаться, чтобы не посвятить им еще одной лишней страницы.

Земля малороссийских губерний, в противоположность различным местностям губерний великорусских, — местностям, возникшим из более или менее ясного смешения различных видов поверхностей России (холмистой равнины, болот и степи), — представляется однообразною тучною равниною, которая только на окраинах своих, там, где она соприкасается или с южнорусскими степями, диким полем запорожцев, или со скалистыми отрогами Карпатов, или с пространствами Белоруссии, когда-то лесистыми и болотистыми, а теперь песчано-глинистыми, — изменяет несколько своему однообразному характеру. Но этот несмешанный и, если можно так выразиться, элементарный характер местности выражается на весьма обширном пространстве, заключающемся в губерниях

Полтавской, Киевской и южной части Черниговской (северная половина Черниговской губернии, почти верно отделяемая Десною, принадлежит Белоруссии) и высказывается с такою ясностью, что бросается в глаза самому невнимательному путешественнику, съезжает ли он на почву этих губерний с холмистых пространств губернии Орловской, или с южной степи, или с небогатой почвы Белоруссии. Тучная, черноземная равнина, украшенная рассыпанными рощами и садами, везде почти ровная, на которой только кое-где проскакивают горные островки — слабые следы замирающих сил, выдвинувших на западе твердыни Карпатов. Равнина эта богата водою, спокойно скользящею в крутых, высоких берегах ручьев и рек, притоков одного Днепра; так что это богатство нигде не переходит в излишество, нигде не делает страну мокрою и болотистою; здесь есть леса, но они не похожи на леса севера, — здесь тучная и гладкая равнина, но она не похожа на южную степь. На этой типической однообразной местности живет столь же типическое и столь же однообразное племя. Оно, подобно земле своей, осталось племенем цельным, несмешанным, хотя и отразило на себе различные явления. Язык его, следы которого можно проследить во многих великорусских наречиях, хотя и принял на себя довольное количество слов чуждых, но не только остался нетронутым в главных своих основах, но и не раздробился на разноречия, хотя в нем и есть различные говоры. Целость эта, по нашему мнению, есть, с одной стороны, верный признак первобытности языка, а с другой — неодолимая преграда к его постоянному обогащению и дальнейшему развитию *. Вот почему язык этот ни по богатству, ни по обработке своей не может сравниться с неисчерпаемо-богатым языком русским. Русский язык, в противоположность языку малороссийскому,

* Заметка, сделанная Бэконом в отношении языка еврейского.

не есть первобытный язык племени, но создание истории, образовавшееся органически из бесчисленных, в истории же раздробившихся наречий. Он настолько же выше всякого племенного славянского языка, насколько создание истории выше создания природы и случая, насколько русское государство выше племенных общин. Русский язык — это бесконечное море, питающееся из бесчисленного множества неиссякаемых рудников — бесчисленного множества наречий, которые все несут ему дань свою, очищаемую и соединяемую в одно органическое целое в горниле истории. Нам кажется, что филология весьма мало обращает внимания на значение Москвы, этого сердца России, созданного историею, в образовании русского языка. Московское наречие, легшее в основу нынешнему литературному языку, по своему образованию и богатству, по своей чистоте и гармонии, настолько выше окружающих его разноречий, что мы никак не можем допустить мысли, чтобы оно и с к о н и принадлежало небольшому славянскому племени, забравшемуся на берега Москвы и Клязьмы, в средину чудских племен. Мы не знаем, каким языком говорило это племя, жившее здесь до времен этих князей Юрия и Андрея, но знаем только то, что со временем этих князей, положивших начало Великороссии, народонаселение Владимира (и окрестных городов) и потом Москвы постоянно пополнялось со всех концов и из самых различных племен тогдашней России. Только по одним, не подлежащим сомнению, свидетельствам летописей мы можем показать последовательные поселения в этих местах (составивших центральную область России) жителей Малороссии, Твери и Новгорода; а мы знаем, до какой степени различны наречия этих трех главных подразделений русского племени. Но, кроме этих поселений, совершавшихся по случаю и по временам, принимая в расчет, что все народонаселение Москвы, не исключая даже и торгового, скреплялось в одно целое служебными отношениями к московскому двору, и что на

московскую службу, на которую и правительство и подданные глядели как на службу высшую, привилегированную перед службами всех других городов, собирались люди со всех концов русской земли и даже иностранцы, — мы должны будем предположить, что в языке москвичей времен обоих Иоаннов и даже времен междуцарствия господствовало самое пестрое разнообразие наречий. Не имея памятников народного московского языка того времени, мы не можем проследить, как и в какие периоды исчезло это разнообразие; но мы знаем, что оно исчезло и сменилось чистым, ясным, развитым и способным к бесконечному развитию языком, из которого со временем возник наш образованный и литературный язык. Все последующие отрасли этого языка, завладевшего правом гражданства во всех позднейших открытиях и завоеваниях Москвы, носят на себе уже этот отпечаток чистоты и образованности; таков, например, язык Сибири и отчасти язык губерний Ярославской, Нижегородской, Владимирской и губерний заволжских, где, впрочем, попадаются и другие слои, проникшие туда, как мы говорили выше, другими путями, со стороны, например, Новгорода. Вот на каком основании мы называем русский язык языком не племенным, но образовавшимся в истории, — языком не племенным, но народным, — языком в собранном смысле слова, в противоположность племенным наречиям. Язык п л е м е н н о й может быть мягок, благозвучен, но только язык народный способен к бесконечному развитию: неисчерпаемый родник его кроется в истории.

Мы с полным правом можем назвать население приднепровской равнины, очерченной нами выше, аборигенами этой местности, вполне соглашаясь с теми исследователями древности, которые в будинах и скифах-земледельцах видят славян. А приняв это однажды, мы должны допустить, что это было то самое славянское племя, которое Нестор так характерно показывает нам в мирных полянах, отличающихся от всех окрест-

ных племен своими кроткими нравами, своими тихими наклонностями. После Нестора население приднепровской равнины, остававшееся уже постоянно на глазах истории, не изменилось. Оно подвергалось и набегам половцев и татар, и владычеству Литвы и поляков; но одни, довольствуясь грабежом, не вытесняли жителей и не селились на их места, — другие, довольствуясь владычеством, не смешивались с простым народом, который, таким образом, постоянно оставался в своей первобытной чистоте. Несколько изменений в костюмах, несколько чуждых слов и обычаев — вот все, что досталось простому народонаселению приднепровской равнины от этих различных влияний. Эта жизнь на одной и той же местности, посреди одной и той же благодатной природы, вознаграждающей с избытком нетяжелый труд, — жизнь, продолжающаяся более двух тысяч лет, наложила неизгладимый и резкий отпечаток на это население. Оно и теперь, как во времена Нестора, не говоря уже Геродота, предано мирным занятиям земледелия, не любит торговли; не любит гнаться за далекими промыслами, привязано к своей земле, вскормившей его бесчисленные поколения.

Вот причина типической особенности малоросса, и эта особенность, поставленная в конце той же книги, в начале которой очерчен предприимчивый нижегородец, выдается необыкновенно ярко. Это две крайние черты в общей характеристике русского народа. В этих прекрасных описаниях малороссийских сел все дышит неизысканной, но разнеживающей роскошью малороссийской природы, миром вековечных земледельческих занятий, отдалением от всех тревог шумной жизни; только в песнях слышатся затихающие воспоминания прежних беспокойных времен. Все обычаи малоросса отличаются необыкновенною нежностью, которой, кажется, нельзя ожидать от этих неподвижных физиономий, опаленных вечно ясным солнцем; во всех обрядах их виден народ, главным занятием ко-

торого с незапамятных времен было одно земледелие, и который был одним из первых племен, принявших христианство; во всех его песнях проглядывает что-то первобытное, несмешанное. Мы не можем не выписать здесь некоторые из этих обычаев и песен.

Вот каковы, например, нравы крестьян местечка Александровки, Черниговской губернии, Сосницкого уезда *.

«Разговаривая между собою, казаки почти всегда говорят друг другу «вы». Даже и помещичьему крестьянину они говорят в ы, а не т ы: «чи вы не знаете, дома пан?» Но в присутствии самого пана, или владельца, они говорят ему т ы: «ты, добродию!»

Старые люди имеют следующий, весьма похвальный обычай: как бы они ни были раздосадованы в своем семействе или посторонними людьми, они никогда не употребят неприличного ругательства. При крайнем огорчении они говорят тому, кто их рассердил: «лихо батьку!», и никогда не прибавят: «твоему». — По их мнению, для досадителя нестерпимая обида, а для обиженного непростительный грех указывать на такого-то покойника или отца. Потому-то они неопределительно говорят только «лихо батьку!».

Также похвальны и другие обычаи александровских жителей. Каждый хозяин, или домоправительница, невидимо сохраняют в своем доме три священных предмета, а именно: крест, артос и святую воду. Крест хозяйки пекут сами из кислого хлебного теста в средопостье (на крестопоклонной неделе, в среду); этот день обыкновенно называется х р е с т ь е**. Крест засушивают и целый год он лежит в амбаре на житной муке, из которой пекут хлеб. Артос ежегодно получается в церкви от священника в артосную неделю; по вкушении он также засушивается и хранится в жилой избе или за иконами, или в так называемой здесь

* Описание священника Базилевича.

** В этот день — на хрестье — сеют в огороде, обыкновенно по снегу, мак, и он хорошо родится.

круглой бодне с крышкою, употребляемой вместо сундука. Святая вода сперва приносится в дом из церкви 5-го января, с навечерия богоявления, и называется «вечернею водою». Затем на самое богоявление опять приносится вода, по освящении ее близ Верхолесья на воде, или в Александровке, близ колодезя, и называется просто «богоявленской водой». Эта вода смешивается с водою, освященною на житах 23-го апреля, в Юрьев день, и с водою, освященной в церкви 1-го августа, в день Маккавеев. Святая вода хранится в погребе, где варево. Эти три священные предмета тщательно сохраняются хозяевами, и когда во дворе родится какое-либо животное или птица, то хозяйка кропит новорожденное святою водою; крестом же хозяин, в день богоявления, сам освящает всю постройку в доме и то место в пуне, или в клуне, где хранится жито. С крестом и артосом в левой руке хозяйка выгоняет в первый раз весною скот на пашню, окропив оный предварительно святою водою, а в правой руке непременно держит в таких случаях вербу, полученную в вербную неделю в церкви от священника, и, подгоняя ею скот, говорит: «иди себе с богом!» С крестом и артосом хозяин выходит также в первый раз весною орать поле, или как здесь говорят: заорувать; также с ними идет он в первый раз сеять. По возвращении он должен крест и артос положить на свое место. По истечении года, когда на хрестье печется новый крест из кислого теста, старый сухой крест размачивают в воде и съедают, прежний артос также съедают по принесении нового из церкви в артосную неделю, и всегда съедают его прежде нового; оставшуюся же святую воду дают допивать 5-го января детям, которые не в силах поститься в так называемую здесь голодную кутью, т. е. до навечерия богоявления; а если остается вода и от детей, то ее выливают в колодезь; говорят, что некоторые старушки сохраняют ее надолго.

Сверх того, в Новый Год (1-го января) люди собираются к литургии во множестве благодарить за

прошедшее лето и благословиться на наступившее; а мальчишки, еще до обедни, ходят в этот день к лучшим хозяевам и поздравляют их с новым годом и праздником Василия Великого, причем приносят с собою всякие семена, смешивают их и, засевая ими пол, приговаривают:

«Зароди, боже,
Жито, пшеницу,
Всяку пашницу!

Будьте здоровы с праздником
И с Новым Годом».

Здесь соблюдается также интересный обычай ходить в день рождества христова с звездою; грамотные казаки делают из бумаги кругообразную, двойную звезду, так чтобы между обеими половинами ее оставалось пустое пространство, на каждой половине рисуют человеческий образ с сиянием, и всю бумагу вымазывают конопляным маслом; потом звезду высушивают и ночью ставят внутри ее горящую свечу, так что рисунок выказывается весьма ярко. Этот круглый рисунок или звезда утверждается на шпиле, так, чтобы она могла двигаться или вертеться около шеста. С такою звездою поют под окошками следующую псальму:

«Шедшие трие цары,
Ко Христу со дары;
Ирод их пригласив, куда идуть? испросив.
(Повторяют два раза.)
Отвещаша ему:
Идем к рожденному!» И т. д.

Вот, например, как проводятся в Малороссии дни великих праздников:

«Светлое христово воскресение празднуют здесь тихо и чинно. В этот день нет злобы; все христосываются в семействе и с сторонними людьми, а суетливая мать не может пошуметь даже и на нескромных мальчишек; в противном случае муж тотчас сделает ей такое замечание: «Таки сей день хоть можно стерпить

таби...» В этот день приносят в церковь до обедни «на цвынтарь», или на паперть, святить пасхи, приготовленные гораздо лучше обыкновенных куличей, а именно: здесь пекут круглые хлебы, выше обыкновенных, пшеничные (из домашней пшеницы) или же ситные; на каждом из них непременно выложен из теста крест; верхняя часть хлеба желтится инбирем, смешанным с водою, что придает ему отличный вид. Кроме пасхи, обыкновенно святится соль, крашенные яйца, колбасы, и непременно жареный поросенок, с хреном в зубах. По прибытии домой, вкусив пасхи, тотчас едят немного хрену, приговаривая: «укусить себе немного хрену, шоб глисты замерли!»

День сошествия святого духа, или пятидесятницы, также празднуется здесь отлично весело, быть может, потому, что пятидесятница здесь храмовой праздник. В избе и на дворе ставят в этот день зеленые деревья и постилают траву. На другой день пятидесятницы, в праздник св. троицы, приносят в церковь к литургии цветы и всякое душистое зелье, которое священник, во время обхода с процессиею вокруг церкви после обедни, окропляет святою водою; при этом случае каждый старается поднесть свое зелье поближе к священнику, для того, чтобы оно непременно было окроплено. Все поднимают свои цветы и зелья вверх, как бы предупреждая один другого, так что в это мгновение священника почти не видно за поднятыми кругом его зельями. По принесении в дом, зелья высушиваются и, в случае чьей-либо смерти, кладутся в гроб, под голову покойника.

Праздник усекновения честные главы предтечи (29-го августа) празднуется, напротив того, уныло. В этот день многие ничего не едят до вечера, другие же дают обет поститься в этот день, например, чтобы быть здоровыми, и т. п.

Празднование воздвижения честного креста (14-го сентября) замечательно здесь тем, что из-под креста берутся из церкви васильки, для укрощения припад-

ков, бывающих у младенцев. Обыкновенно кладут эти васильки больному под плечи и по вере бывает облегчение.

Равным образом и верба, взятая в церкви от священника в вербную неделю, имеет, по мнению здешних жителей, целебную силу. В случае испуга детей, ее пережигают в порошок и дают детям пить с водою. Свечка, которая в вербную утреню не догорит на вербе, приносится домой и кладется в льняные семена; с этим огарком сеют лен, веруя, что молния не прибьет льна.

Страстною свечою окуривают здесь также «причинных» или «припадочных». Во время грозы ее зажигают и ставят на столе, покрытом белою скатертью.

В день преображения (6-го августа), кроме плодов, освящается еще крест, сделанный из житных колосьев, или венок, для первого житного посеву, и святится новый мед в стельниках.

В день благовещения закармливают в первый раз пчел благовещенскою просфорою, взятою в этот день на всенощном бдении.

Юрьев день (23-го апреля) празднуется здесь торжественно. Все, и старый и малый, идут после литургии из церкви, вместе с духовною процессиею, прямо на житное поле; там один из хозяев предварительно ставит на своей ближайшей ниве стол, постилает на нем белый покров и кладет хлеб и кусок соли, около же стола приготовляет воду в сосуде, для освящения; к этому месту приводит он всю духовную процессию, неся сам впереди храмовую икону или икону св. Георгия. Под столом в это время бывает скрыта трапеза с вином, которую едят уже по вкушении всеми освященной здесь воды и по окроплении житных посевов. Затем расходятся до обеда. После обеда каждый хозяин с своими приятелями опять идет в поле смотреть свой житный посев; они также несут питье и закуски, — а молодежь собирается особо толпами, и тут бывает музыка, песни и прочее».

Здесь, как вы видите, нет почти ни одного суеверия, в полном значении этого слова; это только теплые религиозные верования, выраженные в светлой, живой форме, для которой все краски взяты из земледельческого быта.

Окончим же наши выписки песнею, в которой все дышит спокойствием тучного поля, полного жатвы, звенящего под дружными серпами. Песню эту поют во время работ:

Ой чие-то поле
Зазвенило стоя.
Зазвенило, зазвенило стоя!

Иванове поле
Зазвенило стоя.
Зазвенило, зазвенило стоя!

Жнецы молодые,
Серпы золотые.
Зазвенило, зазвенило стоя!

И жито пожали,
И в копни поклали.
Зазвенило, зазвенило стоя!

Опанасово (Афанасьево) поле
Задремало стоя!
Задремало, задремало стоя!

Жнецы все старые,
Серпы лубяные.
Задремало, задремало стоя!

Жита не пожали,
Серпы поломали.
Задремало, задремало стоя!

Теперь нам остается сказать несколько слов об ошибках, вкравшихся, не знаем по чьей вине, в малороссийские слова и песни. Их очень довольно, и мы укажем только на некоторые. Так, например, на стр. 297, в строке 19-й, написано ослан (скамья), тогда как на северной окраине Малороссии говорится ослон, а в глуби — ослин; ослан же совершенно неправильно. На стр. 335, строка 3-я:

«Наставыли купак.
Як на неби зурок».

Ни купак, ни зурок нет в малороссийском языке: это должно быть кипо́к, т. е. коп хлеба, и зиро́к, т. е. звезд (взирающих с неба); а по северному произношению — ко́пок и зо́рок.

На стр. 353 в стихе: «В маслычко в мечают» должно быть: в мочають.

На стр. 354, в стихе: «Плеве́ у́тинка з утыня́тами на мо́ре нучува́ты» никто не признает малороссийского языка. Здесь четыре ошибки: плеве, читай плыве; у́тинка, читай у́тынька; нучуваты, читай ночуваты.

На стр. 357, в стихе: «Сушува́ла (грустила) Мару́сенька сей увесь ты́ждень». На малороссийском языке нет и слова сушувать; а должно было быть сумовала, что точно значит: грустила.

В следующих трех стихах (на стр. 368) две ошибки, из которых, впрочем, одну мы причисляем к опечаткам:

«Що в пе́рвому ты зниздо зове́єш,
А в друго́му дито́к наведе́ш.
А в тре́тьему дито́к погадує́ш».

Должно быть гниздо и погодуеш. И таких ошибок довольно.

Окончив разбор «Этнографического Сборника», мы не можем не пожелать от души, чтобы это превосходное и ввысшей степени полезное издание продолжалось с полным успехом и обратило на себя то внимание наших ученых, какого оно поистине заслуживает. Такие описания множества местностей, разбросанных по обширному лону нашего отечества, дадут географии его ту наглядность и живость, которые одни могут извлечь ее из сухих школьных форм.

Статья третья и последняя

Нам остается еще разобрать два сочинения, оба описывающие одну и ту же страну, и которые потому мы соединим в одну статью.

Нынешняя Персия, древний Иран, представляет собою такую типическую форму земной поверхности, которая в продолжение тысячелетий выражалась одинаковыми явлениями в истории человечества и долго играла в этой истории важную роль страны переходной от Азии к Европе. Но в настоящее время это назначение Ирана представляется выполненным и он может быть причисляем к числу стран отживших, пока гений истории не вызовет его снова на поприще всемирной деятельности. Благодаря множеству умных путешествий, превосходных археологических, этнографических и исторических исследований, относящихся к Ирану и отдельным частям его, благодаря глубокому творению Риттера, мы можем иметь довольно ясное и полное понятие об этой стране развалин; но, желая передать это понятие нашим читателям, мы прибегнем к довольно странному средству, которое, вероятно, вызовет улыбку на важные физиономии людей, полагающих, что о так называемых ученых предметах нельзя иначе говорить, как только торжественным, учительским тоном.

Года два тому назад, на выставке С.-Петербургской Академии Художеств, нам бросилась в глаза одна небольшая картинка, замечательная если не по выполнению, о котором мы не можем судить, то по содержанию, которое — обдуманно или случайно, не знаем, — прекрасно выражает настоящее положение не только Ирана, но и вообще всей Западной Азии. Нам неизвестно, что хотел выразить художник, и мы думаем даже, судя по некоторым частностям картины, что она не относилась к Ирану, тем не менее она прекрасно выражала идею, которую мы хотим передать нашим читателям.

Под темносиним, прозрачным небом, свойственным только высоким плоским возвышенностям и способным в самых грубых натурах пробудить чувства, из извращения которых возник сабеизм, и породить в са-

мых неразвитых умах первые наблюдения над течением небесных светил, — словом, под высоким и чистым, как кристалл, небом Ирана раскинулась бесконечная степь-пустыня во всем своем диком, ужасающем величии. На ней, там и сям, на песчаных холмах, в которых схоронены остатки протекшей жизни бесчисленных поколений, пробивается тощая растительность: она отдыхает от денного зноя и приготовляется к борьбе с ночным холодом. Солнце, — это страшное солнце Ирана, в котором столько силы, что оно, вместо того, чтобы оживлять, убивает слабые организмы, не выдерживающие его живительных лучей, — заходит, и в воздухе, истомленном дневным зноем, начинает зарождаться ночная прохлада. Скоро холод сменит зной, скоро воздух станет похож на наш зимний воздух, и звезды заблещут в глубине небесной с яркостью ослепительной, незнакомой для жителей Европы. Посреди этой-то пустыни, на песчаном холме, из которого печально выглядывают развалины огромных колонн, величественных портиков, странных, загадочных изображений, от которых веет седою, забытою, непонятною уже древностью, стоит полуразрушенное здание в восточном вкусе. Основание его сделано из огромных каменьев, вырытых из того же холма. На некоторых из них сохранились еще какие-то таинственные фигуры, значение которых потеряно навсегда. Верхушка здания сложена кое-как. Когда-то оно было довольно красиво, легко и грациозно и давало приют роскоши и неге, но теперь пошатнулось и так накренилось на сторону, что один только беспечный магометанин, твердо верующий в неизбежность предопределения, так поощряющего азиатскую лень, может сладко дремать на крыше этого здания. Оно готово рухнуть каждую минуту и прибавить новые развалины к развалинам, лежащим у его подножия.

На крыльце, балконе, или, лучше сказать, на крыше этого фантастического здания отдыхает от днев-

ного зноя толстый турок (*), заплывший жиром. Его широкое, отекшее лицо, с заметным монгольским оттенком, выражает решительное отсутствие всякой идеи — то туманное состояние мозга, когда мысли бродят в нем так же тяжело и в таком же прихотливом беспорядке, как тучи по осеннему небу. Турок дремлет, дремлют возле него и страшные пистолеты, украшенные дорогой насечкой. Костюм его богат —на нем видны еще остатки серебра и золота,— но порядочно истаскался, во многих местах изорван и покрыт грязью. Мальчишка-негр, сальный, запачканный, босой, но в куртке, украшенной обрывками золотого галуна и шитой на человека огромного роста, робко подает кальян своему грозному властелину. Перед этой сонной группой стоит пастух, грациозно склонив свой стройный и высокий стан на длинный пастушеский посох. Рубища, свесившиеся лохмотьями, едва прикрывают его прекрасное тело. Лицо пастуха чрезвычайно замечательно. Оно живо напоминает нам родной наш, европейский тип; бледно, выразительно и проникнуто глубокой, безвыходной меланхолией и тем спокойствием, которые посылаются милосердным небом человеку, давно достигшему уже до крайней ступени нищеты и бедствия, когда он уже не страшится будущего, потому что ему нечего терять, и давным-давно отвык ждать перемены своей судьбы к лучшему. В этой фигуре, несмотря на ее рубища, несмотря на ее униженное положение, проглядывает какое-то величие — величие дикой, обнаженной пустыни, скрывающей под глубокими песками громадные развалины великолепных городов. Пастух склонился на посох, и в голове его, кажется, проходит одна бесконечная дума — дума о прошлом. Полуразрушенное здание, раззолоченный турок, его грозное оружие, мальчишка-негр, — все это кажется таким мимолетным, мишурным явлением перед этой меланхолической фигурой.

* Так на картине.

Она как будто простояла на одном и том же месте целые тысячелетия и видела гибель бесчисленного множества племен притеснителей и угнетенных, привыкла к их быстрой мене, как привыкла к превращению дневного зноя в ночной холод, грозных, кичливых повелителей — в жалкие шайки разбойников или горных дикарей, великолепных городов — в груды развалин, цветущих садов — в дикую пустыню.

В Иране совершается великий переход громадных форм азиатской природы в формы, если еще не Европы, то, по крайней мере, Западной Азии, которая, с своей стороны, составляет среднее звено между тремя континентами Старого Света. Этот характер страны переходной выражается не только в очертаниях земной поверхности, но и в истории — в вечной борьбе азиатских элементов с европейскими. Закон этой борьбы превосходно выражен в коренном веровании Ирана — в мифе вечной борьбы Ормузда и Аримана, Ирана и Турана, света и тьмы, промышленности и запустения, дикости и образования. Следами этой страшной, длинной борьбы остались бесчисленные развалины, рассыпанные по неизмеримым пустыням Ирана, как кости мертвых на поле упорной битвы, где каждый шаг отмечен человеческим остовом.

Было счастливое время, когда светлый трон Джемшида гордо высился посреди этих местностей, теперь пустынных, а тогда цветущих как роскошный сад. Было счастливое время, когда трудолюбивая рука детей Джемшида воздвигла преграду летучим пескам, и летучим губительным ветрам, и летучим жестоким ордам Турана; когда Ормузд царствовал безраздельно, а злобный Ариман скитался, подобно голодному волку, в пустынях нынешней Туркмении, Бухары и Хивы. Было счастливое время, когда трудолюбивый народ Джемшида изрезал всю эту огромную площадь, ныне задыхающуюся от зноя, каналами и водопроводами, и когда неистощимые силы вечно ясного солнца и богатой земли, умягченные влагою, не обращались

в погибель человека, но создавали повсюду роскошные, райские сады. Но это время было так давно, что история о нем ничего не знает; следы его остались только в поэтической саге и в холмах, превращенных тысячелетиями из развалин в горы. Роскошь, добытая трудолюбием, привела за собою изнеженность и растление нравов. Хищный Ариман, вкравшись змеею в сердца детей Джемшида, снова сделался кровожадным волком и погнал на них и северный ветер, то холодный как лед, то раскаленный как железо, и северные пески, и северные орды мрачного Турана. Перенеся тяжелое бедствие, народ Джемшида снова восстает и снова трудолюбием, умом и терпением, отыскав себе другой уголок, кладет основание новому царству, которое потом снова терпит участь первого. Властвующее племя, развращенное, в свою очередь, незаслуженными богатствами, уступало место другому, и т. д. Вот вся история Ирана, выраженная в саге *. Длинна и трудна была эта борьба, велики были последствия ее для европейской цивилизации, но для Ирана она уже кончилась: Туран одолел окончательно, начало разрушения вполне восторжествовало, и дикий, кичливый номад окончательно сделался повелителем детей Джемшида — оседлого, земледельческого населения. Угнетенное племя поклонников Ормузда мало-помалу разбрелось в самые отдаленные страны, от берегов Персидского залива и Каспия до берегов Гоанго. Повсюду оно угнетено, повсюду рабствует, но повсюду, храня заветы Ормузда, трудится в поте лица, насколько позволяет ему дикость его повелителей: роет каналы, оплодотворяет землю, ведет торговлю, занимается промыслами и до сих пор спасает от окончательного запустения и гибели эту необъятную страну, где пустынные степи и полудикие номады властвуют над оазисами и их оседлым населением. Вот отчего в задумчивом, грустном лице тад-

* И превосходно объясненная Риттером.

жика сохранилось столько благородства, а в его мягкой, нежной улыбке — столько грустной думы о прежнем, далеко отлетевшем счастье. Правда, двадцативековое угнетение наложило на таджика свою отвратительную печать, но не могло уничтожить его трудолюбивого направления, которое сообщено ему древними верованиями и тысячелетней борьбой с враждующими силами природы, — не могло стереть следов ума и благородства с этих задумчивых лиц, сохранивших через тысячи лет свой европейский характер.

Вот нынешняя физиономия Ирана. Весь интерес его для путешественника и географа находится в прошлом, и говорить об Иране, значит говорить о развалинах. Европейская цивилизация как-то не клеится к нему, и азиатец высасывает из нее только дурную сторону, теряет веру в свои прежние убеждения и не приобретает новых, пьет шампанское, читает энциклопедистов, живет в грязи и пыли, изолгался до nec plus ultra и плутует напропалую. Европейская цивилизация в Иране — это вино новое и в мехах старых.

Важное значение Ирана в истории человечества, как страны перехода от Азии к Европе, — страны, в которой и в формах земной поверхности, и в формах человечества — расах и племенах, и в формах истории — исторических происшествиях, отмечена гигантская борьба двух всеобнимающих типов старого континента — вызывало постоянно европейскую любознательность; так что в настоящее время страна Ирана может быть помещена в числе наиболее известных стран Азии. Множество прекрасных путешествий и описаний, этнографических, археологических разысканий, исторических сочинений и отдельных исторических монографий раскрывают нам ее характеристику. Этим, однако же, мы не хотим сказать, чтобы новые путешествия по Персии не могли иметь интереса. Напротив: чем более известною становится стра-

на, тем более получает она значения для географии. Интерес страны, как интерес всякой исторической мысли, неисчерпаем. Но существование такого множества известий о данной стране налагает на путешественника обязанность или, познакомившись с этими известиями, проникнуть с помощью их глубже, чем проникают они, в характеристику страны, и выразить нам эту характеристику, или, если он не хочет или не имеет случая познакомиться с сочинениями своих предшественников — описывать просто и бесхитростно, что он видел, слышал и перечувствовал, и таким образом доставить географии новый, достоверный материал. Посмотрим же, в какой мере удовлетворяют этому требованию два сочинения о Персии, к разбору которых мы намерены приступить. Одно из этих сочинений принадлежит подполковнику Бларамбергу и занимает собой целую половину огромной седьмой книжки «Записок Императорского Русского Географического Общества», а другое составляет второй том «Путешествия по Востоку» г. Березина. Займемся сначала первым.

«Статистическое обозрение Персии», составленное подполковником И. Ф. Бларамбергом в 1841 году, начинается следующим кратким введением, в котором автор говорит от себя:

«Предлагаемые здесь публике сведения о Персии были собраны мною во время пребывания моего в этом крае, с 1837 по 1840 год. Имев случай обозреть разные страны этого государства, я был в состоянии лично собрать верные сведения о нем. Подробности относительно персидской торговли я получил от консулов в Тавризе и в Гиляне и от иностранных купцов, торгующих в Тавризе; что же касается до торговли портов Персидского залива, то некоторые подробности были мне сообщены армянами, служащими в таможне Бендер-Бушира и Бендер-Абасы.

Я не говорю ничего о нравах и характере персиян, столь часто описанных многочисленными путешествен-

ника и разными авторами; в их сочинениях можно найти также более подробностей о естественных и других произведениях и о животнословии (?) этого края».

Прочитав такое «Введение» и такое «Заглавие», не в праве ли мы были ожидать от сочинения г. Бларамберга систематического описания Персии, составленного по личным наблюдениям автора, с прибавлением наблюдений других писателей и с точным показанием источников, откуда что почерпается?

Но, просмотрев сначала заглавия статей, из которых составлено «Статистическое обозрение Персии», мы нашли, что оно не имеет ровно никакой системы, излагает предметы в самом пестром беспорядке и описывает далеко не все страны Персии и, кроме двух-трех ссылок, не обращает никакого внимания на прежние исследования и путешествия. Мы, впрочем, примирились с этим недостатком, предполагая, что автор дал неправильное заглавие своему сочинению и излагает собранные им лично сведения в том порядке, как они собирались, не желая сам приводить их в систему и предоставляя этот труд тем, кто захотел бы воспользоваться этими новыми материалами. Такие несистематические сборники, составленные без всякой предварительной задачи, несмотря на свою сухость, могут иметь для географии высокое достоинство добросовестно собранных материалов.

«Статистическое обозрение Персии» начинается общим взглядом на эту страну, — таким взглядом, который уже не годится в сборнике материалов и имеет претензию на какое-то единство идеи, для оправдания которой должно быть написано все сочинение. Эта идея показалась нам чрезвычайно знакомою; однакож, не встречая нигде ссылок на других писателей, мы подумали, что память нас обманывает, и продолжали читать далее. Но на третьей или на четвертой странице, где в каждой фразе просвечивает наблюдательность гениального путешественника, мы не выдержали более: нам показалось, что не только эти мысли,

но даже самые эти выражения и в том же самом порядке мы читали у знаменитого английского путешественника Фразера. Справившись, мы убедились, что это простой, хотя не весьма точный и правильный перевод нескольких страниц из «Narrative of a Journey into Khorasan in the years 1821 and 1822». By James Fraser. London. 1822 in 4°*.

Путешествие Фразера так хорошо, написано так умно, увлекательно, что перевод нескольких страниц его имеет свое достоинство; но, как нам кажется, вставляя чужие страницы в свое собственное сочинение, мы, во-первых, обязываемся показать, что это именно перевод, чтобы иные, по неведению подлинника, не приняли его за наше собственное сочинение, и, указав автора, из которого мы заимствуем, воздать ему должное; а во-вторых, переводить верно и не искажать мыслей оригинала. Ни того, ни другого нет в «Статистическом обозрении».

Если перевод автора сделан с английского подлинника, то удивляемся, как могли вкрасться в него ошибки следующего рода.

«Неприятное впечатление, производимое Персиею на путешественника, особливо если он вступает в нее после богатых и плодородных долин Индии, возрастает по мере того, как он углубляется в середину страны этой. Горы вообще имеют самый отвратительный вид. Они представляют взору группу сероватых скал, исчеркнутых и расторгнутых действием атмосферы, и большею частью выдаются из равнин утесами. Даже там, где горы покрыты слоем земли, происшедшей от разложения скал, бока их обнажены; на них нет ни леса, ни зелени, потому что весенняя трава после двух месяцев сгорает и быстрая, но мгновенная растительность ее не оставляет по себе свежего листа...».

---

* Автор ссылается на это сочинение в других местах книги, при отдельных известиях, взятых из него; зачем же не указывает он на него здесь, где взяты из него целые страницы?

The appearance of these mountains is almost every where bare, aride, and forbidding: in most part they present to the eye, nothing but huge masses of grey rock, piled in strata on each other, or they start in a rugged ridg abrubtly from the plain, which reaches their feet with no other undulation than that which has been occasioned by the washing down of detritus from their sides. In some places they may be lesse denuded of soil, but this being chief formed of mouldering rock adds little to their beauty: the are unenlivened by wood or shrubs... и т. д. («Narrative of a journey into Khorasan in the years 1821 и 1822». By James Fraser, p. 162).

«Здесь нет гор отвратительного вида, как нет их и в природе; здесь нет земли, происшедшей из разложения скал, как нет ее и нигде, а есть почва, образовавшаяся главным образом из выветрившейся скалы». Перевод почти буквальный, но неточный.

И непосредственно далее:

«Равнины являются не в лучшем виде. Они состоят больше из хряща и валунов, отмытых дождевыми потоками от гор, и паносная почва эта, покрытая каменьями или глинистою землею, будучи лишена влажности, так же бесплодна, как и камень. Взор путника не останавливается ни на одном дереве, исключая высокого тополя или великолепного чинара (восточного платана), возносящихся над крестьянскими хижинами, или плодовых деревьев их садов, или, наконец, нескольких ив, посаженных у берега текучей воды, чтоб, в случае нужды, доставить лес для строения...»

The appearance of the plains is for the most not more promising... и т. д. Promising не значит привлекательный; noble cihnar не значит великолепный чинар, и автор пропустил кипарис, — почему, не знаем (Fraser, стр. 163).

Непосредственно далее:

«Деревья эти, расстилая тень по обширной равнине, производят на

душу более грустное, нежели приятное ощущение. Таков общий характер видов всех обитаемых мест южной, восточной и средней Персии...».

And the effect which a garden of these trees produces, spotting with its dark green the gray and dusty plains, is rather melancoly than cheering... и т. д.

В оригинале это место гораздо живее и картиннее, точно так же, как и следующее за ним:

«Чтоб дать понятие о местоположении в Персии, должно исключить все, служащее ему украшением в Европе. Здесь нельзя встретить лугов, испещренных цветами и зеленью, берегов вод с коврами душистых трав, рек, извилисто теряющихся по плодоносным долинам. Там нет ни величественных лесов, ни парков, ни замков, ни вековых деревьев, ни хижин, осененных тенистыми рощами, на которых бы мог успокоиться взор, или которые бы наполняли душу чувством спокойствия, довольства и счастья...».

«In picturing, therefore, to the imagination, the aspect of a Persian landscape in any of the contiguous countries to the north east of it, the mind must endeavour to divest itself of every image that gives beauty or interest to an European scene: — there are no beautiful or majestic woods, no verdan plains or grassy mountains» (Fraser, p. 163).

Мы думаем, что этих выписок достаточно для доказательства, что все это место есть перевод, хотя и неверный, страниц, написанных Фразером, о котором автор здесь и не упоминает, хотя и ссылается на него в другом месте, где мог бы и не ссылаться. Нам кажется, что, заимствуя из какого-нибудь путешественника простой факт, известие, доставшееся ему случайно, мы скорее можем умолчать об имени настоящего автора (хотя и это не принято в науке), нежели тогда, когда заимствуем из него целые страницы, которые обязаны своим появлением его личному таланту и которые, по всей вероятности, стоили ему труда;

потому что такие верные, характеристические описания, каково описание Фразера, создаются нелегко, в чем, вероятно, согласится с нами и сам автор разбираемой нами книги. Переделки, которые автор совершенно без всякой надобности делает в этом описании, не такого рода, чтобы они могли допустить отнять это описание у Фразера. Вот пример таких переделок:

«*Путник, опечаленный картиною, которую представляет ему природа, напрасно ищет утешения, бросая взгляд на большой город. Создав в воображении своем пленительное изображение знаменитых городов Испагана, Щираза, Тегерана, Тавриза* и пр., украшенных вызолоченными куполами, минаретами, мечетями и великолепными строениями, он сильно огорчается, встретив, наконец, эти огромные массы развалин и нечистот, которые находятся даже в самом лучшем из вышеупомянутых городов; между тем, как все богатства и удобства, действительно заключенные в нем, тщательно скрыты от его взора...».

If the European traveller be totaly disapointed by the face of the country, he will not certainly be lesse so by the appearance of the towns of the east. Accustomed to the names of Ispahan, Bagdad, Sheeraus, Bussora, and other cities, rendered famous in eastern story as well as history; and forming his ideas of these, in some degree upon models of towns in Europe, or at least clothing them in his imagination with the oriental costume of columns, minarets... и т. д. (Fraser, pp. 165, 166.)

Что буквально должно быть так:

«Если европейский путешественник совершенно разочаровывается при взгляде на страну, то разочарование его будет не меньше и при взгляде на города Востока. Привыкнув к именам Испагана, Багдада, Шираза, Бассоры и других городов, сделавшихся знаменитыми в восточных сказках, точно так же, как и в восточной истории, и составив себе идею об этих городах в некоторой степени по образцу городов евро-

пейских, или, наконец, облекая их в своем воображении в восточную одежду колонн, минаретов...» и т. д.

Такие переделки, повторяем мы, не дают права не подписать под этими строками имени настоящего автора, тем более, что эти переделки вовсе излишни и даже неудачны: поставить вместо Багдада и Бассоры имена Тегерана и Тавриза, значит испортить мысль Фразера, потому что Тегеран и Тавриз, города относительно новые, далеко не играют такой роли в восточных сказках, в восточной истории, какую играют в них Багдад и Бассора — города, с именами которых наше воображение, о котором здесь идет речь, привыкло связывать идею великолепия и восточной роскоши.

Или, например, переделка, вроде следующей:

«Вместо ш о с с е, хорошо содержанного, о п у ш е н н о г о(?) деревьями, забором, оградою, веселыми дачами...» и т. д. («Статистическое обозрение», стр. 12).

Instead of the *well conditioned road* with the various traffic....

(Fraser, p. 166).

Вместо х о р о ш е й д о р о г и, говорит оригинал, и гораздо справедливее, потому что странно же искать ш о с с е в Персии.

Далее автор «Статистического обозрения», в конце этой статьи, говорит:

«Вот общий взгляд на Персию *в нынешнем* ее состоянии» (стр. 13).

Не гораздо ли вернее было бы сказать: вот взгляд знаменитого Фразера на Персию, в том состоянии, в котором она находилась в 1821 г., когда Фразер по ней путешествовал, и сказать в выноске: см. «Narr. of a Journ. into Khorasan in the years 1821 and 1822. By J. Fraser. Lond. 1825, in 4, p. 162—166»?

Окончив *таким образом* «Общее обозрение Персии», автор присовокупляет *уже от себя*:

«Очень *затруднительно собирать статистические сведения о стране, подобной Персии*. В этом государстве нет ни одной отрасли управления, основанной на постоянных правилах; провинции решительно предоставлены жадности своих губернаторов; там не знают ни поземельной книги (кадастр) (!), ни контроля таможен и доходов вообще (!), ни ревизии народонаселения (!), потому что везде господствует совершенный беспорядок. Все сведения, которые удастся собрать относительно этого предмета, могут быть только приблизительны; *но не менее того за сим следующие должны быть довольно верны: ибо они собраны лицами, имевшими способы пользоваться всеми источниками и владевшими более средствами постигнуть истину, нежели все писатели, занимавшиеся до сих пор статистическими изысканиями, топографическими и этнографическими описаниями персидского государства*».

Посмотрим же, в чем состоят эти *новые* сведения, с достоверностью которых не могут соперничать сведедения, предлагаемые *всеми писателями, занимавшимися до сих пор статистическими изысканиями; топографическими и этнографическими описаниями персидского государства*.

За общим взглядом, который мы уже видели, следует непосредственно глава «О племенах, населяющих Персию, их разделении, жилище, числе и пр...» В этой главе мы не нашли ничего нового, чего бы не могли найти, не ездив никогда в Персию, в сочинении *одного* немецкого географа, Карла Риттера, имени которого, к сожалению, мы не встречаем нигде в «Статистическом обозрении». Так, например, *о таджиках* см. Die Erdkunde von Karl Ritter, 8 Theil. Drittes Buch. West-Asien, стр. 185; об илятах — то же сочинение, тот же том, стр. 372—417. Сведения эти гораздо подробнее предлагаемых г. Бларамбергом, который заимствовал свой краткий и сухой перечень племен

у Риттера же, или, по крайней мере, из одних и тех же источников, из которых черпал немецкий географ.

Г-н Бларамберг делит кочующие племена илятов на четыре языка, совершенно согласно с Риттером, который уведомляет, что сведение это почерпнуто им из Жуанена (Jouanin b. Dupré Voy. I. с. 11, р. 456, ссылка Риттера), бывшего переводчиком при французском посольстве в Персии в 1807—1809 гг., и который перечисляет все 73 илятских племени по именам *. Жуанен делит эти племена точно так же, как и автор «Статистического обозрения», по происхождению на илятов турецких, курдских, арабских и лорийских. Но этого мало: показания «Статистического обозрения», составленного в 1841 году, сходятся в некоторых (не во всех) местах с показаниями переводчика при французском посольстве, собиравшего свои сведения в 1807—1809 гг., и если разнятся кое-где в числах, то, как справедливо замечает критик «Отечественных записок» **, мы не можем придавать большого вероятия этим числам, тем более, что г. Бларамберг решительно не показывает источников, из которых он черпает свои числовые величины. Число различных илятских племен едва ли может быть известно в Персии, где, как говорит сам автор, нет никакой ревизии народонаселения. Но чтобы собрать названия всех племен, распределить их по происхождению, показать их местожительства, это, вероятно, стоило порядочного труда Жуанену, и Риттер поступает весьма добросовестно, приводя имя Жуанена не только в цитате, но и на страницах своей книги.

В следующей главе «Разделение государства на губернии, или области»,

* Риттер, там же, стр. 381.

** Мы собирались еще сделать разбор книги г. Бларамберга, когда он уже появился в «Отечественных записках», в сентябрьской книжке, что заставляет нас, как читатель увидит дальше, сообразжаться с этим разбором.

или, лучше сказать, в таблице, приложенной к этой главе, которая, по уверению автора, применена «к реестрам, находящимся в Диване (Государственной Канцелярии), по которым правительство собирает или, по крайней мере, должно собирать подати», мы находим много новых сведений об официальном делении Персии, за большую или меньшую достоверность которых ручается самый источник, указанный автором.

«Таблица эта, — говорит критик «Отечественных записок», — если только она достоверна и безошибочна, заключает в себе, хотя и краткие, но в высшей степени полезные сведения о современном состоянии персидского государства; она одна может заменить целую книгу. Но вот вопрос: откуда г-н Бларамберг заимствовал выставленные в ней цифры и может ли он ручаться за их достоверность?»

Во-первых, если бы критик был внимательнее, то он бы узнал от самого автора, откуда он заимствовал эти сведения; а во-вторых, мы решительно не понимаем, каким образом сухая таблица областей и городов, с показанием цифр дохода, в достоверности которых сомневается и сам автор («Статистическое обозрение Персии», стр. 20), может дать нам ясное понятие о современном состоянии Персии и заменить целую книгу. Официальные деления, правда, входят в статистику, но вовсе не занимают в ней важного места. Заметим, между прочим, что сведения о государственных доходах Персии, определяемых г. Бларамбергом, относящиеся к 1836 году, не слишком разнятся от общего числа доходов, выставляемого Жубертом в 1806 году * — 2 900 000; у г. Бларамберга — 2 352 526 томанов, к которым, по показанию ав-

* Ritter, West-Asien, 9 Th., S. 899.

тора, шах в 1839 году прибавил еще 150 000 томанов *.

В главе «О народонаселении» автор не говорит ничего нового или, по крайней мере, ничего определенного, и мы, признаться откровенно, не понимаем, почему он придает такую важность своим показаниям перед показаниями других писателей. Пусть читатель судит сам, в какой степени можно положиться на показания, приводимые автором «Статистического обозрения»:

«По рассказам государственных людей, — говорит он, — народонаселение Персии простирается до 9 миллионов жителей, но по другим сведениям, и особливо по наблюдениям одного католического монаха, живущего в Испагани, оно не превышает 5 миллионов. Аббат этот, в продолжение 13-летнего пребывания своего в Персии, заметил также ужасное уменьшение в народонаселении. Он уверял, что в одном Испагани и его окрестностях оно простиралось до половины. Если принять в уважение все бедствия, опустошавшие Персию в последнее время, что правительство не только не приняло мер для облегчения края, но, напротив того, народ был более и более угнетаем в продолжение последних годов царствования Фехт-Али-Шаха, что война, чума и холера неоднократно уменьшали народонаселение, то можно утвердительно полагать, что наблюдения, сделанные относительно Испагани и его окрестностей, относятся и до Персии вообще. С другой стороны, если основывать вычисления на собираемых налогах, то нашли бы, считая по одному томану с каждого жителя, 3 миллиона для оседлых обитателей, платящих подати, и столько же для кочующих племен, не вносивших повинности;

* Еще же ближе подходит он к вычислению, сделанному Фразером в 1821 и 1822 гг., а именно: Фразер, исчислив различные источники дохода, выводит сумму в 2 489 000 (F r a s e r, p. 218). Зачем же не отдать справедливости знаменитому путешественнику?

таким образом целое народонаселение простиралось бы на 6 миллионов. Повторяем, однакож, что упомянутые налоги основаны на старинных росписях, без внимания к уменьшению народа; следовательно, счисление это не может быть верно. Граф Симонич, быв русским полномочным министром при тегеранском дворе, слыхал однажды от самого первого министра Хаджи-Мирзы-Агазы, что Персия в последние 15 лет потеряла до семи куруров, или $3^1/_2$ миллиона жителей. Сходство это с наблюдениями испаганского аббата заставляет нас согласиться с мнением последнего, т. е., что нынешнее народонаселение этого государства не превышает 5 миллионов».

Что же здесь сказано положительного о народонаселении Персии? Мы не думаем ставить этого в вину автору, но к чему придавать такую важность показаниям, основание которых так же, если еще и не более, шатко, как и основание других писателей? А после предуведомления, сделанного автором, мы могли ожидать чего-то другого.

Г-н Бларамберг приводит показание Шардена, дававшего Персии 40 миллионов населения, но забывает показание Жуберта, который в 1806 году давал только 7 — число, которое в таком деле, как народонаселение азиатской страны, недалеко отстоит от числа, показываемого автором.

Следующие главы, о естественных произведениях Персии, весьма слабы и поверхностны. Впрочем, должно сказать, что автор не имеет претензии на описание естественных произведений этого края. Что касается до главы «О духовенстве и его влиянии на народ», то мы имеем об этом предмете гораздо подробнейшие показания. Не будем также говорить о главах «Владения Персии в Персидском заливе и сношения ее с маскатским имамом» и «Владения англичан в Персидском заливе», в которых не только нет ничего нового, но не сказано даже и того, что мож-

но сказать, никогда не бывав в Персии, которые попали сюда решительно не знаем как и зачем, и перейдем прямо к главам, в которых излагаются военные силы Персии.

Об этих главах критик «Отечественных записок» отзывается, что они составляют самую лучшую статью в общем обозрении Персии и сообщают об этом предмете, «специально знакомом автору», очень интересные сведения. Не будучи сами специально знакомы с этими предметами и разбирая, как мы высказали выше, выбранные нами сочинения только с географической точки зрения, мы не можем ничего прибавить к словам критика «Отечественных записок».

«Общий взгляд на персидскую торговлю, в особенности на торговлю тавризскую и гилянскую», представляет несколько новых сведений, но, к сожалению, этих сведений весьма немного. Впрочем, глава о торговле, несмотря на свою краткость, составляет, по нашему мнению, лучшую главу во всей книге; но она идет только от 88 до 96 страницы, не считая приложений, наполненных цифрами, поверять которые мы не беремся, да едва ли кто-нибудь возьмется и в самой Персии.

Но теперь мы приступаем к самой главной, к самой капитальной части сочинения г. Бларамберга — описанию отдельных провинций Персидского государства и считаем нелишним поговорить подробнее об этом описании, тем более, что о нем критика «Отечественных записок» отозвалась довольно неопределенно, утверждая, что «частные описания Гиляна, Мазандерана, Астрабада и Хорасана отличаются подробностью и новостью сведений об этих малоизвестных странах Средней Азии (!?)». «Конечно, много встречается тут и не нового, — продолжает та же критика, — заимствованного из других писателей и путешественников; но зато любознательные географы и статистики найдут в этих статьях немало и таких материалов, которые нигде до сих пор не были еще на-

печатаны». Нам кажется, что критика такого серьезного журнала, разбирая тоже серьезное сочинение, как сочинение г. Бларамберга, должна бы была быть осмотрительнее в своих приговорах и потрудиться указать, что именно нового в тех статьях «Статистического обозрения Персии» приобретают география и статистика.

Постараемся же, по мере сил наших, пополнить этот недостаток; потому что, как нам кажется, поверхностные приговоры об ученом сочинении, вроде следующих, что оно интересно, отличается новизною, подробностью сведений и т. п., совершенно бесполезны и неприличны для серьезной критики, которая в этом случае ставит себя слишком высоко, а разбираемое сочинение и читающую публику — слишком низко. Критика не имеет права делать недоказанных приговоров, говорить: «это дурно, это хорошо, это похвально» и т. п., одним делать выговор, других поощрять похвалою, — словом, принимать на себя роль учителя, ставя автора и читателей в положение школьников. Она, по нашему мнению, должна показать относительное значение сочинения — и более ничего, а не раздавать выговоры и похвалы, на что она не доказала еще своего права.

Глава, излагающая в себе «общий взгляд на южные прибрежья Каспия», о которой критика «Отечественных записок» говорит, что она «заключает в себе очень важную (?) физиономию трех приморских областей», — есть с начала до конца наполовину перевод, а наполовину сокращение из известного сочинения Риттера. Не знаем, до какой степени важна физиономия трех прикаспийских областей Персии, но знаем то, что критике серьезного журнала, берущей на себя право раздавать похвалы и выговоры географическим и статистическим сочинениям об Азии, следовало бы, как кажется, познакомиться предварительно с лучшим творением об этой части света, без которого, в настоящее время, не может обойтись

ни один путешественник по Азии, и которым весьма много пользовался, как мы сейчас увидим, и г. Бларамберг, хотя он нигде и не упоминает об этом.

Покажем же, до какой степени справедливо наше замечание и до какой степени бывает иногда опасно критиковать сочинения, предметы которых нам незнакомы, и раздавать, с высоты журнального величия, похвалы и выговоры, как бы ни были они уклончиво-туманны. Не угодно ли читателю самому поверить, насколько оригинальны эти описания персидских провинций:

«Узкие и низкие южные берега Каспийского моря, поверхность которого около 94 футов ниже горизонта Черного или Средиземного моря, поднимаются со стороны юга скоро, весьма круто и с уступами в виде полукруга к плоской возвышенности Ирана. Пространство это между южным берегом Каспийского моря и северной покатостью Албурзских гор представляет разительную противоположность с остальною частью Персии. Здесь, внутри континентального климата средней Азии, является вдруг полоса с морским воздухом, с влажным климатом, чрезвычайно сырая и жаркая вместе, и где встречаются самые редкие контрасты, где низменные и болотистые места с огромными полями, засеянными сарачинским пшеном, чередуются с густыми, почти непроходимыми лесами, фруктовыми садами, представляющими необходимое богатство в прозябании, но где господствуют также лихорадка и дурной воздух с туманами, морскими бурями и облачным небом. Это составляет резкую противоположность с каменистыми и бесплодными почвами Ирана и его всегда чистым, лазурным небом. Полоса эта, составляющая северный край Ирана, включает в себе три области: Гилян, Мазандеран и Астрабад, на которых мы бросим сперва общий взгляд и потом уж приступим к подробному описанию каждой из них» («Статистическое обозрение Персии», стр. 117).

Die ungemein engen, flachen Südküsten des Kaspischen Sees, dessen Spiegel an hundert Fuss tiefer liegt, als der jenige des Oceans oder des benachbarten Schwarzen oder Mittelländisschen Meeres, namlich die von Asterabad, Masenderan, Ghilan steigen sehr schnell südwärts, als ungemein steile Gebirgsstufen, in der Biegung des Halbmonds, wie Strabon sagt zu den Hochebenen von Khorasan und Irak, oder Irans empor (Die Erdkunde von Karl Ritter, 8 Th., drittes Buch. West-Asien. Berlin 1838, стр. 417—431).

И потом непосредственно автор «Статистического обозрения» заимствует из другого места сочинения Риттера:

Hier (Chilan und Masenderan) tritt mitten im trocknen Continentalclima Centralasiens eine ganz locale Episode in den Naturerscheinungen auf, völlig abweichend von allen Umgebungen; ein Landstrich mit maritimen Character, mit oceanischen Himmel, mit sundischen Klima, durch Feuchte und Hitze überfüllt, dicht anstossend an kalte Schneehöhen und trockne, hohe Tafellandschaft, wo die grössten Contraste sich begegnen und Niederland, Versumpfungen mit Reisfeldern und dichteste Waldfülle mit überschwenglichen Obstreichthum, wie den entsprechenden vegetationsreichsten Kulturen, aber auch Malaria und Fieberlüfte vorherrschen, mit Nebel und Wolkenhimmel und Seestürmen; der grösste Gegensatz gegen den nackten, dürren baumlosen Steppenboden Khorasans und des innern Iran von stets blauen Sonnenhimmel überwölbt (Die Erdkunde von Karl Ritter, стр. 425).

Не желая далее затруднять читателя бесполезными выписками, мы не желаем также упустить случая показать критике «Отечественных записок», к каким ярким промахам ведут иногда бездоказанные приговоры, бросаемые с высоты учено-литературного журнала, и убедить ее, что чем серьезнее и доктральнее тон, с которым высказываются такие вещи, тем они забав-

нее, по психологическому закону рождения смеха. Вот почему не будем уже пестрить нашего разбора выписками на двух языках, а укажем только на страницы обоих сочинений, приводя для большей ясности начальные строки каждого отдельного периода, перебирая пункт за пунктом.

«Прибрежная страна эта — огромная лесная полоса, простирающаяся через Гилян, Мазандеран и далее к востоку вверх по реке Гюргени до границы Хорасана, а к западу до возвышенной плоскости Азербайджана, протяжением около 600 верст (между 49° и 56° восточной долготы от Гринича) и с неодинаковою шириною».

Dieses Ghilan, ein Küstenland, zu beiden Seiten der Mündung des Kisilusen gelegen, ist nur eine grosse Waldzone, die auch durch ganz Masenderan gegen Ost, den Gurgan Strom aufwärts (s. ob. S. 353), bis zur Grenze von Khorasan reicht; gegen West bis zur Tafelhöhe Aserbeidschans; eine Ausdehnung von wenigstens 100 geogr. Meilen (zwishen 48 bis 56° O. L. v. Gr.), mit sehr wechselnder Breite.

«Подошвы гор и равнин покрыты роскошною растительностью, которую человеческая рука не в состоянии остановить или ограничить».

Der Fuss der Berge und die vorliegenden Niederungen sind dem üppigsten Luxus der Vegetation überlassen, welche hier keine Menschenhand zu bändigen und zu beschränken vermag.

«Великолепные эти леса удивляют путешественника; но жители не умеют пользоваться ими: вместо того, чтобы употребить вековые деревья на мачты и доски для кораблестроения...» («Статистическое обозрение Персии», стр. 117—118). Die prachtvollen Waldungen, vom Schlag zahlreicher Nachtigallen ertönend, setzte alle Beobachter in Staunen, nur der Eingeborene lässt sie noch unbenutzt; statt ihre Masten und Planken zum Schiffbau. (Die Erdkunde von Karl Ritter, S. 426—427.)

Мы не можем отказать себе в удовольствии передать вполне читателю следующее непосредственно место из сочинения Риттера о роскошной растительности Гиляна. Перевод буквальный, довольно верный даст нашим читателям понятие, с каким умением германский географ пользуется свидетельствами путешественников и естествоиспытателей-очевидцев, имена которых он с истинно ученою добросовестностью выставляет в конце страницы. Мы не можем не сожалеть, что г. Бларамберг в своем переводе выбросил все эти ссылки: подробное знакомство с источниками, приобретаемое при чтении сочинения Риттера, есть одно из важнейших достоинств этого автора. Если бы, по крайней мере, г. Бларамберг уведомил читателя, что это перевод, и притом перевод из Риттера и притом указал бы на том и страницу, то этот недостаток не был бы так чувствителен. Автор скорей бы мог пропустить ссылки на страницы Геродота, Полибия, Птоломея, — ссылки, которые, как мы увидим и ниже, попадаются у него в некоторых местах. Вот почему мы прибавим к переводу г. Бларамберга эти ссылки, перепечатывая их прямо из сочинения Риттера и показывая тем, какой суммы труда и учености многих замечательных людей стоила эта прекрасная страница.

«В гилянских и мазандеранских лесах растут преимущественно: дубы (Quercus castaneae, fal.), из которых некоторые имеют сажень в поперечнике, бук (Fagus sylvatica), клен, ясень (Fraxin, excelsior), вяз, ольха, платан или чинар (Platanus orientalis) бывают 20 сажен вышиною, и другие роды черного леса; однакож там находятся и кедры, кипарисы и самшит. Из фруктовых деревьев растут в роскошном изобилии: смоквы, гранаты целыми рощами, тутовые дерева, грецкие орехи, кизильники, яблоки, груши, персики и многие роды фруктов. Оливки растут лесами около Рубара, в защищенных от ветров долинах реки Кизыл-Узена, а лимоны и померанцы в диком состоянии близ Бар-

фруша и на берегах реки Бабула, в Мазандеране. Виноградные лозы, толщиною от 4 до 8 вершков, бесчисленными ветвями обвивают дерева до верхушки и опускают лозы от ветви до ветви, от дерева до дерева, покрывая густые кроны их виноградными листьями и огромными кистями ягод, которые никто не собирал, и они большею частью гниют или сохнут на самых лозах. К сожалению, искусство виноделия неизвестно здешним жителям, и что называется вином есть питье кислое и неприятное для вкуса. Дикий хмель и плющ переплетаются в этих дремучих лесах и с ними ежевика и другие вьющиеся растения, которые подымаются до самых верхушек деревьев. Здесь встречаются также ясмины с благовонными цветами, а на высотах многочисленные альпийские травы. В долинах растет везде дикая конопля в тени деревьев; великолепный чинар часто задушен в этих густых лесах, по недостатку свободного места для развития; зато прекрасный самшит находится здесь в своей стихии. Множество деревьев тлеют на своих корнях в этих непроходимых лесах, где земля завалена сотнями бревен и пнями, и в которых дороги весьма затруднительны по причине густых, опускающихся ветвей и влажности почвы. На песчаном грунте возле берегов поднимаются целые рощи папоротников (Polypodium filex mas.), и дикий укроп покрывает низменные места между болотами» (у Риттера в том же томе, стр. 427 и 428); а внизу страницы он цитирует, с самою строгою точностью, Габлица, Трезеля, Монтейса «Путешествие по Азербейджану» и его же статью в журнале Лондонского Географического Общества и путешествие Эйхвальда.

Вот откуда почерпнул Риттер это описание, которое, таким образом, стоило ему порядочного труда, но в котором он не присваивает себе ни одного чужого слова.

Теперь пойдем далее.

«Задержанное обращение горячего воздуха...» (стр. 119 и 120).

Die gehemmte Circulation der heissen Lüfte (стр. 428).

«Всегда разбросанные жилища селений (жилища селений?) находятся в лесах...» (стр. 120).

Die Wohnhäuser der immer zerstreuten Dorfschaften und Flecken liegen ausserhalb dieser Wasserverteifungen (стр. 428 и 429).

Т. е. «Жилища всегда рассеянных деревень и местечек». Да и вообще перевод г. Бларамберга не везде верен и сокращение не всегда удачно. Переводчик Риттера должен хорошо обладать русским языком и должен быть очень точен, чтоб не впасть в промах, потому что у Риттера каждое слово взвешено. Для перевода его глубокого творения мало одного знания немецкого языка.

«Климат этой страны совершенно противоположен с климатом безлесной, сухой, плоской возвышенности Ирана...» и т. д. (стр. 120).

Das Klima, völlig im Contrast mit dem baumlosen, trockenen Tafellande Irans... u. s. w. (стр. 429 и 430).

«Бесчисленные реки вытекают из северной покатости Альбурзских гор...» (стр. 121).

Zahllose kleinere, temporaire Bergflüsse... (стр. 430). Перевод неверен и изменяет самую мысль оригинала.

«При этих устьях...» и т. д. (стр. 121).

Die Mündungsländer dieser Küstenflüsse... u. s. w. (стр. 431).

Следующая за тем, и последняя, страница 122 сокращена из Риттера — стр. 432—434.

Вот и весь общий взгляд на южные прибрежья Каспия. Эта глава, несмотря на не совсем правильный русский язык и на неточный перевод и неудачное сокращение, все-таки прекрасна. Нам остается только благодарить автора, что он знакомит нас с превосходными страницами сочинения Риттера, перевод которого обещан нам Географическим Обществом. Но мы от души сожалеем, что автор, знакомя русскую публику с целыми главами превосходного творения,

не знакомит ее с именем Риттера, о котором почти ничего не было писано у нас. Хотя бы г. Бларамберг сделал это для того, чтоб не ввести в заблуждение критику «Отечественных записок», а то она, думая критиковать «Статистическое обозрение Персии», так серьезно и строго критикует Риттера. Он, конечно, не нуждается в нашей защите; но мы все-таки, ради истины, посвятим ему свои слабые усилия.

Так, на странице пятой, критика «Отечественных записок» говорит:

«Напрасно г. Бларамберг утверждает в этом обзоре, что (стр. 118) туркменские разбойники боятся ходить в дремучие леса, где длинные копья их делаются бессильными (стр. 121), и что персияне мало употребляют в пищу осетров, белуг и сомов. Туркменские разбойники в леса ходят и очень часто, только пешие, а не конные и, следовательно, с ружьями, а не с пиками. Что же касается до рыб, упомянутых автором, то персияне их вовсе не едят и даже не могут есть, потому что мусульманский закон объявляет мясо этих рыб нечистым, поганым и употребление его в пищу делом богопротивным».

Дело в том, что г. Бларамберг, ничего не утверждая сам, как думает критика «Отечественных записок», только неверно передает оба эти места из Риттера.

Daher, dass die Seegelschiffe und Böte sich mit ihren Masten in diesen Aesten verwirrend, schon darum die schiffbarern, aber gefährlichen Wasser Ghilans und Masenderans meiden, und der Turkomanne schon darum, weil er stets zu Pferde sitzt und seine lange Lanze als Hauptwaffe in diesen tiefhängenden Wäldern voll Rankengewächse unbrauchbar wird, keine Ueberfälle aus seinen baumlosen Wüsten in diese ihm ganz fremde Welt wagt (тот же том, стр. 427).

Die Wasser sind fischreich; die Flüsse haben Salmen und Lachsarten (Salmo sylvaticus nach Eichwald), auch die Lachsforelle (Salmo fario nach Hablitz, Kisitala der Einwohner); das Meer, Welse, Störe und

unzählige andre Arten, die zum Laichen jährlich an diese Ufer ziehen, die Flüsse aufwärts steigen und reichlichen Fischfang geben, obwohl meist nur für das Ausland, den russischen Handel; denn die Perser sind wenig an Fischspeisen gewöhnt (стр. 431).

Видите ли, откуда вкралась ошибка. Риттер не говорит, что туркменцы вовсе не ходят в леса, но говорит, ссылаясь на Эйхвальда и Трезеля, о недоступности самой приморской полосы Гиляна для лодок и туркменских разбойников, что, может быть, и неверно, но это следует доказать. В другом же месте Риттер утверждает только, что персиане вообще не любят рыбной пищи, не входя в разбор, каких рыб они едят и каких нет.

За этой главой, которая у Риттера относится к одному только Гиляну, а у г. Бларамберга — ко всем трем прикаспийским персидским провинциям, что далеко не все равно, следует глава в частности о Гиляне. В начале ее представлена таблица небольших речек Гиляна, впадающих в море, с точным означением глубины якорного места напротив устьев, глубины устьев в летнее время, расстояния, до которого судно в 40 ластов может плыть вверх по реке. Мы не знаем, откуда взята эта таблица, о чем нас не уведомляет автор, а потому и не можем судить, к какому времени относятся эти наблюдения и насколько они достоверны. Следующее за тем краткое описание замечательнейшей из гилянских рек Кизиль-Узена (стр. 126, 127), древнего Mardus, или Amardus, как говорит г. Бларамберг вслед за Риттером, сокращено из обширного описания этой реки, находящегося в сочинении германского географа *. Следующая за тем непосредственно страница о климате Гиляна (стр. 127, 128) переведена довольно верно **. Взгляд на

* Die Erdkunde von Ritter, 8. Th., drittes Buch, West-Asien, S. 613—642.

** Ibid. S. 672, 673.

зоологию Гиляна, разделение пород животных и исчисление самых этих пород взято, как кажется, из одного и того же источника, из которого взял г. Риттер, т. е. из путешествий Гмелина, и не только не представляет ничего нового, кроме разве того, что после чумы 1831 года бенгальский тигр начал появляться в Гиляне гораздо чаще, но и далеко не так полно, как у Гмелина и Риттера *. Далее непосредственно и совершенно непоследовательно следует у г. Бларамберга описание составных частей жилища гилянцев, которого, по крайней мере, у Риттера нет, но которое не имеет никакого особенного значения в статистике края. Упомянув, в нескольких строках, о народонаселении Гиляна **, автор переходит к исчислению естественных продуктов края. Не гораздо ли последовательнее было излагать, как излагает Риттер, сначала царство прозябаемое, потом царство животных, условливаемое первым? Г-н Бларамберг, точно так же, как и Риттер, начинает шелком (стр. 131), статья о котором есть весьма неудачное и слишком сжатое сокращение прекрасной и огромной статьи Риттера о том же предмете ***. Следующая за сим непосредственно статья о сарачинском пшене и других произведениях Гиляна отчасти переведена из Риттера ****, а отчасти дополнена неизвестно из какого источника, но это дополнение, состоящее из нескольких строк, не представляет ничего особенно замечательного. Далее изложены у г. Бларамберга довольно отчетливо раз-

* Ibid. S. 677, 678.

** Количество гилянского народонаселения, по показанию г. Бларамберга, основанному на показании русского консула в Гиляне, вдвое превышает количество, выставляемое Риттером. Риттер, следуя Трезелю, путешествовавшему в 1808 году, выставил только 50 000 семейств, или 250 000 душ, а русский консул в Гиляне 500 000, прибавляя, впрочем, что число это после чумы 1831 года значительно уменьшилось. Сведение не слишком новое.

*** Ibid., S. 679—710 и 674—675.

**** Ibid., S. 431.

личные фабрикации гилянских жителей (стр. 134—136), как-то: шелковые ткани, ковры и пр. В следующем затем описании городов и местечек Гиляна мы находим несколько новых сведений, дополняющих уже устаревшие сведения путешественников, из которых черпал Риттер *. Но и здесь попадаются целые отрывки, переведенные из Риттера: так, например, описания дельты Кизиль-Узена (стр. 140) **. Сведения о таможнях, доходах и вооруженной силе Гиляна — самостоятельны и новы. Далее автор «Статистического обозрения Персии», желая сказать «несколько слов о главных дорогах, ведущих по Гиляну», предлагает несколько маршрутов по этой стране. Так как эти маршруты попадаются у него во многих местах, то мы считаем необходимым высказать о них свое мнение.

В приложении маршрутов, из которых состоит едва ли не половина сочинения Риттера, автор «Статистического обозрения Персии» был, как кажется, увлечен подражанием знаменитому германскому географу, но излагает их совсем с другою целью. Риттер дополняет маршрутами извлеченное им общее описание страны и помещает их друг подле друга и обогащает их заметками из других источников с таким искусством, что читатель, пробегая эти, повидимому, сухие дневники путешествия, нечувствительно знакомится с общей характеристикой страны и ее различных частей. Г. Бларамберг излагает эти маршруты без всякого порядка, так что они теряют все свое значение и становятся скучными и непонятными для читателя. Кроме того, г. Бларамберг, не упоминая, что это — дневники путешественников, придает этим маршрутам значение главных дорог страны. Так, например, под громким заглавием: «А) Береговая дорога от Ензели к западу до Астары, границы России, всего 125 верст», автор «Статистического обозрения» переводит, не упо-

* Die Erdkunde von Ritter, 8 Th. S. 648—656 и выше, стр. 645, Lahidgan, стр. 647, Langherr и др.

** У Риттера в том же томе, стр. 648.

миная об этом, почти слово в слово две страницы из Риттера, который в этом месте передает своим читателям дневник Бернса, обогащая его заметками из других путешественников *. Г-н Бларамберг изменяет только иногда названия: так, например, вместо Kopper-Chall, он пишет Коггер-Чаль, не уведомляя нас, на каком основании он делает эти изменения. Впрочем, здесь есть две заметки, которых у Риттера нет. Как жаль, что автор не потрудился сам означить, что принадлежит собственно ему и что другим путешественникам, или, лучше, Риттеру: тогда бы и весьма немногочисленные заметки автора все-таки имели бы свою цену; а теперь, несмотря на все наше старание, они непременно погибнут в огромной, подавляющей массе заимствованных материалов! «Подъем от Астары до Ардебиля» есть тоже перевод из Риттера**. Следующие затем «Талышинские Альпы» — неудачное сокращение из того же писателя ***.

И об этой-то главе критика «Отечественных записок» могла сказать:

«На русском языке (точно так же, как и на иностранных) очень мало писано об этих областях и торговых средствах их: сочинение г. Бларамберга очень удовлетворительно пополняет этот недостаток в нашей коммерческой литературе».

И далее:

«Сведения о путях сообщения Гиляна с сопредельными странами верны и основательны».

То, что мы сказали, относится и к описанию Мазандерана (см. VIII том «Географии» Риттера, стр. 435—437; потом от стр. 523 по 549).

Одно буквально переведено из Риттера, другое сокращено весьма неудачно.

В главе «Астрабадский залив и область того же имени» есть тоже переводы из Риттера (см., например,

* Ritter, Ibid., S. 656—660.

** Ibid., S. 660—661.

*** Ibid., S. 661—672, — итого 16 стр. сряду.

«Статистическое обозрение», стр. 167 и VIII том «Географии» Риттера, стр. 514 и 515; «Статистическое обозрение», стр. 173 и Риттер, стр. 518 и др.). Но так как автор сам посещал Астрабадский залив в 1836 году, пробыл там более месяца и имел возможность собрать самые подробные сведения об этом заливе на месте («Статистическое обозрение», стр. 167), то глава эта отличается более оригинальностью, чем все прочие. Но автор, по нашему мнению, поступил бы гораздо лучше, если бы составил совершенно самостоятельное описание Астрабадского залива и не переводил тут же целых периодов из Риттера, смешивая его слова со своими.

Следующая глава, «Гора Демавенд и ее окрестности», есть одно неудачное сокращение из Риттера, потому неудачное, что сделано не из общей мысли риттеровского описания, а переводя то тот, то другой период, перемешивая их, неизвестно для чего, сколачивая вместе без большого порядка. (Стат. обозр., стр. 187, Ritter, 8 Th., S. 550 и 555; Стат. обозр., стр. 188, Ritter, 8 Th., S. 556, 558, 559 и 560, 561; Стат. обозр., стр. 189, Ritt., 8 Th., S. 567 и 568; Стат. обозр., стр. 190, Ritter, 8 Th., S. 570). Что же касается до перевода, то он не везде верен; а в некоторых местах слова Риттера заменены словами автора «Статистического обозрения», по причине, которой автор не объясняет. Так, например, Риттер * говорит:

«Высокая плоская возвышенность на юге (Демавенда) дает возможность видеть эту гору издали, из среды соляной пустыни и даже еще не доезжая до города Кома, при ясной погоде, на расстоянии от пятнадцати и двадцати географических миль».

Г-н Бларамберг, переводя буквально все предыдущие строки, здесь вдруг заменяет слова Риттера своими:

«С юга от плоской возвышенности Ирака, он (Демавенд) виден при ясной погоде даже с Кухруда, а с

* Die Erdkunde von Ritter, 8 Th., S. 555.

Кума и Кашана я неоднократно видел и определил положение его, хотя он от последнего города отдален на 200 верст».

А потом снова идет определение высоты Демавенда буквально по Риттеру, и далее до самого конца статьи нет уже ничего оригинального. В этой главе упоминается так же, как и у Риттера, и в тех же самых выражениях, о Томсоне и Оливье, и ни слова о Риттере.

Но всего любопытнее мнение критики «Отечественных записок» о главе под заглавием «Хорасан». Вот что говорит она:

«Но самая лучшая, самая интересная, наиболее отличающаяся новизною сведений статья в книге г. Бларамберга — описание Хорасана. Конечно, и здесь встречаются материалы, заимствованные у других писателей; но зато подле них читатель находит массу сведений совершенно свежих, собранных трудолюбием и любознательностью самого автора. Под скромным названием «Маршрутов Персидской Армии», собраны такие топографические указания, которые дают самое верное и ясное понятие о стране, бывшей театром военных действий. Предоставляем людям специальным судить, до какой степени эти указания важны в стратегическом отношении; но для географов и статистиков Хорасан и пограничная с ним Туркмения описаны тут самым удовлетворительным образом».

Посмотрим же, в чем состоит эта «масса совершенно свежих (?) сведений» о Хорасане.

Стр. 193 «Статистического обозрения» (первая страница о Хорасане) есть буквальное сокращение (т. е. такое, в котором взяты некоторые фразы Риттера буквально и пропущены другие) 214 и 215 стр. VIII тома «Географии» Риттера.

Страницы о населении Хорасана от 199 до 205 и последней суть большею частью перевод, а местами — буквальное сокращение страниц «Географии» Риттера из того же VIII тома, а именно: стр. 372, 375, 378, 380, 381,

383, 384, 385, 386, 394, 395. Остальные же страницы отчасти почерпнуты у Риттера же, отчасти у Фразера. Различные высоты плоской возвышенности Хорасана взяты у Фразера, о чем упоминает сам автор «Статистического обозрения». Так что во всем этом описании Хорасана нет ни строчки нового и ничего оригинального; даже ссылка на Гаммера, на которую нападает критика «Отечественных записок», точно так же, как и ученая ссылка на Ксенофонта, находится у Риттера *.

Но, увлекшись разбором интересного сочинения, мы позабыли о вас, наши добрые читатели, позабыли, что вы, может быть, со скукою и негодованием перевертываете страницы, испещренные цифрами, и с нетерпением добираетесь до конца нашего разбора, если еще книга не выпала у вас из рук. Просим извинения, но просим только из вежливости: рассудите сами хорошенько, мы ли виноваты в этом? Однакож, постараемся, щадя вас, быть сколько возможно кратче.

За общим описанием Хорасана следует «Дорога богомольцев, отправляющихся из Тегерана в Мешед». Эта дорога, — как говорит автор, — была посещаема и описана в 1833 году нашим консулом в Гиляне г. Ходьзко, а в 1838 году сам автор отправился по этой дороге из Тегерана в Герат и на обратном пути следовал часть по ней же. Но нам кажется, что дорожные заметки составлены автором гораздо после путешествия, и потому, не имея живости дорожных рассказов, они представляют довольно сухую компиляцию, в которой личные наблюдения перемешаны с чужими, и в которой все-таки лучшие страницы и более ученые заметки, относящиеся к древностям этой страны, взяты из сочинения Риттера, хотя этого у автора и не обозначено. Так, например, о древнем Гекатомполисе

* См. Die Erdkunde von Ritter, 8 Th., S. 375, в тексте, ссылка на Гаммера, стр. 395, в тексте, ссылка на Ксенофонта, и на той же странице, в тексте, ссылка на Фразера.

(Стат. обозр., стр. 218), при ссылке на Диодора и Полибия (ссылке, находящейся у Риттера), забыта ссылка на VIII том Риттера, стр. 496; далее, то же самое должно сказать о прекрасном описании Нишапура и древнего Нисаима, — описании, взятом Риттером из Страбона, Плиния, Ебн-Гаукала, Едризи, Абульфеды и пр. (Стат. обозр., стр. 227, 228, 229 — Риттер, 8 Th. S. 316, 319, 315, 320); точно то же и о прекрасном описании Мешеда (Стат. обозр. Персии, стр. 232, 233, 234, 235, 236. — Ritter, 8 Th., S. 292, 293, 295, 296, 301).

Далее следует описание дороги, ведущей из Нишапура вдоль южных пределов Хорасанского Курдистана до Шаруда, составленное в 1834 году А. И. Ходьзко, нашим консулом в городе Реште. Это описание, хотя сжатое, представляет много новых сведений, которыми может воспользоваться география. Описание нишапурских бирюзовых рудников оригинально и дополняет сведения, доставленные о том же предмете Фразером и Узлеем. В одном этом дневнике и в следующем за ним маршруте персидской армии от Тегерана по горной хорасанской дороге до берегов Гюргени и обратно до Шаруда, в 1836 году, более нового для географии Ирана, чем во всем «Статистическом обозрении Персии», и мы думаем, что люди, занимающиеся этою наукою, обратят внимание на эти две статьи. К последнему маршруту г. Бларамберг, как он сам говорит (стр. 249), прибавляет некоторые подробности, взятые им из сочинения Морьера («Second voyage en Perse par Jacques Morier». Paris. 1818); зачем же он не говорит об этом в других местах, где берет из Фразера или Риттера? В этом маршруте, которому следовала персидская армия в походе на Герат в 1836 году, помещен и дневник самого автора, дополненный, как он говорит, наблюдениями, «взятыми из записок (?) английских и других офицеров». В этом дневнике географ также найдет несколько новых сведений, и из него мы выпишем здесь занима-

тельную страницу, показывающую, каким образом путешествуют по Персии.

«Хотя мы, — говорит автор, — отправились налегке, однакож на востоке нельзя путешествовать без многих людей и большого обоза, особливо такому знатному лицу, какое находилось между нами, и пословица, что по одежде встречают, преимущественно оправдывается в Персии, где уважают тем более людей, чем они пышнее живут и имеют при себе большую свиту. Общество наше состояло только из 4-х особ, но при нас находились драгоман, или переводчик, назир, или управитель дома, и, сверх того, шесть слуг, один ферраш-баши и 12 феррашей *, десять вооруженных голамов **, наконец персидские служители, мегтеры, или конюхи, червадары, или погонщики, всего около 50 человек и при них 40 лошадей и до ста лошаков. Каждый из нас взял с собой только самые необходимые вещи; но как отсутствие наше могло продлиться весьма долго, то мы принуждены были запастись в большом количестве чаем, сахаром, ромом, вином и восковыми свечами — вещи, которых нельзя было достать внутри Персии, а в персидском лагере, под Гератом, только за неимоверные цены».

И далее:

«От Тегерана до селения Ханe-Худи мы ни разу не разбивали палаток наших и всегда проводили ночь в деревнях или каравансараях. Каждое утро, с рассветом, вьюки были отправляемы вперед, под надзором назира, ферраш-баши, нескольких казаков и наших собственных служителей. За ними отправлялась конюшня под присмотром мирахора, или главного конюха. Часом позже мы трогались с места верхами. Перед нами ехали четыре едекча, т. е. 4 конюха верхом, из которых каждый вел оседланного жеребца, покры-

* Ферраш — слуга, нанятый для расстилания ковров, разбивания палаток и вообще для всех домашних грубых работ.

** Голам—паж, оруженосец, телохранитель; употребляется также для рассылок с бумагами и поручениями.

того богатым ковром из вышитого сукна (зимпуш). Чем важнее особа, которая путешествует в Персии, тем больше подобных едекчи предшествуют ей. За коляскою следовало несколько слуг, персидские камердинеры (пиш-хидмет), кальянчи с кальяном и вьюк с завтраком. Каждый из нас ездил по своей фантазии: один рисовал на дороге, другой охотился с борзыми собаками, посещал развалины или другие любопытные предметы. На половине дороги мы завтракали, для чего персидские камердинеры ехали вперед, выбирали удобное место при ручье, или роднике, и ставили афтаб-герден, т. е. большой четырехугольный кусок холста, натянутый наклонно против солнца; два нижние конца его касаются до земли и укрепляются посредством кольев, верхние же привязаны к древкам. Под этою полупалаткою стлали ковер и подавали завтрак по нашем прибытии. Афтаб-герден этот служил нам точкою соединения, в случае нашего отдаления от большой дороги. Завтраки наши были весьма приятны, особенно когда мы уставали и были голодны после 20 или 30 верст езды. После завтрака подавали нам кальяны и кофе, люди укладывали посуду, снимали афтаб-герден, вьючили животных, и мы продолжали путь наш. Ежедневные переходы наши были от 3 до 10, 12 и более ферсенгов, смотря по расстоянию станций и по невозможности найти воды. Я часто сердился на оптические обманы, которых причиною был воздух иракской плоской возвышенности. Воздух этот так чист и прозрачен, что отдаленные предметы кажутся весьма близкими, отчего часто думаешь проехать только несколько верст, чтоб достигнуть ночлега, который представляется глазам в весьма близком расстоянии, между тем, как караван-сарай или селение это на самом деле отстоит еще от вас в 15 или 20 верстах. По прибытии на ночлег каждый находил квартиру, уже занятую его людьми, ибо голам отправлялся вперед для назначения квартиры каждому из путешественников. После отдыха каждый смотрел за своими ло-

шадьми, чтобы они были хорошо убраны и накормлены, осматривал или писал замечания свои. К вечеру мы опять собирались к ужину. Каждый был предшествуем своим феррашем с персидским фонарем в руках, сделанным из проволоки, обтянутой коленкором и длиною от 2 до 3 футов. В деревнях необходимо было вооружать себя палкою при этом случае, чтоб отгонять собак, скитающихся во всяком селении.

Большие переходы, как уже сказано было выше, совершали мы ночью, чтоб не утомлять вьючный скот и лошадей в дневные жары. Как они были длинны и скучны эти ночные переходы по пустыне Хорасана! Чистое и ясное небо усеяно было бесчисленными звездами, блистание которых неимоверно ярко под этою широтою и способствует различать дорогу и окружающие предметы на довольно большом расстоянии; но однозвучный шаг наших коней и звук колокольчиков и гремушек лошаков вдали одни отзывались в этой пустыне и давали нам довольно времени предаваться мыслям и мечтам, которые, если не отлетали на родину, почти всегда были печальны, грустны и в гармонии с окружающими нас предметами, т. е. с пустынею и развалинами.

Вдоль всей дороги нашей из каждого селения, лежащего близ нее, жители приходили навстречу нам. Факиры и дервиши ожидали, стоя возле дороги, читая молитвы, и расстилали перед собою кусок холста на земле, в ожидании, чтоб на него бросили денег. Обыкновенное их приветствие состояло из следующх слов: «Да сохранит бог особу вашу!» Дети подносили фрукты или цветы, другие же подавали род ладана, т. е. они сжигали саман на черепке с углями. Сакка или водовозы брызгали воду из своих бурдюков и поливали дорогу; наконец, старшины (кетхуда) деревень, в которых мы ночевали, дарили нас барашками. Все эти дары и честь были одни только уловки, чтоб выманить подарки (пешкеш). В Туршизе, где владел тогда шах Задé, или королевский принц, последний посылал на-

встречу нам найда своего и 12 феррашей с длинными прутиками в руках; они предшествовали коляске и разгоняли толпы народа, а при въезде в город трубачи трубили фальшивыми инструментами в честь знаменитому страннику. Дервиши и факиры провожали нас при выезде из городов, следовали за нами пять или более верст и редко отставали, покуда им не бросали денег, чтоб только избавиться от их наглости. Дервиши эти воображают себе, что делают честь тем вельможам, при домах которых они поселяются; их называют тогда гуше-нишин (сидячие в углах домов).

Натянутый кусок холста скрывает их от палящих лучей солнца; перед этим холстяным домиком они обыкновенно засевают травою или ячменем клочок земли в 2 или 4 квадратных фута. Скорлупа кокосового ореха служит им для черпания воды, и в нее также бросают милостыню; потом каждый имеет бычачий рожок, в который он трубит в ночное время; или, приближаясь к какому-нибудь селению, кричит слова «Хак-Гу!» («Hakhoú», т. е. «О, единственный бог!») диким, отрывистым голосом. Если они долго останавливаются на одном месте, то прибавляют еще простой кальюн (водяная курительная трубка) и мангал с углями, чтоб нагреваться в зимнее время. Дервиши эти почти голы, с растрепанными длинными волосами отвратительной нечистоты и покрываются только куском верблюжьей шкуры. Они ведут жизнь праздную, созерцательную и кочующую, но большею частью плуты и готовы на все дурные поступки. Один из них остановился в 1837 году у ворот сада, в котором тогда находились путешественники, в 6 верстах от Тегерана и беспрестанно трубил в свой рожок, крича «Хак-Гу!» Он же требовал от них 30 червонцев и лошадь, чтоб отправиться в Мекку, а по возвращении путешественников в Тегеран следовал за ними, расположился при воротах дома, занимаемого ими, провел тут целую зиму, заочно беспрестанно упрекая их за то, что они его не отпустили с большим подарком. Только при отъезде на-

шем в персидский лагерь под Герат мы избавились от него, дав ему 10 червонцев».

Непосредственно за этим автор говорит: «Приступим теперь к описанию городов и мест, лежащих в стороне от Туршизской дороги, чтобы окончить обозрение этой части Хорасана», но не хочет сообщить нам, на каком основании он делает это описание, в котором мы опять встречаемся с целыми страницами из сочинения Риттера. Конечно, Риттер и здесь только собирает чужие сведения; но это собрание, это соединение в одно стройное целое, проникнутое одною мыслью, самых различных и часто противоречащих показаний древних и новых, восточных и западных писателей, стоило же ему труда и есть плод его необъятной учености, которая дается нелегко, и его сильного таланта, которым обладает не всякий. Автор ссылается на Птоломея, Христи, Узлея, Фразера, Дюпре, Гаммера, но не упоминает о Риттере, у которого он заимствует целые страницы вместе с именами этих писателей (см. «Описание Езда», Стат. обозр., стр. 275 до 279, и Ritter, 8 Th., S. 265—275). Также заимствовано описание Туна, Теббеза и Турбет-Гайдара; так что во всем этом описании городов собственно от автора прибавлено только (и то, если мы не ошибаемся) известие о Иса-Хапе, владетеле Турбет-Гайдара, и о том, что «поручик Виткевич в 1839 году проехал через Теббез, но, к сожалению, ничего не успел сообщить автору об этом городе. Если бы не сведения об этих городах только, собранные Риттером, то, по крайней мере, мысли о религии гебров, принадлежащие собственно ему, должны бы были быть означены именем автора. Глава о племенах чеар-оймакских весьма интересна; не знаем, откуда заимствовал автор эти сведения.

Но мы уверены, что терпение читателя нашего, точно так же, как и наше, истощилось, и мы скажем только несколько слов об остальных отделах «Статистического обозрения», что в них географ и статистик,

знакомые с Фразером и Риттером, найдут весьма мало новых сведений. Глава о течении рек Гюргени и Атрека, начало которой тоже есть перевод из Риттера (Стат. обозр., стр. 308, Ritter, 8 Th. S. 342), представляет некоторое дополнение к тому, что уже известно об этих реках. Эти сведения, — как говорит автор, — были собраны в 1836 году, частью им самим, во время путешествия его по Туркмении, частью бароном Боде (стр. 308, Примеч.). В кратком обозрении Туркмении (в котором тоже видно тщательное изучение Риттера) географ найдет несколько новых сведений, но весьма немного. Далее к сочинению г. Бларамберга приложены астрономические наблюдения, сделанные штабс-капитаном Леммом в Хорасане и в Персии вообще в 1839 году, в которых показаны долгота и широта 84 мест, и сведения о Персии и Афганистане, собранные поручиком Виткевичем в 1837, 1838 и 1839 годах. Эти последние сведения, представляя почти одно голое название мест, с краткими заметками о проходимости пути и удобстве дорог, не дают никаких новых сведений для географии. В этот сухой маршрут помещено, не знаем почему, описание Систана, причем автор замечает, что сведения о Систане собраны большею частью им самим, но забывает упомянуть, что большая часть этих сведений заимствованы из Риттера, который говорит об этом же городе на страницах 180, 181, 182 осьмого тома и посвящает ему целое примечание (182, 183, 184). В главе «Дорога от Тавриза в Тегеран и Испаган», имеющей значение в стратегическом отношении, географ не найдет ничего нового. «Статистическое обозрение Персии» оканчивается таблицей метеорологических наблюдений в Тегеране и Испагане, сделанных в 1839 и 1840 годах.

Если, несмотря на все наше старание, мы не могли извлечь из сочинения г. Бларамберга всего, что в этом сочинении есть нового, то в этом виноват сам автор, который мог бы облегчить наш труд, указав на все места, заимствованные им из других сочинений. Но

он даже не потрудился упомянуть имени Риттера, которому он обязан не только большею половиною своей книги, но и лучшими страницами ее. Если автор исправит этот важный недостаток, то тем самым спасет от забвения новые сведения, доставленные им географии, которая дорожит каждым известием и с каждым из них прочно соединяет имя того, кому она им обязана. Таков непреложный закон науки. Этот закон свято соблюдается великим германским географом, с сочинением которого русские читатели скоро познакомятся в полном переводе, обещанном Императорским Русским Географическим Обществом. Следовательно, по всей справедливости, закон этот должен быть соблюден и в отношении к Риттеру.

Мы не знаем, что критика «Отечественных записок» находит довольно вялого и до чрезмерности сухого в сочинении г. Бларамберга: она, как нам кажется, должна бы исключить из этого страницы, переведенные из Риттера, который, по признанию всех лучших германских критиков, сумел придать географии ту жизнь и то значение науки, которых она дотоле не имела.

Критика «Отечественных записок» оканчивает свой разбор «Статистического обозрения Персии» таким заключением, к которому мы не можем ничего прибавить от себя:

«Изложение г. Бларамберга не показывает, чтоб он был опытный литератор; в иных местах он довольно вял и до чрезмерности сух, но зато везде отличается логичностью. Видно, что автор серьезно занимался своим предметом, собирал сведения с неутомимою осторожностью и располагал их потом систематически, думая гораздо более о том, чтоб сделать свое сочинение полезным и поучительным, чем о том, чтоб доставить публике приятное чтение. Отличительная черта сочинения г. Бларамберга — добросовестность изысканий, внесенных в него. Некоторые ошибки, указанные нами

выше, нисколько не отнимают этого похвального качества, которое и делает честь автору и внушает доверие к его словам.

Весьма похвально со стороны г. Бларамберга, что он издал свое сочинение на русском языке. Но сочинение его так полезно, так много может дать верных сведений о Востоке, что вполне заслуживает сделаться достоянием всего ученого мира. Для пользы науки г. Бларамбергу следовало бы теперь сделать свое сочинение доступным для иностранных ученых, издав его на французском языке».

Сочинение г. Березина «Путешествие по Северной Персии» совсем в другом роде, и благосклонный читатель может быть спокоен: оно не задержит нас долго. Г. Березин имеет более претензий на живость и занимательность рассказа, на юмор, чем на доставление новых сведений для географии; а так как мы разбираем выбранные нами сочинения преимущественно с географической точки зрения, то можем сказать весьма немногое о книге г. Березина.

«Путешествие по Северной Персии» не представляет ровно никаких новых сведений для географии, чего бы не было уже в рассказах прежних путешественников. Хотя автор и прилагает в конце своей книги длинный список писателей, которыми он пользовался и между которыми приятно красуется и его собственное имя, но нам кажется, что он ссылается на эти источники более из желания показать нам свою начитанность, нежели для того, чтобы с помощью чужих сведений уяснить те, которые собраны им самим на месте. Г. Березин не любит Востока, постоянно жалуется на грязь и скуку персидских городов, не находит в них ничего достойного внимания образованного человека *, и мы не понимаем, с какою целью он пишет обо всех этих с к у ч н ы х предметах, — не

* «Путешествие по Северной Персии» г. Березина, стр. 35.

с тою же, вероятно, чтобы заставить и читателя поскучать вместе с собою? А между тем оно так выходит. Скука, под влиянием которой он писал свою книгу, совершенно удачно завладевает тем, кто читает ее.

Так, на стр. 35 и 36, начиная описание Тебриза, Березин говорит:

«Если б я заранее не принял на себя тяжелой обязанности рассказчика о Востоке и мнимых чудесах его, я бы ни за что не согласился утомлять внимания читателя многоречивым описанием того, что едва ли стоит описания. Но так как в заглавии книги поставлено «Путешествие по Востоку», то и нельзя избежать незанимательных описаний персидских городов».

Зачем же автор пишет о них? Читатели, вероятно, извинили бы ему, если бы он отказался от данного им добровольно слова быть рассказчиком о чудесах Востока. Если затем только, чтобы доказать несправедливость выражения Малькольма (Persia has in all ages been remarkable for the magnificence and splendour of to cities), поставленного г. Березиным в эпиграф главы о Тебризе, то это не стоило труда: едва ли можно найти теперь человека сколько-нибудь образованного, который бы верил в чудеса Востока. Со времени Марко Поло прошло уже много столетий, и нынче давно перестали верить в неисчерпаемые м и л л и о н ы азиатских властителей. Написать же целую книгу о Персии с целью доказать, что о ней нечего писать — мысль новая, оригинальная, но не совсем удачная. Пожалуй, какой-нибудь скептик, прочитав книгу г. Березина и проскучав над нею вволю (как желает того сам автор), вместо того, чтобы обвинить Персию в этой скуке, станет обвинять самого автора. Такой скептик может сказать, пожалуй, что если бы г. Березин умел подмечать характеристические черты природы той страны, которую он проезжал, если бы мог выразить эти черты языком ясным и легким, если бы захотел объяснить, на основании прежних исследований, причины особенности этой природы, если бы,

вместо описания своих мучений в дороге, дурных караван-сараев, развалившихся домов (не развалин) и тому подобных давно знакомых предметов, постарался начертить живую картину дряхлой, разрушающейся цивилизации Востока, показать в занимательных образах симптомы этой дряхлости, и объяснить, на основании истории, ее причины, то он и сам бы не скучал, путешествуя по Персии, и не заставлял бы скучать и своего читателя. Никто из лучших путешественников последнего столетия не прельщается Персиею, никто не думает ставить ее городов в уровень с городами Европы, но, тем не менее, путешествия их, подобные, например, путешествиям Фразера и Морьера, прочитаны и читаются поныне с удовольствием целою Европою и стали источниками географии и истории Ирана. Находят же возможность описывать занимательно для читателя полярные страны, где нет ничего, кроме снежных пустынь, пловучих льдов, белых медведей да стай перелетных птиц! Находят же возможность писать увлекательные рассказы даже о песчаных пустынях Африки! Нет, напрасно автор «Путешествий по Востоку» сваливает скуку своей книги на бедную Персию, напрасно даже обвиняет ее и в той скуке, которую он и сам перенес. Скучают и в Париже и в Лондоне те люди, в которых самих гнездится скука; но тот должен слишком надеяться на свой талант, кто возьмется описать скуку так, чтоб это описание не заставило скучать читателя. Из всех предметов подлунного мира скука есть единственный предмет, впечатления которого писатель не должен передавать читателю. Это впечатление и без того передается таким множеством сочинений, думающих быть занимательными. Но так как мы замечаем, что и наша статья давно уже просится в разряд таких сочинений, то мы постараемся быть короче.

Г-н Березин описывает в этой части своих «Путешествий по Востоку» свой путь от Астары, русского местечка, пограничного с Персиею, через Ардебиль и

Тебриз до Тегерана включительно. Дорога эта описана многими путешественниками, и г. Березин не прибавляет ничего нового к этим описаниям; так что его сочинение, как мы уже сказали выше, не имеет ровно никакого географического значения. О беллетристическом же его значении предоставляем судить самому читателю.

Вот образец юмора, заключающегося в «Путешествии по Северной Персии»:

«Как бы то ни было, квартира отведена, Кетхуда исчез, а явился хозяин, оказавшийся мирзой контрольного отделения, но мне было не до беседы с любезным иранцем, потому что меня мучила лихорадка. Пользуясь правом хозяина в своей комнате, я принялся за домашнее лечение, и мирза-контролер должен был отправиться в свой драгоценный «андерун», что по-нашему почти равносильно спальне. Между тем Вакиль по каким-то соображениям дошел до заключения, что я человек не простой, и поэтому прислал просить извинения в дурной квартире и предлагал другую, но та оказалась еще хуже первой. Впрочем, соображения Вакиля стали для меня ясны впоследствии, и я даже могу передать безошибочно весь разговор Вакиля с Кетхудой:

— Ки омадест унджа? (Кто там приехал?) — спрашивает Вакиль.

— Один урус, — отвечает Кетхуда.

— Пэ! Инч чи урусееееееест? (Что это за урууууус?)

— Мазанна адами кучюк нист. (По нашим предположениям, не малый человек.)

— Уфф! — говорит Вакиль.

— Истинно докладываю вашему благородству, что с ним двенадцать нукеров да три мирзы (Кетхуда, по общей слабости персиян, жестоко прихвастнул: четыре нукера ему показались за дюжину, а один мирза за троих).

— Бэче! (малый!) — кричит Вакиль своему нукеру.

— По-персидски говорит, — продолжает Кетхуда.

— Ступай и скажи этому урусу, чтоб извинил нас, в такое позднее время приехать изволил, теперь нельзя найти лучшей квартиры. «Кетхуда джаным», Кетхуда душа моя! Сходите, да поищите урусу другой дом... Однако не слишком утруждайтесь! Недавно проезжал здесь, повидимому не малый соаб, еще ехал в Теге-ран, а уж лучше бы и не останавливался здесь, такой «тама-кар» —скупой!

На другой день с утра началась правильная атака персидских любезностей: едва я раскрыл глаза, как передо мной уже стоят нукер Вакиля с медным полуженным подносом, на котором красовался десяток мелких дынь и четыре тарелки персидских конфект.

— Его благородство Вакиль посылает вашему благородству пешкеш.

Мое благородство заплатило за это нукеру целковый.

Вслед за дынями влез в комнату сам Вакиль, его мирза, секретарь, мирза здешнего «Шахзадэ» — принца крови, еще какой-то мирза и, наконец, «султан» артиллерии, иначе артиллерийский капитан. Так как я в первый раз наслаждался благоуханиями иранского красноречия, то визит ардебильских властей меня очень занял.

Когда гости уселись, то между ними и хозяином начался следующий разговор:

По старшинству начал Вакиль.

— Ахвали дженаби шума хубееест? (Хороши ли обстоятельства вашего благородства?).

— Аз ильтифати шума. (По вашей благосклонности.)

— Демаги шума чагееест? (Исправен ли ваш мозг?)

— Аз ни — мати шума. (По вашей милости.)

— Кейфи шума созееест? (В порядке ли ваше блаженство?)

— Аз мархамати шума. (По вашему благосердию.)

— Нахуши не дорид? (У вас нет болезни?)

Несмотря на то, что у меня была сильная лихорадка, я отвечал опять:

— В этой стране разве можно быть больным?

После Вакиля, сидевшего посредине, осведомился о моих обстоятельствах султан артиллерийский, поместившийся с правой стороны Вакиля. То же повторил потом принцев мирза, сидевший слева подле Вакиля; за ним произнес с особенною приятностью то же самое мирза Вакиля, расположившийся подле султана; наконец, после всех вошел в речь неизвестный мирза, сидевший подле мирзы Шах-Задэ и во все продолжение визита ничего более не сказавший.

Потом Вакиль, приложив руку к сердцу, произнес:

— Хуш омаид! (Добро пожаловать!) — И вся компания хором подхватила:

— Добро пожаловать!

В свою очередь я должен был осведомиться о здоровье всех гостей и в заключение прибавить:

— Хуш омаид! (Добро пожаловать!)

Пользуясь благоприятным случаем, мирза Вакиля, вероятно слывший в городе краснобаем первой руки, произнес мне персидское приветствие в стихах:

Добро пожаловать: жалует добро ко мне с приходом твоим!

Я весь жертва каждого шага твоего;

Зрачок глаза моего есть твое гнездо.

Окажи великодушие и пожалуй: дом этот — твой дом!

Потом Вакиль, не желая отстать от мирзы, сказал

— Мушерреф бефармаид! (Будьте гостем нашим!)

В свою очередь, не желая отстать от Вакиля, я ответил:

— Мушерреф шудем. (Я стал ваш гость.)

Вакиль отыскал в лексиконе персидских любезностей еще приветствие:

— Сафари шума би хатири? (Путешествие ваше благополучно?)

— Шюкри худа! (Слава богу!) — отвечал я».

Далее начинается подробное и, по крайней мере, для нас, нисколько не занимательное описание мечетей, базаров, караван-сараев, развалившихся домов, осмотренных бог знает для чего любознательным автором. Некоторый интерес представляет статья о торговле Тебриза; но за ней опять следует мелочное описание зданий, совершенно незанимательных. Для кого, например, может быть занимательно такое описание одной из тебризских мечетей:

«Сеид-Гамзэ стоит вне крепостной стены: снаружи это строение довольно старое, из мелкого кирпича, не отличающееся ни малейшей роскошью; небольшая дверь с аркою и порталом, бедно украшенными по местам изразцовой отделкой, ведет на четвероугольный продолговатый двор, обведенный зданиями и вымощенный по сторонам камнями; посредине насажены деревья, а по бокам единственной двери — другая закладена кирпичами — находятся караульни. Левую сторону двора занимает «Кизил-мееджид», Красная мечеть, с обыкновенным куполом, а на правой стороне находится посредине открытая зала с высоким сводом, в которой бывают заседания духовных; к одному боку этой залы примыкает небольшая мечеть «Сеид-Гамзэ», предмет благоговения персиян, отделанная внутри изразцами с разноцветными стихами из Алкорана и накрытая довольно плоским куполом...» и т. д.

В таком же роде описаны у автора арсенал, дворцы, казармы, загородные дома и т. д. Образ жизни русского консульства в Тебризе описан несколько занимательнее. Исторические и географические известия о Тебризе — далеко не новы. За Тебризом опять следует описание караван-сараев, мечетей, домов, дворцов, деревень; описания эти не входят в общую картину Персии, сделаны с тою сухою подробностью и отчетливостью, с какою, например, в книге отца Иоакинфа (которому, впрочем, несмотря на то, мы обязаны многими превосходными известиями о Китае)

рассказывается устройство пекинских дворцов и храмов или подробности шаманских обрядов, — подробности не занимательные и вовсе никому не нужные. Тегеран ни извнутри, ни снаружи не понравился путешественнику и, обещая не утомлять читателя описанием городских примечательностей, он, однакож, говорит о них очень длинно.

«Достопримечательности Тегерана? — говорит автор. — Кажется, это слово здесь не совсем у места: город еще так юн, что у него не могли так скоро вырасти достопримечательности. В самом деле, что замечательного в тегеранских улицах, базарах, караван-сараях, мечетях и других общественных зданиях? Я полагаю ничего, и подкрепляю свое мнение следующими описаниями».

Кому же нужны такие подкрепления?

Некоторые факты, собранные автором из управления Мухамед-Шаха, довольно характеристичны, но, к сожалению, этих фактов так мало, что они не выкупают собою бесконечного описания развалившихся дворцов и грязных дворов. Описания персидского войска и персидских смотров так часто повторяются у путешественников, что автор, без всякой потери для читателя, мог бы опустить их. Страницы, посвященные первому шахскому министру и любимцу Хаджи-Мирза-Агаси, довольно занимательны. Несколько, хотя весьма немного, новых сведений можно найти в описании различных мест и чинов персидского управления; но к характеристике персиан, обрисованной другими путешественниками, г. Березин не придал ни одной новой черты. Последняя глава «Путешествия по Северной Персии» посвящена описанию религиозных мистерий шиитов. Описание это автор называет «подвигом многотрудным», а мы бы назвали его подвигом совершенно бесполезным. Празднества в честь Гуссейна описаны были европейцами несколько раз, и если никому из них не приходило в голову переводить нелепые мистерии, разыгрываемые в это время, как делает это г.

Березин, то это потому, что в этих мистериях нет ничего важного или занимательного. Описанием этих религиозных мистерий, которые прочесть вполне у нас недостало терпения, г. Березин оканчивает описание Тегерана, и собирается в дальнейший путь, в котором мы ему от души желаем выносить меньше мук, не так скучать, видеть поболее занимательных предметов и чаще припоминать превосходный совет персидского поэта Джами, который понравился нам более всего в книге г. Березина:

«Подкоси ноги скакуну пера твоего, чтобы он не носился больше по этой равнине; закрой тетрадь, в которой выводишь черные линии, и полно давать волю своей наклонности к этому занятию; надень на свой язык узду молчания, потому что молчание лучше всего, что бы ни сказал ты».

В приложении автор дает нам переводы надписей в Ардебильской мечети, из которых некоторые, если переводы верны, о чем мы судить не можем, отличаются удивительным бессмыслием. Послушайте, например, эту надпись, сделанную на ковре:

«Во время справедливости государя веры Аббаса,
В управление Зульфакар-Хана,
Подобного которому от судьбы никогда не было и не будет,
Гулям чистый (царский) этого порога дворца
Чистым серебром порог дворца обновил,
Дверь, подобной которой ум не вмещает!
Когда сильная лошадь мысли моей вышла из пределов (быстро шла),
Я обошел вокруг света для искания даты сего:
Когда судьба видела дарования для искания даты,
Тогда пришел невидимый голос, что это Баби-Нукрэ-хан».

Не правда ли, удивительные и удивительно переведенные стихи?

Далее совершенно не понимаем, для чего автор приводит около двадцати страниц из персидской географии — по-персидски. Если это для того, чтобы окончательно поразить читателя, для которого непонятны эти страницы, то напрасно: ныне уже никого не удивишь

знанием не только персидского, но даже китайского языка. Читатель стал требовательнее и ценит языкознание только тогда, когда оно употребляется с пользою, а не для перевода таких стихов, какие мы привели выше. Может быть, эти страницы имеют какое-нибудь значение для ориенталистов; но тогда бы автор, писавший свою книгу вообще для публики, должен бы издать их отдельно.

Прочитав «Статистическое обозрение Персии» г. Бларамберга и путешествие г. Березина, мы от всей души пожелали, чтобы перевод сочинения Риттера об Азии, обещанный нам Императорским Географическим Обществом, вышел как можно скорее. Он сделает невозможным появление бесполезных и скучных сочинений о различных странах Азии, которыми до сих пор угощают нас наши путешественники по Востоку, исключая, конечно, превосходных путешествий г. Ковалевского. Тогда сочинение Риттера сделается и для писателей и для публики верным критериумом того, что можно и должно ожидать и требовать от человека, которому судьба доставила возможность путешествовать по Азии.





МАГАЗИН ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ И ПУТЕШЕСТВИЙ[12]

Географический сборник, издаваемый Николаем Фроловым, т. II, «Воззрения на природу» Александра Гумбольдта и «Идеи о сравнительном землеведении» Карла Риттера, с семнадцатью рисунками, Москва, 1853.

Господину Фролову пришла счастливая мысль — соединить во втором томе своего «Сборника» два великих имени: Александра Гумбольдта и Карла Риттера. Между этими маститыми представителями самой юной, самой современной науки, которым вдвоем более с т а п я т и д е с я т и с е м и лет, много общего. Они оба доказали собою, что вечная юность науки нисходит и на ее верных жрецов, — оба они еще живут полной жизнью светлой, энергической, всеобъемлющей мысли, — оба еще, продолжая идти впереди самых юных поколений, смело прокладывают дорогу вперед. Это не робкая, дрожащая старость, удерживающая осторожными словами пыл юных адептов науки, но самая энергическая молодость: столетний опыт и долговременное мышление придали им только еще более смелости и дозволили высказывать такие надежды, на которые не покусилась бы самая молодая, самая пылкая, самая сангвиническая натура. Оба эти великие ученые, более полустолетия посвящающие науке свое плодовитое перо, еще далеки от мысли успокоения, еще оканчивают два свои громадные создания, еще стремятся к достижению той великой цели, отдаленность которой могла бы отнять бодрость у юноши, только что вступающего на ученую карьеру. И Риттер и Гумбольдт составляют чрезвычайно редкое исключение не только между учеными,

но и между людьми всех состояний и сословий. Кто из седовласых стариков может похвалиться, что он всю длинную жизнь свою — каждое мгновение и каждое усилие ее — посвятил одной мысли, озарившей его дух еще в ту пору, когда кровь волновалась горячо, когда взор, не привыкший к созерцанию природы, с восторженной любовью и изумлением озирал новый для него мир, — в ту пору, которую обыкновенно называют они порою ошибок и заблуждений и которую вспоминают с удовольствием, как сладкий, но обманчивый сон? «Космос» Гумбольдта и «Всемирная география» Риттера не только задуманы, но и предначертаны ими полстолетия тому назад; но авторы их всю долгую и трудолюбивую жизнь свою употребили на то, чтобы выполнить эти громадные планы, чтобы наполнить все пустые места этих великолепных картин, верные очерки которых родились еще в их юношеских умах. Но выполнили ли они эти планы? окончили ли они эти чудные картины? есть ли надежда, что они выполнят и окончат их? Гумбольдту еще далеко до окончания картины природы; Риттер, задумав всемирную географию на семьдесят четвертом году своей жизни, еще не выдал последних томов Азии, а впереди у него Европа, Америка и Австралия. Кто знает, может быть, великое создание германского географа останется оканчивать целым поколениям, как те средневековые храмины, которые задуманы поэтической фантазией и порывистым энтузиазмом, а не робким рассчетливым рассудком, и которых не могли окончить десятки поколений.

Но, кроме этого внешнего, биографического сходства, между Риттером и Гумбольдтом есть еще другое— сходство внутреннее, сходство идей, сходство целей, к достижению которых они так неутомимо стремятся, которых, может быть, никогда не достигнут, но к которым уже проложили широкую и светлую дорогу. Цели их еще так отдаленны, планы их так громадны, бесконечная глубина их идей так полна содержания,

что мы далеки от дерзкой мысли выразить в нескольких страницах характер произведения двух великих ученых. Сколько бы мы ни говорили о них, мы не выскажем того, что уже известно читателям, познакомившимся с «Космосом» Гумбольдта, и что узнают они даже из того небольшого собрания маленьких статеек Риттера, которые вышли в Германии небольшой отдельной книгой под заглавием: «Введение во всеобщую сравнительную географию», переведенной теперь в «Сборнике» г-на Фролова.

С идеями Гумбольдта публика наша уже знакома довольно коротко, тогда как имя Риттера еще редко у нас произносилось: вот почему мы думаем обратить большее внимание на статьи немецкого географа, предоставив читателям самим познакомиться с «Воззрением на природу» хорошо уже знакомого им автора «Космоса».

Гумбольдт и Риттер задали себе одну задачу, пределы которой приводят в оцепенение самую неробкую мысль. В продолжение целого века своих трудов, взятых вместе, оба ученые стараются начертить одну и ту же картину — картину мира, насколько он открылся мысли, работающей над этим открытием уже несколько тысячелетий, — обозреть все, что узнано пытливостью человека от той минуты, когда всемогущий дал ему в жилище прекрасную землю. Из этого уже понятно, какое важное значение имеют оба ученые в истории развития человеческой мысли. Только такой осмотр всего добытого уже наукой может бросить яркий свет на дорогу, лежащую ей впереди, и, озарив с высоты, доступной только великим умам, мельчайшие и разнообразнейшие пути, которыми человечество всех стран и веков стремится к познанию творения божия, слить их в один могучий поток. Такой обзор, показав общее направление и внутреннюю связь всей бесчисленности отдельных стремлений, дает им новую энергию и ту стройность, ту верность приемов, которые служат вернейшим ручательством успеха всякого дела.

Но, стремясь к одной и той же цели, оба высшие представители современной науки стремятся к ней двумя разными, параллельными путями, нигде не расходясь, нигде не теряя друг друга из виду, но везде подавая друг другу руку помощи.

Гумбольдт открывает связь между всеми явлениями природы и строит их в одно органическое целое, в котором явление жизни микроскопического насекомого связывается видимою нитью с явлениями незапамятных громадных переворотов земли. Для смелой мысли Гумбольдта нет ни физических, ни нравственных расстояний: она соединяет родственные явления, хотя бы они были разделены целым радиусом земного шара или всей бесконечной цепью различных царств природы; она разлагает их, хотя бы они были сплочены в одно нераздельное существо. Риттер же приурочивает к местности весь этот стройный и громадный организм явлений природы, прибавляя к ним и не менее стройный мир исторических явлений. Для Гумбольдта всякое явление важно само по себе, в его связи с другими явлениями, без отношения к местности и истории; для Риттера важно только *местное* значение природных и исторических явлений. *Причина и следствие, как внутренняя связь творения* — вот надпись гумбольдтовского знамени; *местность, как причина и следствие других явлений* — вот девиз ученых трудов Риттера. Понятно, что при таком стремлении обоих великих деятелей наук, они постоянно нуждались друг в друге лучше, чем кто-нибудь, постигали взаимные идеи и ожидания и оценивали важность обоюдных стремлений. Дружба, основанная на единстве великих сочувствий, связывает в продолжение полувека эти два величайшие ученые характера, которым могла бы позавидовать классическая древность. Какой век может выставить что-нибудь подобное двум блестящим созвездиям науки, озаряющим с недоступной высоты прошлое и будущее человеческой мысли!

Эта ученая дружба, напоминающая поэтическую дружбу Шиллера и Гёте, выказывается во многих местах и у Гумбольдта и у Риттера; но тогда как Гумбольдт осторожен, как и Гёте, в выборе своих выражений, маститый географ с шиллеровской пылкостью, с особенною теплотою, характеризующею все его создания, выражает при всяком удобном случае свое восторженное удивление и благодарность гениальному естествоиспытателю. Творения и мысль Гумбольдта, как мы увидим ниже, имели сильное влияние на Риттера: они дали твердую природную основу тем идеям, которые родились самостоятельно в уме немецкого географа, но, может быть, никогда бы не высказались наружу, если бы не могли выйти в свет, опираясь на идеи Гумбольдта, облеченные в безукоризненную броню опыта и наблюдения. Без могучей помощи Гумбольдта идеи Риттера остались бы, может быть, на степени отвлеченных философских умствований, или в форме возвышенных, прекрасных поэтических созданий, от которых дышит теплотою и задушевностью, от которых живее бьется сердце и смелее парит мысль, которым верится так охотно, но с таким трудом. Гумбольдт дал новую энергию вере Ритера в могущество науки и в истину той волшебной мысли, которая увлекла его своею ослепительною красотою на дорогу, еще скрывающуюся в тумане. Риттер и теперь более по светлому предчувствию, нежели по полному сознанию, пробирается из страны в страну, из века в век, от одного явления к другому. Что же было, когда он стоял еще на берегу великого моря, которого и малой части не мог исчерпать в продолжение полувека своих неутомимых трудов? Что, как не энтузиазм, как не поэтическое одушевление, пролагало дорогу германскому географу в этом неисчислимом множестве явлений природы и истории? Риттер нигде во всех шестнадцати томах своего творения не может высказать вполне той идеи, которая руководит его в выборе, группировке и объяснении фактов, хотя на каждой строке читатель

чувствует оживляющее дыхание этой великой мысли: можно ли ожидать, чтобы эта идея высказалась совершенно ясно и удовлетворительно на нескольких десятках страниц, которые он назвал «Введением» в свою географию?

Отдельные статьи, составляющие это «Введение», написаны Риттером по различному поводу и в различное время в продолжение длинного периода его ученой деятельности. Цель, для которой автор собрал их в одну книгу, состоит в том, что они, будучи писаны в разное время и помещены в разных повременных изданиях (по большей части в Записках Берлинской Академии), сделались почти недоступными, хотя и теперь еще имеют свое значение для географии, которая, по выражению автора, «сделала с тех пор гораздо более успехов в расширении своих пределов, нежели в пополнении своего содержания». Первое из этих рассуждений относится к 1818 году и было приложено в виде предисловия к старому изданию первого тома «Сравнительного землеведения». В этом рассуждении автор начертывает план трудного пути, избранного им для своей ученой деятельности, и высказывает те убеждения, которые, несмотря на неопределенность и неустойчивость своей первообразной формы, склонили его посвятить свою деятельную жизнь одному ученому труду. Последнее из рассуждений, помещенных в «Введении», написано уже в 1850 году, по совершении автором половины его великого труда. В этой статье автор, так же как и в первой, говорит о средствах найти твердое, разумное основание для географических наук и о методах их изложения; но язык его уж другой: идеи автора из смелых, но неопределенных верований юности, проникнув сквозь неисчислимое множество фактов, превратились в твердые и спокойные убеждения; и он тихо, но с уверенностью подвигается к сознанию их истины, к той спокойной, хотя еще далекой, пристани, где надежды и убеждения преображаются в положительное знание.

Из сказанного уже достаточно видно, что разбираемая нами книга Риттера не только важна сама по себе, как выражение мнений знаменитого географа о предмете географии и о методах ее изложения, но имеет еще другое, относительное значение, объясняя и оправдывая ту систему и ту методу, которые принял автор для своего огромного труда. Это последнее значение «Введения» тем важнее для нас, что Риттер, в своем «Сравнительном землеведении», нигде достаточно не уясняет читателям своей основной мысли, из которой, однакоже, стройно развивается все его сочинение и по которой группируются все собранные им факты. Читающий сочинение Риттера без особого возбужденного внимания не найдет в нем того, чего вправе ожидать от авторитета географа-философа, не найдет именно той мысли, для раскрытия которой оно написано. Переберите все подразделения каждой части географии Риттера, и ни в одном из них не найдете вы ни общих выводов, ни заключений: одни из этих подразделений не более как легкие очерки того, что должно следовать вперед — это точки отдыха, с которых автор осматривает не пройденное им пространство, а то, которое ждет его впереди; другие подразделения, самые обширные, состоят из изложения и критики фактов, поверки их одних другими; в-третьих, наконец, помещены отдельные монографии (как, например, истории племен, распространения растений, различных фабрикаций и т. п.), которые только одни могут представить хотя специальный, но зато цельный интерес; и ими-то исключительно пользуются составители географий и географических сборников. По окончании изложения фактов, относящихся к какой-либо самостоятельной части Азии, читатель напрасно ждет заключительного вывода или хотя целой картины пройденного: непосредственно открывается глава, новое критическое изложение фактов, а между тем, кто сколько-нибудь знаком с направлением Риттера, тот наверно убежден, что писатель, обладающий таким глубоким философ-

ским взглядом на природу и историю, не мог посвятить всей своей жизни на создание сборника фактов, подобного тем многотомным сочинениям сухой и бездарной учености, которые, не имея никакого жизненного интереса, годятся только для справок и выписок.

И в самом деле «Сравнительное землеведение» Риттера далеко не сборник фактов по произвольно принятой системе, но глубоко задуманное философское сочинение, развивающее одну идею, вокруг которой самые разнообразные мнения и самые разнородные факты строятся в одно художественное создание. Но эта идея нигде не высказывается автором ясно, и надобно употребить значительное усилие внимания для того, чтобы вызвать ее из страниц его книги, наполненных сухою критикою фактов. Только по временам, и то как бы невольно, вырывается у автора его задушевная мысль в какой-нибудь короткой, полувысказанной фразе или в одном восклицательном или вопросительном знаке, или даже в одной курсивной печати нескольких слов. Критика фактов, пополнение их одних другими идет, не прерываясь, от первой страницы до последней; и весь механизм кабинетной работы ученого, остающийся обыкновенно в черновых тетрадях, выставлен здесь наружу: Риттер не хочет озадачить читателя неожиданным выводом, хитро придуманным в тиши кабинета, но заставляет его самого, убеждаясь фактами, выводить заключение и довольствуется тем, что указывает ему на знаменательнейшие из этих фактов. Риттер понимал все величие проводимой им идеи и знал очень хорошо, каким трудным процессом проникают истины, как бы очевидны они ни были, в жизнь действительную. Он понимал, что проводимая им мысль о живом органическом единстве мира, несмотря на свою почтенную древность, принадлежит более к области поэзии, нежели к области науки; что она именно одна из числа истин, с которыми все безмолвно соглашаются, но которым никто не дает места ни в науке, ни в жизни, тогда как содержание этих истин так важ-

но, что, принимая их со всеми последствиями, наука во многом должна бы была изменить свое направление. Вот почему Риттер решился говорить не иначе, как фактами, — одними фактами, не примешивая к ним ни гипотез, ни убеждений: он надеется на силу самих фактов и на то, что смысл их, столь ясный для него, будет также ясен и для всех. Это дает книге Риттера высочайшую степень достоверности, до какой только может достичь ученое сочинение, обеспечивает совершенно ее успех и ручается за ее прочность, но зато, с другой стороны, сильно замедляет самый этот успех; так что сочинение это, влияние которого на науку должно быть велико, нуждается во множестве глоссаторов не менее юридической системы Рима. Вот почему разбираемая нами книга Риттера, где он сам высказывает свои убеждения и знакомит с своим воззрением, имеет для нас особенную важность. Но и в этой книге основная мысль Риттера, хотя высказывается яснее, чем где-нибудь, далеко еще не достигла полного своего выражения, автор как будто еще не мог или не хотел высказать ее вполне. Мы полагаем, что это произошло от двух причин: во-первых, оттого, что автор начал свой труд еще в то время, когда основная мысль этого труда жила в нем в форме чувства, в форме не вполне сознанного убеждения. Если кому-нибудь слова наши покажутся странными, то пусть он припомнит начало всех великих произведений и открытий ума человеческого: не все ли они начинались с темного предчувствия, которое не разом, но мало-помалу переходило в твердое убеждение и только впоследствии достигло ясности знания? Вторая причина неполноты выражения основной идеи автора заключается в самой глубине содержания этой идеи и обширности ее пределов, связывающих в одно органическое целое природу земли, природу человека и историю развития человеческого духа. Если б автор захотел выразить свою мысль отдельно и вполне, то это неизбежно завело бы его в мир отвлеченных философических идей,

тогда как и самые эти идеи философов природы слишком еще шатки и неопределенны и, во всяком случае, слишком воздушны. — Автор сам ясно сознает эту невозможность выразить вполне свою основную идею, хотя ясно обозначает ее существование. Вот что говорит он в одной из своих монографий, служившей введением к старому изданию первого тома его «Землеведения».

«Порядок расположения фактов «Сравнительной географии» должен иметь в основании одну идею и одну точку опоры, и тогда только он может заслужить название методы и повести к открытию естественной системы. Такое идеальное основание одно только может связать разнородные данные, собранные опытом, и положить на них печать идеального единства, которого бессознательная природа сама по себе не имеет. Без такого основания гипотезы, теории, какое бы название ей ни давали — сознает ее сам писатель или нет — нельзя создать ничего целого; и, притом, самое намерение избежать в своем сочинении всякой теории есть уже, как говорит Плейферт, само по себе теория. Отсутствие высказанной теории не ведет еще к истине и не избавляет от пристрастия: одно только знание истории философии и истории наук, осторожность в приложении своих мнений и твердое желание открыть истину могут подать в этом случае помощь слабости человеческой и, по крайней мере, оправдать то выражение, которое каждый писатель употребляет так *охотно, говоря о своем беспристрастии при обсуждении фактов.*

Идеальное основание, на котором писатель (Риттер) думает построить в этом своем сочинении («Сравнительном землеведении»), систему *беспристрастно обсужденных им фактов*, не заключается для него в истине, выраженной в одном понятии, — но в общем содержании всех истин, в которых он убежден; следовательно, *идеальное основание этого сочинения нахо-*

дится в области веры. Оно покоится на том внутреннем созерцании, которое образовалось в авторе самою жизнью среди природы и людей и дозрело до степени сознательной идеи в беседах его с одним из великих ученых нынешнего столетия (А. Гумбольдтом). — Эта идея легла в основу настоящего сочинения и, если намерение будет вполне достигнуто, должна, отражаясь во всех частях исследования, пробуждаться в натурах родственных автору. Вот причина, почему она не может быть высказана вперед, в определенных формах, но, проникая все творение, только в конце его достигнет полного выражения. «Основное же правило,— продолжает автор далее, — исполнение которого должно придать целому сочинению достоинство истины, состоит в том, что мы будем переходить от наблюдений к наблюдениям, а не от мнений и гипотез к наблюдениям»*.

Быть может, многим покажется это откровенное признание автора, принимающегося за полувековой труд, слишком темным, но едва ли можно выразить с большей определенностью ту инстинктивную форму глубокого разума, полного сочувствия к тайнам жизни мирового организма, когда для него так ясно родство и соотношение самых различных явлений и, в то же время, исходная точка этих явлений, из которой все они рассыпаются, как радиусы из одного центра, едва мерцает в туманной дали и более угадывается чувством, нежели открывается рассудком.

Сочинения Риттера принадлежат к тем немногим произведениям человеческого разума, фактическая сторона которых может быть пополняема и исправляема до бесконечности, но основная мысль которых остается всегда верной и в каждом новом открытии найдет для себя новое подтверждение и новое полнейшее выражение.

---

* Einleitung zur allgemeinen vergleichenden Geographie, S. 25—27.

«Всеобщее Сравнительное Землеведение», которого уже вышло в свет шестнадцать огромных томов (от 700 до 1 000 страниц каждый), открывает собой новый период географических наук. Оно, вместе с другими великими произведениями современной науки, служит выражением общего ее направления и находится в тесной связи, с одной стороны, с новейшими философскими системами, а с другой — с тем стремлением естественных наук к обобщению в одну систему добытых ими результатов, которого представителем в последнее время является А. Гумбольдт. В мире практическом сочинение Риттера служит отголоском того беспрерывно усиливающегося движения, направленного из Европы во все части света, во главе которого стоят три величайшие державы земного шара. Результаты этого движения, обнявшего весь мир, сделали возможным появление такого сочинения, каково «Всеобщее землеведение» Риттера.

Придавая такое значение этому сочинению и желая в то же время определить его внешнее историческое положение, из которого развивается и его внутренний смысл, мы необходимо должны напомнить нашим читателям несколько исторических сведений, до того общеизвестных, что мы считаем своей обязанностью упомянуть о них как можно короче.

Взгляд на человека, как на последнее звено в цепи явлений природы, с которыми он связан всем существом своим, общ Востоку, или, ближе сказать, философии трех его великих исторических народов, и европейской философии новейшего времени. Но, тогда как на Востоке этот гордиев узел, соединяющий человека с природой, только чувствуется высокоразвитым инстинктом, доходящим иногда до ясновидения, сомнамбулизма; в новейшей Европе этот узел распутывается медленно и трудно, но зато основательно, твердым процессом опыта и мышления, — процессом, превращающим чувство и ясновидение азиатского человечества в положительное знание европейской науки.

Средине между этими двумя крайностями, классическому миру доступно было — по особенности его организации, превращающей все в образ — одно ясное созерцание этого единства человека с природой, так сказать, понимания одной необходимости, разумности и красоты этой связи.

Стремление выразить в словах наслаждение таким созерцанием создавало образы привлекательные, но всегда, более или менее, лишенные действительного содержания, или с таким содержанием, которое далеко не соответствовало обширности формы и не выдерживало критики сухого рассудка. Красота этих образов заставляет невольно верить их истине; но на такой вере не может остановиться человек, призванный к практическому осуществлению своих верований. Обширные идеи Платона, а еще более Аристотеля, обнимали весь мир; но пределы известного тогда мира были слишком узки, а содержание его слишком мелко.

Видя в человеке окончательную форму природы, в которой она силится сама сознать свое содержание и до образования которой достигла подготовлением всех предыдущих форм своих, древние философы представляли мир одним живым и развивающимся организмом. Душою, разумным сознанием этого организма они называли человечество; но все это человечество заключалось для них в узких пределах Греции. Они думали также и о наполнении этого прекрасного образа: отыскивали сродство элементов, показывали соотношение между различными ступенями создания; существа мира неорганического, растительного, животного являются у них одними формами постепенного развития природы; но элементов тогда было известно так мало, они были так грубы, пределы всех царств природы были так тесны, а о физиологическом анализе не было и речи, если исключить несколько мыслей, брошенных Аристотелем, которому, кажется, суждено было провидеть все успехи человеческого разума.

В мире практическом это преждевременное стрем-

ление к обобщению выразилось в попытке окончательного представления всей греческой жизни соединить в одно государство и спаять одною цивилизацией восток и запад; но были ли тогда известны все изобретения, которыми связуются ныне самые отдаленные страны земного шара? Была ли возможна такая связь до появления христианства, при существовании таких исключительных и гордых своею исключительностью народностей? Македонский герой смело, но бесплодно рассек загадочный узел, который назначено человечеству распутывать вековыми усилиями, и обломки европейской азиатской монархии исчезли без следа; но фантастическая тень Александра и поныне встречает европейца в самых отдаленных углах западной Азии, в Индии, и даже в самых недоступных ущельях индийского Кавказа, как завет героя к потомкам. История показала, что эта попытка была только увлечением гениальной юности европейского человечества, предсказанием его будущих подвигов, и это предсказание начинает сбываться в настоящее время, правда, не в таких блестящих легко объемлемых формах, но зато совершается безвозвратно, с непоколебимой прочностью.

Таким образом, прекрасные идеалы, созданные Грециею, не могли перейти в действительность, в которой все живет и движется в микроскопических частностях; но и развивать далее эти идеалы также было невозможно: они достигли крайней степени высоты и обняли весь мир. Должно было отказаться на время от высоких и общих взглядов, сдержать полет разума и приняться за трудную, тысячелетнюю работу: из бесчисленных частностей возвышаться до общего и мозаически наполнять обширные, но пустые сферы этих огромных образов, остающихся верными для всех веков. Древние мыслители были забыты надолго, стали даже непонятны сузившемуся смыслу потомков (их приняла и сохранила пылкая фантазия араба); дух дробления и подразделения, царствовавший так долго в общественной жизни Еропы, кончив там свое дело, перешел

в науку и раздробил ее на множество частей, повидимому несоединимых.

Все эти отдельные отрасли науки, надолго позабыв свое близкое родство, стали преследовать каждая свою особенную цель и то поддерживая друг друга, то возбуждая взаимною враждою засыпающие силы, шли, хотя бессознательно, но неутомимо, к одной и той же цели — сознанию мира, как одного живого организма. Бэкон сделал смотр всей этой многочисленной фаланге наук, выступивших на борьбу с скрытностью природы, и если, с одной стороны, он был огорчен нестройностью этой фаланги, отсутствием в ней общего плана и враждою отдельных ее частей, то, с другой — он понял всю огромную силу этой массы отдельных, так сказать, эгоистических стремлений и указал ей вдали на победу.

Но система Бэкона, в которую он строит как существовавшие тогда, так и проектированные им науки, имеет одну только внешнюю связь, необходимую для того, чтобы они могли поддержать друг друга взаимно и предохранять себя от односторонности и заблуждения: внутренней связи, связи предмета, которая только и может слить все науки в одну, бэконовская система не имеет, хотя и знает ее необходимость.

Влияние Бэкона на науки было велико; оно не простиралось до того, чтобы заставить их смотреть друг на друга, как на части одного целого, стремящегося к одной цели и успевающего по одним законам: такому взгляду предназначено было развиться в настоящее время. Но, в продолжение этого длинного периода разделения и борьбы, когда горизонт знания, повидимому, так сузился, человеком не раз овладевало нетерпение, заставлявшее его то горько сомневаться в разуме, то забегать вперед и, на основании немногих данных, создавать фантастические образы, иногда полные величия и силы, но всегда туманные и слабо очерченные; таковы картины природы Спинозы, Гегеля, Шеллинга, Окена... Несмотря на

всю свою красоту и силу, они далеко не удовлетворяют практическому требованию нынешнего человека и не переходят в его убеждение, а безмолвно им отвергаются. Такие преждевременно рождающиеся образы, созданные гениальными фантазиями без особого усилия из одного внутреннего самосозерцания, только раздражали тружеников науки, которые, преследуя, шаг за шагом, более близкие к ним цели, не видели их связи с тем, что им казалось дерзкими и пустыми созданиями праздного воображения. Вот откуда родился тот вековой спор идеи и опыта (как будто они могут существовать друг без друга), отголоски которого с успехами опытных наук слышатся все реже и нелепость которого становится все очевиднее. Настоящий период наук характеризуется именно тем, что все они начинают быстро снимать неприступные грани, отделявшие их друг от друга и от общего человеческого мышления; все они выходят из своих таинственных и так долго замкнутых храмов на оживленную арену общечеловеческого развития и, освещая друг друга, далеко расширяют общий горизонт сознания. Всех их увлекло практическое направление века: силясь сделаться популярными, они заговорили одним общедоступным языком, — и стали быстро сближаться. Философы, оставив отвлеченности, стараются говорить фактами истории и естественных наук; история и науки юридические, вникнув глубже в законы развития и существования общественных организмов, открывают в них глубокий философский смысл и, начав с фактов, доходят до одной философской системы; естественные науки, которым не удалось приобрести действительной популярности одним красословием в описаниях, приобретают ее теперь подробнейшим физиологическим анализом, который невольно приводит их к той же общей системе, скрывающейся в организмах природы и в организме истории — в организме мира. Контуры этой величественной системы мира начинают мало-помалу разоблачаться из покровов облекавшей их

тайны, и теперь уже мы можем указать по всем отраслям наук на несколько таких сочинений, которые богатством и новостью своих фактов, глубиною и отчетливостью своих исследований, остроумием своих опытов не могут не заслужить уважения у самых закоренелых приверженцев чистого опыта, несмотря на то, что в этих фактах, исследованиях, опытах развивается мысль, и даже — отвлеченная мысль. И, как будто в ответ на слишком смелые фантазии философов природы и философов спекулятивной методы, естественные науки, в лице своего гениального представителя, отвечали сведением в одну систему всего добытого ими достояния. А Гумбольдт, в своем «Космосе», старается представить целостную систему мира, насколько эта система поныне раскрылась глазам человека. Устарелые поклонники чистого опыта напрасно силятся видеть в «Космосе» какую-то нелепую провокацию опыта против мысли, напротив, в этом сочинении опыт, хотя уже не в первый раз, но с большею,чем когда-либо, силою входит в область мышления и доказывает, как плодовито для самого опыта такое обобщающее направление. В «Космосе» Гумбольдта мы видим попытку создать философскую систему естествознания, положив ей в основание объективное начало: мир в его целости, и, притом, создать, не удаляясь от опыта и наблюдения далее того, на сколько станет простого рассудочного умозаключения. Любопытно и поучительно сравнить последние творения отвлеченного мышления и это, пока, окончательное слово наук опытных, чтобы видеть, как они далеки еще друг от друга, насколько образы, созданные чистым мышлением, слабы и туманны, а содержание, подаваемое опытом, бедно и грубо, и как далеко еще и покрыто туманом то обширное море, где сольются, наконец, эти две полные реки, так долго и плодовито соперничавшие в своем быстром течении.

Мы не можем оценить, какое влияние оказало направление, так давно проводимое А. Гумбольдтом (и

его сподвижниками по предмету и направлению), на естественные науки; но для наук географических это влияние неоценимо важно и в высшей степени плодовито. Вот что говорит Риттер об этом влиянии: обозначивши в общих выражениях источники, которыми он пользуется в своем сочинении, и предоставивши себе заняться ими подробнее впоследствии, Риттер продолжает:

«Мы сделаем здесь исключение для одного, единственного в своем роде, всемирного путешественника и приведем еще раз имя А. Гумбольдта, потому что без этого ученого, соединившего в себе знания целой Академии с такой глубиной мысли, для которой открыты основы всех явлений, это сочинение («Сравнительное землеведение») никогда не получило бы необходимого единства и не достигло бы своего выполнения.

Собственные труды А. Гумбольдта и те идеи, которые он возбудил и распространил по всей образованной Европе, дали необыкновенное развитие системе всеобщего сравнительного землеведения. Причина такого влияния, как кажется, заключается вообще в том, что Гумбольдт, проникнутый духом древности и обладая математическою методою, провел эту методу через все области естествознания — от физики до астрономии и от геологии до физиологии, и внес ее сознательно в созерцание мира и его целости. Его увлекала не одна материальная, но также и другая, не подверженная измерению, сторона природы в ее еще скрытой для нас органической жизни и даже в ее всемирно-исторической связи: он стремился проследить повсюду явления этой таинственной жизни и проникнуть в ее законы. .

Такая связь и такое дружелюбное сближение всех отраслей науки с живой природой, по двум ее великим путям, вдвое расширили предел знания и придали ему новую красоту.

Но это влияние одного человека, который, по его собственному сознанию, действует не один, но в кругу современников, принимается здесь как влияние пред-

ставителя того состояния науки, которого достигла она в последнее время и которое подготовляет великие средства грядущим столетиям.

В прежнее время занимались более отдельными явлениями — отдельными формами и фактами, оставляя каждое в его среде и в его царстве, в его отделе; характеристика современной науки заключается в том, что она, стремясь ко всеобщему, изучает самые крайние пределы различных областей явлений, их соприкосновение и взаимное проникновение одних другими, их взаимную связь в отношениях пространственных, геометрических, физических, органических и духовных и ищет средства слить все эти явления в одно живое, органическое целое *.

Такое общее направление настоящего столетия выразилось еще с большей силой в исторических науках, в их стремлении представить все человечество, всех стран и веков, как одно разумное органическое создание, развивающееся в плодовитой борьбе духа и природы. Здесь не место разбирать, насколько успехи собрания исторических материалов—филологии, археологии и этнографии сделали возможным появление такой всемирной истории в настоящее время, а также и исчислять те многие исторические сочинения, которые, несмотря на специальность своего предмета, проникнуты мыслью о единстве развивающегося организма человечества: но мы не можем указать ни на одно общее сочинение по всемирной истории, которое решило бы этот вопрос сколько-нибудь удовлетворительно. Самое поверхностное знакомство с попытками философской истории, появлявшимися изредка от новой науки Вико до философии истории Гегеля, может убедить всякого, как далеки еще эти попытки от той цели, к которой стремятся. Небольшое количество собранных в них фактов связывается новыми, но более остроум-

* Einleitung zur allgemeinen vergleichenden Geographie. S. 60—62.

ными, нежели глубокими, мыслями. Философия истории Гегеля вместе с ее философией права могут быть названы самыми слабыми его произведениями: в них физиологический анализ общественного организма касается только одной поверхности предмета, не проникая в глубину его, и работает не над фактами, но над теми представлениями, которые создал себе сам писатель: фактическая же сторона этих сочинений совершенно ничтожна. Задача «Всемирной географии» в этом отношении — насколько это может быть определено вперед — состоит в том, чтобы представить весь земной шар и обитающее на нем человечество как целостный живой организм и плод жизни этого организма, всемирную цивилизацию, в настоящем их состоянии. Такая «Всемирная география», во всей полноте своей, может явиться только как результат всемирной истории и будет, по выражению немецких статистиков, остановившейся историей. Но мы знаем, что изучение настоящего часто не только предшествовало изучению прошлого, но и открывало к нему дорогу, и уверены, что будущий историк Востока нигде не найдет такого богатого источника к раскрытию прошедшей жизни Азии, как в книге Риттера. В приложении к Азии это замечание особенно справедливо: она давно уже остановилась в своем развитии и живет по неизменяющимся законам; так что настоящий быт ее народов может служить лучшим объяснением к прошедшей, часто темной и загадочной, их истории.

Само собой разумеется, что такое изучение земного шара возможно только для того, кто видит в нем не одно создание случая или произвола, а ищет разумных законов в его организме. Здесь мы считаем не лишним привести слова самого Риттера, выражающего свои убеждения в этом отношении:

«При взгляде на земной глобус, как ни ничтожно и, следовательно, несовершенно это изображение нашей планеты, вид его, соединяющий в своей шарообразной

форме бесконечное разнообразие, поражает воображение и пробуждает в нем множество идей. Прежде всего нам кидается в глаза величайший беспорядок, в котором перемешаны между собой разорванные куски земных и водных пространств, — беспорядок, не имеющий ни малейшего следа симметрии. Мы не видим в этом изображении ни математических прямолинейных фигур, ни геометрически построенных пространств, ни рядов прямых линий, ни точек. Одна математическая сеть, перенесенная наукою с неба и брошенная ею на землю, дает нам на первый раз искусственное мерило для этого смешения, не имеющего ни меры, ни порядка: даже оба полюса суть только математические точки, заимствованные из круговращения земли, место которых поныне остается неизвестным в действительности. В формах земной поверхности мы не находим той симметрии зодчества, которую глаз наш так привык встречать в созданиях человека, ни даже той симметрии, которая существует в организмах растительного и животного царств, в противоположности между верхом и низом, между основой и верхушкой растения, между левой и правой стороной головы и туловища в животных и людях.

Такое явление, лишенное совершенно всякой симметрии и не имеющее, повидимому, никаких законов, трудно начертывается в памяти; и наблюдатель скоро бы отвернулся от такого хаотического и, повидимому, бессмысленного зрелища, если бы приуроченные каждой части названия и другие условные средства не помогали его памяти. Вот причина, почему до сих пор наука преимущественно занималась частностями этого хаотического целого, а не общим его обзором, почему главное содержание географии составилось из описания частей и почему, наконец, она остановилась на перечислении и переименовании подробностей, а не возвысилась до тех общих отношений и законов, которые одни дают науке единство и целость».

«Но, — говорит Риттер далее, — как бы ни было совершенно и окончено создание человеческого искусства, сколько бы ни было в нем красоты, симметрии и гармонии как в целом, так и в самых мельчайших частях, ближайшее наблюдение всегда откроет в нем отсутствие внутренней органической связи и обнаружит всю грубость его состава. Такое несовершенство, такую неоконченность создания замечаем мы в тончайших тканях, и в превосходнейших часах, и в самых лучших картинах, и в гладчайшей поверхности полированного мрамора и металла.

Не то мы видим в творениях природы. Чем глубже проникает в них наблюдение, опыт и микроскопический анализ, тем скорее видимый хаос, царствующий в их внешнем образе, разрешается или в тончайшие нити паутины, в дивную ткань растительной клетчатки, в жилы и нервы животного организма, или в правильные кристаллические формы неорганических существ, почти незаметные для невооруженного глаза. Такая противоположность творений искусства и творений природы проявляется не только в одной материальной тонкости частиц, но и в самом величии и глубине той мысли, которая развивается природой в организации частей и в распределении между ними общей деятельности. Физиологический анализ открывает в природе взаимные отношения сил, систему и разумные законы, которые и положили разумное основание отдельным наукам: химии, физике, оптике, механике и т. д.

Неужели же внешний вид самого величайшего из всех ближе нам известных созданий природы не подчиняется общему ее закону? Неужели мы не можем отыскать той же правильности в нынешнем виде нашей планеты, хотя покуда знакомы только с самою внешнею ее оболочкой, да и то только поверхностно? Неужели настоящий вид этого громадного тела, части которого представляются с первого взгляда разорванными и перемешанными какой-то слепой, дикой силой, есть произведение случайной, хаотической борьбы плуто-

нических и нептунических сил, — борьбы, лишенной всякой системы и не имевшей никакой цели, из которой возникло это беспорядочное целое, смущавшее наш дух при первом взгляде на него? Возможно ли соединить такое происхождение земного шара с появлением на нем органической жизни, с его постепенным населением, с судьбами человеческого рода и его развитием в истории? и как могло бы такое хаотическое создание случая стать земным поприщем и оружием исторического развития человека?

Если каждое растение развивается, цветет и приносит плоды только в свойственной ему почве, если каждое животное родится и живет только в родной стихии, и вне ее погибает: то как же человек и развитие человечества, совершающееся тысячелетиями и в миллионах индивидов, могло бы быть замкнуто в сферу, созданную бессмысленным произволом, возникшую из борьбы враждебных антипатий слепых сил природы? можем ли мы думать, чтобы человечеству назначена была в удел родина, не находящаяся, несмотря на свое неисчерпаемое богатство, ни в какой связи с потребностями его вечного развития — случайный слепок неорганических тел, брошенный в вихрь мирового круговращения, предоставленный случаю и лишенный всякой живой способности организоваться? неужели одному земному шару отказано в той образующей силе внутреннего организма, которым одарено все существующее на нем?»

А немного далее Риттер говорит:

«Чем более мы изучаем поверхность нашей планеты и внутреннюю связь ее частей, кажущихся разбросанными произвольно, чем глубже вникаем в их природу, тем яснее становятся для нас высшая гармония и симметрия, и прогрессивное, разумное развитие этих пространственных отношений развертывается перед нами естественными науками и историею. Для этой цели многое уже сделано астрономическим определением местностей, геодезией, гипсометрией, геогнозией, метео-

рологией и физикой; но если в решение этого вопроса войдут также естественные произведения стран и история их обитателей, то он будет решен еще основательнее»*.

Влияние форм земной поверхности на развитие человечества давно принято в науку как факт, не подверженный сомнению; даже разумность этого влияния была доказываема многими историками и философами: Гегель посвящает на эти доказательства несколько страниц своей философии истории и антропологии, последователи Шеллинга стараются объяснить ее таинственное влияние; но везде оно раскрывается только в самых общих, самых крупных чертах. Такие соображения, выводимые из формы материков, величины береговых линий, протяжения горных цепей, отношения континентов к полуостровам и островам и т. п., давно уже вошли в науку, и Риттер сам в одной из своих монографий посвящает им несколько страниц. Но таких умозаключений слишком мало; они слишком общи и касаются только самой поверхности исторических происшествий, не проникая в их внутреннее содержание; они слишком грубы, чтобы из них могла раскрыться та связь, свитая из бесчисленного числа нитей, которая соединяет природу земли с историей человека. Большая часть географических учебников, как бы ни были они многотомны и как бы ни было полно их содержание (Беркгауза, Рона и др.), заключают эти выводы только в общей своей части: авторы их, упомянув о разумном влиянии природы на человека, считают себя вправе не заниматься более этим влиянием и начинают, по произвольно принятой системе, излагать отдельные страны, не заботясь ни о том, чтобы из отношений этих стран вывесть разумные законы, ни о том, чтобы в природе их раскрыть их внутренний исторический смысл. Напротив, другие писатели (статистики) вдаются в противоположную крайность:

* Ibid., S. 206—211.

избирая какой-нибудь специальный предмет, какую-нибудь отдельную страну Европы и, зная, конечно, наперед ее историю, находят глубокий исторический смысл в каждом ничтожном, пересыхающем ручейке, в каждом горном проходе, доступном только для охотников и пастухов; так что природа является у них царицей, а человек только исполняет ее веления. Вот этот-то недостаток географических сочинений, который, с одной стороны, делает их сборниками фактов, не имеющих внутренней связи, а с другой — лишает их выводы всякого кредита, старается исправить Риттер в своем сочинении. Его идея о влиянии природы на историю гораздо глубже: он видит в этом влиянии не приказ и подчинение, но соединение разумных сил духа и природы, направленных к одной цели, начертанной провидением. Вот что говорит он, по этому случаю, в одном из томов своего «Сравнительного землеведения», пораженный различием климатов, произведений и рас, возникающих на границах Индии и Ирана:

«Природа земли и природа человека соединяются между собой и переходят одна в другую в тысячах созвучных тонов и красок, но подчиняются третьему, высшему, которого мы не понимаем вполне, а только предчувствуем в гармонии целого и в индивидуальности особенного. Это третье выступает иногда с величайшей ясностью в изменении явлений и показывает нам, что за этим миром скрывается еще другой» *.

Самое сильное влияние на человека оказывает природа земного шара не крупными своими формами (очертаниями частей света, направлением рек, гор и т. п.) и не одиночными произведениями своими (как бы важны они ни были в жизни и промышленности народа), но той идеею, по которой эти одиночные явления, сохраняя свои индивидуальные особенности, строятся в

* Die Erdkunde von Ritter, 1838, 8 Th., S. 210.

одно гармоничное, художественное создание — типическую страну земного шара. Эта-то основная идея, которую данная страна развивает в бесчисленные подробности, составляет истинную ее характеристику и в ней-то скрывается задача, выполняемая этой страной и ее народом в общей жизни организма земного шара и в истории человечества.

Вот почему Риттер в своем «Землеведении» не занимается общностями и не выводит из форм страны решительных приговоров судьбе ее обитателей, но также и не теряется в изложении частностей: он старается, независимо от всякой теории, угадать естественную гармонию частей и объяснить ее всеми известными ему данными, находит ли он эти данные в природе страны, или в природе ее жителей, или в их истории. Он старается, излагая части, группировать их так, чтобы из них возникло одно целое, полное географического и исторического смысла. Мы будем еще, при удобном случае, говорить о методе, употребляемой Риттером в его «Землеведении», а теперь предварительно постараемся решить вопрос: возможно ли, при настоящем состоянии наук естественных, географических и исторических, полное решение задачи, начертанной им в «Введении», и преимущественно в отношении к Азии, потому что этой части света одной посвящены все доныне вышедшие томы сочинений Риттера, исключая первого, в котором излагается Африка.

Само собой ясно, что главная основная мысль, вокруг которой постоянно должны обращаться все положения такой «Всемирной географии», лежит в отношениях различных, последовательных (по развитию) явлений природы между собой и в отношении всей сферы этих явлений к природе человека. Здесь одно явление должно быть разумным следствием другого, вытекать из него, как необходимый математический результат, здесь недостаточно одних заключений (хотя бы даже они были изложены с остроумием Монтескье), основанных на нескольких примерах, а не на законах природы,

раскрытых опытом и анализом, и не на законах духа человеческого, выведенных философиею и историею. Но мы должны сознаться, что результаты, добытые естественными науками, по настоящее время далеко недостаточны для объяснения всех отношений, которые должны войти во «Всемирную географию».

Покуда для нас ясно только то, что между положением на земном шаре данной страны под известной широтой и долготой и ее пластической формой, созданием ее геологической истории, действительно существует необходимая, разумная связь. Для нас ясно также, что из этих двух данных, условливающих друг друга, — положение страны под известной широтой и долготой, между известными водными и земными пространствами, и ее пластической формой — выводится верно, как математический вывод, минералогическое, растительное и животное богатство страны, и что из взаимного проникновения всех этих отношений возникает общий характер страны: небо, воздух, климат, ландшафты. Для нас ясно также, что человек, погруженный в эту магическую сферу, полную гармонии, где из тысячи разнообразнейших форм дышит на него одна и та же мысль, не может не отразить ее в своем характере, который, будучи общ всем обстоятельствам этой страны, делается характером народа. Для нас ясно, что народ еще более и вернее, чем индивидуальный человек, выражает в себе мысль, скрытую в гармонию природных явлений его страны: он впитывает эту мысль столетиями, передает ее, в вечном развитии, из поколения в поколение и выражает в своих исторических деяниях; потому что действия народа, проистекая из его внутренних, вечных законов, менее, чем действия одного человека, зависят от произвола и случая. Для нас ясно, что народ в своей особенности есть не более, чем полнейшее, духовнейшее выражение мысли, развитой в природе его страны. Для нас ясно все это, но наши средства далеко еще не достаточны для того; чтобы провести все эти бесчисленные нити, не разры-

вая их, провести от периферии видимых явлений к центру невидимого начала, отделенного от нас и целой вечностью событий, и всей неисчерпываемой глубиной каждого явления природы и духа.

Геология добыла уже несколько твердых законов, провела несколько черт, обозначающих главные направления постройки земного шара, показала взаимную зависимость главных горных хребтов, исследовала в подробности геологическую историю некоторых (весьма немногих) стран; но еще далеко то время, когда каждая страна, каждая горная цепь, — каждая самостоятельная форма земной поверхности найдет в науке объяснение своего внешнего вида и внутреннего состава, когда каждая из них примкнет к целому, созданному по одной мысли. Успехи метеорологии значительнее: главные законы жизни атмосферы, зависящие от положения страны и ее пластического вида, уяснены достаточно; но зависимость растительного и животного царства от атмосферы и почвы, несмотря на огромные успехи, сделанные в этом отношении органической химией, далеко еще не раскрыты вполне и далеко еще то время, когда ботаническая география найдет в ней объяснение всех собранных ею явлений; да и самая эта география только начинает создаваться. Влияние же природы на образование животных организмов и человеческих рас и племен и вовсе не раскрыто.

Но не только одно несовершенство естественных наук, но и недостаточность самых географических сведений составляет непреодолимое препятствие для полного решения задачи, избранной Риттером. Правда, никогда еще знание поверхности земного шара не обнимало такого огромного пространства, никогда еще не было рассеяно на нем такого количества наблюдателей, способных передать науке результаты своих наблюдений, никогда еще самые отдаленные страны не сближались до такой степени, как в настоящее время; но многие, чрезвычайно важные по своему положению, местности остаются и поныне совершенными terra incognita. Для

доказательства этого возьмем несколько примеров из самого сочинения Риттера.

Как слабы, поверхностны и почти ничтожны наши сведения о средине Старого Света, средине, столь важной не только по своим геологическим, но и по своим историческим явлениям: много ли знаем мы о Восточном Туркестане, Тибете, Тианшане, Куенлюне и наконец о самом Гималае. Несколько дневников путешествий прокладывают узенькие тропинки через эти огромные пространства; несколько сухих и бесцветных китайских описаний дают самое скудное понятие об отдельных частях внутренней Азии; а между тем в ней заключаются величественные явления природы, остатки бесчисленных племен и, может быть, остатки древней жизни человечества; по крайней мере — туда ведут нас священные предания Китая, Индии и Ирана. Эта огромная страна занимает средину азиатского континента и связывает в одно целое все его отдельные части, которые так далеко отстоят друг от друга и так поражают своей противоположностью.

Наконец, и исторические науки не могут отвечать на все вопросы, рождающиеся при таком изложении географии; и в особенности это замечание относится к Азии. История Азии и этнография ее неполны, отрывочны и лишены всякой связи; тогда как все новые открытия наводят на какую-то связь преданий и цивилизаций, по крайней мере, главнейших азиатских народов. Возьмем для примера одну из самых важных сфер азиатской жизни — сферу религиозную, в которой отдельные государства и племена Азии, отделенные друг от друга и необозримым пространством и неодолимыми преградами гор и пустынь, часто соединялись в одно целое и подчинялись одной идее, одному событию, совершившемуся в какой-нибудь точке этого неизмеримого тела. Следы таинственного шаманства, философские и исторические основы которого до сих пор остаются тайною, встречаются еще и теперь на неизмеримом пространстве: на берегах Охотского и

Ледовитого моря, в степях Средней Азии, на берегах Вайгача, Каспия и Волги, в лесах Урала и в ущельях Гималая, в Индии, Манчжурии, Китае и на японских островах, и везде в таких сходных и притом условных формах, что не может быть никакого сомнения в их историческом родстве и распространении из одного центра. Идея буддизма, родившаяся в голове одного человека, проникла на юг до Цейлона и на острова Индийского Архипелага, на север за Балхаш, на восток до Японии и на запад до Волги и, разлившись по центральной степи, усыпила навсегда разрушительную энергию ее диких обитателей. Нельзя не согласиться, что, оказывая такое влияние на различные народы, различные племена, даже различные расы, буддизм должен заключать в себе нечто обаятельное вообще для азиатского человека; тем более, что мы решительно не знаем примера, где бы буддизм распространялся оружием; а между тем не только философская основа буддизма и его отношения к религии Брамы не раскрыты вполне; но и различные догматы его, в которые развился он, несмотря на отрицание, по началу своему, всяких определенных догматов, не приведены в известность, даже самое историческое появление буддизма и распространение его покрыты глубоким мраком и составляют предмет самых противоположных гипотез. Еще в большей степени остаются неизвестными история религии Зороастра и тех религиозных преданий, которые, кажется, уже утратили своих представителей, но остались в религии евреев, магометан, в религии Ирана, Индии и даже Китая, и в которых последователи Шеллинга думают видеть остатки какого-то первобытного сомнамбулистического совершенства азиатского человека.

Влияние истории Азии на историю Европы высказывается в таком множестве явлений, что невозможно сомневаться в действительном существовании такого влияния; но далеко еще то время, когда вполне раскроется путь этого влияния, которое сделало из Европы вто-

рую ступень в развитии человечества и дало истории Азии смысл одного великого исторического периода, выполнявшего свое назначение.

Даже взаимное влияние соседних азиатских народов, каковы, например, жители Ирана и Индии, только в настоящее время, благодаря неутомимым трудам филологов, начинает раскрываться; а связь, необходимо существовавшая между двумя великими цивилизациями Востока, Индии и Китая, скрыта еще совершенно в недоступных долинах восточного Гималая и Хухунора.

Мы с намерением выставили все эти препятствия, стоящие на пути к разрешению задачи, избранной Риттером, чтобы легкомысленно не требовать от добросовестного труда германского географа того единства мысли, доведенной до ясности сознательной идеи, которого она не может представить в настоящем состоянии наук. Риттер не хотел подводить сродные явления под одну теорию, которая не могла бы быть вполне доказана фактами; но в то же время он не мог не указать читателю на знаменательное сродство многих явлений — сродство, невольно поражающее воображение и уносящее наши мысли гораздо далее того горизонта, который поныне освещен солнцем науки.

Риттер сам вполне сознавал невозможность совершенного достижения избранной им цели.

«Если бы, — говорит он, — землеведение хотело возвыситься до степени философии природы и, начиная с основной идеи организма земного шара (сомневаться в котором, впрочем, нет никакой достаточной причины), пыталось систематически развить проявление всех ее частей, то оно, при своем слишком неполном и отрывочном состоянии, заблудилось бы в бесконечности, как заблудились в ней многие геологические системы; потому что землеведение, как наука историческая, должно преодолеть много препятствий, пока будет в состоянии произвести то творение, обладание которым должно быть предоставлено будущим поколениям. Но

еще менее полезно будет для науки землеведения остановиться на том наследственном способе, усвоенном географическими сборниками, по которому принято исчислять в общей сумме и в совершенно произвольном порядке произведения всех царств природы каждой страны, каждой произвольно ограниченной области, их употребление и приложение: такое перечисление и скучно, и бесполезно *.

«Если первая метода и не может исчерпать всей полноты содержания природы и, начиная с слишком общих и несовершенных предположений, ведет к ошибочным и неудовлетворительным результатам, так что для соблюдения последовательности должна иногда извращать факты, — то вторая метода есть один аггрегат фактов (Aggregat-Lehre), дело одной памяти. В ней истинное содержание явлений природы остается неизвестным, несвязанным и истинные причины и условия их нигде не выходят наружу. При такой методе невозможно никакое сравнение явлений поверхности земного шара, никакое постепенное разоблачение их внутреннего содержания, никакое открытие, плодовитое для будущего исследования. Она не знакомит даже с сущностью своего предмета и с его отношением к стране, к человеку и его потребностям и к целому земному шару. Следуя первому пути, смелому, но исполненному мысли, мало-помалу, после многих заблуждений, посредством критики истина откроется; следуя второму, наука землеведения будет оставаться на одной и той же точке материальной ограниченности и, как это было и до сих пор, ни на шаг не подвинется вперед, а будет довольствоваться наружным удовлетворением самых близких, ничтожнейших потребностей знания»**.

* Здесь Риттер развивает эту мысль только в отношении изложения произведений природы; но, конечно, она еще по большему праву может быть приложена к этнографической и исторической части географии.

** Einleitung zur allgemeinen vergleichenden Geographie. S. 190 и 191.

Таким образом полное решение задачи, которую Риттер дает землеведению, невозможно при нынешнем состоянии наук, результатами коих должна пользоваться география при рассматривании своего предмета; но стремление к решению ее, как показал Риттер, не только возможно, но и в высшей степени плодовито.

Многим, может быть, покажется слишком смелым наше мнение; но мы не затрудняемся сказать, что Риттер первый внес в науку идею азиатского континента как одного целого тела природы, созданного по одной мысли, для одного назначения и систематически развитого в своей части. Здесь не место входить в подробный разбор, насколько эта великая цель, достижение которой выбрано автором единственным предметом знания всей его долгой и трудолюбивой жизни, достигнута им в его бессмертном творении.

Скажем только, что эта цель достигнута им достаточно для того, чтобы наука, возникшая из незыблемой и плодовитой почвы, данной ей Риттером в своем «Землеведении», могла твердою стопою идти по проложенной дороге. Скажем еще, что Риттер в своем «Землеведении» дает гораздо более, нежели обещает его «Введение». Правила, которые он чертит сам себе в этом «Введении», как ни глубоки мысли, на которых они основываются, далеко не исчерпывают всех трудностей, побеждаемых географом в каждой строчке всех бесчисленных страниц шестнадцати томов его географии. Эти трудности могли уступить только тому, ни на минуту не ослабевающему географическому такту, источником которого может быть только один гений, не знающий узких правил и беспрестанно извлекающий из самого себя новые законы для своих действий. Вот почему читатель не найдет в «Введении», несмотря на несколько прекрасных и одушевленных страниц его, и тысячной доли той глубокой и увлекательной мысли, которая поминутно будет возбуждать энергию его души в бесконечной веренице бесчисленных фактов, развивающейся перед его глазами на страницах

бессмертного творения. Гений немецкого географа, несмотря на всю свою философскую глубину, а может быть именно по причине самой этой глубины, имеет неодолимое фактическое направление. Риттер не умеет иначе говорить, как фактами, именно потому, что всякая абстрактная концепция кажется ему слишком узкой для того, чтобы в ней мог вместиться тот бесконечный смысл, который чует душа его в явлениях природы и истории. Вот почему Риттер всегда удерживается от узких логических определений, вот почему и все идеи его, высказанные отвлеченно, скорее уносят нас в какой-то бесконечный мир разумных соотношений, нежели передают нам какое-нибудь строго определенное понятие. Вот почему мы предостерегаем читателей «Введения», чтобы они по этим немногим отрывочным, а иногда слишком темным и неопределенным фразам не заключили о том глубоком наслаждении, которое ждет их при чтении «Географии» Риттера, и о той душевной теплоте, которая веет с каждой страницы ее. Если бы мы смотрели на это собрание небольших рассуждений о разумных географических предметах, как на отдельное сочинение, то имели бы полное право назвать его самым неудачным из произведений Риттера. Но мы высказали уже выше настоящее значение этих отдельных монографий как необходимых, хотя не вполне удовлетворительных, приготовлений к чтению «Сравнительной географии». С этой точки зрения «Введение» имеет несомненную важность, и г. Фролов прекрасно поступил, дав им место в своем «Сборнике». Они облегчат несколько чтение «Географии» Риттера, когда она появится на русском языке.

Теперь нам остается сказать несколько слов о переводе сочинений Риттера и Гумбольдта.

Мы вполне понимаем трудность перевода ученых немецких сочинений на русский язык, а тем более таких сочинений, которые, прокладывая себе новую дорогу к науке, принуждены создавать и новые формы в языке. Риттер не только положил основание географии, но и

основание географическому языку. Новые термины, к составлению которых так способен немецкий язык, появляются в сочинении Риттера на каждой странице и обличают в авторе как глубокие филологические познания, так и громадную философскую подготовку. Такие термины трудно передавать на наш язык сжатыми, подстрочными фразами, не объяснивши предварительно их значения, коренящегося в характере немецкого языка и в том общефилософском языке, который выработала себе Германия столетними усилиями. Такие термины или надо переводить перифразами или соответствующими терминами, если они могут быть так составлены, чтобы ими не оскорблялся русский слух и чтобы они не противоречили духу нашего языка. К таким терминам мы не можем причислить многих слов, вновь изобретенных переводчиками, поместившими свои, впрочем чрезвычайно добросовестные, труды в «Сборнике» г-на Фролова. Таковы например: «Пищевые средства» (стр. 17); «повислодремлющие листья» (стр. 19); «красиво-пятнистый ягуар», «когда разряжают свои, богатые нервами, органы враз» (стр. 20); или, например, славянское выражение — «Река Амазонка длиннейшая всех рек» (стр. 27); «большая прохладность» (стр. 29); «служившая основой так многим другим» (стр. 42) и тому подобные выражения; тем более, что такое нововведение в приведенных случаях совершенно бесполезно.

Что же касается до новых слов, созданных, как будто, по необходимости, то мы можем сказать, что на такое создание должно решаться весьма осторожно, чтобы не создать слова, раздирающего слух или не имеющего никакого народно-философского смысла, каковы, например, употребляемые в «Сборнике» слова «довременность» (Vorzeit), «вылучивание» (Ausstrahlung) тепла», «постоянное следение», и т. п.

Но вот еще заметка, касающаяся более одного перевода второй статьи «Сборника». Этот перевод сделан с чрезвычайной добросовестностью и почти буквально;

но эта-то буквальность и повредила ему: в ней совершенно потерялась та красота риттеровского языка, которая проистекает единственно из красоты его мыслей. Нам кажется, что переводчики «Введения» поступили бы гораздо лучше, переводя не так буквально, даже пропуская некоторые эпитеты и вводные предложения, но стараясь произвести на душу и ум читателя то же самое впечатление, которое производится чтением оригинала. Этого бы мы не посоветовали при переводе какого-нибудь сочинения Канта; но смело советуем при переводе Риттера. Переводчик, познакомившийся хорошо со всеми сочинениями Риттера, а не с тем только, которое он переводит, проникнутый вполне тем географическим тактом, который с силой дышит на него из каждой страницы «Географии» Риттера, — может свободно распоряжаться с его фразами и наверно найдет в области русского слова приличную форму для полного и точного выражения риттеровской мысли, хотя эта форма будет совершенно непохожа на ту, которая употреблена в оригинале.

Не нужно доказывать, что каждый язык имеет свой особенный характер, сообразный характеру и истории того народа, который создал и развил его, и характеру той особенной природы, для объяснения которой он создан. Каждый язык имеет свою самостоятельную идею о красоте речи, в которой выражается душевная красота народа. Это различие языков не делает, впрочем, невозможным совершенную передачу созданий науки, общего достояния человечества; но дело в том, что если наука достигла высшей своей ступени, той, которая граничит уже с поэзией и вдохновением, — той, с которой познакомили нас Риттер и Гумбольдт, эти два окончательные результата германской науки, достигшей в них всемирных общепоэтических форм, — то на переводчике таких созданий, кроме обязанности передать верно и вполне мысли оригиналов, лежит и другая не менее, а может быть и более важная обязанность. Он должен придать этим мыс-

лям ту силу, которую придали им авторы, почерпнув ее из обильного источника восторга, порожденного в них созерцанием стройности и красоты мысли, высказывающейся в его явлениях. Эта сила не переводится, но должна быть почерпнута переводчиком в том восторге, который ощущается им при чтении таких творений, и передана им не в чуждых формах, заимствованных из чуждого языка, но в тех родных нам образах, которые рождаются сами собой, когда душа наша потрясена глубоко. Чуждые выражения, чуждая нам постройка речи не только не передает поэтической силы переводимого произведения, но ослабляет и убивает ее окончательно. А эта сила составляет главную часть таких произведений, каковы произведения Риттера и Гумбольдта, и переводчик менее повредит им, опустивши какой-нибудь эпитет или даже целое вводное предложение, нежели обессиливши их каким-нибудь чисто немецким периодом.

В отношении немецкого языка, составляющего с русским совершенную противоположность, высказанное нами замечание сохраняет всю свою силу. О с т о р о ж н о с т ь, р а с с ч и т а н н о с т ь, особенного рода терпение составляют отличительную характеристику немецкого языка, совершенно невозможную для передачи на русский. Может ли, например, русский человек, сказавши половину глагола, лишенную смысла, говорить в продолжении пяти минут, терпеливо дожидая конца речи, где должна быть поставлена вторая половина того же глагола, которая только и может объяснить весь смысл целого периода? Такая рассчитанность, такое терпение не свойственны ни русскому характеру, ни русскому языку. Другая особенная черта немецких периодов точно так же, как немецкого остроумия, состоит в том, что они любят, чтобы в них вдумывались — любят, так сказать, не быть понятыми с первого раза и испытывать терпение читателя или слушателя. Вот почему немецкие периоды наполнены придаточными, вводными и вставочными предложениями,

которые, так сказать, оттягивают окончательное разрешение смысла. Немецкий период, подобно расчетливому богачу, любит понемногу высказывать свое содержание, так, чтобы человек, прочитавши его, задумался и потом уже медленно и важно произнес свое одобрительное «хорошо!» Русский язык, напротив, сообразно размашистому характеру народа, сообразно размашистому разбегу русских полей, любит разливаться свободно, подобно сильному источнику, выбивающемуся широкой волною из недосягаемой глубины. Вот почему русский период допускает скорее множество прибавлений к главному предложению, нежели одно вводное, для которого мысль должна остановиться. Русское а в о с ь имеет глубокое значение не только в характере русского человека, но и в характере русского языка. Русский период точно так же выезжает на а в о с ь, как русский ямщик, пробирающийся по окраине горы, висящей над бездной, от которой у иностранца бы закружилась голова. И не должно думать, чтобы это а в о с ь было так нерассчитано, а потому и вредно: оно, правда, не основывается на мелочном соображении внешних возможностей и средств, но выходит из того могучего, хотя неясного сознания своей внутренней силы, которая невозможное делает возможным и отыскивает средства там, где их не мог отыскать самый расчетливый рассудок. Вот на это-то а в о с ь и надо было положиться и переводчикам Риттера: постигнув вполне мысль оригинала, они бы выбросили из памяти немецкие фразы и постарались найти в русском языке приличные выражения для возвышенных идей немецкого географа — а в о с ь бы и нашли.

Впрочем, мы должны отдать полную справедливость строгой добросовестности переводчиков, поместивших свои труды в «Сборнике» г-на Фролова. Если их переводы читаются не легко, то зато, кто прочтет их и вдумается в них хорошо, тот прекрасно познакомится с самыми высокими и с самыми поэтическими созданиями современной науки.

Желая предварительно познакомить читателей как с переводом, так и самим содержанием переведенных в «Сборнике» сочинений, мы считаем необходимым привести здесь одну страницу из «Введения» Риттера, так как с «Воззрениями на природу» Гумбольдта читатель уже познакомился в «Современнике».

Вот, например, что говорит Риттер о поэтическом влиянии родной природы на человека.

«Вообще вся земля, в целости и в отдельных частях своих, покрытых сушей и водами, в особых странах и местностях, где только искусство не сообщило ей совершенно нового вида, везде является собранием разнообразнейших естественных произведений. Мы по большей части представляем себе их бессознательно, в их естественных сочетаниях и связи, или замечаем в них отдельные группы и обособленные формы, которые должны везде прикидывать как образцы.

В своей связи, в местной своей группировке, в особенном своем распределении они для созерцания непосредственно представляют характеристику земных пространств, или особую природу каждой страны. Целостное инстинктивное представление этой особой природы оказывает сильное влияние на развитие и на внешнюю и внутреннюю жизнь даже самого грубого естественного человека. Это влияние до того могущественно, что именно отсутствие этой совокупности естественных отношений известного рода, со всем к ней принадлежащим, например, природы горной, или равнин, лесной почвы, степей, островов, морского прибережья, воздуха и т. п. как в теплых, так и в холодных полосах, отсутствие этих отношений, с которыми свыклась чувственно-духовная жизнь человека, как с настоящей своей стихией, может от ощущения неприятного и беспокойного довести до мучительной тоски по родине, в которой даже все существо человеческое разрешается в порыв и стремление. Таинственное очарование этого стремления оказывается обновленным в каждом ребенке; его не может разрешить никакое искусство, ни нау-

ка. И еще не решен психологически вопрос: не должно ли это стремление постоянно оставаться во всей культурной жизни, отрекшейся от природы, страшным ее спутником, даже и при высшем ее развитии, по крайней мере, на это, кажется, указывают многие явления в среде образованных народов.

Напротив, неограниченное пользование всей совокупностью естественных условий родины часто доводит энергию народов, которым оно беспрепятственно и вполне досталось на долю, до удивительной степени высоты; так что в других народах, в половину или совсем отрешившихся и удалившихся от природы, окруженных рукотворенным новым миром искусства, едва-едва заметны следы подобной энергии, — что они едва могут постигать ее чувством. Так, образованному европейцу не дано подобно индусу верить в ненарушимую чистоту пламени или речной волны; так ему же после столь долговременного предания математических истин из первобытных времен, уже невозможно разделять восторг первых мыслителей, открывших арифметические численные отношения. Влияние системы планетной природы в ее местном устройстве оказывает сильное влияние как на юношеское развитие каждого отдельного человека, так еще гораздо более на развитие целых племен. Не подлежит никакому сомнению, что это влияние природы, даже не говоря о всех других сопровождающих его действиях, необходимо имело важнейшие последствия для душевного и умственного преобразования внутреннего человека, равно как и для особного его проявления во внешности, в различных странах земного шара, через все столетия человеческой истории. Итак в этом, кроме племенного происхождения, заключается содействующее условие для развития народной индивидуальности вследствие влияния окружающей природы, которая в виде непроизвольных жизненных привычек явственно отпечатлевается на душе человеческой, и вместе с тем возбуждает в ней постоянно сообразную с местностью умственную деятельность.

Кочевой араб, с бродячей фантазией, наполняет пустынные необозримые пространства своей земли, равно как и своего вечно ясного, безоблачного неба, свободным, несвязным, бесформенным миром своих мыслей и вымыслов. Этим фантастическим миром он обязан вполне свойству своей родины, в которой его пламенно-деятельные ум и тело должны все добывать неутомимой борьбой. С другой стороны, обращенный в свой внутренний мир, оседлый, но как будто бы вросший в роскошную природу индиец по сю и по ту сторону Гангеса имеет свой мир вымыслов: его боги фантастически-теософически возникают из цветов, деревьев, по его понятиям ду́ши человеческие переселяются в животных. И он этим миром вымыслов также обязан своей природе, известному всеподавляющему изобилию удивительных и колоссальных форм растений и животных, — обязан каждому месту своей родины, во всех родах самых пленительных и самых страшных образов. Это самое и дало целому поколению племен, живущих в этой среде, без всякой возможности над ней возвыситься, неизбежный отпечаток покорности человека силам природы, — как могуществу гор, растений, животных, так и могуществу божественных, демонических, а потому и человеческих властителей.

Оба эти главные направления, одно — духовно-свободного и携 страннического, другое — внутренне-созерцательного и строго скованного развития жителей тропических стран Старого света, во многих ступенях и переходах составляют господствующие противоположности, — с одной стороны, — от Аравии на запад, через всю сухую бесплодную Ливию, до Атласа, — с другой, — на восток от многоводного Инда, через Ганг и обильную растительностью Заднюю Индию, до неисчисленных скопищ островов мира Зондского. Из этого уже видно, что не в климате, не в свете и тропическом жаре, свойственных как той, так и другой почве, может заключаться условливающая причина идеального их образования; что, напротив, к тропической природе,

зависящей от астрономического положения, должно было присоединиться еще чисто теллурийское отношение, именно пространственная совокупность системы природы в местном общем ее проявлении, чтобы сообщить целым группам восточных народов такие характеристически-различные направления на целые тысячелетия в их теософических, философских и поэтических произведениях, и вообще такие особые отпечатки.

Подобные отпечатки могут принимать столько различных форм, сколько разнообразен существенный характер природы в местностях земного шара и сколь различно он влияет на земледелие и водяные промыслы, на жизнь охотников и горских племен, на пастушество, оседлость, скитальчество, на войну и мир, на отдельность и общение, на грубость и образованность и т. д. А по их положению относительно света и теплоты, как в полярной, так и в тропической области земли, или в средних широтах, они уже и вследствие свойства окружающей их природы, даже не говоря о всех других влияниях, получат особенный цвет, колорит и видоизменения».

Оссиановская поэзия, родившаяся на обнаженных полянах сурового, отуманенного облаками Шотландского высокого прибрежия, соответствует совсем другому естественному характеру своей родины, чем лесная песня канадца, или песня негра на рисовом поле у Джолибы, песнь камчадала про медведя, рыбачья песнь островитянина. Все же они суть только отдельные звуки того господствующего душевно-умственного настроения и развития, которое от совокупного действия окружающей естественной системы в целостном впечатлении их естественного элемента сообщилось этим поющим сынам природы и заставляет их выражать это в звуках.

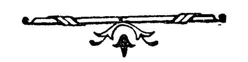
Подобное впечатление из природного быта через высшее духовное посредство может передаваться и в быт образованности отдельного существа или целого народа. В какой мере возможна эта передача, это сказывается на почве Ионии в гомеровском песнопении. Вызванное

впервые под самым благодатным небом среди роскошнейших форм берега Греческого архипелага, еще и теперь живо представляющее их воображению, — оно дало для всех грядущих времен в этом отпечатке образец классической формы.

Влияние этой общности естественных произведений, по форме и содержанию, в их совокупности, в их целостном воздействии, по всем теллуррийским явлениям, на род человеческий в различных его обществах, вероятно, принимало не меньшее участие и в истории его воспитания и развития. Но рассмотрение этого предмета, общего впечатления природы на человека, должны мы отнести к особому отделу этнографии.

Что касается до самого издания «Воззрения на природу» Гумбольдта, то, по нашему мнению, издатель поступил бы гораздо лучше, если бы, вместо картин различных видов растений, слишком немногочисленных для того, чтобы через них можно было познакомиться с самыми видами, приложил карты, приложенные к французскому переводу того же сочинения, сделанному по поручению Гумбольдта (Tableaux de la Nature, traduit par Ch. Galusky. Paris, 1851). Это замечание особенно относится к карте Средней Азии, взятой из другого сочинения Гумбольдта (L' Asie Centrale). Без этой карты, легшей в основу всей азиатской географии Риттера, и в которой в первый раз открыт гениальным естествоиспытателем верный остов этой части света, многое останется непонятным и в самых «Воззрениях на природу».

Г. Фролов будет иметь случай исправить этот пропуск в третьем томе своего «Сборника», появление которого мы будем приветствовать с тою же радостью, с которою встретили первые два тома этого добросовестного и полезного издания.



Статьи в „Библиотеке для чтения“



СЕЙДЕНГЕМСКИЙ ДВОРЕЦ [13]

Читателям «Библиотеки» известно, что Кристальный дворец, в котором помещалась всемирная промышленная выставка 1851 года, не разрушен, но перенесен в другое место и определен для другого назначения. Пользуясь рядом статей, помещенных в английском учено-художественном журнале Атенеум, мы постараемся передать несколько подробнейшие сведения о предметах, собранных в теперешнем Сейденгемском дворце: такое название получил Кристальный дворец на новом месте.

Общество антрепренеров, купившее прозрачное создание г. Пакстона, перенесло его из Гайд-Парка в окрестности Сейденгема — местечка, лежащего в нескольких милях от Лондона, по дороге в Брайтон, — с целью сделать в нем постоянную выставку всемирного художества и собрать значительную дань с любопытства зрителей; а где дело коснется денежных выгод, там английские компании неподражаемы.

Место, выбранное для стеклянного дворца, — одно из живописнейших в окрестности Лондона. Здание расположено к югу от столицы, между деревнями Сейденгемом и Энерлеем, вблизи Дульвичского леса. Самая местность потребовала некоторых изменений в первоначальном плане здания. Главный фасад, открывающийся на линию железной дороги в Брайтон, имеет только

1300 фут. в длину, тогда как боковой фасад, по Дульвичскому лесу, в 3000 фут. Дворец выстроен на холме, на 200 фут. возвышающемся над окрестною равниною. На эту возвышенность ведет широкая гранитная лестница в 120 ступеней. Впереди здания идет терраса в 1700 фут. длины и 50 ширины. С станцией железной дороги здание сообщается крытой галереей, примыкающею к южному крылу дворца и облегчающею доступ к нему в сырое и холодное время. Пространство, занимаемое Сейденгемским дворцом, заключает в себе 3000 английских акров и представляет собою неправильный параллелограмм. Место, свободное от здания, занято английским и итальянским садами, в которых пейзажисты истощили все свое искусство: фонтаны, каскады, неожиданности на каждом шагу.

Но все это не заставило бы нас обратить особого внимания на это произведение английской промышленности, если бы по поводу наполнения зал Сейденгемского дворца предметами художества всех веков и всех народов не было высказано в «Атенеуме» дельных замечаний об истории художества, которые могут представить интерес для всякого, кто неравнодушен к прекрасному и хочет знать, через какие формы проходил художественный гений человечества, оставивший следы свои и в развалинах Вавилона и в египетских пирамидах, и в обломках греческих статуй, и в подземных сокровищах Помпеи, и в мавританских минаретах, и в готических храмах средних веков. Такой образ художественных произведений всех веков и всех народов не может не иметь интереса для каждого образованного человека и имеет важное значение для художника. Статьи Атенеума, по поводу различных зал Сейденгемского дворца, написаны человеком, хорошо знакомым с историей искусства, который только придирается к этим залам, еще далеко не полным и не конченным, или, лучше сказать, к одному названию этих зал, чтобы высказать несколько дельных и интересных заметок об искусстве Вавилона, Египта, Греции, Рима, Визан-

тии и т. д. Вот почему эти статьи имеют общий интерес, хотя и написаны по частному случаю; так смотрит на них и сам журнал, давший им место на своих страницах. Это скорее отрывочные лекции об искусстве различных народов, нежели описание Сейденгемского дворца, который еще далеко не кончен и который потому еще рано описывать. Вот почему также мы решились дать этим статьям место на страницах «Библиотеки для чтения».

В Сейденгемском дворце устраивается музеум не одних художественных предметов. Его назначение обширнее, и даже, как нам кажется, слишком обширно для того, чтобы могло быть выполнено хорошо. Этнография, естественные науки, все, что касается жизни народов всех стран и веков, все замечательные явления из жизни животных должны найти в нем своих представителей. Такая всеобъемлемость, на которую не может претендовать не только одно, но и сотни таких зданий, как Сейденгемский дворец, вместо того, чтобы удивить нас, показывает нам только, что этот музеум задуман не одними учеными и не художниками, но также и прожектерами, рассчитывающими на обильную дань с праздного любопытства, и думаем, что при таком направлении Сейденгемский музей будет несколько напоминать собою ящик фигляра, из которого по объявлению вылезает все, что угодно, по воле зрителя. Сейденгемский музеум хочет быть миром в малом виде, но мы не верим в такие микрокосмосы и думаем, что устроители музеума гораздо бы лучше сделали, ограничившись какою-нибудь одною отраслью произведений природы или человека. Но французам, любящим, как говорится, схватывать вершки, именно эта-то немного обещающая всеобъемлемость и пришлась по нраву.

«Система классификации (географическая), принятая в Сейденгемском дворце, — говорит г. Ферре*, —

* L'illustration, № 569. Le Palais de Verre de Sydenham.

самая удобная для людей, не имеющих времени углубляться. Главные отделы этой огромной коллекции расположены по различным поясам земного шара. Они показывают различные образчики человеческих рас (?), национальных костюмов, земледельческих орудий всех народов, способов перевозки, — словом всего, что индивидуализирует ту или другую часть человечества. Вот для этнографии. Продукты минералогические (?), растения и животные каждого пояса искусства, которые ему (поясу!) свойственны, входят в каждый из этих отделов, как его необходимые дополнения. Это еще не все: исчезнувшие виды животных воспроизводятся здесь с величайшею точностью. Любопытные найдут здесь изумительные породы исчезнувших животных, так чудно восстановленных гением Кювье».

Мы с намерением привели буквально это описание, очень напоминающее трехаршинную афишу какого-нибудь профессора магического искусства, закликающего публику, — привели с тем, чтобы характеризовать разом как предприятие английских прожектеров, так и тот класс людей, на удивление которого они рассчитывают. Этих строк достаточно, чтобы показать, что шарлатанство, с одной стороны, и невежество, с другой — будут играть значительную роль в этом осьмом чуде света. Художественный отдел Сейденгемского дворца составляет лучшую часть его; люди, занявшиеся этим делом, сколько могли, добросовестно выполнили свою задачу, хотя и здесь, как увидим, не обошлось без прожектерского шарлатанства. Архитектура и пластика Ассирии (воображаемая), Египта, Греции, Византии, Рима, средних веков, эпохи Возрождения имеют особые залы. Каждому из этих отделов сотрудник «Атенеума» по части художеств посвящает особое письмо; все эти письма мы приведем здесь в том порядке, в котором они помещались в журнале.

I

Помпейское отделение в Сейденгемском дворце

Воспоминание Гайд-паркского дворца еще так свежо, что мы не намерены описывать его снова в том виде, в каком он появился в Сейденгеме. Но в качестве рассказчиков всех новостей в области искусства мы должны дать отчет о всех его художественных залах.

Помпейское отделение составляет новость для большей части зрителей. Вступая в него, посетитель как будто входит лично в первое столетие христианской эры, — в век и в общество Тацита и обоих Плиниев. Вода едва плещется в мраморном бассейне, — хозяин, кажется, удалился предаться полдневному сну, которым и до сих пор ежедневно наслаждается житель берегов Неаполитанского залива, — рабы, по всей вероятности, готовят стол где-нибудь в отдаленном углу дома, — и богатая, ленивая, южная жизнь дышит со всех сторон. Обман чувств достигается вполне. Плеск воды обманывает воображение и переносит его в летний зной; а в блеске и великолепии внутренних украшений дух императорского Рима смотрит на вас со всех стен.

Сколько грации, сколько роскоши, сколько художественной красоты видно повсюду! А Помпея была одним из маленьких городов Италии.

Должны ли мы напомнить нашим читателям, что на 79-м году после р. х., в царствование десятого римского императора Тита, разрушителя Иерусалима, Помпея и Геркуланум, два маленькие приморские городка, лежащие у подошвы Везувия, в 130 милях от Рима, были разрушены извержением. Геркуланум, ближайший к Везувию, был совершенно покрыт кипящею лавою; а Помпея, более отдаленная, только засыпана пеплом и камнями, из которых уже в продолжение ста лет выходит на свет дневной. Самые драгоценные древности добыты в Геркулануме, так как он был залит глубже и внезапнее.

В Помпее нашли только около шестидесяти человеческих тел, и надо предполагать, что остальные жители, число которых было от 5000 до 6000, нашли возможность спасти свою жизнь и свои лучшие сокровища. Страх, нерешительность или скупость удержали немногих. Часовой найден у ворот, — богатая дама у своего туалета, — скряга у сундука, — мать с ребенком, — невольник в цепях.

Дома, найденные в Помпее, очень малы; это был небольшой городок, лежащий невдалеке от таких фешенебельных мест, какими были Байи и Кумы — эти Батс и Чельтенэм римских вельмож. Дом, воспроизведенный в Сейденгеме, один из самых больших, какие только были отрыты в Помпее, и составлен из лучших частей различных домов. В сравнении с обширными зданиями эпохи, которую представляет этот дом, он не более как маленький коттедж, в сравнении с Букингемским дворцом. Кухня его не больше современного шкафа, а кухни некоторых римских домов имели 400 фут. в длину. Все место, занимаемое этим домом, не более того, которое занимает дача в С.-Джонском лесу, — тогда как золотой дворец Нерона имел три галереи, из которых каждая была по миле в длину. Богатые мраморы Египта и Нумидии, награбленные произведения греческой скульптуры, картины Афин и Коринфа сохранялись для жилищ семихолмного города, Капуи или Вероны.

По общему виду своему и устройству помпейский дом напомнит путешественникам, знакомым с Востоком, дома Каира и Дамаска. Гладкий и довольно грубый извне, он имеет немного узеньких окон, выходящих на узкую улицу, и далеко не обещает своим внешним видом того богатства, которое скрывается внутри его. Открыв дверь и пройдя маленькую келью привратника, вы входите в небольшую четвероугольную комнату, вымощенную мозаикой, с фонтаном посередине, украшенным статуею, — открытую сверху и окруженную спальнями, небольшими кабинетами и другими покоями.

Пройдя через открытую комнату в боковой проход, вы входите во внутренний четвероугольный дворик с садом, также открытый для лучей солнца: но с кровлею, поддерживаемою шестнадцатью колоннами; — кругом этого внутреннего дворика расположены столовая, баня и кухня. Вот и все жилище.

Таким образом дом этот может быть принят за образец римского жилища средней руки. В домах иных патрициев 400 рабов исполняли ежедневные домашние дела и каждый из них, как в Индии, имел свое исключительное занятие. Даже в Помпее многие дома, кроме одного этажа, имели еще надстройки над плоской крышей и галереи внизу; а Ювенал говорит о домах в Риме, имеющих десять этажей, выраставших один над другим, как и в современных городах; по недостатку места внутри городских стен, расширить которые было трудно или даже и вовсе невозможно.

Стены и потолки украшены изящною живописью, предметы которой взяты, как и следует в приморском городе, из явлений морской и горной природы. Здесь по стенам не стремится тот жизненный поток, какой мы видим в греческих фризах, — здесь нет и тех грациозно перевитых, оживленных сцен, которыми мы любуемся на этрусских вазах, но вместо их летят купидоны, плывут дельфины, тритоны, морские центавры, лапы которых запутались в морскую траву. Эти украшения набросаны светло, в сокращении довольно бедном; богатый голубой, темнокрасный и синий цвета преобладают на фоне. В другой комнатке мы видим Венеру на морском чудовище, купидона, метящего в девушку, может быть в Дидону, — и т. д. Вокруг карниза, вместе с лазоревыми птицами, гусями, павлинами несется цепь купидонов с разорванными гирляндами в руках. Здесь группа крылатых амуров суетится вокруг кувшина с вином; а вот и оркестр, составленный из детей Венеры; одни уселись на ложе, другие аплодируют девушке, танцующей с кастаньетами в руках, под звуки флейты. Здесь старик силится вытащить купидона из

клетки, набитой этими веселыми малютками с радужными крыльями и похожими разом—и на детей, и на бабочек, — а вот и Венера в своей крошечной колеснице.

Крышу над фонтаном поддерживают славы, — крылатые, прехорошенькие фигурки; четверо из них, стоящие под приемной (tablinum), позолочены. В римских домах в этой открытой зале сохранялись статуи умерших предков, архивы и проч.; они же служили и официальными приемными. Во многих домах весь двор с фонтаном был окружен статуями. Над этими открытыми залами растягивались цветные наметы, а в небольших домах — виноградные ветви; воздух и тень необходимы для жизни под южным небом. Богатые занавеси заменяли двери, которые были только при главном входе и при входе в спальни. Комнаты по большей части получают свет с двух двориков; но спальни имеют два окна, похожие на нынешние; две другие комнаты выходят окнами на улицы, а остальные освещаются отверстиями в потолке. На внешнем дворе у стены стоит жертвенник домашних богов, ларов. Им в иные дни приносили жертвы, а в последние времена языческого Рима все религиозные обряды богатых людей ограничивались одними жертвоприношениями ларам. В кухне же мы находим этих самых божков-близнецов, представляемых фигурами двух змей. Эмблематическая живопись, плоды и серебряные позолоченные чаши указывают обеденную комнату.

В такой-то вилле Цицерон, наряженный в праздничный, пурпуровый костюм и увенчанный цветами, торжествовал изгнание Катиллины, — или Цезарь, окруженный лестью, возвратившись из последней кампании, расхваливал изумительных устриц или потешался над тупоумием британских рабов. Здесь мог жить человек, покоривший мир только затем, чтобы потом наслаждаться на покое улитками, дроздами, языками фламинго, соловьиными мозгами и проч. В такие-то роскошные уголки римского мира удалялся человек,

наскучивший императорскою столицею, — удалялся, окруженный забавною толпою странствующих жидов, шумных гладиаторов, египетских фокусников, испанских танцовщиц, сирийских ворожей, маврских невольников, иллирийских носильщиков. Полулежа в одной из этих роскошных комнат, какой-нибудь патриций, дремля, глядел на ясную синеву неба и улыбался, когда морской ветерок доносил к нему из сада благоухание фиалки, заставляя его думать, что сама Венера, невидимая, проскользнула мимо, — или молча прислушивался к неуловимому плеску фонтана, через который по временам прорывалась отдаленная песня хорошенькой невольницы, сидевшей где-то за станком.

Самый поверхностный взгляд на это жилище может убедить каждого, как легко оно могло было быть уничтожено извержением. Это не более, как открытый сосуд, в который старый Вулкан влил лаву, как вино в чашу.

II

Греческий двор в Сейденгемском дворце. Раскрашенный Парфенон

Я сделал второй визит Сейденгемскому кристальному дворцу, желая попробовать, не разобьются ли мои теоретические понятия и практическое выполнение. Но, несмотря на это почтенное место, мне показалось даже несколько забавным толковать о теории вкуса, по поводу такого явного нарушения чистейших законов чистейшего искусства.

Употребление краски в скульптуре оставалось так долго спорным вопросом только потому, что не было сделано попытки узнать, к чему приведет такое употребление, и мы рады, что такая попытка сделана в раскраске Парфенона. Нелепость употребления цветов в скульптуре сделалась очевидною для чувств каждого. Падение полное и решительное. Мы, впрочем, не думаем, чтобы такой опыт в большом размере был необходим

для убеждения истинного художника. Для взора, привыкшего изучать благородство форм, не нужно было такого тяжелого испытания. Но хорошая сторона этой попытки состоит в том, что большинство публики может теперь судить об эффекте, производимом раскраскою произведений скульптора. Мы не сомневаемся нисколько в характере этого впечатления на публику; но хотим только помочь еще более этой оценке изложением главных законов пластики и полихроматизма (раскраски).

Речь каждого человека имеет особенный, ей только свойственный характер, который выражается не только в способе выражений, но и в самой конструкции мысли. Орган языка, повинуясь инстинкту сродства, вырабатывает особенные формы, в которых выражается особенность души человека. На основании этого же самого закона элементарной гармонии крепкая форма простой архитектуры находит себе выражение в сильном характере тосканского ордена, — чистота и целомудренность дорической фантазии в серьезном и массивном единстве, — изящные завитки (волюты) и уменьшенный диаметр выражаются в щегольские и милые формы ионизма, — а роскошная многосложность коринфского ордена завершает собою круг классической архитектуры: — каждый орден представляет особенную силу природы и особенную форму мысли. Это естественное единство произведений не может не потерять от смешения. Верный вкус не может иметь желания сломать строгость и прочность дорического и тосканского ордена фиоритурами коринфского или ионического; точно так же, как он не допустит внести холодную отвлеченность скульптуры в живопись или смешать богатую полноту живописи с важною дорическою красотою скульптуры. Единство в языке живописи и скульптуры так же необходимо, как единство в музыке. Вне этого единства разрушается прелесть гармонического соотношения однородных частей, которое дает всякому искусству такую власть над чувствами и душою человека.

. Отвлеченность (абстракция) составляет тайну однотонной сущности скульптуры. Форма и ее случайный (зависящий от постановки статуй) эффект — незыблемые основы самого существа произведений скульптуры, и бледность их поверхности необходимая прелесть их чистого идеализма. В искусных руках скульптора характер никогда не переходит в карикатуру, и даже самые мелочные подробности (детали) возводятся художником на степень идеалов.

Совершенное поглощение однотонного художника в чистоту его выработанной концепции, — удержание своего гения от малых, но более очевидных эффектов, которые заставили бы его унизить мрамор слишком вульгарным резцом, и от полноты и точности, чуждой идеализирующему искусству, — отвлеченность глаз, лишенных зрачков, — обобщенная масса волос, — однообразный цвет драпировки, — индивидуальное и случайное, утопающее в прекрасном обобщении, — ревнивое сохранение чистоты рисунка и торжественности эффекта, — все говорит в пользу того почетного уединения, в котором должно находиться это высокое искусство. Оно служит выражением чистоты, которую всякое прикосновение может только испортить, — единства, которое не должно быть нарушено, — оно производит именно то слияние чистоты и единства, которому будет противоречить всякая посторонняя, ослабляющая его примесь. Глядя на формы, иссеченные из мрамора, мы вспоминаем предметы природы только именно тою силою абстракции, естественность которой мы чувствуем. В этих формах все случайное, частное отделяется от идеала, от общего, вся красота и высокая гармония которого выражается именно в этом отделении; нарушить его, примешать к этому идеалу частности, мелочи индивида, значит разрушить самое создание искусства, которого и задача состоит в том, чтоб, уловив идеал красоты в частностях жизни, запечатлеть его в мраморе, тонкие, но крепкие очертания которого отделили бы идеаль-

ную мысль навсегда от всех случайных проявлений жизни. Не природа в ее ежедневной мелочи, но природа в ее вечной красоте выпала на долю скульптора. Смотря на мраморные изваяния, мы не чувствуем недостатка того буквального сходства, которое никогда не может быть достигнуто.

Но чтобы заслужить это почетное уединение, скульптура должна не выходить из своей области. Лишите ее ее чистоты и пластика сделается только вспомогательным искусством и сделается одним из тысячи поддельных средств обманывать человеческие чувства.

Возможно ли представить себе, что благородное творение Фидия служит только средством для красильщика или ювелира? Не говоря уже о знаменитой отделке ф р о н т о н а, взгляните только на нижние, но сильные фигуры ф р и з о в. Барельеф достигает здесь высшего своего совершенства; крайняя выпуклость мастерски соединена с круглою формою посредством тончайшей работы на фоне. Какое чудное впечатление производит эта пластическая перспектива, в которой, несмотря на живость и тонкость, все сохраняет вид прочности и круглоты! Тот не чувствует красоты, кто может решиться сделать такое гениальное произведение аксессуаром другого искусства в низшей форме его приложения.

Мы выставили главные основания, почему п о л и х р о м а т и з м не приложим к высшей форме скульптуры. Она изображает идеал и должна потому остаться одинокою. Но то же самое можно сказать и о живописи; она только унижается этим соединением. Живописец в выборе теней и тонов руководствуется или самым предметом или субъективным влиянием вкуса, чувства и методы. Этот выбор не зависит от положения его произведения, которое в самом себе содержит тайну своей привлекательности. В приложении к произведениям скульптуры живопись утрачивает свою самостоятельную силу и должна поминутно подчиняться случайностям и требованиям другого искусства. Ее выработанные

полутени не нужны более; их заменяет скульптура; а яркие тени не должны уже сходить с кисти живописца, для того чтобы придать круглоту и живость этим формам, которые получили их по законам другого искусства. Словом, живопись в приложении к произведению скульптуры делается ремеслом красильщика. Скульптор оставляет свое произведение неиспорченным и не рассчитывает на эффект другого искусства; но маляр ставит ни во что эту сдержанность силы; он раскрашивает голубым цветом небо и тем разрушает величественный покой бледного идеала, и то, что один скрыл с таким искусством, другой выставляет на первый план и оживляет то, что другой оставил в покое. Скульптор оставил фон, соответствующий его произведению; маляр непременно хочет придать небу его климатические оттенки. Он закрывает идеализированные формы ярким цветом кожи, и прекрасный конь, выражение быстроты, благородства, огня и силы, теряет свою матовую белизну и превращается в рыжую или пегую каретную лошадь. Да почему бы не сделать уже настоящего хвоста и настоящей гривы из неподдельных конских волос и копыт из неподдельного рога? Кто пустится передразнивать действительность, тот скоро достигнет таких нелепостей, которые, наконец, убедят его, как ложна такая дорога отыскания истины. Искусство с высокой ступени скульптуры незаметно нисходит к фабрикации восковых кукол — от первого нарушения чистоты формы и принятия чужой помощи, через все степени подражания, идущего в бесконечную даль, — до окончательного уничтожения искусства в набивании чучел. Пусть п о л и х р о м а т и з м, не пускаясь в излишнюю ученость, которая только заведет его на ложную дорогу, останется при одних низших формах архитектуры, и он будет иметь обширное поле для гармонического распределения своих средств.

В наше время всякий авторитет в искусстве должен подчиняться вкусу — единственному авторитету в этом деле. Ссылки на употребление полихроматизма в том

или другом случае ничего не значат и не оправдывают неразборчивого употребления его повсюду.

Легко понять, что автор творения «О Высоком и Прекрасном» тиранством обычая был принужден носить пудру и косу с кошельком, и что женщина-поэт, писавшая о «Чувствительности», поневоле задыхалась в фижмах. Мы можем жалеть о несчастных мучениках румян и мушек; но если Ньютон был астрономом, а Рен архитектором, то род человеческий не обязан же признавать их авторитет в суждениях, находящихся вне области их занятий. Даже самые греки в их пластическом периоде не могут связывать истинного художника, если они сами нарушили законы своего искусства и согласились размалевать свои чудесные мраморы.

III

Римский отдел в Сейденгемском дворце

Две комнаты, посвященные греческой скульптуре и убранные в подражание комнатам дворца цезарей, почти приближаются к окончанию. Рим, Неаполь, Флоренция, Париж и городки Германии все принесли дань свою этой коллекции сокровищ искусства.

Когда мы проходили вдоль этих зал и коридоров, ослепленные и опьяненные красотою, то воображение наше невольно переносилось в давнопротекшие времена, в другие страны, в те отношения и формы жизни и мысли, которые давно уже не существуют. Сколько предметов для размышления в этом римском отделе, в этих палатах цезарей, при взгляде на все эти богатства высшего искусства.

Мраморные утесы цикладов еще отражаются в синеве эгейской; бесформенные Венеры спят в каменоломнях Пентелики, готовые проснуться по зову гения; прекрасный стан Аполлона еще не вышел из этих груд и скрывается где-нибудь в зеленом уголке земли, прикрытый цветами. Да! гений есть истинный Прометей

и один только может вдохнуть жизнь в кусок скалы и сказать ему: «будь отныне чашей красоты и неисчерпаемым источником наслаждения для бесчисленных поколений».

Глядя на все эти статуи, невольно рождается вопрос: каким образом страна, занимавшая менее пространства, нежели занимает теперь Португалия, могла достичь такого совершенства в искусстве, — создать поэзию, в которой черпают все последующие поэты, приучающиеся к голосу богов в школе Гомера, — подчинить ум своих итальянских победителей и так обогатить их своим наследством, что они после этого могли сделаться учителями всей Европы и восстановителями искусств? Почему только одни творения греков получили дар бессмертия? Мы знаем, что тупые победители Греции из нее только извлекли и свою поэзию и свою философию. Греческий мудрец образовал средневековую схоластику; статуи Греции вдохновили Рафаэля и Микель-Анджело, — греческие писатели оживили литературу пятнадцатого столетия, а греческая скульптура воспитывает современных поэтов и скульпторов. Прекраснейшие лица наших живописцев — только бледные отражения древней Венеры. Мы на полдороге к месяцу, мы проникли в глубины морские, мы уничтожаем пространство, но не научились достигать высоты, на которой стояли Фидий или Лизипп. Мы учимся девятнадцать столетий и до сих пор еще далеки от наших учителей!

Древнейшая скульптура была посвящена изображению богов. «Греки верили, — говорит Винкельман, — что величайшая красота сосредоточилась в божестве и что ближайшее приближение к этому недосягаемому божеству выражалось в совершенстве человеческих форм, взятых в своем идеале или высшем моменте». Вот почему они искали идеальной, а не индивидуальной красоты. Три желания мудрого грека были — быть мудрым, прекрасным и богатым. В их воспитании физическая сторона человека имела такое же важное значение, как

и нравственная; они думали справедливо, что здравая душа должна быть в гармонии с здравым телом. Многие из величайших философов Греции стяжали лучшие призы на священных играх. Платон и Пифагор, Клеант и Хризипп славились телесною силою. Весь город выходил встречать победителя на олимпийских играх, статуи воздвигались в честь его, он жил сам, и дети его воспитывались на общественный счет. Беднейший и богатейший из граждан ежедневно имели омовение и телесные упражнения. Вот почему ни в один период истории мира тело человеческое не достигало такого совершенства форм, такого соединения грации, красоты и силы, какой достигало оно в период греческого искусства. Призы торжественно давались красивейшим юношам даже в суровой Спарте, не породившей ни одного артиста, и посреди грубых горцев Аркадии; имена многих людей славились по красоте лица во всей Греции. Поэты беспрестанно говорят о красивых формах.

В этой-то школе изучал греческий скульптор формы человеческого тела — благороднейшего и красивейшего создания в природе. Ежедневно, в банях и в гимназиях, тончайшие формы Греции были перед его глазами во всех возможных положениях. Богатый ум обогащался впечатлениями. Эти впечатления не зависели ни от разбитых кусков модели, найденных на улице, ни от форм человеческого тела, источенных бедностью и пороками; величайшие красоты древности были образцами для зевксисов и апеллесов.

Кто может сомневаться, что греки изучали и изучали глубоко как сравнительную, так и общую анатомию? Годы, посвященные диссекциям, не сделали Микель-Анджело способным показать и половину того знания, которое видно в каждом члене Бьющегося Гладиатора. Микель-Анджело не мог поправить Лаокоона. Предрассудок в то время, по всей вероятности, не запрещал рассекать тела казненных преступников и невольников-варваров; а погребение или сожжение рассеченных членов мертвого тéла успокаивало совесть

греков. Египтяне не смели рассекать трупов, и искусство их, прожив несколько столетий, остановилось на той точке, с которой началось.

О греческой живописи мы, к сожалению, знаем очень мало. За исключением нескольких арабесков в вилле мецената и некоторых орнаментов в Помпее, нам не осталось ничего, кроме преданий, для составления понятий о греческой живописи. Виноградные кисти Зевксиса, обманывавшие птиц; лошадь, ржавшая на фризы... все это скорее басни, созданные чернью, нежели предания. Но огромная слава дивной картины Апеллеса «Венера, выходящая из моря», не может подлежать сомнению. Что греки знали живопись, это не требует доказательств. Фарнезский бык, группа Ниобеи могут одни служить доказательством необыкновенной силы греческой концепции.

Религия не только окружала особенным светом и уважением греческое искусство, но и вознаграждала его. Гений, если и парит, как орел, к солнцу, которого никогда не может достигнуть, но тем не менее, он должен иметь свое гнездо на земле. Искусство тоже подвергается закону предложения и требования; если нет требования, то не будет и предложения. Умственное направление средних веков увлеклось теологией и войной, шум рогов и оружия заглушил голос поэта; Патерностер Роу в тринадцатом столетии был монастырем. Век строил церкви, — и грубый камень ожил, стал прозябать, распустился цветами и листьями по крышам и колоннам. Время требовало картин — и кисть Рафаэля оживила полотно. Если бы Микель-Анджело жил в наше время, то он не мог бы нарисовать «Страшного суда»; для этого он не нашел бы стены. Греки требовали статуй и для религиозных обрядов. Их чувственная религия искала повсюду воплощения в камне. Они ставили статуи даже ремесленникам. Одна статуя давала известность городу, за статуи велись войны, они делались предметами народных распрей. Сжигая Фивы, Александр пощадил дом Пиндара. Осаждая Родос,

Дмитрий оставил нетронутой ту часть города, где жил Протоген. Сократ сам был скульптором. Скульпторы предводительствовали армиями, заседали в сенате, завоевывали области, и их изображения становились рядом с их собственными изваяниями богов. Они были настоящими высшими жрецами Греции, —истолкователями невидимого в видимых образцах. Что же удивительного, что в императорском Риме, этом огромном складочном месте награбленных имуществ, было более статуй, чем жителей, — или что последний македонский царь в свою последнюю кампанию разрушил 2000 статуй?

Необыкновенная образность греческой мифологии питала воображение и обогащала искусство. Ни в одной языческой мифологии мы не видим такого собрания восхитительных идеалов человеческой и природной красоты. Здесь нет ужасов и безобразия: нет уродливых гигантов; нет вампиров, выкапывающих трупы из гробов и высасывающих кровь из живых, — даже Медузу греки изображали тихою и печальною; фурии имели прекрасные формы и лица; судьбы изображались крылатыми амурами.

Но как мало можем мы судить о греческих искусствах по тем немногим отрывкам, которые нам сохранило время! За немногими исключениями, мы обладаем более любопытными редкостями, нежели совершенными творениями искусства, а по этим редкостям мы столько же можем судить о греческом художестве, сколько по обломку корабля, прибитому волнами к берегу, о самом погибшем судне. Как ни прекрасен Аполлон и Венера, но Лаокоон есть, может быть, единственное оригинальное произведение древности, дошедшее до нас, и о котором ясно упоминают классические писатели. Более всего у нас статуй и бюстов из времен последних римских императоров; и если мы припомним, что до времен Праксителя, современника Александра, и до последнего периода греческого искусства Венера редко изображалась совершенно нагою, а фавн еще реже был вводим в скульптуру, то мы можем себе представить,

к какому позднему периоду принадлежит большая часть антиков, которыми мы обладаем.

В пыльном шоссе современных Афин скрывается, быть может, благороднейшая часть произведений Фидия. Где делись 1500 бронзовых произведений, выполненных Лизиппом? Где делись 600 статуй, снятых Нероном с дельфийских пьедесталов? От колоссальных статуй Минервы и Юпитера, сделанных Фидием, не осталось ни одного камня. «Знамя» Поликлета, «Лук» Мирона, «Венеры» Скопа и Праксителя, «Купидон» Лизиппа как будто и не существовали. Даже «Аполлон Бельведерский» признается знатоками только за копию с бронзового оригинала, — и за копию, сделанную никак не позже времен Нерона. Лаокоона относят некоторые ко временам Тита. Даже настоящие названия многих древних статуй нам неизвестны; Изиду называют потом Гебою и ту же самую статую разжаловывают, наконец, в Ариадны.

Но не должны ли мы, вместо того, чтобы жаловаться, еще благодарить судьбу и за те немногие обрывки, которые она спасла для нас из этого страшного кораблекрушения? Из скольких переворотов и смут — из скольких землетрясений и потопов, из скольких осад, грабежей, пожаров спаслись, прежде чем достигли до нас, эти куски тех самых статуй, на которых может быть отдыхали взоры Перикла и Платона! Подумайте только об Этолийских войнах, о Муммие и Силле, об иконокластах, о преследовании Венеры и ее нечестивого ребенка, о готах, гуннах, ломбардах, о бесконечных драках гвельфов и гибеллинов, о борьбе партий Урсини и Колонна! Статуи бросали со стен на вандалов, статуи обжигали, ломали, били в щебень, из них клали стены крепостей, ими забрасывали колодцы или укрепляли плотины. Чему же удивляться, что в пятнадцатом столетии насчитывалось в Риме только шесть античных статуй?

Искатели кладов стали подкапываться под жилища живого города, — в город мертвых, — рыться в прахе

Цезаря, Горация, Нерона, Траяна. Бьющийся Гладиатор и Аполлон были ими отысканы в приморской вилле Нерона, Анциуме; но почти все остальное в самом Риме. Лаокоон был найден в Титовых банях, Антиной в Эсквилинском холме, Венера Медицейская близ театра Марцелла; Фарнезский Геркулес возле бань Каракаллы, Фавн Барберини во рву под плотиною Адриана, а Умирающий Гладиатор в садах Саллюстия.

Принимая в расчет, что древние скульпторы по своим религиозным убеждениям редко отступали от принятого типа и что одна знаменитая статуя делалась образцом для всей последующей эпохи, мы можем с некоторою верностью заключить, что мало таких известных творений золотого века искусства, с которых бы мы не имели хоть какой-нибудь копии — камеи, рельефа, подражания, заимствования. Купидон, натягивающий лук, и Аполлино, вероятно, подражание Праксителю; Аполлон, может быть, сделан Каламисом в соперничестве с Фидием, — Венера Медицейская может быть копией с статуи Праксителя, а Дискобул Тонлея — копия с произведения Мирона.

Пусть же скромный зритель удержится от критики в этих залах и научится удивляться прежде, чем станет осуждать. Пусть он не судит о сгибе уст и выпуклости подбородка — это может быть не более как заплата или починка. Левая рука Аполлона — произведение современности, а правая рука и стопа плохо починены. Обе руки Венеры Медицейской сделаны вновь и притом еще взбалмошною рукою Бернини. Нос, правая рука и нога сидящего Марса, а также рука и часть ноги Умирающего Гладиатора — подделка. Рука Аполлона, нос и пальцы Капитолийской Венеры, правая рука Лаокоона — также новы. Голова Тонлеевского Дискобула — чужая, у Тонлеевской Венеры левая кисть

и правая рука — новейшей фабрикации. Правая ступня Аполлона и Лаокоона шире левой, а левые ноги обеих статуй шире правых. Подбородок Венеры Медицейской поврежден временем, и один ученый немец утверждает, что знаменитые ямочки — «следы прикосновения пальца любви», как называет их Овидий, — не более как щербины. Голова Фарнезского Геркулеса слишком мала, колена Аполлона слишком обращены внутрь, а колена Антиноя несколько выворочены наружу.

Две римские залы, на стенах которых изображены известнейшие мраморы, почти совершенно кончены, и, проходя по ним, кажется, что проходишь коридорами Титовых бань или Неронова Золотого Дома. В соседней части здания расположены рядом Елгинские и Егинские мраморы, еще не приведенные в порядок с произведениями от времен Праксителя до времен упадка искусства при императорах. Вы можете начать обзор с грубых статуэток Егины, обличающих свое азиатское происхождение в множестве черт; самодовольная улыбка на каждом лице, едва заметная анатомия, волосы, расположенные искусственно, чуждая, заимствованная драпировка — и вот почти все, что мы имеем от пяти столетий, протекших от мифического Дедала до Фидия и Перикла. От двух следующих затем столетий, обнимающих богатейший период греческого искусства, нам осталось много копий и несколько гениальных, хотя безыменных творений.

Искусство, медленно подвигаясь через дорический, ионический и коринфский период, погибло потом вместе с падением греческой самостоятельности. Дух, оживлявший древних скульпторов и заставлявший их тщательно отделывать каждую черточку сандалий, или живописца сидеть семь лет за одним творением, скоро исчез. Древний почтенный тип Дедала зачах уже во времена Фидия, а предание школы Мидаса увековечилось во время римской империи. Душа, создавшая некогда Аполлонов, стала творить пьяных сатиров и распущен-

ных силенов. Любви и уважения, заставлявших Фидия тщательно отделывать и те части статуи Тезея, которых никто не мог видеть, уже не было; а преданность, заставлявшая впоследствии венецианцев так заботиться о статуях дожей и готических работников просиживать месяцы за скрытыми сторонами рыцарских статуй, — еще не родилась.

Что касается до положения статуй, уже размещенных по своим местам, то об этом можно сделать несколько замечаний. Комната, в центре которой стоит Аполлон, поразивший Пифона, испорчена сидячею статуею Агриппины, этой чудовищной матери чудовища. Эта статуя дисгармонирует и с веселым фавном, опьяневшим от юношеского веселья, и с Вакхом, увенчанным виноградными листьями, с тою женственною, идеальною красотою, какой нет и у Антиноя, — и с Меркурием, с его хитростью и зоркостью, — и с победоносною Венерою. Венера Медицейская должна царствовать в центре отдельной залы. Не должно выпускать из виду, что главные статуи древности назначались для определенных мест, почему и судить об них можно только, смотря с настоящей, первоначальной точки зрения, на которую рассчитывал художник. На Аполлона должно смотреть с лица, группа Ниобеи довольно смешна сзади; ее, вероятно, прикрывал фронтон. Группа Лаокоона должна наполнять собою нишу, потому что на нее всего выгоднее смотреть с лица. Статуя Венеры, напротив, вероятно, занимала центральный алтарь, и с тыла она, может быть, еще лучше, нежели с фронта.

Переходя из первой во вторую залу, мы находим Антиноя и Адониса. Во второй комнате мы встречаем дивные пробы гения — Умирающего Гладиатора, Лаокоона: это, кажется, единственные античные попытки выразить сильные страсти, столь противоречащие спокойствию и бесстрастию, в которых древние выражали идею отвлеченной, идеализированной красоты. Здесь также стоит нежный Аполлино, один из прекраснейших типов отрочества, ка-

кие только существуют в скульптуре, и который уступает только убийце ящерицы, созданному, как предполагается, Праксителем. Здесь же видим мы и Купидона, спящего как голубь в пуху своих собственных теплых и мягких крыльев; Слушающий раб, по всей вероятности, заказная статуя и портрет, Борцы, Фавн, хлопающий в ладоши, Венера Милосская, идеал женской красоты в ее зрелости, как Венера Медицейская идеал женской юности, — и, наконец, Венера Тонлея.

Здесь мы можем проследить весь прогресс идеала совершенной женской красоты до тех пор, пока ослабевшее искусство должно было оставить чистоту первых абстракций для фигур, щекотавших развращенную фантазию Калигулы или Гелиогабала. Мы имеем Венеру, только что вышедшую из моря, как показывает Купидон, оседлавший Дельфина, — Венеру победительницу; в руках ее меч Марса, и Купидон стонет под тяжестью ее шлема. Вот та же самая богиня с яблоком раздора в руках, — Венера морская, Венера купающаяся, Венера полудрапированная, Венера драпированная совершенно, — Венера, извлекающая занозу; идея этой последней статуи заимствована из легенды, что богиня, преследуя Адониса в лесу, наступила на терн, и из каждой капли крови ее вырастала фиалка так, как из капель молока Юноны выросли лилии, покрывшие поля.

В венчанной Юноне мы имеем высший идеал красоты классической матроны так, как идеал чистоты осуществлен в Диане. Глаза Венеры всегда полузакрыты, большие глаза Юноны открыты совершенно, и она смотрит царицею. В Минерве — идеал дианиной чистоты, возвышенной мудростью. Здесь мы не видим уже острого зрения охотницы, зорко следящей сквозь горный туман за полетом орла или бегом оленя; в глазах Минервы видно ясное размышление, соединенное с чистым покоем — взор благосклонного покровительства, смешан-

ный с сожалением к злым. Мы находим ее здесь или с ее эгидою, обвитою змеями, или с обнаженною левою грудью, как у Амазонки, но одетою другим образом, и в шлеме времен Перикла.

Изображений Юпитера мы имеем весьма немного. Скульпторы преимущественно любили богов, обладающих даром вечной юности: в юности мы приближаемся ближе всего к небесному идеалу красоты. Таков Аполлон; его нестареющая красота — если бы даже все статуи его превратились в пыль — сохранилась бы навсегда в сердцах людей. Такова юнейшая и более чувствительная красота Аполлона, бога, превращенного в юношу, — пастуха,охраняющего стада Фессалии. Вот он замечтался, склонивши голову, вот он убивает ящерицу, как бы приготовляя свои мышцы к борьбе с Пифоном. Женственная красота Аполлона-отрока заимствована художником со всего, что только есть милого и привлекательного в лазурном своде небес, в грациозных волнах моря, в мимолетной красоте цветов и капель росы. Такие же прекрасные идеалы детства человеческой красоты мы имеем в Купидоне и Психее, Спящем Купидоне, в юном Бахусе, влекомом фавнами или засыпающем в мохнатых руках Силенов. К тому же роду относятся: Мальчик и Лебедь, Ганимед, выливающий нектар, Купидон у ног Марса, Спящий Эндимион, Геркулес-дитя и множество других.

В этой зале видим также поразительные типы грубой, сельской красоты. И что за веселый народ эти фавны! Вот они толкают наяд, пьяные и болтливые валяются на надутых винных мехах, — прыгают по горным тропинкам, полубезумные, опьянелые, приводя Бахуса, бьют в цимбалы или выплясывают под грубую музыку; а вот фавн, отдыхающий после танца, с дудкою в руках, или засыпающий после сбирания винограда; он отяжелел от вина, его палица и флейта висят возле него на виноградных ветвях — вот он предался мгно-

венной думе или хохочет во все горло над маленьким Сатиром, который с непоколебимою важностью, надувши губы, старается вынуть занозу из своего копыта.

Здесь же и молодой Вакх кивает головою, увенчанной виноградными листьями, и дремлет, мечтая о красоте, образы которой, кажется, носятся перед его глазами. Воздух вокруг него, кажется, напоен всеми благоуханиями безмолвных полей. Далее следуют или типы красоты более человеческого свойства, как, например, красота Д и с к о б у л а или красота форм, без красоты лица, как в Г л а д и а т о р е, А т л е т е, Л а о к о о н е и М о л о д о м Г е р к у л е с е.

Идеал человеческой силы мы имеем в Ф а р н е з с к о м Г е р к у л е с е, этой удивительной невозможности, этого воплощения тысячи детских сказок. Далее следует идеализированная история: вот Демосфен, громящий Филлипа, вот прекрасный а п о к р и ф и ч е с к и й Ф о к и о н и Э в р-и п и д, вот действительный Э в р и п и д, сидящий М е н а н д р и обнаженный Г е р м а н и к. Вот К а р а к а л л а с своею злобною улыбкою, и А в г у с т с безобразно выдавшеюся вперед нижнею челюстью, так мало похожею на строго очерченный подбородок Цезаря или Наполеона. А вот и А г р и п п и н а, низкая и чувственная, с завитыми чужими волосами, но задумчивая и как будто предвидящая свою судьбу.

В царстве животных здесь видны: К а л е д о н с к и й в е п р ь, О л е н и и Л е о п а р д ы, Р и м с к и й о р е л, Ф а р н е з с к и й б ы к и М о л о с с к а я с о б а к а. Идеал греческой лошади совершенно не похож на наш: это коротенькое, приземистое животное с толстою шеею, со всеми некрасивыми отличиями, свойственными горным породам; только такие широкие равнины, как равнины Венгрии, или такие тучные луга, как луга Англии или ровные (?) пустыни Аравии, могли развить лошадиную породу до совершенства. Лошадь греческого скульптора может быть удивительна, но она не красива.

IV

Ассирийское отделение Сейденгемского дворца

Европейское воображение, довольно скромное дома, пускаясь в Азию, позволяет себе чрезвычайные преувеличения. Промежутки в тысячу лет нипочем для наших восточных теоретиков, и несколько дюжин династий кажутся небольшим препятствием для их антикварского энтузиазма.

Это ассирийское отделение в сущности не что иное, как огромная басня. Крылатые быки в барельефах Ниневии Сарданапала и Сеннахериба, колонны из Персеполиса, персидский дворец наследников Кира, крыши и открытые галереи — все это более или менее удачные басни, не принадлежащие никакому месту в особенности, и предположения и гипотезы проглядывают в каждом орнаменте и в каждой колонне. Открытые здания довольно вероятны, хотя, не мешая проходу воздуха, они в то же время не защищаются от солнца. Но тяжелые, подавляющие карнизы египетских храмов мало гармонируют с остатками персидской и ассирийской архитектуры; а раскраска этих зданий — совершенный вымысел; она основывается только на цветных глазах одного колосса и на следах бурой краски, существующей на нескольких орнаментах.

Чтобы осязательнее показать все непоследовательности, которые переносят это отделение из области истории в область театральных декораций и арабских ночей, бросим взгляд на историю различных развалин, из которых собраны эти противоречащие друг другу материалы.

Каждый сколько-нибудь знаком с необыкновенными открытиями в Ниневии — этой колоссальной Помпее. Целый ряд валов, расположенных на пространстве в шестьдесят миль в окружности по обширной равнине, орошаемой Тигром, — вот, как известно, все, что осталось нам от великой ассирийской империи. Здесь царствовал воинственный народ, распространивший свое

владычество от берегов Тигра до Геллеспонта и от Нила до Каспийского моря. Индия и Сирия подпали его власти, и весь Восток в разные времена подчинялся его правлению. В 606 году до р. х. мидяне и вавилоняне взяли Ниневию штурмом, и Сарданапал погиб в пламени своего собственного дворца. Скоро после этого Кир покорил Вавилон и соединил все его владения под одним общим именем Персии. Ниневия скоро обратилась в развалины, и когда Ксенофонт и десять тысяч греков проходили мимо этого места, то видели на нем только кучу холмов. Но Вавилон был все еще резиденцией Сатрапа, до тех пор, пока соперничествующий город Селевкидов, построенный преемниками Александра, не низвел Вавилон на ту же степень, на которой уже давно находилась его прежняя соперница Ниневия; во времена владычества Рима в этих странах от Вавилона оставалась груда безобразных развалин. Современные персияне называют Персеполь, остатки которого существуют доселе, «троном Джемшида» и приписывают его основание, как основание всех великих городов Востока, Соломону. Предполагают, что Персеполь выстроили первые преемники Кира. Его стены украшены богатою скульптурою, колоссальными фигурами Рустема, который поражает демона после битвы, рассказанной поэтом Фирдоуси. Здесь-то были найдены крылатые быки и те грациозные колонны и капители с бычачьими головами, которые несколько дерзко соединены в Сейденгеме с скульптурными стенами и колоссальными порталами дворцов, выстроенных, по крайней мере, за пять веков ранее. Читатели «Атенеума» знакомы уже с колоссальными эмблемами силы и быстроты, охраняющими вход в ассирийское отделение, а также и с барельефами, украшающими стены трех зал того отделения. Львиные охоты, победоносные всадники, колесницы и приносители даней знакомы нам так же, как чопорные битвы Сезостриса и Аменофиса.

Господствующая идея греческого искусства — **красота**, египетского — **покой**, ассирийского — **мо-**

гущество. Мы видим его в отважных семитических лицах, орлиных носах, полных губах и сильно держащих руках. Господство, победа выражаются в этих массивных членах и твердо стоящих стопах, в полете огромных крыльев, — в божествах с орлиными головами.

Самая большая зала поддерживается четырьмя колоннами, имеющими по 50 фут. высоты и сделанными по образцу колонн Персеполя, которые замечательны по богатым волютам, достигающим до половины колонн, по длинным тонким стрелам и шарообразным индийским основаниям. С широкого, массивного, висячего карниза, венчающего высокие стены зал, идут короткие колонны, также взятые с колонн Персеполя. Плоский свод орнаментирован панелями пятиугольными, квадратными и гранеными; главный орнамент составлен из крылатых быков, антилоп, гранат и сосновых шишек. Животные красные на светложелтом фоне, голубые на красном, красные на голубом. Красные, голубые и желтые решетки обведены вокруг внешних стен; а быки капителей — темносиние с желтыми рогами и копытами. Отрывки каприфолий, общие Персеполю и Афинам, входят здесь довольно часто; а священные сосновые шишки как бы вырастают из букетов зеленых водяных растений. На одну из внешних стен введен барельеф из священного дерева — этой таинственной эмблемы ассирийского художества. Тремя главными божествами Ниневии, кажется, были богиня с атрибутами греческой Венеры; Нисрох, бог с орлиною головою, статую которого делал Сеннахериб в ту минуту, когда был убит своим взбунтовавшимся сыном, и речное божество в образе рыбы. Истинное значение так часто повторяющейся сосновой шишки до сих пор неизвестно. Охраняющее крылатое божество, похожее на такие же божества Египта и Сирии, часто изображается парящим над головами ассирийских монархов, и в этом нельзя не видеть постоянной аналогии между двумя народами. В Персеполе также были найдены тяжелые фигуры крылатых

быков и божества с орлиными головами; оба народа сохраняют также таинственный лотос.

В этих барельефах мы видим, по большей части, ассирийские обычаи и поверья. Мы видим царей, увенчанных тиарами из драгоценных камней, окруженных евнухами и воинами, отправляющихся на битву в своих царских колесницах; царственные балдахины над их головами, лук и стрелы — подле них. Мы видим их армии, переходящие через реку вброд, колесницы сделаны наподобие лодок; лошади плывут позади, а воины переправляются на кожах. Мы видим укрепленные стены, стрелков и пращников, — атаки, подкопы, штурм и победу — пленники разбегаются или возвращаются назад в Ассирию. А вот и данщики ассирийских царей заставляют проходить перед нами слонов, носорогов, львов, верблюдов и ослов, — приносят золотой песок, кедровое дерево, слоновую кость. Вот флот из галер возвращается в порт, где шумные собеседники пира пьют здоровье Адрамелеха.

Какое множество контрастов в ассирийской жизни с жизнью других народов! Часто повторяющиеся войны с Египтом должны были хорошо познакомить ассириян с этой страною, и имя Ниневии было изображено на стенах Карнака. Они покушались покорить Палестину только потому, что она лежала по дороге в Египет; и по этой причине земля евреев должна была сделаться вечным театром всех войн между двумя народами. Победы над израильтянами дали тему для барельефов. С помощью флота Тира — этого великого морского могущества древности — ассирияне делали своими данниками отдаленные народы.

Открытие Ниневии было величайшею победою над силою времени, покрывшего забвением столько протекавших деяний человечества. Ни один водолаз не осмеливался кинуться в такие глубокие воды и не вынес оттуда столько драгоценностей. Помпея была маленьким приморским местечком народа, с обычаями которого мы и так были довольно знакомы; но о Нине-

вии мы не знали даже, где она стояла. Целые века лился Тигр с высот Армении, по пустынным равнинам Месопотамии, но мы не понимали его плачевной песни о давно минувшем величии; араб разбивал свою палатку на безобразных валах Хорсабада и, рассказывая сказки о Нимвроде, не знал, что сидит на его зарытом дворце.

Мистер Лайярд говорит нам, как обширные равнины Тигра, во время восточной, короткой, весны покрываются волнующимся морем цветов, которые вянут так же скоро, как зеленые покрывала пампасов. Посреди этих обширных пустынь, становящихся еще ужаснее от густой растительности, бродят львы, которые некогда отгонялись далеко не умолкающим ни на минуту говором 300 000 жителей цветущего города, а теперь пеликаны вьют гнезда и спокойно выводят детенышей в самом сердце Вавилона. Вот, на том же самом месте, потомки тех ив, под которыми сидели и плакали иудейские пленники. Но золотой город, соперник Ниневии, тоже давно уже представляет холм развалин, и вот лучшее доказательство необыкновенной живучести азиатских преданий; имена Нимврода и Ассура до сих пор вспоминаются обитателями соседних стран, грубыми поклонниками демона.

Такие возрождения делают путешествия излишними. Здесь за исключением пищали Туркомана и пули Курда, мы можем видеть факсимиле Персеполя и Ниневии. Мы можем здесь рассматривать те развалины, которые обходит армянин, погонщик мулов, отправляющийся менять богатства Астрахани на шелк Испагани, избегая, сколько возможно, встречи с пистолетом К е з л и б а ш и, распевающего воинственные песни Фирдоуси и раздувающего фитиль, которым он зажигает и трубку и ружье. Здесь, не слыша воинственного крика б а к ш и ш, вдали от глазных воспалений, чумы, убийственных лунных ночей, предательских конвоев, проводников-обманщиков, вороватых арабов, мы можем путешествовать и погружаться в думу, находя даже несколько восточную атмосферу, окончательно обма-

нывающую чувства. Мы можем срисовывать рогатую тиару, крылатого быка, диадему Артаксеркса и Сассанидов, корону константинопольских императоров и берет венецианского дожа; мы можем выводить заключение о характере народа, смотря на национальные атрибуты орлов, крылатых быков, львов и баранов, и изучать теорию языков с помощью чудных открытий новейшего времени.

Если мы любим пофилософствовать, то можем мечтать о великом народе, которого религия, обычаи, владычество, язык сделались спорным предметом антиквариев, — которого история даже не сохранилась в басне, — и о цветущей империи, цветущая область которой превратилась в пустыню, царство безмолвия и смерти.

Много уже протекло времени с того детского возраста человечества, когда Европа была неизвестною и дикою страною для азиатских монархов, обладавших половиною мира. Времена изменились, и Восток, в свою очередь, сделался мало̀ известною страною, а развалины его городов предметами европейского любопытства. Пустыня вновь одолела, звери снова завоевали отнятую у них область, и дикие племена оспаривают друг у друга обладание царственными развалинами.

Государства мелькают в истории подобно отрывкам облаков на летнем небе. В Европе расцвело образование, а Азия погрузилась в вечерний сумрак; а теперь уже новый свет наследует предания Европы, как она когда-то наследовала предания Востока.

V

Египетское отделение в Сейденгемском дворце

Кто войдет в египетские залы с надеждою наткнуться на пирамиды, коснуться праха аписа или заглянуть в темные могилы мумий стовратных гомеровских Фив, тот очень разочаруется.

Каменная комната-гробница, четвероугольник храма, иероглифические панели, изображающие победы и древние обряды,—жертвенник Аммона, колоссальные фигуры мумий и сидящих божеств должны вознаграждать воображение за длинные галереи сфинксов, за целые акры земли, уставленные пирамидами, и за густые леса колонн с головами Изиды. Посетитель не найдет здесь ни 130-ти луксорских столбов, ни большого зодиака Дендераха, ни приводящей в изумление залы Карнака, ни замкнутых портиков Эдфу. Ни пустыни, ни водопадов не могли перенести сюда: гигантские пирамидальные врата не влезли в современную рамку, и большое in-folio Египта явилось в Сейденгеме в двенадцатую долю листа. Недостало ни времени, ни денег; сейденгемские залы, по необходимости, должны были ограничиться сжатой компиляцией, в которую вошли обломки различных зданий и различных столетий, и публика может одним взглядом приобрести поверхностное понятие об египетском искусстве от полусказочного века Менеса до более уловимого века Сезостриса, а от него до Птоломеев и Цезарей. Но, конечно, целый год странствования по одичавшим берегам Нила не дает такого общего понятия об египетской архитектуре, как несколько часов, проведенных в этих залах.—

Кто не видит ничего особенного на берегах Рейна, кто зевает над кратером Везувия, вспоминает Альпы со скукой, всходит на Мон-Блан для возбуждения аппетита и рад спуститься с него как можно скорее, чтобы поспеть на обед в Шамуни, тот не увидит ничего и в египетском искусстве: не оценит ни глубины покоя, влитого в эти создания, ни их мистической и народной индивидуальности.

В большой четвероугольной палате, составляющей первую залу, вдоль стены находятся восемь стоячих фигур царей, по четыре с каждой стороны изувеченной пирамидальной двери, в которую ведет узкая колоннада из двадцати двух богато раскрашенных столпов. На этих фигурах двойные короны Верхнего и Ниж-

него Египта — красные, конические, шишковатые шлемы с золотыми круглыми диадемами и с царскими атрибутами; четвероугольные головные уборы (напоминающие женский капор) из куска какой-то дорожчатой материи закрывают головы и ниспадают по обеим сторонам лица. В руках этих фигур, спокойно сложенных крестом на груди, как руки статуй крестоносцев, находится посох—патриархальный скипетр, и трехвостный бич. На каждом лице — спокойная улыбка, подобная улыбке человека, видящего сладкий сон или отдыхающего после успешного труда.

Низкая решетка, окаймленная карнизом для золотых аспидов, из которых каждый поддерживает маленькое позолоченное солнце, идет по противоположной стене; за нею нарисованы гигантские, яркокрасные, как будто огненные солнца, окрыленные белыми крыльями коршуна и увенчанные двойной тиарой. С обеих сторон каждого огненного шара выглядывают грозящие головы аспидов. Между этими дисками тянутся перпендикулярные полосы, раскрашенные голубым, зеленым и красным цветом. Колонны, в числе которых попадаются похожие на свиток папируса и связанные вместе голубыми вязями; между вязями, на четвероугольных досках, вырезаны разноцветные иероглифы. Капители иногда просто четвероугольны и украшены пятилиственными золотыми звездами, а иногда иззубрены, подобно пальмовым листьям, или сложены в складки, подобно почкам лотоса. Вокруг базисов идут трехугольные орнаменты из разноцветных лучей, представляющие внешние оболочки стеблей нильских растений.

Во второй зале, назначенной для птоломеева периода, капители обогащены грациозными кривыми листьями; вся архитектура легче, красивее и, теряя в массивности, выигрывает в изяществе. Желобчатые колонны, идущие извивами сверху донизу, представляют восемь папирусных растений, связанных вместе и образующих своими листьями капители. Потолок между

плоскими панелями портика и над столбами раскрашен темноголубою краскою и усыпан звездами; этот тип неба необходимо является во всех родах религиозных украшений Египта. Сам Озирис всегда изображается на лазоревом поле, голубые косяки вокруг иероглифов показывают их небесное происхождение. Скала — гробница Бени-Гассана — поддерживается колоннами, напоминающими более дорический, нежели египетский орден; но какую бы древность ни приписывали этой гробнице, она все еще слишком нова, чтобы древностью доказать происхождение греческого искусства из Египта.

Колонны комнаты, соседней этой гробнице, слеплены с колонн Аммонова храма, находящихся в Британском музеуме. Внешние панели египетского отделения украшены изображениями, которых содержание взято из побед Сезостриса и домашней жизни египтян. В одной из комнат наследник фараонов тащит за волосы целую связку пленников, припавших на колена, и готов поразить их коротким, но широким кинжалом, более похожим на рыбную ложку, чем на оружие воина. Пленники умоляют его о пощаде, и жар их мольбы еще более увеличивается веревкою, стягивающею их шеи, и другою, с кисточками, которая связывает им руки назади. В другой комнате Сезострис попирает ногами павшего противника и в то же самое время длинным копьем пронзает бок воина, должно быть араба, потому что ноги его украшены татуировкой. Над группою парит коршун, — а сзади знаменосец несет украшенное бахромою знамя Египта, с изображением бараньей головы, эмблемы Амён-Ра или Озириса; вокруг идут украшения из эмблематических существ—рогатых змей, нильских гусей, фениксов (птиц с человеческими руками), стрекоз, гениев и пр.

В другой части отделения находится нубийский жертвенник из Абу-Симбеля, составленный из сидящих фигур божеств и обожествленных существ, статуй жрецов в их одеждах из леопардовых кож и меньших бо-

жеств у подножья. По обеим сторонам двух других входов сидят колоссальные цари из более позднего периода, чем те, которых мы видели в квадратной зале. Колена этих фигур прекрасно очерчены, анатомия тела очень хороша, за исключением ступней, соответствующих, вероятно, религиозным установлениям Египта, но только не природе. На изваяниях богатые сандалии; подпоясанная короткая туника украшена бахромою и имеет посередине бо́льшой герб, изображающий львиную голову. Шлем с кистями завязан под подбородком и таким образом поддерживает в то же время чехол — для бороды, или подвязную бороду, которая была всегда атрибутом египетских царей. Волосы сплетены длинными прядями и скручены позади в жгут, иногда они закрыты широким, круглым головным убором, с висячими четырехугольными лопастями. Повидимому, волосы всегда были накладные и, заменяя перевой, носились для прохлады. У большей части этих фигур руки вовсе не видны, но в позднейший период они изображаются опущенными по сторонам в положении, выражающем гордость и могущество. Тотчас же возле этих фигур стоят произведения греческих художников — обожествленный Антиной и одна или две статуи, у которых прямой нос и приподнятая верхняя губа заменены круглым, вечно сонным лицом, коротким подбородком и миндалевидными глазами древних художников голубого Нила.

Шесть колоссальных, лежащих львов охраняют каждую сторону входа в квадратную комнату, и две головы (каждая по двадцати футов вышины) дополняют ряд этих странных произведений.

Иероглифы вообще представляют египетских царей богато одетыми и опоясанными, увенчанными коронами-митрами и охраняемыми коршунами. Эти цари подносят вазы и цветок лотоса Озирису, который держит копье-скипетр, похожий на трезубец, и улыбается благосклонно своим жертвоприносителям. За ними идут жрецы в волнующихся одеждах из тонкой, прозрачной

египетской ткани. Царицу можно узнать по особенно красивому лицу. На одной стороне иероглифы изображают властелина обоих Египтов и сына солнца, воссылающим мольбы к Озирису или к Изиде, увенчанной луною, как Диана, а на другой стороне божество обещает приносящему жертву царю могущество и славу, обещая повергнуть все под его стопы.

Должно припомнить, что эти яркие, положительные цвета, слишком сильно поражающие наше северное зрение, назначены были для того солнечного света, перед которым бледнеют все краски, и для той атмосферы, которая смягчает всякий резкий тон и обращает самые темные тени в голубую влажную глубину.

В одной из соседних комнат помещается слепок с знаменитого Розеттского камня, в котором доктор Юнг, в противоположность Шампольону, думал найти первый ключ к объяснению жреческих письмен. Ключ же к пониманию египетского искусства есть сильная национальная индивидуальность, — главною, основною мыслью которой был покой. Грек думал об абстракте прекрасного и выразил его общие эмблемы в типах, понятных всем поколениям и всем векам. Перс вдумывается в идеалы пышности и священных церемоний; индус — в идеальные и странные фантазии, в Вишну, по-варварски прекрасного, и в Дургу с ее ста руками, запачканными кровью. Но ни в памятниках Персеполиса, ни в памятниках Элефанты не увековечился мистический характер Курдских гор или берегов Ганга. В Египте же всякое произведение скульптуры носит на себе отражение пустыни, неба или Нила, и на всяком из них лежит вечная печать безмолвия восточного полудня и страстная тишина, наполняемая лучами жгучего солнца. Животные Египта видны на всех стенах: коршун, ястреб, ласточка, аспид и рогатые змеи пестреют на потолках, гробницах и храмах; рядом с ними лисица, шакал, обезьяна, кошка и эмблемы зла, олицетворенные в крокодилах, гиппопотамах, змеях.

Самые малые насекомые не забыты — пчелы, кузнечики, стрекозы... Лотос и папирус дали рисунки для пирамидальных построек. Все взято или из неба, или из реки, или из пустыни Египта. Египтяне покрыли Озириса перьями ястреба и страуса; на чело своих царей набросили повязку из аспидов; сплетенные листья лотоса до сих пор покрывают сухие тела мумий; безгривый нубийский лев сделался моделью для ваятелей; — даже меньшие божества египтян являются под формою нильских лягушек и рыб.

Великая страна Египта — теперь самая мертвая из всех стран. Обливаемый испариною, турист спешит к пирамидам выпить горького пива и потешиться насчет Сезострисов и фараонов. Их дворцы и храмы служат убежищем для страдающего глазами араба, который поддерживает огонь над позолоченными гробами покойных властителей Египта. Солнце ежедневно касается уст Мемнона, — но Голубая река уже не слышит торжественных прорицаний. Вихрь пустыни давно изгладил следы Сезострисов, Камбизов, Цезаря и Наполеона. Голос алчущего и жаждущего англичанина едва может вызвать эхо фивских гробниц. Нил течет по необработанным полям, хотя попрежнему заливает их изумительным плодородием. Человек не клянется уже более «тем, кто спит в Фивах»; но водопады пенятся попрежнему, гремя похоронную песню покойному Озирису. Феллах зарывается в развалины или лепит свою хижину — из грязи и изглаживает следы какого-нибудь знаменитого убийцы эфиопов, или куфитов. Папирус не растет более по берегам Нила, — и ибис отлетел далее в пустыню, избегая двухстволок современной цивилизации.

Солнце, еще до сих пор, каждое утро превращает пирамиды в пламя, хотя араб только проклинает их блеск; а статуи угрюмо улыбаются при имени славы. «Внушающий уважение вид божества, — говорит Эотен, — сохраняется всегда в выражении их лиц: та же неизменность посреди всеобщей перемены, та же воля,

сильная и неумолимая... тот же важный взор и спокойная всеподавляющая улыбка».

Антикварии дочитались до слепоты, разбирая, означает ли слово пирамида «дом смерти» или только «tumulus» — была ли она сложена для того же назначения, для которого татары набрасывали груды камней, или это первообраз палатки. Они открыли, что у индусов, мексиканцев и ассириян были также пирамиды и что английский шпиц есть их прямое продолжение. Мы не знаем, представляет ли из себя пирамида символ пламени или вечности; но видим только, что она заострена к небу.

Мы смотрели с большим участием на это египетское отделение. Оно осуществляет в высшей степени понятие о той стране, которая видела зарю цивилизации, — местность, освященную патриархальными и библейскими сценами, — почву, на которой возникло и пало столько царств, — и отчизну народа, который, несмотря на все оковы жреческих предрассудков и кастических преданий, оставил по себе памятники, пережившие памятники Рима и Греции, хотя и уступающие последним в художественной красоте.

VI

Альгамбрское отделение Сейденгемского дворца

Это мавританское отделение может быть названо самым верным воспроизведением подлинника, потому что оно выстроено из настоящих материалов оригинала и носит на себе печать блеска и пышности, давно уже утраченных дворцом гренадских султанов. Между ярко расписанным штукатурным снимком с его заново выполированными мраморами, с его блестящими радужными рельефами, — и между полуотбитым, растрескавшимся алебастром и поблекшей позолотой Альгамбры — такая же разница, как между цветком, только что раскрывшимся под нежным дыханием южного ветра, и тем

же самым цветком, поблекшим, потерявшим запах и грустно опустившим головку на стебелек.

Залу львов, кажется, создали для халифа. Арабский поэт позабыл бы навсегда и свою черную палатку, и желтую пустыню, если бы только взглянул на эти стены, украшенные богатой инкрустацией, блистающей мистическими молитвами и благословениями, а Гафиз променял бы ширазское вино на пиво,.чтобы только постоянно созерцать эти стенные поэмы, всегда красноречивые для восточного слуха.

Здесь находится алебастровый фонтан, поддерживаемый двенадцатью грубо иссеченными львами, напоминающими нам изваяния ломбардские, или византийские, в Сицилии и Италии. Арабская подпись совершенно напрасно гласит об этих львах, что они не кусаются.

Может ли все богатство ковров, золотого шитья, перепутанных цветов или летних облаков, переливающихся во всевозможные оттенки, помрачить эти мозаичные стены, похожие на гигантские, расписные листы средневекового молитвенника? Какое изобилие, какое тропическое богатство скрывается в восточном воображении, которое могло рассыпать столько цветов и растений, столько блестящих металлов, столько алмазов и драгоценных камней, столько переливов подвижной змеиной кожи и многоцветных раковин на утлой полировке этих колоннад и на кружевных решетках этих альковов! Сколько восточной экзальтации в этих выгнутых арках, в этих сотовидных потолках, усеянных всею гордостью рыцарской геральдики, вспомоществуемой восточным фанатизмом!

Однакоже припомним, как недостаточны эти залы; несмотря на свою красоту, несмотря на все искусство и на художническую любовь, которые заботились о верной передаче впечатлений, производимых оригиналом, и о передаче каждой тени и каждого тона, — это только превосходное извлечение из непереводимой поэмы. Судить об Альгамбре по группе колонн или по несколь-

ким аркам, напоминающим форму подковы, все равно что получить понятие о Данте по одной строке или о Гомере по одному суждению. Дорогие арабески, позолоченные решетки и расцвеченные лучи, эти соты, сотканные из золота и лазури, эти блестящие окаменелости радужных цветов, эти висящие сталактиты, эти блестящие кристаллизации дают бледное понятие о царственных залах, и о серебряных перемешивающихся звуках множества фонтанов, о потолках, украшенных фресками, об одичавших садах, о прекрасных, даже в развалинах, залах, где апельсинные и гранатовые деревья покрывают стены вечноменяющимися коврами, которые богаче всех, вытканных маврами. Где здесь З а л а д в у х с е с т е р и З а л а п о с л а н н и к о в? Где комната, в которой фонтан упрямо, но напрасно смывает с мраморного помоста кровь Абенсерага? Где тронная палата, где темница, мечеть, бани? Здесь есть кружевной потолок, но где позолоченный кедр Дамаска? Здесь есть мраморный фонтан, но где альков из ста колонн, тонких и грациозных, как пальмовые деревья, сверкающих призматическим блеском, подобно целой копи алмазов? Здесь есть позолоченные стены и переливные цвета хамелеона и павлина, здесь есть фантазия умерших поэтов, расцветшая в свитках арабских и куфических письмен, но недостает климата Андалузии, который провел бы последнюю черту волшебной кисти по этим сверкающим, как звезды, фантазиям Соломона и ему подвластных гениев.

Передвиньте пирамиды, но не переносите вместе с ними пустыни и Нила — и они будут не более, как громады тяжелых камней. Перенесите палаты дожа, — и лондонская чернь увидит в них бывшие купеческие конторы. Бесконечное повторение красоты превращает грацию и пышность Альгамбры в нечто великое и возвышенное. Там видим мы не одну водопроводную трубу, но бесчисленные фонтаны, заглушаемые розами, душистыми цветами и колючими алое; не несколько слепков из лазоревого камня с золотыми оттенками, но целые обла-

сти позолоченной кружевной работы и переплетенных радуг, — целый лес стройных колонн, основания которых заросли такою гущею, что соловьи вьют в них свои гнезда, как в очарованных садах Арабских ночей, под бесчисленными потолками, усеянными иссеченными звездами, солнцами и эвклидовыми растениями — полуэмблемами, полуцветами, как будто гурии составляли эти цветы и листья.

Прибавьте к тому все перемены испанского неба, прибавьте тончайшее покрывало, набрасываемое облаками южного солнца, и серебряный поток, проливаемый на все андалузскою луною. Здесь-то, в этой Альгамбре, халиф Боабдил, который-де плакал, расставаясь навсегда с своим упавшим царством, делал мрачные приемы всем теням Гренады. Вот обезглавленный Абенсераг представляет ему жалобу, и гигантский мавр почтительно кланяется и описывает судьбы зарытых сокровищ; а вот под бесконечными аркадами Оммиадов проходит густая толпа теней, увенчанных чалмами; они спешат на демонскую охоту или хотят задать пир на снежных вершинах Сиерры-Невады, согреваясь лучами отдаленной Варварии. Одарены ли сейденгемские залы этими сверхъестественными явлениями и слышен ли в них по ночам глухой голос мавра? Но ничто не может удовлетворить человеческой памяти и воображению. Если бы нам дали все это, мы бы еще спросили — почему не видно из окон серебряных пирамид испанских Альпов, отражающихся на раскаленном небе?

Выведем же заключение о нескольких истинных преимуществах этого отделения; оно так ново, так разряжено, смотрит так празднично, что походит на Отелло в новой паре платья из Бонд-Стрита. В нем нет ни малейшей гармонии, даже гармонии развалин и упадка, и невежество рассеяло те же самые видения, которые оно же прежде создало.

На зло землетрясениям, минам и контрминам, на зло испанской милиции, французским солдатам, испанскому ханжеству и фламандскому варварству, на зло ворам,

цыганам, контрабандистам, угольщикам, нищим и пр. Альгамбра остается одною из самых удивительных развалин Европы. Она менее других потерпела от людей и стихий и разрушилась красиво и незаметно. Она не распалась, как Ниневия, в один час, — не погребена в продолжение одного дня, как Помпея, — не уничтожена одним ударом, как Коринф, — не подкопана в течение столетий, как Афины. Хотя она и была попеременно то бараком, то тюрьмою, то богадельнею, хотя ее гаремы и превращались в курятники, а темницы в овчарни, Альгамбра все-таки осталась одним из самых чудных произведений восточного великолепия, она осталась в Европе, когда мусульманские волны давно уже отлили в Азию, как золотой сосуд, забытый на песке, или как палатка умершего араба, которая продолжает еще стоять, когда остальные давно уже сняты с копий, увязаны на верблюдов и отправились искать нового пристанища в раздольях пустыни.

Какой турист по Испании может позабыть общий взгляд на кровли старого города Гренады, где великие полководцы спят возле повелителей, которым они служили, — вдали от семидесяти зеленых миль дороги, идущей вместе с двумя реками-близнецами к Гвадалквивиру; позабыть целую равнину золотого моря, на котором белые крыши ферм и гациенд колышутся подобно блестящим парусам; позабыть вокруг восстающие с и е р р ы, и над ними неизменные снега и вечно изменяющееся небо, позабыть дорогу, убегающую вдаль с ее оливковыми садами и виноградниками, гранатовыми и лимонными деревьями; позабыть все яркие цвета, слитые в один золотой испанским солнцем, лежащие на полях, утучненных кровью мавров и христиан? Да, мавританский поэт, взглянувши на эту самую картину, имел право воскликнуть, что гренадская долина прекраснее долины Дамаска, что «Каир имеет одну реку, а Гренада — тысячу Нилов!»

В этом земном раю и на отлогостях скал, скрывших его от целого мира, растут все произведения умеренно-

го и жаркого пояса, начиная от сахарного тростника и пальмы до яблони, ореха, пробкового дерева и сосны. Здесь вы можете восходить от бальзамических растений Востока до подснежных мхов. В сердце этой долины — бассейн из намывной земли, а пики ее — маяки для отдаленных пловцов Средиземного моря. Эта страна легенд служит целью и для современных пилигримов.

Ключа всякой народной архитектуры должно искать в природе тех материалов, которые употреблялись в первое время. В Египте мы видим пальму и папирус, в Индии и в Китае палатка превращается в пагоду. Стенные украшения мавров, говорит мистер Оуэн-Джонс, который устраивал альгамбрское отделение, взяты с роскошных шалей и ковров Кашемира, которые араб развешивал на столбах своих палаток прежде, чем эти столбы превратились в каменные колонны. Цветы эти — подражание цветам тканей; а надписи подобны надписям на иудейских амулетах. Арабское искусство выросло из Корана. Повсюду написано «Благословение», — «Бог единственное убежище», — «Бог единый победитель». Любимые девизы некоторых халифов появляются так же часто на этих стенах, как пчелы на стенах Фонтэнбло или белый лебедь на коврах Эдуарда. В Альгамбре строгость магометанизма была ослаблена для архитектурных украшений. На одной стене написаны портреты десяти мавританских халифов, в других фресках изображены мавританские рыцари, изгоняющие своих христианских врагов, или мирные сцены охоты. Мы упомянули выше о фонтане З а л ы л ь в о в, воспроизведенном в главной комнате альгамбрского отделения; в другой зале мы находим грубое изваяние оленя, преследуемого львами.

Немного мест, так щедро награжденных, так щедро украшенных природою и историею, как Альгамбра. Здесь стояли Колумб и Сид, этот лучший тип рыцарства, здесь Хименес беседовал с великим полководцем, здесь бродили Сервантес и Мендоза. На альгамбрских хол-

мах сошлись в первый раз финикияне и римляне, потом остготы и берберы, испанцы и французы.

VII

Византийское отделение Сейденгемского дворца

Хотя менее блестящее и горделивое, нежели мавританское, и менее массивное, нежели египетское и ассирийское, византийское отделение Сейденгемского дворца имеет особенную прелесть для историка, этнографа, архитектора и художника.

В этих грубых капителях и арках архитектор найдет проявление первых усилий готического ума; этнограф — дикую энергию ломбардского зодчего, только что свергнувшего язычество и выразившего в камне свое первое понятие о христианстве; историк проследит путь, которым дух покоренного Рима неприметно завладел суровым гением победителей; художник будет смотреть с любовью на эти остатки детского периода искусства, периода, обогащенного, впрочем, трудами Джиотто и Чиммабуя.

Византийский архитектурный стиль должен быть в особенности занимателен для англичан, по своему сродству с английским готизмом. Он находится в связи с стилями древнеломбардским в Италии, нормандским в Англии и романским во Франции; он преобладает в зданиях св. Софии и св. Марка. Самый совершенный ломбардский тип его мы видим в Пизе; чисто византийский — в св. Марке; романский — в Отёнском (Autun) соборе; норманский — в Гластонбюре и Эли. Остатки его многочисленнее и лучше сохранились, нежели остатки позднейших периодов. Он более живописен и более допускает орнаментов, нежели стиль готический, — в нем есть египетская тяжеловесность, и в нем же часто проявляются подражания то классическому искусству, то искусству азиатскому: в нем всего понемногу.

Византийский стиль есть точное соединение европейской и азиатской архитектуры. Византийские куполы

были заимствованы магометанами точно так же, как впоследствии магометанские орнаменты и стрельчатые арки были заимствованы средними веками. Византийский стиль, хотя часто грубый, перемешанный с неусвоенными остатками классических веков, представляет много замечательных особенностей. Период его господства был необыкновенно продолжителен; лучшие произведения готического стиля пережили его только одним веком. Начинаясь с первых триумфов христианства, византийский стиль идет до половины одиннадцатого столетия. Возникнувши, без сомнения, из греческих и римских основ, он бодро и сильно без всякого искажения развивался до конца. Это первые попытки сильного, необузданного духа — выразиться в новых формах — духа, пораженного хаосом противоречащих условий и трудностью затмить произведения побежденного язычества. Византийское язычество, чуждаясь дневного света и смеющихся красот природы, противопоставило им могильный покой монастыря; на нем лежит колорит смутного, железного века, крика войны, стук мечей и копий раздавался в ушах художника.

Огромное достоинство византийского искусства состояло в том, что оно заключало в себе неисчислимые начала жизни. Породив искусство магометанское и готическое, оно продолжало развиваться вместе с ним, но постоянно сохраняло свою независимость, давая взаймы и редко заимствуя. Важное и величественное, оно не было чуждо самых богатых украшений, мозаика испестрила стены храмов всею сверкающею роскошью вделанных драгоценных камней, фрески грежних живописцев украсили своды. Оно не представляет ни прозрачных решеток, подобных мавританским, ни строгих римских перистилей, прохлаждаемых фонтанами, — не воздымает мистических громад, как Египет, во мраке его зданий вечная борьба света и тени, смерти и жизни, добра и зла. Божественные лики Пречистой девы и Предвечного младенца спокойно и благостно взирают со стен византийского храма на дольние бури и битвы.

Преобладающая форма в византийском отделении, без сомнения, классического происхождения. Посреди святых и мучеников мы встречаем еще иногда фавнов и дурно выполненные маски, употребляемые для нишей в ключах свода. Остроконечные копьеобразные листья капителей, твердые и колючие, как листья волчца — грубое подражание аканфу коринфских колонн; между орнаментами мы видим стрелы и каприфолии Греции. Странная форма резьбы представляет неудачное подражание римским украшениям. На бронзовой двери — центавр, а на арках — грифы и химеры древней мифологии. Ионические завитки превращаются иногда в грубые ветви и перемешиваются руническими узлами и молотками Тора, заимствованными из скандинавского искусства. Мы знаем, что своды и круглые арки заимствованы из зданий императорского Рима; но греческое искусство окончательно исчезло; покой и грация променяны на энергию и могущество. В этом переходном периоде мы видим все беспокойство души, оставившей классическое, известное и пустившейся отыскивать неведомое.

Образчики, собранные в этом отделении Сейденгемского дворца, принадлежат главным образом к ломбардскому, норманскому и германскому фазисам романского искусства. Восточный храм, соперничествующий с храмом Соломона, не мог быть перенесен; на место его мы имеем монастырь св. Иоанна Латеранского, с фресками Джиотто и барельефами из Чичестеро; дверь из Кильпетской церкви в Герфордшейре; врата Приора из Эли; арку из Ромсея и другую из Шобдена; бронзовые двери из Аугсбурга и Гильдесгейма; несколько остатков византийского периода из Майнца, Кельна и Ирландии. В центре отделения помещен германский фонтан старинной работы.

Изучающий историю искусства может проследить здесь византийский стиль от его неприхотливых начал, от его подражаний стенам римских зданий до легких колонн и глубокой резной работы старого английского

стиля, — от первых мозаик, которых образцом служили пестрые римские помосты, до позднейших фресок Джиотто, — от плоских столпов и грубой простоты рисунка до богатых арок последнего периода. Норманская дверь этого отделения особенно богата. Она состоит из шести переплетенных арок, покрытых угловатыми городками, розетками, звездами, медальонами и другими украшениями вроде кедровых шишек и гроздей. Сердитые драконы, свившиеся своими змеиными хвостами, образуют из себя капители колонн.

Византийские украшения имеют две особенности, отличающие их от староанглийских, на которых они походят, как дуб на березу: это, во-первых, особенная любовь к узлам и ветвям, а не к листьям; во-вторых, преимущественное изображение животных, а не людей. Смотря на эти суровые начала, мы не можем представить, что из них мог развиться когда-нибудь теплый и легкий готизм, что эти колючие листья превратятся потом в лилии и розы, а этот грубый тип виноградного листа — в изящную и богатую листву, тем не менее это было так.

Но посреди этих грубых начатков искусства, посреди этих перевитых веревок, узлов, ветвей, круглых арок, тяжелых колонн, отличенных энергиею и богатством, неразвитого воображения, мы случайно находим проблеск чувства, более глубокого и духовного. На одном из барельефов мы видим изображение святой девы и божественного младенца, столь нежные и неземные, как изображения Джиотто. Младенец представляет такой образец божественного детства, какой только когда-либо был создан до Рафаэля. Лик святой девы спокоен и торжествен, волосы ее распущены, одежды просты и грациозны. Внизу перевиты тонкие колонны, украшенные черною, красною и золотою мозаикой. Арка поддерживается каменными львами, а на верху павлин, лев, змея и баран.

Германские бронзовые врата особенно занимательны. Древнейшие из двух разделены на тридцать пять пане-

лей, из которых в каждой грубые изображения Самсона, избивающего филистимлян, Адама и пр. Другие врата, состоящие только из шестнадцати подразделений, позднейшей работы и лучше сделаны.

Сокровища древнего искусства были в распоряжении ломбардского художника, но он не умел ими пользоваться. Он не умел ни заимствовать, ни изобретать. Стесненный множеством условий, он оставил природу и ничего не поставил на ее место. Его постройки массивны, но не возвышенны, его воображение неправильно, но не богато, и его создания стоят между последующими произведениями искусства, как допотопные животные.

VIII

Средневековое отделение Сейденгемского дворца

Особенность, свойственная предметам этого отделения, повела ко многим неудобствам. Оно не могло представить ни насильственного единства ассирийского отделения, ни естественного единства помпейского. Это — ни совершенная передача одного здания, подобно Альгамбре, ни собрание многих зданий, подобно египетскому отделению. Трудно было соединить гражданскую и церковную архитектуру, расположить статуи рыцарей и епископов в данных границах. Трудно было на небольшом пространстве одной капеллы связать в одно целое балдахин, арку, гробницу и парапет.

Не только Линкольн, Эли, Личфильд и Вестминстер ограблены сейденгемскими учредителями; но и Франция и Германия прислали сюда свою дань, дополняющую собою более многочисленные образчики произведений средневекового британского художества. Этим отделением гордится житель севера; оно глубоко запечатлено его национальным характером.

Мы должны дорожить этим наследством; умы, которые могут быть поставлены наравне с Шекспиром и Мильтоном, воздвигли эти вечные громады. Творцы их умерли, не оставив своих имен.

Архитектура, чтобы сделаться замечательною, должна быть национальною, а готическая архитектура, по преимуществу, может быть названа северогерманскою. Египтянин брал растения Нила для украшения своих колонн; грек срывал листья аканфа; индус подражал пальме; но они воспроизводили эти природные типы скупым и сдержанным резцом. На долю северного жителя досталась детская и серьезная любовь к природе; ему досталось на долю замечать грациозный наклон тонкой орешины, вырезывать отдельный лист, розовую почку, цветок лилии, священный трилиственник, ветку и жолудь дуба, склонившуюся иву, вьющийся виноградник, мак, жимолость и клевер. Он нуждался в наставлении поэтов, полюбивших природу, более чем греки; все мысли о природе греческих поэтов могут быть найдены на страницах шекспировской фантазии: «Как вам угодно». Он первый полюбил природу чистою, неистощимою страстью; научился чувствовать связь веселья с весною, светлой радости с летом, грусти с осенью и печали с зимою. Величественное однообразие восточного солнца, ослепительный блеск итальянской лазури, торжественная меланхолия вечных снегов не могли внушить такой любви. Эта любовь могла снизойти в душу человека только под изменчивым небом, где буря и дождь сменяют друг друга; где все растет так медленно, где весна развертывается так постепенно и зимы так длинны. Мы научились любить природу, как не любят ее жители других климатов; наши живописцы, наши поэты изображали ее, как никто. Наши первые строители уже усиливаются покрыть потолки и стены каменною зеленью вечной весны.

Монастырское здание соединяло под одной кровлею дворец, дом, алтарь, гостиницу, конклав, библиотеку и могилы. Собор был великим храмом целой провинции. Его разрисованные окна были иллюстрированными книгами бедняка, его могилы — скульптурными хрониками; его хоральные гимны — единственной музыкой, какую он только знал. Солнечные лучи, скользя по сте-

нам собора, казались для бедняка чем-то сверхъестественным, а когда луна посеребряла ниши и колонны, для грубого, но небесчувственного человека лучи ее казались блаженною мечтою. Искусство научало вассала любви к природе и богу. Монах знал, что крестьянин скорее всего учится глазами, а потому и выставлял для глаз его поучительные предметы.

Хотя европейский вкус и не имеет той страсти к пышности, какую мы замечаем у азиатца, тем не менее монахи чувствовали сильную любовь к краскам. Посмотрите на их мозаики, алтари и фрески, посмотрите на их требники и богатые геральдические украшения; посмотрите на их пестрые будто камчатные стены и вечно пламенеющие окна, на их ризы, усыпанные дорогими каменьями, на блестящую, разноцветную отделку сосудов. Северная природа не могла научить их этому; они видели только серый свет нашего неба, его скромные закаты и восходы, тусклый блеск опалов и жемчуга, бледный гранит и скалы, поросшие мхом; богатства дикого тмина и золотых цветов дрока, туманные горы и свинцовые озера. Фиалка и подснежник — бедные замены цветущих деревьев Индии. Фальшивый отблеск золота и лазури на крыльях наших птиц слабо соперничает с блестящими красками тропических обитателей. Но, может быть, эта самая замкнутая жизнь заставила монаха любить сцены, которые редко удавалось ему видеть, и наслаждаться этими живыми красками неба и земли, которых он не имел в действительности. Дорогие каменья придали блеск его серым и траурным платьям; золото заменило солнечный свет, серебро — лунное сияние.

Из этого же самого направления духа произошла наклонность католических монахов к изображению божественной любви. Спаситель и божественная дева, мать и сын — вот их любимые темы. Эти бессемейные, отдаленные от целого мира люди вечно старались изобразить нежный идеал матери. Измученный, изувеченный странник земли, выброшенный окровавленным и

изуродованным из жизненной битвы, любит изображать бесконечную любовь. В таких глубоких, серьезных, меланхолических натурах часто можно открыть страстное, затаенное желание любить и быть любимым. Весь разгул жизни не мог вырвать из души Байрона его детских мечтаний. Ужасный Кромвель был нежным отцом и пламенным другом. Монахи знали, что под корнем каждого растения скрывается общая для всех людей земля; сердце их походило на те высокие старые башни, которые, будучи разбиты молнией и опустошены вихрем, все еще дают убежище птицам. Искусство их, нося на себе следы бурь, тем нежнее раскрывалось для красоты северной весны.

Не нам указывать на их заблуждения, не нам судить их пороки и ошибки. Занятия этих людей принесли нам пользу. Из безумств алхимии развилась современная химия; из мечтаний астрологов — астрономические положения. Фарадей и Чаусер, Галеотти и Ньютон связаны одною мыслию. Схоластика сохранила Аристотеля, труды копиистов спасли Гомера и Платона от участи Энния и Сафо. Монахи смотрели на бури жизни сквозь свои разрисованные окна и принимали молнию за радугу. Их идеалы были слишком совершенны для нашей природы. Но они были первыми миссионерами и первыми колонистами, воспитателями бедного. Монах и рыцарь были необходимыми фазисами цивилизации.

Каждый народ сообщает своему искусству особые атрибуты божества. Атрибутом мексиканского искусства был ужас, атрибутом греческого — красота, египетского — покой, ассирийского — сила; атрибутом средневекового искусства — любовь.

Центральная зала средневекового отделения наполнена образчиками английского готизма; а по обеим сторонам находятся предметы, избранные из средневекового искусства Франции и Германии. Врата рейнского замка, барельефы с гробниц майнцских курфюрстов и большая арка из древнего Нюренберга составляют эти континентальные трофеи.

В центре мы видим гораздо полнейшие образчики английского искусства из периода, когда уже любили украшения. Они взяты из Линкольна, Тинтерна, Рочестера, Личфильда, Герфорда и Вестминстера, а статуи во весь рост, изображающие святых мучеников и королей, взятые из Валлийского собора, занимают по стенам ниши над балдахинами и гробницами из Эли и Винчестера. В стороне идет монастырский переход, составленный из различных источников; на одном конце его дверь принца Артура из Ворчестера, на другом несколько богатых орнаментов из Эли. Вход со сводами, ведущий в средневековое отделение, взят из Линкольна, с хоров. По одной стороне его стоит снимок с прекрасных резных дубовых дверей в Личфильде, украшенных железною отделкою и замечательных по крошечным железным цветам.

Из гробниц — замечательнейшие: гробница де-Богуна, убитого Брюсом, и гробница из Гортонской церкви в Линкольншире. Человек, вырезывавший эти гробницы, не читал и не писал стихов; но он жил поэзиею, и его работа — олицетворенная эпическая поэма.

В германском крыле сейденгемского здания, над высоким карнизом, идет целый ряд карликов из мюнхенского ратсгауза. Они фантастически убраны колокольчиками, одеты в конические шапки и подпоясанные камзолы с широкими рукавами; на ногах у них остроконечные башмаки; они ловко пожимают плечами и на лицах их коварно-плачевная гримаса. В маленькой нише мы видим читающих детей, толстого человека, который смеется, взявшись за бока, — и двух ротозеев, спорящих о новостях за кружкою пива.

В арках центральной залы замечательны: несколько фигур ангелов, играющих на лютне и окруженных резьбою. Ниже на левой стороне залы особого внимания заслуживает резной рельеф, состоящий из центральной фигуры, окруженной бордюром, разделенным на двадцать три отделения. На этом бордюре представлены различные происшествия из жизни спасителя: его стра-

дания, смерть и воскресение. Изображения невелики, но сделаны отчетливо, и выражение их лиц полно истины и жизни. Над центральным крестом изображен бог-отец, в виде царственного старца, и св. дух, в виде голубя. В середине, окруженный патриархами, пророками, святыми и царями, изображен спаситель: по правую его сторону ангелы зовут блаженных, между которыми видны Адам и Ева; по левую — служители ада, в виде диких зверей, погоняют грешников. Скупец набивается червонцами из неистощимого мешка, сластолюбца пронзает дикий вепрь, а одно чудовище взбросило грешника на свои плечи.

Несколько других рельефов на противоположной стороне изображают тайную вечерю, отправление на гору страданий, на которой стоят свирепые ландскнехты в средневековом вооружении.

Нет ни малейшего сомнения, что каждый вершок древних соборов был раскрашен. Во многих соборах, под штукатуркою, были открыты раскрашенные колонны, зеленые, красные или позолоченные, и потолки то просто голубые, то усеянные звездами. Немногие из небольших рельефов, уже раскрашенных, лучше тяжелых сероватых изображений Майнца. Одни врата, богато раскрашенные красным, голубым и золотым цветом, довольно великолепны; но они поражают глаз, привыкший судить о готической архитектуре по развалинам. Мертвый камень давно потерял свои цвета и обрастает мхом или лежит скрытый под вечным снегом пуританской штукатурки, и мы привыкли к серому однообразию развалин.

Какой блестящий переход от победы к победе должны были совершать эти люди, переходя от низких арок и массивных норманских столбов к стройным колоннам и высоким, остроконечным аркам, — от колючего листа к лилиям и винограднику, — от низких, пирамидальных башен к высоким шпицам, уносящимся к небу, как пламя свечи, — от грубых ломбардских отверстий к разукрашенным, решетчатым окнам, —

от грубых аркад к стенам, украшенным инкрустациею, к цветам, переходящим в геометрические фигуры, по всем прихотям роскоши и новизны.

Могут ли греки в своих фризах и антаблементах представить что-нибудь возвышеннее той фантазии, которая прорезала эти парапеты, воздвигала эти шпицы, утвердила эти быки, перенесла через пропасти эти паутины из камней, связав их там и сям пучками листьев? Неужели греческие тонкие колонны или скульптурные подножья превосходят эти резные ниши, эти звучно отдающие эхо монастыри, с гробницами монахов внизу и с изображениями святых вверху, с их потолками, держащимися только по законам равновесия, высокими сводами, согреваемыми лучами солнца, проходящими сквозь разукрашенные окна.

Готическая архитектура в этом виде — подобна арабской сказке: наполовину человек, наполовину мрамор — наполовину жизнь, наполовину смерть.

Но прежде, нежели мы кончим, позвольте нам воздать последнее слово хвалы великому воображению и здравому смыслу зодчих готических зданий. Они никогда не теряли из виду необходимости и пользы; они учились делать прекрасным полезное, но не забывали его и превращали необходимость в красоту. Их остроконечные крыши защищают от снега и дождя, хотя и скрывают свою силу под богатой каменной листвой.

Инстинкт, заставлявший цистерианцев селиться на берегах, побуждал бенедиктинца вырезывать в камне цветы и листья и посвящать богу все красоты дольнего мира. Готические зодчие делали с камнем то, что греки с мрамором. Греческий храм был темен внутри, но монастырь был жилищем людей, в котором они выражали все свои чувства. В этих зданиях видно, что их обитатели чувствовали ту же самую теплоту полудня и тот же самый ночной туман, который чувствуем мы. Готическое искусство отражало нашу душу и наш климат.

IX

Отделение Возрождения в Сейденгемском дворце

Мы навсегда прощаемся с грубым камнетесом и сильным мыслителем; на их место выступают полировщик и мраморщик, лакировщик и гранильщик. Здесь еще более листьев на дереве, чем прежде, но это листья паразита-плюща, и в его задушающих объятиях лежит старый ствол дерева, истачиваемый червями.

Как разорванная радуга распускается внезапно в бесцветный дождь, так готическая архитектура скоро смешалась с землею, из которой возникла. Человек скоро возвратился к старому безжизненному варварству, и византийские особенности вошли снова в ежедневное употребление. Листья заняли место человеческих форм, а безжизненная ветвь — место блестящих листьев. Когда дикие, таинственные неправильности готического леса отжили свой век, В о з р о ж д е н и е засеяло землю искусственными цветами. В искусстве, как и в природе, крайности сходятся, и эта эпоха устарения человека была вторым детством, — со всеми слабостями детства, но без грации, со всеми безумствами, но без игривости, со всеми болезнями, но без удовольствий. Византийский стиль был христианским и прогрессивным; стиль Возрождения языческим и идущим назад. Один строил соборы; другой — палаты и будуары. Глубокие механики любили первый; щеголеватые мыслители — второй. Один был оригинальным, неисчерпаемым и плодовитым; другой — робким, условным и неверным. Готизм взывает к духу человека и черпает вдохновение из неистощимого источника; стиль Возрождения обращается к чувственности и приковывает человека к конечному. Материализм и спиритуализм, существенность и идеал, земля и небо встречаются между собою в этих двух стилях. Самоотвержение, важность, задумчивость и энтузиазм готического искусства погибли, когда золото, предназначавшееся для храмов, пошло на украшение приемных.

Декораторы Возрождения снова сплетают в гирлянды сатиров, снова рисуют обнаженных нимф и Венер. Но художник не прибегает уже, как прежде, к природе, чтобы извлечь из нее идеал красоты, а торгует обветшалым сладострастием басен и мечтами других. С тою варварскою любовью к украшениям, которая заставляет дикаря опоясываться цепью из человеческих зубов и уродовать тело татуировкою, последователи Палладия выставили на своих фасадах образчики всех пяти орденов. Если один был хорош, думали они, все вместе должны быть еще лучше. Дорический был спокоен и важен, ионический — грациозен, коринфский — красив и роскошен; но все вместе они напоминали того негрского властителя, который, по словам путешественников, носил дырявую шляпу вместо короны, пару брюк завязывал узлом на шее, прицеплял пару шпор к голым пяткам и воображал себя очень красивым.

Прежнее поколение титанов исчезло в потопе безвкусной, безрасчетной роскоши. Не было уже людей, до того презревших земную славу, что они решались посвятить всю жизнь свою одному великому творению, скрыть навсегда свое имя от потомства. Не было уже того гения, который, насмотревшись на кремнистые вершины гор, воспроизводил их в высоких шпицах, — который подражал в своих арках наклону радуги и в своих склепах горным пещерам, замыкал в обширный орган целую бурю и заставлял ее греметь в гармонических тонах, — наполнял широкие блестящие окна неувядающими, вечно прекрасными райскими цветами.

В эпоху Возрождения не было уже прежней таинственности, не было тусклого полусвета высоких башен, украшенных старинными часами, звуки которых сливались с звуками бури, ни скалистых вершин, с которых неслись напевы церковных хоров, — ни высоких шпицов, вокруг которых носились только вечно веселые голуби, — ни длинных фасадов, где время сокрушало мало-помалу статуи королей и монахов, — ни особых

приделов, сквозь красные окна которых пробивался солнечный луч, отражаясь лучом жизни на каменных ликах молящихся фигур, — ни резных портиков, где монахи день и ночь могли наблюдать за грешником, умоляющим о прощении, ни темных келий, куда редко заглядывал солнечный луч, встречаемый добровольным узником с тою же радостью, с какой ребенок встречает весну. Могло ли все это замениться позолоченными арабесками, штукатурными медальонами, слабыми гирляндами и подмигивающими сатирами, — детьми без невинности, смехом без веселости, разбитными Дианами и Венерами, богами, низведенными до человека, и людьми, упавшими ниже животных, фантастическими гарпиями, небывалыми цветами и плодами? Мифология, потерявшая силу, обманчивая, прикрашенная, снова вышла на сцену, и не для страха людей, не как идеал красоты человека и природы, но как условный, хотя не вовсе приличный наряд, прикрывающий нескромные стремления.

Мы едва можем оценить всю глубину влияния классицизма в пятнадцатом столетии: покоривши некогда своего победителя, Рим, он завладел и новой Европой. Влияние католицизма ослабело, и видения Овидия заняли его место. Искусство любить пользуется у Боккачио высшим авторитетом; Виргилий и Гиппократ, прослывшие у монахов за колдунов и волшебников, вступают опять в свои права. Язон, Геркулес и Александр начинают появляться героями рыцарских романов. Медичисы воскрешают во Флоренции обычаи древних Борджий и превосходят своими неистовствами Неронов и Вителлиев. Дух готизма был исполнен невежества, предрассудков, но зато он видел столько чудес на небе и в воздухе и, сохраняя детскую веру в них, воспроизводил в искусстве свои высокие духовные движения! Внешний лоск и педантизм сменили предрассудочные видения, потрясавшие до глубины душу человека, сочувствующую таинствам природы.

Но если мы жалуемся на скептицизм эпохи Возрождения, на ее хвастовство знаниями и богатствами, мы, тем не менее, не можем осмеивать без различия все ее красоты. Тициан превосходит Сальватора, хотя предметы его картин самые нескромные. Если Рембрандт писал мрачными красками, мы можем найти причину этого в климате его страны; если Сальватор вел разгульную жизнь, мы можем заключить, что и тринадцатое столетие имело свои пороки, и кровь проливалась в свете прежде, чем во Франции введены в моду раздушенные парики.

Хотя Сейденгемское отделение эпохи Возрождения, так же, как и средневековое, разделяется на гражданскую и церковную архитектуру, но противоположность их не так заметна, потому что в этот период между этими двумя архитектурами нет большого различия. Но, может быть, здесь было еще труднее, нежели в предшествующем отделении, соединить гармонически такую кучу истинно царских сокровищ, не превратив зал в складочные магазины. Много сметливости и много вкуса надобно было, чтобы представить нечто целое и последовательное в отделении, в которое вы входите вратами Гиберти (Ghiberti) и из которого выходите большою гужоновскою дверью из Фонтенебло. Требовалось много времени и изысканий, чтобы соединить, не перемешав, двери из Флоренции, статуи из Венеции, разрисованный потолок из Перуджии, алтарь из Цертозы, фонтаны из Нюренберга со всем блеском елизаветинской и позднейшей итальянской залы этого отделения, которые мы будем рассматривать в следующем письме.

Большие врата Гиберти из флорентинской крестильни — одни из тех двух врат, которые, по словам Микель-Анджело, могли бы вести в рай. Воспитанник Джиотто, Гиберти начал врата именно в то время, когда он получил пальму первенства в своей борьбе с Донателло и Бруналески, и кончил их после двадцатилетнего труда, в котором ему помогали отец и девять других скульп-

торов. Вест говорит, что они слишком узки, — Рейнольд думает, что в них итальянское искусство посягает на эффекты, для него недостижимые; но менее расположенный к критике наблюдатель найдет это произведение совершенным. Эти врата открываются по середине и разделены на десять панелей, в которых барельефы изображают библейские сцены. Бордюром целому служат букеты лилий и лупин, колосья пшеницы и дубовые ветви, птицы и плоды. За бордюром видны головы святых и пророков, а в нишах, по интервалам, стоят статуи европейских царей и законодателей.

По левую сторону от этих врат, как вход в какую-то волшебную страну, стоят большие двери Гужона, французского Фидия, с обеих сторон их поддерживают колоссальные кариатиды, драпировка которых может служить прекрасным образчиком орнаментального искусства, в совершенстве изученного этим художником. Над дверьми стоят бронзовый олень и Диана, более чем в натуральную величину, взятые из луврской коллекции.

Из того же самого века, к которому относятся врата Гиберти, есть несколько барельефов Донателло, вырезанных тонким резцом и полных простого, нежного благочестия, напоминающего нам чувства Джиотто, освободившегося от своих архаизмов. Коридор этого отделения орнаментирован разрисованным потолком из перуджийской биржи, с рисунками Перуджино и, как предполагают, его ученика Рафаэля. Эмблематические изображения планет вставлены в медальоны и окружены богатыми арабесками. В середине отделения — два фонтана; один из нюренбергского куриного ряда завершен спокойною фигурою крестьянина, держащего по гусю под каждой рукой; другой — из замка Геллуа представляет купидона, играющего с дельфином, оба дополнены частями венецианского водоема. Под другою стеною два монумента Висконти, — любопытная противоположность торжественным изваяниям прежних столетий. В центре

всего находятся статуи св. Иоанна и Давида, работы Донателло. Внутренний карниз богато орнаментирован бегущими арабесками; а внешний — грубая скульптурная работа, взятая с одного общественного здания в Руане.

Каждый вершок стены покрыт раскрашенными слепками старой резьбы, подмигивающими сатирами, рогами изобилия, купидонами, держащими таблетки, птицами, клюющими плоды, медальонами, висящими на лентах, грациями, полузакрытыми листьями, которые так неглубоко вырезаны, что кажутся скорее рисовкою, нежели скульптурою. Декорации взяты из римских гротесков и лишены краски, которая в то время выходила уже из моды. Вход устлан мрамором, а бордюр из разрисованной черепицы окружает полкомнаты. Стены блестят позолотою и с царской щедростью усеяны цветной каменной резьбой.

Резное дерево этого периода повсюду вытесняет камень, а полированная штукатурка занимает место дерева. В рельефах из цертозского алтаря, представляющих поклонение волхвов, недостает простого благочестия, которого так много в произведениях предшествующих веков. В любопытном итальянском скульптурном изображении «Снятие с креста» выражение лиц несоответственно.

Стиль В о з р о ж д е н и я хотя был низок и в своевольстве и в воздержании, хотя в нем было более чувственности, нежели чувства, хотя его материализм и распущенность кидаются каждому в глаза, но нельзя не признать изящества в его выполнении. Его красоты ложны, но привлекательны. Его патронами были не Вильям из Викенгема и не св. Бернард, но Диана де-Поатье, г-жа Помпадур; его областью — Версаль. Он настроил более палат, нежели церквей, и церкви его похожи на палаты, только не так блестящи. Это был стиль не золота, но позолоты, — не дуба и кедра, но политуры и лакировки, — не каменных сводов, но разрисованных потолков. Он расстилал бархатные ковры,

а не мозаику, — резал дерево охотнее, чем камень, — его орнаменты покрывают все, но ни на одном из них не может надолго остановиться взор. В лице Рубенса этот стиль высыпал все свое богатство, все свои новинки — возможные цвета, всевозможный блеск, золото, бриллианты, ленты, платья, раковины, плоды. Два величайших гения этого века, Рафаэль и Шекспир, принадлежат скорее готизму, нежели Возрождению. Шекспир мало имел дела с классицизмом, а Рафаэль обессмертил свои творения, соединивши в них роскошь своей кисти с благочестием и нежностью прежнего чистого периода искусства.

X

Вторая часть эпохи Возрождения в Сейденгемском дворце

Три самые удивительные вещи в архитектуре — это шпиц, купол и арка. Они удовлетворяют самым главным нашим потребностям, и мы забывали искусство, которое долго достигало красоты, в них преобладающей. Сила знания, — кидающая в воздух целый окаменелый фонтан, покрывающий внутренность огромного собора, как бы одним усилием опрокидывающая над нашими головами лилейную чашу висящего мрамора, — теряется из виду, когда мы глядим на шпиц, арку и купол, как на быстрый вымысел души, а не как на плоды целых столетий знаний и труда. Не должно же забывать, что за эти великие идеи мы обязаны благодарностью людям, выше тех, которых мог воспитать раздушенный и расслабляющий воздух эпохи Возрождения и ее позолоченных гаремов.

Есть одна прекрасная, старая легенда о том, как весь мир сделался бесцветным в одну ночь. Облака сделались безжизненными губчатыми испарениями, волны побледнели и стали недвижимы, огонь улетел из бриллианта и оставил дорогие камни, металли-

ческий блеск змей и яркие краски птиц поблекли, как звезды при восходе солнца. Мир превратился в мастерскую скульптора и все сделалось одушевленным камнем. Такое же разочарование произвели мыслители эпохи Возрождения. Они первые разделили форму и цвет, которые были связаны с начала мира и остались связанными в природе, никогда не скучающей красками.

Азиатские постройки назначены защищать от солнца, готические — от дождя; но постройки в стиле Возрождения—только ослеплять глаза блеском, потому что они не могут достигнуть истинной красоты. Было бы довольно позолоты и инкрустованной штукатурки, а о ветре и дожде этот стиль не заботится.

Глаз египтянина любит тень, глаз северного жителя борьбу света и тени; художники Возрождения любят только свет полудня и блеск красок. В готическом искусстве природа шла нераздельно с религиею: Возрождение предпочитает гирлянды цветов беспорядочной дикости листвы; ему нужны ленты, чтобы связать эти цветы вместе. Украшения развились до злоупотребления. Обитатель Нила не имеет других книг, кроме вечных стен своих храмов, а житель средневековой Европы записывал свои хроники изображениями на окнах церквей. Ум эпохи Возрождения был пресыщен ложным блеском и не мог обойтись без лоску учености. Готические украшения старались только обогащать массивный остов здания; украшения эпохи Возрождения силятся сделаться самим зданием.

Великая заслуга этой эпохи, впрочем, состоит в том, что она сделала то же для архитектурной роскоши, что книгопечатание для образования. Она унизила, но распространила искусство: она дала начало немногим могучим потокам, но оросила и освежила огромные пространства. Индивидуальный дух сузился, но общественный расширился. Прежде искусство сосредоточивалось в монастырских соборах или замках баронов, теперь оно стало украшать лавки и фабрики.

Слитки золота сделались легче по тяжести, но, перечеканившись в легкую монету, обогатили целые королевства. Платон жаловался на введение письма, видя в нем причину ослабления памяти и причину необдуманной легкости суждений: — что же бы сказал он о книгопечатании!

Великие умы эпохи Возрождения имели сложный характер, и их трудно разделить на классы. В них мы видим соединение готического и классического характера; чистый готизм и чистый классицизм перемешиваются в самые разнообразные соединения, отмеченные печатью столетия. Микель-Анджело, характер сильный и римский, носил неизгладимую печать готизма и христианства, в характере Рафаэля мы видим католицизм, смягченный античною грациею, — Шекспир чисто принадлежит к готическому периоду, тогда как мысли Спенсера увлекаются классическими сценами.

Фасад елизаветинского отдела взят из Голландского дома, а внутри мы видим несколько надгробных памятников из Вестминстерского аббатства, включая сюда памятники королевы Елизаветы, Марии Шотландской, графини Ричмонд и пр. Смерть, великий проповедник примирения, свела здесь двух властительниц, так долго соперничавших между собою. Они не очень противоположны друг другу, но лицо наследницы Тюдоров суровее, и нижняя челюсть ее тяжелее, нежели у француженки. Вот брови, хмурившиеся на испанцев; вот лилейная шея, стройная и высокая, несчастной Марии.

Итальянская часть этого отделения имеет в центре фонтан с Piazza di Tartarughi в Риме. По всем четырем концам его находятся четыре колоссальных статуи Дня, Ночи, Вечерней и Утренней Зари, работы Микель-Анджело, взятые из капеллы Медичисов во Флоренции. В другом углу той же залы будут стоять: возвышенная, задумчиво-воинственная фигура Козмы Медичиса, Благочестие, Смерть Христа, Спаситель и дева — все работы того же художника.

В дополнение этой коллекции творений великого гения, недостатки которого превосходили достоинства других людей, который превзошел даже Данте в описании ада, который, руководимый только светом своего собственного высокого разума, без образцов, превращал мрамор в образцы вечной красоты, Сейденгемский дворец имеет знаменитого Персея Челлини. В коридоре, под разрисованным потолком из Венецианской библиотеки, где и до сих пор еще стоят книги Петрарки, на пьедесталах, составленных из знамен Венеции, помещены Бахус Сансовино и Меркурий Иоанна Болонского. Внешняя отделка взята из Фарнезского дворца, а внешний фасад, стоящий на правую руку, из Casa Taverna в Милане.

Врата из Кампаниллы, Распятие из Цертозы, Тритон Монторсоли и Madonna della Scarpi'a дополняют содержание этого отделения, которое, за исключением греческого, богаче всех прочих статуями. Оно может быть в особенности полезно для людей, изучающих живопись. Они здесь научатся, чему должно удивляться, чего должно избегать даже в великих учителях. Эти титаны Буонаротти также мало гармонируют с танцующими купидонами и манящими плодами, как тигр с теми цветами, которые он топчет, пробегая по полю. Несмотря на ненатуральную величину этих тяжелых колоссов, на их странные, подавляющие формы, они до того проникнуты сжатою силою и грубою идеальностью, что вы готовы, вместе с Торреджиано, сказать им — «иди».

XI

Отделение современной скульптуры в Сейденгемском дворце

Натурализм есть единственная особенность, которая возвышает современного скульптора над подражателями антикам. Если он изображает Убийцу

оленя, все искусство его заключается в отделке влажных волос умирающего животного: великая цель нынешнего скульптора состоит в верном воспроизведении тела, хотя и в этом отношении натурализм не достиг еще ступени, на которой стояли греки. Современные скульпторы любят изображать детей и берут сюжеты из домашней жизни гораздо чаще, нежели древние. Мы реже представляем теперь поэзию идеала, чем поэзию чувства.

Современная скульптура находит себе в Сейденгемском дворце полное представительство в произведениях итальянской, французской, германской и английской школы. В английском отделении мы видим грацию и чистоту Гибсона, нежность Маршала, силу Лёфа, тонкость резца Вестмакота и достоинство Тида. Бель, Макдональд, Лагрью, Спенс и прочие стоят возле оживленных созданий Рубильяка и несколько тяжелых классических творений Бэкона.

Из германской школы мы имеем несколько прекрасных произведений Рауха и Шванталера; не забыты также Даннекер, Ритчель, Майер, Драк и пр. Итальянский отдел очень богат статуями Кановы, а именно: Танцующая девушка, Нимфа и Купидон, Три Грации, Марс и Венера, Парис, Венера и Адонис, Геба, Магдалина и пр. Ринальди Бриджио, Санджоржо, Бартолини, Стратца также принесли сюда свою дань.

Французское отделение по обыкновению привлекает живописностью и тонкою отделкою тела. Фрекен, Клоде, Дюре, Бозио Жюльен, Лекен, Нантейль, Дебэ, Дюпре, Гильом и прочие наполняют это отделение. Французские скульпторы, хотя весьма нежные в отделке, имеют мало воображения и честолюбия. Сюжеты, избираемые ими, — самые обыденные, в исполнении редко видна смелость. Самое высшее усилие французской скульптуры мы видим в «Каине и его детях» г. Этекса; но и здесь много красоты, а мало силы. Мы видим тут только дюжую фигуру мужчины, несколько

театрально играющего с своею семьею, которая артистически сгруппирована вокруг него. Французские богини очень милы и шаловливы, но их лица и фигуры не совсем согласуются с их именами, — скромность, чистота и т. д. Купидон в люльке Фрекена — статуя, представляющая купидона, уснувшего в гнезде юпитерова орла, прекрасна по мысли, но уступает в отделке группе г. Дебэ, представляющей мать, укачивающую на своих коленях трех малюток.

Современные итальянские скульпторы все помрачаются произведениями Кановы, их оконченностью и грацией, их мягким сладострастием и бархатною поверхностью, точно так же, как и их множеством. Канова — Лавренс в скульптуре; его мужчины слишком женственны и его женщины не совсем добродетельны. Его резец освещает все нежным, поэтическим полусветом, тогда как резец Микель-Анджело кладет на все отблеск молнии. Один одевал члены своих статуй грозою, другой — французскими кружевами. Один жеманится и хвастается, как балетмейстер, в таких статуях, как Марс и Венера, другой, изображая тело в спокойном положении, не может не придать ему напряженности мускулов, напоминающей предсмертные усилия. Один высекал для мужчин, — другой для женщин. Синьор Магни из Милана довольно успешен в своем поэтическом натурализме.

Германские художники откровенны, глубокомысленны и классичны; но в их произведениях иногда недостает здравого смысла. Трудно представить себе что-нибудь нелепее статуи Рауха — Апофеоза Фридриха Великого. Герой представлен здесь в полном мундире, треугольной шляпе, ботфортах, со шпагой и на спине орла, уносящегося к небу. Венера Торвальдсена — одно из лучших произведений современной скульптуры, и гораздо выше рельефов того же скульптора — Четыре времени года, которые мертвы и сухи. Вайдеманов Охотник, защищающий своих детей от пантеры, —

хороший и хорошо выполненный сюжет, но в сравнении с греческими статуями похож более на модель, нежели на совершенно конченное произведение; точно так же, как современный портрет кажется очерком в сравнении с произведениями Тициана.





О ПРЕСТУПНОСТИ В АНГЛИИ И ВО ФРАНЦИИ[14]

Статистика преступлений и проступков доселе мало исследована в Англии; сами англичане, кажется, только с недавнего времени принялись серьезно изучать этот предмет. Во всяком случае, сравнение этих фактов с фактами того же рода во Франции не может не быть в высшей степени любопытно и поучительно.

Англия ежегодно издерживает два миллиона фунтов стерлингов (12 500 000 руб. серебром) на пресечение и наказание преступлений и проступков. Тюрьмы королевства набиты битком; в тюрьмах одной собственно Англии перебывает в год до 130 000 арестантов; в Ирландии население тюрем составляет обыкновенно от 10 000 до 11 000 человек; в Англии—от 12 000 до 13 000; сверх того, от значительного числа осужденных отечественная почва освобождается отсылкою их на понтоны или в исправительные поселения. Преступление имеет свои приюты вне отечества, в которых осужденным предоставляется заслуживать освобождение, пройдя через испытание неволи и принужденной работы. Несмотря, однако, на обширность этой системы карательных и исправительных учреждений, развитие зла так быстро, что ее беспрестанно приходится расширять.

Число подсудимых в 1848 году составляло на одну Англию с Валлисом 30 349 человек; на Шотландию

4 909, на Ирландию 38 522; итого на все три королевства 73 780 человек. Если б к итогу преступлений и проступков, подлежащих разбирательству ассизных и четвертных судов (assizes and quartier sessions) присоединить проступки судимых полицейскими судами, получились бы цифры, о которых нельзя подумать без ужаса. В одной Англии с Валлисом число не подсудимых, а только осужденных этого разряда в 1843 году доходило до 73 196 человек, для чего должно предполагать, по крайней мере, 110 000 подсудимых, впрочем, к 1846 году эта цифра опустилась до 64 899. А как в уголовных судах было судимо в 1843 году 29 591 человек, то следует, что общее число провинившихся всякого рода в этом году составляло на Англию с Валлисом 102 787 человек, то-есть по одному провинившемуся на 155 жителей. Если принимать в расчет одни преступления и проступки, подлежащие разбирательству ассизных и четвертных судов, во всем королевстве Великобритании и Ирландии в 1848 году приходилось приблизительно по одному подсудимому на 375, а собственно в Англии по одному на 560 жителей.

Английские криминалисты, не имея возможности не признавать обширности и постоянного увеличения зла, стараются, по крайней мере, доказать, что это прискорбное явление не есть исключение в европейской цивилизации. Джозеф Флетчер представляет, что если во Франции число преступлений, вносимых в суды присяжных, несколько уменьшилось, в двадцатилетний период времени, с 1827 года по 1846 год включительно, то, с другой стороны, число проступков и нарушений, подлежащих рассмотрению судов полицейских, умножилось в этот же период двадцатью семью на сто. Затем он сравнивает эту пропорцию с умножением преступлений и проступков за тот же двадцатилетний период в Англии с Валлисом и, исчисляя его в тридцать три на сто, выводит, что разность пропорции для обоих государств составляет только шесть на сто. Французские писатели, в свою очередь, не отвергая точности этого

вычисления, стараются ослабить значение вывода, ссылаясь на различие системы уголовного судопроизводства в обоих государствах. Неопровержимо, однако, то, что хотя в Англии преследование преступлений предоставлено частным лицам, и следствие производится только, когда на виновного поступит жалоба, тем не менее, уголовная расправа в Англии несравненно исправнее, чем во Франции, где, конечно, добрая четверть проступков вовсе не доходит до сведения судебной власти. Это объясняется характером обоих народов. Англичанин питает глубокое почтение к закону и преследует судебным порядком каждый проступок, каждое преступление, доходящие до его сведения, хотя бы они вовсе не касались его лично. Француз, напротив, от природы враг закону — он его презирает, радуется нарушению его или его бессилию, и зачастую лучше согласится безмолвно нести ущерб, чем навязать себе хлопоты судебного следствия или возбудить передрягу разбирательства судом присяжных — учреждением в высшей степени не сродным французскому нраву. Да и чем же дорожит он в самом деле?

Если рассматривать каждое из названных государств в отдельности, то совершенно справедливо, что число проступков, подлежащих разбирательству полицейских судов, умножилось в том и в другом в страшной пропорции. Отчеты уголовных судов свидетельствуют, что число проступков сколько-нибудь важных, судимых полицейским судом, умножилось во Франции с 1827 года до 1846 года с лишком на 100 процентов *. Это увеличение особенно ощутительно в отношении воровства, которое с 1826 года по 1830 год представляло в год средним числом 12 576 подсудимых, а в 1846—31 768, что составляет за двадцать лет страшную пропорцию 150 на 100. Прогрессия на этом не остановилась; в

---

* В 1827 году число подсудимых было 48 316; в 1846 г. — 100 362.

1847 году число подсудимых за воровство было 41 626 человек, что составляет одного подсудимого на 900 жителей.

Англия представляет за последнее двадцатилетие прогрессию далеко не столь быструю. Действительно, число подсудимых за простое воровство и домашнюю кражу в 1810 году составляло 3 530 человек; в 1816—6 123; в 1826—11 122, а в 1847 году увеличилось до 18 380, что составляет возрастающую пропорцию: за первый период около 425 на 100, за второй — в 200 на 100, а за третий — в 65 на 100. Сверх того, полицейскими судами осуждено и приговорено за мелкие кражи в одной Англии (в 1843 году) 3 170 человек.

Итог преступлений и проступков против собственности с насилием или без насилия за 1848 г. представляет на Англию с Валлисом 26 072 подсудимых, на Шотландию 3 112, на Ирландию 22 101; всего 51 282, или по одному на 550 жителей.

Если из приведенных цифр захотим сделать логический вывод, то найдем, что собственность во Франции и в Англии, достаточно огражденная законами, нигде более не подвергается преступным покушениям, чем в этих же двух государствах.

Наблюдая общий ход преступничества, каждый без труда заметит, что возрастание его не представляет постоянной, одинаковой на каждый год пропорции. Так, официальные отчеты за 1836 год в Англии показывали 47 797 подсудимых; в 1837 и 1838 годах эта цифра уменьшилась; в 1839 опять поднялась до 54 244, а в 1842 году, который представляется высшим пределом этой возрастающей прогрессии, дошла до 56 684. За этим опять следует период уменьшения: в 1845 году число подсудимых упало снова на 44 536, что составляет против 1842 года уменьшение на 21 процент. С 1846 года прогрессия опять начинает возрастать; число подсудимых в этом году восходит до 47 668, в 1847 до 64 677, а в 1848 до 73 780, что составляет увеличение на 30 процентов против 1842 года, на 65 процен-

тов против 1845. Чрезмерное умножение преступлений и проступков в последние два года нельзя приписывать единственно причинам, постоянно действующим; оно в значительной мере происходит от причин временных, исключительных: голода, свирепствовавшего в 1847 году, и политических волнений 1848 года.

Указанное нами отступление от постепенного развития преступничества особенно поражает в Ирландии. В Шотландии прогрессия возрастает медленнее, но постояннее *. Англия представляет как бы средину между мерным и постоянным возрастанием преступничества в Шотландии и порывистыми, чрезмерными усилениями его в Ирландии.

В 1836 году считалось в Ирландии подсудимых 23 891 человек. В следующем году цифра эта уменьшилась до 14 804, а в 1838 году опять возросла до 26 392. С 1839 года по 1849 число подсудимых в Ирландии колеблется между 23 833 и 20 126; в 1845 году упадает на 16 696, потом возрастает до 31 209 в 1847 году и до 38 522 в 1848. В этом году Ирландия представляет одного подсудимого на 208 жителей, тогда как в Англии считается один подсудимый на 550 жителей.

Во Франции в ходе преступничества также замечаются хорошие и дурные годы. Но среди смут и революций, вечно волнующих эту несчастную страну, невозможно ясно усмотреть его отношения к вероятным внешним причинам.

Английские статистики занимаются почти исключительно фактами, относящимися к собственно Англии. Г-н Флетчер составил погодную таблицу числа подсудимых с 1810 года и, в противень ему, вывел средние цены на хлеб, чтобы можно было судить о возможном влиянии дороговизны хлеба на умножение преступле-

* В Шотландии число преступлений с 1832 года по 1842 постоянно возрастало с 2922 подсудимых до 4189. В следующее четырехлетие оно понижалось и в 1845 опустилось до 3537 подсудимых; потом опять начало постепенно возвышаться, и в 1848 году дошло до 4909 подсудимых.

ний. Мы представим только общие выводы из этой таблицы. С первого взгляда на нее видно, что за немногими и незначительными отступлениями ход преступничества в Англии до 1842 года представлял возрастающую прогрессию. В 1843 году начинается противоположное движение — уменьшение преступничества, но продолжается только до 1846 года; тут число преступлений начинает опять умножаться с новою силой, и в 1848 году достигает почти той же цифры, на которой остановилось в 1842. Вообще, колебания в ходе преступничества, когда оно нисходит к низшему пределу, совпадают с понижением цен на хлеб; доказательством тому могут служить годы 1814, 1820, 1822 и 1835. Те же годы, в которые развитие преступничества восходит до высших пределов, постоянно замечательны также или по чрезмерной дороговизне хлеба, или по какой-либо неурядице, волнующей низшие слои общества. Так, в 1812 и 1817 годах высокая цена на хлеб, без сомнения, имела большое влияние на умножение числа преступлений и проступков. Когда за хлеб надо платить по 125 шиллингов за квартер (почти четыре рубля серебром четверик), не многие работники имеют возможность прокармливать семейства своим трудом. В 1815 году чрезвычайное усиление преступничества произошло преимущественно вследствие распущения войск. В 1819 число преступлений возросло под влиянием волнения во всем королевстве. В 1825 и 1842 торговый кризис прекращением работ и нищетою разжег все дурные страсти в государстве; наконец, в 1831 и 1832 годах равновесие было нарушено политическим волнением: все помнят, как в Бристоле стреляли картечью.

Впрочем, оставив в стороне временные обстоятельства, которые в данную эпоху могут усилить это стремление, нельзя не сознаться, что в преступлениях и проступках есть стремление к умножению, независимое от всех случайностей как в Англии, так и во Франции. Конечно, надо принять в соображение увеличение

числа жителей, но причиною признать его невозможно. Во-первых, число преступлений и проступков умножается в несравненно быстрейшей пропорции, чем народонаселение; действительно, народонаселение Англии и Валлиса, по переписи 1811 года составлявшее 10 150 615 душ, к 1841, как видно из переписи этого года, возросло до 15 911 725 душ, т. е. на $57^3/_4$ процента, между тем число подсудимых в эти же тридцать лет умножилось с 5 337 до 27 760, т. е. на 420 процентов. Притом преступничество усилилось почти одинаково и в Англии и во Франции, тогда как во Франции народонаселение умножилось только на 25 процентов, а в Англии более чем вдвое против этого.

Теперь приступим к этой массе преступлений и проступков и рассмотрим в подробности элементы, из которых она слагается.

Какая доля приходится на каждый пол в этом общем итоге преступничества страны? В начале настоящего столетия женщины в Англии составляли очень высокую пропорцию в общей сумме преступлений и проступков: на 100 мужчин считалась 41 женщина. После, по наступлении мирного времени, при чрезмерном усилении преступничества вообще, эта пропорция уменьшилась до $18^1/_2$ процента женщин на 100 мужчин. С тех пор она постоянно увеличивалась, особенно в последние годы: в 1843 году составляла 22 на 100, а в 1847 — 25 на 100. Пятилетие, кончившееся 1848 годом, представляет увеличение против предыдущего пятилетия, по 1842 год, 7-ю проц.

Это составляет социальное явление величайшей важности. От нравственности женщин преимущественно зависит состояние нравственности всего семейства. Мать во всех классах общества имеет несравненно большее влияние, чем отец, на умственное и душевное развитие ребенка, это преобладание материнского влияния особенно разительно в низших классах. Г-н Саймонс очень основательно замечает, что между тем как отец весь день работает вне дома, ребенок проводит все это

время под надзором и влиянием матери; стало быть, ее наставления и ее примеры направляют развитие его разума, в них почерпает ребенок в тот нежный возраст, когда впечатления так глубоко врезываются в его душу, все свои понятия о добре и зле, склонность к добродетели или к пороку. В стране, где нравственность женщин испорчена, семейство также заражается порчею и семейные узы быстро распадаются. Следовательно, умножение преступлений и проступков между женщинами составляет самый прискорбный признак в развитии преступничества в Англии.

Положение Франции в этом отношении еще хуже. В 1846 году пропорция подсудимых женщин составляет 71 на 100, а в 1847 — 69 на 100; в числе подсудимых за самые обыкновенные проступки женщины являются в пропорции 67 на 100. Французские писатели, разумеется, стараются скрасить эту ужасную пропорцию, ссылаясь на разность способов счисления; цифра, однако, остается страшная, несмотря на все их извороты, и притом объясняется очень просто — гнусными учениями о семейных и социальных отношениях, распространившимися и до сих пор существующими во Франции.

Женщины не во всех родах преступлений участвуют в одинаковой пропорции. В преступлениях против лиц считается в Англии $14^1/_4$ женщин на 100 мужчин, в преступлениях против имущества, сопровождаемых насилием, 83; в преступлениях против имущества без насилия 29. Странное дело, что в числе 72 подсудимых за убийство в 1847 году находится 39 женщин; в покушениях на убийство они участвуют в пропорции 25 на 100; между подсудимыми за прием и укрывательство краденых имуществ в пропорции 32 на 100. Следовательно, в различных формах, в которых проявляется преступление, насилие им не более чуждо, чем хитрость.

Из приведенных цифр видно, что мужское народонаселение в Англии совершает впятеро более преступ-

лений и проступков, чем женское. Теперь другой вопрос: в каком возрасте, в том и другом поле, склонность к преступлению проявляется с наибольшею силою? Следующая таблица, составленная г. Нисоном, по средним числам за 3 года, 1842, 1843 и 1844, представит сравнительные выводы в самом наглядном виде.

Возраст	Процентное отношение преступников к народонаселению в год		Число жителей на одного преступника		Процентный избыток преступлений в мужск. поле
	Мужчин	Женщин	Мужчин	Женщин	
Моложе 15 л.	0,094	0,080	2024,7	12500,0	475,1
От 15 до 20 »	6,841	1,495	146,2	668,9	350,7
» 20—25 »	7,702	1,459	129,8	770,4	493,3
» 25—30 »	5,989	1,141	167,0	876,4	424,8
» 30—40 »	3,794	0,817	263,6	1224,0	364,3
» 40—50 »	2,504	0,643	399,4	1555,2	289,4
» 50—60 »	1,694	0,466	590,3	2145,9	265,2
Старше 60 »	0,813	0,186	1230,0	5373,5	336,8

Из этих чисел раскрывается чрезвычайно важный факт, что около четверти совершающихся преступлений и проступков заключается в пятилетнем периоде между двадцати- и двадцатипятилетним возрастами, что пятилетний период между пятнадцати- и двадцатилетним возрастами представляет почти такое же число подсудимых; что подсудимые от 15 до 20 лет составляют почти половину всего числа подсудимых; наконец, что число подсудимых от 25 до 30 лет, вдруг понижаясь в значительной пропорции, 62 проц. меньше числа подсудимых от 20 до 25 лет, и $50^3/_4$ проц. меньше числа подсудимых от 15 до 20 лет.

Число подсудимых за три года: 1842,1843 и 1844

Возраст	Мужчин	Женщин	Итого
Моложе 15 л.	4 351	701	5 052
От 15 до 20 ».	16 535	3 716	20 250
» 20—25 ».	18 056	3 767	21 819
» 25—30 ».	11 843	2 391	13 422
» 30—40 ».	11 031	2 672	14 515
» 40—50 ».	5 807	1 548	7 355
» 50—60 ».	2 588	761	3 349
Старше 60 ».	1 330	350	1 680
Итого:	71 540	15 902	87 442

Пропорция гораздо значительнее в некоторых графствах, особенно в столице и в графствах Ланкастрском и Варвикском, где огромное ли скопление народонаселения, или чрезвычайное развитие промышленности представляет больше искушений дурным наклонностям человеческого сердца. Например, в Ланкастрском графстве, центре бумагопрядильной промышленности, приходится подсудимых от 15 до 25 лет по одному на 133 жителей мужского пола того же возраста; в Варвикском, средоточии металлургической промышленности, по одному на 85, а в Мидльсекском, заключающем в себе большую часть Лондона, по одному на 73 жителей. Число подсудимых от 20 до 25 лет составляет следующую пропорцию: в Ланкастрском графстве один на 120 жителей мужского пола того же возраста, в Мидльсекском — один на 104, а в Варвикском — один на 92 жителей. В 1847 г. в Мидльсекском графстве на 100 подсудимых было 35 моложе 20 лет; в земледельческих же округах пропорция их была 26 на 100.

На все королевство пропорция молодых преступников к остальному числу подсудимых беспрестанно

увеличивается, даже в те годы, в которые развитие преступничества вообще, повидимому, приостанавливается. В 1842 году, когда общая цифра преступлений и проступков дошла до высшего предела, пропорция подсудимых моложе 15 лет составляла $15^1/_3$ проц., пропорция же подсудимых от 15 до 20 лет — 22 проц. В 1846 году пропорция первых увеличилась до $6^1/_2$, а вторых до $24^1/_2$ проц.

Замечательно, что и в Англии и во Франции склонность к преступлениям раньше развивается в женщине, чем в мужчине; самое большое число преступлений в женском поле находим от 15 до 20 лет, тогда как между подсудимыми мужского пола оно является от 20 до 25. Это явление нельзя объяснить единственно тем, что женщина вообще развивается ранее мужчины, оно, очевидно, и преимущественно происходит от развития распутства, которое влечет за собою столько других пороков.

На 1000 подсудимых мужского пола считается в Англии 60 подсудимых моложе 15 лет, 213 от 15 до 20 и 709 старше 20. На тысячу подсудимых жен. пола находим 45 моложе 15 лет, 233 от 15 до 20, 622 старше 20. От 20 до 25 лет пропорция в мужском поле составляет 253, а в женском — 237 на 1000.

Так как высшая точка развития преступничества в мужском поле достигается позднее, чем в женском, то и уменьшение его в последующие годы идет быстрее. Если принять пределом для обоих полов двадцатилетний возраст, то найдем, что в последующие периоды жизни преступничество уменьшается в мужском поле в пропорции 37 на 100, в женском же в пропорции только 25 на 100.

Во Франции на тысячу подсудимых за обыкновенные проступки в мужском поле приходится: 52 несовершеннолетних моложе 16 лет, 126 несовершеннолетних — от 16 до 21 года и 822 совершеннолетних. На 1000 того же рода подсудимых женского пола приходится 50 несовершеннолетних моложе 16 лет, 101 от

16 до 21 года и 849 совершеннолетних. Наибольшее число несовершеннолетних подсудимых женского пола находим в 1847 году; то-есть в период, непосредственно предшествовавший роковой февральской революции.

Из этого сравнения видно, что в Англии подсудимых моложе 20 лет приходится — в мужском поле 291, в женском 278 на 1000; во Франции же подсудимых моложе 21 года считается мужского пола 178, женского — 151; следовательно, преступничество в Англии развивается ранее, чем во Франции; но заключение, которое французские писатели выводят из этого обстоятельства в пользу своего отечества, совершенно неправильно, как мы увидим при рассмотрении следующего вопроса.

Какое влияние на число преступлений и проступков имеют распределение населения по поверхности края и различные промыслы, которым посвящена его деятельность? Англия отличается от европейского континента одною замечательною чертою — огромными скоплениями людей в городах. Лондон содержит 2,5 млн. жителей, что составляет около восьмой части всего населения Англии и Валлиса и двенадцатую часть народонаселения всех трех королевств. На континенте Париж, представляющий самое значительное скопление народа в Европе, содержит только 900 тыс. жителей, что составляет одну тридцать восьмую часть населения Франции. В Англии и в Шотландии мы находим несколько городов, представляющих народонаселение в 300 тыс. душ, цифру, которая на континенте встречается только в немногих столицах. Вообще, городское население в собственно Англии составляет более трети всего населения страны, тогда как во Франции оно не составляет даже пятой части. А так как города образуют главные сосредоточия промышленности и богатства, то преступничество в Англии должно бы быть почти вдвое больше, чем во Франции. С этой точки зрения, сравнения приводят к заключениям, совсем неблагоприятным нравственности французского народа, мы видели, что пропорция в той и другой стране

Названия графств	Число жителей в 1841 году	Число жителей на 100 экров	Пропорция на 100 выше или ниже средней	Число подсудимых мужск. пола Сред. за 1842, 3, 4	Пропорция выше или ниже сред. 1842,3,4
1. Вестморленд	56,454	11,6	— 73,0	27	—66,3
2. Иорк (северный уезд) .	204,122	15,5	— 63,9	—	—
3. Кумберленд .	178,038	18,3	— 57,4	82	—68,2
4. Южный Валлис	515,283	19,0	— 55,8	—	—55,7
5. Северный Валлис	396,320	19,4	— 54,9	—	—61,2
6. Гирфорд . . .	113,878	20,9	— 52,1	198	+19,3
7. Нортумберленд	250,278	20,9	— 51,4	211	—46,3
8. Линкольн . .	362,602	21,7	— 49,5	445	—19,6
9. Рутленд . . .	21,302	22,3	— 48,1	32	+ 1,9
10. Гунтингдон .	58,549	24,6	— 42,8	61	—30,4
11. Дорсет . . .	175,043	27,2	— 36,7	193	—19,2
12. Селоп	119,351	27,8	— 35,3	402	+12,7
13. Кембридж . .	164,459	28,1	— 34,6	231	— 6,2
14. Уильтс . . .	258,733	29,6	— 31,1	421	+11,6
15. Иорк (восточный уезд) . .	233,257	30,5	— 29,1	838	—22,4
16. Нортгемптон.	199,228	30,6	— 28,8	271	—10,9
17. Суссекс . . .	299,753	31,3	— 25,8	406	— 3,4
18. Норфольк . .	412,664	31,9	— 25,8	669	+16,2
19. Дивон	533,460	32,2	— 25,4	550	—24,5
20. Суффольк . .	315,073	32,5	— 24,4	501	+12,3
21. Букингем . .	155,983	33,0	— 23,2	266	+20,0
22. Оксфорд . . .	161,643	33,4	— 22,3	274	+12,1
23. Беркс	161,147	33,5	— 22,1	269	+ 9,6
24. Соутгемптон .	355,014	34,1	— 20,7	517	— 1,3
25. Эссекс	344,979	35,2	— 18,1	597	+17,5
26. Бедфорд . . .	107,936	36,4	— 15,3	184	+21,4
27. Гентс	157,207	39,0	— 9,3	263	+14,2
28. Корнваллис .	341,279	39,8	— 7,4	218	—54,1
29. Сомерсет . .	435,902	41,4	— 3,7	897	+37,6
30. Дерби	272,217	41,4	— 3,7	277	—32,7
31. Лейстер . . .	215,867	41,9	— 2,6	434	+40,3

Продолжение

Названия графств	Число жителей в 1841 году	Число жителей на 100 экров	Пропорция на 100 выше или ниже средней	Число подсудимых мужск. пола Сред. за 1842, 3, 4	Пропорция выше или ниже сред. 1842,3,4
32. Монмут . . .	134,355	42,3	— 1,6	207	—12,1
33. Дургем . . .	324,284	46,2	+ 7,6	264	—49,0
34. Нотингем . .	249,910	46,7	+ 8,6	311	—12,5
35. Ворстер . . .	233,336	50,4	+ 17,2	533	+54,7
36. Глостер . . .	431,363	53,6	+ 24,6	955	+54,0
37. Кент	548,337	55,0	+ 27,9	852	+ 3,4
38. Честер . . .	395,660	58,8	+ 36,7	798	+34,5
39. Стаффорд . .	510,504	67,4	+ 56,7	994	+22,7
40. Иорк (западный уезд) . .	1154,201	70,0	+ 62,8	—	—
41. Варвик . . .	401,715	70,0	+ 62,8	830	+39,0
42. Суррей . . .	582,678	120,0	+ 179,0	739	—13,0
43. Ланкастр . .	1667,054	147,5	+ 243,0	2,861	+10,0
44. Мидльсекс . .	1576,636	873,6	+1931,6	3,155	+28,4

почти равная. Нет сомнения, что Англию спасает в этом случае религиозное чувство, так глубоко вкорененное в английском народе.

Статистические таблицы представляют вообще довольно большую разность в развитии преступничества между областями, в которых народонаселение более или менее разбросано по всей поверхности, и теми, в которых преобладают скопления людей в городах. Вот таблица, составленная на основании книги г. Флетчера, и представляющая рядом степень скопления народонаселения и развитие преступничества.

При первом взгляде на эту таблицу нельзя не заметить, что в графствах менее населенных совершается вообще менее преступлений и проступков; в графстве Вестморлендском, имеющем только 11,6 жителей

на 100 экров, число подсудимых 66-ю процентами ниже средней пропорции на всю Англию, в Кумберлендском, имеющем 18,3 жителей на 100 экров, оно 68-ю процентами ниже средней пропорции. То же находим в Валлисе и в графствах Гунтингдонском, Нортумберлендском, Линкольнском, Дорсетском, Соутгемптонском, Иоркском и Дивонском.

Наибольшее число преступлений и проступков, очевидно, встречается в графствах, имеющих чрезмерно большое народонаселение.

Так, графства Глостерское, Ворстерское и Честерское, в которых считается жителей 50,4; 53,6 и 58,8 на 100 экров, являются в таблице преступничества 34 и 54 процентами выше средней пропорции. Такой же избыток, хотя не столь огромный, находим в графствах Стаффордском, Варвикском, Сурейском и Ланкастрском, в которых считается жителей 67,4; 70; 120 и 147,5 на 100 экров. Мидльсекс, имеющий жителей 873,6 на 100 экров, в 1841 превосходил среднюю пропорцию только 28 процентами; но в 1847 году избыток возвысился до 72 процентов.

Теперь следует нам приблизиться к источнику преступлений и проступков и рассмотреть влияние промыслов и привычек. При исследовании этих сторон вопроса обыкновенно делят народонаселение на два большие разряда — класс земледельческий и класс промышленный. Первый повсюду значительно многочисленнее второго; но в Великобритании с начала нынешнего столетия перевес перешел на сторону последнего. Самое земледелие приняло там мануфактурный вид; английская ферма представляет настоящий завод, привлекающий множество поденщиков и требующий, подобно всем промышленным предприятиям, значительных капиталов, усовершенствованных наукою способов и предприимчивости.

Г-н Флетчер очень основательно замечает по этому поводу, что народ необразованный, совершенно преданный земледельческим занятиям, всегда будет

представлять несравненно меньшее число преступлений и проступков при малых хозяйствах, чем при больших, и в заключение прибавляет, что при введении в стране более обширной и усовершенствованной системы работ как в мануфактурной промышленности, так и в земледелии для ограждения общества от преступления потребно, чтобы народ находился на высокой степени нравственности. Поэтому Англия, бросившись в мануфактурную промышленность в самых огромных размерах, не могла бы выдержать этого напряжения сил, этого быстрого развития богатства и этого скопления народонаселения в тесные круги, если б в народе не были в необыкновенной степени развиты чувства и начала, возвышающие душу человека. Как ни сильно развиты во всех классах в Великобритании религиозное чувство и сознание долга и хотя общественная иерархия сохранила еще в этой стране почти все свое значение, однако равновесие тотчас поколебалось. Мануфактурная промышленность пробила уже не одну брешь в твердыне этого старого общества, и, по мере ее распространения и развития, усиливается и беспорядок. Во Франции, где земледелие еще в весьма дурном состоянии, где оно даже едва ли когда может достичь высокой степени совершенства, благодаря закону о равном разделе наследства между всеми наследниками, без разбора пола — закону, раздробившему поземельную собственность на бесконечное число мелких участков, которые не представляют никаких средств и не дают дохода, система больших хозяйств еще не ввелась; но хорошая сторона малых хозяйств, именно благотворное действие на нравы, разрушается, с другой стороны, ниспровержением религиозных чувств в доброй четверти народонаселения. Поистине, нельзя не чувствовать омерзения, когда вмешаешься в толпу народа низших классов во Франции; на каждом шагу приходится слышать детей и женщин, произносящих хулу на веру и ее служителей. Чего можно ждать хорошего от такого народонаселения?

Есть страны, в которых промышленность останавливается на степени домашних промыслов, уподобляется — так сказать — земледелию; есть другие, напротив, и к этому числу принадлежит Англия, в которых самое земледелие принимает вид мануфактурно-промышленный. Хотя мануфактурная промышленность в Великобритании наложила свою печать на весь народ, однако собственно мануфактурные графства весьма резко отличаются от тех, в которых преобладает земледелие. Последние служат местопребыванием поземельной аристократии, которой влияние и опека действуют еще весьма благотворно на нравы жителей, мануфактурные графства напротив, подчиненные господству толпы, следуют за знаменем городского промышленного класса и охотнее предаются духу сект, радикальным мнениям, пороку и преступлениям.

В Англии пропорция класса, занимающегося земледелием, к общему числу народонаселения составляет $7^1/_4$ проц,. пропорция же класса, посвятившего себя мануфактурной промышленности,—$16^1/_2$ проц. Г-н Нисон, принимая в основание эти две цифры, сравнивает между собою оба класса народонаселения.

Сгруппировав вместе одиннадцать графств: Линкольн, Рутленд, Эссекс, Гирфорд, Гентс, Уильтс, Букс, Бедфорд, Беркс, Кембридж и Суффольк, в которых пропорция земледельческого класса к общей массе народонаселения представляет самую высокую цифру (средним числом 15 процентов), он выводит, что число подсудимых в этих округах превышает среднюю пропорцию только $4^1/_2$ процентами. Должно притом заметить, для оправдания земледелия, что некоторые из этих округов смежны с Лондоном и, следовательно, необходимо подвергаются в некоторой степени порче, которая исходит от него во все стороны. Результаты получились бы совсем иные, если бы из таблицы г-на Нисона исключить графства Эссекское и Букингемское.

В другой группе, состоящей из десяти графств: Ланкастра, Дургема, Суссекса, Стаффорда, Варвика, Монмута, Честера, Нортумберленда, Дерби и Глостера, в которых пропорция земледельческого класса к общей цифре народонаселения самая малая (средним числом $5^3/_4$ процентов), находим, что число подсудимых превышает среднюю пропорцию 6 процентами. Эта цифра была бы еще гораздо больше, если б к этой группе присоединить Мидльсекс, в котором считается на 100 жителей один земледелец; тогда она превзошла бы среднюю пропорцию 12 процентами.

В таких же сравнительных таблицах, только приняв главнейше на вид фабричное население, г-н Нисон выводит, что в группе восьми графств: Ланкастра, Честера, Варвика, Нотингема, Мидльсекса, Лейстера, Дерби и Стаффорда, в которых промышленный класс преобладает (средним числом 22 на 100), число подсудимых превосходит среднюю пропорцию почти 16 процентами; тогда как в других семи графствах: Кембридже, Гунтингдоне, Рутленде, Эссексе, Линкольне, Суссексе и Гирфорде, где пропорция населения самая малая (средним числом $9^1/_3$ процента), число подсудимых меньше средней пропорции 3 процентами.

Наконец, г-н Нисон представляет в одной группе семь графств: Бедфорд, Дорсет, Гертфорд, Норфольк, Нортгемптон, Селоп и Соутгемптон, в которых оба класса находятся почти в одинаковой пропорции. В этих округах число подсудимых превышает среднюю пропорцию $4^1/_2$ процентами.

Если вычисления г-на Нисона не представляют более резких результатов, то это происходит от самого свойства употребленных им способов, слишком общих и, так сказать, слишком математических. Г-н Нисон рассматривает одни числа и притом принимает их безусловно. При рассмотрении преступничества в земледельческих округах он не обращает внимания на различие племен, которое, однако, имеет большое влияние. Точно так же, разбирая степень нравствен-

ности промышленного класса, он не полагает различия между разными родами промышленности.

Г-н Саймонс пытался пополнить этот недостаток. Он делит Англию в отношении преступничества на шесть больших округов, и каждый округ называет по роду промышленности, в нем преобладающему; округ железных заводов, заключающий графства Стаффордское, Варвикское, Ворстерское и Монмутское; округ рудокопный, содержащий Нортумберленд, Кумберленд, Дургем и Корнваллис; округ бумагопрядильный, которому типом и центром служат графства Честерское и Ланкастрское, округ шелковой фабрикации, ограничивающийся графствами Дерби, Лейстерским и Нотингемским; округ земледельческий, которого представителями служат преимущественно Линкольн, Кембридж, Эссекс, Беркс и Дорсет; наконец, округ столичный, состоящий почти из одного Мидльсекского графства.

В преступлениях против лиц, которых средняя пропорция на всю Англию составляет $1^1/_3$ подсудимого на 10 000 жителей на округ, шелковой фабрикации приходилось в 1847 году $^3/_4$; на рудокопный 1; на земледельческий $1^1/_3$; на бумагопрядильный $1^1/_2$; на округ железных заводов $1^3/_4$; на столичный округ $2^3/_4$ подсудимых на 10 000 жителей.

В преступлениях против собственности, которых средняя пропорция на всю Англию составляет 16 подсудимых на 10 000 жителей, на рудокопный округ приходилось 7 подсудимых; на округ шелковой фабрикации 10; на земледельческий округ 15; на бумагопрядильный $18^1/_2$; на округ железных заводов $20^1/_4$; на столичные $28^1/_4$ подсудимых на 10 000 жителей.

В отношении простого воровства, которого средняя пропорция на всю Англию представляла в 1848 году одного подсудимого на 927 жителей, г. Саймонс выводит, что округ шелковой промышленности представил одного подсудимого на 1266 жителей; рудокопный округ одного на 1137; земледельческий одного на

1015; бумагопрядильный одного на 767; Мидльсекс — одного на 763; округ железных заводов одного на 613 жителей.

Итак, в преступлениях против собственности, равно как и в преступлениях против лиц, классы, занимающиеся рудокопными работами, шелковыми изделиями или домашними промыслами и земледелием, повидимому, возвышаются над среднею пропорцией народной нравственности, между тем как работающие на железных заводах и бумагопрядильных мануфактурах и жители столицы занимают в топографии преступничества наименее лестные места.

Г-н Флетчер не вполне согласен с г. Саймонсом относительно благотворного влияния домашних промыслов. Он представляет для примера графства Букингемское, Гертфордское, Бедфордское и Сомерсетское, принадлежащие к земледельческим округам, но в которых земледелие соединяется с мелкою промышленностью, как-то плетением соломы, тесемочным и перчаточным мастерствами. Тут, правда, преступничество превышает среднюю пропорцию на всю Англию, в первом $18^1/_4$ процентами, во втором $12^1/_4$, в третьем $21^3/_4$, в четвертом 28 процентами. То же можно бы сказать о Нотингемском графстве, одном из трех типов, которые г. Саймонс избрал для того, чтоб дать понятие о домашних промыслах и в котором количество преступлений превосходит среднюю пропорцию $13^3/_4$ процентами. Г-н Флетчер объясняет неудовлетворительное состояние нравственности в этих графствах работами, удаляющими женщин из дома и от своего хозяйства, почему дети остаются без надлежащего надзора, в праздности и невежестве.

Из этого сравнения видно, что г. Саймонс, приписывая домашним промыслам и преимущественно вязальному мастерству замечательное развитие нравственности в Лейстере и Дерби, ошибся насчет его происхождения. Одно и то же влияние не может приводить к таким противоположным результатам и дей-

Название графства	Народонаселение	Число подсудимых за простое воровство в 1848 г.	Отношение подсудимых к народонасел. 1 подсуд. на:
Бедфорд	107 936	137	787 жит.
Беркс	161 647	206	764 »
Букингем . . .	155 983	194	804 »
Кембридж . . .	164 459	138	1191 »
Честер	395 660	604	655 »
Корнваллис . .	341 279	148	2306 »
Кумберленд . .	178 038	81	2198 »
Дерби	272 217	149	1840 »
Дивон	533 460	623	856 »
Дорсет	175 043	149	1173 »
Дургем	324 284	195	1664 »
Эссекс	344 979	400	862 »
Глостер	431 383	640	689 »
Гоксфорд . . .	113 898	167	681 »
Гартфорд . . .	157 107	214	734 »
Гунтингдон . .	58 529	73	802 »
Кент	548 337	599	915 »
Ланкастр . . .	1667 054	1910	872 »
Лейстер	215 877	217	994 »
Линкольн . . .	362 602	340	1066 »
Мидльсекс . . .	566 636	2216	711 »
Монмут	134 355	204	658 »
Норфольк . . .	412 664	481	858 »
Нортгемптон . .	199 228	183	1088 »
Нортумберленд .	250 278	92	2720 »
Нотингем . . .	249 910	259	965 »
Оксфорд	161 643	196	824 »
Рутленд	21 302	18	1150 »
Селон	119 351	209	571 »
Сомерсет	435 982	528	830 »
Соутгемптон . .	355 004	508	600 »
Стаффорд . . .	510 504	773	660 »
Суффольк . . .	315 073	316	997 »
Суррей	582 478	646	901 »
Суссекс	299 753	341	879 »
Варвик	401 815	714	562 »

Продолжение

Название графства	Народонаселение	Число подсудимых за простое воровство в 1848 г.	Отношение подсудимых к народонасел. 1 подсуд. на:
Вестморленд . .	56 454	29	1946 жит.
Уильтс	258 733	272	1951 »
Ворстер	233 336	406	574 »
Иорк	1 154 101	1 054	1095 »
Англия с Валлисом	15 906 839	17 152	927

ствовать благотворно на северные внутренние округа, между тем как в южных внутренних округах оно действует неблаготворно.

Г-н Саймонс объясняет высокую сравнительно нравственность жителей рудокопного округа, кажется, весьма основательно. «В этих графствах, — говорит он, — меньше больших городов, чем в каком-либо другом округе; притом его населяет племя, сохранившее чрезвычайную простоту и первобытность нравов, племя, более привязанное к родной деревушке и к дружеским отношениям соседства и более склонное к христианским чувствам, чем люди, родившиеся и живущие в шумных и беспокойных роях городской жизни. Кроме этого влияния, конечно, весьма сильного, есть еще другие причины, заключающиеся в самом свойстве промысла; опасности, которым ежегодно подвергаются эти люди, внушают им некоторую строгость к себе; опасность вообще располагает к добру и благоразумию, пробуждает нравственное чувство, вселяет в народе какой-то страх зла и тем ставит преграду пороку. Дети в этих округах не оставляются на соб-

ственный произвол, а более подчинены родительской власти; оттого они в своем поведении соблюдают некоторую воздержанность, вовсе неизвестную в округах железной и бумагопрядильной промышленности, где дети с двенадцати лет сами себе господа и пользуются совершенной независимостью. Г-н Саймонс замечает еще, что между женами рудокопов почти не случается краж и что редкость проступков этого рода вполне оправдывает молву о необыкновенной честности жителей рудокопных округов.

Округ железных заводов отличается чрезвычайным развитием преступничества. В течение трех лет, 1842, 1843 и 1844, Стаффордское графство превышало среднюю пропорцию на всю Англию $21^2/_3$ процентами; Варвикское $38^1/_3$ процентами, а Ворстерское $52^3/_4$ процентами. Независимо от этой огромной пропорции в количестве подсудимых, самый образ жизни в округе железных заводов отличается особенною безнравственностью, ему одному свойственною. Едва ли найдется в Англии другая отрасль промышленности, в которой хозяева так мало заботились бы о благосостоянии и добром поведении своих работников. Народонаселение в этих промышленных скопищах чрезвычайно плотно и состоит преимущественно из выходцев из соседних графств, людей сильных и разгульных, привлеченных высокой заработной платой. Работники живут в шалашах, не заботясь ни о чистоте, ни даже о пристойности. Невежество и развратное удальство у них в чести. В каждой деревушке несколько кабаков; местечко Блистон, например, имеющее около 5000 жителей, потребляет ежегодно слишком на 300 000 руб. серебр. крепких напитков *.

* В Великобритании считается более 237 000 кабаков и харчевен, т. е. по одному на 115 жителей. Ценность пива и крепких напитков, потребляемых в Англии, Шотландии и Ирландии, превышает 380 000 000 руб. сереб. Среднее количество потребляемой водки составляет в Англии один галлон, а в Шотландии два галлона на человека.

Несмотря на большие заработки, составляющие средним числом для хорошего и сильного работника до 20 руб. серебр. в неделю, работники на железных заводах обыкновенно бывают бедны, вследствие своей непредусмотрительности и расточительности. При трудной их работе, требующей большого расхода телесной силы, им нужна пища очень питательная, порядочное количество мяса и пива вволю; но они этим не довольствуются; они чрезвычайно падки на лакомые кушанья, вино, дичь, живность. Обеды их зачастую обращаются в пирушки, которые продолжаются всю ночь и даже половину следующего дня, и это происходит в присутствии жен и детей, которые таким образом с малолетства приучаются к разгульному и бестолковому житью. Жизнь здесь самая скотская, и пороки являются в самой отвратительной наготе.

Между причинами, усиливающими развитие преступничества в Лондоне, первое место занимает плотность народонаселения. Независимо от этой общей причины, г. Саймонс замечает, что злодеи и по промыслу находят в столице более безопасное и непроницаемое убежище, чем в другом месте. К этому, по его мнению, должно еще присоединить пагубное влияние и дурные примеры классов общества, стоящих непосредственно над бедняками. Эти классы составляют мелкие лавочники, слуги, лавочные сидельцы, люди, имеющие настолько средств, чтобы только угождать своим низким страстям, как-то матросы, нищие и бесчисленная стая праздношатающихся и бродяг. Присоедините еще к ним воров по промыслу и ирландских выходцев и будете иметь понятие об обширности этого рассадника порчи и разврата, которого вредное действие только отчасти, в весьма малой мере, ослабляется усилиями многочисленных благотворительных и нравоисправительных обществ.

В бумагопрядильном округе порок и преступление не выказываются в таком наглом виде, как в округе кузниц и плавильных горнов; но и здесь беспрестанно

видишь самые страшные признаки развращения ума и сердца.

Г-н Саймонс не избежал ошибки, в которую впадают почти все статистики, которые слишком гонятся за географическим группированием фактов. В заключение своей нравственной географии Англии он выводит, что наибольшее развитие преступничества встречается во внутренних областях к западной стороне; затем он противопоставляет южные графства северным, считая в первых одного подсудимого на 551 жителя, а в последних одного на 1.302 жителей. Однако на самой юго-западной оконечности Англии находится графство Корнвалисское, в котором приходится один подсудимый на 1711 жителей и которое, следовательно, чистотою нравственности превосходит северные графства. Тут может быть отчасти проявляется действие породы. Кельтическое племя, населяющее Корнваллис и Валлис, и скандинавское, занимающее Нортумберленд, кажется, менее саксонского племени склонны к преступлениям и проступкам, вызывающим строгость законов.

Вопрос о влиянии грамотности на нравственность народа из всех вопросов наиболее породил жарких споров и противоречивых заключений. Впрочем, сколько его ни рассматривать, результаты всегда будут получаться довольно шаткие.

Первое затруднение уже то, что нет вполне удовлетворительного способа наблюдения. Например, в Англии единственное средство узнать, в каких округах больше, в каких меньше грамотности, заключается в метрических книгах. По закону каждое лицо, вступающее в брак, должно расписаться в книге бракосочетающихся. Ежегодно в каждом графстве составляется ведомость о том, сколько лиц подписали свое имя, и сколько, за неграмотностью, вместо подписи поставили крест. На этих ведомостях основывается сравнение графств в отношении большей или меньшей образованности их населения. В пользу этого весьма недо-

статочного способа должно сказать, что возраст, в котором совершается большая часть бракосочетаний, есть тот же, в котором встречается наибольшее число преступлений и проступков. Но не подлежит сомнению также, что между работниками, и особенно между матросами, можно найти множество таких людей, которые, никогда не учившись ни читать, ни писать, несравненно образованнее между тем других людей, умеющих очень чисто подписать свое имя и фамилию.

Грамотность не ограждает от преступлений, точно так же, как и безграмотность. Так, в пятилетие с 1838 года по 1842 в тюрьмах считалось 33 подсудимых на 100 совершенно безграмотных, 55 таких, которые могли читать и писать, но с трудом и дурно, и 8, читавших и писавших очень бойко. В следующее пятилетие, с 1843 по 1847, подсудимых первого разряда было 30, второго 58, третьего 8 на 100.

Из этого видно, что большая половина преступников не из самого невежественного класса народонаселения и что сколько грамотность ни распространяется, движение преступничества от того вовсе не изменяется и даже не замедляется. «Если б под словом воспитание, говорит по этому поводу г-н Нисон, разумелось образование и возвышение нравственных начал в человеке, то оно, очевидно, имело бы непременным и прямым последствием уничтожение преступничества. В этом смысле воспитание и добрая нравственность относились бы между собою как причина и действие; высшее развитие воспитания совпадало бы с низшею степенью преступничества. Но если принимать слово воспитание в обыкновенном его значении, если воспитанием считать одну грамотность, обучение арифметике или географии, то сомнительно, чтобы воспитание, так понимаемое, могло иметь какое-либо влияние на ход преступничества».

При всем том, г-н Нисон в своем сочинении старается доказать, что влияние это существует и что его можно усмотреть. Выводит он это следующим образом.

В Англии считается 33 человека на 100, которые при вступлении в брак ставят крест, вместо подписи в метрических книгах. Принимая эту среднюю пропорцию за основание, г-н Нисон распределяет все графства на две группы; те, в которых пропорция крестов превосходит среднюю по крайней мере 33 процентами, т. е. самые невежественные, и те, в которых эта пропорция по крайней мере 25% меньше средней, т. е. те графства, в которых грамотность, повидимому, распространена наиболее. В первой группе, заключающей Гирфорд, Монмут, Бедфорд, Кембридж, Суффольк, Эссекс, Ворстер и Гертс, графства, повидимому, наименее образованные, число преступлений превышает среднюю пропорцию 13 процентами. Во второй группе, заключающей графства наиболее образованные: Букингем, Кумберленд, Суррей, Нортумберленд, Вестморленд, Дивон и Дургем, пропорция преступлений 30 процентами ниже средней.

Надо сказать, что эти таблицы составлены несколько произвольно. Так, например, г-н Нисон в число наименее образованных графств не включает графств Валлисских, которые вместе с тем представляют наименьшее число преступлений; а между графствами наиболее образованными не считает Мидльсекса, который своею пропорциею преступлений и проступков совершенно уничтожил бы его вывод. Заметим еще, что г-н Нисон напрасно причислил Букингемское графство к самым образованным, потому что в 1844 году оно представляло 44 человека на 100, подписавшихся в метрических книгах посредством креста.

Г-н Нисон сам понял важность возражений, которые можно сделать на употребленный им способ. «Мне скажут, пожалуй, — говорит он, — что разность в пропорции преступлений между этими двумя группами графств происходит не от степени грамотности, а от других совершенно причин. Конечно, большая сравнительно степень образованности всегда сопровождается уменьшением в количестве преступлений, и наоборот,

при низшей степени образованности мы находим значительнейшее развитие преступничества; но требуется еще доказать, что эту разность не следует приписать другим причинам. Действительно, можно представить, что развитие воспитания есть последствие развития богатства или образованности другого высшего слоя общества, которые имеют влияние также и на ход преступничества; можно сказать, что низкая степень воспитания сопровождает постоянно некоторые роды промышленности, подверженные частому возвращению неблагоприятных периодов и частым прекращениям работ, а потому ведущие нередко к искушению и пороку».

Чтобы устранить это возражение, г-н Нисон группирует графства по роду преобладающих в них занятий; промышленные и земледельческие графства делит по степени образованности жителей, и потом из этих сравнений выводит следующие заключения.

Между графствами наименее земледельческими, более образованные представляют пропорцию преступничества 13 процентами ниже средней; менее же образованные превышают среднюю 17 процентами. Между графствами наиболее земледельческими менее образованные превышают среднюю пропорцию 8 процентами, более же образованные только одним процентом.

Между графствами наиболее промышленными, менее образованные превышают среднюю пропорцию преступничества 25 процентами; более же образованные превышают ее только 16 процентами. Наконец, между графствами наиболее промышленными, более образованные представляют пропорцию преступничества 9 процентами ниже средней; менее же образованные превосходят ее 4 процентами.

Эти выводы могли бы иметь некоторое значение, если б г-н Нисон сравнил между собою различные уезды одних и тех же графств, одинаковые населения и одинаковые занятия. Но под общее название промыш-

Графства наиболее образованные	Число жителей на одного подсудимого в 1847 г.	Графства наименее образованные	Число жителей на одного подсудимого в 1847 г.
Беркс	481,0	Бедфорд	606,4
Корнваллис . .	1000,8	Букингем	495,2
Кумберленд . .	1483,7	Кембридж . . .	644,9
Дивон	1562,0	Честер	454,3
Дерби	1272,0	Дургем	1162,3
Глостер	395,0	Дорсет	570,2
Кент	616,8	Эссекс	572,1
Линкольн . . .	716,6	Гемпшайр . . .	481,7
Лейстер	644,4	Гирфорд	537,2
Мидльсекс . . .	304,6	Гертфорд . . .	540,2
Нотингем . . .	728,6	Гунтингдон . .	657,9
Нортгемптон . .	819,9	Ланкастр . . .	482,4
Нортумберленд .	1324,2	Монмут	476,4
Оксфорд	540,6	Норфольк . . .	549,5
Рутленд	519,6	Шропшайр . . .	895,3
Сомерсет	563,3	Суффольк . . .	623,9
Суррей	443,1	Суссекс	574,2
Варвик	402,5	Стаффорд . . .	496,6
Уильтс	515,4	Вестморленд . .	1710,7
		Ворстер	376,3
		Иорк	889,0
Народонаселение этих графств в 1841 году было в 7 682 435 душ; число подсудимых в 1847 году 14 660, т. е. по одному на 524 жителя		Народонаселение этих графств в 1841 году было в 7 812 703 души; число подсудимых в 1847 году 13 395, т. е. по одному на 583 жителя.	

ленных графств он подводит без разбора области, занимающиеся рудокопным делом, бумагопрядильным или металлургическим. В графствах земледельческих он соединяет без разбору племена самые противоположные по нраву — саксонцев, кельтов и скандинавов. Можно ли вывести правильное заключение из таких неотчетливых сравнений *?

Г-н Саймонс, соединив в одной таблице все сорок графств Англии, за исключением Валлиса, приходит к совершенно противным результатам.

Средняя пропорция подсудимых в Англии в 1847 году представляла одного подсудимого на 535 жителей; в 19 графствах более образованных находим 6, а в 21 менее образованных — 7 графств, превосходящих эту пропорцию. В первой группе приходится по одному преступнику на 524, во второй — по одному на 583 жителя. Из этого должно бы, повидимому, заключить, что в более образованных графствах преступничество 11 процентами сильнее, чем в менее образованных. Но, повторяем, ход преступничества зависит от такого множества различных причин, что никак нельзя относить этих результатов к влиянию одной какой-либо причины.

Г-н Флетчер замечает, что в наименее образованных графствах совершается самое большое число преступлений против лиц, или злодеяний. То же явление замечено и во Франции. Невежество обыкновенно сопровождается зверскими страстями. В странах образованных вор является мошенником, плутом; в странах более диких каждый вор по промыслу с тем вместе есть и убийца по промыслу. Должно, однако, прибавить издавна дознанный факт, что нигде преступления против лиц не являются в таких свирепых формах, не

* В Шотландии в 1846 году считалось по одному подсудимому на 724 жителей, тогда как в Англии приходился один подсудимый на 573 жителей. Народ в Шотландии вообще образованнее, чем в Англии, и не принадлежит, как в Англии, преимущественно к саксонскому племени.

сопровождаются такими зверскими и возмутительными подробностями, как во Франции. Это происходит от отсутствия религиозных чувств. Убийца во Франции есть не только злодей в душе, или человек бешеный и необдуманный, но вместе с тем и дерзкий безбожник; это правило почти без исключения.

В заключение должно сказать, что образованность, цивилизация, на той степени и в том виде, как она ныне существует, не уничтожает зерна преступления; она только изменяет, обусловливает формы, в которых оно проявляется. Чрез распространение знания она смягчает нравы, но, обуздывая свирепство, насилие, она, может быть, в то же время благоприятствует разврату, под ее влиянием преступничество уменьшается относительно важности формы преступлений, но увеличивается относительно числа их.



Статьи в „Вестнике русского географического общества“



ОБОЗРЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ[15]

(Nouvelles Annales des Voyages. Juin, 1853)

В ПРЕДЛЕЖАЩЕЙ книжке этого журнала находим мы, кроме продолжения начатой прежде статьи о новейшем путешествии доктора Крапфа в Усамбару, очень любопытный обзор нового сочинения Д. Ф. Сармиэнто об Аргентинской республике, — сочинения, о котором в предыдущей книжке «Вестника» успели мы только упомянуть в числе новых книг. Труд г. Сармиэнто имеет собственно предметом междоусобия, раздирающие бывшее вице-королевство Буэнос-Айрес с тех самых пор, как около полувека тому назад оно отрешилось от метрополии своей, Испании. Автор изображает историю этих бесконечных смут не во всей ее обширности, но ограничивается несколькими характеристическими эпизодами, хорошо знакомящими со сценой кровавой драмы и с характером ее главных действующих лиц. Основной темой избрал он жизнеописание Факунда Кироги, одного из военачальников, возникших среди событий и быстро потративших себя в беспрерывной борьбе. Нельзя было попасть на лучший выбор. Кирога принадлежит, подобно Розасу, тому полудикому племени, которое, под именем гаучей, блуждает по необозримым равнинам этой части Америки, не имея ничего, кроме независимости и стад своих. Тщеславясь происхождением от старинных европейских поселенцев, гаучо своими привычками к жизни необузданного кочевника

почти возвратился на чреду туземных дикарей. Он ненавидит и вместе презирает всякого горожанина; ненавидит — за превосходство, которое дается европейским просвещением, презирает — за то, что называет он изнеженностью городской жизни. Эта глубокая ненависть между «полевщиком» и горожанином играет уже сорок лет главнейшую роль в истории областей аргентинских. Точкой исхода была война за освобождение от колониального ига; но едва остыл жар первой вспышки, порожденный обманчивым призраком освобождения, как здешние дела приняли тот характер, который сохраняют и до сих пор, именно — характер борьбы на жизнь и смерть между гаучо и горожанами, или, как метко и справедливо выразился г. Сармиэнто в заглавии своей книги, борьбы между варварством и гражданственностью. Приверженцы последней, наполовину уничтоженные своими дикими противниками, с отчаянием взывают к сочувствию и помощи европейцев. Но каков бы ни был окончательный исход борьбы, книга г. Сармиэнто останется одним из любопытнейших памятников современного бытописания Южной Америки, заключая в себе в то же время обильный источник гоеграфических и этнографических сведений, на которые мы и обратим здесь исключительное внимание.

Начинаем с общего очерка аргентинских областей, как представляет его автор. Американский материк оканчивается к югу стрелкой, которой окраина составляет один из берегов Магелланова пролива. К западу, и не в дальнем расстоянии от Тихого океана, простираются параллельно морскому берегу Чилийские Анды. Земли, лежащие на восток от этого хребта и на запад от Атлантического океана, вдоль по течению Рио де-ла-Платы и вверх по Уругваю, образуют тут страну, которая носила некогда имя Соединенных областей Рио де-ла-Платы и в которой доселе еще льется кровь, чтоб решить вопрос, называться ли этому краю республикой, или конфедерацией Аргентинской. Предполагае-

мые границы ее к северу суть Парагвай, Большой Чако и Боливия. Обширные пространства по краям ее совершенно безлюдны. Есть там судоходные реки, которых ни разу не бороздил еще даже утлый челнок. Величайшее зло для Аргентинской конфедерации — ее громадная обширность. Пустыня окружает ее со всех сторон и местами проторгается в самое ее сердце: пустыни составляют обыкновенно бесспорные межи различных областей этого края. Везде окружает вас здесь беспредельность: необозримые равнины, бесконечные леса, громадные реки и всегда неопределенный, неясный горизонт, сливающийся вдали с землей среди разноцветных облаков и легких туманностей, не дозволяющих распознать в отдаленной перспективе, где оканчивается земля и где начинается небо. На севере и на юге рыщут дикари, всегда настороже; пользуясь лунными ночами, они, как стаи гиен, нападают на пасущиеся стада и на беззащитных жителей. Когда одинокий обоз тянется гужом по пампам и остановится для отдыха на несколько минут, то обозчики, собравшись вокруг небольшого огня, при малейшем шелесте ветерка по сухой траве степи, машинально обращают глаза на юг и вперяют их в густой мрак ночи, высматривая, не движется ли где темная масса дикой орды, которая того и гляди застигнет их совсем неожиданно. В случае нападения, из телег обоза составляют круг, связывая их одну с другой, и таким образом всегда почти успевают оградить себя от ярости дикарей, жаждущих крови и грабительства. Напротив, обозы вьючных мулов часто попадают в руки этим американским бедуинам, и пешеходы редко избегают гибели. В долгих путешествиях аргентинский простолюдин снискивает навык жить вдали от общества и бороться с природой один на один; он притерпливается к лишениям и для ограждения себя от беспрерывно окружающих его опасностей может рассчитывать только на свои собственные силы и на личные свои способы.

Прежде, нежели идти далее в обозрении страны, надо объяснить, что такое разумеют здесь под именем Ча́ко. Это — пространство, тысяч в десять квадратных миль, в самой глубине Южной Америки; оно орошается двумя реками: Рио-Бермехо и Пилькомайо, которые обе впадают в Парагвай, но первая начинается на рубеже Боливии, а вторая — в горах Сиэррас-Альтиссимас, на север от Потози. Чако простирается между Парагваем и Параной до 46° западной долготы и между 30° и 19° сев. широты. Аргентинские земли на севере сливаются с Чако, и с этой стороны огромное их пространство занято непроходимым лесом; за северной лесистой полосой следует средняя, где пампы (южноамериканские степи) и леса, на обширном пространстве, оспаривают друг у друга первенство; на юге, наконец, пампа одерживает решительный верх и расстилается прекрасной, необозримой равниной, без пределов, без заметных погибов, точно гладкая поверхность моря на суше. Характеристической чертой этого края можно назвать скопление в нем судоходных рек, которые на востоке сходятся со всех сторон горизонта и соединяются в громадную ла-Плату, несущую их общие воды в океан. Но эти великие каналы, прорытые заботливостью самой природы, не имеют никакого влияния на перемену нравов народных. Потомки испанских удальцов, населявших здешние местности, ненавидят судоходство и считают себя узниками в тесных пределах барки или шлюпки. Перерезывает ли им путь большая река, они преспокойно раздеваются, приготовляют лошадь к переправе и доплывают на ней до первого островка, тут они отдыхают, а потом плывут далее, пока, с островка на островок, не достигнут наконец противоположного берега.

Население аргентинских областей состоит из двух племен, совершенно различных: племени испанского и туземного, которые, перекрещиваясь во всех возможных степенях, дают от себя помеси бесчисленных оттенков. В окрестностях Кордовы и Сан-Луиса преоб-

ладают тип и язык испанский; в Сант-Яго дель-Эстеро большинство говорит древним туземным языком инок, называемых к и ч у а; в Корриентесе слышится между поселянами очень приятный диалект испанского, и т. д. Негритянское племя, исчезнувшее почти везде, кроме разве Буэнос-Айреса, оставило по себе замбов * и мулатов, живущих в городах, служащих звеном соединения между низшею и высшею ступенью человечества, очень наклонных к гражданственности и в высшей степени даровитых. Впрочем, из слияния этих трех семейств вышло однородное целое, отличающееся празднолюбием и неспособностью к промышленности, по крайней мере, во всех тех случаях, где счастливое воспитание или настоятельные требования общественного положения не расшевелят первобытной природы и не направят ее к деятельности. Надо заметить, что туземные американские племена вообще крайне преданы праздности и что даже силой нельзя принудить их к постоянному труду. Это-то и навело на несчастную мысль водворять в Америке рабочих негров. С другой стороны, и племя испанское явилось не многим деятельнее американцев, как скоро увидело себя на полной своей воле в здешних обширных и плодоносных степях. Это особенно поражает, когда сравнишь жалкий быт природных аргентинцев с довольством и зажиточностью немецких или шотландских колонистов на юге Буэнос-Айреса.

На всем обширном пространстве аргентинских областей найдется не более двенадцати городов, разбросанных на большом расстоянии один от другого. Города эти: Буэнос-Айрес, Санта-Фе, Энтрерио Корриэнтес — на берегах Параны; Мендоза, Сан-Хуан, Риоха, Катамарка, Тукуман, Сальта, Хухуи, Сант-Яго, Сан-Луис и Кордова — перед восточными пологостями Великой Кордильеры и на запад от многоводной реки, которой громадное устье называется

* Детей от индейцев с негритянками.

Рио-де-ла-Платой. Как почти все американские города, и здешние отличаются своей правильностью: улицы пересекаются под прямым углом; в расположении жилищ господствуют простор и приволье. Из этого должно, однакож, исключить Кордову, которая выстроена очень тесно, наподобие западно-европейских городов. Каждый здешний город составляет средоточие аргентино-испанской и европейской гражданственности: тут найдете вы ремесленные заведения, магазины, училища, присутственные места, тут найдете и изящество в приемах, удобства роскоши и европейское одеяние. Зато в целой скотоводной провинции вы не найдете иногда другого города, кроме единственного областного. Есть такие области, которых невозделанные земли простираются даже по край моря; пустыня окружает и теснит их со всех сторон, так что жилые места являются только в виде мелких оазисов, разделенных обширными пустопорожними пространствами. Местечек или маленьких городов более всего в областях Буэнос-Айресе и Кордове, и это факт, заслуживающий особенного внимания; потому что, каков бы ни был горожанин, он все-таки одевается по-европейски и живет в гражданском, правильном быту. Но один только шаг за город, и картина изменяется совершенно: селянин не только иначе одет, не только имеет свои особенные нравы, но он и нисколько не желает уподобиться горожанину, он презрительно отвергает его роскошь, его вежливость; мало этого, — ничто городское не имеет права безнаказанно появиться за городом: европейское платье, европейское седло, малейший признак европейской образованности преследуется насмешками и грубыми нападениями сельского народа.

За исключением областей Мендозы и особенно Сан-Хуана, которых жители преимущественно занимаются земледелием, поля других областей аргентинского края служат большей частью пастбищами для многочисленных стад. Скотоводство и пастушеская жизнь напоминают, с первого взгляда, на каждом шагу ко-

чевья бродячих азиатских народов; но кочевого племени здесь нет нигде: пастух обладает своей землей как собственностью и не переходит с места на место. Для этого необходимо было разорвать племенную связь и разбросать отдельные семьи по обширному пространству. Представьте себе площадь тысячи в две квадратных миль, всю покрытую населением, но так, что жилья его отстоят одно от другого мили * на четыре, миль на восемь, и ближайшие — не менее как на две. При таком условии, развитие движимой собственности невозможно; наслаждения роскошью еще не несовместны с подобным одиночеством. Богатство могло бы и в степи соорудить что-нибудь великолепное; но нет здесь соревнования, нет увлекающего примера, потребность приличной обстановки не дает себя чувствовать, как чувствуется она в городах. Неизбежные лишения оправдывают природную леность, а ограниченность наслаждений влечет за собой все признаки варварства. Общество совершенно исчезает; остается лишь одна феодальная семья, одинокая, сосредоточенная в самой себе, а за отсутствием общества невозможно и никакое правительство: ни муниципальность, ни полиция, ни правосудие не приложимы к такому странному порядку вещей; образование — здесь вещь невыполнимая. Как учредить школы для детей? Как собрать это рассеянное население в храм божий? Г-н Сармиэнто был свидетелем, как один семьеначальник, уже несколько лет лишенный со всеми домочадцами религиозных пособий настоящего священника, сам исправлял эту должность и по-своему совершал богослужение в присутствии немногих сторонних прихожан. Простодушные, теплые молитвы почтенного старика растрогали до слез заезжего европейца; тем не менее он должен был признать, что самое христианство, предоставленное произвольной заботливости полудиких па-

* Здесь разумеются везде французские квадратные мили (lieues carrées).

стухов, перемешивается со множеством суеверий и удивительно искажается.

За неимением тех средств к образованию, которые дает только многолюдное общество, вот в чем состоит воспитание здешнего селянина: женщины пекутся о доме, готовят кушанье, стригут овец, доят коров, делают сыры и ткут грубые полотна на платье; на них лежат все вообще хозяйственные заботы, и мужчина разве только изредка займется возделкой небольшого запаса кукурузы, потому что обыкновенно хлеба здесь не едят. Дети упражняются, играючи, в ловле телят и коз посредством л а с с о (арканов) и так называемых б ò д а с, или ремней с четырьмя шариками, которыми останавливают или сваливают с ног любую скотину; лишь только выучатся они порядочно ходить, как уже принимаются за верховую езду и рыщут нарочно сперва по полям, изрытым многочисленными норами б и с к а ч е й *, потом по страшным крутизнам, краям пропастей и стремнинам; в юности занимаются они выездкой диких жеребят, а затем, если сносят голову, проводят мужество и остальное время жизни в полной независимости или совершенно без дела. Надо видеть этих гаучо, у которых испанского осталось только язык да несколько смутных религиозных понятий, чтобы постигнуть гордые и непреклонные характеры, рождающиеся из подобной борьбы одинокого человека с дикой природой; надобно видеть эти бородатые, важные лица, напоминающие азиатов, чтобы понять ту презрительную жалость, какую внушает им домосед-горожанин, который, может-быть, перечитал груду книг, но которому ни за что не свалить разъяренного быка, не поймать одному в поле, и притом пешком, дикой лошади и не выйти на тигра с кинжалом в одной руке и со свернутой епанчей (poncho) на другой, чтобы заткнуть ему глотку последнею, в тот самый

* Б и с к а ч а — зверек из шиншильего рода, много походящий на зайца.

миг, как первая поражает зверя насмерть в самое сердце.

Понятно, что гаучо ставит выше всего физическую силу, уменье справиться с лошадью и отвагу. В этом упражняется, этим щеголяет он каждый божий день. Вооруженный ножом, наследованным от испанцев, он никогда с ним не расстается; нож для него, что хобот для слона: это его рука, его палец, его все. Нож сверкает у него в размахах по воздуху, которыми он готов вызвать на бой всякого незнакомца. Эти боевые привычки вошли так глубоко в быт аргентинского гаучо, что породили у него особого рода чувство чести и особого рода фехтовальное искусство, обеспечивающее жизнь сражающихся. Простолюдин других стран берется за нож для того, чтоб убить, и убивает; напротив, гаучо выхватывает его только для боя и ограничивается нанесением первой раны сопернику: покушения на жизнь можно ожидать только от мертвецки-пьяного, от отъявленно-злостного или от мстителя за какую-нибудь страшную обиду. Цель боя обыкновенно та, чтоб оставить на лице противника знак неизгладимый; от этого попадаются гаучо, покрытые ранами, но редкие из них бывают глубоки. Обширный круг составляется около бойцов, и все глаза страстно следят за сверканием ножей, не опускаемых ни на одну минуту. Лишь только кровь польет ручьем, зрители считают себя обязанными разлучить сражающихся. Если сверх чаяния последует «неподобие», т. е. смерть, все сочувствуют тому, кто в ней провинился. Ему предоставляют лучшего коня, чтобы спастись бегством, и куда бы он ни укрылся, везде встречают его с участием и почтительно. Проходит несколько времени, сменится окружной судья, и тогда виновный безопасно возвращается в свою деревню. Убийство считают здесь несчастьем, если только многократное его повторение не внушит, наконец, ужаса к убийце.

Автор описывает потом всадническую удаль гаучо и замечает, что подобные-то подвиги служили основа-

нием для громкой славы тех личностей, которые впоследствии правили судьбами всего края. Сам Розас, на вершине своего могущества, не мог воздержаться от наслаждений скачки на двух конях, причем он подымал с земли на всем скаку увесистые тяжести...





ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ВАРВАРСТВО [16]

Нравы, характеры и обычаи аргентинцев*

РАВНИНА Рио-де-ла-Платы, поверхность которой, по свидетельству Гумбольдта, занимает 35 000 квадратных миль, расположена между Андами Чили, горами Бразилии, Атлантическим океаном и Магеллановым проливом. Рио-де-ла-Плата — целое море, образуемое двумя огромными реками: Параной и Уругваем. Это внутреннее море Южной Америки сообщает особый типический характер целой стране, разделенной на конфедерацию Аргентинскую и на Восточные государства Уругвая и Парагвая. Конфедерация Аргентинская делится на четырнадцать областей: Буэнос-Айрес, Санта-Фе, Кордова, Энтрериос, Корриэнтес, Сант-Яго дель-Эстеро, Тукуман, Сальта, Кахамарка, ла-Риоха, Сан-Хуан, Мендоза, Сан-Луис.

Завидуя огромным открытиям португальцев в Бразилии, Испания в 1508 году отправила экпедицию, под

---

* Civilisation et Barbarie. Moeurs, coutumes, caractères des peuples argentins. Facundo Quiroga et Aldao. Par Domingo F. Sarmiento. Trad. de l'Espagnol. Paris, 1853.

(Цивилизация и варварство. Нравы, характеры, обычаи аргентинцев. Факундо Кирога и Альдо. Соч. Доминго Ф. Сармиэнто. Перев. с испанского. Париж, 1853 г.) . В пятой книжке «Вестника» за 1853 г. (Отд. VI, стр. 45—52) мы привели уже некоторые сведения из этой любопытной книги. Помещаемая ныне статья подробнее познакомит читателей с ее содержанием, т. X. Отд. III.

начальством дон-Хуана Диеза де-Солиса, который и открыл устье ла-Платы: но только через десять лет испанцы поселились на ее берегах, а город и порт Буэнос-Айрес был основан ими только в 1536 г. Вся первоначальная история этих поселений прошла в борьбе с сильными индейскими племенами и с португальцами, которые несколько раз, с оружием в руках, проникали в область ла-Платы. Договор между Испанией и Португалией 1783 г. окончательно обозначил границу владений обеих держав в Южной Америке. До XVIII столетия Испания имела в этих странах одно только вице-королевство; но огромность протяжения заставила ее в 1777 году учредить, между прочим, и особое вице-королевство в Буэнос-Айресе. Двор вице-короля должен был подражать в пышности и великолепии Мадридскому двору, и вице-король был почти независимым владетелем, находясь под слабой отчетностью Индейскому Совету. С 1777 года по 1806 десять вице-королей последовательно управляли Буэнос-Айресом; но в этом году маркиз де-Собремон бежал оттуда с 1500 солдатами, выгнанный англичанами, и, явясь в Кордову, требовал, чтобы его приняли со всеми почестями, принадлежащими его сану. Жители Буэнос-Айреса, составив сильную юнту, вверили войско начальству Линьера (француза в испанской службе) и прогнали англичан. Маркиз де-Собремон вынужден был утвердить Линьера в должности главнокомандующего и, передав свою власть городскому совету, удалился в Монтевидео: англичане вытеснили его и оттуда, и он бежал в Гваделупу. Линьер разбил англичан в самых улицах Буэнос-Айреса, и Мадридский двор утвердил его в должности вице-короля; но с этих пор королевская власть начинает быстро утрачивать свое прежнее значение. Наполеоновские воины в Испании имели сильное влияние на отделение этих колоний, и в 1809 году жители Буэнос-Айреса, низложив прежде выбранного ими Линьера, установили правительственную юнту для всего вице-королевства.

Нет нужды перечислять всех замешательств, последовавших за окончательным отторжением колоний от метрополии: беспрестанная перемена правительства, ссора одних городов с другими, борьба *испанской* и *американской* партий, начавшиеся тогда, не кончились еще и теперь. Две новые сильные партии федералистов и унитаров скоро поглотили все прочие, и полудикое пастушеское население, вызванное к деятельности главами некоторых партий, скоро поставило города и их европейскую цивилизацию в самое жалкое положение. Факундо Кирога, а потом Розас, предводительствуя одичавшим степным населением, привязанным только к личности этих степных богатырей, завладели всей властью в Конфедерации, область и население которой так прекрасно очерчены в книге Доминго Сармиэнто, изгнанника за приверженность к европейскому и городскому порядку вещей.

Американский материк замыкается на юге оконечностью, составляющей один берег Магелланова пролива; на западе, не в дальнем расстоянии от берегов Тихого океана, параллельно берегу, тянутся Чилийские Анды. Земли, находящиеся к востоку от этой горной цепи и к западу от Атлантического океана, вверх по течению ла-Платы и Уругвая, составляют область, носившую прежде название *Соединенных Провинций Рио-де-ла-Платы* и в которой давно уже идет борьба за то, будет ли она называться одним государством, или конфедерацией. На севере границы этой области составляют: Парагвай, Великое Чако и Боливия.

Самое большое зло Аргентинской конфедерации — это безмерное протяжение ее области, население которой страшно уменьшилось во время смут. Пустыня — повсюду, и поражающая душу бесконечность окружает человека со всех сторон: безграничные равнины, обширные леса, огромные реки, горизонт, всегда очерченный слабо, всегда неверный, где в тумане и в облаках теряется черта, разделяющая небо и землю.

С севера и с юга дикари стерегут добычу: они пользуются первой лунной ночью и кидаются, как стая жадных гиен, на стада, пасущиеся в полях, и на жителей деревень. Если одинокий караван, пробирающийся в п а м п а х *, останавливается для отдыха, то люди, собравшись вокруг огня, невольно обращают глаза к югу, и при малейшем шуме ветра, шелохнувшего иссохшую траву, стараются проникнуть взорами в темноту, где, может быть, движется черная и зловещая масса дикой орды. Если ухо не слышит никакого определенного звука, если взор не может прорезать мрака пустыни, то путник, желая успокоиться, обращает свое внимание на уши лошадей, стоящих у огня, и если они лежат неподвижно, то прерванный разговор снова начинается, и полусожженный кусок мяса снова подносится ко рту. А если не дикие, то тигр, подстерегающий добычу, змея, скрывшаяся в траве, постоянно заставляют человека страшиться, и мало-помалу он привыкает, наконец, смотреть равнодушно на смерть, и гибель одного не оставляет глубокого впечатления в сердце других: это слишком обыкновенное дело.

Обитаемая часть этой области может быть разделена на три различные округа, из которых каждый сообщает своим обитателям особую характеристику. К северу, сливаясь с областью Чако **, идет страшный лес, на пространстве, ужасающем воображение, — пространстве, возможном только в Америке. В середине, п а м п ы и леса борются друг с другом на огромном

* P a m p a s. Бесконечные степи, занимающие область Аргентинской конфедерации, на которых пасутся огромные стада — значительнейшая часть всего богатства того края.

** Ч а к о (Chaco). Местность, называемая Чако, занимает в Южной Америке пространство в десять тысяч квадратных миль, но она почти так же неизвестна географам, как пустыня срединной Африки. Две реки прорезывают эту область: Б е р м е х о, выходящая на границах Боливии и впадающая в Парагвай, и П и л ь к о м а й о, берущая начало на севере Потози и также впадающая в Парагвай.

протяжении: в некоторых местах лес одолевает и долго еще прорывается низкими и колючими зарослями, особенно на берегах реки, благоприятствующих его развитию; но чем далее к югу, тем сильнее выказывается п а м п а и, наконец, открывается прекрасною, ровною, бесконечною степью, расстилающеюся как море и ожидающею только трудолюбивой руки человека, чтоб превратиться в неиссякаемый источник растительного богатства. Другая отличительная черта Аргентинской области: это — необыкновенное обилие огромных рек, способных к самому обширному судоходству. Они со всех сторон стремятся к востоку, где, сливши в одно русло ла-Платы все свое водное богатство, на дальнее расстояние нарушают спокойствие океана. Но эти природные каналы не производят никакого заметного влияния на народонаселение страны. Потомки испанских авантюристов ненавидят плавание по водам, и тесная барка им кажется тюрьмой. Если большая река встречается им на пути, они преспокойно раздеваются и вплавь, гоня впереди лошадей, перебираются с острова на остров, пока, наконец, не доберутся до другого берега.

Аргентинский гаучо (Gaucho) * презирает этот дар природы и видит в нем скорее преграду для быстроты своих движений, нежели средство, которое могло бы удвоить эту быстроту. Плавание по рекам, давшее жизнь стольким великим нациям, остается неизвестным обитателям берегов Бермехо, Пилькомайо, Параны, Гранде и Уругвая. Несколько барок, управляемых иногда людьми очень подозрительной наружности,

* Название гаучо дают обыкновенно сельским жителям испанских республик. Это особенная порода людей, развившаяся в пампах из испанских колонистов; она составляет среднее звено между европейцем и дикарем и развивается в пустыне под влиянием беспрерывных столкновений образованного общества с племенами диких. Доминго Сармиэнто дает впоследствии прекрасное понятие о замечательном характере этих людей.

взбираются, правда, вверх по ла-Плате, но и те не заходят далеко.

Инстинкт плавания, которым в такой степени обладает саксонское племя, не дан испанцам. Из всех этих рек, которые должны бы были вносить гражданственность, могущество и богатство в самое сердце материка и сделать из Санта-Фе, Энтрериоса, Кордовы, Сальты, Тукумана несколько богатейших и населеннейших центров образования и торговли, одна только ла-Плата приносит хоть какую-нибудь пользу обитателям ее берегов.

При ее устьях расположены два города: Монтевидео и Буэнос-Айрес, которые одни пользуются выгодой своего положения. Буэнос-Айрес, по всей вероятности, сделается когда-нибудь всемирным местом торговли и обгонит далеко все города обеих Америк. Он лежит в прекрасном климате, обладает судоходством ста рек, сливающихся у его стен, и окружен тринадцатью богатейшими провинциями, которые имеют в нем единственное место сбыта. При таких условиях Буэнос-Айрес мог бы и теперь быть американским Вавилоном, если бы дыхание степей не задавило в самом зародыше начал его развития.

На всем огромном протяжении Аргентинской республики один только Буэнос-Айрес находится в сообщении с Европой, один только он ведет заграничную торговлю, и один только пользуется ее выгодами. Напрасно провинции усиливались отнять у Буэнос-Айреса часть этих выгод — свою долю промышленности, торговли, европейской гражданственности и европейского населения: их требования не имели успеха, и они отомстили Буэнос-Айресу, послав ему своих предводителей. Гордый своей цивилизацией, город упал ниже самых провинций. Но нельзя же обвинить Буэнос-Айрес в том, что он велик и будет еще больше: таково положение, данное ему провидением; но, принимая степных удальцов, Буэнос-Айрес в свою очередь мстит провинциям, рассылая туда угнетение, варвар-

ство и мелких притеснителей. Этот город имеет такое положение, что, на зло всем федератистам, всегда будет давать стране единство, — хоть даже такое единство, какое дает ей, в настоящее время, Розас. Пампы — дурной проводник для цивилизации, но, тем не менее, ровная однообразная почва их требует общественного единства, которое и выразится, может быть, современем, когда эти степи наполнятся народом.

В природе Северной Америки — множество условий для конфедерации: она касается двух океанов на огромном протяжении; река Св. Лаврентия, Миссисипи, многочисленные озера дают возможность развитию множества отдельных центров; но Аргентинская конфедерация едва ли возможна. На этой безграничной равнине, простирающейся на 700 миль, от Салты до Буэнос-Айреса и оттуда до Мендозы, обозы тяжелых повозок могут двигаться свободно, не встречая никакого препятствия, исключая нескольких зарослей, легко уничтожаемых рукой человека. Эта огромная равнина составляет самый характеристический тип среди Аргентинской области. Но самое удобство природных сообщений, вместе с беспредельной обширностью равнины, надолго еще отодвигает устройство всяких искусственных сообщений: они должны быть громадны, и долго еще полудикое население не будет в них видеть необходимости.

Но, с другой стороны, эта обширность аргентинской равнины сообщает народному характеру несколько азиатских черт: и, в самом деле, есть какое-то сходство между пампами и равнинами Тигра и Евфрата, и, смотря на цепь повозок, пробирающихся по бесконечному степному морю, невольно припоминаешь караваны, тянущиеся в Смирну или в Багдад. Аргентинские извозчики, подобно морякам, составляют особый класс, имеющий свои особенные обычаи, свой язык, свой костюм. Капатаз занимает и между ними то же самое место, какое занимает в Азии каравановожатый. Человек, принимающий на себя эту должность, дол-

жен иметь железную волю, характер решительный и смелый даже до безрассудства, чтобы одному, посреди пустыни, удерживать в повиновении дикие, необузданные порывы детей степи.

При малейшем знаке неповиновения капатаз берется за свой бич (chicote) с железным наконечником и осыпает ослушника такими ударами, из которых каждый производит рану. Если же неповиновение продолжается и затем, то, не прибегая еще к пистолетам, употребление которых капатаз вообще презирает, он сходит с лошади, берется за нож и мигом приобретает утраченный авторитет, показав свое превосходство в обладании этим страшным оружием: убийство считается в этом случае правом его власти. Вот каким образом в жизнь аргентинцев вкралась мысль, что сила есть право, и разрушила весь порядок администрации и суда. На каждой из этих повозок по два или по три ружья, а на передней — иногда и маленькая пушка.

При нападении диких повозки связываются и ставятся в кружок, и эта импровизированная крепость составляет, по большей части, неодолимую преграду для дикарей, жаждущих только крови и добычи. Но обозы мулов часто попадают в их руки, а пешеходу, встретившемуся с ними, трудно избежать гибели. В этих отдаленных поездках аргентинец приобретает привычку жить вдали от общества и, без помощи других, бороться с природой. Он привыкает к лишениям и, при встрече с опасностями, окружающими его со всех сторон, рассчитывает только на свою личную силу и ловкость.

Народонаселение аргентинской равнины состоит из двух различных пород: испанцев и туземцев; а от смешения их происходит несколько неприметно сливающихся оттенков. В равнинах Кордовы и Сан-Луиса преобладает раса испанская; в этих местах встречаются в самом простом сословии белые, розовые, чисто европейские лица. В Сант-Яго дель-Эстеро большинство на-

родонаселения говорит на индейском наречии г и ч у а *. В Корриентесе поселяне употребляют весьма гармонический испанский диалект. В деревнях Буэнос-Айреса можно еще встретить андалузского солдата; но в городе преобладают иностранные имена. Негритянское племя почти совершенно исчезло, оставив свои следы в з а м б а х (потомках индейца и негритянки) и м у л а т а х, живущих в городах и составляющих звено между образованным населением и диким. Мулаты богато одарены природными способностями к цивилизации. Из слияния этих трех различных пород (испанской, индейской и негритянской) образовалось совершенно особенное население, отличающееся своей любовью к праздной жизни и отсутствием промышленных наклонностей. Это подало повод к колонизации негров, которая имела весьма неблагоприятные результаты. Потомки испанцев, переселившись в степи, предоставлены были своим собственным наклонностям, — и какая огромная разница между шотландской или немецкой колонией, стоящей где-нибудь на юге от Буэнос-Айреса, и испанским местечком, находящимся в середине страны. В колонии — чистенькие, раскрашенные домики, с красивыми входами, украшенные цветами и кустарниками; мебель простая, но удобная; сверкающая медная посуда; постели, убранные занавесками; народонаселение деятельное, трудолюбивое. Занимаясь скотоводством, многие семейства колонистов составили огромное состояние и переселились в города. Испанское, национальное местечко — обратная сторона медали: дети грязные, покрытые рубищами, растут посреди собачьих стай; повсюду ви-

* Язык инков (guichua). Это самый развитой диалект Южной Америки. Иезуиты вводили его всюду и старались сделать его общим для всех индейских племен. Искусство писать на этом языке потеряно вместе с изгнанием иезуитов, что весьма затрудняет администрацию в Перу, Боливии и других южноамериканских государствах, где большинство народонаселения состоит еще из несмешанных индейцев.

дишь людей, лежащих на солнце, в полном бездействии; повсюду беспорядок и бедность; столик и кожаный чемодан — вот вся мебель этих бедных хижин; варварство и беспечность проявляются на каждом шагу.

Вот, вероятно, причина, заставившая Вальтер-Скотта сказать, что «обширные долины Буэнос-Айреса (жители которых выгнали в то время английских цивилизаторов) населены одичавшими христианами, известными под именем гаучо: их мебель — лошадиный череп, их пища — сырая говядина и вода; их любимое препровождение времени — загонять насмерть лошадей. Но, к несчастью(?), они не хотят променять народной независимости на наши сукна и кисеи».

На этом огромном протяжении, описанном нами, разбросаны там и сям четырнадцать главных провинциальных городов, которые, следуя их географическому положению, могут быть размещены в следующем порядке: Буэнос-Айрес, Санта-фе, Энтрериос и Корриентес — на берегах Параны; Мендоза, Сан-Хуан, Риоха, Кахамарка, Тукуман, Сальта и Хухуи, расположенные почти параллельно Чилийским Андам; Сант-Яго, Сан-Луи и Кордова — внутри. Но на быт общественный имеет влияние не это расположение городов, а образ жизни сельского населения. Присутствие судоходных рек, как сказано выше, не производит на это население никакого влияния, и в настоящее время все население Аргентинской конфедерации, исключая жителей провинций Сан-Хуана и Мендозы, ведет пастушескую жизнь; жители Тукумана занимаются несколько земледелием, а жители Буэнос-Айреса, кроме богатого прибытка от стад, простирающихся до миллиона голов, пользуются еще выгодами различных промыслов образованной жизни.

Аргентинские города построены правильно, как почти все города Америки: дома не теснятся друг к другу, улицы пересекаются под прямыми углами. Одна только Кордова, построенная тесно, напоминает собой европейский город, особенно множеством

башен и куполов своих многочисленных и великолепных храмов. Города в Аргентинской республике являются центрами европейской гражданственности: здесь лавки, магазины, школы, коллегии, суды, удобства жизни, европейские платья; но эти города стоят одиноко посреди бесконечной степи. Степь окружает и теснит город со всех сторон, так что он является одиноким оазисом европейской цивилизации посреди полной дикости природы, замкнутый со всех сторон бесконечной, необработанной равниной, прерывающейся кое-где незначительными местечками. Буэнос-Айрес и Кордова расселили этих местечек более, нежели все прочие провинции.

Житель города носит общий европейский костюм, живет общей европейской жизнью. В городе есть законы, идеи усовершенствования, средства образования, муниципальное устройство, правительство; но за городской стеной все изменяется: житель степи носит другой костюм, его нравы, потребности совершенно особенные, так что житель города и житель степи принадлежат не только к двум различным обществам, но, кажется, к двум различным народностям. Еще более: житель степи не только не думает подражать жителю города, но смотрит с отвращением на его роскошь и его образованные приемы. Одежда горожанина, его седло, его плащ, никакой признак европеизма не может безнаказанно появиться в степи. Все, что есть цивилизованного в городе, должно там и оставаться, и горожанин, осмелившийся появиться в пальто и на английском седле куда-нибудь в деревню, непременно привлечет на себя насмешки и грубые выходки сельских жителей.

В тех провинциях, где богато естественное орошение и обильны травы, большинство жителей живет в степи. Так в Кордовской провинции, например, из 170 000 душ населения, только 20 000 живут в городе; все остальное — в полях, представляющих однообразную равнину, то лишенную большой растительности,

то покрытую такими травами, с какими не могут соперничать никакие искусственные луга.

Мендоза и, еще более, Сан-Хуан представляют исключение: жители их занимаются, по преимуществу, земледелием. Повсюду, в других местах, господствуют пастбища, и стада составляют для жителей не только главнейшее занятие, но и единственное средство существования. Эта пастушеская жизнь невольно напоминает Азию и ее степи, покрытые ставками калмыков, киргизов и арабов. Жизнь древних пастырей и жизнь современного бедуина существует в степях аргентинских, измененная весьма странным образом европейской цивилизацией.

Арабские племена, блуждающие в азиатских пустынях, живут под начальством своих шейхов и эмиров: общество, несмотря на то, что у него нет определенной территории, существует в них как нечто целое. Единство религиозных верований, незапамятных преданий, неизменных обычаев, уважение к старшим, родственные отношения составляют закон для этих блуждающих обществ; но всякое дальнейшее усовершенствование для них невозможно, при отсутствии поземельного владения и городов, дающих человеку возможность увеличивать и развивать свои силы.

В аргентинских равнинах нет кочевников. Всякий владелец стада имеет землю в свою собственность; пределы ее ограничены, а потому и невозможно существование племени: родственные связи по необходимости разрываются, и народонаселение разбрасывается на огромном протяжении. Представьте себе пространство в 2 000 квадратных миль величиной, которое все занято населением, но так, что одно жилище отстоит от другого на четыре мили, а иногда и на восемь. В таком народонаселении могли бы еще развиться богатство и роскошь, но для этого нет никакого побуждения, нет примера, нет потребности показать себя достойным образом перед соседями. Неизбежность лишений оправдывает природную леность.

Общество исчезает совершенно: остается только феодальное семейство, обособленное, сосредоточенное; а при недостатке общества и самое управление делается невозможным: полиции не существует, и правосудие не может настигнуть преступника. Мне кажется, что в современной жизни едва ли отыщем другое подобное явление. Это — совершенная противоположность римской муниципии, сосредоточивавшей в одних стенах целое народонаселение земледельцев, обрабатывающих окрестные поля. Из такой муниципии сам собой развивался крепкий общественный организм, в котором приготовились все элементы современного образования. Жизнь аргентинских поселян отличается от жизни номадов тем, что номады блуждают племенами. Она имеет некоторое сходство с феодальной жизнью средних веков, когда бароны жили в своих замках и оттуда грабили города и села; но здесь нет ни баронов, ни феодальных замков. Если какая-нибудь власть и появляется в аргентинских равнинах, то появляется только на время, и в ней нет никаких аристократических элементов; эта власть не может, как в средневековой Германии, запереться в городах и громить оттуда равнины. Самые племена индейцев лучше организованы, нежели сельское население Аргентинской области.

Но в особенности кидается в глаза сходство жизни аргентинских поселян с первобытной жизнью древних спартанцев и римлян, хотя между ними есть коренное отличие. Гражданин Рима и Спарты слагал все бремя материальной деятельности на своих рабов и, свободный от всех забот, жил на форуме. Пастушеская жизнь и без рабов доставляет то же удобство: многочисленные стада, удовлетворяя неприхотливым потребностям аргентинца, заменяют ему илотов. Стада, увеличиваясь сами собой, увеличивают богатство владельца без всякого труда с его стороны. Его труд, его ум, его время остаются ему; но он не может употребить их, как употреблял римлянин: у него нет ни

города, ни муниципии, никаких образованных интересов. Эстансиеры *, разделенные между собой огромными пространствами, не могут иметь общей политической жизни.

Нравственное и умственное развитие, пренебрегаемое арабами и татарскими ордами, здесь и совершенно невозможно. Где поместить школу? Куда могут сходиться на уроки дети, жилища которых разбросаны на огромном пространстве? (В 1826 г., — прибавляет автор, — во время моего пребывания в горах Сан-Луиса, я учил читать шестерых молодых людей богатых фамилий, из которых самому младшему было двадцать два года.) При таком положении вещей варварство есть нормальное состояние. Нравы дичают, религия ослабевает. Приходы существуют только по имени, и священники оставляют пустые храмы. Счастье еще, если какие-нибудь нравственные и религиозные начала поддерживаются главой семейства. «Когда, в 1838 году, я (говорит автор) находился в горах Сан-Луиса, у одного богатого эстансиеро, страстно преданного, между прочим, игре, то мне случилось присутствовать при одной сцене, достойной времен первобытных. Эстансиеро выстроил часовню, в которой, в воскресенье, по вечерам, сам читал молитвы, заменяя, по возможности, священника, которого не видал несколько лет. Это была замечательная картина: стада, возвращавшиеся с полей, наполняли воздух своим мычанием; хозяин, человек лет шестидесяти, в котором европейское происхождение высказывалось в белизне кожи, в голубых глазах, в высоком и чистом челе, читал молитвы и пел, ему вторили несколько женщин и несколько молодых людей, кони которых, еще не совсем выезженные, храпели и бились на привязи у дверей часовни. За пением последовала общая

* Estancieros-Estancia. В Южной Америке называют estancia всякую значительную поземельную собственность, владельца ее — estanciero.

теплая молитва: никогда я не слыха́л молитвы более усердной и более идущей к окружающим обстоятельствам. Все просили у бога дождя для полей, плодородия — стадам, мира — Конфедерации. Я плакал навзрыд: мне казалось, что я присутствую при сцене из времен Авраама; сильный голос простодушного эстансиеро проникал глубоко в мое сердце».

Христианство существует в этих степях как предание. Нередко случается, что священник, заехав в дальние степные жилища, крестит там молодых людей, давно уже достигших совершеннолетия.

Взамен образования, жители аргентинских степей получают совершенно особенное воспитание. Женщины охраняют дом, приготовляют обед и ужин, стригут овец, доят коров, делают сыр и ткут грубое полотно для обыкновенной одежды; все занятия по хозяйству, все труды лежат на женщинах, и много уже, если мужчина засеет немного кукурузы, потому что хлеб не в употреблении. Дети играют арканом (лассо) и болою *; они гоняются безустали за телятами и козами; когда же сделаются ездоками (а это приходит скоро после того, как они научаются ходить), то лошадь составляет их единственное занятие. Они целый день рыщут по степям, преследуя диких зверей и приучаются проезжать бесстрашно по краям пропастей. Достигнув отрочества, они занимаются обыкновенно выездкой диких степных лошадей, и смерть есть самое меньшее из зол, которые ожидают их в этом занятии, если у них не достанет силы или ловкости. С возрастом мужества приходят независимость и полное бездействие.

Здесь начинается публичная жизнь гаучо, если можем так выразиться: воспитание его уже кончилось. Надобно видеть этих людей, у которых осталось испан-

* Бола—тоже особенного рода аркан из ремня, с четырьмя небольшими ядрами на конце. Он употребляется, чтобы повалить или даже и убить лошадь или быка на всем скаку.

ского только язык да несколько неопределенных религиозных преданий, чтобы представить себе те резкие и необузданные характеры, которые рождаются в этой вечной борьбе изолированного человека с дикой природой. Надобно видеть эти важные и серьезные физиономии, похожие на физиономию арабов, чтобы понять всю силу презрения, которое питают они к жителю городов: он, может быть, и прочел много книг, но может ли он свалить с ног бешеного быка? Может ли добыть себе лошадь в степи? Может ли один на один бороться с тигром, встречая его с кинжалом в одной руке и с плащом, навернутым на другую? Может ли всунуть этот плащ в разверзтую пасть разъяренного животного и в это время вонзить ему кинжал в самое сердце? — Привычка одолевать одному все возможные препятствия, вызывать на борьбу природу и побеждать ее без посторонней помощи развивает в гаучо самоуверенность и самоуважение до гигантских размеров.

Аргентинцы все вообще имеют самое высокое понятие о своей народности, и иностранцы не без основания обвиняют их в излишней гордыне. Но разве эта народная гордость, эта безграничная вера в свои собственные силы не есть залог великого будущего? Чего не может ожидать Америка от гордости этих гаучо, смотрящих с презрением на все другие нации и на европейца в особенности, — европейца, который слетит от одного прыжка лошади! *

Таким-то образом подействовала степная жизнь на характер аргентинца: привычка бороться и побеждать одному все препятствия природы создала и гордость, и энергию, и презрение к роскоши. Он счастлив в своей бедности и с этими лишениями, которые не составляют для него никакой тяжести. Если такое отсутствие общественности укореняет невежество, делая

* Генерал Мансилья говорил, в собрании Буэнос-Айреса, во время первой блокады: «что сделают нам эти европейцы, которые не могут даже одной ночи проскакать на лошади?» И толпа покрыла рукоплесканиями голос оратора.

невозможным всякое моральное и нравственное усовершенствование, то тем не менее оно имеет свою привлекательную сторону. Гаучо не работает; он легко находит себе и пищу и одежду: стада дают ему все, а забот они требуют мало. Время, когда надобно класть тавро, считается у гаучо таким же веселым праздником, как собирание винограда у прирейнских жителей. Это время соединения всех жителей на двадцать верст в окружности, и здесь-то показывается во всем блеске непостижимая ловкость, с которой гаучо действует своим арканом. Гаучо приезжает к месту сборища на своем любимом коне тихой и размеренной поступью; он останавливается в отдалении и, чтобы лучше наслаждаться зрелищем, скрещивает свои ноги на шее у лошади. Если же им овладевает восторг, то он медленно спускается с седла, развертывает свой аркан и закидывает его на быка, проносящегося с быстротой молнии в сорока шагах от него; он ловит животное за копыто — животное грохнулось, — и вот все, чего он хотел; потом он спокойно и медленно свертывает свой ремень.

Эти условия жизни, делающие невозможным развитие образования и всех его преимуществ, придают существованию и характеру этих людей поэтический оттенок. Если литература может развиться в новых американских государствах, то она начнется описанием великолепных сцен природы и борьбы европейской цивилизации с туземным невежеством, разума — с грубой физической силой, — борьбы бессильной, но дающей место множеству характеристических сцен, так непохожих на все то, что представляет Европа. Единственный североамериканский романист, получивший европейскую известность, Фенимор Купер *, перенес сцену своих рассказов на границы варварства и цивилизации, туда, где туземцы и потомки саксонской расы борются за обладание землей.

* В настоящее время это уже не единственный.

Молодой аргентинский поэт Эчеверрия (Echeverria) тем же выбором предмета обратил внимание испанской литературы на свою поэму. Этот аргентинский бард оставил в покое Дидону и Аргея (которыми с таким энтузиазмом, но без успеха, занимался его предшественник Варела) и, обратив все свое внимание на бесконечные степи, на безмолвные пустыни, где блуждает дикарь, на степные бури и пожары, нашел в них вдохновение, которое могут дать воображению только одни торжественные, величественные картины безграничных, молчаливых степей, — и клики одобрения долетели до аргентинского поэта даже с Пиренейского полуострова.

Одни и те же влияния природы заставляют человека принимать одни и те же обычаи, и, читая многие сцены в романах Купера, думаешь, что они списаны с аргентинских памп, и в пастушеских обычаях Америки находишь повторение обычаев арабских; но есть целый, еще непочатый рудник самостоятельной поэзии в жизни аргентинских г а у ч о. Зрелище прекрасного, неизмеримого, ужасного, туманного, непонятного необходимо для пробуждения поэтического чувства, и там, где оканчивается вещественный и обыденный мир, начинается мир воображения, мир идеальный. Но я спрашиваю, какое впечатление должен оставить в душе аргентинца простой взгляд на горизонт, на котором он не видит ничего: чем более он устремляет свой взор в эту неверную, неопределенную, туманную даль, тем более она овладевает его душой, чарует ее и повергает в сомнение и бесконечное созерцание. Где граница мира, которой напрасно ищет его взор? Он не знает! Что там скрывается в тумане — безмолвие? опасность, дикарь или смерть? Человек, поставленный в средину такого горизонта, чувствует невольный трепет: самые странные, фантастические сны овладевают им.

Вот почему аргентинец, и по характеру и по природе — поэт. И как ему не быть поэтом? Вот, при

закате светлого и покойного дня, вдруг, неизвестно откуда, налетает черное облако и в две минуты, прежде чем человек успеет сказать два слова, застилает все небо. Слышатся отдаленные раскаты грома, которые, может быть, в ту минуту повергают в ужас сердце одинокого путника, сдерживающего свое дыхание из страха привлечь на себя одну из бесчисленных тысяч молний, сыплющихся вокруг него. Совершенная темнота заменяет дневной свет; смерть повсюду. Страшное, непреодолимое могущество заставляет человека на минуту углубиться в самого себя, оценить все свое ничтожество посреди этой грозной природы и почувствовать могущество творца в могуществе его творения. Какое изумительное разнообразие красок! Масса тьмы, помрачающая день, сменяется поминутно массою ослепительного света, дрожащего, разгоняющего сумрак. Вот завеса приподнялась: на бесконечном пространстве бесчисленные молнии перекрещивают степь во всех направлениях. Эти образы неизгладимо запечатлеваются в душе, и когда гроза прекращается, то г а у ч о долго еще остается печальным, задумчивым, серьезным: беспрестанная смена глубокого мрака и ослепительного света продолжается в его воображении точно так же, как мы, посмотрев на солнце, долго удерживаем его образ на сетке нашего глаза. Спросите у г а у ч о, почему и что по преимуществу поражает молния, и он введет вас в новый мир нравственных и религиозных идей, перемешанных с искаженными понятиями явлений природы и с преданиями грубых предрассудков. И если, в самом деле, электричество играет такую важную роль в жизни человеческого тела, то как не иметь ему влияния на воображение народа, живущего в атмосфере, до того насыщенной электричеством, что самая одежда, коснувшись другой, дает искры, как кожа кошки, когда на ней поведешь рукой против шерсти!

Но поэзия Эчеверрии — поэзия цивилизованная, поэзия города; а есть другая, песни которой раздают-

ся в пустыне: это — поэзия народная, простая и небрежная — поэзия г а у ч о. Аргентинцы также и музыканты: музыкальный талант признают за ними все их соседи. Если в Чили аргентинец является в дом в первый раз, то ему тотчас же предлагают сесть за фортепиано или подают гитару; если он отказывается, говоря, что не умеет играть ни на каком инструменте, то удивляются, не верят и утверждают, что всякий аргентинец непременно музыкант. Это мнение проистекает из народных обычаев: в самом деле, хорошо воспитанный молодой человек аргентинских городов непременно играет на фортепиано, гитаре, скрипке или флейте; метисы исключительно предаются занятию музыкой, и из этого класса вышло много замечательных композиторов и музыкантов. В летний вечер, у дверей каждого магазина слышатся звуки гитары, а ночью серенады странствующих концертистов сладко нарушают сон жителей.

В и д а л и т а есть народная песня, которую поют хором, под звуки гитар и тамбурина: она тотчас же привлекает толпу, соединяющую свои голоса с голосами певцов. «Мне кажется, — говорит автор, — что эта песня взята у индейцев, потому что я слышал ее на одном индейском празднике в Копиапо: она имеет у них религиозное значение и идет, повидимому, с весьма давнего времени. Я не думаю, как утверждают иные, чтобы чилийские индейцы заняли ее у аргентинских испанцев. Г а у ч о сам сочиняет свои песни и делает их известными, собирая певцов, которые требуются для ее пения. Таким образом, посреди общей грубости нравов два искусства, украшающие жизнь образованного общества, уважаются простым народом, испытывающим свою поэтическую силу в лирических созданиях. Молодой поэт Эчеверрия провел в 1840 году несколько месяцев в степи; слава о его стихах предшествовала ему в пампах: г а у ч о окружали его с почтением, и когда какой-то новопришедший житель степи выразил презрение к городскому к а-

жеттия (франту), то другой сказал ему на ухо: «молчи — это поэт!», и при этом привилегированном титле всякая враждебность умолкла.

Из всех этих наклонностей и привычек появляются замечательные народные типы, которые дадут современем народному роману и народной драме оригинальные краски.

Перечислим некоторые из этих типов.

Следовщик (el rastreador)

Самый замечательный, самый необыкновенный из этих типов есть, без сомнения, следовщик. В этих безграничных равнинах, где дороги и тропинки перекрещиваются во всех направлениях, и где поля, по которым проходят стада, открыты со всех сторон, надобно уметь высмотреть след животного и распознать его посреди тысячи других следов, угадать, шло ли оно тихо, или скоро, одно или в упряжи, налегке или отягченное кладью: это составляет народное и домашнее знание. «Однажды,—продолжает автор,—я заблудился в окрестностях Буэнос-Айреса. Сопровождавший меня пеон (поденщик) взглянул, по обыкновению, на землю и сказал: «здесь проходил небольшой черный мул очень хорошей породы; это мул г. Н. Рапата; он шел в седле, и не далее, как вчера». Этот человек жил в горах Сан-Луиса: обоз шел из Буэнос-Айреса, и мой поденщик год уже, как не видал черного мула г. Рапата, но след этого мула он различил в бесконечном множестве следов целого стада, перемешанных на узкой тропинке. Этот факт, кажущийся невероятным, действительно был; а не забудьте, что слуга, сопровождавший меня, был не следовщик, а только погонщик мулов.

«Следовщик — лицо важное и почтенное: его показания имеют силу полного судебного доказательства в низших инстанциях. Сознание преимуществ своей науки дает ему вид достоинства, смешанного с таин-

ственностью. Все обращаются с ним с уважением: бедняк — потому, что следовщик может, если захочет, наделать ему много зла; богатый владелец — потому, что и его может притянуть к судебному делу. Воровство совершилось ночью, вор ускользнул; но все тотчас же стараются отыскать на земле след его и, накрыв чем ни попало, бегут за следовщиком; он приходит, и почти не глядя на землю, начинает открывать один след за другим, как будто глаза его ясно видят то, что совершенно для других невидимо. Он идет из улицы в улицу, проходит сады, перелезает через заборы, входит в дома и, наконец, остановясь перед тем, кого искали, говорит: «вот он!» Преступление доказано, и редко случается, чтоб преступник после этого еще запирался. Он подчиняется свидетельству открывателя и видит в нем обличительный перст провидения. Я сам знал одного из таких следовщиков, по имени Калибара, который занимал эту должность в одной и той же провинции в продолжение пятидесяти лет. Ему теперь около восьмидесяти лет; но, согбенный старостью, он все еще сохраняет свой почтенный вид, внушающий уважение. Когда ему говорят об его известности, он обыкновенно отвечает: «теперь я уже не стою более ничего, — вот мои дети». Его сыновья учились у него трудной науке. О нем рассказывают, что во время его отлучки в Буэнос-Айрес у него украли лошадь; жена его, остававшаяся дома, накрыла след вора квашней. Калибар, возвратясь домой через два месяца, посмотрел на след, почти уже изгладившийся, и не говорил более ничего об этом деле. Полтора года спустя, Калибар шел, понурив голову, в одном из городских предместий, — входит в дом и находит свою лошадь уже негодной ни к какому употреблению. Два года он удерживал в своей памяти след вора, посреди бесчисленного множества других следов!

В 1830 году преступник, приговоренный к смерти, ушел из тюрьмы. Калибару было поручено его отыскать. Несчастный, зная, кто за ним будет следить,

принимал всевозможные уловки, которые ему только мог внушить ужас казни. Напрасные предосторожности. Они-то, может-быть, его и погубили, потому что Калибар, видя, что его репутация колеблется, употребил все усилия, которые погубили осужденного и спасли репутацию следователю. Беглец пользовался всеми случайностями местности, чтобы не оставить следов: он пробежал целые кварталы на цыпочках, пробирался верхом по низким стенам и т. п. Но Калибар всюду открывал его следы, и если останавливался на минуту, то, отыскивая их снова, бормотал только: «А, куда-то ты поведешь меня далее?» Наконец Калибар пришел в предместье, к каналу, полному воды, в который спустился беглец, желая обмануть следователя... Напрасно! Калибар, не показывая ни малейшего замешательства, шел по берегу, и, наконец, остановясь, сказал: «Он вышел здесь: следов нет, но несколько капель воды осталось на траве»; потом подошел к стене, окружающей виноградник, обошел ее вокруг и сказал: «он здесь — возьмите!» Солдаты взяли преступника, и казнь совершилась на другой день.

В продолжение внутренних замешательств 1831 года несколько лиц, заключенных в тюрьму торжествующей партией, задумали бегство; все было готово, когда один из заключенных вдруг воскликнул: «А, Калибар». — «Ах, да, Калибар!»—сказали его товарищи, смущенные, уничтоженные, и бегство было отложено до тех пор, пок их родственники не убедили Калибара сказаться больным на четыре дня, в продолжение которых заключенные были вне опасности.

Какие тайны заключает в себе эта наука следования? Какая сила микроскопа развивается в зрении этих людей? Какое неисчерпаемое богатство природы человеческой!

Вожак (baqueano)

За следовщиком следует вожак, б а к е а н о, лицо, стоящее весьма высоко и имеющее в своей власти судьбу не только отдельных лиц, но даже целых провинций. Б а к е а н о важен, молчалив, знает, как свою ладонь, пространство на двадцать миль в окружности — его равнины, леса и горы! Это самый совершенный топограф: это единственная карта, которую имеет здесь генерал, распоряжающийся движением целой армии! Бакеано — его неразлучный спутник. Скромный и молчаливый как стена, он обладает всеми тайнами экспедиции: участь целой армии, судьба сражения, завоевание провинции, — все зависит от него. Б а к е а н о почти всегда верен своему долгу; но не всякий генерал имеет к нему полную доверенность. Представьте себе жалкое положение командующего войсками, если он должен постоянно просить совета и указаний у изменника. Б а к е а н о видит маленькую тропинку, пересекающую дорогу, и знает, в какую засаду она ведет; он встречает их тысячу и о каждой может сказать, откуда и куда она идет. Он знает все броды на тысячах рек и речек. Он знает в сотне болот именно те тропинки, по которым можно пройти безопасно. Во мраке ночи, посреди равнины или безграничных лесов, б а к е а н о может прийти в замешательство. Тогда он тотчас останавливается посреди обеспокоенных спутников, которые собираются к нему, смотрит внимательно на деревья, если они есть, — если же их нет, то сходит с лошади, наклоняется к земле, разглядывает кустарники, траву и потом с самоуверенностью, вновь садясь на лошадь, говорит: «мы в таком-то направлении от такого-то места и во стольких-то милях от жилья». И он отправляется вперед, не удостаивая отвечать на расспросы любопытных. Если этого не довольно, если он, наконец, находится в пампах во время непроглядной тьмы, тогда он вырывает траву в нескольких местах, обтряхивает корни, жует их

и, повторив эту операцию несколько раз, убеждается в близости какого-нибудь озера или ручья с соленой или пресной водой, отправляется туда и окончательно определяет свое положение. Генерал Розас (бывший диктатор Аргентинской конфедерации) по вкусу трав узнает все поместья (estancia) на юг от Буэнос-Айреса.

Если бакеано принадлежит к таким пампам, на которых вовсе нет никаких дорог, и если путник просит его вести его прямо в какое-нибудь место, отстоящее за пятьдесят миль, то бакеано останавливается, в раздумье смотрит на горизонт, испытывает почву, устремляет свой взор в одну точку и несется туда во всю конскую скачь с быстротой и правильностью стрелы, — скачет долго, потом вдруг, по причинам, известным ему одному, поворачивает в другую сторону, — скачет день и ночь и приводит всех к назначенному месту.

Бакеано также угадывает приближение неприятеля за десять миль: он узнает направление, которому он следует, по движениям страусов и диких коз. Когда неприятель подходит, он смотрит на пыль и по ее густоте определяет число врагов: их две тысячи или полторы тысячи, тысяча двести, говорит он, и начальник, сообразуясь с его словами, делает свои распоряжения. Если кондоры или вороны кружатся в воздухе над одним и тем же местом, то бакеано, судя по их движениям, скажет вам, что находится там — скрытая ли засада, оставленный ли лагерь, или просто издохшее животное. Бакеано знает все расстояния и сколько нужно дней и часов, чтобы их пройти; он знает все скрытые тропинки и окольные пути, которыми можно напасть на неприятеля врасплох. Посредством такого-то знания, монтонеры * нападают врасплох на города, лежащие за пятьдесят

* Неправильные войска, партизанские отряды. Они обыкновенно состоят из гаучо, поднятых каким-нибудь удальцом города. Предводителями таких монтонеров были Факундо Кирога и генерал Розас.

миль. Можно подумать, что я преувеличиваю; но противное доказывают факты. Генерал Р и в е р а́, предводитель восточной армии, был не более как простой б а к е а н о; он знает каждое дерево, растущее на всем протяжении Уругвайской республики; без его помощи ею бы никогда не завладела Бразилия, и без его же помощи никогда бы ее не освободили аргентинцы. Орибе, поддерживаемый Розасом, после трехлетней борьбы с генералом-бакеано, погиб; и вся сила Буэнос-Айреса, все его многочисленные армии, покрывающие равнины Уругвая *, могут быть уничтожены неожиданным нападением какого-нибудь корпуса войск, который обратит победу на свою сторону знанием едва приметной тропинки, ведущей прямо к неприятельскому арьергарду. Генерал Ривера начал свое изучение местности еще в 1804 году, когда он, как простой контрабандист, вел войну с испанскими таможнями, потом, как таможенный чиновник — с контрабандистами, потом — против федералистов, как м о н т о н е р о, потом — с аргентинцами, как бразильский генерал, потом с бразильцами, как генерал аргентинский, — против Лаваллеха, как президента, против генерала Орибе, как изгнанника. Во всех этих положениях он имел достаточно времени и случаев, чтоб изучить немного науку бакеано.

Злой гаучо

Злой г а у ч о есть особенный тип некоторых местностей. Это — человек, находящийся вне закона, бродяга, мизантроп особенного рода: это — С о к о л и н ы й Г л а з куперовского романа, со всем его знанием пустыни, со всей его ненавистью к жилищам белых, только без его нравственности и любви к диким. Его зовут з л ы м г а у ч о, но это прилагательное принимается здесь не в оскорбительном для

* В 1851 году.

него смысле. Правосудие давно уже его преследует, имя его произносится потихоньку и со страхом, но без ненависти и почти с уважением. Это — личность таинственная; он живет где-то в пампах, отдыхает в глуши колючих зарослей, питается куропатками и ежами. Если ему захочется полакомиться языком, то он заарканивает первую попавшуюся ему корову, опрокидывает ее, убивает, вырезывает лакомый кусок, а остальное покидает в добычу хищным птицам. Злой г а у ч о безнаказанно является в деревню, из которой только что ушли преследующие его солдаты, мирно беседует с добрыми г а у ч о, которые окружают его и удивляются ему, запасается табаком, гербаматой *, сигаретами, и если замечает солдат, то преспокойно садится на лошадь и, не спеша, уезжает в пустыню, не удостоивая даже оглянуться. Солдаты редко пускаются его преследовать: они только понапрасну загнали бы своих лошадей, потому что скакун злого г а у ч о славится в степи не менее своего господина. Иногда является на сельский праздник с девушкой, которую похитил, вмешивается в фигуры ч ь е л и т о ** и исчезает так, что никто не знает, куда и когда он скрылся. В другое время он является к порогу дома, откуда увез соблазненную им жертву, спускает ее с лошади наземь и, презирая проклятия родных, преспокойно удаляется в свое безграничное жилище.

Этот человек, живущий в разладе с обществом, преследуемый законом, этот белокожий дикарь в глубине души ничем не хуже других полудиких обитателей пампов. Он смело нападает на целую толпу своих преследователей, но оставляет в покое одинокого путника. Злой г а у ч о не бандит, не вор больших дорог:

---

* Г е р б а м а т а (Herba-mata)—особенного рода трава, растущая в Аргентинской республике и в особенности по берегам Парагвая. Она употребляется вместо чая по обеим сторонам ла-Платы. Европейцы, поселившиеся там, также скоро принимают этот обычай.

** Танец.

нападение на жизнь не входит в ряд его понятий; он вредит, правда, но таково его ремесло, его промысел, его наука. Он, например, крадет лошадей. Если какой-нибудь степной владелец просит его достать ему где-нибудь лошадь необыкновенной масти, известных статей, с такими-то и такими-то отметами, с белым пятном на крестце, то г а у ч о задумывается, собирается с мыслями и, помолчав минуту, отвечает, что такой лошади в настоящую минуту нет в степи. О чем думал г а у ч о? Он пробежал в эту минуту все десять тысяч поместий, находящихся в пампах, перебрал в памяти всех лошадей провинции, со всеми их мастями и отметинами, и убедился, что такой масти, какой вы желаете — с белой отметиной на крестце, нет в настоящее время: есть похожие, да у тех белое пятно или на лбу, или на груди, а не на крестце. Вас удивляет эта память? Но припомните, что Наполеон знал по именам двести тысяч своих солдат и при встрече с кем-нибудь из них припоминал, кто, чем и в каком сражении отличился. Но если у г а у ч о просят возможного, то в назначенный день и в назначенном месте он непременно доставит вам точно такую лошадь, какую вы у него требовали, и плата, полученная вперед, не удержит его явиться на свидание: он имеет свой point d'honneur в отношении долгов.

То его видят в равнинах между Кордовой и Санта-Фе, то можно его встретить в пампах: он гонит перед собой стада лошадей и проедет своей дорогой, если вы его не окликнете.

Певец

В певце вы находите идеал этой бурной жизни, этой борьбы цивилизации с варварством, этой вечной борьбы с опасностями. Г а у ч о-п е в е ц имеет много сходства с древним бардом или трубадуром средних веков: он движется в той же самой сфере — в сфере борьбы городов с сельским феодализмом, жизни замирающей с жизнью возрождающейся. Певец переходит

из деревни в деревню, входит во все дома, является на праздники, воспевает героя памп, преследуемого законом горожан, скорбь вдовы, у которой индейцы только что похитили сына, поражение и смерть храброго гаучо, какую-нибудь катастрофу из жизни Факундо Кироги и судьбу Санто-Переца. Певец наивно исполняет должность летописца, историка, биографа, собирателя обычаев и преданий, точно так же, как и средневековый бард. Его стихи собирались бы впоследствии как документы и факты, на которые бы опирался будущий историк, если бы только возле этого наивного рапсодиста не существовало образованных обществ, понимающих происшествия лучше полудикого степного поэта. В Аргентинской конфедерации в одно и то же время, на одной и той же почве существуют две различные цивилизации: одна рождающаяся, которая, не зная прошлого, копирует наивную жизнь средних веков; другая, которая, не заботясь о том, что происходит вокруг нее, хочет усвоить себе все последние результаты европейского образования. XIX и XII вв. живут здесь вместе: один — в городах, другой — в степи. Певец не имеет определенного жилища: он останавливается там, где ночь его застигает; все его богатство в его стихах или в его голосе. Повсюду, где только танцующие пары строятся в чьелито, повсюду, где опорожняется стакан вина, певец имеет свое почетное место. Аргентинский г а у ч о не будет пить, если его воображение не возбуждено музыкой и стихами, и во всякой пульперии * есть гитара, которая попадает в руки певца, как только он туда явится. Узнав, по толпе лошадей, привязанных к дверям, что в этом доме имеют нужду в его веселой науке, к своим героическим песням он примешивает рассказ собственных приключений. К несчастью, певец, занимая должность аргентинского барда, имеет в то же время почти всегда какое-нибудь дело с правосудием. Он должен отдать

* Степной трактир.

отчет во множестве ударов кинжалом и в двух или трех несчастьях (desgracia — так называется смерть, нанесенная кому-либо певцом), в нескольких похищенных лошадях и девушках.

В 1840 году на берегу величественной Параны, на земле, поджавши ноги, сидел певец и возбуждал удивление и веселость в многочисленных слушателях длинным и интересным рассказом о своих несчастьях и своих приключениях. Он уже рассказал похищение своей милой, и все трудности, которые он при этом преодолел, и несчастье, которое ему приключилось в споре, возникшем по этому случаю; он уже начал рассказывать о своих ударах кинжалом, которых он не жалел, защищаясь... как вдруг со всех сторон раздались крики солдат и на этот раз известили певца, что он, наконец, пойман. В самом деле, солдаты подстерегли его и, построившись в полукруг, открытый со стороны Параны, протекавшей внизу под берегом в двадцать метров высоты, быстро приближались. Певец не показал при этом ни малейшего смущения: он уже был на лошади, взглянул на преследователей, накинул свой пончо (плащ) на глаза лошади скакуну — и кинулся с берега. Через несколько минут он появился посреди Параны: на лошади его уже не было узды, узда помешала бы ей плыть, а потому всадник, держась за хвост своего скакуна, преспокойно оглядывался на берег, где собрались его преследователи, и плыл, как будто сидя в осьми-весельной лодке. Несколько ружейных выстрелов не помешало ему добраться до первого острова.

Впрочем, оригинальная поэзия певца тяжела, однообразна, неправильна, если он только предается вдохновению минуты. Это более рассказ, нежели выражение чувств, — рассказ, полный образов, взятых из степной жизни, часто напыщенный и метафорический. Рассказывая свои собственные подвиги или подвиги подобных ему, не совсем честных удальцов, он, как неаполитанский импровизатор, беспорядочен,

прозаичен, редко возвышается до истинной поэзии и тотчас же впадает в усыпительный речитатив, без рифм и стоп. Но, кроме этого, певец обладает целым репертуаром народной поэзии: куплетами, октавами и различного рода осьмистопными стихами, между которыми есть много обличающих ясные признаки ума и поэтического чувства.

Вот несколько главных типов степных характеров. Теперь посмотрим, как действуют и сталкиваются между собой эти характеры.

Занятие земледелием если и разбрасывает народонаселение по поверхности страны, то далеко не в такой степени, как занятие скотоводством. В хозяйстве народов пастушеских, к каким должны быть причислены аргентинцы, мы находим много особенного: границы собственности не определены строго; чем более стад, тем менее требуют они ухода; женщины занимаются всеми домашними и хозяйственными работами; мужчина остается праздным, следовательно, не имеет ни труда, ни удовольствий, ни идей; домашний очаг ему скоро прискучивает, гонит его, и он должен искать себе другого развлечения, другого общества. Привычка же ездить верхом, усвоенная с самого раннего детства, тоже побуждает его не сидеть дома. Лошадь для аргентинца — самая важная часть его самого; для него лошадь так же необходима, как галстук для горожанина. В 1841 году, некто Чако, эмигрировал в Чили. «Как ты отправляешься, друг?» — спросил у него кто-то. «Как я отправляюсь, — отвечал он с глубочайшей горестью, — я отправляюсь в Чили и — пешком!» Аргентинский г а у ч о поймет и оценит всю тоску, все страдание, выражаемые этими двумя словами.

Молодые люди выходят из дома, не имея никакой определенной цели: один хочет обойти стада, другой посетить соседа, третий идет отыскивать свою люби-

мую лошадь, на которой ему именно сегодня хочется поездить; все остальное население поглощается пульперией (степной трактир). В пульперии собираются окрестные жители, передают друг другу известия о заблудившихся животных, чертят на песке следы стад, собираются на охоту за тигром и толкуют между собой о свежих следах льва; здесь назначаются скачки, входят в славу лучшие лошади; сюда является певец, и кубок, переходя из рук в руки, сводит братства.

В этой скудной жизни игра потрясает дремлющие нервы, а вино распаляет воображение. В этих случайных, но ежедневных собраниях образуются гораздо крепчайшие общества, нежели те, из которых выходят все отдельные лица; в них подготовляется тот страшный элемент, которым так умели воспользоваться Факундо Кирога и Розас, обрушив его на города и европейское общество.

Гаучо выше всего на свете ставит физическую силу и ловкость в управлении лошадью: пульперия является в этом отношении настоящим олимпийским цирком, на котором испытываются и приходят в известность силы и таланты каждого. Гаучо всегда вооружен ножом, который он наследовал от испанцев, и характеристический возглас Сарагоссы: «война на ножах!» * здесь мог бы иметь еще более приложения. Нож для гаучо и оружие и необходимое орудие во многих случаях: гаучо не может жить без него — это естественное дополнение его руки, и он играет им каждую минуту. Все честолюбие его — показать себя хорошим ездоком и храбрецом: нож его поминутно сверкает в воздухе не только при малейшем вызове, но даже и вовсе без вызова, из одного желания померяться силами с незнакомцем: гаучо играет в ножи, как в шашки. Привычка вечно сражаться так глубоко вкоренилась

---

* Ответ Палафоха французскому генералу при осаде Сарагоссы.

в сердце аргентинского г а у ч о, что ножи сделались самым обыденным орудием, единственной охраной чести и жизни. У других народов нож берется только затем, чтобы убивать, аргентинец им играет и борется: он не убивает, а ранит. Надобно, чтобы г а у ч о был уже очень пьян или зол, чтоб покуситься на жизнь своего противника. Его цель только положить знак своего ножа на лицо противника, но знак такой, который бы уже не стерся, вот почему г а у ч о, испещренный бесчисленными, но не слишком глубокими ранами попадается на каждом шагу. На ножах дерутся для славы победы, для известности. Зрители составляют широкий круг вокруг бойцов, и взоры всех с жадностью следят за движением ножей, сверкающих в воздухе. Когда уже кровь льется ручьями, зрители считают себя обязанными разнять противников. Если случится desgracia (смерть), то все сочувствуют виновному: ему дают лучшую лошадь и везде принимают и берегут его. Время проходит, судья переменяется, и виновный опять появляется в своем округе, не боясь преследований; он прощен. Убийство считается только несчастьем, если оно не повторяется так часто, чтобы внушить невольный ужас к убийце. Э с т а н с и е р о (степной владелец) Хуан-Мануэль-Розас, прежде чем стал известен в политическом мире, сделал из своего дома убежище для таких н е с ч а с т л и в ц е в, не допуская, однакож, воров в свою службу.

Что касается до игр аргентинского г а у ч о, то все они требуют силы, смелости, ловкости. Г а у ч о проносятся во всю мочь перед зрителями: один из них пускает в лошадь своей б о л о й, которая ее роняет на всем скаку; и лошадь и всадник скрываются в облаке пыли, из которого через минуту выбегает всадник, преследуемый лошадью, повинующейся стремлению. В этом препровождении времени играют жизнью и нередко ее теряют. Еще и теперь Розас не может отказать себе в этом удовольствии: он часто скачет на

двух лошадях разом и на всем скаку подымает с земли огромную тяжесть. Можно ли подумать, чтобы эта удаль, эта ловкость были основанием репутации всех знаменитейших политических людей Аргентинской конфедерации, всех политических личностей ее в последнее время? Тем не менее, это совершенно справедливо. В таком обществе, где развитие и образование невозможны, где общественная польза — слово без значения, гений человека находит себе исход в удальстве, и г а у ч о, смотря по обстоятельствам, делается или преступником, или главой партии, а потом и главой всей конфедерации.

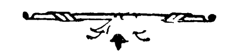
Трудно подавить привычки такого могучего свойства, и для лиц столь суровых необходимы судьи еще суровее. Что я сказал о вожаке обозов, то же должно сказать и об аргентинском судье. Прежде всего он должен быть безгранично смел: ужас его имени должен быть могущественнее самих наказаний, которые он расточает. Это обыкновенно пожилой г а у ч о, прославившийся в свое время, а теперь живущий спокойно. Суд его должен быть совершенно произволен: им руководят только его совесть и его страсти; на приговор его нет апелляции. Есть судьи, оставшиеся в этом звании на всю жизнь и заслужившие почетную известность. Этот произвол приговоров и умение найти средство привести их в исполнение производят сильное влияние на воображение народа. Судья заставляет себе повиноваться известностью своей неодолимой смелости, своим авторитетом, своими произвольными приговорами: «Я приказываю это, — говорит он, — и это наказание мной самим придумано». Из этого выходит то странное явление, что начальники партий, возвысившиеся из простых г а у ч о, удерживают и впоследствии, сделавшись главами конфедерации, такую страшную, безграничную власть, какой мы нигде не видим примера. Его несправедливость есть несчастье для его жертвы, но не злоупотребление с его стороны: что ему до справедливости? Он пользуется

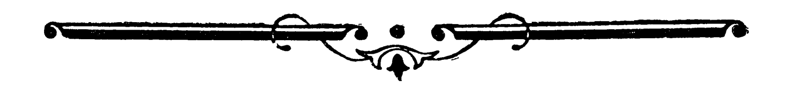
правами своего удальства, за которое все ему повинуются.

Что сказано о судье, то еще по большему праву относится к провинциальным правителям. Городское правительство выбирало для этого звания таких лиц, которые могли бы внушить страх самим гаучо и заставили их повиноваться. Понятно, что такие лица скоро делаются опасными для самих городов. Вот почему все главы партий и все главы конфедерации были прежде провинциальными правителями: Лопес и Ибарра, Артигас и Гвенес, Факундо Кирога и Розас. Розас, достигнув управления, переменил систему и очистил страну от таких бандитов, облеченных званием провинциальных начальников. В Европе не понимают значения аргентинских происшествий, облекая европейскими именами совершенно не европейские понятия.

Вот из каких элементов слагаются страшные аргентинские монтонеры, опрокинувшие городской порядок. Этими-то элементами воспользовались: Артигас в Энтрериосе, Лопес в Санта-Фе, Барра в Сант-Яго и Факундо Кирога в Льяносе. Орды бедуинов, беспокоящие границы Алжирии, дают понятие об аргентинских монтонерах. Здесь происходит та же борьба цивилизации и варварства, степи и города, которую мы видим в Африке. Быстрота натиска, хитрость дикаря, нечаянность нападения — дают победу этим шайкам. Они не выдержат правильной битвы, но непобедимы в долгой войне, в которой европейски-организованная армия непременно, рано или поздно, ослабеет. Безграничная жестокость, неодолимая энергия и беззаветная смелость — вот характер этих монтонеров и их предводителей. Артигас зашивал своих врагов в сырую кожу и оставлял в таком положении среди пустыни: читатель сам может вообразить себе весь ужас такой медленной смерти. Розас сделал путы для своей лошади из ремня, вырезанного из спины полковника Мациелла, и заменил расстреливание при-

резыванием (degollando). Победа таких людей над городами должна была иметь свои естественные последствия. Дикие нравы степи проникли в самое сердце Буэнос-Айреса. Жизнь Факундо Кироги, которой посвящены все остальные страницы занимательной книги Сармиэнто, вводит в действие все очерченные им элементы аргентинской жизни. Факундо Кирога олицетворяет в себе высший идеал аргентинского гаучо.





ПРИМЕЧАНИЯ

1. **Научные статьи и работы первого десятилетия деятельности К. Д. Ушинского.** В научной и литературной работе К. Д. Ушинского за первое десятилетие его деятельности, т. е. до его поступления в Гатчинский институт, естественно намечаются две стадии: первая, связанная с его первоначальным назначением в Ярославский лицей на должность и. о. проф. камеральных наук, и вторая, обусловленная его вступлением в ряды сотрудников журнала «Современник», а затем — «Библиотеки для чтения».

На первой стадии, когда Ушинский был всецело занят разработкой порученных ему курсов камеральных наук, он естественно не мог дать большой литературной продукции. Из этого периода (1846—1848 гг.) известны только две его работы: вводные лекции к разрабатывавшемуся им в лицее курсу камеральных наук и «О камеральном образовании» — речь, читанная в 1848 г. на торжественном заседании лицея. На второй стадии работа Ушинского была более обильной и разнообразной. К серии научных работ этого периода должны быть отнесены напечатанные Ушинским с 1852 по 1856 гг. статьи в журналах «Современник», «Библиотека для чтения», «Известия имп. русского географического общества». Часть этих статей по тем или иным условиям печаталась анонимно, и принадлежность их Ушинскому может быть установлена только на основании переписки и других данных.

Собранные в настоящем I томе наиболее крупные научные работы и статьи Ушинского носят еще совершенно определенный характер той специальности, которая получена им в университете по общественно-юридическим (камеральным) наукам. Это очень широкий, почти всеобъемлющий, круг дисциплин, куда входили и политическая экономия, и история права, и русская история, и этнография, и естествознание, и психология, и философия, и филология. Естественно, что круг интересов Ушинского был очень широк. Но это не был энциклопедизм в дурном смысле этого слова. Внимание Ушинского не распылялось и не разбрасывалось в этом широком кругу вопросов и проблем. Он поднимает в своих работах преимущественно большие философские вопросы методологического порядка — о на-

уке в целом, о системе наук, о методике их разработки, о смене феодальной общественной формации капиталистической, о новой экономике и пр. Его внимание обращается в этой связи и к вопросам культуры, в частности, к проблемам педагогики в широком и узком смысле этого слова.

Он предвидит, что в России, как и в других странах, вступивших на путь капиталистического развития, возникнет ряд новых проблем в области культуры и педагогики и что, учитывая опыт культурного развития передовых народов, Россия должна решить их по-своему. Целый ряд этих проблем, начиная от общих и отвлеченных и кончая частными и конкретными, был поднят Ушинским уже в этот период его научной и литературной деятельности. Таковы вопросы о системе наук и их синтезе в интересах преподавания, вопрос о государственной организации обучения, вопрос о сущности процесса воспитания, методические вопросы обучения (наглядность и ее применение в лекциях, музеях, на выставках), вопросы преподавания географии, русского языка, вопросы упрощенной орфографии и т. п.

Несмотря на то, что специально-педагогические вопросы не сделались еще предметом исключительного внимания К. Д. Ушинского, вся научно-литературная деятельность его за это десятилетие является своеобразным методологическим предварением его будущей педагогической работы, генетически подводящим к тому решению педагогических вопросов, которое так уверенно и просто было выдвинуто им с первых же шагов его собственно педагогической работы.

2. **«Лекции К. Д. Ушинского в Ярославском лицее»** впервые были опубликованы А. Н. Острогорским в «Собрании неизданных сочинений К. Д. Ушинского. Материалы для «Педагогической антропологии», т. III и материалы для биографии» (СПБ, 1908 г.). Записи лекций получены А. Н. Острогорским непосредственно от семьи Ушинского. Всего в записях имелось 4 лекции, относившиеся к разрабатывавшемуся К. Д. Ушинским в Ярославском лицее курсу по кафедре энциклопедии законоведения, государственного права и науки финансов. Время чтения лекций определяется датами, сохранившимися на некоторых из них: вторая лекция помечена 17.II 1847 г., третья, очевидно, следовала за ней, так как представляла ее прямое продолжение; четвертая лекция помечена 18.II 1848 г. Возможно, что не имеющая даты первая лекция, содержание которой сам Ушинский обозначает как «Введение в общий курс лекций» была им прочитана еще в 1846 г. Совершенно очевидно, что это только основные лекции, в которых давались принципиальные установки читаемых курсов. Из самого содержания читаемых лекций видно, что между третьей и четвертой лекциями был ряд лекций, посвященных обзору племен, населявших Европейскую Россию. Из второй лекции видно, что ей предшествовал

цикл лекций по энциклопедии законоведения, да и в первой лекции Ушинский ссылается на имеющий быть после нее курс юридической энциклопедии, где «будет раскрыто рождение обычая, дано учение об обществе и законах его развития». Таким образом, после первой, вводной лекции следовала энциклопедия законоведения, проработка которой производилась, возможно, по какому-либо готовому учебнику; второй лекцией положено начало разработки истории государственного права, причем во второй и третьей лекциях дано обозрение географической среды; в незаписанных дальнейших лекциях было сделано обозрение племен, населявших Россию, в четвертой лекции сделана попытка синтеза этих факторов, а план дальнейших лекций намечен в конце четвертой лекции. Подлинник лекций, написанный рукой Ушинского, хранится в Архиве Института литературы Академии наук СССР, ф. 316.

3. **1-я лекция.** Содержание этой первой лекции сам Ушинский охарактеризовал как «Введение в общий курс лекций». Ее задача — чисто методологическая: указать то место, которое занимают камеральные науки в общей системе знаний и, в частности, какое место в камеральных науках занимают предметы, вошедшие в курс, читаемый Ушинским. Для начала научной деятельности К. Д. Ушинского очень характерно то обстоятельство, что его внимание посвящено разработке этого специального, теперь уже не существующего цикла наук, зародившегося в Германии в XVII в. Система камеральных наук должна была удовлетворять хозяйственным и политическим потребностям немецких феодально-монархических государств. С нарождением буржуазного общества, с постепенным вызреванием его в рамках феодального строя система камеральных наук делается устаревшей, стоит в противоречии с потребностями этого общества и нуждается в переработке. Немецкая камеральная наука очень медленно становилась на путь этой переработки, несмотря на то, что в Англии уже созрела буржуазная политическая экономия, блестяще представленная А. Смитом. Ушинскому выпала задача разрабатывать камеральные науки в России в тот момент, когда в ней особенно явственно наметился перелом в сторону развития капитализма при определенном стремлении феодального правительства удержать власть в своих руках. В то время, как правительство вводило в университеты и лицеи камеральные науки по немецкому образцу, объективно диктовалась задача преодоления камералистики и создания новой системы социально-экономических наук, отвечавшей нарождавшемуся буржуазному строю. Ушинский определенно стал на сторону критики немецкой камеральной науки, как совершенно изжившей себя и не пригодной для удовлетворения назревшим жизненным потребностям нарождающегося буржуазного общества. В то же время он признал необходимым подчинить интересы этого нового общества преж-

ней феодальной власти в лице монархии. Этот компромисс методологически нашел себе выражение у Ушинского в противопоставлении в обществе двух сфер — гражданской (буржуазной) и государственной (феодальной) и установлении взаимоотношения между ними, выражающегося в подчинении первой последней. Принципиальная установка Ушинского сводится, таким образом, к тому, что государству, администрации, правительству, являющимся органами феодально-помещичьих кругов, должны подчиняться все частные, личные имущественные отношения. Из этой установки и должна, по его мнению, исходить система камеральных наук.

4. Имеется в виду преобразование лицея, осуществленное новым уставом его, утвержденным в 1845 г. Согласно этому уставу, в задачу лицея ставится «распространение основательных сведений по части камеральных наук в связи с отечественным законоведением». Первый устав лицея был утвержден в 1805 г., второй — в 1833 г. Согласно этим уставам лицей мыслился как школа, стоящая выше гимназии и находящаяся в непосредственном ведении Московского университета. В 1868 г. лицей был еще раз преобразован: курс камеральных наук, как таковой, был упразднен, и программа занятий лицея приведена в соответствие с курсом юридических факультетов университета.

5. **2-я, 3-я и 4-я лекции** представляют собой попытку анализа тех элементов, из которых строится «внутренний организм русского государства». В осуществлении этой попытки Ушинский исходил из идей известного географа К. Риттера, специальному обсуждению которых он посвятил большую критическую статью в «Современнике» 1854 г. Основная мысль, которую проводит в своих лекциях Ушинский, сводится к тому, что объяснение всех явлений в жизни народа, всей его истории и его внутреннего устройства надо искать в характере той местности, в которой развивается его деятельность. «Мы, — пишет Ушинский, — в самой стране народа будем искать первоначальных причин такого или другого направления и такого или другого характера ее племени так же, как опытный физиономист ищет в теле признаков характера человека». Однако же Ушинский ищет в стране только первоначальные причины характера народа и не сводит всего объяснения характера народа только к характеру страны, которая сама преобразуется под влиянием усилий человека. Хотя Ушинский переоценивал идеи Риттера и не понял, что его концепция является идеалистической попыткой одностороннего неправильного объяснения истории народа, однако, он вносит существенную поправку в эту концепцию.

6. **4-я лекция.** Этой лекции предшествовала не сохранившаяся в записи проработка вопроса о племенах русской равнины. В настоящей лекции Ушинский пытается показать, как рассмотренные им элементы русской истории в виде географиче-

ской среды, с одной стороны, и населяющих ее племен, с другой стороны, могут быть синтезированы в историческом процессе. Здесь обращают на себя внимание выдвинутые Ушинским два принципиальных момента. Первый — замечание о созвучии между характером народа и характером земли. По мысли Ушинского, «вопрос этот столь же привлекательный, как вопрос о единении материальной и духовной природы человека: для решения его нужен глубокий философский взгляд и огромное число сведений». Второй момент — характеристика особенностей славянского племени в его взаимоотношениях с соседними племенами. В своих последующих попытках характеристики русской народности Ушинский нигде не подходил так обстоятельно к этой проблеме, как здесь. Его установка сводится к тому, что если азиатские племена далее патриархального быта не пошли, то русских славян история заставила перешагнуть из периода патриархального в государственный. Не правы, с точки зрения Ушинского, «те, которые хотели бы все переделать у нас по общественной форме Запада, и те, которые хотели бы воротить нас в общинно-родовое устройство». Отрицая односторонние западнические и славянофильские теории, Ушинский требовал конкретного анализа исторических условий жизни русского народа для уяснения тех реальных задач, которые выдвигает перед ним современность.

7. **«О камеральном образовании»**. Речь, произнесенная в торжественном собрании Ярославского Демидовского лицея 18 сентября 1848 г. и. о. проф. энциклопедии законоведения, государственного права и науки финансов К. Ушинским» (М., 1848 г., стр. 1—107). Это первая появившаяся в печати работа К. Д. Ушинского. Впоследствии, при неоднократных переизданиях педагогических статей Ушинского эта речь нигде не была перепечатываема и, таким образом, широкому кругу педагогов осталась неизвестной. Немногочисленные экземпляры ее имеются в настоящее время только в книжных хранилищах университетских библиотек и в больших публичных библиотеках. Аналогичные речи произносились в то время на юридических факультетах университетов. Так, Платонов произнес «Речь о камеральном образовании» (Харьков, 1845 г.); П. Редкин: «Какое общее образование требуется современностью от русского правоведца. Речь на торжественном собрании Московского университета 15.VI 1846 г.» Речи эти свидетельствуют о том, какое важное значение придавалось русским правительством камеральной системе образования в середине XIX в. Однако же выступления Платонова и даже Редкина как по богатству содержания, так и по яркости принципиальных установок далеко уступают произведению Ушинского. В своей речи последний резюмировал все те методологические изыскания по вопросу о разработке камеральных наук, которые он в течение двух лет провел в лицее, читая порученные ему ответствен-

ные курсы. К сожалению, речь Ушинского, вероятно, в связи с его удалением из лицея, не нашла откликов в печати. Углубленная методологическая работа, проделанная Ушинским в течение первых двух лет его преподавания в Ярославском лицее, не пропала, однако же, даром. Если его профессорская работа, в которую он так вжился, была насильственно прервана, то методологические навыки научной работы, приобретенные за это время, остались достоянием Ушинского на всю жизнь, и он последовательно проводил их в других своих занятиях, в частности, в области педагогики. Педагогическую систему Ушинского было бы трудно понять, не обращаясь к его речи о камеральном образовании. Для теоретика педагогики эта речь Ушинского представит большую находку, так как прямо подведет его к теоретическим корням тех взглядов, которые проводились Ушинским в области педагогики. Вскрыть методологические корни педагогических идей Ушинского, заложенные уже в этой его речи, дело специального педагогического исследования.

8. **«Магазин землеведения и путешествий».** Географич. сб., издаваемый Н. Фроловым, т. I, М., 1852 г. («Современник», 1852 г., VII). В. И. Чернышев писал об этой библиографической заметке предположительно, как о принадлежащей Ушинскому: «Ушинскому мог принадлежать отзыв о I томе «Магазина» Н. Фролова» (II, 324). На самом деле есть положительные данные о принадлежности этой неподписанной статьи Ушинскому. В небольшой библиографической заметке «Современника» 1854 г. в № 2 Ушинский, сообщая кратко о выходе второго тома «Магазина», обещает в ближайшее время дать критическую статью об этом томе, как была дана им же библиографическая заметка о первом томе. Критическая заметка о втором томе дана Ушинским в «Современнике», 1854 г., № 5 и 6 за полной подписью, из чего следует, что автором библиографии о первом томе и анонсирующей заметки о выходе второго тома был Ушинский. Авторство рецензий Ушинского на первый и второй томы «Магазина» можно считать, таким образом, точно установленным. Что касается третьего тома «Магазина» Н. Фролова, то В. И. Чернышев, очевидно, по инерции, приписал библиографическую заметку на этот том (см. «Современник», 1855 г., № 1) также Ушинскому. Доказательств этому нет, между тем эта заметка обычно включается в Собрание сочинений Н. Г. Чернышевского, и по своему стилю и содержанию она ближе подходит к характеру статей последнего, тем более, что с 1855 г. участие Ушинского в «Современнике» нужно считать только эпизодическим и случайным, если не совсем прекратившимся.

9. **«Поездка за Волхов».** («Современник», 1852 г., IV). Статья подписана: К. Ушинский. Литературные достоинства статьи высоко оценил в свое время И. С. Тургенев, как об этом сообщает Д. Д. Семенов («Из пережитого», «Русская школа» 1895 г., № 1, стр. 39). Судя по замечанию Фролкова А. («К. Д.

Ушинский», СПБ, 1881 г., стр. 20), можно думать, что оценка И. С. Тургенева была дана внутри редакции «Современника», после чего на Ушинского «стали смотреть как на талантливого писателя». Статья представляет собой, однако же, не просто литературно-художественный очерк, рисующий путевые впечатления туриста, как можно было бы подумать на основании заголовка. В литературно-художественной форме Ушинский дает целый ряд сведений географических, археологических, исторических, этнографических и даже филологических, осуществляя свою излюбленную идею о географической науке, как синтезе всех научных данных о стране и ее населении. По мнению Ушинского, географической науки в этом смысле еще не создано, «потому что, — как пишет Ушинский, — я и не смею назвать этим именем учебников, в которых ничего нет, кроме номенклатуры гор, рек и городов и сведений о числе кирпичных и кожевенных заводов; путешествия, помнится, и есть у нас кое-какие, но все они стары, написаны дубоватым слогом русско-немецкой учености, и едва ли многие знают даже имена их авторов». Исходя из идей Риттера, Ушинский полагал, что настоящий географический тип страны выходит всегда из борьбы характера местности с характером ее населения. Проследить эту борьбу, анализировать элементы этих типов и комбинировать их в одно гармоническое целое, проникнутое исторической и философской мыслью, — вот дело географии, если она хочет быть наукой самобытной и получить пределы, которых ей пока недостает» (56). Однако же это статья не только литературно-художественная и научно-географическая, но одновременно и педагогическая. Реальные или воображаемые путешествия Ушинский считал наиболее эффективной формой, обеспечивающей накопление конкретных сведений. Вот почему свой фельетон в «Библиотеке для чтения» Ушинский выпускал под заголовком «Заметки путешествующего вокруг света». В «Детском мире» одной из форм наглядного синтетического ознакомления учащихся с географией страны Ушинский признал художественный рассказ о путешествии, аналогичный рассматриваемой статье (см. в «Детском мире» статью «Путешествие из столицы в деревню»). Эту статью можно поэтому рассматривать как наиболее раннее выражение педагогических взглядов Ушинского. Здесь, с одной стороны, практически применяется принцип наглядности при изложении географического материала, с другой стороны, Ушинский впервые подходит к разработке той идеи о создании синтетического курса, сочетающего географию, естествознание и историю, которая занимала его до конца жизни.

10. **«История одной французской эскадры».** («Современник», 1853 г., № 4). Статья подписана инициалами Ушинского — К. У. Она составлена на основе содержания помещенной в одном из французских журналов работы принца Жуанвильского

о состоянии морских сил Франции. Замечательно, что в материале этой статьи Ушинский уловил большую педагогическую проблему, — проблему воспитания коллектива эскадры, создания в нем определенных традиций, имеющих воспитывающее значение в отношении каждого отдельного члена эскадры. Подмеченная на частном случае формирования французской эскадры идея воспитания в коллективе имеет и более общее значение.

11. **«Труды Уральской экспедиции».** (Критическая статья о четырех больших трудах по географии, истории и этнографии, «Современник», 1853 г., VII, IX, X). Статья представляет собой целое исследование по ряду больших вопросов географического, исторического и этнографического порядка, давно интересовавших Ушинского. Исследование построено в виде критического изучения ряда трудов, изданных Географическим Обществом. Статья свидетельствует о большой и всесторонней эрудиции молодого Ушинского в области географии, истории, этнографии и даже лингвистики. Обращают на себя внимание: а) оригинальные идеи Ушинского о построении географической науки на основании конкретных и всесторонних данных, собранных географом-наблюдателем и путешественником, и рождение на этой почве педагогических идей о наглядности в преподавании географии, о географической карте как незаменимом его пособии; б) замечательные во многих отношениях высказывания Ушинского в связи с географией и этнографией о формировании русского языка. Высказывания эти говорят, что уже в ранний период своей литературной деятельности Ушинский глубоко-научно и всесторонне интересовался русским языком, его историческим происхождением, его структурой. Идея Ушинского о языке связывается прежде всего с историческими материалами и юридическими документами. «В древних актах, — пишет Ушинский, — каждое слово живет, каждое слово дышит преданием. Наш старый юридический язык, прекрасные образцы которого мы можем найти в юридических актах, до сих пор еще не разобран и не оценен по достоинству». Характерно, что эти и другие замечания Ушинского о русском языке, по его собственным словам, делаются им уже не впервые. Он пишет, что им «уже не раз сделано замечание, что практическая необходимость является часто лучшим наставником в деле языка». Это значит, что истоков для генезиса взглядов Ушинского на русский язык нужно искать значительно раньше настоящей статьи; взгляды эти сложились еще до ее написания: в статье они излагаются как нечто уже откристаллизовавшееся в основном раньше.

12. **«Магазин землеведения и путешествий»** Фролова, т. II («Современник», 1854 г. № V, VI). Статья подписана Ушинским.

13. **«Сейденгемский дворец».** («Библиотека для чтения», 1854 г., № 7, 8). Статья помещена за полной подписью Ушин-

ского. Сообщения печати об устройстве дворца произвели огромное впечатление на Ушинского. Дворец, казалось ему, обладает неисчерпаемыми возможностями для образования и просвещения масс народа. «Сейденгемский музеум, — писал он, — хочет быть миром в малом виде. Здесь устраивается музеум не одних художественных предметов. Этнография, естественные науки — все, что касается жизни народов всех стран и веков, все замечательные явления из жизни животных должны в нем найти своих представителей» (VII, 3). К судьбе и роли дворца Ушинский нередко возвращался в своих заметках в «Современнике» и в «Библиотеке для чтения». Лично на Ушинского идея дворца оказала влияние в том смысле, что он задумал осуществить эту идею в виде учебной книги для детей начальной школы. Такой книгой и был «Детский мир» Ушинского. В 1-е издание книги была включена переведенная Ушинским большая статья, в которой мир изображен в виде большого дворца, где собрано и предоставлено в распоряжение человека все богатство всех видов природы. Статья преследовала моральные цели. В последующих изданиях, как слишком громоздкая, она была изъята; для учебных целей она не годилась и в лучшем случае она могла бы быть дана для домашнего чтения.

14. **«О преступности в Англии и Франции».** («Библиотека для чтения», 1854 г., № 10). О принадлежности статьи Ушинскому можно догадываться как по ее содержанию, так и из переписки Ушинского с Старчевским. 23. VII 1854 г. Ушинский писал Старчевскому: «Посылаю Вам статью, о которой я Вам говорил. Я очень дорожу этой статьей: в ней высказывается много моих любимых убеждений. Если можете, поместите ее в сентябрьской книжке, а дальше я откладывать не могу». В сентябрьском и октябрьском номерах «Библиотеки для чтения» нет других теоретических работ, кроме рассматриваемой статьи. Судя по переписке, статья очень долго перерабатывалась Ушинским, чтобы сделать ее приемлемой для цензуры. По содержанию статья может принадлежать только Ушинскому. Здесь говорится о причинах распространения преступлений и о влиянии грамотности на сокращение преступлений. Автор статьи подчеркивает далее мысль о преимущественном значении роли женщины в деле воспитания подрастающих поколений в семье. «От нравственности женщин преимущественно зависит состояние нравственности всего семейства. Мать во всех классах общества несет несравненно большее влияние, чем отец, на умственное и душевное развитие ребенка. Это преобладающее материнское влияние особенно разительно в низших классах... Между тем как отец весь день работает вне дома, ребенок проводит все это время под надзором и влиянием матери; стало быть, ее наставления и ее примеры направляют развитие его разума, а в них почерпает ребенок в тот нежный возраст, когда впечатления так глубоко врезываются в его душу, все свои понятия о добре

и зле, склонности к добродетели или пороку». Конечный вывод из статьи автор делает такой: «образованность, цивилизация на той степени и в том виде, как она ныне существует, не уничтожает зерна преступления; она только изменяет, обусловливает формы, в которых оно проявляется. Через распространение знания оно смягчает нравы. Под ее влиянием преступления уменьшаются относительно важности, формы преступлений, но увеличиваются относительно числа их». В статье бросается в глаза обилие статистического материала и методологически осторожная, тщательная его обработка.

15. **Обозрение иностранных географических журналов.** («Вестник Императорского Русского Географического Общества», 1853 г., кн. V, стр. 45—52). Под этим заголовком Ушинским анонимно помещена статья, пересказывающая основное содержание книги Сармиенто о междоусобной борьбе, наступившей в Аргентине со времени отделения ее от Испании с начала XIX в. Принадлежность этой статьи Ушинскому устанавливается на основании его переписки с Старчевским. 9.III—1845 г. Ушинский писал Старчевскому: «У меня есть план очень хорошенькой статьи из нового испанского сочинения об «Аргентинской конфедерации». Из географической части этой книги я сделал извлечение для «Географического вестника», а историческая чрезвычайно любопытна» («Народная школа», 1885 г., № 1, стр. 38). Перепечатываемая статья и представляет собой то извлечение из географической части книги, о котором сообщал Ушинский Старчевскому.

16. **«Цивилизация и варварство».** («Известия Императорского Русского Географического Общества», 1854 г., т. X). Статья эта была первоначально предложена Ушинским редактору «Библиотеки для чтения» Старчевскому (см. «Народная школа», 1885 г., № 1, стр. 38). Очевидно, для журнала она оказалась непригодной, и Ушинский направил ее в «Известия Географического Общества». Статья представляет собой обработку материала об Аргентинской республике. Автора в особенности интересует то состояние культуры, какое сложилось в Аргентине к середине XIX в. Как и в статье о Турции, Ушинский ищет ответа на вопрос, в какой мере для Аргентины мыслим переход к европейской капиталистической культуре непосредственно от того первобытного состояния, в каком ее застали попытки приобщения ее к этой культуре. Здесь положение казалось Ушинскому еще безнадежнее, чем в Турции. Точка зрения Ушинского была та, что усвоению культуры должен предшествовать процесс экономического развития народа и что только при этой предпосылке можно говорить более или менее уверенно о продвижении его в область культуры.





ПРИЛОЖЕНИЯ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА О СОЧИНЕНИЯХ К. Д. УШИНСКОГО ЗА 1852—1856 гг., НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В НАСТОЯЩИЙ ТОМ

Литературная работа К. Д. Ушинского за время его сотрудничества в журналах (1852—1856 гг.) далеко не исчерпывается статьями настоящего I тома. Перепечатка всех работ Ушинского за это время потребовала бы еще около 100 п. л. Ограничиваясь пока только общим указанием на характер литературной деятельности Ушинского за этот период (см. прим. 1-е), редакция считает целесообразным дать в настоящем приложении перечень статей, которые по тем или иным соображениям с большей или меньшей достоверностью должны быть приписаны Ушинскому. Частью это его самостоятельные статьи, частью переводы с иностранного.

А. Самостоятельные статьи К. Д. Ушинского с 1852 по 1856 гг.

1. **«Иностранные известия»** («Современник», 1852, 1853, 1854 гг.). Работа, которую Ушинский на протяжении нескольких лет вел в журнале «Современник» по составлению раздела «Иностранные известия», до настоящего времени не освещена, не проанализирована и даже не зафиксирована как работа, проделанная Ушинским.

В. И. Чернышев, автор самой полной и обстоятельной библиографии работ К. Д. Ушинского, напечатанной в приложении к изданному им II (дополнительному) тому «Педагогических сочинений К. Д. Ушинского» (СПБ, 1908 г.), совершенно умалчивает о том, что Ушинский в течение нескольких лет выполнял эту работу в «Современнике». Конечно, это какой-то недосмотр. Сам Ушинский в одном из своих писем к А. Старчевскому («Народная школа», 1885 г., № 1, стр. 43) определенно говорит о своей систематической работе в «Современнике» по составлению «Иностранных известий». Посылая Старчевскому очередной фельетон иностранных известий для «Библиотеки для чтения», Ушинский писал относительно формы этого фельетона: «...я ввел такую форму в «Современнике» и потому очень доволен ею». Один из близких друзей Ушинского, его товарищ по университету, Ю. Рехневский, в своем некрологе, посвященном Ушинскому («Вестник Европы»,

1871 г., № 2), также подтверждает, что Ушинский вел раздел «Иностранных известий» в «Современнике». Рехневский был близко знаком с литературными делами Ушинского, так как, судя по переписке, корректурные листы журнальных статей посылались обычно Ушинскому через Рехневского.

Но если не может быть сомнений в том, что Ушинский составлял «Иностранные известия» для «Современника», то вся трудность заключается в определении того, что им написано в этом разделе, который велся анонимно. Раскрытие авторов анонимных статей «Современника» до настоящего времени не произведено, и даже в специальных работах Евгеньева-Максимова о «Современнике» эти вопросы остаются неосвещенными. Однако же ряд исследований, произведенных за последнее время в связи с раскрытием анонимных статей Тургенева в «Современнике» (М. Гершензон, «Русские пропилеи», т. III, М., 1916 г., М. Азадовский, «Затерянные фельетоны Тургенева», Сборник трудов Иркутского государственного университета, вып. XII, 1927 г.), показывает, что вопрос о раскрытии авторов анонимных статей не является неразрешимым. Внимательное изучение техники ведения раздела «Иностранные известия» в «Современнике» за ряд лет дает основания утверждать, что до 1853 г. раздел этот велся сотрудниками коллективно и составлялся механически по странам или по темам путем вырезок из журналов и реже из сообщений специальных корреспондентов. С 1853 г. «Иностранные известия» получают характер законченного фельетона, оформляемого одним лицом и придающего определенную связь или идею группируемым известиям. Лицо это с 1853 г. определенно начинает говорить о себе в первом лице: «наш фельетон» (№ 2 за 1853 г.), «с того времени как я расстался в последнем фельетоне с моим читателем» (№ 3 за 1853 г.) и т. д. С 1855 г., когда Ушинский оставил сотрудничество в «Современнике», «Иностранные известия» приобретают прежний безличный характер, и личное местоимение автора ни разу не употребляется.

Так как Ушинский стал работать в «Современнике» с 1852 г., то его участие в разделе «Иностранные известия» в этом году могло быть только эпизодическим наравне с другими сотрудниками. Степень и форму его участия в этом разделе весьма трудно поэтому определить до 1853 г. С этого же времени читатель фельетона совершенно определенно ощущает личность автора и легко узнает в ней приемы, мысли и стиль будущего педагога — К. Д. Ушинского. Поставив себе задачей следить по данным иностранной журналистики за движением европейской и американской культуры и освещать те или иные явления с определенной точки зрения, Ушинский накоплял таким образом боль-

шой материал из области науки, искусства, литературы, который помог ему осмыслить явления культурной жизни в Европе и Америке. В этих обзорах Ушинский освещал и вопросы образования, поскольку они так или иначе ставились в Америке, Англии и других странах. Следя за всем материалом культурной жизни европейского общества, который ежемесячно собирал в своих «Иностранных известиях» Ушинский, можно найти объяснение многим последующим идеям, которые развивал Ушинский, вплотную соприкоснувшись с проблемами педагогики. При уяснении генезиса педагогических идей Ушинского историк педагогики найдет возможность не раз обратиться к материалу «Иностранных обозрений» К. Д. Ушинского.

Не касаясь по указанной выше причине вопроса о том, принимал ли Ушинский и в какой форме участие в составлении «Иностранных обозрений» «Современника» в 1852 г., можно считать бесспорным его участие в составлении «Иностранных известий» за 1853 г. в № 2—12 и за 1854 г. в № 1—12.

2. **«Сведения о современном состоянии Турции»** («Современник», 1854 г., № 4, 5, 7). [1] В связи с начавшейся Севастопольской войной вопрос о Турции оказался одной из актуальнейших проблем в иностранной и русской печати. На протяжении второй половины 1853 г. и всего 1854 г. в разных газетах и журналах давались всевозможные статьи о Турции. Все ранее вышедшие книги о Турции были скуплены в Петербурге в течение нескольких недель, как писал об этом О. И. Сенковский. Удовлетворить появившемуся спросу на сведения о Турецкой империи попытался и Ушинский в названной работе, занявшей 150 стр. В ней он дал всестороннее освещение жизни Турецкой империи, начиная с ее географической обстановки, продолжая историей и этнографией этой империи и кончая ее современным состоянием и организацией в ней образования. «Мы передавали чужое, — писал Ушинский в конце первой же главы своей работы.— Нашего здесь только искра чувства, которое оживляет в настоящее время каждое истиннорусское сердце и которое заставляет нас надеяться, что и эта статья не будет вовсе бесполезной». Однако же, скромно предупреждая читателя, что он передает ему

---

[1] Принадлежность статьи К. Д. Ушинскому устанавливается А. Фролковым («К. Д. Ушинский», СПБ, 1881 г., стр. 64), В. И. Чернышевым («Собрание педагогических сочинений К. Д. Ушинского», т. II (дополнительный, СПБ, 1913 г., стр. 324), Ю. Рехневским («Вестник Европы», 1871 г., № 2).

чужой материал, Ушинский решает в своей статье совершенно самостоятельную, волновавшую его в то время проблему о той ступени экономического и политического развития Турции, которой обусловлен ее культурный уровень в данный момент. Рассмотрев всесторонне экономическую и политическую жизнь Турецкой империи, Ушинский констатировал в ней экономическую отсталость и полнейшее господство деспотизма. В таких условиях вопрос о европейской культуре в Турции «столь же нелепая идея, как искание философского камня и жизненного элексира». В другой своей статье Ушинский писал, что «англичане с удивительным жаром занимаются тем, что делается у других, — цивилизацией турок и китайцев, а между тем многие, весьма неутешительные явления в собственной их цивилизации показывают, что им не мешало бы начать с самих себя; ни одна завоевательная нация в истории не заставляла столько страдать покоренные народы, как Англия». Замечания на статью Ушинского появились в «СПБ. Вед.», 1854 г. № 107, в «Отечественных записках», 1854 г., № 5, 6 и др.

3. **«Заметки путешествующего вокруг света»** («Библиотека для чтения», 1854 г., №3—12; 1855 г., № 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12); «Новости наук, искусств, литературы и общежития» (там же, 1855 г., № 1). Принадлежность заметок Ушинскому устанавливается на основании переписки Ушинского с А. Старчевским («Народная школа», 1885 г., № 1). Входя в соглашение со Старчевским о составлении иностранных известий для «Библиотеки» под приведенным заглавием, Ушинский писал: «Я готов принять на себя составление известий об английской и американской литературе, но так как эти известия входят в тот фельетон, который я составляю для «Современника», то нельзя ли мне получать хоть один журнал, который не получает «Современник». Плата 25 рублей за один лист мне кажется недостаточной». Взятое в целом содержание «Заметок путешествующего вокруг света за 1854 и 1855 гг. представляется не менее богатым и содержательным, чем содержание иностранных известий в «Современнике». Здесь подробно освещается состояние науки, особенно в области географических и археологических открытий, в области техники, движение искусства, вопросы образования и пр. Говоря об открывающемся Сейденгемском дворце в Лондоне, автор заметок пишет, что это «будет живая книга, по которой люди, жаждущие образования, станут изучать любопытнейшие явления природы, чудеса искусства, успехи промышленности, сравнивать эпохи, места, людей и составлять себе понятие о ходе образованности» (1854 г. № 3). «Заметки путешествующего» были отмечены в свое время как раздел «Библиотеки», который читается с интересом, и очень часто те книж-

ки «Библиотеки», в которых почему-либо «Заметки» составлялись не Ушинским, вызывали нарекания на редакцию. В. И. Чернышев включил «Заметки путешествующего вокруг света» в свой библиографический указатель полностью. Между тем на основании переписки Ушинского со Старчевским возможно установить, что иногда Ушинский передавал выполнение своей работы другим лицам, будучи перегружен, например, работой по переводу с иностранного, но сохранял за собой право редактировать составленные другими обозрения. Это относится в особенности к 1855 г., где по крайней мере в 5 книжках журнала Ушинский не принимал участия в составлении «Заметок путешествующего вокруг света».

4. **«Журналистика»** («Библиотека для чтения», 1855 г., № 7). Ушинский настойчиво и много раз добивался у Старчевского, редактора «Библиотеки для чтения», разрешения вести «Журналистику» самостоятельно. Он неоднократно писал ему: «прошу вас покорнейше доставить мне возможность разделаться с русской журналистикой. Мне так давно хочется». Просьба была естественной, так как, согласно условию, Ушинскому предоставлялось, между прочим, и «Обозрение журналов».

Однако же Старчевский медлил, так как ему хотелось сохранить в редакции других сотрудников — Рыжова, Дружинина и пр., которым он в виде пробы предоставлял поочередно ведение «Журналистики», пока, наконец, этот раздел не остался окончательно за А. Рыжовым, который до конца 1855 г. вел «Журналистику» анонимно, а с начала 1856 г. стал писать ее под псевдонимом О. Колядин. На основании переписки со Старчевским есть возможность приписать Ушинскому участие в частичном составлении «Журналистики» нескольких номеров «Библиотеки» за 1854 и 1855 гг. Однако же, давая для пробы составление «Журналистики» разным лицам, Старчевский ввиду просьб Ушинского предоставил и ему полностью составление фельетона лишь на июль 1855 г. Ушинский придал своему фельетону философский характер, посвятив его разоблачению вульгаризаторских мнимоматериалистических приемов эстетической критики. Автор саркастически высмеивает вульгарно-материалистические идеи Фохта и Молешотта. Только что вышедшую книгу Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» автор рассматривает как вызванную «стародавними неправильностями в искусстве, против которых она собственно и направлена, но из нее не следует отрицание искусства». Автору фельетона хотелось бы сохранить веру в «великое творческое значение искусства». Последнее не должно только рабски копировать действительность, оно должно также и подниматься над нею. Совершенно очевидно, что, настойчиво домогаясь разрешения принять участие

в критике «журнальной литературы», Ушинский хотел по-своему вмешаться в ту дискуссию по вопросам искусства, которая поднялась в тогдашней журналистике и которая представляла собой идеологическое отражение сословно-классовой борьбы в русском обществе того времени. Фельетон в таком духе не удовлетворил редактора, который ориентировался на более элементарные погребности читателей своего журнала. Фельетоны Ушинского он неоднократно называл скучными за их научный характер. Таким образом «Журналистика» осталась за Рыжовым.

5. **Библиография** («Современник», 1852—1854 гг. «Библиотека для чтения», 1854—1855 гг.). Из переписки Ушинского со Старчевским совершенно ясно, что и в «Современнике» и в «Библиотеке для чтения» в число обязанностей Ушинского входило составление библиографических обзоров. Договариваясь о формах своей работы в «Библиотеке для чтения», Ушинский в первые же дни задает Старчевскому вопрос, какого рода библиографические обзоры нужны ему — развернутые или краткие. Очевидно, такого рода работа уже была знакома Ушинскому по «Современнику». Есть возможность совершенно точно установить ряд рецензий Ушинского в «Современнике», написанных в том и другом виде. Однакоже рецензии не подписывались никем из сотрудников. Поэтому чрезвычайно трудно с совершенной уверенностью раскрыть принадлежность всех рецензий тем или иным из сотрудников редакции. При внимательном изучении рецензий «Современника» возможно выделить на основании внутренних признаков ряд таких рецензий, содержание которых или очень напоминает идеи, которые впоследствии неоднократно высказывались Ушинским и которые резко выделяют эти рецензии из ряда других, или очень родственно тем идеям, которые развивал Ушинский в этот же период своей жизни в других своих статьях, несомненно им написанных. Таким образом, является возможность условно высказаться о принадлежности таких рецензий Ушинскому. Из 600 рецензий «Современника» за 1852—1854 гг. выделено таким образом 20 рецензий, которые могли бы принадлежать Ушинскому. В «Библиотеке для чтения» Ушинский, повидимому, вел только библиографические обзоры, весьма краткие. Из развернутых библиографических разборов возможно высказаться за принадлежность Ушинскому только двух. Ниже перечисляются в хронологическом порядке означенные 22 рецензии:

Э. Ленц, Физическая география («Современник», 1852 г. № 1).

Речи и отчет в торжественном собрании Московского университета, 12 января 1852 г. («Современник», 1852 г. № 2).

Публичные речи проф. Геймана, Соловьева, Грановского, Шевырева («Современник», 1852 г. № 3).

Литературные новости («Современник», 1852 г., № 4).

Этнографическая карта Европейской России, составленная П. И. Кеппеном («Современник», 1852 г., № 9).

А. Брут, Учебная статистика («Современник», 1852 г., № 11).

Д'Орбильи. Живописное путешествие в Южную и Северную Америку («Современник», 1853 г., № 2).

А. Ишимова, Бабушкины уроки, или русская история в разговорах для детей («Современник», 1853 г., № 2).

Божанов, Начальные основания ботаники («Современник», 1853 г., № 2).

«*Немой из Фрибурга*», «Рафаэль или слепое дитя»; «Маленькие повести и сказки для детей»; «Беседы с маленькими детьми о первых началах арифметики» «(Современник», 1853 г., № 8).

«*Детский театр* и живые картины»; «Детский минералогический кабинет» А. Кислова («Современник», 1853 г. № 10).

Барановский С., Начальные основания географии («Современник», 1853 г., № 11).

Фон-Гумбольдт, Космос («Современник», 1853 г., № 11.)

Е. Ковалевский, Путешествие в Китай («Современник», 1853 г., № 12).

А. Смирнов, Учебник русского языка («Современник», 1853 г., № 12).

«*Приемыш Сережа*», «Подарок кстати», «Азбука русского слова», «Опытный секретарь». Магазин землеведения и путешествий, т. II («Современник», 1854 г., № 2).

Библиотека путешествий. изд. Плюшара («Современник», 1854 г., № 5).

Убичино. Изображение современного состояния Турции («Современник», 1854 г., № 8).

А. Смирнов, Учебник русского языка («Современник», 1854 г., № 12).

Кремлев, Способ обучения русскому чтению; его же, Упражнения при обучении чтению («Современник», 1854 г. № 12).

С. Шевырев, История Московского университета («Библиотека для чтения», 1855 г. № 8).

В. Классовский, Грамматические заметки («Библиотека для чтения», 1855 г., № 8).

Есть основания думать также, что в известной степени Ушинский принимал участие и в составлении географических обзоров в «Вестнике Русского Географического Общества». С редактором этого журнала В. А. Милютиным Ушинский, судя по отрывочным записям его дневника, был в близких отношениях еще в 1849 г. На свое участие в редакции «Вестника» указывает и сам Ушинский, сообщая в начале своей статьи о сочинении Сармиэнто, что «об этом сочинении в предыдущей книжке «Вестника» успели мы только упомянуть в числе новых книг» (см. выше, стр. 487). Однако же более или менее твердых данных для установления авторства Ушинского, за исключением перепечатываемых в настоящем томе двух статей, не найдено.

Б. Переводные работы К. Д. Ушинского

1. **«Литературный характер или история гения, заимствованные из его собственных чувств и признаний»** И. Д Израэли («Современник», 1853 г., № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). Перевод принадлежит К. Д. Ушинскому, как об этом свидетельствуют А. Фролков(«К. Д. Ушинский», СПБ, 1881 г., стр. 64) и В. И. Чернышев (Собр. педагогических сочинений К. Д. Ушинского, т. II (дополнительный), СПБ, 1913 г., стр. 323). И. Д'Израэли (1766—1848) — отец известного государственного деятеля Англии Б. Д'Израэли (лорда Биконсфильда. 1804—1881). И. Д'Израэли, еврейский выходец из Испании, занимавшийся изучением литературы. Переведенный К. Д. Ушинским для «Современника» труд Д'Израэли — The Literary Character or the History of Men of Genius», London, 1795, ставил своей задачей нарисовать психологию людей, подвизавшихся на литературном поприще, на основании их собственных признаний. Труд свидетельствовал о громадной начитанности автора и пользовался европейской известностью. Автором труд этот несколько раз перерабатывался и переиздавался. Большое внимание этому труду оказал Байрон, несколько раз перечитывавший его и приобретавший всякое новое его издание. Интересовался трудом И. Д'Израэли Л. Н. Толстой и др. Перевод этого труда имеет то значение, что показывает, как уже в начале литературной деятельности внимание К. Д. Ушинского привлечено было к проблемам психологии и философии. По существу труд Д'Израэли есть опыт частной психологии, широко разработанный на основе собранных им показаний. В немногих примечаниях, которыми Ушинский снабдил этот труд, поясняя отдельные его места или внося к ним поправки, видно основательное знакомство переводчика с вопросами философии и психологии и уменье тонко подмечать в отдельных случаях слабые места автора. Перевод труда на русский язык был встречен печатью очень сочувственно. Если и высказывались какие-либо критические замечания, то скорее по адресу самой техники печатания.

2. **Теккерей,** Наша улица («Библиотека для чтения»), 1854 г., т. CXXIV).

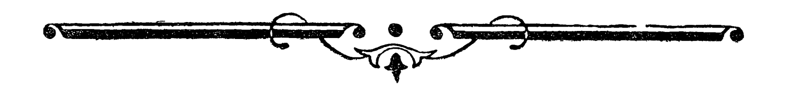
3. **Его же**, «Утренние спичи мистера Б. Куделя» (там же). Оба перевода приписываются В. И. Чернышевым (цит. выше труд, стр. 323) К. Д. Ушинскому на основании переписки его со Старчевским.

4. **Путешествие в Луристан и Аравистан** («Библиотека для чтения», 1854 г., № 6, 7; 1855 г., № 3). Перевод следует приписать Ушинскому, как это видно из его переписки со Старчевским («Народная школа», 1885 г., № 1). У В. И. Чернышева перевод не отмечен.

5. **Гор**, Эми Мидовз («Библиотека для чтения», 1865 г., № 1—4). Принадлежность перевода К. Д. Ушинскому устанавливается В. И. Чернышевым (цит. соч., стр. 324) па основании переписки Ушинского с А. Старчевским.

6. **Диккенс**, Тяжелое время («Библиотека для чтения», 1855 г., № 8). Принадлежность перевода К. Д. Ушинскому устанавливается В. И. Чернышевым (цит. соч., стр. 32) на основании переписки Ушинского с А. Старчевским.





УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН



ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Текст сочинений К. Д Ушинского сверен младшим научным сотрудником Института теории и истории педагогики Академии педагогических наук РСФСР *К. С. Мокринской.*

Редактор *Н. А. Сундуков*

Переплет, титул и заставки
худ. *Я. Д. Егорова*
Портрет К. Д. Ушинского — гравюра на дереве
худ. *И. С. Неутолимова*
Художественный редактор *Г. З. Гинзбург*
Технический редактор *В. П. Гарнек*

А02233. Подписано к печати 3/III 1948 г. Уч.-изд. л. 36.4. Печ. л. 46¼.
Тираж 25 000 экз. Формат 82×108/32. Цена 20 руб. Заказ № 7684.

1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при Совете
Министров СССР, Москва, Валовая, 28.